РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Рюриков Б. С.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

СТЕНДАЛЬ

КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1969

Вступительная статья
С. Великовского

И(Фр)
С 79

Перевод
С. Боброва и М. Богословской

Иллюстрации
В. Домогацкого

7-3-4
Подп. изд

ХРОНИКА БЕЗВРЕМЕНЬЯ

Писательская биография Анри Бейля (1783—1842), печатавшегося под псевдонимом Стендаль, складывалась трудно. Рано осознав свое призвание, еще юношей сделав не одну пробу пера, он, однако, завершил первое художественное сочинение почти к сорока пяти годам, а до этого прожил беспокойную жизнь военного, путешественника, публициста, знатока живописи и музыки, литературного и театрального критика. В тогдашней Франции — то порывисто и грозно, то с мучительными замедлениями — шла ломка вековых устоев, и резкие сдвиги в ходе истории страны были поворотными вехами стендалевского пути.

Он был на шесть лет старше Французской революции 1789 года. Мальчишеское бунтарство против атмосферы верноподданнической благопристойности, которая царила в доме его отца, адвоката гренобльской судебной палаты, подогревалось в малолетнем ниспровергателе семейных Бастилий вестями о мятежах, переворотах, сражениях, поступавшими из столицы и с фронтов.

Воспитанный дедом по матери, вольнодумцем и поклонником просветительских учений предреволюционного XVIII века, Стендаль рос пытливым, дерзким в суждениях юношей. Его обостренная гордость и иронический ум выдавали натуру пылкую, деятельную, непокорную. Школа, преобразованная согласно республиканским декретам, окончательно вырвала его из-под влияния отцовской семьи: здесь вместо катехизиса он жадно впитывал идеи материалистической философии, вместо традиционной риторики пристрастился к механике и математике. Ненависть ко всему, что сковывает личность, презрение к религиозной мистике, вкус к точному аналитическому знанию, привитые Стендалю еще в ранние годы, он затем сохранил до конца дней.

В 1799 году Стендаль отправился в Париж в надежде продолжить учение в Политехнической школе. Однако этому намерению не суждено было осуществиться. Захваченный вихрем наполеоновских походов, он вступил в армию, безусым сублейтенантом войск Бонапарта впервые попал в Италию, полюбив ее на всю жизнь.

Впрочем, долго тянуть армейскую лямку молодой Стендаль, мечтавший о «славе величайшего французского поэта, равного Мольеру», не пожелал. Выйдя в отставку, он вернулся в Париж, поселился на чердаке и взялся за книги. Одержимый страстью к писательству, он штудирует труды древних и новых мыслителей, изучает английский и итальянский языки, берет уроки актерского искусства, набрасывает черновики философских эссе, сцены двух комедий, так и оставшихся незавершенными. Его кумиры — Шекспир, Данте, Мольер, Фильдинг. Он старается проникнуть в секреты их мастерства, с их помощью овладеть «наукой о страстях». Он помышляет добиться в «языке чувств» точности математика. Но для того, чтобы справиться с этой задачей, пока что не хватало ни житейских знаний, ни душевного опыта, ни литературных навыков. В довершение всего вызывал беспокойство и пустой кошелек. Несколько месяцев службы в торговом доме в Марселе, куда его завела любовная привязанность, внушили Стендалю отвращение к карьере коммерсанта. Тяготясь безденежьем и бездействием, мучась постигшими его сочинительскими неудачами, он в 1806 году опять записался в армию.

В качестве интенданта наполеоновских войск Стендаль исколесил тыловые и фронтовые дороги Европы, узнав в этих странствиях то, что не могли дать самые умные книжки. Должность военного чиновника имела свои преимущества для «наблюдателя человеческих характеров», как называл себя Стендаль. Перед ним обнажились колесики и рычажки огромной государственной и военной машины Империи. На полях сражений он видел, как проверяются люди в момент смертельной опасности, обнаруживая истинное величие или низость души. Для него не была секретом изнанка сводок об очередных победах. Русский поход 1812 года завершил это воспитание жизнью. Свидетель Бородинской битвы, потрясенный очевидец пожара Москвы и отступления прославленной армии, постепенно превратившейся в полчище мародеров, он вернулся домой разбитый усталостью, испытывая презрение к наполеоновской военщине. Не желая оставаться в Париже, куда в обозе иностранных войск в 1814 году вернулись изгнанные революцией Бурбоны со своим дворянско-клерикальным охвостьем, Стендаль покинул Францию.

Он обосновался в Милане, где вел жизнь свободного любителя искусств. Его дни проходят в картинных галереях, древних соборах, за старыми рукописями и книгами, по вечерам он неизменно в оперном театре Ла Скала. Изредка он совершает наезды в Гренобль, Париж, Лондон или

путешествует по Италии. Стендаль дружен с вождями патриотического движения карбонариев, направленного против австрийского владычества, встречается с Байроном. Он сотрудничает в журналах итальянских романтиков. Выходят его первые книги о композиторах и живописцах, путевые очерки.

Здесь же подготовлен трактат «О любви» (1822). В этой книге разговор о самом хрупком и сокровенном из человеческих чувств опирается на многочисленные самонаблюдения и воплощает давние замыслы Стендаля о логически четком анализе душевных тайн. Теоретические раздумья предваряют страницы будущей стендалевской прозы, посвященные рождению и «кристаллизации» взаимного влечения двух влюбленных. Уже тогда Стендаль замечает, что психология без истории беспомощна: безудержная страсть итальянцев Возрождения не похожа на утонченную куртуазность вельмож Людовика XIV, немецкий бюргер любит не так, как средневековый рыцарь. Да и между разными манерами любить, принятыми в одну эпоху в разных кругах общества, нередко пролегает пропасть. Открытие это весьма пригодится Стендалю, когда ему придется изнутри прослеживать страсть аристократки и провинциалки, светского щеголя и выходца из низов.

Непочтительные замечания о властях мирских и духовных, рассыпанные в книгах и статьях Стендаля, его вольномыслие и дружба с карбонариями-заговорщиками пришлись не по нраву австрийской охранке и осведомителям святейшего папы. За ним с подозрением следят. Не чувствуя себя в Милане в безопасности, он в 1821 году возвращается на родину.

Париж встретил его неприветливо. Пошатнулось до сих пор относительно сносное материальное положение отставного военного на половинном окладе. Он взят на заметку полицией. В стране пробуют восстановить дореволюционные порядки. Свирепствуют суды, цензура затыкает рот свободомыслящим, иезуиты и святоши создают общественное мнение. В журналистике царит холопское прислужничество перед двором, в философии — туманное пустословие поклонников средневековья, в литературе — слепое подражание обветшавшим образцам. Лишь в немногих домах можно услышать слово, сказанное без унизительной опаски. Волей-неволей приходится играть в прятки, если молчать невыносимо, да к тому же есть нужда подработать пером, не оскверняя себя при этом не то чтобы ложью, а хотя бы унизительной полуправдой. Из месяца в месяц Стендаль посылает корреспонденции в английские журналы, там их печатают без подписи; маскировка была столь тщательной, что лишь спустя сто лет они были найдены и снова переведены на французский. Собранные вместе, они дают всеохватывающий проницательный портрет эпохи, отмеченной судорожными попытками повернуть историю вспять и вместе с тем обнаружившей необратимость сдвигов, которые произошли в пореволюционной Франции.

В публицистическом исследовании нравов у Стендаля есть свой особый угол зрения. Для писателя, который был, по словам Горького, «глубоко и философски человечен», точка отсчета всего — удел личности. Стендаль — моралист с мышлением историка. Ему мало очертить структуру общества, ему важно понять, как она преломилась в умах и сердцах. В первую очередь он озабочен тем, в какой мере уклад жизни обеспечивает людям свободу добиваться счастья и как именно происходит сегодня эта исконная и вечная погоня за счастьем. Перерождается ли она в войну всех против всех или, напротив, польза каждого совпадает с пользой всех? Ведь личная польза, по мнению Стендаля, воспринявшего от мыслителей-материалистов XVIII века их учение о великодушном разумном эгоизме,— основа человеческого поведения. Будучи правильно понята, она ведет отнюдь не только к индивидуальному благополучию, а к благополучию всех в рамках правильно организованного сообщества. «Благородная душа,—считал Стендаль,— действует во имя своего счастья, но ее наибольшее счастье состоит в том, чтобы доставить счастье другим». Вот почему в его глазах умение страстно, энергично и честно добиваться своего счастья — не просто личная доблесть, но и гражданская добродетель.

Подобным сопряжением личного и гражданского была, в частности, отмечена, по воспоминаниям Стендаля, эпоха революционной ломки. И это рождало натуры титанические, искренние, пылкие; честолюбие толкало их на поприще служения достойному делу. Иная участь у подданных монархии, да еще монархии выморочной. Ее частично уже омещанившееся, оскудевшее сердцем, до смерти перепуганное дворянство, ханжеское духовенство и бесстыжий в холопстве и наглости торгаш сгрудились у кормушки, выхватывая друг у друга власть, деньги, почести и сплачиваясь лишь тогда, когда надо обороняться против посягательств тех обездоленных, что ютятся на задворках жизни. Героическая страсть не заглохла лишь в отдельных плебеях, не запуганных карательными бандами, не доведенных до отупения тяжелым трудом и не развращенных подачками. «Между тем как высшие классы парижского общества, по-видимому, утрачивают способность к сильным и длительным чувствам,— делится Стендаль своими размышлениями в «Прогулках по Риму» (1829).— страсти развивают ужасающую энергию среди мелкой буржуазии, среди молодых людей, которые... получили хорошее образование, но принуждены трудиться и бороться с настоящей нуждой из-за отсутствия состояния. Ввиду того, что необходимость трудиться освобождает их от множества мелких обязанностей, налагаемых светом, от мыслей и чувств, которые иссушают источник жизни, они сохраняют силу желаний и чувства их глубоки». Правда, и они не всегда могут уберечься от растлевающего влияния окружающего убожества: их погоня за счастьем сплошь и рядом вырождается в горячечное тщеславие, их бунт извращен и едва различим под уродливой корой карьеризма. Но в них

не потух душевный огонь. И писатель, не желающий пробавляться вымученными получувствами «хозяев жизни», находит для себя благодатный источник в сердечных бурях этих пасынков и блудных детей безвременья.

Стендаль убежден, что «все укрепляющаяся потребность в сильных чувствах составляет характерный признак» XIX столетия. Ее не способно удовлетворить процветавшее тогда мертвое подражательство классикам XVII века, поддерживаемое верхами и насаждаемое Французской академией. Оно такой же пережиток былого, как и его придворные покровители. В памфлете «Расин и Шекспир» (1823—1825) и ряде статей Стендаль провозгласил пришествие иного искусства, созвучного изменившейся жизни. Плестись вслед за художниками прошлых веков, считает он, значит невольно лгать современникам, подсовывая им поделки, рассчитанные на вкус их предков. Ведь француз, помнивший взятие Бастилии, казнь Людовика XVI, пожар Москвы, переправу через Березину и битву при Ватерлоо, не похож на своих дедов. Мощный разворот исторических потрясений, предельный накал страстей, столкновение сильных натур — вот что он ищет и в литературе, и на театральных подмостках. И потому он может наслаждаться скорее произведением, близким к трагедиям и хроникам Шекспира, нежели камерными психологическими спектаклями в духе Расина. Однако и Шекспира следует не рабски копировать, но учиться у него создавать народные зрелища, рассчитанные на всех, а не на узкий круг королевских приближенных.

В те годы твердыни классической традиции, где окопались благонамеренные охранители-рутинеры, напористо штурмовали романтики, бывшие, впрочем, столь же благонамеренными во всем, что не касалось художественного творчества. Стендаль тоже именовал себя «романтиком». Но уточнял — «истинный»: помимо их консерватизма в политике, ему было чуждо их пристрастие к унылым плакальщикам о скорбях земных, к «роковым тайнам» и туманным излияниям; ему претили мистические поползновения одних и причудливая безудержная фантазия других. Ему была созвучна их раскованность, сердечный пыл, но он не выносил их ходульности. «Правда, горькая правда» — вот его лозунг. «Исследуем — в этом весь XIX век», и потому повествованию предстоит сделаться «зеркалом, с которым идешь по большой дороге. То оно отражает лазурь небосвода, то грязные лужи и ухабы». Стендаль думает о книгах, где «действие будет похоже на то, что ежедневно происходит на наших глазах», а герои — «такие же, как мы их ежедневно встречаем... ни более напыщенные, ни более натянутые, чем в натуре, а этим многое сказано». Для него писатель — трезвый «историк и политик», который ведет «философское», доходящее до самых глубин, исследование жизни и согласует свое воображение с «железными законами

реального мира». Отыскивая ключи к человеческому поведению в распространенных нравах и обычаях, он не скользит по поверхностным броским приметам, а зарывается в душевную толщу и изнутри обследует побуждения, саму неповторимую манеру переживать, мыслить, поступать, присущую его согражданам. «От всего, что ему предшествовало, XIX век будет отличаться точным и проникновенным изображением человеческого сердца». По сути, все это принципы не столько романтизма, сколько вызревающего реализма XIX столетия.

За этой платформой, опережающей мысль своей эпохи и прокладывающей плодотворные пути в будущее,— подвиг непрерывных и долгих исканий. К правде, которую Стендаль хотел высказать, он шел сквозь годы скитаний и напряженной работы; через усвоение истин, завещанных властителями дум иных поколений, и пересмотр всего, что достигнуто мастерами слова тогдашней Франции, Италии, Англии; сквозь разочаровывающие самостоятельные «прикидки» и обнадеживающее приобщение к бессмертным творениям живописи, музыки, театра; сквозь потрясения своего сердца и потрясения своего века. Последнее пятнадцатилетие жизни и трудов Стендаля — пора расцвета его так не просто и не скоро мужавшего дарования.

На подступах к этой поре Стендалю предстояла еще одна, заключительная проба сил — «Арманс, сцены из жизни парижского салона 1827 года». Здесь уже намечена исходная модель его будущих зрелых романов: мучительные метания в погоне за несбыточным счастьем благородного, тонкого, умного юноши — «чужака», разошедшегося со светской чернью своего круга или попавшего туда извне. Здесь прослежена во всех едва уловимых извивах и парадоксальных скачках «кристаллизация» взаимной тяги двух существ, которым неведома вульгарность, расчет, отравляющая фальшь. Есть здесь в изобилии и выполненные пером иронического графика портреты чванных ничтожеств, ведущих свою генеалогию от крестоносцев и прикрывающихся ревностным благочестием, чтобы втихомолку обделывать очередное выгодное дельце; есть и жесткий, суховатый, пренебрегающий метафорическими узорами и гладкописью аналитический слог. Недостает лишь напряжения, которое сообщают стендалевскому повествованию поступки страстного в своих взлетах и падениях, энергичного, дерзкого завоевателя счастья: не сцементированная подобной историей книга разваливается на отдельные эпизоды и зарисовки, оставаясь во многом угловатым, нарочитым применением литературно-философских теорий Стендаля.

Когда же сама жизнь подскажет ему трагедию недюжинной личности, когда затем атмосфера в канун июльского восстания 1830 года в Париже придаст обыденному уголовному случаю, на который он незадолго до того натолкнулся в судебной газете, грозную многозначительность, из-под пера Стендаля выйдет «Красное и черное». Эта книга хотя

и не рассеяла сразу вокруг своего уже весьма немолодого создателя завесу непонимания, но прославила его имя в памяти поколений, сделав его провозвестником социально-психологической прозы XIX столетия, далеко не исчерпавшей себя и поныне.

«Хроника XIX века» — гласит подзаголовок к «Красному и черному». Почти за полтораста лет, прошедших с тех пор, проведено немало кропотливых изысканий с тем, чтобы расшифровать намеки на события и лица, подвизавшиеся тогда на французском общественном поприще и опознанные под покровом стендалевского вымысла. Подтверждено однажды оброненное Стендалем замечание, что его текст, в котором очень много злободневного и еще больше непосредственно личного, «весь трепещет политическим волнением». И все же «хроникой» его делает не только и даже не столько эта перекличка в частностях, занимающих сегодня разве что искушенных эрудитов. Провинциальный городок, семинария, дом близкого к правительству парижского вельможи — три ступеньки биографии мятежного простолюдина в «Красном и черном» и вместе с тем три пласта «хозяев жизни» во Франции. Приведя Жюльена Сореля, сына плотника — вчерашнего крестьянина, во враждебное соприкосновение с устоями, подпирающими здание монархического государства, Стендаль создал книгу, драматизм которой — драматизм самой пореволюционной истории, преломленной в неповторимо личной судьбе и самых сокровенных переживаниях одаренного юноши, мечущегося между карьерой, счастьем, любовью, смертью.

Обитатели захолустного Верьера, откуда Сорель родом, поклоняются одному всемогущему кумиру — выгоде. Это магическое слово пользуется здесь безграничной властью над умами. Нажиться — путями праведными, а чаще неправедными — спешат все: от тюремщика, выпрашивающего на чай, до отцов города, обирающих округу, от судей и адвокатов, принимающих ордена вместе с теплыми местечками для родственников, до служащих мэрии, спекулирующих застроенными участками. Отбросив спесь, местные дворяне извлекают доходы из источников, которыми прежде брезговали, оставляя их буржуа. Верьерский мэр господин де Реналь при случае не прочь прихвастнуть своим древним родом, но, как заправский предприниматель, владеет гвоздильным заводом, лично торгуется с крестьянами, скупает земли и дома. А на смену этому соперничающему в пошлости с мещанами «владельцу замка» уже идет делец иной закваски — безродный продувной мошенник Вально, оборотистый, начисто лишенный самолюбия, совершенно беззастенчивый, не гнушающийся ничем — будь то обкрадывание бедняков из дома призрения или ловкий шантаж. Царство алчных хапуг, запродавших свои души иезуитам, пресмыкающихся перед королевской властью

до тех пор, пока она их подкармливает подачками,— такова обуржуазившаяся снизу доверху провинция у Стендаля.

В семинарии готовятся духовные пастыри этого скопища рвачей. Здесь шпионство считается доблестью, лицемерие — мудростью, рабская услужливость — высшей добродетелью. За отказ от самостоятельной мысли и холопское преклонение перед церковными авторитетами будущих кюре ждет награда — богатый приход с доброй десятиной, с пожертвованиями битой птицей и горшками масла, которыми завалит своего духовника преданная паства. Так, обещая небесное спасение и сытость на земле, иезуиты готовят слепых в своем послушании служителей церкви, призванных обеспечить устойчивость трона и алтаря.

После выучки в семинарских классах Сорель волею случая проникает в высший парижский свет. В аристократических салонах не принято считать прибыль и рассуждать о плотном обеде, но и здесь царит дух лицемерного уважения к издавна заведенным, утратившим свой смысл обычаям. В глазах завсегдатаев особняка де Ла-Моль вольномыслие опасно, сила характера — опасна, несоблюдение светских приличий — опасно, критическое суждение о церкви и короле — опасно; опасно все, что покушается на традиции, порядок, привилегии, освященные стариной. Среди пожилых аристократов — у них за плечами годы изгнания и придворных интриг — еще встречаются личности по-своему незаурядные, хитроумные и проницательные, вроде старшего де Ла-Моля. Однако, когда историческая судьба хочет кого-то покарать, она лишает его не только ума, но и достойного потомства: светская молодежь, вымуштрованная тиранией ходячих мнений, остроумна, вежлива, элегантна, но зато в высшей степени безмозгла и безлика.

Правда, когда речь идет о защите их касты, среди аристократических посредственностей находятся деятели, злоба и подлость которых могут оказаться угрозой для всей нации. На собрании ультрароялистов-заговорщиков, куда Сорель попадает в качестве секретаря своего вельможного покровителя, разрабатываются планы иностранного вторжения во Францию, финансируемого из-за границы и поддерживаемого изнутри наемниками дворян-землевладельцев и князей церкви. Цель этой затеи — окончательно принудить к молчанию всех несогласных, «подрывателей» основ и «подстрекателей», искоренить остатки «якобинства» в умах, сделать страну поголовно благомыслящей и покорной. В разгар словопрений и склоки этих трусливых мужей, опасающихся даже соседа, но протягивающих все-таки друг другу руки из еще большего страха перед общим врагом — народом, один из них в припадке раздражения выбалтывает суть вожделений, которые, в пору распространения освободительных идей, толкают на заговоры уже не низы, а самые верхи: «Установим, кого надо раздавить. С одной стороны журналисты, избиратели, короче говоря, общественное мнение; молодежь и все, кто ею вос-

хищаются. Пока они себе кружат головы собственным пустословием, мы, господа, пользуемся преимуществом: мы распоряжаемся бюджетом».

Пожиратели национального дохода и власть предержащие, которые конспирируют против своих подданных,— печальный парадокс, позволяющий ощутить пророческую зоркость Стендаля: подобные «бешеные» нечасто встречались прежде, зато ими в избытке заселена новая и новейшая история.

В эпизоде заговора, проведя Сореля через разные круги пыток оскорбленной гордости, которыми тот расплачивается за свое восхождение по лестнице успеха, Стендаль увенчивает пирамиду Реставрации корыстью, граничащей с предательством родины. Пресмыкательство перед всеми вышестоящими и разнузданное стяжательство в провинции, воспитание армии священников в духе воинствующего мракобесия как залог прочности режима, иноземные войска как самое надежное орудие расправы с инакомыслящими — такова эта монархия-пережиток, с хроникальной точностью запечатленная на страницах «Красного и черного».

И как бы подчеркивая черные тени этой картины еще рельефнее, Стендаль бросает на нее багряно-красные отсветы былого — памятных грозовых времен: Революции и Империи. Страх вернувшихся домой под прикрытием чужих штыков дворян заселяет это прошлое злобными призраками. Наоборот, для Стендаля, как и для его детища Сореля, прошлое — героический миф, в котором простые французы, затравленные белым террором и доносами святош, находят подтверждение своему недавнему величию и залог грядущего возрождения. Так обозначаются масштабы историко-философского раздумья в «Красном и черном»: почти полувековые судьбы страны получают в резком сопоставлении эпох, проходящем через всю книгу, памфлетно острое и сжатое воплощение.

Да и личная судьба самого Жюльена Сореля сложилась в тесной зависимости от произошедшей во Франции смены исторической погоды.

Из прошлого он заимствует свой кодекс чести, настоящее обрекает его на бесчестие. Он «создан из того же материала», что и волонтеры Республики, отстоявшие от врагов революцию конца XVIII века. Но этот «человек 93 года» опоздал родиться. Миновала пора, когда положение завоевывали личной доблестью, отвагой, напористостью, умом. Ныне плебею для борьбы за счастье предлагается только то оружие, которое в ходу у застигнутых безвременьем: лицемерие, религиозное ханжество, расчетливое благочестие. И юноша, одержимый мечтой о славе, поставлен перед выбором: либо сгинуть в безвестности, либо применяться к своему веку, «надев мундир по времени» — черную сутану священника. Он подлаживается к уровню провинциальных мещан, в семинарии скрывает свои мысли за постной маской смиренного послушника, угождает своим высокородным хозяевам в Париже. Он отворачивается от

друзей и служит тем, кого в душе презирает; безбожник, он прикидывается святошей; поклонник якобинцев — пытается проникнуть в круг аристократов; будучи наделен острым умом — поддакивает глупцам. Поняв, что «каждый за себя в этой пустыне эгоизма, именуемой жизнью», он ринулся в схватку в надежде победить навязанным ему оружием.

Однако было бы заблуждением свести «Красное и черное» к истории заурядного карьериста, стремящегося к богатству и славе. Встав на путь приспособления, Жюльен не сделался приспособленцем; избрав способы «погони за счастьем», принятые всеми вокруг, он не принял их морали. Само его лицемерие — не униженная покорность, оно — презрительный и дерзкий вызов обществу, сопровождаемый отказом признать право этого общества на уважение и тем более его претензии диктовать человеку нравственные нормы и принципы поведения. Официальные круги — враг, подлый, коварный, мстительный. Пользуясь их благосклонностью, Сорель, однако, не знает за собой духовных долгов перед ними, поскольку, даже обласкивая одаренного юношу, в нем видят не личность, а расторопного слугу.

У Сореля есть свой собственный, независимый от господствующих предписаний свод заповедей, и только им он повинуется неукоснительно. Свод этот несет на себе отпечаток запросов плебея-карьериста, но он предписывает ясную мысль, не ослепленную предрассудками и холуйским трепетом перед чинами, а главное — смелость, энергию в достижении своих целей, неприязнь ко всякой трусости и душевной дряблости как в окружающих, так и особенно в самом себе. И пусть Жюльен вынужден сражаться на незримых комнатных баррикадах, пусть он ходит на приступ не со шпагой в руке, а с лицемерными речами на устах, пусть его подвиги в стане неприятеля никому, кроме него самого, не нужны,— для Стендаля его геройство, искаженное и поставленное на службу сугубо личному честолюбию, все же в чем-то сродни гражданским доблестям, присущим некогда санкюлотам-якобинцам и демократическим низам наполеоновского войска. Недаром, став очевидцем «трех славных дней» революции 1830 года, Стендаль сожалел, что роман его уже близится к завершению,— случись эти уличные бои раньше, он, пожалуй, нашел бы более достойное поприще для своего Сореля. В бунте последнего немало наносного, но в нем нельзя не различить здоровую в своих истоках попытку сбросить социальные и нравственные оковы, обрекающие простолюдина на прозябание. И Сорель ничуть не заблуждается, когда, подводя черту под своей жизнью в заключительном слове на суде, расценивает смертный приговор как классовую месть правящих собственников, которые карают в его лице всех молодых мятежников из народа, восстающих против своего удела.

Естественно, что вторая, бунтарская сторона натуры Жюльена Сореля не может мирно ужиться с его намерением сделать карьеру лице-

мерного святоши. Он способен ко многому себя принудить, но учинить до конца это насилие над собой ему не дано. Для него становятся чудовищной мукой семинарские упражнения в аскетическом благочестии. Ему приходится напрягаться из последних сил, чтобы не выдать насмешливого и гневного презрения к аристократическим манекенам в парижских салонах. «В этом существе почти ежедневно бушевала буря», замечает Стендаль, и вся духовная история стендалевского честолюбца соткана из приливов и отливов неистовых страстей, которые разбиваются о плотину неумолимого «надо», диктуемого разумом и осторожностью. В этой раздвоенности, в конечной неспособности подавить в себе гордость, врожденную честность, и кроется причина того, что грехопадению, которое поначалу кажется самому Сорелю возвышением, не суждено свершиться вполне. В сущности, при его уме не так уж сложно выбраться из ловушки, куда он попал после письма, разрушающего надежды на блистательный брак. Да и будь он просто выжигой, он мог бы спокойно принять предложенные ему «отступные». Ума-то на это хватило бы, а вот низости — нет. Совесть запрещает стерпеть незаслуженное оскорбление, совесть не позволяет преодолеть то расстояние между воспитанником ветерана Франции героической и преуспевшим карьеристом Франции оскудевшей, которое Сорель покрыл было благодаря своей толковости. «Красное и черное» — не просто история краха беззастенчивого ловца удачи, но прежде всего трагедия несовместимости в пору безвременья мечты о счастье со служением подлинному делу, трагедия героического по своим задаткам характера, которому не дали состояться.

Не находя выхода в гражданском деянии, ранимая и пылкая сердечность Сореля безбоязненно выплескивается наружу лишь за пределами общества, там, куда закрыт доступ обману и мелочной злобе. Вся жизнь его на людях — мучительное самообуздание. Только в редкие минуты он отдается бездумной радости не находиться в постоянной вражде со всеми и вся. В горах близ Верьера, оставшись наедине с самим собой, в тихие вечера в загородном поместье, в безансонском соборе, весь отдавшись торжественному перезвону колоколов, в парижской опере, внимая восхитительному голосу итальянского певца, Жюльен переживает блаженные мгновения, когда тонкая восприимчивость, по-детски безотчетное поклонение красоте заполняют его до краев. Но особенно громко эта дивная музыка счастья начинает звучать в нем в моменты, когда любовь пробуждает всю его самоотверженность и нежность, когда каждое движение его души находит отклик в близкой женщине. В любви Сорель испытывается строже всего и получает писательское благословение, невзирая на все свои наивные попытки превратить ее в инструмент своих тщеславных замыслов. То, что попытки эти обречены, что он без остатка отдается страсти, вместо того чтобы использовать ее ради выгоды, есть в глазах Стендаля вернейший признак ве-

личия, которое не избавляет ни от заблуждений, ни от податливости на иные соблазны, но запрещает быть подлым.

Социальный по своей природе разлад талантливого плебея и ничтожных верхов, ставший разладом двух сторон его собственной души, находит свое продолжение — и, быть может, в этом-то секрет притягательности «Красного и черного» — в самых потаенных уголках мятущегося сердца, оборачивается расщеплением разума и чувства, расчета и непосредственного порыва. Логические умозаключения ведут Жюльена к убеждению, что быть счастливым — значит иметь богатство и власть. Любовь опрокидывает все эти хитросплетения логики. Свою связь с госпожой де Реналь он затевает поначалу по образцу книжного донжуана. Сделаться возлюбленным высокопоставленной дамы, жены мэра,— для него вопрос «чести», но первая ночная встреча приносит ему лишь лестное сознание преодоленной трудности. И только позже, забыв об утехах тщеславия, отбросив роль соблазнителя и погрузившись в поток очищенной от всякой накипи нежности, Жюльен узнает подлинное счастье. Подобное же открытие ждет его и в истории с Матильдой. Когда он ночью взбирается по лестнице с пистолетами в карманах, он подвергает себя смертельному риску для того, чтобы возвыситься над молодыми ничтожествами из салона маркиза де Ла-Моль, которым его предпочла гордая аристократка. И опять через несколько дней расчеты юного честолюбца сменяются испепеляющей страстью. Он мучительно переживает охлаждение Матильды. Притворные ухаживания за благочестивой вдовой маршала де Фервак, казалось бы, могут без труда проложить ему дорогу к епископской мантии. И в этот момент становится ясно, что долгожданный успех, венчающий все упования и интриги, не имеет для него особой цены, что у него нет такой уж неутолимой жажды властвовать и внушать почтение, что самое большое его утешение — в любви Матильды.

Так обозначается двойное движение образа у Стендаля: человек идет по жизни в поисках счастья; его ум исследует мир, повсюду срывая покровы лжи; его внутренний взор обращен в недра собственной души, где кипит непрерывная борьба природной чистоты против миражей, навеянных воображением честолюбца. Роковой и нелепый выстрел в госпожу де Реналь резко обрывает это медленное, подспудное миро- и самопознание. Оно разрешается здесь в стихийном кризисе, когда конечные истины еще не осмыслены, но уже властно завладели личностью, толкая ее на отчаянный шаг. Пока что они зыбки, неотчетливы, не поддаются закреплению в слове, и Стендаль, обычно столь щедрый на психологические разъяснения, ограничивается тем, что предельно сжато сообщает внешнюю канву происшествия. Каждому из нас в меру своей чуткости предложено ощутить действительно несказа́нное, близкое к невменяемости смятение — запутаннейший клубок ярости, отчая-

ния, боли, тоски, жажды отомстить за поруганную честь. В душе Сореля рушится вера в самое дорогое, в незапятнанную и втайне боготворимую святыню. Жизнь вдруг предстает такой постылой, а собственные прошлые упования такой бессмыслицей, что единственный выход — уничтожить самого себя, уничтожив и то, чему до сих пор молился. Попытка Сореля убить обожаемую женщину — одновременно попытка самоубийства, он это, по крайней мере, подозревает. И потому, словно завороженный, мчится навстречу двум смертям. Позже, в тюремной камере, к нему придет выстраданное предсмертное прозрение. «Оттого я теперь мудр, что раньше был безумен»,— говорится в эпиграфе к одной из заключительных глав «Красного и черного»; покушение в церкви и есть последний неистовый взрыв былого безумия и вместе с тем порог обретенной мудрости. Переступив его, Сорель отбросил ложь, которую прежде принимал за правду.

В первую очередь утешительную ложь, которой он, при всей своей настороженности, обольщался, где-то в закоулках подсознания лелея надежду, что в обществе не вовсе померкли проблески разумности и оно когда-нибудь да оценит его. «Никакого естественного права не существует. Это словечко — просто устаревшая чепуха... Право возникает только тогда, когда объявляется закон, воспрещающий делать то или иное под страхом кары. А до того, как появится закон, только и есть естественного, что львиная сила или потребность живого существа, испытывающего голод или холод,— словом, потребность... Нет, люди, пользующиеся всеобщим почетом,— это просто жулики, которым посчастливилось, что их не поймали на месте преступления». Волчьи нравы джунглей — таков историко-философский приговор, который устами подсудимого Сореля выносит жизненному укладу эпохи моралист Стендаль, завершая им свою хронику безвременья.

Другая истина, озарившая Жюльена в тюрьме, приносит, наконец, отдохновение его измученной душе. В преддверии смерти он постигает тщетность своих честолюбивых грез. И тогда разум помогает юноше стать самим собой и узреть счастье там, где оно не химерично. Он ошибался, дав себя поглотить заботам о карьере. Он ошибался в ближних, ослепленный внешним блеском и словесной мишурой. Единственные часы ничем не отравленного блаженства, выпавшие ему на долю,— летние вечера в саду, когда он, переполненный нежностью и сладостными мечтами, трепеща и ликуя, сжимал руку госпожи де Реналь, а липы над головой тихо шелестели и издалека доносился лай собак на мельнице... Единственный друг, который был у него,— застенчивый, неловкий Фуке, который когда-то смущал его добросердечной грубоватостью манер и простонародным выговором. В тюрьме ожидающий казни переживает очищение; в нем просыпается лежавшее дотоле под спудом великодушие, склонность к мечтательной задумчивости, щедрая

доброта, душевное тепло — все то, что он раньше скрывал даже от самого себя.

И это обновление делает для Сореля прозрачной суть близости с обеими любившими его женщинами. Матильда — натура сильная, высокомерная, «головная». В страсти ей дороже всего героическая поза, опьяняющее сознание своей непохожести на бесцветных кукол из ее великосветского окружения. Ее связывает с Жюльеном лихорадочная любовь-вражда двух честолюбцев, построенная не столько на сердечном влечении, сколько на жажде возвыситься в собственных глазах и глазах других. Освобождение ее возлюбленного от дурмана тщеславия совершенно естественно приводит к концу их горячечную любовь.

И тогда в нем опять просыпается прежняя привязанность, никогда не затухавшая вовсе, но едва теплившаяся где-то под грудой наносных, иссушающих сердце устремлений. Любовь трогательно бесхитростной и обаятельной, страдающей в своей пошлой среде, доверчивой и мягкой госпожи де Реналь — подлинное чудо, подаренное судьбой. Разве можно сравнить с ним преклонение глупцов и ничтожеств? Разве есть что-либо драгоценнее на земле? В восставшей из пепла первой любви затравленный Жюльен обретает счастье, которого так мучительно, долго и порой глупо искал совсем не там, где оно его ждало. Последние дни, проведенные рядом с этой женщиной,— пора тихой, умиротворенной радости, когда он, устав от жизненных схваток, напряженно вслушивается в снизошедший на него благословенный покой.

Это далось ему, правда, слишком дорогой ценой — отречением от жизни. Обретенная им под конец свобода — свобода умереть, тупик. Только так смог он решить мучительный выбор, перед которым был поставлен не по своей воле: жить, подличая, или уйти в небытие, сохранив чистоту. Иного решения безвременье не дает. Стендаль слишком чуток, чтобы не замечать, как тень гильотины зловеще легла на предсмертную идиллию его героев. Мысль самого писателя тревожно бьется в замкнутом круге и, не в силах разомкнуть кольцо, застывает в скорбном и гневном укоре своему веку.

Стендаль не был одиноким в этом упреке отчаявшегося. Он слышался тогда почти во всех исповедях байронических печальников, чьи проклятия и рыдания сотрясали литературу в самых разных уголках Европы. Это был многоголосый отклик на вереницу духовно-исторических трагедий стендалевского пятидесятилетия, когда завещанная просветителями XVIII века буржуазная революционность, достигнув своего прометеевского взлета в якобинской Франции, была ловко выхолощена и подменена казарменным цезаризмом Империи, а затем затоптана полчищами Священного Союза; когда в самой этой революционности, по мере захвата торгово-промышленными кругами ключевых позиций, происходило непоправимое оскудение, и она перерождалась в прекраснодушное

фразерство, прикрывавшее хищнический пафос обогащения во что бы то ни стало; когда традиционное республиканское свободомыслие еще вело ожесточенные бои на окраинах, но в таких странах, как Франция и Англия, уже выдыхалось и мельчало, словно предчувствуя свой неминуемый закат и подспудное вызревание иной, пролетарской революционности. Но если в признаниях романтиков пореволюционное распутье возвестило о себе скорее иносказательно, то Стендаль — один из немногих, в чьем творчестве оно себя прямо осознало. Отсюда — особая повествовательная структура «Красного и черного» и других стендалевских книг.

Стендаль не терпит загадок, манящих недосказанностей, как избегает он и пространной самодостаточной живописи словом. Собранность, ясность, точность — основные приметы его почерка. Под его писательским микроскопом находится умело и неслучайно выбранный срез житейского пласта — неповторимая манера личности строить свою судьбу. Здесь он хочет добиться полной отчетливости, остальное для него подсобно. Он предельно лаконичен в воссоздании быта, пейзажей, портретов; его мало занимает и собственно интрига — в ней нет запутанных ходов, ответвлений, неожиданных подвохов. У «Красного и черного» открытая и стройная, одностержневая композиция, она позволяет сосредоточиться не столько на происшествиях, сколько на переживаниях. Ритм рассказа подчинен той же задаче, в нем нет плавного нарастания от завязки к высшему напряжению, он нарочито неровен: замедленное течение аналитико-психологических отрывков чередуется со скупыми и беглыми зарисовками, затем уступает место стремительному рывку в узловых и поворотных моментах, чтобы вскоре опять войти в русло неторопливых наблюдений за мельчайшими оттенками сердечных перемен. Тщательно продуманы гибкие переходы от самораскрытия Жюльена во внутренних монологах к несвободно-прямой речи, где точки зрения писателя и героя как бы совмещены, от афористического диалога, лишь подводящего черту под известным нам во всех извивах становлением мысли,— к стороннему авторскому комментарию по ходу дела, от краткой передачи атмосферы — к эпизоду. Стендаль не раз повторял, что без математически строгого, предельно простого стиля текучий, изменчивый поток, образующий самую для него важную историю духовных поисков и открытий, существовать не может. Очищенный от витиеватых красивостей, жертвующий всеми изысками ради сути, шероховатый и естественный слог Стендаля не ворожит, не зачаровывает, а прежде всего пробуждает и держит в постоянной напряженности наше аналитическое сознание, подчеркивая по-своему захватывающую поэзию «Красного и черного». Ее особая неотразимость — в приобщении нас к работе всепроникающего интеллекта, не останавливающегося ни перед какими запретами, не довольствующегося приблизительными намеками и разрывающего все покровы в своей жажде докопаться до заботливо

оберегаемых секретов сознания, распутать и сделать явной подспудную логику сердца, в которой преломилась логика времени.

Баррикадные сражения 1830 года в Париже подтвердили мысль, положенную в основу «Красного и черного»,— только среди простолюдинов жива еще героическая энергия. Но Стендаль не обольщался насчет сменившей дворянскую Реставрацию монархии «короля-мещанина» Луи-Филиппа — вотчины дорвавшихся до власти биржевиков. Вынужденный служить, Стендаль отправляется консулом сначала в Триест, потом в Чивита-Веккью, приморский городок близ Рима. Здесь, в Италии, где все напоминало ему об ушедшем, о пылких увлечениях и погибших друзьях молодости, пройдут его последние годы. В пустынном консульском доме ему одиноко, тоскливо. Семьи нет. Чиновничьи обязанности тяготят. Писательство приносит одни разочарования, книги расходятся по-прежнему туго, никто их не хочет ни покупать, ни печатать. Когда невеселые думы обступают со всех сторон, Стендаль бежит из своего богом забытого городка, подолгу живет в Риме. Иногда удается выхлопотать отпуск по болезни, тогда он спешит на родину. Но едва очутившись в Париже, он опять задыхается — столица торгашеской монархии поглощена горячкой накопительства и мелкой правительственной возней. И тем не менее, наперекор незаметно подкравшимся недугам старости, наперекор личной неустроенности, краху свободолюбивых надежд и литературному невезению, Стендаль пишет много и упорно, поверяя бумаге свое негодование, грусть, мечты — все то, что государственному служащему Анри Бейлю не положено высказывать вслух. Пусть многое из написанного обречено валяться в ящиках стола и остаться незавершенным в черновиках, пусть из предосторожности приходится даже кое-что зашифровывать,— все равно без этой отдушины жить невмоготу.

Среди таких оборванных на полуслове в 1836 году рукописей — «Люсьен Левен», роман о блужданиях очередного «отщепенца» в поисках чистого дела по всем закоулкам политического балагана под вывеской «Июльская монархия». У Стендаля, пожалуй, нет книги горше, скептичнее, язвительнее. Снова юноша — добросердечный, совестливый, хрупкий,— помышляет о достойном занятии в жизни. Снова муки отвращения, в которое повергает его сперва армия служак-солдафонов, превращенная в войско полицейских карателей, затем — подкуп, клевета, шантаж, мошенничество, процветающие в государстве банковских заправил и хищных лавочников. Рассказ Стендаля здесь чаще, чем обычно, становится убийственно пародийным и низводит нравы мещанской Франции до стыдного фарса. Страна, где усмирение рабочих прославляется газетами как подвиг, где одинокие подвижники республиканизма поглощены распрями со скудоумными приверженцами средневековой старины, не ведая при этом, что работают для вящего торжества

разбогатевших бакалейщиков, где министры и депутаты-шулеры состоят в услужении у еще более ловких плутов-банкиров, эта Франция, по заключению Стендаля, окончательно промотала свою свежесть и здоровье. Стендаль — якобинец, оборачивающийся назад, чтобы от имени вчерашней революции бросить слова презрения сегодняшнему обществу, родовыми схватками которого она была; он — демократ, тревожно усомнившийся в демократии, где верховодит хам и стяжатель; он — гуманист, грустно взирающий на падение человека и в тоске мечущийся между мечтой о гордом, мужественном бунтаре и усталой жаждой забыться в тихом уединении, в стороне от пошлых страстишек.

На родине он чувствует себя с каждым годом все более отчужденно. Постепенно его почти всецело приковывает к себе возрожденческая и карбонарская Италия. Она не изведала, по мысли Стендаля, ни тирании всеподавляющего абсолютизма, как Франция XVII—XVIII веков, ни мещанской цивилизации с ее расчетливостью и прописным скудоумием. И оттого на итальянской почве рождались натуры мощные, вполне искренние в подвиге и в злодействе, нетеатральные в своем величии, откровенные в своем злодействе. Еще в перерыве работы над «Красным и черным» Стендаль написал новеллу «Ванина Ванини», где создана фигура карбонария Пьетро Миссирилли, которому неведомо ущербное расщепление личности и для которого пожертвовать любовью, если это необходимо во имя служения родине, столь же естественно, как дыхание. Позднее, обнаружив старинные рукописи, в протокольно-наивном стиле излагавшие историю знатных итальянских семейств, Стендаль обработал ряд кровавых эпизодов для своих «Итальянских хроник», напечатанных отдельной книгой лишь его душеприказчиком.

Хроника рода Фарнезе подтолкнула Стендаля и к тому, чтобы приступить к последней его завершенной книге «Пармская обитель» (1839). Перенеся события в столь знакомую ему Италию XIX века, Стендаль сделал стержнем романа судьбы того поколения итальянцев, которые вступили в жизнь на исходе XVIII столетия, в момент опьянения грезой о независимой, сплоченной родине, для которых сражение при Ватерлоо ознаменовало крах восторженных иллюзий, но которые продолжали отстаивать свое личное достоинство, вопреки давящему убожеству многочисленных карликовых княжеств тогдашней лоскутной Италии. Они исповедуют религию счастья, обретаемого в нежной дружбе непорочных душ, в пылкой страсти. Их юное безрассудство, изобретательность, отвага, какая-то особая необремененность житейскими заботами — все это порождает в суховато-аналитическом, блещущем тонким остроумием стендалевском повествовании непривычную для него стихию романтики, резко оттененной шутовским кривлянием придворных тупиц и паяцев. Вначале — это стремительный разворот приключений, непредвиденных встреч, странствий по дорогам, заговор и побег из кре-

пости, потом — проникновенное и чуть-чуть замедленное, прозрачное в своем целомудрии пробуждение робкой любви в девственных сердцах узника и дочери тюремщика, в конце — меланхолическая скорбь о счастье, которое оказалось запретным плодом, тайком украденным у хмурой судьбы. В «Пармской обители» лирическая страстность самого Стендаля прорывается откровеннее, чем где бы то ни было, и в прославлении прекрасных раскованных душ, и в печали, и жизнях, исковерканных мракобесием.

To the happy few[1] — поставил Стендаль английское изречение последней строкой «Пармской обители». Вверяя свою книгу избранным умам, он как бы заслонял себя от привычного уже гробового молчания, изредка нарушаемого столь же привычной хулой, которой встречали его сочинения. На сей раз случилось непредвиденное. Глубокой осенью 1840 года в Чивита-Веккью пришла очередная книжка парижского «Ревю де дё монд» с восторженным «Этюдом о Бейле», подписанным именем самого Бальзака. Стендаль был так потрясен и растроган, что на следующий день в черновике письма к знаменитому соотечественнику обронил: «Вы сжалились над сиротой, брошенным посреди улицы». Он не знал, что Бальзак отнюдь не единственное исключение, что есть у него и другие, не менее достойные поклонники. Еще «Красным и черным» в далекой России зачитывался Пушкин, из Германии Стендаля давно заметил Гете. У всех троих было чутье реалистов, оно-то и помогло им угадать в Стендале самобытного мастера и своего собрата, а не балующегося пером дилетанта, каким он казался романтику Гюго и даже своему младшему другу Мериме.

Стендаль умер в 1842 году непризнанным, но уповая на справедливость потомков и твердо веря, что его станут читать через сто лет. Он не обманулся в своих надеждах. М. Горький назвал однажды его книги «письмами в будущее». Почту сменяющихся поколений трудно заподозрить в чрезмерном усердии, но стендалевских писем она не затеряла.

С. ВЕЛИКОВСКИЙ

---

[1] Для немногих счастливцев *(англ.)*.

КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ

ХРОНИКА XIX ВЕКА

К ЧИТАТЕЛЮ

Сей труд уже готов был появиться в печати, когда разразились великие июльские события и дали всем умам направление, мало благоприятное для игры фантазии. У нас есть основания полагать, что нижеследующие страницы были написаны в 1827 году.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Правда, горькая правда.
Дантон

I
ГОРОДОК

Put thousands together-less bad,
But the cage less gay.
Hobbes [1].

Городок Верьер, пожалуй, один из самых живописных во всем Франш-Конте. Белые домики с островерхими крышами красной черепицы раскинулись по склону холма, где купы мощных каштанов поднимаются из каждой лощинки. Ду бежит в нескольких сотнях шагов пониже городских укреплений; их когда-то выстроили испанцы, но теперь от них остались одни развалины.

С севера Верьер защищает высокая гора — это один из отрогов Юры. Расколотые вершины Верра укрываются снегами с первых же октябрьских заморозков. С горы несется поток; прежде чем впасть в Ду, он пробегает через Верьер и на своем пути приводит в движение множество лесопилок. Эта нехитрая промышленность приносит известный достаток большинству жителей, которые скорее похожи на крестьян, нежели на горожан. Однако не лесопилки обогатили этот городок; производство набивных тканей, так называемых мюлузских набоек,— вот что явилось источником всеобщего благосостояния, которое после падения Наполеона позволило обновить фасады почти что у всех домов в Верьере.

Едва только вы входите в город, как вас оглушает грохот какой-то тяжело ухающей и страшной на вид машины. Два-

[1] Соберите вместе тысячи людей — оно как будто не плохо. Но в клетке им будет не весело. *Гоббс (англ.).*

дцать тяжелых молотов обрушиваются с гулом, сотрясающим мостовую; их поднимает колесо, которое приводится в движение горным потоком. Каждый из этих молотов изготовляет ежедневно уж не скажу сколько тысяч гвоздей. Цветущие, хорошенькие девушки занимаются тем, что подставляют под удары этих огромных молотов кусочки железа, которые тут же превращаются в гвозди. Это производство, столь грубое на вид,— одна из тех вещей, которые больше всего поражают путешественника, впервые очутившегося в горах, отделяющих Францию от Гельвеции. Если же попавший в Верьер путешественник полюбопытствует, чья это прекрасная гвоздильная фабрика, которая оглушает прохожих, идущих по Большой улице, ему ответят протяжным говорком: «А-а, фабрика-то — господина мэра».

И если путешественник хоть на несколько минут задержится на Большой улице Верьера, что тянется от берега Ду до самой вершины холма,— верных сто шансов против одного, что он непременно повстречает высокого человека с важным и озабоченным лицом.

Стоит ему показаться, все шляпы поспешно приподнимаются. Волосы у него с проседью, одет он во все серое. Он кавалер нескольких орденов, у него высокий лоб, орлиный нос, и в общем лицо его не лишено известной правильности черт, и на первый взгляд даже может показаться, что в нем вместе с достоинством провинциального мэра сочетается некоторая приятность, которая иногда еще бывает присуща людям в сорок восемь — пятьдесят лет. Однако очень скоро путешествующий парижанин будет неприятно поражен выражением самодовольства и заносчивости, в которой сквозит какая-то ограниченность, скудость воображения. Чувствуется, что все таланты этого человека сводятся к тому, чтобы заставлять платить себе всякого, кто ему должен, с величайшей аккуратностью, а самому с уплатой своих долгов тянуть как можно дольше.

Таков мэр Верьера, г-н де Реналь. Перейдя улицу важной поступью, он входит в мэрию и исчезает из глаз путешественника. Но если путешественник будет продолжать свою прогулку, то, пройдя еще сотню шагов, он заметит довольно красивый дом, а за чугунной решеткой, окружающей владение,— великолепный сад. За ним, вырисовывая линию горизонта, тянутся бургундские холмы, и кажется, словно все это задумано нарочно, чтобы радовать взор. Этот вид может заставить путешественника забыть о той зачумленной мелким барышничеством атмосфере, в которой он уже начинает задыхаться.

Ему объяснят, что дом этот принадлежит г-ну де Реналю. Это на доходы от большой гвоздильной фабрики построил верьерский мэр свой прекрасный особняк из тесаного камня, а сейчас он его отделывает. Говорят, предки его — испанцы, из старинного рода, который будто бы обосновался в этих краях еще задолго до завоевания их Людовиком XIV.

С 1815 года господин мэр стыдится того, что он фабрикант: 1815 год сделал его мэром города Верьера. Массивные уступы стен, поддерживающих обширные площадки великолепного парка, спускающегося террасами до самого Ду,— это тоже заслуженная награда, доставшаяся г-ну де Реналю за его глубокие познания в скобяном деле.

Во Франции нечего надеяться увидать такие живописные сады, как те, что опоясывают промышленные города Германии — Лейпциг, Франкфурт, Нюрнберг и прочие. Во Франш-Конте чем больше нагорожено стен, чем больше щетинятся ваши владения камнями, нагроможденными один на другой, тем больше вы приобретаете прав на уважение соседей. А сады г-на де Реналя, где сплошь стена на стене, еще потому вызывают такое восхищение, что кой-какие небольшие участки, отошедшие к ним, господин мэр приобретал прямо-таки на вес золота. Вот, например, и та лесопилка на самом берегу Ду, которая вас так поразила при въезде в Верьер, и вы еще обратили внимание на имя «Сорель», выведенное гигантскими буквами на доске через всю крышу,— она шесть лет назад находилась на том самом месте, где сейчас г-н де Реналь возводит стену четвертой террасы своих садов.

Как ни горд господин мэр, а пришлось ему долгонько обхаживать да уговаривать старика Сореля, мужика упрямого, крутого; и пришлось ему выложить чистоганом немалую толику звонких золотых, чтобы убедить того перенести свою лесопилку на другое место. А что касается до общественного ручья, который заставлял ходить пилу, то г-н де Реналь благодаря своим связям в Париже добился того, что его отвели в другое русло. Этот знак благоволения он снискал после выборов 1821 года.

Он дал Сорелю четыре арпана за один, в пятистах шагах ниже по берегу Ду, и хотя это новое местоположение было много выгоднее для производства еловых досок, папаша Сорель — так стали звать его с тех пор, как он разбогател,— ухитрился выжать из нетерпения и мании собственника, обуявших его соседа, кругленькую сумму в шесть тысяч франков.

Правда, местные умники злословили по поводу этой сделки. Как-то раз, в воскресенье, это было года четыре тому назад,

г-н де Реналь в полном облачении мэра возвращался из церкви и увидел издалека старика Сореля: тот стоял со своими тремя сыновьями и ухмылялся, глядя на него. Эта усмешка пролила роковой свет в душу г-на мэра — с тех пор его гложет мысль, что он мог бы совершить обмен намного дешевле.

Чтобы заслужить общественное уважение в Верьере, очень важно, громоздя как можно больше стен, не прельститься при этом какой-нибудь выдумкой этих итальянских каменщиков, которые пробираются весной через ущелья Юры, направляясь в Париж. Подобное новшество снискало бы неосторожному строителю на веки вечные репутацию сумасброда, и он бы навсегда погиб во мнении благоразумных и умеренных людей, которые как раз и ведают распределением общественного уважения во Франш-Конте.

По совести сказать, эти умники проявляют совершенно несносный деспотизм, и вот это-то гнусное словцо и делает жизнь в маленьких городках невыносимой для всякого, кто жил в великой республике, именуемой Парижем. Тирания общественного мнения — и какого мнения! — так же глупа в маленьких городах Франции, как и в Американских Соединенных Штатах.

II

ГОСПОДИН МЭР

> Престиж! Как, сударь, вы думаете, это пустяки? Почет от дураков, глазеющая в изумлении детвора, зависть богачей, презрение мудреца.
>
> *Барнав.*

К счастью для г-на де Реналя и его репутации правителя города, городской бульвар, расположенный на склоне холма, на высоте сотни футов над Ду, понадобилось обнести громадной подпорной стеной. Отсюда благодаря на редкость удачному местоположению открывается один из самых живописных видов Франции. Но каждую весну бульвар размывало дождями, дорожки превращались в сплошные рытвины, и он становился совершенно непригодным для прогулок. Это неудобство, ощущаемое всеми, поставило г-на де Реналя в счастливую необходимость увековечить свое правление сооружением каменной стены в двадцать футов вышины и тридцать — сорок туазов длины.

Парапет этой стены, ради которой г-ну де Реналю пришлось трижды совершить путешествие в Париж, ибо предпоследний министр внутренних дел объявил себя смертельным врагом верьерского бульвара,— парапет этот ныне возвышается примерно на четыре фута над землей. И, словно бросая вызов всем министрам, бывшим и нынешним, его сейчас украшают гранитными плитами.

Сколько раз, погруженный в воспоминания о балах недавно покинутого Парижа, опершись грудью на эти громадные каменные плиты прекрасного серого цвета, чуть отливающего голубизной, я блуждал взором по долине Ду. Вдали, на левом берегу, вьются пять-шесть лощин, в глубине которых глаз отчетливо различает струящиеся ручьи. Они бегут вниз, там и сям срываются водопадами и, наконец, низвергаются в Ду. Солнце в наших горах печет жарко, а когда оно стоит прямо над головой, путешественник, замечтавшийся на этой террасе, защищен тенью великолепных платанов. Благодаря наносной земле они растут быстро, и их роскошная зелень отливает синевой, ибо господин мэр распорядился навалить землю вдоль всей своей громадной подпорной стены; несмотря на сопротивление муниципального совета, он расширил бульвар примерно на шесть футов (за что я его хвалю, хоть он и ультрароялист, а я либерал), и вот почему сия терраса, по его мнению, а также по мнению г-на Вально, благоденствующего директора верьерского дома призрения, ничуть не уступает Сен-Жерменской террасе в Лэ.

Что до меня, то я могу посетовать только на один недостаток Аллеи Верности — официальное это название можно прочесть в пятнадцати или двадцати местах на мраморных досках, за которые г-на де Реналя пожаловали еще одним крестом,— на мой взгляд, недостаток Аллеи Верности — это варварски изуродованные могучие платаны: их по приказанию начальства стригут и карнают немилосердно. Вместо того, чтобы уподобляться своими круглыми, приплюснутыми кронами самым невзрачным огородным овощам, они могли бы свободно приобрести те великолепные формы, которые видишь у их собратьев в Англии. Но воля господина мэра нерушима, и дважды в год все деревья, принадлежащие общине, подвергаются безжалостной ампутации. Местные либералы поговаривают,— впрочем, это, конечно, преувеличение,— будто рука городского садовника сделалась значительно более суровой с тех пор, как господин викарий Малон завел обычай присваивать себе плоды этой стрижки.

Сей юный священнослужитель был прислан из Безансона несколько лет тому назад для наблюдения за аббатом Шеланом и еще несколькими кюре в окрестностях. Старый полковой лекарь, участник итальянской кампании, удалившийся на покой в Верьер и бывший при жизни, по словам мэра, сразу и якобинцем и бонапартистом, как-то раз осмелился попенять мэру на это систематическое уродование прекрасных деревьев.

— Я люблю тень,— отвечал г-н де Реналь с тем оттенком высокомерия в голосе, какой допустим при разговоре с полковым лекарем, кавалером ордена Почетного легиона,— я люблю тень и велю подстригать мои деревья, чтобы они давали тень. И я не знаю, на что еще годятся деревья, если они не могут, как, например, полезный орех, *приносить доход.*

Вот оно, великое слово, которое все решает в Верьере: приносить доход; к этому, и только к этому сводятся неизменно мысли более чем трех четвертей всего населения.

Приносить доход — вот довод, который управляет всем в этом городке, показавшемся вам столь красивым. Чужестранец, очутившийся здесь, плененный красотой прохладных, глубоких долин, опоясывающих городок, воображает сперва, что здешние обитатели весьма восприимчивы к красоте; они без конца твердят о красоте своего края; нельзя отрицать, что они очень ценят ее, ибо она-то и привлекает чужестранцев, чьи деньги обогащают содержателей гостиниц, а это, в свою очередь, в силу действующих законов о городских пошлинах приносит доход городу.

Однажды в погожий осенний день г-н де Реналь прогуливался по Аллее Верности под руку со своей супругой. Слушая рассуждения своего мужа, который разглагольствовал с важным видом, г-жа де Реналь следила беспокойным взором за движениями трех мальчиков. Старший, которому можно было дать лет одиннадцать, то и дело подбегал к парапету с явным намерением взобраться на него. Нежный голос произносил тогда имя Адольфа, и мальчик тут же отказывался от своей смелой затеи. Г-же де Реналь на вид можно было дать лет тридцать, но она была еще очень миловидна.

— Как бы ему потом не пришлось пожалеть, этому выскочке из Парижа,— говорил г-н де Реналь оскорбленным тоном, и его обычно бледные щеки казались еще бледнее.— У меня найдутся друзья при дворе...

Но хоть я и собираюсь на протяжении двухсот страниц рассказывать вам о провинции, все же я не такой варвар, чтобы изводить вас длиннотами и *мудреными обиняками* провинциального разговора.

Этот выскочка из Парижа, столь ненавистный мэру, был не кто иной, как г-н Аппер, который два дня тому назад ухитрился проникнуть не только в тюрьму и в верьерский дом призрения, но также и в больницу, находящуюся на безвозмездном попечении господина мэра и самых видных домовладельцев города.

— Но,— робко отвечала г-жа де Реналь,— что может вам сделать этот господин из Парижа, если вы распоряжаетесь имуществом бедных с такой щепетильной добросовестностью?

— Он и приехал сюда только затем, чтобы охаять нас, а потом пойдет тискать статейки в либеральных газетах.

— Да ведь вы же никогда их не читаете, друг мой.

— Но нам постоянно твердят об этих якобинских статейках; все это нас отвлекает и *мешает нам делать добро*. Нет, что касается меня, я никогда не прощу этого нашему кюре.

III

ИМУЩЕСТВО БЕДНЫХ

Добродетельный кюре, чуждый всяких происков, поистине благодать божья для деревни.

Флери.

Надобно сказать, что верьерский кюре, восьмидесятилетний старец, который благодаря живительному воздуху здешних гор сохранил железное здоровье и железный характер, пользовался правом в любое время посещать тюрьму, больницу и даже дом призрения. Так вот г-н Аппер, которого в Париже снабдили рекомендательным письмом к кюре, имел благоразумие прибыть в этот маленький любознательный городок ровно в шесть часов утра и незамедлительно явился к священнослужителю на дом.

Читая письмо, написанное ему маркизом де Ла-Молем, пэром Франции и самым богатым землевладельцем всей округи, кюре Шелан призадумался.

«Я — старик, и меня любят здесь,— промолвил он наконец вполголоса, разговаривая сам с собой,— они не посмеют». И тут же, обернувшись к приезжему парижанину, сказал, подняв глаза, в которых, несмотря на его преклонный возраст, сверкал священный огонь, свидетельствовавший о том, что ему доставляет радость совершить благородный, хотя и несколько рискованный поступок:

— Идемте со мной, сударь, но я попрошу вас не говорить в присутствии тюремного сторожа, а особенно в присутствии надзирателей дома призрения, решительно ничего о том, что мы с вами увидим.

Господин Аппер понял, что имеет дело с мужественным человеком; он пошел с почтенным священником, посетил с ним тюрьму, больницу, дом призрения, задавал немало вопросов, но, невзирая на странные ответы, не позволил себе высказать ни малейшего осуждения.

Осмотр этот продолжался несколько часов. Священник пригласил г-на Аппера пообедать с ним, но тот отговорился тем, что ему надо написать массу писем: ему не хотелось еще больше компрометировать своего великодушного спутника. Около трех часов они отправились заканчивать осмотр дома призрения, а затем вернулись в тюрьму. В дверях их встретил сторож — кривоногий гигант саженного роста; его и без того гнусная физиономия сделалась совершенно отвратительной от страха.

— Ах, сударь,— сказал он, едва только увидел кюре,— вот этот господин, что с вами пришел, уж не господин ли Аппер?

— Ну так что же? — сказал кюре.

— А то, что я вчера получил насчет них точный приказ — господин префект прислал его с жандармом, которому пришлось скакать всю ночь,— ни в коем случае не допускать господина Аппера в тюрьму.

— Могу сказать вам, господин Нуару,— сказал кюре,— что этот приезжий, который пришел со мной, действительно господин Аппер. Вам должно быть известно, что я имею право входить в тюрьму в любой час дня и ночи и могу привести с собой кого мне угодно.

— Так-то оно так, господин кюре,— отвечал сторож, понизив голос и опустив голову, словно бульдог, которого заставляют слушаться, показывая ему палку.— Только, господин кюре, у меня жена, дети, а коли на меня жалоба будет да я места лишусь, чем жить тогда? Ведь меня только служба и кормит.

— Мне тоже было бы очень жаль лишиться прихода,— отвечал честный кюре прерывающимся от волнения голосом.

— Эка сравнили! — живо откликнулся сторож.— У вас, господин кюре,— это все знают — восемьсот ливров ренты да кусочек землицы собственной.

Вот какие происшествия, преувеличенные, переиначенные на двадцать ладов, разжигали последние два дня всяческие

злобные страсти в маленьком городке Верьере. Они же сейчас были предметом маленькой размолвки между г-ном де Реналем и его супругой. Утром г-н де Реналь вместе с г-ном Вально, директором дома призрения, явился к кюре, чтобы выразить ему свое живейшее неудовольствие. У г-на Шелана не было никаких покровителей; он почувствовал, какими последствиями грозит ему этот разговор.

— Ну что ж, господа, по-видимому, я буду третьим священником, которому в восьмидесятилетнем возрасте откажут от места в этих краях. Я здесь уже пятьдесят шесть лет; я крестил почти всех жителей этого города, который был всего-навсего поселком, когда я сюда приехал. Я каждый день венчаю молодых людей, как когда-то венчал их дедов. Верьер — моя семья, но страх покинуть его не может заставить меня ни вступить в сделку с совестью, ни руководствоваться в моих поступках чем-либо, кроме нее. Когда я увидел этого приезжего, я сказал себе: «Может быть, этот парижанин и вправду либерал — их теперь много развелось,— но что он может сделать дурного нашим беднякам или узникам?»

Однако упреки г-на де Реналя, а в особенности г-на Вально, директора дома призрения, становились все более обидными.

— Ну что ж, господа, отнимите у меня приход! — воскликнул старик-кюре дрожащим голосом.— Я все равно не покину этих мест. Все знают, что сорок восемь лет тому назад я получил в наследство маленький участок земли, который приносит мне восемьсот ливров; на это я и буду жить. Я ведь, господа, никаких побочных сбережений на своей службе не делаю, и, может быть, потому-то я и не пугаюсь, когда мне грозят, что меня уволят.

Господин де Реналь жил со своей супругой очень дружно, но, не зная, что ответить на ее вопрос, когда она робко повторила: «А что же дурного может сделать этот парижанин нашим узникам?» — он уже готов был вспылить, как вдруг она вскрикнула. Ее второй сын вскочил на парапет и побежал по нему, хотя стена эта возвышалась более чем на двадцать футов над виноградником, который тянулся по другую ее сторону. Боясь, как бы ребенок, испугавшись, не упал, г-жа де Реналь не решалась его окликнуть. Наконец мальчик, который весь сиял от своего удальства, оглянулся на мать и, увидев, что она побледнела, соскочил с парапета и подбежал к ней. Его как следует отчитали.

Это маленькое происшествие заставило супругов перевести разговор на другой предмет.

— Я все-таки решил взять к себе этого Сореля, сына лесопильщика,— сказал г-н де Реналь.— Он будет присматривать за детьми, а то они стали что-то уж слишком резвы. Это молодой богослов, почти что священник; он превосходно знает латынь и сумеет заставить их учиться; кюре говорит, что у него твердый характер. Я дам ему триста франков жалованья и стол. У меня были некоторые сомнения насчет его добронравия,— ведь он был любимчиком этого старика-лекаря, кавалера ордена Почетного легиона, который, воспользовавшись предлогом, будто он какой-то родственник Сореля, явился к ним да так и остался жить на их хлебах. А ведь очень возможно, что этот человек был, в сущности, тайным агентом либералов; он уверял, будто наш горный воздух помогает ему от астмы, но ведь кто его знает? Он с *Буонапартом* проделал все итальянские кампании, и говорят, даже когда голосовали за империю, написал «нет». Этот либерал обучал сына Сореля и оставил ему множество книг, которые привез с собой. Конечно, мне бы и в голову не пришло взять к детям сына плотника, но как раз накануне этой истории, из-за которой я теперь навсегда поссорился с кюре, он говорил мне, что сын Сореля вот уже три года как изучает богословие и собирается поступить в семинарию,— значит, он не либерал, а, кроме того, он латинист.

— Но тут есть и еще некоторые соображения,— продолжал г-н де Реналь, поглядывая на свою супругу с видом дипломата.— Господин Вально страх как гордится, что приобрел пару прекрасных нормандок для своего выезда. А вот гувернера у его детей нет.

— Он еще может у нас его перехватить.

— Значит, ты одобряешь мой проект,— подхватил г-н де Реналь, отблагодарив улыбкой свою супругу за прекрасную мысль, которую она только что высказала,— Так, значит, решено.

— Ах, боже мой, милый друг, как у тебя все скоро решается.

— Потому что я человек с характером, да и наш кюре теперь в этом убедится. Нечего себя обманывать — мы здесь со всех сторон окружены либералами. Все эти мануфактурщики мне завидуют, я в этом уверен; двое-трое из них уже пробрались в толстосумы. Ну так вот, пусть они посмотрят, как дети господина де Реналя идут на прогулку под наблюдением своего гувернера. Это им внушит кое-что. Дед мой частенько нам говорил, что у него в детстве всегда был гувернер. Это обойдется мне примерно в сотню экю, но при нашем положении этот расход необходим для поддержания престижа.

Это внезапное решение заставило г-жу де Реналь призадуматься. Г-жа де Реналь, высокая, статная женщина, слыла когда-то, как говорится, первой красавицей на всю округу. В ее облике, в манере держаться было что-то простодушное и юное. Эта наивная грация, полная невинности и живости, могла бы, пожалуй, пленить парижанина какой-то скрытой пылкостью. Но если бы г-жа де Реналь узнала, что она может произвести впечатление подобного рода, она бы сгорела со стыда. Сердце ее было чуждо всякого кокетства или притворства. Поговаривали, что г-н Вально, богач, директор дома призрения, ухаживал за ней, но без малейшего успеха, что снискало громкую славу ее добродетели, ибо г-н Вально, рослый мужчина в цвете лет, могучего телосложения, с румяной физиономией и пышными черными бакенбардами, принадлежал именно к тому сорту грубых, дерзких и шумливых людей, которых в провинции называют «красавец мужчина». Г-жа де Реналь, существо очень робкое, обладала, по-видимому, крайне неровным характером, и ее чрезвычайно раздражали постоянная суетливость и оглушительные раскаты голоса г-на Вально. А так как она уклонялась от всего того, что зовется в Верьере весельем, о ней стали говорить, что она слишком чванится своим происхождением. У нее этого и в мыслях не было, но она была очень довольна, когда жители городка стали бывать у нее реже. Не будем скрывать, что в глазах местных дам она слыла дурочкой, ибо не умела вести никакой политики по отношению к своему мужу и упускала самые удобные случаи заставить его купить для нее нарядную шляпку в Париже или Безансоне. Только бы ей никто не мешал бродить по ее чудесному саду,— больше она ни о чем не просила.

Это была простая душа: у нее никогда даже не могло возникнуть никаких притязаний судить о своем муже или признаться самой себе, что ей с ним скучно. Она считала,— никогда, впрочем, не задумываясь над этим,— что между мужем и женой никаких других, более нежных отношений и быть не может. Она больше всего любила г-на де Реналя, когда он рассказывал ей о своих проектах относительно детей, из которых он одного прочил в военные, другого в чиновники, а третьего в служители церкви. В общем, она находила г-на де Реналя гораздо менее скучным, чем всех прочих мужчин, которые у них бывали.

Это было разумное мнение супруги. Мэр Верьера обязан был своей репутацией остроумного человека, а в особенности человека хорошего тона, полдюжине шуток, доставшихся ему по

наследству от дядюшки. Старый капитан де Реналь до революции служил в пехотном полку его светлости герцога Орлеанского и, когда бывал в Париже, пользовался привилегией посещать наследного принца в его доме. Там довелось ему увидеть г-жу де Монтессон, знаменитую г-жу де Жанлис, г-на Дюкре, палерояльского изобретателя. Все эти персонажи постоянно фигурировали в анекдотах г-на де Реналя. Но мало-помалу искусство облекать в приличную форму столь щекотливые и ныне забытые подробности стало для него трудным делом, и с некоторых пор он только в особо торжественных случаях прибегал к анекдотам из жизни герцога Орлеанского. Так как, помимо всего прочего, он был человек весьма учтивый, исключая, разумеется, те случаи, когда речь шла о деньгах, то он и считался по справедливости самым большим аристократом в Верьере.

IV

ОТЕЦ И СЫН

E sarà mia colpa, se così è?
Machiavelli [1].

«Нет, жена моя действительно умница,— говорил себе на другой день в шесть часов утра верьерский мэр, спускаясь к лесопилке папаши Сореля.— Хоть я и сам поднял об этом разговор, чтобы сохранить, как оно и надлежит, свое превосходство, но мне и в голову не приходило, что если я не возьму этого аббатика Сореля, который, говорят, знает латынь, как ангел господень, то директор дома призрения — вот уж поистине неугомонная душа — может не хуже меня возыметь ту же самую мысль и перехватить его у меня. А уж каким самодовольным тоном стал бы он говорить о гувернере своих детей... Ну, а если я заполучу этого гувернера, в чем же он у меня будет ходить, в сутане?»

Господин де Реналь пребывал на этот счет в глубокой нерешительности, но тут он увидел издалека высокого, чуть ли не в сажень ростом крестьянина, который трудился с раннего утра, меряя громадные бревна, сложенные по берегу Ду, на самой дороге к рынку. Крестьянин, по-видимому, был не очень доволен,

[1] И моя ли то вина, если это действительно так? *Макиавелли. (итал.).*

увидя приближающегося мэра, так как громадные бревна загромождали дорогу, а лежать им в этом месте не полагалось.

Папаша Сорель — ибо это был не кто иной, как он,— чрезвычайно удивился, а еще более обрадовался необыкновенному предложению, с которым г-н де Реналь обратился к нему относительно его сына Жюльена. Однако он выслушал его с видом мрачного недовольства и полнейшего равнодушия, которым так искусно прикрывается хитрость уроженцев здешних гор. Рабы во времена испанского ига, они еще до сих пор не утратили этой черты египетского феллаха.

Папаша Сорель ответил сперва длинной приветственной фразой, состоящей из набора всевозможных почтительных выражений, которые он знал наизусть. В то время как он бормотал эти бессмысленные слова, выдавив на губах кривую усмешку, которая еще больше подчеркивала коварное и слегка плутовское выражение его физиономии, деловитый ум старого крестьянина старался доискаться, чего это ради такому важному человеку могло прийти в голову взять к себе его дармоеда-сына. Он был очень недоволен Жюльеном, а вот за него-то как раз г-н де Реналь нежданно-негаданно предлагал ему триста франков в год со столом и даже с одеждой. Это последнее условие, которое сразу догадался выдвинуть папаша Сорель, тоже было принято г-ном де Реналем.

Мэр был потрясен этим требованием. «Если Сорель не чувствует себя облагодетельствованным и, по-видимому, не в таком уж восторге от моего предложения, как, казалось бы, следовало ожидать, значит, совершенно ясно,— говорил он себе,— что к нему уже обращались с таким предложением; а кто же еще мог это сделать, кроме Вально?» Тщетно г-н де Реналь добивался от Сореля последнего слова, чтобы тут же покончить с делом; лукавство старого крестьянина делало его упрямым: ему надобно, говорил он, потолковать с сыном; да слыханное ли это дело в провинции, чтобы богатый отец советовался с сыном, у которого ни гроша за душой? Разве уж просто так, для вида.

Водяная лесопилка представляет собой сарай, построенный на берегу ручья. Крыша его опирается на стропила, которые держатся на четырех толстых столбах. На высоте восьми или десяти футов посреди сарая ходит вверх и вниз пила, а к ней при помощи очень несложного механизма подвигается бревно. Ручей вертит колесо, и оно приводит в движение весь этот двойной механизм: тот, что поднимает и опускает пилу, и тот, что тихонько подвигает бревна к пиле, которая распиливает их, превращая в доски.

Подходя к своей мастерской, папаша Сорель зычным голосом кликнул Жюльена — никто не отозвался. Он увидел только своих старших сыновей, настоящих исполинов, которые, взмахивая тяжелыми топорами, обтесывали еловые стволы, готовя их для распилки. Стараясь тесать вровень с черной отметиной, проведенной по стволу, они каждым ударом топора отделяли огромные щепы. Они не слыхали, как кричал отец. Он подошел к сараю, но, войдя туда, не нашел Жюльена на том месте возле пилы, где ему следовало быть. Он обнаружил его не сразу, пятью-шестью футами повыше. Жюльен сидел верхом на стропилах и, вместо того чтобы внимательно наблюдать за ходом пилы, читал книжку. Ничего более ненавистного для старика Сореля быть не могло; он бы, пожалуй, даже простил Жюльену его щуплое сложение, мало пригодное для физической работы и столь не похожее на рослые фигуры старших сыновей, но эта страсть к чтению была ему отвратительна: сам он читать не умел.

Он окликнул Жюльена два или три раза без всякого успеха. Внимание юноши было целиком поглощено книгой, и это, пожалуй, гораздо больше, чем шум пилы, помешало ему услышать громовой голос отца. Тогда старик, несмотря на свои годы, проворно вскочил на бревно, лежавшее под пилой, а оттуда на поперечную балку, поддерживавшую кровлю. Мощный удар вышиб книгу из рук Жюльена, и она упала в ручей; второй такой же сильный удар обрушился Жюльену на голову — он потерял равновесие и полетел бы с высоты двенадцати — пятнадцати футов под самые рычаги машины, которые размололи бы его на куски, если бы отец не поймал его левой рукой на лету.

— Ах, дармоед, так вот ты и будешь читать свои окаянные книжонки вместо того, чтобы за пилой смотреть? Вечером можешь читать, когда пойдешь к кюре небо коптить,— там и читай сколько влезет.

Оглушенный ударом и весь в крови, Жюльен все-таки пошел на указанное место около пилы. Слезы навернулись у него на глаза — не столько от боли, сколько от огорчения из-за погибшей книжки, которую он страстно любил.

— Спускайся, скотина, мне надо с тобой потолковать.

Грохот машины опять помешал Жюльену расслышать отцовский приказ. А отец, уже стоявший внизу, не желая утруждать себя и снова карабкаться наверх, схватил длинную жердь, которой сшибали орехи, и ударил ею сына по плечу. Едва Жюльен соскочил наземь, как старик Сорель хлопнул его по

спине и, грубо подталкивая, погнал к дому. «Бог знает, что он теперь со мной сделает»,— думал юноша. И украдкой он горестно поглядел на ручей, куда упала его книга,— это была его самая любимая книга: «Мемориал Святой Елены».

Щеки у него пылали; он шел, не поднимая глаз. Это был невысокий юноша лет восемнадцати или девятнадцати, довольно хрупкий на вид, с неправильными, но тонкими чертами лица и точеным, с горбинкой носом. Большие черные глаза, которые в минуты спокойствия сверкали мыслью и огнем, сейчас горели самой лютой ненавистью. Темно-каштановые волосы росли так низко, что почти закрывали лоб, и от этого, когда он сердился, лицо казалось очень злым. Среди бесчисленных разновидностей человеческих лиц вряд ли можно найти еще одно такое лицо, которое отличалось бы столь поразительным своеобразием. Стройный и гибкий стан юноши говорил скорее о ловкости, чем о силе. С самых ранних лет его необыкновенно задумчивый вид и чрезвычайная бледность наводили отца на мысль, что сын его не жилец на белом свете, а если и выживет, то будет только обузой для семьи. Все домашние презирали его, и он ненавидел своих братьев и отца; в воскресных играх на городской площади он неизменно оказывался в числе побитых.

Однако за последний год его красивое лицо стало привлекать сочувственное внимание кое-кого из юных девиц. Все относились к нему с презрением, как к слабому существу, и Жюльен привязался всем сердцем к старику полковому лекарю, который однажды осмелился высказать свое мнение господину мэру относительно платанов.

Этот отставной лекарь откупал иногда Жюльена у папаши Сореля на целый день и обучал его латыни и истории, то есть тому, что сам знал из истории, а это были итальянские походы 1796 года. Умирая, он завещал мальчику свой крест Почетного легиона, остатки маленькой пенсии и тридцать — сорок томов книг, из коих самая драгоценная только что нырнула в *городской ручей,* изменивший свое русло благодаря связям г-на мэра.

Едва переступив порог дома, Жюльен почувствовал на своем плече могучую руку отца; он задрожал, ожидая, что на него вот-вот посыплются удары.

— Отвечай мне да не смей врать! — закричал ему в самое ухо грубый крестьянский голос, и мощная рука повернула его кругом, как детская ручонка поворачивает оловянного солдатика. Большие, черные, полные слез глаза Жюльена встретились с пронизывающими серыми глазами старого плотника, которые словно старались заглянуть ему в самую душу.

V

СДЕЛКА

Cunctando restituit rem.

Ennius [1].

— Отвечай мне, проклятый книгочий, да не смей врать, хоть ты без этого и не можешь, откуда ты знаешь госпожу де Реналь? Когда это ты успел с ней разговориться?

— Я никогда с ней не разговаривал,— ответил Жюльен.— Если я когда и видел эту даму, так только в церкви.

— Так, значит, ты на нее глазел, дерзкая тварь?

— Никогда. Вы знаете, что в церкви я никого, кроме бога, не вижу,— добавил Жюльен, прикидываясь святошей в надежде на то, что это спасет его от побоев.

— Нет, тут что-то да есть,— промолвил хитрый старик и на минуту умолк.— Но из тебя разве что выудишь, подлый ты ханжа? Ну, как бы там ни было, а я от тебя избавлюсь, и моей пиле это только на пользу пойдет. Как-то уж ты сумел обойти господина кюре или кого там другого, что они тебе отхлопотали недурное местечко. Поди собери свой скарб, и я тебя отведу к господину де Реналю. Ты у него воспитателем будешь, при детях.

— А что я за это буду получать?

— Стол, одежду и триста франков жалованья.

— Я не хочу быть лакеем.

— Скотина! А кто тебе говорит про лакея? Да я-то что ж, хочу, что ли, чтоб у меня сын в лакеях был?

— А с кем я буду есть?

Этот вопрос озадачил старика Сореля: он почувствовал, что, если он будет продолжать разговор, это может довести до беды; он накинулся на Жюльена с бранью, попрекая его обжорством, и наконец оставил его и пошел посоветоваться со старшими сыновьями.

Спустя некоторое время Жюльен увидел, как они стояли все вместе, опершись на топоры, и держали семейный совет. Он долго смотрел на них, но, убедившись, что ему все равно не догадаться, о чем идет речь, обошел лесопилку и пристроился по ту сторону пилы, чтобы его не захватили врасплох. Ему хотелось подумать на свободе об этой неожиданной новости, которая должна была перевернуть всю его судьбу, но он

---

[1] Медлительностью спас положение. *Энний (лат.).*

чувствовал себя сейчас не способным ни на какую рассудительность, воображение его то и дело уносилось к тому, что ожидало его в чудесном доме г-на де Реналя.

«Нет, лучше отказаться от всего этого,— говорил он себе,— чем допустить, чтобы меня посадили за один стол с прислугой. Отец, конечно, постарается принудить меня силой; нет, лучше умереть. У меня накоплено пятнадцать франков и восемь су; сбегу сегодня же ночью, и через два дня, коли идти напрямик, через горы, где ни одного жандарма и в помине нет, я попаду в Безансон; там запишусь в солдаты, а не то так и в Швейцарию сбегу. Но только тогда уж ничего впереди, никогда уж не добиться мне звания священника, которое открывает дорогу ко всему».

Этот страх оказаться за одним столом с прислугой вовсе не был свойствен натуре Жюльена. Чтобы пробить себе дорогу, он пошел бы и не на такие испытания. Он почерпнул это отвращение непосредственно из «Исповеди» Руссо. Это была единственная книга, при помощи которой его воображение рисовало ему свет. Собрание реляций великой армии и «Мемориал Святой Елены» — вот три книги, в которых заключался его коран. Он готов был на смерть пойти за эти три книжки. Никаким другим книгам он не верил. Со слов старого полкового лекаря он считал, что все остальные книги на свете — сплошное вранье, и написаны они пройдохами, которым хотелось выслужиться.

Одаренный пламенной душой, Жюльен обладал еще изумительной памятью, которая нередко бывает и у дураков. Чтобы завоевать сердце старого аббата Шелана, от которого, как он ясно видел, зависело все его будущее, он выучил наизусть по-латыни весь Новый завет; он выучил таким же образом и книгу «О папе» де Местра, одинаково не веря ни той, ни другой.

Словно по обоюдному согласию, Сорель и его сын не заговаривали больше друг с другом в течение этого дня. К вечеру Жюльен отправился к кюре на урок богословия; однако он решил не поступать опрометчиво и ничего не сказал ему о том необыкновенном предложении, которое сделали его отцу. «А вдруг это какая-нибудь ловушка? — говорил он себе.— Лучше сделать вид, что я просто забыл об этом».

На другой день рано утром г-н де Реналь послал за стариком Сорелем, и тот, заставив подождать себя часок-другой, наконец явился и, еще не переступив порога, стал отвешивать поклоны и рассыпаться в извинениях. После долгих выспраши-

ваний обиняками Сорель убедился, что его сын будет обедать с хозяином и с хозяйкой, а в те дни, когда у них будут гости,— в отдельной комнате с детьми. Видя, что господину мэру прямо-таки не терпится заполучить к себе его сына, изумленный и преисполненный недоверия Сорель становился все более и более придирчивым и, наконец, потребовал, чтобы ему показали комнату, где будет спать его сын. Это оказалась большая, очень прилично обставленная комната, и как раз при них туда уже перетаскивали кроватки троих детей.

Это обстоятельство словно что-то прояснило для старого крестьянина; он тотчас же с уверенностью потребовал, чтобы ему показали одежду, которую получит его сын. Г-н де Реналь открыл бюро и вынул сто франков.

— Вот деньги: пусть ваш сын сходит к господину Дюрану, суконщику, и закажет себе черную пару.

— А коли я его от вас заберу,— сказал крестьянин, вдруг позабыв все свои почтительные ужимки,— эта одежда ему останется?

— Конечно.

— Ну, так,— медленно протянул Сорель.— Теперь, значит, нам остается столковаться только об одном: сколько жалованья вы ему положите.

— То есть как? — воскликнул г-н де Реналь.— Мы же покончили с этим еще вчера: я даю ему триста франков; думаю, что этого вполне достаточно, а может быть, даже и многовато.

— Вы так предлагали, я с этим не спорю,— еще более медленно промолвил старик Сорель и вдруг с какой-то гениальной прозорливостью, которая может удивить только того, кто не знает наших франшконтейских крестьян, добавил, пристально глядя на г-на де Реналя: — *В другом месте мы найдем и получше.*

При этих словах лицо мэра перекосилось. Но он тотчас же овладел собой, и, наконец, после весьма мудреного разговора, который занял добрых два часа и где ни одного слова не было сказано зря, крестьянская хитрость взяла верх над хитростью богача, который ведь не кормится ею. Все многочисленные пункты, которыми определялось новое существование Жюльена, были твердо установлены; жалованье его не только было повышено до четырехсот франков в год; но его должны были уплачивать вперед первого числа каждого месяца.

— Ладно. Я дам ему тридцать пять франков,— сказал г-н де Реналь.

— Для круглого счета такой богатый и щедрый человек, как господин наш мэр,— угодливо подхватил старик,— уж не поскупится дать и тридцать шесть франков.

— Хорошо,— сказал г-н де Реналь,— но на этом и кончим.

Гнев, охвативший его, придал на сей раз его голосу нужную твердость. Сорель понял, что нажимать больше нельзя. И тут уже перешел в наступление г-н де Реналь. Он ни в коем случае не соглашался отдать эти тридцать шесть франков за первый месяц старику Сорелю, которому очень хотелось получить их за сына. У г-на де Реналя между тем мелькнула мысль, что ведь ему придется рассказать жене, какую роль он вынужден был играть в этой сделке.

— Верните мне мои сто франков, которые я вам дал,— сказал он с раздражением.— Господин Дюран мне кое-что должен. Я сам пойду с вашим сыном и возьму ему сукна на костюм.

После этого резкого выпада Сорель почел благоразумным рассыпаться в заверениях почтительности; на это ушло добрых четверть часа. В конце концов, видя, что больше уж ему ничего не выжать, он, кланяясь, пошел к выходу. Последний его поклон сопровождался словами:

— Я пришлю сына в замок.

Так горожане, опекаемые г-ном мэром, называли его дом, когда хотели угодить ему.

Вернувшись к себе на лесопилку, Сорель, как ни старался, не мог найти сына. Полный всяческих опасений и не зная, что из всего этого получится, Жюльен ночью ушел из дому. Он решил спрятать в надежное место свои книги и свой крест Почетного легиона. Он отнес все это к своему приятелю Фуке, молодому лесоторговцу, который жил высоко в горах, возвышавшихся над Верьером.

Едва только он появился: «Ах ты, проклятый лентяй! — заорал на него отец.— Хватит ли у тебя совести перед богом заплатить мне хоть за кормежку, на которую я для тебя тратился столько лет? Забирай свои лохмотья и марш к господину мэру».

Жюльен, удивляясь, что его не поколотили, поторопился уйти. Но, едва скрывшись с глаз отца, он замедлил шаг. Он решил, что ему следует подкрепиться в своем ханжестве и для этого неплохо было бы зайти в церковь.

Вас удивляет это словцо? Но прежде чем он дошел до этого ужасного слова, душе юного крестьянина пришлось проделать немалый путь.

С самого раннего детства, после того как он однажды увидал драгун из шестого полка в длинных белых плащах, с черногривыми касками на головах,— драгуны эти возвращались из Италии, и лошади их стояли у коновязи перед решетчатым окошком его отца,— Жюльен бредил военной службой. Потом, уже подростком, он слушал, замирая от восторга, рассказы старого полкового лекаря о битвах на мосту Лоди, Аркольском, под Риволи и замечал пламенные взгляды, которые бросал старик на свой крест.

Но когда Жюльену было четырнадцать лет, в Верьере начали строить церковь, которую для такого маленького городишка можно было назвать великолепной. У нее были четыре мраморные колонны, которые поразили Жюльена; о них потом разнеслась слава по всему краю, ибо они-то и посеяли смертельную вражду между мировым судьей и молодым священником, присланным из Безансона и считавшимся шпионом иезуитского общества. Мировой судья из-за этого чуть было не лишился места, так, по крайней мере, утверждали все. Ведь пришло же ему в голову завести ссору с этим священником, который каждые две недели отправлялся в Безансон, где он, говорят, имел дело с самим его высокопреосвященством, епископом.

Между тем мировой судья, человек многосемейный, вынес несколько приговоров, которые показались несправедливыми: все они были направлены против тех из жителей городка, кто почитывал «Конституционель». Победа осталась за благомыслящими. Дело шло, в сущности, о грошовой сумме, что-то около трех или пяти франков, но одним из тех, кому пришлось уплатить этот небольшой штраф, был гвоздарь, крестный Жюльена. Вне себя от ярости этот человек поднял страшный крик: «Вишь, как оно все перевернулось-то! И подумать только, что вот уже лет двадцать с лишним мирового судью все считали честным человеком!» А полковой лекарь, друг Жюльена, к этому времени уже умер.

Внезапно Жюльен перестал говорить о Наполеоне: он заявил, что собирается стать священником; на лесопилке его постоянно видели с латинской Библией в руках, которую ему дал кюре; он заучивал ее наизусть. Добрый старик, изумленный его успехами, проводил с ним целые вечера, наставляя его в богословии. Жюльен не позволял себе обнаруживать перед ним никаких иных чувств, кроме благочестия. Кто бы мог подумать, что это юное девическое личико, такое бледненькое и кроткое,

таило непоколебимую решимость вытерпеть, если понадобится, любую пытку, лишь бы пробить себе дорогу!

Пробить дорогу для Жюльена прежде всего означало вырваться из Верьера; родину свою он ненавидел. Все, что он видел здесь, леденило его воображение.

С самого раннего детства с ним не раз случалось, что его вдруг мгновенно охватывало страстное воодушевление. Он погружался в восторженные мечты о том, как его будут представлять парижским красавицам, как он сумеет привлечь их внимание каким-нибудь необычайным поступком. Почему одной из них не полюбить его? Ведь Бонапарта, когда он был еще беден, полюбила же блестящая госпожа де Богарнэ! В продолжение многих лет не было, кажется, в жизни Жюльена ни одного часа, когда бы он не повторял себе, что Бонапарт, безвестный и бедный поручик, сделался владыкой мира с помощью своей шпаги. Эта мысль утешала его в его несчастьях, которые ему казались ужасными, и удваивала его радость, когда ему случалось чему-нибудь радоваться.

Постройка церкви и приговоры мирового судьи внезапно открыли ему глаза; ему пришла в голову одна мысль, с которой он носился как одержимый в течение нескольких недель, и, наконец, она завладела им целиком с той непреодолимой силой, какую обретает над пламенной душой первая мысль, которая кажется ей ее собственным открытием.

«Когда Бонапарт заставил говорить о себе, Франция трепетала в страхе перед иноплеменным нашествием; военная доблесть в то время была необходима, и она была в моде. А теперь священник в сорок лет получает жалованья сто тысяч франков, то есть ровно в три раза больше, чем самые знаменитые генералы Наполеона. Им нужны люди, которые помогали бы им в их работе. Вот, скажем, наш мировой судья: такая светлая голова, такой честный был до сих пор старик, и от страха, что он может навлечь на себя неудовольствие молодого тридцатилетнего викария, он покрывает себя бесчестием! Надо стать попом».

Однажды, в разгаре этого своего новообретенного благочестия, когда он уже два года изучал богословие, Жюльен вдруг выдал себя внезапной вспышкой того огня, который пожирал его душу. Это случилось у г-на Шелана; на одном обеде, в кругу священников, которым добряк кюре представил его как истинное чудо премудрости, он вдруг с жаром стал превозносить Наполеона. Чтобы наказать себя, он привязал к груди правую руку, притворившись, будто вывихнул ее, поворачивая еловое

бревно, и носил ее привязанной в этом неудобном положении ровно два месяца. После этой кары, которую он сам себе изобрел, он простил себя. Вот каков был этот восемнадцатилетний юноша, такой хрупкий на вид, что ему от силы можно было дать семнадцать лет, который теперь с маленьким узелком под мышкой входил под своды великолепной верьерской церкви.

Там было темно и пусто. По случаю праздника все переплеты окон были затянуты темно-красной материей, благодаря чему солнечные лучи приобретали какой-то ослепительный оттенок, величественный и в то же время благолепный. Жюльена охватил трепет. Он был один в церкви. Он уселся на скамью, которая показалась ему самой красивой: на ней был герб г-на де Реналя.

На скамеечке для коленопреклонения Жюльен заметил обрывок печатной бумаги, который словно был нарочно положен так, чтобы его прочли. Жюльен поднес его к глазам и увидал:

«Подробности казни и последних минут жизни Луи Жанреля, казненного в Безансоне сего...»

Бумажка была разорвана. На другой стороне уцелели только два первых слова одной строчки, а именно: «Первый шаг...»

— Кто же положил сюда эту бумажку? — сказал Жюльен.— Ах, несчастный! — добавил он со вздохом.— А фамилия его кончается так же, как и моя...— И он скомкал бумажку.

Когда Жюльен выходил, ему показалось, что на земле около кропильницы кровь — это была разбрызганная святая вода, которую отсвет красных занавесей делал похожей на кровь.

Наконец, Жюльену стало стыдно своего тайного страха.

«Неужели я такой трус? — сказал он себе.— К оружию!»

Этот призыв, так часто повторявшийся в рассказах старого лекаря, казался Жюльену героическим. Он повернулся и быстро зашагал к дому г-на де Реналя.

Однако, несмотря на всю свою великолепную решимость, едва только он увидал в двадцати шагах перед собой этот дом, как его охватила непобедимая робость. Чугунная решетчатая калитка была открыта; она показалась ему верхом великолепия. Надо было войти в нее.

Но не только у Жюльена сжималось сердце оттого, что он вступал в этот дом. Г-жа де Реналь при ее чрезвычайной застенчивости была совершенно подавлена мыслью о том, что какой-то чужой человек, в силу своих обязанностей, всегда будет теперь стоять между нею и детьми. Она привыкла к тому, что ее сыновья спят около нее, в ее комнате. Утром она пролила немало слез, когда у нее на глазах перетаскивали их маленькие

кроватки в комнату, которая была предназначена для гувернера. Тщетно упрашивала она мужа, чтобы он разрешил перенести обратно к ней хотя бы только кроватку самого младшего, Станислава-Ксавье.

Свойственная женщинам острота чувств у г-жи де Реналь доходила до крайности. Она уже рисовала себе отвратительного, грубого, взлохмаченного субъекта, которому разрешается орать на ее детей только потому, что он знает латынь. И за этот варварский язык он еще будет пороть ее сыновей.

VI

НЕПРИЯТНОСТЬ

Non so più cosa son,
Cosa faccio.

Mozart (Figaro) [1].

Госпожа де Реналь с живостью и грацией, которые были так свойственны ей, когда она не опасалась, что на нее кто-то смотрит, выходила из гостиной через стеклянную дверь в сад, и в эту минуту взгляд ее упал на стоявшего у подъезда молодого крестьянского паренька, совсем еще мальчика, с очень бледным и заплаканным лицом. Он был в чистой белой рубахе и держал под мышкой очень опрятную курточку из лилового ратина.

Лицо у этого юноши было такое белое, а глаза такие кроткие, что слегка романтическому воображению г-жи де Реналь представилось сперва, что это, быть может, молоденькая переодетая девушка, которая пришла просить о чем-нибудь господина мэра. Ей стало жалко бедняжку, которая стояла у подъезда и, по-видимому, не решалась протянуть руку к звонку. Г-жа де Реналь направилась к ней, забыв на минуту о том огорчении, которое причиняла ей мысль о гувернере. Жюльен стоял лицом к входной двери и не видел, как она подошла. Он вздрогнул, услыхав над самым своим ухом ласковый голос:

— Что вы хотите, дитя мое?

Жюльен быстро обернулся и, потрясенный этим полным участия взглядом, забыл на миг о своем смущении; он смотрел на нее, изумленный ее красотой, и вдруг забыл все на свете,

[1] Не пойму, что творится со мною. *Моцарт («Свадьба Фигаро») (итал.).*

забыл даже, зачем он пришел сюда. Г-жа де Реналь повторила свой вопрос.

— Я пришел сюда потому, что я должен здесь быть воспитателем, сударыня,— наконец вымолвил он, весь вспыхнув от стыда за свои слезы и стараясь незаметно вытереть их.

Госпожа де Реналь от удивления не могла выговорить ни слова; они стояли совсем рядом и глядели друг на друга. Жюльену еще никогда в жизни не приходилось видеть такого нарядного существа, а еще удивительнее было то, что эта женщина с белоснежным лицом говорила с ним таким ласковым голосом. Г-жа де Реналь смотрела на крупные слезы, катившиеся по этим сначала ужасно бледным, а теперь вдруг ярко зардевшимся щекам крестьянского мальчика. И вдруг она расхохоталась безудержно и весело, совсем как девчонка. Она покатывалась со смеху над самой собой и просто опомниться не могла от счастья. Как! Так вот он каков, этот гувернер! А она-то представляла себе грязного неряху-попа, который будет орать на ее детей и сечь их розгами.

— Как, сударь,— промолвила она наконец,— вы знаете латынь?

Это обращение «сударь» так удивило Жюльена, что он даже на минуту опешил.

— Да, сударыня,— робко ответил он.

Госпожа де Реналь была в таком восторге, что решилась сказать Жюльену:

— А вы не будете очень бранить моих мальчиков?

— Я? Бранить? — переспросил удивленный Жюльен.— А почему?

— Нет, право же, сударь,— добавила она после маленькой паузы, и в голосе ее звучало все больше и больше волнения,— вы будете добры к ним, вы мне это обещаете?

Услышать еще раз, что его совершенно всерьез величает «сударь» такая нарядная дама,— это поистине превосходило все ожидания Жюльена; какие бы воздушные замки он ни строил себе в детстве, он всегда был уверен, что ни одна знатная дама не удостоит его разговором, пока на нем не будет красоваться роскошный военный мундир. А г-жа де Реналь, со своей стороны, была введена в полнейшее заблуждение нежным цветом лица, большими черными глазами Жюльена и его красивыми кудрями, которые на этот раз вились еще больше обычного, потому что он по дороге, чтобы освежиться, окунул голову в бассейн городского фонтана. И вдруг, к ее неописуемой радости, это воплощение девической застенчивости и оказалось тем

страшным гувернером, которого она, содрогаясь за своих детей, рисовала себе грубым чудовищем! Для такой безмятежной души, какою была г-жа де Реналь, столь внезапный переход от того, чего она так боялась, к тому, что она теперь увидела, был целым событием. Наконец она пришла в себя. Она с удивлением обнаружила, что стоит у подъезда своего дома с этим молодым человеком в простой рубахе, и совсем рядом с ним.

— Идемте, сударь,— сказала она несколько смущенным тоном.

Еще ни разу в жизни г-же де Реналь не случалось испытывать такого сильного волнения, вызванного столь исключительно приятным чувством, никогда еще не бывало с ней, чтобы мучительное беспокойство и страхи сменялись вдруг такой чудесной явью. Значит, ее хорошенькие мальчики, которых она так лелеяла, не попадут в руки грязного, сварливого попа! Когда она вошла в переднюю, она обернулась к Жюльену, который робко шагал позади. На лице его при виде такого роскошного дома изобразилось глубокое изумление, и от этого он показался еще милее г-же де Реналь. Она никак не могла поверить себе, и главным образом потому, что всегда представляла себе гувернера не иначе, как в черном костюме.

— Но неужели это правда, сударь? — промолвила она снова, останавливаясь и замирая от страха. (А что, если это вдруг окажется ошибкой,— а она-то так радовалась, поверив этому!)— Вы в самом деле знаете латынь?

Эти слова задели гордость Жюльена и вывели его из того сладостного забытья, в котором он пребывал вот уже целые четверть часа.

— Да, сударыня,— ответил он, стараясь принять как можно более холодный вид.— Я знаю латынь не хуже, чем господин кюре, а иногда он по своей доброте даже говорит, что я знаю лучше его.

Госпоже де Реналь показалось теперь, что у Жюльена очень злое лицо,— он стоял в двух шагах от нее. Она подошла к нему и сказала вполголоса:

— Правда, ведь вы не станете в первые же дни сечь моих детей, даже если они и не будут знать уроков?

Ласковый, почти умоляющий тон этой прекрасной дамы так подействовал на Жюльена, что все его намерения поддержать свою репутацию латиниста мигом улетучились. Лицо г-жи де Реналь было так близко, у самого его лица, он вдыхал аромат летнего женского платья, а это было нечто столь необычайное

для бедного крестьянина, что Жюльен покраснел до корней волос и пролепетал едва слышным голосом:

— Не бойтесь ничего, сударыня, я во всем буду вас слушаться.

И вот только тут, в ту минуту, когда весь ее страх за детей окончательно рассеялся, г-жа де Реналь с изумлением заметила, что Жюльен необыкновенно красив. Его тонкие, почти женственные черты, его смущенный вид не казались смешными этой женщине, которая и сама отличалась крайней застенчивостью; напротив, мужественный вид, который обычно считают необходимым качеством мужской красоты, только испугал бы ее.

— Сколько вам лет, сударь? — спросила она Жюльена.

— Скоро будет девятнадцать.

— Моему старшему одиннадцать,— продолжала г-жа де Реналь, теперь уже совершенно успокоившись.— Он вам почти товарищ будет, вы его всегда сможете уговорить. Раз как-то отец вздумал прибить его — ребенок потом был болен целую неделю, а отец его только чуть-чуть ударил.

«А я? — подумал Жюльен.— Какая разница! Вчера еще отец отколотил меня. Какие они счастливые, эти богачи!»

Госпожа де Реналь уже старалась угадать малейшие оттенки того, что происходило в душе юного гувернера, и это мелькнувшее на его лице выражение грусти она сочла за робость. Ей захотелось подбодрить его.

— Как вас зовут, сударь? — спросила она таким подкупающим тоном и с такой приветливостью, что Жюльен весь невольно проникся ее очарованием, даже не отдавая себе в этом отчета.

— Меня зовут Жюльен Сорель, сударыня; мне страшно потому, что я первый раз в жизни вступаю в чужой дом; я нуждаюсь в вашем покровительстве и еще, чтобы вы прощали мне очень многое на первых порах. Я никогда не ходил в школу, я был слишком беден для этого; и я ни с кем никогда не говорил, исключая моего родственника, полкового лекаря, кавалера ордена Почетного легиона, и нашего кюре, господина Шелана. Он скажет вам всю правду обо мне. Мои братья вечно колотили меня; не верьте им, если они будут вам на меня наговаривать; простите меня, если я в чем ошибусь; никакого дурного умысла у меня быть не может.

Жюльен мало-помалу преодолевал свое смущение, произнося эту длинную речь; он, не отрываясь, смотрел на г-жу

де Реналь. Таково действие истинного обаяния, когда оно является природным даром, а в особенности когда существо, обладающее этим даром, не подозревает о нем. Жюльен, считавший себя знатоком по части женской красоты, готов был поклясться сейчас, что ей никак не больше двадцати лет. И вдруг ему пришла в голову дерзкая мысль — поцеловать у нее руку. Он тут же испугался этой мысли, но в следующее же мгновение сказал себе: «Это будет трусость с моей стороны, если я не совершу того, что может принести мне пользу и сбить немножко презрительное высокомерие, с каким, должно быть, относится эта прекрасная дама к бедному мастеровому, только что оставившему пилу». Быть может, Жюльен расхрабрился еще и потому, что ему пришло на память выражение «хорошенький мальчик», которое он вот уже полгода слышал по воскресеньям от молодых девиц. Между тем, пока он боролся так сам с собой, г-жа де Реналь старалась объяснить ему в нескольких словах, каким образом ему следует держать себя на первых порах с детьми. Усилие, к которому принуждал себя Жюльен, заставило его опять сильно побледнеть; он сказал каким-то неестественным тоном:

— Сударыня, я никогда не буду бить ваших детей, клянусь вам перед богом.

И, произнося эти слова, он осмелился взять руку г-жи де Реналь и поднес ее к губам. Ее очень удивил этот жест, и только потом уж, подумав, она возмутилась. Было очень жарко, и ее обнаженная рука, прикрытая только шалью, открылась чуть ли не до плеча, когда Жюльен поднес ее к своим губам. Через несколько секунд г-жа де Реналь уже стала упрекать себя за то, что не возмутилась сразу.

Господин де Реналь, услышав голоса в передней, вышел из своего кабинета и обратился к Жюльену с тем величественным и отеческим видом, с каким он совершал бракосочетания в мэрии.

— Мне необходимо поговорить с вами, прежде чем вас увидят дети,— сказал он.

Он провел Жюльена в комнату и удержал жену, которая хотела оставить их вдвоем. Затворив дверь, г-н де Реналь важно уселся.

— Господин кюре говорил мне, что вы добропорядочный юноша. Вас здесь все будут уважать, и если я буду вами доволен, я помогу вам в будущем прилично устроиться. Желательно, чтобы вы отныне не виделись больше ни с вашими родными, ни с друзьями, ибо их манеры не подходят для моих детей. Вот вам тридцать шесть франков за первый месяц, но вы

мне дадите слово, что из этих денег ваш отец не получит ни одного су.

Господин де Реналь не мог простить старику, что тот сумел перехитрить его в этом деле.

— Теперь, сударь,— я уже всем приказал называть вас «сударь», и вы сами увидите, какое это преимущество — попасть в дом к порядочным людям,— так вот, теперь, сударь, неудобно, чтобы дети увидели вас в куртке. Кто-нибудь из прислуги видел его? — спросил г-н де Реналь, обращаясь к жене.

— Нет, мой друг,— отвечала она с видом глубокой задумчивости.

— Тем лучше. Наденьте-ка вот это,— сказал он удивленному юноше, протягивая ему собственный сюртук.— Мы сейчас пойдем с вами к суконщику, господину Дюрану.

Часа через полтора г-н де Реналь вернулся с новым гувернером, одетым в черное с ног до головы, и увидал, что жена его все еще сидит на прежнем месте. У нее стало спокойнее на душе при виде Жюльена; глядя на него, она переставала его бояться. А Жюльен уже и не думал о ней; несмотря на все его недоверие к жизни и к людям, душа его в эту минуту была, в сущности, совсем как у ребенка: ему казалось, что прошли уже годы с той минуты, когда он, всего три часа тому назад, сидел, дрожа от страха, в церкви. Вдруг он заметил холодное выражение лица г-жи де Реналь и понял, что она сердится за то, что он осмелился поцеловать ее руку. Но гордость, которая поднималась в нем оттого, что он чувствовал на себе новый и совершенно непривычный для него костюм, до такой степени лишала его всякого самообладания, а вместе с тем ему так хотелось скрыть свою радость, что все его движения отличались какой-то почти исступленной, судорожной порывистостью. Г-жа де Реналь следила за ним изумленным взором.

— Побольше солидности, сударь,— сказал ему г-н де Реналь,— если вы желаете пользоваться уважением моих детей и прислуги.

— Сударь,— отвечал Жюльен,— меня стесняет эта новая одежда: я бедный крестьянин и никогда ничего не носил, кроме куртки. Я хотел бы, с вашего разрешения, удалиться в свою комнату, чтобы побыть одному.

— Ну, как ты находишь это новое приобретение? — спросил г-н де Реналь свою супругу.

Повинуясь какому-то почти невольному побуждению, в котором она, конечно, и сама не отдавала себе отчета, г-жа де Реналь скрыла правду от мужа.

— Я не в таком уж восторге от этого деревенского мальчугана и боюсь, как бы все эти ваши любезности не сделали из него нахала: тогда не пройдет и месяца, как вам придется прогнать его.

— Ну, что ж, и прогоним. Это обойдется мне в какую-нибудь сотню франков, а в Верьере меж тем привыкнут, что у детей господина де Реналя есть гувернер. А этого нельзя добиться, если оставить его в куртке мастерового. Ну, а если прогоним, ясное дело, та черная пара, отрез на которую я взял сейчас у суконщика, останется у меня. Отдам ему только вот эту, что в мастерской нашлась: я его сразу в нее и обрядил.

Жюльен пробыл с час у себя в комнате, но для г-жи де Реналь этот час пролетел, как мгновение; как только детям сообщили, что у них теперь будет гувернер, они засыпали мать вопросами. Наконец появился Жюльен. Это был другой человек: мало сказать, что он держался солидно,— нет, это была сама воплощенная солидность. Его представили детям, и он обратился к ним таким тоном, что даже сам г-н де Реналь, и тот удивился.

— Я здесь для того, господа,— сказал он им, заканчивая свою речь,— чтобы обучать вас латыни. Вы знаете, что значит отвечать урок. Вот перед вами Священное писание.— И он показал им маленький томик, в 32-ю долю листа, в черном переплете.— Здесь рассказывается жизнь господа нашего Иисуса Христа, эта святая книга называется Новым заветом. Я буду постоянно спрашивать вас по этой книге ваши уроки, а теперь спросите меня вы, чтобы я вам ответил свой урок.

Старший из детей, Адольф, взял книгу.

— Откройте ее наугад,— продолжал Жюльен,— и скажите мне первое слово любого стиха. Я буду вам отвечать наизусть эту святую книгу, которая всем нам должна служить примером в жизни, и не остановлюсь, пока вы сами не остановите меня.

Адольф открыл книгу и прочел одно слово, и Жюльен стал без запинки читать на память всю страницу и с такой легкостью, как если бы он говорил на родном языке. Г-н де Реналь с торжеством поглядывал на жену. Дети, видя удивление родителей, смотрели на Жюльена широко раскрытыми глазами. К дверям гостиной подошел лакей; Жюльен продолжал говорить по-латыни. Лакей сначала остановился как вкопанный, постоял минутку и исчез. Затем в дверях появились горничная и кухарка; Адольф уже успел открыть книгу в восьми местах, и Жюльен читал наизусть все с такой же легкостью.

— Ах, боже ты мой! Что за красавчик-попик! Да какой

молоденький! — невольно воскликнула кухарка, добрая и чрезвычайно набожная девушка.

Самолюбие г-на де Реналя было несколько встревожено: уж не собираясь проэкзаменовать своего нового гувернера, он силился отыскать в памяти хотя бы несколько латинских слов; наконец, ему удалось припомнить один стих из Горация. Но Жюльен ничего не знал по-латыни, кроме своей Библии. И он ответил, нахмурив брови:

— Священное звание, к которому я себя готовлю, воспрещает мне читать такого нечестивого поэта.

Господин де Реналь процитировал еще немало стихов, якобы принадлежащих Горацию, и начал объяснять детям, кто такой был этот Гораций, но мальчики, разинув рты от восхищения, не обращали ни малейшего внимания на то, что им говорил отец. Они смотрели на Жюльена.

Видя, что слуги продолжают стоять в дверях, Жюльен решил, что следует еще продолжить испытание.

— Ну, а теперь,— обратился он к самому младшему,— надо, чтобы Станислав-Ксавье тоже предложил мне какой-нибудь стих из Священного писания.

Маленький Станислав, просияв от гордости, прочел с грехом пополам первое слово какого-то стиха, и Жюльен прочитал на память всю страницу. Словно нарочно для того, чтобы дать г-ну де Реналю насладиться своим торжеством, в то время как Жюльен читал эту страницу, вошли г-н Вально, владелец превосходных нормандских лошадей, и за ним г-н Шарко де Можирон, помощник префекта округа. Эта сцена утвердила за Жюльеном титул «сударь»,— отныне даже слуги не дерзали оспаривать его право на это.

Вечером весь Верьер сбежался к мэру, чтобы посмотреть на это чудо. Жюльен отвечал всем с мрачным видом, который удерживал собеседников на известном расстоянии. Слава о нем так быстро распространилась по всему городу, что не прошло и нескольких дней, как г-н де Реналь, опасаясь, как бы его кто-нибудь не переманил, предложил ему подписать с ним обязательство на два года.

— Нет, сударь,— холодно отвечал Жюльен.— Если вам вздумается прогнать меня, я вынужден буду уйти. Обязательство, которое связывает только меня, а вас ни к чему не обязывает,— это неравная сделка. Я отказываюсь.

Жюльен сумел так хорошо себя поставить, что не прошло и месяца с тех пор, как он появился в доме, как уже сам г-н

де Реналь стал относиться к нему с уважением. Кюре не поддерживал никаких отношений с господами де Реналем и Вально, и никто уж не мог выдать им давнюю страсть Жюльена к Наполеону; сам же он говорил о нем не иначе, как с омерзением.

VII

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СРОДСТВО

Они не способны тронуть сердце,
не причинив ему боль.
Современный автор.

Дети обожали его; он не питал к ним никакой любви; мысли его были далеко от них. Что бы ни проделывали малыши, он никогда не терял терпения. Холодный, справедливый, бесстрастный, но тем не менее любимый,— ибо его появление все же как-то рассеяло скуку в доме,— он был хорошим воспитателем. Сам же он испытывал лишь ненависть и отвращение к этому высшему свету, куда он был допущен,— правда, допущен только к самому краешку стола, чем, быть может, и объяснялись его ненависть и отвращение. Иногда, во время какого-нибудь званого обеда, он едва сдерживал свою ненависть ко всему, что его окружало. Как-то раз в праздник св. Людовика, слушая за столом разглагольствования г-на Вально, Жюльен чуть было не выдал себя: он убежал в сад под предлогом, что ему надо взглянуть на детей.

«Какое восхваление честности! — мысленно восклицал он.— Можно подумать, что это единственная добродетель в мире, а в то же время какое низкопоклонство, какое пресмыкательство перед человеком, который уж наверняка удвоил и утроил свое состояние с тех пор, как распоряжается имуществом бедняков. Готов биться об заклад, что он наживается даже на тех средствах, которые отпускает казна на этих несчастных подкидышей, чья бедность поистине должна быть священной и неприкосновенной. Ах, чудовища! Чудовища! Ведь и сам-то я, да, я тоже вроде подкидыша: все меня ненавидят — отец, братья, вся семья».

Незадолго до этого праздника св. Людовика Жюльен, повторяя на память молитвы, прогуливался в небольшой роще, расположенной над Аллеей Верности и называвшейся Бельведер, как вдруг на одной глухой тропинке увидел издали своих братьев; ему не удалось избежать встречи с ними. Его прекрасный черный костюм, весь его чрезвычайно благопристойный вид и то совершенно искреннее презрение, с каким он относился

к ним, вызвали такую злобную ненависть у этих грубых мастеровых, что они набросились на него с кулаками и избили так, что он остался лежать без памяти, весь в крови. Г-жа де Реналь, прогуливаясь в обществе г-на Вально и помощника префекта, случайно зашла в эту рощу и, увидев Жюльена распростертым на земле, решила, что он убит. Она пришла в такое смятение, что у г-на Вально шевельнулось чувство ревности.

Но это была преждевременная тревога с его стороны. Жюльен считал г-жу де Реналь красавицей, но ненавидел ее за ее красоту: ведь это было первое препятствие на его пути к преуспеянию, и он чуть было не споткнулся о него. Он всячески избегал разговаривать с нею, чтобы у нее скорее изгладился из памяти тот восторженный порыв, который толкнул его в первый день поцеловать у нее руку.

Элиза, горничная г-жи де Реналь, не замедлила влюбиться в юного гувернера: она постоянно говорила о нем со своей госпожой. Любовь Элизы навлекла на Жюльена ненависть одного из лакеев. Как-то однажды он услышал, как этот человек упрекал Элизу: «Вы и говорить-то со мной больше не желаете с тех пор, как этот поганый гувернер появился у нас в доме». Жюльен отнюдь не заслуживал подобного эпитета; но, будучи красивым юношей, он инстинктивно удвоил заботы о своей наружности. Ненависть г-на Вально тоже удвоилась. Он громогласно заявил, что юному аббату не подобает такое кокетство. Жюльен в своем черном долгополом сюртуке был похож на монаха, разве что сутаны не хватало.

Госпожа де Реналь заметила, что Жюльен частенько разговаривает с Элизой, и дозналась, что причиной тому является крайняя скудость его гардероба. У него было так мало белья, что ему приходилось то и дело отдавать его в стирку,— за этими-то маленькими одолжениями он и обращался к Элизе. Эта крайняя бедность, о которой она и не подозревала, растрогала г-жу де Реналь; ей захотелось сделать ему подарок, но она не решалась, и этот внутренний разлад был первым тяжелым чувством, которое причинил ей Жюльен. До сих пор имя Жюльена и ощущение чистой духовной радости сливались для нее воедино. Мучаясь мыслью о бедности Жюльена, г-жа де Реналь однажды сказала мужу, что следовало бы сделать Жюльену подарок, купить ему белье.

— Что за глупости! — отвечал он.— С какой стати делать подарки человеку, которым мы довольны и который нам отлично служит? Вот если бы мы заметили, что он отлынивает от своих обязанностей, тогда бы следовало поощрить его к усердию.

Госпоже де Реналь показался унизительным такой взгляд на вещи; однако до появления Жюльена она бы даже не заметила этого. Теперь, всякий раз, едва только взгляд ее падал на безукоризненно опрятный, хоть и весьма непритязательный костюм юного аббата, у нее невольно мелькала мысль: «Бедный мальчик, да как же это он ухитряется?..»

И постепенно все то, чего недоставало Жюльену, стало вызывать у нее только жалость к нему и отнюдь не коробило ее.

Госпожа де Реналь принадлежала к числу тех провинциалок, которые на первых порах знакомства легко могут показаться глупенькими. У нее не было никакого житейского опыта, и она совсем не старалась блеснуть в разговоре. Одаренная тонкой и гордой душой, она в своем безотчетном стремлении к счастью, свойственном всякому живому существу, в большинстве случаев просто не замечала того, что делали эти грубые люди, которыми ее окружила судьба.

Будь у нее хоть какое-нибудь образование, она, несомненно, выделялась бы и своими природными способностями, и живостью ума, но в качестве богатой наследницы она воспитывалась у монахинь, пламенно приверженных «Святому сердцу Иисусову» и воодушевленных кипучей ненавистью ко всем тем французам, которые считались врагами иезуитов. У г-жи де Реналь оказалось достаточно здравого смысла, чтобы очень скоро забыть весь тот вздор, которому ее учили в монастыре, но она ничего не обрела взамен и так и жила в полном невежестве. Лесть, которую ей с юных лет расточали как богатой наследнице, и несомненная склонность к пламенному благочестию способствовали тому, что она стала замыкаться в себе. На вид она была необыкновенно уступчива и, казалось, совершенно отреклась от своей воли, и верьерские мужья не упускали случая ставить это в пример своим женам, что составляло предмет гордости г-на де Реналя; на самом же деле ее обычное душевное состояние было следствием глубочайшего высокомерия. Какая-нибудь принцесса, которую вспоминают как пример гордыни, и та проявляла несравненно больше внимания к тому, что делали окружающие ее придворные, чем проявляла эта такая кроткая и скромная с виду женщина ко всему, что бы ни сделал или ни сказал ее супруг. До появления Жюльена единственное, на что она, в сущности, обращала внимание, были ее дети. Их маленькие недомогания, их огорчения, их крохотные радости поглощали всю способность чувствовать у этой души. За всю свою жизнь г-жа де Реналь пылала любовью только к господу

богу, когда воспитывалась в монастыре Сердца Иисусова в Безансоне.

Хоть она и не снисходила до того, чтобы кому-нибудь говорить об этом, но достаточно было хотя бы легкого озноба или жара у одного из ее сыновей, чтобы она сразу же пришла в такое состояние, как если бы ребенок уже погиб. Грубый смех, пожимание плечами да какая-нибудь избитая фраза по поводу женской блажи — вот все, что она получала в ответ, когда в первые годы своего замужества в порыве откровенности пыталась поделиться своими чувствами с мужем. От такого рода шуточек, в особенности когда речь шла о болезни детей, у г-жи де Реналь сердце переворачивалось в груди. Вот что она обрела взамен угодливой и медоточивой лести иезуитского монастыря, где протекала ее юность. Горе воспитало ее. Гордость не позволяла ей признаться в этих огорчениях даже своей лучшей подруге, г-же Дервиль, и она пребывала в уверенности, что все мужчины таковы, как ее муж, как г-н Вально и помощник префекта Шарко де Можирон. Грубость и самое тупое равнодушие ко всему, что не имеет отношения к наживе, к чинам или крестам, слепая ненависть ко всякому неугодному им суждению — все это казалось ей столь же естественным у представителей сильного пола, как то, что они ходят в сапогах и фетровой шляпе.

Но даже после стольких лет г-жа де Реналь все-таки не могла привыкнуть к этим толстосумам, среди которых ей приходилось жить.

Это-то и было причиной успеха юного крестьянина Жюльена. В симпатии к этой благородной и гордой душе она познала какую-то живую радость, сиявшую прелестью новизны.

Госпожа де Реналь очень скоро простила ему и его незнание самых простых вещей, которое скорей даже умиляло ее, и грубость манер, которую ей удавалось понемногу сглаживать. Она находила, что его стоило послушать, даже когда он говорил о чем-нибудь обыкновенном, ну хотя бы когда он рассказывал о несчастной собаке, которая, перебегая улицу, попала под быстро катившуюся крестьянскую телегу. Зрелище такого несчастья вызвало бы грубый хохот у ее супруга, а тут она видела, как страдальчески сдвигаются тонкие, черные и так красиво изогнутые брови Жюльена. Мало-помалу ей стало казаться, что великодушие, душевное благородство, человечность — все это присуще только одному этому молоденькому аббату. И все то сочувствие и даже восхищение, которые пробуждаются в благородной душе этими высокими добродетелями, она теперь питала только к нему одному.

В Париже отношения Жюльена с г-жой де Реналь не замедлили бы разрешиться очень просто, но ведь в Париже любовь — это дитя романов. Юный гувернер и его робкая госпожа, прочитав три-четыре романа или послушав песенки в театре Жимназ, не преминули бы выяснить свои взаимоотношения. Романы научили бы их, каковы должны быть их роли, показали бы им примеры, коим надлежит подражать, и рано или поздно, возможно, даже без всякой радости, может быть, даже нехотя, но имея перед собой такой пример, Жюльен из тщеславия невольно последовал бы ему.

В каком-нибудь маленьком городке в Авейроне или в Пиренеях любая случайность могла бы ускорить развязку — таково действие знойного климата. А под нашим более сумрачным небом юноша-бедняк становится честолюбцем только потому, что его возвышенная натура заставляет его стремиться к таким радостям, которые стоят денег; он видит изо дня в день тридцатилетнюю женщину, искренне целомудренную, поглощенную заботами о детях и отнюдь не склонную искать в романах образцы для своего поведения. Все идет потихоньку, все в провинции совершается мало-помалу и более естественно.

Нередко, задумываясь о бедности юного гувернера, г-жа де Реналь способна была растрогаться до слез. И вот как-то раз Жюльен застал ее, когда она плакала.

— Ах, сударыня, уж не приключилось ли с вами какой беды?

— Нет, мой друг,— отвечала она ему.— Позовите детей и пойдемте гулять.

Она взяла его под руку и оперлась на него, что показалось Жюльену очень странным. Это было впервые, что она назвала его «мой друг».

К концу прогулки Жюльен заметил, что она то и дело краснеет. Она замедлила шаг.

— Вам, наверно, рассказывали,— заговорила она, не глядя на него,— что я единственная наследница моей тетки, которая очень богата и живет в Безансоне. Она постоянно посылает мне всякие подарки... А сыновья мои делают такие успехи... просто удивительные... Так вот я хотела попросить вас принять от меня маленький подарок в знак моей благодарности. Это просто так, сущие пустяки, всего несколько луидоров вам на белье. Только вот...— добавила она, покраснев еще больше, и замолчала.

— Только что, сударыня? — спросил Жюльен.

— Не стоит,— прошептала она, опуская голову,— не стоит говорить об этом моему мужу.

— Я человек маленький, сударыня, но я не лакей,— отвечал Жюльен, гневно сверкая глазами, и, остановившись, выпрямился во весь рост.— Вы, конечно, не соизволили об этом подумать. Я бы считал себя ниже всякого лакея, если бы позволил себе скрыть от господина де Реналя что бы то ни было относительно моих денег.

Госпожа де Реналь чувствовала себя уничтоженной.

— Господин мэр,— продолжал Жюльен,— вот уже пять раз, с тех пор как я здесь живу, выдавал мне по тридцать шесть франков. Я хоть сейчас могу показать мою расходную книжку господину де Реналю, да хоть кому угодно, даже господину Вально, который меня терпеть не может.

После этой отповеди г-жа де Реналь шла рядом с ним бледная, взволнованная, и до самого конца прогулки ни тому, ни другому не удалось придумать какого-нибудь предлога, чтобы возобновить разговор.

Теперь уже полюбить г-жу де Реналь для гордого сердца Жюльена стало чем-то совершенно немыслимым; а она, она прониклась к нему уважением; она восхищалась им: как он ее отчитал! Как бы стараясь загладить обиду, которую она ему невольно нанесла, она теперь разрешила себе окружать его самыми нежными заботами. И новизна этих забот доставляла радость г-же де Реналь в течение целой недели. В конце концов ей удалось несколько смягчить гнев Жюльена, но ему и в голову не приходило заподозрить в этом что-либо похожее на личную симпатию.

«Вот они каковы,— говорил он себе,— эти богачи: втопчут тебя в грязь, а потом думают, что все это можно загладить какими-то ужимками».

Сердце г-жи де Реналь было так переполнено, и так оно еще было невинно, что она, несмотря на все свои благие решения не пускаться в откровенности, не могла не рассказать мужу о предложении, которое она сделала Жюльену, и о том, как оно было отвергнуто.

— Как! — вскричал в страшном негодовании г-н де Реналь.— И вы допустили, что вам отказал ваш *слуга?*

Госпожа де Реналь, возмущенная этим словом, попыталась было возражать.

— Я, сударыня,— отвечал он,— выражаюсь так, как соизволил выразиться покойный принц Конде, представляя своих камергеров молодой супруге. «Все эти люди,— сказал он,— наши слуги». Я вам читал это место из мемуаров де Безанваля, весьма поучительное для поддержания престижа. Всякий, кто

не дворянин и живет у вас на жалованье,— это слуга ваш. Я с ним поговорю, с этим господином Жюльеном, и дам ему сто франков.

— Ах, друг мой! — промолвила, дрожа всем телом, г-жа де Реналь.— Ну хоть, по крайней мере, так, чтобы слуги не видели.

— Ну, еще бы! Они стали бы завидовать — и не без оснований,— сказал супруг, выходя из комнаты и раздумывая, не слишком ли велика сумма, которую он назвал.

Госпожа де Реналь до того была расстроена, что упала в кресло почти без чувств. «Теперь он постарается унизить Жюльена, и это по моей вине». Она почувствовала отвращение к мужу и закрыла лицо руками. Теперь уж она дала себе слово: никогда не пускаться с ним в откровенности.

Когда она увидела Жюльена, она вся задрожала, у нее так стеснило в груди, что она не могла выговорить ни слова. В замешательстве она взяла его за обе руки и крепко пожала их.

— Ну как, друг мой,— вымолвила она наконец,— довольны ли вы моим мужем?

— Как же мне не быть довольным! — отвечал Жюльен с горькой усмешкой.— Еще бы! Он дал мне сто франков.

Госпожа де Реналь смотрела на него словно в нерешительности.

— Идемте, дайте мне вашу руку,— внезапно сказала она с такой твердостью, какой до сих пор Жюльен никогда в ней не замечал.

Она решилась пойти с ним в книжную лавку, невзирая на то, что верьерский книготорговец слыл ужаснейшим либералом. Там она выбрала на десять луидоров несколько книг в подарок детям. Но все это были книги, которые, как она знала, хотелось иметь Жюльену. Она настояла, чтобы тут же, за прилавком, каждый из детей написал свое имя на тех книгах, которые ему достались. А в то время как г-жа де Реналь радовалась, что нашла способ вознаградить Жюльена, он оглядывался по сторонам, удивляясь множеству книг, которые стояли на полках книжной лавки. Никогда еще он не решался войти в такое нечестивое место; сердце его трепетало. Он не только не догадывался о том, что творится в душе г-жи де Реналь, но вовсе и не думал об этом: он весь был поглощен мыслью, как бы ему придумать какой-нибудь способ раздобыть здесь несколько книг, не замарав своей репутации богослова. Наконец, ему пришло в голову, что, если за это взяться половчей, то, может быть, удастся внушить г-ну де Реналю, что для письменных упраж-

нений его сыновей самой подходящей темой были бы жизнеописания знаменитых дворян здешнего края. После целого месяца стараний Жюльен наконец преуспел в своей затее, да так ловко, что спустя некоторое время он решился сделать другую попытку и однажды в разговоре с г-ном де Реналем намекнул ему на некую возможность, которая для высокородного мэра представляла немалое затруднение: речь шла о том, чтобы способствовать обогащению либерала — записаться абонентом в его книжную лавку. Г-н де Реналь вполне соглашался, что было бы весьма полезно дать его старшему сыну беглое представление de visu [1] о кое-каких произведениях, о которых может зайти разговор, когда он будет в военной школе; но Жюльен видел, что дальше этого г-н мэр не пойдет. Жюльен решил, что тут, вероятно, что-то кроется, но что именно, он не мог догадаться.

— Я полагаю, сударь,— сказал он ему как-то раз,— что это, конечно, было бы до крайности непристойно, если бы такое доброе дворянское имя, как *Реналь*, оказалось в мерзких списках книготорговца.

Чело г-на де Реналя прояснилось.

— Да и для бедного студента-богослова,— продолжал Жюльен значительно более угодливым тоном,— тоже было бы темным пятном, если бы кто-нибудь впоследствии откопал, что его имя значилось среди абонентов книгопродавца, отпускающего книги на дом. Либералы смогут обвинить меня в том, что я брал самые что ни на есть гнусные книги, и — кто знает — они не постесняются приписать под моим именем названия этих поганых книг.

Но тут Жюльен заметил, что дал маху. Он видел, как на лице мэра снова проступает выражение замешательства и досады. Он замолчал. «Ага, попался, теперь я его вижу насквозь»,— заключил он про себя.

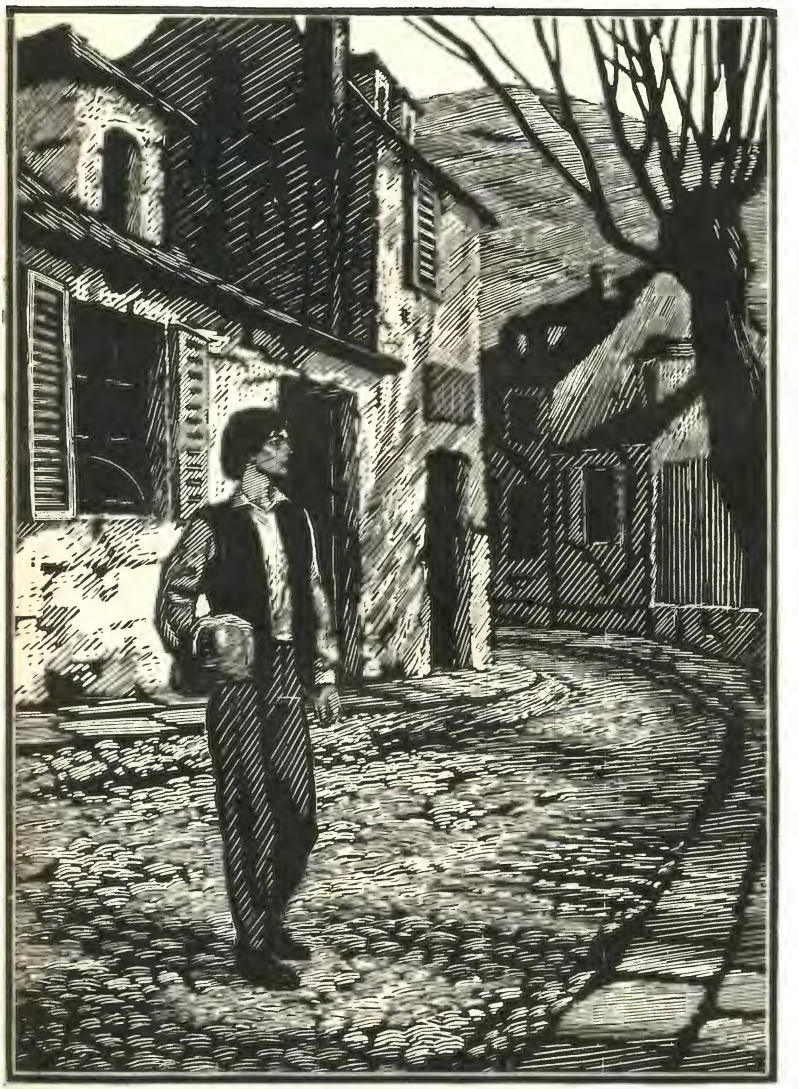
Прошло несколько дней, и вот как-то раз в присутствии г-на де Реналя старший мальчик спросил Жюльена, что это за книга, о которой появилось объявление в «Котидьен».

— Чтобы не давать этим якобинцам повода для зубоскальства, а вместе с тем дать мне возможность ответить на вопрос господина Адольфа, можно было бы записать абонентом в книжную лавку кого-либо из ваших слуг, скажем, лакея.

— Вот это недурно придумано,— подхватил, явно обрадовавшись, г-н де Реналь.

---

[1] Наглядно, воочию *(лат.)*.



— Но, во всяком случае, надо будет принять меры,— продолжал Жюльен с серьезной, чуть ли не горестной миной, которая весьма подходит некоторым людям, когда они видят, что цель, к которой они так долго стремились, достигнута,— надо будет принять меры, чтобы слуга ваш ни в коем случае не брал никаких романов. Стоит только этим опасным книжкам завестись в доме, и они совратят горничных да и того же слугу.

— А политические памфлеты? Вы о них забыли? — с важностью добавил г-н де Реналь.

Ему не хотелось обнаруживать своего восхищения этим искусным маневром, который придумал гувернер его детей.

Так жизнь Жюльена заполнялась этими маленькими уловками, и их успех интересовал его много больше, чем та несомненная склонность, которую он без труда мог бы прочитать в сердце г-жи де Реналь.

Душевное состояние, в котором он пребывал до сих пор, теперь снова овладело им в доме г-на мэра. И тут, как на лесопилке своего отца, он глубоко презирал людей, среди которых жил, и чувствовал, что и они ненавидят его. Слушая изо дня в день разговоры помощника префекта, г-на Вально и прочих друзей дома о тех или иных событиях, случившихся у них на глазах, он видел, до какой степени их представления не похожи на действительность. Какой-нибудь поступок, которым он мысленно восхищался, неизменно вызывал яростное негодование у всех окружающих. Он беспрестанно восклицал про себя: «Какие чудовища! Ну и болваны!» Забавно было то, что, проявляя такое высокомерие, он частенько ровно ничего не понимал из того, о чем они говорили.

За всю свою жизнь он ни с кем не разговаривал откровенно, если не считать старика-лекаря, а весь небольшой запас знаний, которыми тот располагал, ограничивался итальянскими кампаниями Бонапарта и хирургией. Подробные описания самых мучительных операций пленяли юношескую отвагу Жюльена; он говорил себе:

«Я бы стерпел, не поморщившись».

В первый раз, когда г-жа де Реналь попробовала завязать с ним разговор, не имеющий отношения к воспитанию детей, он стал рассказывать ей о хирургических операциях; она побледнела и попросила его перестать.

А кроме этого, Жюльен ничего не знал. И хотя жизнь его протекала в постоянном общении с г-жой де Реналь,— стоило им только остаться вдвоем, между ними воцарялось глубокое молчание. На людях, в гостиной, как бы смиренно он ни

держал себя, она угадывала мелькавшее в его глазах выражение умственного превосходства над всеми, кто у них бывал в доме. Но как только она оставалась с ним наедине, он приходил в явное замешательство. Ее тяготило это, ибо она своим женским чутьем угадывала, что замешательство это проистекает отнюдь не от каких-то нежных чувств.

Руководствуясь невесть какими представлениями о высшем обществе, почерпнутыми из рассказов старика-лекаря, Жюльен испытывал крайне унизительное чувство, если в присутствии женщины посреди общего разговора вдруг наступала пауза,— точно он-то и был виноват в этом неловком молчании. Но чувство это было во сто крат мучительнее, если молчание наступало, когда он бывал наедине с женщиной. Его воображение, напичканное самыми непостижимыми, поистине испанскими представлениями о том, что надлежит говорить мужчине, когда он остается вдвоем с женщиной, подсказывало ему в эти минуты замешательства совершенно немыслимые вещи. На что он только не отваживался про себя! А вместе с тем он никак не мог прервать это унизительное молчание. И в силу этого его суровый вид во время долгих прогулок с г-жой де Реналь и детьми становился еще суровее от переживаемых им жестоких мучений. Он страшно презирал себя. А если ему, на свою беду, удавалось заставить себя заговорить, он изрекал что-нибудь совершенно нелепое. И ужаснее всего было то, что он не только сам видел нелепость своего поведения, но и преувеличивал ее. Но было при этом еще нечто, чего он не мог видеть,— его собственные глаза; а они были так прекрасны, и в них отражалась такая пламенная душа, что они, подобно хорошим актерам, придавали иной раз чудесный смысл тому, в чем его и в помине не было. Г-жа де Реналь заметила, что наедине с нею он способен был разговориться только в тех случаях, когда под впечатлением какого-нибудь неожиданного происшествия забывал о необходимости придумывать комплименты. Так как друзья дома отнюдь не баловали ее никакими блестящими, интересными своей новизной мыслями, она наслаждалась и восхищалась этими редкими вспышками, в которых обнаруживался ум Жюльена.

После падения Наполеона в провинциальных нравах не допускается больше никакой галантности. Всякий дрожит, как бы его не сместили. Мошенники ищут опоры в конгрегации, и лицемерие процветает вовсю даже в кругах либералов. Скука возрастает. Не остается никаких развлечений, кроме чтения да сельского хозяйства.

Госпожа де Реналь, богатая наследница богобоязненной тетки, выданная замуж в шестнадцать лет за немолодого дворянина, за всю свою жизнь никогда не испытывала и не видела ничего, хоть сколько-нибудь похожего на любовь. Только ее духовник, добрый кюре Шелан, говорил с ней о любви по случаю ухаживаний г-на Вально и нарисовал ей такую отвратительную картину, что это слово в ее представлении было равнозначно самому гнусному разврату. А то немногое, что она узнала из нескольких романов, случайно попавших ей в руки, казалось ей чем-то совершенно исключительным и даже небывалым. Благодаря этому неведению г-жа де Реналь, всецело поглощенная Жюльеном, пребывала в полном блаженстве, и ей даже в голову не приходило в чем-либо себя упрекать.

VIII

МАЛЕНЬКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Then there were sighs, the deeper for suppression,
And stolen glances, sweeter for the theft,
And burning blushes, though for no transgression...
Don Juan, c. I, st. LXXIV [1].

Ангельская кротость г-жи де Реналь, которая проистекала из ее характера, а также из того блаженного состояния, в котором она сейчас находилась, немного изменяла ей, едва она вспоминала о своей горничной Элизе. Девушка эта получила наследство, после чего, придя на исповедь к кюре Шелану, призналась ему в своем желании выйти замуж за Жюльена. Кюре от всего сердца порадовался счастью своего любимца, но каково же было его удивление, когда Жюльен самым решительным образом заявил ему, что предложение мадемуазель Элизы для него никак не подходит.

— Берегитесь, дитя мое,— сказал кюре, нахмурив брови,— остерегайтесь того, что происходит в сердце вашем; я готов порадоваться за вас, если вы повинуетесь своему призванию и только во имя его готовы презреть такое изрядное состояние. Вот уж ровно пятьдесят шесть лет стукнуло, как я служу свя-

[1] И вздох тем глубже, что вздохнуть боится,
Поймает взор и сладостно замрет,
И вспыхнет вся, хоть нечего стыдиться... *Байрон, «Дон Жуан», песнь I, строфа LXXIV (англ.).* Здесь и дальше стихи — в переводе С. Боброва.

щенником в Верьере, и тем не менее меня, по всей видимости, сместят. Я сокрушаюсь об этом, но как-никак у меня есть восемьсот ливров ренты. Я вас затем посвящаю в такие подробности, чтобы вы не обольщали себя надеждами на то, что может вам принести сан священника. Если вы станете заискивать перед людьми власть имущими, вы неминуемо обречете себя на вечную гибель. Возможно, вы достигнете благоденствия, но для этого вам придется обижать бедных, льстить помощнику префекта, мэру, каждому влиятельному лицу и подчиняться их прихотям; такое поведение, то есть то, что в миру называется «умением жить», не всегда бывает для мирянина совсем уж несовместимо со спасением души, но в нашем звании надо выбирать: либо благоденствовать в этом мире, либо в жизни будущей; середины нет. Ступайте, мой друг, поразмыслите над этим, а через три дня приходите и дайте мне окончательный ответ. Я иногда с сокрушением замечаю некий сумрачный пыл, сокрытый в природе вашей, который, на мой взгляд, не говорит ни о воздержании, ни о безропотном отречении от благ земных, а ведь эти качества необходимы служителю церкви. Я знаю, что с вашим умом вы далеко пойдете, но позвольте мне сказать вам откровенно,— добавил добрый кюре со слезами на глазах,— если вы примете сан священника, я со страхом думаю, убережете ли вы свою душу.

Жюльен со стыдом признался себе, что он глубоко растроган: первый раз в жизни он почувствовал, что кто-то его любит; он расплакался от умиления и, чтобы никто не видел его, убежал в лесную чащу, в горы над Верьером.

«Что со мной делается? — спрашивал он себя.— Я чувствую, что мог бы сто раз жизнь свою отдать за этого добрейшего старика, а ведь как раз он-то мне и доказал, что я дурак. Именно его-то мне важнее всего обойти, а он меня видит насквозь. Этот тайный пыл, о котором он говорит, ведь это моя жажда выйти в люди. Он считает, что я недостоин стать священником, а я-то воображал, что этот мой добровольный отказ от пятисот луидоров ренты внушит ему самое высокое представление о моей святости и о моем призвании».

«Отныне,— внушал самому себе Жюльен,— я буду полагаться только на те черты моего характера, которые я уж испытал на деле. Кто бы мог сказать, что я с таким наслаждением буду обливаться слезами? Что я способен любить человека, который доказал мне, что я дурак?»

Через три дня Жюльен наконец нашел предлог, которым ему следовало бы вооружиться с самого первого дня; этот пред-

лог, в сущности, был клеветой, но не все ли равно? Он неуверенным голосом признался кюре, что есть одна причина,— какая, он не может сказать, потому что это повредило бы третьему лицу,— но она-то с самого начала и отвратила его от этого брака. Разумеется, это бросало тень на Элизу. Отцу Шелану показалось, что все это свидетельствует только о суетной горячности, отнюдь не похожей на тот священный огонь, которому надлежит пылать в душе юного служителя церкви.

— Друг мой,— сказал он ему,— для вас было бы много лучше стать добрым, зажиточным деревенским жителем, семьянином, почтенным и образованным, чем идти без призвания в священники.

Жюльен сумел очень хорошо ответить на эти увещевания: он говорил как раз то, что нужно, то есть выбирал именно те выражения, какие больше всего подходят ревностному семинаристу; но тон, каким все это произносилось, и сверкавший в его очах огонь, который он не умел скрыть, пугали отца Шелана.

Однако не следует делать из этого какие-либо нелестные выводы о Жюльене: он тщательно продумывал свои фразы, исполненные весьма тонкого и осторожного лицемерия, и для своего возраста справился с этим не так уж плохо. Что же касается тона и жестов, то ведь он жил среди простых крестьян и не имел перед глазами никаких достойных примеров. В дальнейшем, едва только он обрел возможность приблизиться к подобного рода мастерам, его жестикуляция сделалась столь же совершенной, сколь и его красноречие.

Госпожа де Реналь удивлялась, отчего это ее горничная, с тех пор как получила наследство, ходит такая невеселая: она видела, что девушка беспрестанно бегает к кюре и возвращается от него заплаканная; в конце концов Элиза сама заговорила с ней о своем замужестве.

Госпожа де Реналь занемогла; ее кидало то в жар, то в озноб, и она совсем лишилась сна; она только тогда и была спокойна, когда видела возле себя свою горничную или Жюльена. Ни о чем другом она думать не могла, как только о них, о том, как они будут счастливы, когда поженятся. Этот бедный маленький домик, где они будут жить на свою ренту в пятьсот луидоров, рисовался ей в совершенно восхитительных красках. Жюльен, конечно, сможет поступить в магистратуру в Брэ, в двух лье от Верьера, и в таком случае у нее будет возможность видеть его время от времени.

Госпоже де Реналь стало всерьез казаться, что она сходит с ума; она сказала об этом мужу и в конце концов действи-

тельно заболела и слегла. Вечером, когда горничная принесла ей ужин, г-жа де Реналь заметила, что девушка плачет. Элиза теперь ужасно раздражала ее, и она прикрикнула на нее, но тут же попросила у нее прощения. Элиза разрыдалась и, всхлипывая, сказала, что, ежели госпожа позволит, она ей расскажет свое горе.

— Расскажите,— отвечала г-жа де Реналь.

— Ну так вот, сударыня, он отказал мне; видно, злые люди наговорили ему про меня, а он верит.

— Кто отказал вам? — произнесла г-жа де Реналь, едва переводя дух.

— Да кто же, как не господин Жюльен? — рыдая, промолвила служанка.— Господин кюре как уж его уговаривал; потому что господин кюре говорит, что ему не следует отказывать порядочной девушке из-за того только, что она служит в горничных. А ведь у самого-то господина Жюльена отец простой плотник, да и сам он, пока не поступил к вам, на что жил-то?

Госпожа де Реналь уже не слушала: она была до того счастлива, что чуть не лишилась рассудка. Она заставила Элизу несколько раз повторить, что Жюльен в самом деле отказал ей, и что это уже окончательно, и нечего и надеяться, что он еще может передумать и принять более разумное решение.

— Я сделаю еще одну, последнюю попытку,— сказала г-жа де Реналь девушке,— я сама поговорю с господином Жюльеном.

На другой день после завтрака г-жа де Реналь доставила себе несказанное наслаждение, отстаивая интересы своей соперницы только затем, чтобы в ответ на это в течение целого часа слушать, как Жюльен снова и снова упорно отказывается от руки и состояния Элизы.

Жюльен мало-помалу оставил свою осмотрительную уклончивость и в конце концов очень неглупо отвечал на благоразумные увещевания г-жи де Реналь. Бурный поток радости, хлынувший в ее душу после стольких дней отчаяния, сломил ее силы. Она лишилась чувств. Когда она пришла в себя и ее уложили в ее комнате, она попросила оставить ее одну. Она была охвачена чувством глубочайшего изумления.

«Неужели я люблю Жюльена?» — спросила она наконец самое себя.

Это открытие, которое в другое время вызвало бы у нее угрызения совести и потрясло бы ее до глубины души, теперь показалось ей просто чем-то странным, на что она взирала безучастно, как бы со стороны. Душа ее, обессиленная всем тем,

что ей пришлось пережить, стала теперь нечувствительной и неспособной к волнению.

Госпожа де Реналь попробовала заняться рукоделием, но тут же уснула мертвым сном, а когда проснулась, все это показалось ей уж не таким страшным, как должно было бы казаться. Она чувствовала себя такой счастливой, что не способна была видеть что-либо в дурном свете. Эта милая провинциалка, чистосердечная и наивная, никогда не растравляла себе душу, чтобы заставить ее острее ощутить какой-нибудь неизведанный оттенок чувства или огорчения. А до того как в доме появился Жюльен, г-жа де Реналь, целиком поглощенная бесконечными хозяйственными делами, которые за пределами Парижа достаются в удел всякой доброй матери семейства, относилась к любовным страстям примерно так, как мы относимся к лотерее: явное надувательство, и только сумасшедший может верить, что ему посчастливится.

Позвонили к обеду: г-жа де Реналь вспыхнула, услыхав голос Жюльена, возвращавшегося с детьми. Она уже научилась немножко хитрить, с тех пор как полюбила, и, чтобы объяснить свой внезапный румянец, начала жаловаться, что у нее страшно болит голова.

— Вот все они на один лад, эти женщины,— громко захохотав, сказал г-н де Реналь.— Вечно у них там что-то такое в неисправности.

Как ни привыкла г-жа де Реналь к подобного рода шуточкам, на этот раз ее покоробило. Чтобы отделаться от неприятного чувства, она поглядела на Жюльена: будь он самым что ни на есть страшным уродом, он сейчас все равно понравился бы ей.

Господин де Реналь тщательно подражал обычаям придворной знати и, едва только наступили первые теплые весенние дни, перебрался в Вержи; это была деревенька, прославившаяся трагической историей Габриэли. В нескольких шагах от живописных развалин старинной готической церкви стоит древний замок с четырьмя башнями, принадлежащий г-ну де Реналю, а кругом парк, разбитый наподобие Тюильрийского, с множеством бордюров из букса и с каштановыми аллеями, которые подстригают дважды в год. К нему примыкает участок, усаженный яблонями,—излюбленное место для прогулок. В конце этой фруктовой рощи возвышаются восемь или десять великолепных ореховых деревьев,— их огромная листва уходит чуть ли не на восемьдесят футов в вышину.

— Каждый из этих проклятых орехов,— ворчал г-н де

Реналь, когда его жена любовалась ими,— отнимает у меня поларпана урожая: пшеница не вызревает в их тени.

Госпожа де Реналь словно впервые почувствовала прелесть природы: она восхищалась всем, не помня себя от восторга. Чувство, воодушевлявшее ее, делало ее предприимчивой и решительной. Через два дня после их переезда в Вержи, как только г-н де Реналь, призываемый своими обязанностями мэра, уехал обратно в город, г-жа де Реналь наняла за свой счет рабочих. Жюльен подал ей мысль проложить узенькую дорожку, которая вилась бы вокруг фруктового сада вплоть до громадных орехов и была бы посыпана песком. Тогда дети будут с раннего утра гулять здесь, не рискуя промочить ноги в росистой траве. Не прошло и суток, как эта идея была приведена в исполнение. Г-жа де Реналь очень весело провела весь этот день с Жюльеном, руководя рабочими.

Когда верьерский мэр вернулся из города, он чрезвычайно удивился, увидев уже готовую дорожку. Г-жа де Реналь также, со своей стороны, удивилась его приезду: она совсем забыла о его существовании. Целых два месяца он с возмущением говорил об ее самочинстве: как это можно было, не посоветовавшись с ним, решиться на такое крупное новшество? И только то, что г-жа де Реналь взяла этот расход на себя, несколько утешало его.

Она целые дни проводила с детьми в саду, гонялась вместе с ними за бабочками. Они смастерили себе большие колпаки из светлого газа, при помощи которых и ловили бедных *чешуекрылых*. Этому тарабарскому названию научил г-жу де Реналь Жюльен, ибо она выписала из Безансона превосходную книгу Годара, и Жюльен рассказывал ей о необыкновенных нравах этих насекомых.

Их безжалостно накалывали булавками на большую картонную рамку, тоже приспособленную Жюльеном.

Наконец-то у г-жи де Реналь и Жюльена нашлась тема для бесед, и ему уже не приходилось больше терпеть невыразимые муки, которые он испытывал в минуты молчания.

Они говорили без конца и с величайшим увлечением, хотя всегда о предметах самых невинных. Эта кипучая жизнь, постоянно чем-то заполненная и веселая, была по вкусу всем, за исключением горничной Элизы, которой приходилось трудиться не покладая рук. «Никогда, даже во время карнавала, когда у нас бывает бал в Верьере,— говорила она,— моя госпожа так не занималась своими туалетами; она по два, по три раза в день меняет платья».

Так как в наши намерения не входит льстить кому бы то ни было, мы не станем отрицать, что г-жа де Реналь, у которой была удивительная кожа, стала теперь шить себе платья с короткими рукавами и с довольно глубоким вырезом. Она была очень хорошо сложена, и такие наряды шли ей как нельзя лучше.

— Никогда вы еще *такой молоденькой не выглядели,*— говорили ей друзья, приезжавшие иногда из Верьера обедать в Вержи. (Так любезно выражаются в наших краях.)

Странное дело,— мало кто этому у нас поверит,— но г-жа де Реналь поистине без всякого умысла предавалась заботам о своем туалете. Ей это доставляло удовольствие; и без всякой задней мысли, едва только у нее выдавался свободный часок, когда она не охотилась за бабочками с Жюльеном и детьми, она садилась за иглу и с помощью Элизы мастерила себе платья. Когда она один-единственный раз собралась съездить в Верьер, это тоже было вызвано желанием купить на летние платья новую материю, только что полученную из Мюлуза.

Она привезла с собой в Вержи свою молодую родственницу. После замужества г-жа де Реналь незаметно для себя сблизилась с г-жой Дервиль, с которой она когда-то вместе училась в монастыре Сердца Иисусова.

Госпожа Дервиль всегда очень потешалась над всяческими, как она говорила, «сумасбродными выдумками» своей кузины. «Вот уж мне самой никогда бы не пришло в голову»,— говорила она. Эти свои внезапные выдумки, которые в Париже назвали бы остроумием, г-жа де Реналь считала вздором и стеснялась высказывать их при муже, но присутствие г-жи Дервиль воодушевляло ее. Она сначала очень робко произносила вслух то, что ей приходило на ум, но когда подруги подолгу оставались наедине, г-жа де Реналь оживлялась: долгие утренние часы, которые они проводили вдвоем, пролетали как миг, и обеим было очень весело. В этот приезд рассудительной г-же Дервиль кузина показалась не такой веселой, но гораздо более счастливой.

Жюльен, в свою очередь, с тех пор как приехал в деревню, чувствовал себя совсем как ребенок и гонялся за бабочками с таким же удовольствием, как и его питомцы. После того как ему то и дело приходилось сдерживаться и вести самую замысловатую политику, он теперь, очутившись в этом уединении, не чувствуя на себе ничьих взглядов и инстинктивно не испытывая никакого страха перед г-жой де Реналь, отдавался радости жизни, которая так живо ощущается в этом возрасте, да еще среди самых чудесных гор в мире.

Госпожа Дервиль с первого же дня показалась Жюльену другом, и он сразу же бросился показывать ей, какой прекрасный вид открывается с последнего поворота новой дорожки под ореховыми деревьями. Сказать правду, эта панорама ничуть не хуже, а может быть, даже и лучше, чем самые живописные ландшафты, которыми могут похвастаться Швейцария и итальянские озера. Если подняться по крутому склону, который начинается в двух шагах от этого места, перед вами вскоре откроются глубокие пропасти, по склонам которых чуть ли не до самой реки тянутся дубовые леса. И вот сюда-то, на вершины этих отвесных скал, веселый, свободный — и даже, пожалуй, в некотором смысле повелитель дома — Жюльен приводил обеих подруг и наслаждался их восторгом перед этим величественным зрелищем.

— Для меня это как музыка Моцарта,— говорила г-жа Дервиль.

Вся красота горных окрестностей Верьера была совершенно отравлена для Жюльена завистью братьев и присутствием вечно чем-то недовольного деспота-отца. В Вержи ничто не воскрешало для него этих горьких воспоминаний; в первый раз в жизни он не видел вокруг себя врагов. Когда г-н де Реналь уезжал в город,— а это случалось часто,— Жюльен разрешал себе читать, и вскоре, вместо того чтобы читать по ночам, да еще пряча лампу под опрокинутым цветочным горшком, он мог преспокойно спать ночью, а днем, в промежутках между занятиями с детьми, забирался на эти утесы с книгой, которая была для него единственным учителем жизни и неизменным предметом восторгов. И здесь в минуты уныния он обретал сразу и радость, и вдохновение, и утешение.

Некоторые изречения Наполеона о женщинах, кое-какие рассуждения о достоинствах того или иного романа, бывшего в моде во время его царствования, теперь впервые навели Жюльена на мысли, которые у всякого другого молодого человека явились бы много раньше.

Наступили жаркие дни. У них завелся обычай сидеть вечерами под огромной липой в нескольких шагах от дома. Там всегда было очень темно. Как-то раз Жюльен что-то с воодушевлением рассказывал, от души наслаждаясь тем, что он так хорошо говорит, а его слушают молодые женщины. Оживленно размахивая руками, он нечаянно задел руку г-жи де Реналь, которой она оперлась на спинку крашеного деревянного стула, какие обычно ставят в садах.

Она мгновенно отдернула руку; и тут Жюльену пришло в голову, что он должен добиться, чтобы впредь эта ручка не

отдергивалась, когда он ее коснется. Это сознание долга, который ему предстояло свершить, и боязнь показаться смешным или, вернее, почувствовать себя униженным мгновенно отравили всю его радость.

IX

ВЕЧЕР В УСАДЬБЕ

«Дидона» Герена — прелестный набросок!

Штромбек.

Когда на другое утро Жюльен увидал г-жу де Реналь, он несколько раз окинул ее очень странным взглядом: он наблюдал за ней, словно за врагом, с которым ему предстояла схватка. Столь разительная перемена в выражении этих взглядов, происшедшая со вчерашнего дня, привела г-жу де Реналь в сильное смятение: ведь она так ласкова с ним, а он как будто сердится. Она не в состоянии была оторвать от него глаз.

Присутствие г-жи Дервиль позволяло Жюльену говорить меньше и почти всецело сосредоточиться на том, что у него было на уме. Весь этот день он только тем и занимался, что старался укрепить себя чтением вдохновлявшей его книги, которая закаляла его дух.

Он намного раньше обычного закончил свои занятия с детьми, и когда после этого присутствие г-жи де Реналь заставило его снова целиком погрузиться в размышления о долге и о чести, он решил, что ему надо во что бы то ни стало сегодня же вечером добиться, чтобы ее рука осталась в его руке.

Солнце садилось, приближалась решительная минута, и сердце Жюльена неистово колотилось в груди. Наступил вечер. Он заметил,— и у него точно бремя свалилось с груди,— что ночь обещает сегодня быть совсем темной. Небо, затянутое низко бегущими облаками, которые нагонял знойный ветер, по-видимому, предвещало грозу. Приятельницы загулялись допоздна. Во всем, что бы они ни делали в этот вечер, Жюльену чудилось что-то особенное. Они наслаждались этой душной погодой, которая для некоторых чувствительных натур словно усиливает сладость любви.

Наконец все уселись — г-жа де Реналь подле Жюльена, г-жа Дервиль рядом со своей подругой. Поглощенный тем, что ему предстояло совершить, Жюльен ни о чем не мог говорить. Разговор не клеился.

«Неужели, когда я в первый раз выйду на поединок, я буду вот так же дрожать и чувствовать себя таким же жалким?» — говорил себе Жюльен, ибо, по своей чрезмерной подозрительности к самому себе и к другим, он не мог не сознавать, в каком он сейчас состоянии.

Он предпочел бы любую опасность этому мучительному томлению. Он уж не раз молил судьбу, чтобы г-жу де Реналь позвали по какому-нибудь делу в дом и ей пришлось бы уйти из сада. Усилие, к которому вынуждал себя Жюльен, было столь велико, что даже голос у него заметно изменился, а вслед за этим сейчас же задрожал голос и у г-жи де Реналь; но Жюльен этого даже не заметил. Жестокая борьба между долгом и нерешительностью держала его в таком напряжении, что он не в состоянии был видеть ничего, что происходило вне его самого. Башенные часы пробили три четверти десятого, а он все еще ни на что не решился. Возмущенный собственной трусостью, Жюльен сказал себе: «Как только часы пробьют десять, я сделаю то, что обещал себе нынче весь день сделать вечером,— иначе иду к себе, и пулю в лоб».

И вот миновал последний миг ожидания и томительного страха, когда Жюльен от волнения уже не помнил самого себя, и башенные часы высоко над его головой пробили десять. Каждый удар этого рокового колокола отдавался у него в груди и словно заставлял ее содрогаться.

Наконец, когда последний, десятый удар пробил и еще гудел в воздухе, он протянул руку и взял г-жу де Реналь за руку,— она тотчас же отдернула ее. Жюльен, плохо сознавая, что он делает, снова схватил ее руку. Как ни взволнован он был, он все же невольно поразился — так холодна была эта застывшая рука; он судорожно сжал ее в своей; еще одно, последнее усилие вырваться — и наконец ее рука затихла в его руке.

Душа его утопала в блаженстве,— не оттого, что он был влюблен в г-жу де Реналь, а оттого, что наконец кончилась эта чудовищная пытка. Для того чтобы г-жа Дервиль ничего не заметила, он счел нужным заговорить,— голос его звучал громко и уверенно. Голос г-жи де Реналь, напротив, так прерывался от волнения, что ее подруга решила, что ей нездоровится, и предложила вернуться домой. Жюльен почувствовал опасность: «Если г-жа де Реналь уйдет сейчас в гостиную, я опять окажусь в том же невыносимом положении, в каком пробыл сегодня целый день. Я так мало еще держал ее руку в своей, что это не может считаться завоеванным мною правом, которое будет признано за мной раз навсегда».

Госпожа Дервиль еще раз предложила пойти домой, и в эту самую минуту Жюльен крепко стиснул в своей руке покорно отдавшуюся ему руку.

Госпожа де Реналь, которая уже совсем было поднялась, снова села и сказала еле слышным голосом:

— Мне, правда, немножко нездоровится, но только, пожалуй, на свежем воздухе мне лучше.

Эти слова так обрадовали Жюльена, что он почувствовал себя на седьмом небе от счастья: он стал болтать, забыл о всяком притворстве, и обеим подругам, которые его слушали, казалось, что милее и приятнее человека нет на свете. Однако во всем этом красноречии, которое нашло на него так внезапно, была некоторая доля малодушия. Он ужасно боялся, как бы г-жа Дервиль, которую раздражал сильный ветер, видимо, предвещавший грозу, не вздумала одна вернуться домой. Тогда ему пришлось бы остаться с глазу на глаз с г-жой де Реналь. У него как-то нечаянно хватило слепого мужества совершить то, что он сделал, но сказать теперь г-же де Реналь хотя бы одно слово было свыше его сил. Как бы мягко она ни упрекнула его, он почувствует себя побежденным, и победа, которую он только что одержал, обратится в ничто.

На его счастье, в этот вечер его взволнованные и приподнятые речи заслужили признание даже г-жи Дервиль, которая частенько говорила, что он держит себя нелепо, как ребенок, и не находила в нем ничего интересного. Что же касается г-жи де Реналь, чья рука покоилась в руке Жюльена, она сейчас не думала ни о чем, она жила словно в забытьи. Эти часы, которые они провели здесь, под этой огромной липой, посаженной, как утверждала молва, Карлом Смелым, остались для нее навсегда счастливейшей порой ее жизни. Она с наслаждением слышала, как вздыхает ветер в густой липовой листве, как стучат, падая на нижние листья, редкие капли начинающегося дождя. Жюльен пропустил без внимания одно обстоятельство, которое могло бы чрезвычайно порадовать его: г-жа де Реналь на минуту встала, чтобы помочь кузине поднять цветочную вазу, которую ветер опрокинул им под ноги, и поневоле отняла у него руку, но как только она опять села, она тотчас же чуть ли не добровольно отдала ему руку, как если бы это уже с давних пор вошло у них в обычай.

Давно уже пробило двенадцать, пора было уходить из сада; они разошлись. Г-жа де Реналь, совершенно упоенная своей любовью, пребывала в таком блаженном неведении, что даже не упрекала себя ни в чем. Всю ночь она не сомкнула глаз:

счастье не давало ей уснуть, Жюльен сразу заснул мертвым сном, совершенно изнеможенный той борьбой, которую в течение целого дня вели в его сердце застенчивость и гордость.

Утром его разбудили в пять; проснувшись, он даже не вспомнил о г-же де Реналь,— если бы она знала это, каким бы это было для нее жестоким ударом! Он выполнил *свой долг, героический долг.* Упоенный этим сознанием, он заперся на ключ у себя в комнате и с каким-то новым удовольствием погрузился в описания подвигов своего героя.

Когда позвонили к завтраку, он, начитавшись подробных донесений об операциях Великой Армии, уже забыл о всех своих победах, одержанных накануне. Сходя в столовую, он полушутливо подумал: «Надо будет сказать этой женщине, что я влюблен в нее».

Но вместо томных взоров, которые он рассчитывал встретить, он увидел сердитую физиономию г-на де Реналя, который уже два часа назад приехал из Верьера и сейчас отнюдь не скрывал своего крайнего неудовольствия тем, что Жюльен провел целое утро, не занимаясь с детьми. Нельзя было представить себе ничего отвратительнее этого спесивого человека, когда он бывал чем-либо недоволен и считал себя вправе высказывать свое неудовольствие.

Каждое едкое слово мужа разрывало сердце г-жи де Реналь. Но Жюльен все еще пребывал в экстазе; весь он был до того поглощен великими делами, которые в течение нескольких часов совершались перед его мысленным взором, что ему трудно было сразу спуститься на землю: грубые замечания г-на де Реналя почти не доходили до него. Наконец он ему ответил довольно резко:

— Я себя плохо чувствовал.

Тон, каким это было сказано, задел бы, пожалуй, и гораздо менее обидчивого человека, чем верьерский мэр: он чуть было не поддался желанию тотчас же выгнать Жюльена. Его удержало только вошедшее у него в привычку правило никогда не торопиться в делах.

«Этот негодный мальчишка,— подумал он,— создал себе некоторую репутацию у меня в доме; Вально, пожалуй, возьмет его к себе, а не то так он женится на Элизе,— и в том и в другом случае он втайне будет смеяться надо мной».

Однако, несмотря на эти весьма резонные рассуждения, недовольство г-на де Реналя вылилось в грубую брань, которая мало-помалу разозлила Жюльена. Г-жа де Реналь едва удерживалась от слез. Как только поднялись из-за стола, она

подошла к Жюльену и, взяв его под руку, предложила пойти погулять; она дружески оперлась на него. Но на все, что бы ни говорила ему г-жа де Реналь, Жюльен только отвечал вполголоса:

— Вот каковы они, богатые люди!

Господин де Реналь шел рядом с ними, и его присутствие еще усиливало ярость Жюльена. Он вдруг заметил, что г-жа де Реналь как-то слишком явно опирается на него; ему стало противно, он грубо оттолкнул ее и отдернул свою руку.

К счастью, г-н де Реналь не заметил этой новой дерзости, ее заметила только г-жа Дервиль; приятельница ее расплакалась. Как раз в эту минуту г-н де Реналь принялся швырять камнями в какую-то крестьянскую девочку, которая осмелилась пойти запретной дорожкой, пересекавшей дальний конец фруктового сада.

— Господин Жюльен, умоляю вас, возьмите себя в руки; подумайте, у всякого ведь бывает дурное настроение,— поспешила заметить ему г-жа Дервиль.

Жюльен холодно смерил ее взглядом, исполненным самого безграничного презрения.

Этот взгляд удивил г-жу Дервиль, но он удивил бы ее еще больше, если бы она догадалась, что́, собственно, он хотел им выразить: она прочла бы в нем что-то вроде смутной надежды на самую яростную месть. Несомненно, такие минуты унижения и создают робеспьеров.

— Ваш Жюльен прямо какой-то неистовый, я его боюсь,— сказала тихо г-жа Дервиль своей подруге.

— Как же ему не возмущаться? — отвечала та.— После того как он добился, что дети делают такие поразительные успехи, что тут такого, если он одно утро не позанимался с ними? Нет, правду надо сказать, мужчины ужасно грубый народ.

Первый раз в жизни г-жа де Реналь испытывала что-то похожее на желание отомстить своему мужу. Лютая ненависть к богачам, которою сейчас пылал Жюльен, готова была вот-вот прорваться наружу. К счастью, г-н де Реналь позвал садовника и принялся вместе с ним загораживать колючими прутьями запретную тропинку через фруктовый сад. Жюльен не отвечал ни слова на все те любезности, которые расточались ему во время прогулки. Едва только г-н де Реналь удалился, как обе приятельницы, ссылаясь на усталость, взяли Жюльена с обеих сторон под руки.

Он шел между этими двумя женщинами, раскрасневшимися от волнения и замешательства. Какой удивительный конт-

раст представляла рядом с ними его высокомерная бледность, его мрачный, решительный вид! Он презирал этих женщин и все нежные чувства на свете.

«Будь у меня хоть пятьсот франков в год,— говорил он себе,— чтобы только хватило на учение! Эх, послал бы я его к черту!»

Погруженный в эти недобрые размышления, он едва удостаивал внимания любезности обеих подруг, а то немногое, что достигало его слуха, раздражало его, казалось лишенным смысла, вздорным, беспомощным — одним словом, бабьей болтовней.

Чтобы только говорить о чем-нибудь и как-то поддержать разговор, г-жа де Реналь, между прочим, упомянула о том, что муж ее приехал сегодня из Верьера только потому, что купил у одного фермера кукурузную солому (кукурузной соломой в этих краях набивают матрацы).

— Муж сейчас уже не вернется сюда,— добавила г-жа де Реналь.— Он позвал лакея и садовника, и теперь они втроем будут перетряхивать все матрацы в доме. Сегодня утром они набили все матрацы во втором этаже, а сейчас отправились в третий.

Жюльен переменился в лице; он как-то странно поглядел на г-жу де Реналь и, ускорив шаг, быстро увлек ее вперед. Г-жа Дервиль не стала их догонять.

— Спасите меня,— сказал Жюльен г-же де Реналь.— Вы одна только можете это сделать. Вы ведь знаете, этот лакей до смерти ненавидит меня. Я должен вам признаться: у меня хранится портрет, он спрятан в матраце.

Услышав это, г-жа де Реналь внезапно побледнела.

— Только вы одна можете сейчас войти в мою комнату. Пошарьте как-нибудь незаметно в самом углу матраца, с той стороны, где окно,— вы нащупаете там маленькую коробочку: гладкая черная картонная коробочка.

— И в ней портрет? — вымолвила г-жа де Реналь, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги.

Жюльен, заметив ее убитый вид, тотчас воспользовался этим.

— У меня к вам еще одна просьба: сделайте милость, сударыня, умоляю вас, не глядите на этот портрет — это моя тайна.

— Тайна? — шепотом повторила г-жа де Реналь.

Но хотя она выросла среди спесивых людей, чванившихся своим богатством и не помышлявших ни о чем, кроме наживы, любовь, пробудившаяся в этой душе, уже научила ее великодушию. Как ни жестоко она была уязвлена, она с самоотверженной готовностью стала расспрашивать Жюльена о кое-каких

подробностях, которые ей было необходимо знать, чтобы выполнить его поручение.

— Хорошо,— сказала она, уходя,— значит, маленькая круглая коробочка, совсем гладкая, черная?

— Да, да, сударыня,— ответил Жюльен тем жестким тоном, который появляется у людей в минуты опасности.

Бледная, точно приговоренная к смерти, она поднялась на третий этаж. В довершение ко всем этим нестерпимым мукам она вдруг почувствовала, что ей вот-вот сделается дурно; но сознание, что она должна помочь Жюльену, вернуло ей силы.

«Я во что бы то ни стало должна достать эту коробку»,— сказала она себе.

Она услышала голос мужа, который разговаривал с лакеем как раз в комнате Жюльена. Но, на ее счастье, они прошли в детскую. Она приподняла матрац и так стремительно засунула руку в солому, что исцарапала себе все пальцы. Но, хоть она и была очень чувствительна к боли, сейчас она ее даже не заметила, так как в тот же момент нащупала гладкую поверхность коробочки. Она схватила ее и выбежала из комнаты.

Едва только она избавилась от страха, что ее застанет муж, как мысль об этой коробке привела ее в такое смятение, что она на самом деле чуть было не лишилась чувств.

«Значит, Жюльен влюблен, и вот здесь, у меня в руках, портрет женщины, которую он любит».

Терзаясь всеми муками ревности, г-жа де Реналь в изнеможении опустилась на стул в передней, возле его двери. Ее исключительное неведение помогло ей и на этот раз. Удивление, которое она сейчас испытывала, смягчало ее муки. Вошел Жюльен; он выхватил у нее из рук коробку и, не сказав ни слова, не поблагодарив, бросился к себе в комнату, быстро развел огонь в камине и швырнул в него коробку. Он стоял бледный, уничтоженный; он сильно преувеличивал грозившую ему опасность.

«Портрет Наполеона,— говорил он себе, качая головой.— И его хранит у себя человек, выказывающий такую ненависть к узурпатору! И портрет этот находит господин де Реналь, лютый роялист, который к тому же так обозлен на меня! И надо же проявить такую неосторожность: сзади на портрете, прямо на белом картоне, строки, написанные моей рукой. И уж тут никаких сомнений быть не может: сразу ясно, что я перед ним преклоняюсь. Каждое мое излияние в любви помечено числом. И последнюю запись я сделал только позавчера».

«Так бы сразу и кончилась, погибла бы в один миг вся моя репутация,— говорил себе Жюльен, глядя, как пылает его

коробочка.— А ведь моя репутация — это все, что я имею: только этим я и живу... А какая это жизнь, боже мой!»

Час спустя, усталый и преисполненный жалости к самому себе, Жюльен совсем расчувствовался. Встретившись с г-жой де Реналь, он взял ее руку, поднес к своим губам и поцеловал с такой сердечностью, какой ему никогда не удавалось изобразить. Она вся вспыхнула от счастья и вдруг, чуть ли не в тот же миг, оттолкнула его в порыве ревности. Гордость Жюльена, еще не оправившаяся от нанесенного ей недавно удара, лишила его теперь рассудка. Он увидел в г-же де Реналь только богатую даму и ничего более; он с презрением выпустил ее руку и удалился. В глубоком раздумье он пошел бродить по саду, и вскоре горькая усмешка искривила его губы.

«Разгуливаю спокойно, точно я сам себе хозяин. Не обращаю на детей никакого внимания и дождусь того, что мне опять придется выслушивать унизительные попреки господина де Реналя,— и он будет прав!»

И Жюльен побежал в детскую.

Младший мальчик, которого он очень любил, стал ласкаться к нему, и это немножко смягчило его горькие чувства.

«Этот меня еще не презирает,— подумал он. Но тут же упрекнул себя за мягкосердие, решив, что это опять не что иное, как проявление слабости.— Эти дети ласкают меня так, как приласкали бы охотничью собаку, которую им купили вчера».

X

МНОГО БЛАГОРОДСТВА И МАЛО ДЕНЕГ

But passion most dissembles, yet betrays
Even by its darkness; as the blacket sky
Foretells the heaviest tempest...

Don Juan, c. I, st. LXXIII [1]

Господин де Реналь делал обход по всем комнатам замка и теперь опять пришел в детскую в сопровождении слуг, которые тащили набитые заново матрацы. Неожиданное появление

---

[1] Таится страсть, но скрытностью угрюмой
Она сама свой пламень выдает:
Так черной мглой сокрытый небосвод
Свирепую предсказывает бурю. *Байрон, «Дон Жуан», песнь I, строфа LXXIII (англ.).*

этого человека было для Жюльена словно последней каплей, переполнившей чашу.

Побледнев, он бросился к г-ну де Реналю с таким мрачно решительным видом, какого тот у него еще никогда не видел. Г-н де Реналь остановился и оглянулся на своих слуг.

— Сударь,— сказал Жюльен,— неужели вы думаете, что со всяким другим наставником ваши дети сделали бы такие успехи, как со мной? А если вы скажете «нет»,— продолжал он, не дожидаясь ответа,— так как же вы осмеливаетесь упрекать меня, будто я их забросил?

Господин де Реналь, уже оправившись от своего испуга, решил, что этот дрянной мальчишка неспроста позволяет себе такой тон, что у него, должно быть, навернулось какое-нибудь выгодное предложение и он собирается от них уйти. А Жюльен, теперь уже не в силах совладать со своей злобой, добавил:

— Я, сударь, проживу и без вас.

— Право, я очень огорчен, что вы так разволновались,— слегка запинаясь, отвечал г-н де Реналь.

Слуги были тут же, шагах в десяти: они оправляли постели.

— Не этого я жду от вас, сударь,— вскричал уже совсем рассвирепевший Жюльен.— Вы вспомните только, какими оскорбительными попреками вы меня осыпали, да еще при женщинах!

Господин де Реналь отлично понимал, чего добивается Жюльен; в душе его происходила мучительная борьба. И тут Жюльен, не помня себя от ярости, крикнул ему:

— Я знаю, сударь, куда идти, когда я выйду из вашего дома!

Услышав эти слова, г-н де Реналь мигом представил себе Жюльена в доме г-на Вально.

— Ну, хорошо, сударь,— промолвил он наконец, тяжко вздохнув и с таким видом, словно обращался к хирургу, решившись на самую мучительную операцию.— Я согласен на вашу просьбу. Начиная с послезавтра — это как раз будет первое число — я плачу вам пятьдесят франков в месяц.

Жюльен чуть было не расхохотался: он был до такой степени поражен, что всю его злобу как рукой сняло.

«Выходит, я мало еще презирал это животное! — подумал он.— Вот уж поистине самое щедрое извинение, на какое только и способна эта низкая душонка».

Дети, которые смотрели на эту сцену, разинув рты, бросились в сад к матери рассказать ей, что господин Жюльен ужас как рассердился, но что теперь он будет получать пятьдесят франков в месяц.

Жюльен по привычке отправился вслед за ними, даже не взглянув на г-на де Реналя, которого он оставил в величайшем раздражении.

«Он уже вскочил мне в сто шестьдесят восемь франков, этот Вально,— говорил себе мэр.— Надо будет порешительней намекнуть ему насчет этих его поставок подкидышам».

Не прошло и минуты, как Жюльен снова очутился перед ним:

— Мне надо пойти исповедаться к моему духовнику господину Шелану; честь имею поставить вас в известность, что я отлучусь на несколько часов.

— Ну, что вы, дорогой Жюльен,— промолвил г-н де Реналь с каким-то чрезвычайно фальшивым смешком.— Пожалуйста, хоть на целый день и завтра на весь день, мой друг, если вам угодно. Да вы возьмите у садовника лошадь, не пешком же вам идти в Верьер.

«Ну вот, ясно. Он пошел дать ответ Вально,— подумал г-н де Реналь.— Он ведь мне ничего не обещал; ну что ж, надо дать время остыть этому сорвиголове».

Жюльен поспешно удалился и направился в горы, в большой лес, через который можно было пройти напрямик из Вержи в Верьер. Он вовсе не собирался сразу идти к г-ну Шелану. У него не было ни малейшего желания снова притворяться и разыгрывать лицемерную сцену. Ему нужно было хорошенько разобраться в собственной душе и дать волю обуревавшим его чувствам.

«Я выиграл битву,— сказал он себе, как только очутился в лесу, где никто не мог его видеть,— да, я выиграл битву».

Мысль эта представила ему все случившееся с ним в самом выгодном свете и вернула ему душевное равновесие.

«Так, значит, я теперь буду получать пятьдесят франков в месяц. Похоже, господин де Реналь здорово струхнул. Но чего он испугался?»

И, задумавшись над тем, что́, собственно, могло напугать этого преуспевающего, влиятельного человека, который час тому назад внушал ему такую бешеную злобу, Жюльен мало-помалу отдался чувству сладостного покоя. На мгновение его как бы покорила чудесная красота лесной чащи, по которой он шел.

Огромные глыбы скал, некогда оторвавшиеся от горы, громоздились в глубине. Могучие буки простирались далеко ввысь, доходя чуть ли не до вершин этих скал, а под ними царила такая дивная прохлада, тогда как тут же рядом, в каких-нибудь трех шагах, солнце палило так, что нельзя было стоять.

Жюльен передохнул немного в тени этих огромных утесов и пошел дальше, забираясь все выше в горы. Вскоре он свернул на еле заметную тропку, куда только пастухи поднимались с козами, и, вскарабкавшись по ней на самый высокий утес, почувствовал себя наконец совершенно отрезанным от всего мира. Это физическое ощущение высоты вызвало улыбку на его губах: оно как бы показывало ему то состояние, которого жаждал достигнуть его дух. Чистый горный воздух приносил с собой ясность и даже какую-то отраду его душе. Мэр города Верьера по-прежнему олицетворял для него всех богачей и всех наглецов в мире, но он чувствовал, что ненависть, которая только что его душила, несмотря на все ее бурные проявления, не заключала в себе ничего личного. Стоит ему только перестать видеться с г-ном де Реналем, через неделю он забудет и его, и его замок, и собак, и детей, и всю его семью. «Не понимаю, каким образом я заставил его принести такую огромную жертву. Подумать только — больше пятидесяти экю в год! А за минуту до этого я едва выпутался из такой ужасной опасности! Вот две победы в один день; правда, во второй с моей стороны нет никаких заслуг; надо бы догадаться все-таки, как это вышло. Но отложим до завтра всякие неприятные размышления».

Жюльен стоял на своем высоком утесе и глядел в небо, накаленное жарким августовским солнцем. Кузнечики заливались на лугу, под самым утесом, а когда они вдруг смолкали, всюду вокруг него наступало безмолвие. Он мог охватить взглядом местность, простиравшуюся у его ног, на двадцать лье в окружности. Ястреб, сорвавшись со скалы над его головой, бесшумно описывал громадные круги, время от времени появляясь в поле его зрения. Жюльен машинально следил взором за пернатым хищником. Его спокойные могучие движения поражали его; он завидовал этой силе, он завидовал этому одиночеству.

Вот такая была судьба у Наполеона,— может быть, и его ожидает такая же?

XI

ВЕЧЕРОМ

Yet Julia's very coldness still was kind,
And tremulously gentle her small hand
Withdrew itself from his, but left behind
A little pressure, thrilling, and so bland
And slight, so very slight that to the mind
'T was but a doubt...
Don Juan, c. I, st. LXXI [1].

Однако как-никак надо было показаться и в Верьере. Ему повезло: едва только он вышел от кюре, как навстречу ему попался г-н Вально, которому он не преминул рассказать, что ему прибавили жалованье.

Вернувшись в Вержи, Жюльен подождал, пока стемнеет, и только тогда отправился в сад. Он чувствовал душевную усталость от всех этих потрясений, которые он пережил сегодня. «А что я им скажу?» — с беспокойством думал он, вспоминая о своих дамах. Ему не приходило в голову, что вот сейчас его душевное состояние было как раз на уровне тех мелких случайностей, которыми обычно ограничивается весь круг интересов у женщин.

Госпожа Дервиль и даже ее подруга частенько не понимали Жюльена, но и он, со своей стороны, тоже только наполовину понимал, что́ они ему говорят. Таково было действие силы и — уж позволю себе сказать — величия неугомонных страстей, обуревавших этого юного честолюбца. У этого необыкновенного существа в душе, что ни день, клокотала буря.

Направляясь этим вечером в сад, Жюльен склонен был приобщиться к интересам хорошеньких кузин. Они ждали его с нетерпением. Он уселся на свое обычное место возле г-жи де Реналь. Вскоре стало совсем темно. Он попробовал было завладеть беленькой ручкой, которую он давно уже видел перед собой на спинке стула. Ему сначала как-то неуверенно уступили, а затем все-таки ручка вырвалась, да так решительно, что ясно было: на него сердятся. Жюльен не склонен был настаивать и

---

[1] Была в ней даже холодность мила.
Вдруг вздрогнула хорошенькая ручка
И выскользнула из его руки,
Пожатьем нежным бегло подарив,
Столь незаметным, столь неуловимым,
Что он, вздохнув, подумал — быть не может... *Байрон, «Дон Жуан», песнь I, строфа LXXI (англ.).*

продолжал весело болтать, как вдруг послышались шаги г-на де Реналя.

В ушах у Жюльена еще стояли все те грубости, которых он от него наслушался утром. «А что, если насмеяться над этой тварью, которая все может себе позволить за свои деньги? — подумал он.— Вот сейчас взять да и завладеть ручкой его супруги, и именно при нем? Да, да, и я это сделаю, я, тот самый, кого он оплевал с таким презрением».

После этого спокойствие, столь необычное для характера Жюльена, тотчас покинуло его. Им овладело страстное желание — так что он больше ни о чем другом и думать не мог — добиться во что бы то ни стало, чтобы г-жа де Реналь позволила ему завладеть ее рукой.

Господин де Реналь с возмущением заговорил о политике: два-три фабриканта в Верьере вылезли в богачи; пожалуй, они вот-вот станут богаче его; конечно, им не терпится стать ему поперек дороги на выборах. Г-жа Дервиль слушала. Жюльен, обозленный этими разглагольствованиями, пододвинул свой стул поближе к г-же де Реналь. Тьма была такая, что ничего не было видно. Он осмелился положить свою руку совсем рядом с ее прелестной, обнаженной выше локтя рукой. Его охватил трепет, мысли его спутались, он прильнул щекой к этой прелестной руке и вдруг, осмелев, прижался к ней губами.

Госпожу де Реналь бросило в дрожь. Муж ее был в каких-нибудь четырех шагах; она быстро протянула Жюльену руку и вместе с тем тихонько оттолкнула его. В то время как г-н де Реналь ругал и проклинал этих мошенников и якобинцев, набивающих себе мошну, Жюльен осыпал страстными поцелуями протянутую ему руку, но, впрочем, может быть, они казались страстными только г-же де Реналь. А между тем бедняжка только сегодня, в этот роковой для нее день, держала в своих руках доказательство того, что человек, которого она, сама себе в том не признаваясь, обожала, любит другую. Весь день, пока Жюльена не было, она чувствовала себя бесконечно несчастной, и это заставило ее призадуматься.

«Как, неужели я люблю? — говорила она себе.— Я полюбила? Я, замужняя женщина, и вдруг влюбилась? Но ведь никогда в жизни я не испытывала к мужу ничего похожего на это страшное наваждение, которое не дает мне ни на секунду забыть о Жюльене. А ведь это, в сущности, дитя, и он относится ко мне с таким уважением. Конечно, это наваждение пройдет. Да не все ли равно моему мужу, какие чувства я могу питать к этому юноше? Господин де Реналь умер бы со скуки

от наших разговоров с Жюльеном, от всех этих фантазий; что ему до этого? Он занят своими делами, и ведь я у него ничего не отнимаю для Жюльена».

Никакое притворство еще не запятнало чистоты этой невинной души, введенной в заблуждение никогда не изведанной страстью. Она поддалась обману, но она и не подозревала об этом, а между тем добродетель ее уже инстинктивно била тревогу. Вот какая мучительная борьба происходила в ее душе, когда Жюльен появился в саду. Она услышала его голос и чуть ли не в тот же миг увидела, что он садится рядом с ней. Душа ее встрепенулась, словно окрыленная упоительным счастьем, которое каждый день в течение этих двух недель не столько прельщало ее, сколько всякий раз снова и снова повергало в бесконечное изумление. Но прошло несколько секунд. «Что же это такое? — сказала она себе.— Значит, достаточно мне только его увидеть, и я уже готова простить ему все?» Ей стало страшно, и вот тут-то она и отняла у него свою руку.

Его страстные поцелуи — никто ведь никогда так не целовал ее рук — заставили ее сразу забыть о том, что он, может быть, любит другую. Он уже ни в чем не был виноват перед ней. Мучительная горечь, рожденная подозрением, мигом исчезла, а чувство блаженства, которое ей даже никогда не снилось, наполнило ее восторгом любви и неудержимой радостью. Этот вечер показался чудесным всем, за исключением верьерского мэра, который никак не мог забыть о своих разбогатевших фабрикантах. Жюльен уже не помнил ни о своем черном замысле, ни о своих честолюбивых мечтах, для осуществления которых надо было преодолеть столько препятствий. Первый раз в жизни испытывал он на себе могущественную силу красоты. В какой-то смутной сладостной истоме, столь необычной для него, нежно пожимая эту милую ручку, пленившую его своей неизъяснимой прелестью, он в полузабытьи слушал шорох липовой листвы, по которой пробегал мягкий ночной ветер, да далекий лай собак с мельницы на берегу Ду.

Однако это его состояние было просто приятным отдыхом, но отнюдь не страстью. Возвращаясь к себе в комнату, он думал только об одном: какое это будет блаженство снова взяться сейчас за свою любимую книгу, ибо для юноши в двадцать лет мысли о «свете» и о том, какое он впечатление в нем произведет, заслоняют все.

Вскоре, впрочем, он отложил книгу. Раздумывая о победах Наполеона, он как-то по-новому взглянул и на свою победу. «Да, я выиграл битву,— сказал он себе.— Так надо же восполь-

зоваться этим; надо раздавить гордость этого спесивого дворянина, пока еще он отступает. Так именно действовал Наполеон. Надо мне будет потребовать отпуск на три дня: тогда я смогу навестить моего друга Фуке. А если г-н де Реналь мне откажет, я ему пригрожу, что совсем уйду... Да он, конечно, уступит».

Госпожа де Реналь ни на минуту не сомкнула глаз. Ей казалось, что она совсем не жила до сих пор. Она снова и снова мысленно переживала то сладостное ощущение и блаженство, охватившее ее, когда она почувствовала на своей руке пламенные поцелуи Жюльена.

И вдруг перед ней мелькнуло страшное слово — прелюбодеяние. Все самое отвратительное, что только низкое, гнусное распутство может вложить в представление о чувственной любви, вдруг встало перед ней. И эти видения старались загрязнить нежный, прекрасный образ — ее мечты о Жюльене и о счастье его любить. Будущее рисовалось ей в самых зловещих красках. Она уже видела, как все презирают ее.

Это были ужасные мгновения: душе ее открылись неведомые области. Едва только ей дано было вкусить никогда не изведанного блаженства, и вот уже она ввергнута в бездну чудовищных мук. Она никогда не представляла себе, что можно так страдать; у нее помутился рассудок. На секунду у нее мелькнула мысль сознаться мужу, что она боится полюбить Жюльена. Ей пришлось бы тогда рассказать о нем все. К счастью, ей припомнилось наставление, которое ей когда-то давно, накануне свадьбы, прочла ее тетка,— наставление о том, как опасно откровенничать с мужем, который в конце концов как-никак господин своей жены. В полном отчаянии она ломала руки.

В голове ее бессвязно возникали мучительные, противоречивые мысли. То она дрожала, что Жюльен ее не любит, то вдруг ее охватывал ужас; она чувствовала себя преступницей и содрогалась, как будто ей завтра же предстояла публичная казнь на городской площади Верьера — стоять у позорного столба с дощечкой на груди, чтобы весь народ видел и знал, что она прелюбодейка.

У г-жи де Реналь не было ни малейшего жизненного опыта, и ей даже среди бела дня, в здравом уме и твердой памяти, не могло прийти в голову, что согрешить перед богом — не совсем то же, что стать жертвой всеобщего презрения и подвергнуться публичному позору.

Когда страшная мысль о прелюбодеянии и о всем том бесчестии, которое, по ее мнению, оно неизбежно влечет за собой,

на минуту покидала ее и она начинала думать о том, как сладостно было бы жить с Жюльеном в невинности, и погружалась в воспоминания, ее тотчас же снова охватывало ужасное подозрение, что Жюльен любит другую женщину. Она вспоминала, как он побледнел, испугавшись, что у него отнимут этот портрет или что он скомпрометирует *ее*, если этот портрет кто-нибудь найдет. Впервые она видела страх на этом спокойном, благородном лице. Не было случая, чтобы он когда-нибудь так волновался из-за нее или из-за детей. И этот новый повод для мучений, когда она и так уже не знала, куда деваться от горя, переполнил меру страданий, отпущенную человеческой душе. Г-жа де Реналь невольно застонала, и ее стоны разбудили служанку. Вдруг она увидела перед собой пламя свечи и Элизу, стоявшую возле ее постели.

— Так это вас он любит? — вскричала она, не помня себя.

Служанка, с изумлением видя, что с ее госпожой творится что-то неладное, к счастью, не обратила никакого внимания на эти странные слова. Г-жа де Реналь поняла, что допустила какую-то неосторожность.

— У меня жар,— сказала она ей,— и я, кажется, бредила. Побудьте здесь со мной.

Вынужденная сдерживаться, она мало-помалу пришла в себя, и ей стало несколько легче; рассудок, покинувший ее, пока она находилась в полузабытьи, теперь снова вернулся к ней. Чтобы избавиться от пристального взгляда служанки, она приказала ей почитать вслух газету, и, постепенно успокоенная монотонным голосом девушки, читавшей какую-то длинную статью из «Котидьен», г-жа де Реналь пришла к добродетельному решению обращаться с Жюльеном, когда она с ним увидится, как нельзя холоднее.

XII

ПУТЕШЕСТВИЕ

> В Париже можно встретить хорошо одетых людей, в провинции попадаются люди с характером.
>
> *Сийес.*

На следующий день, с пяти часов утра,— г-жа де Реналь еще не выходила из спальни,— Жюльен уже отпросился у ее мужа на три дня. Неожиданно для него самого, Жюльену вдруг

захотелось повидаться с нею; ему вспомнилась ее прелестная ручка. Он вышел в сад; г-жа де Реналь долго заставила себя ждать. Конечно, если бы Жюльен любил, он бы не преминул заметить ее за полуприкрытыми ставнями в окне второго этажа. Она стояла, прижавшись лбом к стеклу, она смотрела на него. Наконец, вопреки всем своим решениям, она все-таки рискнула выйти в сад. Вместо обычной бледности, на лице ее сейчас проступал яркий румянец. Эта бесхитростная женщина явно была взволнована: какая-то натянутость и даже, пожалуй, недовольство нарушали обычное выражение невозмутимой ясности, как бы презревшей все пошлые, мирские заботы,— той ясности, которая придавала особенное очарование ее небесным чертам.

Жюльен поспешно приблизился к ней; он с восхищением смотрел на ее прекрасные обнаженные руки, полуприкрытые накинутой наспех шалью. Свежий утренний воздух, казалось, заставил еще ярче пылать ее щеки, на которых после пережитых за ночь волнений играл лихорадочный румянец. Ее скромная, трогательная красота и вместе с тем одухотворенная мыслью,— чего не встретишь у простолюдинки,— словно пробудила в Жюльене какое-то свойство души, которого он в себе не подозревал. Восхищенный этой красотой, которой жадно упивался его взор, Жюльен нимало не сомневался, что его встретят дружески; он даже и не думал об этом. Каково же было его удивление, когда он вдруг увидел явно подчеркнутую ледяную холодность, в которой он тотчас же заподозрил желание поставить его на место!

Радостная улыбка на его губах сразу исчезла; он вспомнил, какое положение он занимает, особенно в глазах знатной и богатой наследницы. Лицо его мгновенно изменилось: в нем теперь нельзя было прочесть ничего, кроме высокомерия и злости на самого себя. Его охватило чувство нестерпимой досады за то, что он дожидался здесь час с лишним,— и только дождался того, что его так унизили.

«Только дурак может сердиться на других,— рассуждал он про себя.— Камень падает вследствие собственной тяжести. Неужели я навсегда останусь таким младенцем? Неужели же я никогда не научусь отмерять этим людям ровно столько моей души, сколько полагается за их деньги? Если я хочу, чтобы они меня уважали и чтобы я уважал самого себя, надо дать им понять, что это только моя нужда вступает в сделку с их богатством, а сердце мое за тысячу лье от их наглости и на такой

высоте, где его не могут задеть жалкие, ничтожные знаки их пренебрежения или милости».

В то время как эти чувства теснились в душе юного гувернера, на его подвижном лице появилось выражение уязвленной гордости и жестокого озлобления. Г-жа де Реналь совершенно растерялась. Добродетельная холодность, которой она решила его встретить, сменилась на ее лице участием — участием, полным тревоги и недоумения перед этой внезапной переменой, совершившейся с ним на ее глазах. Ничего не значащие фразы, которыми принято обмениваться утром насчет здоровья или погоды, застыли на губах у обоих. Жюльен, который сохранил все свое здравомыслие, ибо он не испытывал никакого смятения страсти, нашел способ показать г-же де Реналь, что он ни в какой мере не считает их отношения дружескими: он не сказал ей ни слова о своем отъезде, откланялся и исчез.

В то время как она стояла и смотрела ему вслед, пораженная этим злобным, презрительным взглядом, который еще только вчера был таким дружеским, к ней подбежал ее старший сын и, бросившись ей на шею, крикнул:

— А у нас каникулы: господин Жюльен сегодня уезжает!

Услыхав это, г-жа де Реналь вся похолодела; она чувствовала себя такой несчастной из-за своей добродетели, но она была еще во сто крат несчастнее из-за своей слабости.

Это новое событие заслонило собой все в ее воображении. Все ее благоразумные намерения мигом улетучились. Ей уж теперь приходилось думать не о том, чтобы устоять перед этим обворожительным возлюбленным, а о том, что она вот-вот потеряет его навеки.

Ей пришлось взять себя в руки, чтобы высидеть за завтраком. В довершение всех зол г-н де Реналь и г-жа Дервиль только и говорили, что об отъезде Жюльена. Верьерскому мэру показался несколько странным решительный тон Жюльена, каким тот заявил, что ему необходимо отлучиться.

— Ясно, что мальчишке кто-то сделал выгодное предложение,— в этом можно не сомневаться. Но кто бы это ни был, будь то хоть г-н Вально, шестьсот франков в год жалованья гувернеру — такая сумма заставит хоть кого призадуматься. Вчера в Верьере ему, должно быть, сказали, чтобы он подождал денька три, пока там подумают, так вот нынче утром, чтобы не давать мне ответа, этот негодный мальчишка улизнул в горы. Подумать только, что мы вынуждены считаться с каким-то ничтожным мастеровым, который еще и хамит нам,— вот до чего мы дошли!

«Если даже мой муж, который не представляет себе, как он жестоко оскорбил Жюльена, и тот опасается, как бы он от нас не ушел, так что же я-то должна думать? — говорила себе г-жа де Реналь.— Все кончено!»

Чтобы выплакаться вволю и не отвечать на расспросы г-жи Дервиль, она сказала, что у нее ужасно болит голова, ушла к себе в спальню и легла в постель.

— Вот они, эти женщины,— повторял г-н де Реналь.— Вечно у них там что-то не ладится. Уж больно они хитро устроены.

И он удалился, посмеиваясь.

В то время как г-жа де Реналь, жертва своей несчастной и столь внезапно поработившей ее страсти, переживала жесточайшие муки, Жюльен весело шагал по дороге, и перед глазами его расстилались живописнейшие пейзажи, какими только может порадовать глаз горная природа. Ему надо было перевалить через высокий хребет к северу от Вержи. Тропинка, по которой он шел среди густой чащи громадных буков, постепенно поднималась, делая беспрестанные петли, по склону высокой горы, что замыкает на севере долину Ду. Взорам путника, уже миновавшего невысокие холмы, между которыми Ду поворачивает на юг, открылись теперь широкие плодородные равнины Бургундии и Божоле. Хотя душа этого юного честолюбца была весьма мало чувствительна к такого рода красотам, он время от времени все же невольно останавливался и окидывал взором эту широкую, величественную картину.

Наконец он поднялся на вершину большой горы, через которую ему надо было перевалить, чтобы попасть в уединенную долину, где жил его друг, молодой лесоторговец Фуке. Жюльен вовсе не торопился увидеть Фуке — ни его, ни вообще кого-либо на свете. Укрывшись, словно хищная птица, среди голых утесов, торчащих на самой вершине большой горы, он заметил бы издалека всякого, кто бы ни направлялся сюда. На почти отвесном уступе одного из утесов он увидел небольшую пещеру. Он забрался в нее и расположился в этом тайном убежище. «Вот уж здесь-то,— сказал он себе с заблестевшими от радости глазами,— здесь никто не может до меня добраться». Здесь, казалось ему, он отлично может записать некоторые свои мысли, что в любом ином месте было бы крайне опасно. Каменная четырехугольная глыба заменила ему стол. Он так увлекся, что еле успевал записывать; он ничего не видел кругом. Наконец он очнулся и заметил, что солнце уже садится за отдаленной грядой гор Божоле.

«А почему бы мне не остаться здесь на ночь? — подумал он.— Хлеб у меня есть, и я *свободен*». Произнеся это великое слово, он почувствовал, как душа его встрепенулась от восторга. Вечное притворство довело его до того, что он не мог чувствовать себя свободным даже с Фуке. Подперев голову руками, Жюльен сидел в этой маленькой пещере, упиваясь своими мечтами и ощущением свободы, и чувствовал себя таким счастливым, как никогда в жизни. Он не заметил, как один за другим догорели последние отблески заката. Среди обступившей его необъятной тьмы душа его, замирая, созерцала картины, возникавшие в его воображении, картины его будущей жизни в Париже. Прежде всего ему рисовалась прекрасная женщина, такая прекрасная и возвышенная, какой он никогда не встречал в провинции. Он влюблен в нее страстно, и он любим... Если он разлучался с ней на несколько мгновений, то лишь затем, чтобы покрыть себя славой и стать еще более достойным ее любви.

Юноша, выросший среди унылой действительности парижского света, будь у него даже богатое воображение Жюльена, невольно усмехнулся бы, поймав себя на таких бреднях; великие подвиги и надежды прославиться мигом исчезли бы из его воображения, вытесненные общеизвестной истиной: «Тот, кто красотку свою покидает,— горе тому! — трижды на дню ему изменяют». Но этому юному крестьянину казалось, что для совершения самых героических деяний ему не хватает только случая.

Между тем глубокая ночь давно сменила день, а до поселка, где жил Фуке, оставалось еще два лье. Прежде чем покинуть свою пещеру, Жюльен развел огонь и старательно сжег все, что написал.

Он очень удивил своего приятеля, когда в час ночи постучался в его дверь. Фуке не спал: он корпел над своей отчетностью. Это был высоченный малый, довольно нескладный, с грубыми чертами лица, с громадным носом; но под этой отталкивающей внешностью скрывалось неисчерпаемое добродушие.

— Уж не поругался ли ты с твоим господином де Реналем, что явился так нежданно-негаданно?

Жюльен рассказал ему — так, как он считал нужным,— все, что с ним произошло накануне.

— Оставайся-ка у меня,— сказал ему Фуке.— Я вижу, ты теперь хорошо их знаешь — и господина де Реналя, и Вально, и помощника префекта Можирона, и кюре Шелана; ты теперь

раскусил все их замысловатые повадки. Тебе сейчас в самую пору заняться торгами по сдаче подрядов. В арифметике ты куда сильней меня: ты бы у меня книги вел,— я ведь немало зарабатываю моей торговлишкой. Но ведь у самого до всего руки не доходят, а взять себе компаньона боишься: как бы не налететь на мошенника. И вот только из-за этого-то каждый день и упускаешь самые что ни на есть выгодные дела. Да вот, еще только месяц тому назад я дал заработать шесть тысяч франков этому Мишо — ну, знаешь, из Сент-Амана, я его лет шесть не видал, просто случайно встретил на торгах в Понтардье. А почему бы тебе не заработать эти шесть тысяч или хотя бы три тысячи? Ведь будь ты тогда со мной на торгах, я бы накинул цену на эту партию леса и всех бы их тут же и отвадил, так бы она за мной и осталась. Иди ко мне в компаньоны.

Это предложение расстроило Жюльена: оно не вязалось с его фантастическими бреднями. За ужином, который эти два друга, наподобие гомеровских героев, готовили себе сами, ибо Фуке жил один, он показал Жюльену свои счета, чтобы доказать ему, как выгодно торговать лесом. Фуке был высокого мнения об образованности и характере Жюльена.

Но вот наконец Жюльен остался один в маленькой каморке из еловых бревен. «А ведь и правда,— сказал он себе,— я могу здесь заработать несколько тысяч франков, а потом уже решить спокойно, надеть ли мне военный мундир или поповскую сутану, в зависимости от того, на что тогда будет мода во Франции. Состояньице, которое я к тому времени прикоплю, устранит всяческие затруднения. Здесь, в горах, где кругом ни души, я понемножку преодолею свое темное невежество по части всяких важных материй, которыми интересуются эти салонные господа. Но ведь Фуке не собирается жениться, а сам все твердит, что пропадает здесь от одиночества. Ясно, что если он берет себе в компаньоны человека, который ничего не может вложить в его дело, значит, он только на то и надеется, что уж тот его никогда не покинет».

— Неужели же я могу обмануть друга? — с возмущением вскричал Жюльен. Этот странный человек, для которого притворство и полное отсутствие каких бы то ни было привязанностей были обычным способом преуспеяния, не мог сейчас даже и мысли допустить о том, чтобы позволить себе малейшую неделикатность по отношению к любящему его другу.

Но вдруг Жюльен просиял: он нашел предлог отказаться. «Как? Потерять в безвестности семь-восемь лет? Да ведь мне к тому времени стукнет уже двадцать восемь. Бонапарт в этом возрасте совершил свои самые великие дела. А когда я, никому не ведомый, скоплю наконец немножко деньжонок, толкаясь по этим торгам и добиваясь расположения каких-то жуликоватых чинуш, кто знает, останется ли у меня к тому времени хоть искра священного огня, который необходим, чтобы прославиться?»

На другое утро Жюльен с полным хладнокровием заявил добрейшему Фуке, который считал дело уже решенным, что призвание к святому служению церкви не позволяет ему согласиться на его предложение. Фуке просто в себя прийти не мог от изумления.

— Да ты подумай,— говорил он ему,— ведь я тебя беру в долю, а не то просто положу тебе четыре тысячи в год! А ты вместо этого хочешь опять вернуться к этому своему де Реналю, который тебя с грязью готов смешать. Да когда ты прикопишь сотни две золотых, кто же тебе помешает пойти в твою семинарию? Больше тебе скажу: я сам берусь выхлопотать тебе лучший приход во всей округе. Знаешь,— добавил Фуке, понижая голос,— я ведь им поставляю дрова, господину ***, и господину ***, и господину ***. Я им везу самый высший сорт, дубовую плаху, а они мне за это платят, как за валежник, ну и мне, разумеется, верный барыш; лучше этого поместить денежки и не придумаешь.

Но Жюльен продолжал твердить о своем призвании. Фуке наконец решил, что друг его немного свихнулся. На третий день, едва забрезжил рассвет, Жюльен покинул своего приятеля: ему хотелось провести этот день в горах среди утесов. Он разыскал свою маленькую пещерку, но в душе его уже не было мира: его нарушило предложение Фуке. Подобно Геркулесу, ему предстояло выбрать, но выбрать не между пороком и добродетелью, а между посредственностью, которая обеспечивала ему надежное благосостояние, и всеми героическими мечтами юности. «Значит, у меня нет настоящей твердости, — говорил он себе. Это сомнение мучило его больше всего.— Должно быть, я не из той глины вылеплен, из какой выходят великие люди, раз я боюсь, как бы эти восемь лет, пока я буду добывать себе кусок хлеба, не отняли у меня той чудесной силы, которая побуждает творить необыкновенные дела».

XIII

АЖУРНЫЕ ЧУЛКИ

Роман — это зеркало, с которым идешь по большой дороге.

Сен-Реаль.

Когда Жюльен снова увидел живописные развалины старинной вержийской церкви, он подумал о том, что за все это время, с позавчерашнего дня, он ни разу не вспомнил о г-же де Реналь. «В тот день, когда я уходил, эта женщина напомнила мне, какое расстояние нас разделяет, она разговаривала со мной, как с мальчишкой-простолюдином. Ясное дело, она хотела дать мне понять, как она раскаивается в том, что позволила мне накануне взять ее за руку. А до чего все-таки красивая рука! Прелесть! И как она умеет глядеть, эта женщина, с каким благородством!»

Возможность скопить некую толику денег на подрядах с Фуке дала некоторый простор течению мыслей Жюльена; они уже не так часто омрачались досадой и не заставляли его мучиться горьким сознанием своей бедности и ничтожества в глазах окружающих. Он словно стоял на каком-то возвышении и, взирая оттуда сверху вниз, мог спокойно обозревать и горькую нищету, и достаток, который для него был богатством. Он отнюдь не глядел на свое положение глазами философа, но он был достаточно прозорлив, чтобы почувствовать, что из этого маленького путешествия в горы он вернулся *другим человеком.*

Его удивило необыкновенное волнение, с каким его слушала г-жа де Реналь, когда он, по ее просьбе, стал кратко рассказывать о своем путешествии.

Фуке когда-то подумывал о женитьбе и неоднократно разочаровывался в любви; в разговорах со своим другом он откровенно рассказывал о своих неудачах. Не раз осчастливленный раньше времени, Фуке обнаруживал, что не он один пользуется взаимностью своего предмета. Жюльена очень удивляли эти рассказы; он узнал из них много нового. Вечно наедине со своим воображением, полный недоверия ко всему окружающему, он был далек от всего, что могло хоть сколько-нибудь просветить его на этот счет.

Все это время, пока он отсутствовал, г-жа де Реналь не жила, а мучилась; мучения ее были самого разнообразного свой-

ства, но все одинаково невыносимыми. Она в самом деле занемогла.

— Не вздумай выходить вечером в сад,— сказала ей г-жа Дервиль, увидя появившегося Жюльена.— Ты нездорова, а вечером сыро, и тебе станет хуже.

Госпожа Дервиль с удивлением заметила, что ее подруга, которую г-н де Реналь вечно упрекал за то, что она чересчур уж просто одевается, ни с того ни с сего надела ажурные чулки и прелестные парижские туфельки. За последние три дня единственным развлечением г-жи де Реналь было шитье; она скроила себе летнее платье из очень красивой, только что вошедшей в моду материи и беспрестанно торопила Элизу, чтобы та сшила его как можно скорей. Платье было закончено всего через несколько минут после того, как вернулся Жюльен, и г-жа де Реналь тотчас же его надела. У ее подруги теперь уже не оставалось никаких сомнений. «Она влюблена, несчастная!» — сказала себе г-жа Дервиль. Ей были теперь совершенно понятны все эти странные недомогания ее приятельницы.

Она видела, как та разговаривала с Жюльеном: лицо ее то бледнело, то вспыхивало ярким румянцем. Взгляд, полный мучительной тревоги, не отрывался от глаз молодого гувернера. Г-жа де Реналь с секунды на секунду ждала, что он вот-вот перейдет к объяснениям и скажет, уходит он от них или остается. А Жюльен ничего не говорил просто потому, что он вовсе об этом не думал. Наконец после долгих мучительных колебаний г-жа де Реналь решилась и прерывающимся голосом, который явно изобличал ее чувства, спросила:

— Вы, кажется, собираетесь покинуть ваших питомцев и переходите на другое место?

Жюльена поразил неуверенный голос и взгляд, которым смотрела на него г-жа де Реналь. «Эта женщина любит меня,— сказал он себе,— но после того как она на минутку позволит себе такую слабость, в которой она по своей гордости сейчас же раскается, и как только она перестанет бояться, что я уйду от них, она снова будет держаться со мной так же надменно». Он мигом представил себе это невыгодное для него положение; поколебавшись, он ответил:

— Мне будет очень тяжело расстаться с такими милыми детьми, тем более из такой *порядочной* семьи; но, возможно, мне придется это сделать. Ведь у каждого есть обязанности и по отношению к самому себе.

Выговорив это словечко «порядочной» — одно из аристократических выражений, которыми Жюльен только недавно

обогатил свой словарь,— он проникся чувством глубочайшего отвращения.

«А я в глазах этой женщины, значит, непорядочный?» — подумал он.

Госпожа де Реналь слушала его и восхищалась его умом, его красотой, а сердце ее сжималось: ведь он сам сказал ей, что он, может быть, их покинет. Все ее верьерские друзья приезжавшие в Вержи во время отсутствия Жюльена, наперебой расхваливали ей удивительного молодого человека, которого посчастливилось откопать ее мужу. Разумеется, это было не потому, что они что-нибудь понимали в успехах детей. Но то, что он знал наизусть Библию, да еще по-латыни, приводило верьерских обывателей в такой восторг, что он у них, пожалуй, не остынет еще сто лет.

Но так как Жюльен ни с кем не разговаривал, он, разумеется, ничего не знал об этом. Будь у г-жи де Реналь хоть чуточку хладнокровия, она бы догадалась поздравить его с тем, что он заслужил такую блестящую репутацию, а это тотчас же успокоило бы гордость Жюльена и он был бы с ней и кроток и мил, тем более что ему очень понравилось ее новое платье. Г-жа де Реналь, тоже очень довольная своим нарядным платьем и тем, что сказал ей по этому поводу Жюльен, предложила ему пройтись по саду, но вскоре призналась, что не в состоянии идти одна. Она оперлась на руку беглеца. Но это не только не прибавило ей силы, а наоборот, почувствовав прикосновение его руки, она совсем изнемогла.

Уже стемнело; едва только они уселись, как Жюльен, воспользовавшись своей давнишней привилегией, осмелился приложиться губами к руке своей прелестной соседки и затем немедленно завладел этой ручкой. Он думал о том, как храбро поступал со своими возлюбленными Фуке, а отнюдь не о г-же де Реналь; слово «порядочный» все еще лежало камнем у него на сердце. Вдруг руку его крепко сжали, но и это не доставило ему ни малейшего удовольствия. Он не только не гордился, он даже не испытывал никакой признательности за те чувства, которые она так явно обнаруживала в этот вечер; ее красота, грация, свежесть сегодня почти не трогали его. Душевная чистота, отсутствие каких бы то ни было недобрых чувств, безусловно, способствуют продлению юности. У большинства красивых женщин прежде всего стареет лицо.

Жюльен весь вечер был не в духе; до сих пор он возмущался случаем, который ставит человека на ту или иную

ступень общественной лестницы; после того как Фуке предложил ему этот низменный способ разбогатеть, он стал злиться на самого себя. Весь поглощенный этими мыслями, он изредка перекидывался двумя-тремя словами со своими дамами и, незаметно для себя, выпустил из своей руки ручку г-жи де Реналь. У бедняжки вся душа перевернулась: она увидела в этом свой приговор.

Будь она уверена в привязанности Жюльена, может быть, ее добродетель помогла бы ей устоять против него. Но сейчас, когда она боялась потерять его навек, она не противилась своему чувству и забылась до того, что сама взяла Жюльена за руку, которую он в рассеянности положил на спинку стула. Ее жест вывел из оцепенения юного честолюбца. Как ему хотелось, чтобы на него поглядели сейчас все эти знатные, спесивые господа, которые за званым обедом, когда он сидел с детьми на заднем конце стола, посматривали на него с такой покровительственной улыбочкой! «Нет, эта женщина не может презирать меня,— сказал он себе,— а если так, то мне незачем противиться ее красоте, и если я не хочу потерять уважение к самому себе, я должен стать ее возлюбленным». Вряд ли ему пришла бы в голову подобная мысль, если бы он не наслушался простодушных признаний своего друга.

Это внезапное решение несколько развлекло его. «Какая-нибудь из этих двух женщин должна быть непременно моей»,— сказал он себе и тут же подумал, что ему было бы гораздо приятнее ухаживать за г-жой Дервиль — не потому, что она ему больше нравилась, а лишь потому, что она всегда знала его только в роли наставника, известного своей ученостью, а не простым подмастерьем с суконной курткой под мышкой, каким он впервые предстал перед г-жой де Реналь.

А вот как раз этого юного подмастерья, краснеющего до корней волос, который стоял у подъезда и не решался позвонить, г-жа де Реналь и вспоминала с особенным умилением.

Продолжая смотр своих позиций, Жюльен убедился, что ему нельзя и думать о победе над г-жой Дервиль, которая, надо полагать, догадывается о том, что г-жа де Реналь неравнодушна к нему. Итак, волей-неволей, ему пришлось остановиться на г-же де Реналь. «А что я знаю об этой женщине? — спрашивал себя Жюльен.— Я знаю только одно: до моей отлучки я брал ее за руку, а она отнимала у меня руку; теперь я отнимаю руку, а она сама берет меня за руку и пожимает ее. Прекрасный слу-

чай отплатить ей с лихвой за все то презрение, которое она мне выказывала. Бог ее знает, сколько у нее было любовников! Может быть, она только потому меня и выбрала, что ей здесь со мной удобно встречаться?»

Вот в этом-то и беда — увы! — чрезмерной цивилизации. Душа двадцатилетнего юноши, получившего кое-какое образование, чуждается всякой непосредственности, бежит от нее за тридевять земель, а без нее любовь зачастую обращается в самую скучную обязанность.

«Я еще потому должен добиться успеха у этой женщины,— продолжало нашептывать Жюльену его мелкое тщеславие,— что, если потом кому-нибудь вздумается попрекнуть меня жалким званием гувернера, я смогу намекнуть, что меня на это толкнула любовь».

Жюльен снова высвободил свою руку, а затем сам схватил руку г-жи де Реналь и сжал ее. Когда они около полуночи поднялись в гостиную, г-жа де Реналь сказала ему тихонько:

— Так вы покидаете нас? Вы уйдете от нас?

Жюльен вздохнул и ответил:

— Мне надо уехать, потому что я влюблен в вас безумно, а это грех, ужасный грех для молодого священника.

Госпожа де Реналь вдруг оперлась на его руку так порывисто, что коснулась своей щекой горячей щеки Жюльена.

Как несхоже прошла ночь для этих двоих людей! Г-жа де Реналь пребывала в совершенном упоении, охваченная восторгом самой возвышенной духовной страсти. Юная кокетливая девушка, которая начала рано влюбляться, привыкает к любовным волнениям, и когда наступает возраст подлинно страстного чувства, для нее уже нет в нем очарования новизны. Но для г-жи де Реналь, которая никогда не читала романов, все оттенки ее счастья были новы. Никакая мрачная истина или хотя бы призрак будущего не расхолаживали ее. Ей представлялось, что пройдет еще десять лет, и она будет все так же счастлива, как сейчас. Даже мысль о добродетели и клятве верности г-ну де Реналь, мысль, которая так мучила ее несколько дней назад, и та сегодня появилась напрасно; она отмахнулась от нее, как от непрошеной гостьи. «Никогда я ничего ему не позволю,— говорила себе г-жа де Реналь.— Мы будем жить с Жюльеном так, как жили этот месяц. Это будет мой друг».

XIV

АНГЛИЙСКИЕ НОЖНИЦЫ

Шестнадцатилетняя девушка, щечки как розаны,— и все-таки румянится.

Полидори.

Что касается Жюльена, то он после предложения Фуке чувствовал себя просто несчастным; он никак не мог ни на чем остановиться.

«Ах, должно быть, у меня не хватает характера! Плохим бы я был солдатом у Наполеона. Ну хоть, по крайней мере,— добавил он,— мое приключение с хозяйкой дома развлечет меня на некоторое время».

На его счастье, подобная развязность даже и в этом весьма малозначительном случае совсем не вязалась с его истинным душевным состоянием. Г-жа де Реналь пугала его своим новым нарядным платьем. Это платье было для него как бы авангардом Парижа. Его гордость не позволяла ему ни в чем полагаться на случай или на собственную находчивость, которая могла бы выручить его в нужный момент. Основываясь на признаниях Фуке и на том немногом, что он прочел о любви в Библии, он составил себе весьма тщательный и подробный план кампании. А так как он все же находился в большом смятении, хоть и не сознавался себе в этом, он решился записать для себя этот план.

Утром в гостиной г-жа де Реналь очутилась на минутку наедине с ним.

— Вас зовут Жюльен. А как ваше второе имя? — спросила она.

На этот столь лестный вопрос наш герой не сумел ничего ответить. Подобная возможность не была предусмотрена в его плане. Не будь у него в голове этого дурацкого плана, его находчивый ум тут же пришел бы ему на выручку, а неожиданность только подстегнула бы его остроумие.

От сознания собственной неловкости он еще больше смешался. Г-жа де Реналь тут же простила ему его замешательство. Оно показалось ей умилительно-простосердечным. По ее мнению, как раз только этого-то простосердечия и недоставало в манерах этого молодого человека, которого все считали таким умным.

— Твой юный учитель внушает мне сильное недоверие,— не раз говорила ей г-жа Дервиль.— У него такой вид, точно он все обдумывает и шагу не ступит, не рассчитав заранее. Вот уж себе на уме!

Жюльен испытывал острое чувство унижения оттого, что так глупо растерялся и не сумел ответить г-же де Реналь.

«Такой человек, как я, обязан перед самим собой загладить этот промах»,—решил он, и, улучив момент, когда они переходили из одной комнаты в другую, он, повинуясь этому чувству долга, поцеловал г-жу де Реналь.

Трудно было придумать что-либо более неуместное, более неприятное и для него и для нее и, вдобавок ко всему, более безрассудное. Их чуть было не заметили. Г-жа де Реналь подумала: не сошел ли он с ума? Она испугалась и вместе с тем страшно возмутилась. Эта нелепая выходка напомнила ей г-на Вально.

«Что, если бы я была здесь совсем одна с ним?» — подумала она. И вся ее добродетель вернулась к ней, ибо любовь стушевалась.

Она постаралась устроить так, чтобы кто-нибудь из мальчиков постоянно находился при ней.

День тянулся скучно для Жюльена; он с величайшей неловкостью пытался проводить в жизнь свой план обольщения. Ни разу он не взглянул просто на г-жу де Реналь, он кидал на нее только многозначительные взоры. Однако он был не настолько глуп, чтобы не заметить, что ему совсем не удается быть любезным, а еще того менее — обольстительным.

Госпожа де Реналь просто опомниться не могла, так удивляла ее и эта его неловкость, и эта невероятная дерзость. «А может быть, это первая любовь заставляет то робеть, то забываться умного человека,— наконец догадалась она, и ее охватила неизъяснимая радость.— Но может ли это быть? Значит, моя соперница его не любила?»

После завтрака г-жа де Реналь прошла в гостиную; к ней явился с визитом господин Шарко де Можирон, помощник префекта в Брэ. Она уселась за высокие пяльцы и занялась вышиванием. Рядом с ней сидела г-жа Дервиль. И вот тут-то, средь бела дня, нашего героя вдруг осенило пододвинуть свой сапог и легонько наступить им на хорошенькую ножку г-жи де Реналь в ту самую минуту, когда ее ажурные чулочки и изящные парижские туфельки, несомненно, привлекали взоры галантного помощника префекта.

Госпожа де Реналь испугалась не на шутку; она уронила на пол ножницы, клубок шерсти, все свои иголки — и все это только для того, чтобы жест Жюльена мог кое-как сойти за неловкую попытку подхватить на лету соскользнувшие со столика ножницы. К счастью, оказалось, эти маленькие ножницы

из английской стали сломались, и г-жа де Реналь принялась горько сетовать, что Жюльен не подоспел вовремя.

— Вы ведь видели, как они у меня выскользнули? Вы заметили это раньше меня и могли бы их подхватить, а вместо этого вы с вашим усердием только пребольно ударили меня по ноге.

Все это обмануло помощника префекта, но отнюдь не г-жу Дервиль. «У этого хорошенького мальчишки преглупые манеры!» — подумала она; житейская мудрость провинциального света таких промахов не прощает. Г-жа де Реналь улучила минутку и сказала Жюльену:

— Будьте осторожны, я вам это приказываю.

Жюльен сам сознавал свою неловкость, и ему было очень досадно. Он долго рассуждал сам с собой, следует ли ему рассердиться на это «я вам приказываю». У него хватило ума додуматься: «Она могла сказать мне — я *приказываю,* если бы речь шла о чем-нибудь, что касается детей и их воспитания; но если она отвечает на мою любовь, она должна считать, что между нами полное *равенство.* Какая это любовь, если нет *равенства?..»* И все мысли его сосредоточились на том, чтобы откопать в памяти разные прописные истины по поводу равенства. Он злобно повторял про себя стих Корнеля, который несколько дней тому назад прочла ему г-жа Дервиль:

. . . . . Любовь
Сама есть равенство: она его не ищет.

Жюльен упорно продолжал разыгрывать донжуана, а так как у него еще никогда в жизни не было ни одной возлюбленной, он весь этот день вел себя как последний дурак. Одно только он рассудил правильно: досадуя на себя и на г-жу де Реналь и с ужасом думая о том, что приближается вечер и ему опять придется сидеть рядом с ней в саду, в темноте, он сказал г-ну де Реналю, что ему надо отправиться в Верьер, к кюре, и ушел сразу же после обеда, а вернулся совсем поздно, ночью.

Когда Жюльен пришел к г-ну Шелану, оказалось, что тот перебирается из своего прихода: в конце концов его все-таки сместили, а его место занял викарий Малон. Жюльен принялся помогать старику-кюре, и тут ему пришло в голову написать Фуке, что он отказался от его дружеского предложения, потому что всей душой верил в свое призвание к служению церкви, но что сейчас он увидел такую вопиющую несправедливость, что его берет сомнение, не полезнее ли ему будет для спасения души отказаться от мысли о священном сане.

Жюльен был в восторге от своей блестящей идеи воспользоваться смещением кюре и сделать себе из этого лазейку, чтобы иметь возможность обратиться к торговле, если унылое благоразумие возьмет в его душе верх над героизмом.

XV

ПЕТУХ ПРОПЕЛ

Любовь — *амор* по-латыни,
От любви бывает мор,
Море слез, тоски пустыня,
Мрак, морока и позор.

Гербовник любви.

Будь у Жюльена хоть немного хитрости, которую он себе так неосновательно приписывал, он бы не преминул поздравить себя на следующий день с блистательными результатами, которых достиг своим путешествием в Верьер. Он исчез — и все его промахи были забыты. Но он был мрачен весь день, и только уж совсем вечером ему пришла в голову поистине удивительная мысль, которую он тут же с невероятной смелостью сообщил г-же де Реналь. Едва они уселись в саду, Жюльен, не подождав даже, пока стемнеет, приблизил губы к уху г-жи де Реналь и, рискуя всерьез опорочить ее доброе имя, сказал ей:

— Сударыня, сегодня ночью ровно в два часа я буду в вашей комнате: мне необходимо поговорить с вами.

Жюльен дрожал от страха: а вдруг она ответит согласием! Роль соблазнителя до такой степени угнетала его, что если бы он только мог дать себе волю, он на несколько дней заперся бы у себя в комнате, чтобы вовсе не видеть своих дам. Он понимал, что своим «замечательным» вчерашним поведением он испортил все, что ему так легко досталось накануне, и теперь он просто не знал, как быть.

Госпожа де Реналь на это дерзкое заявление, которое осмелился ей сделать Жюльен, ответила самым искренним и нимало не преувеличенным негодованием. Ему почудилось презрение в ее кратком ответе. Несомненно, в этой фразе, произнесенной почти шепотом, присутствовало словечко «фу». Под предлогом, будто ему надо что-то сказать детям, Жюльен отправился к ним в комнату, а вернувшись, сел около г-жи Дервиль и как можно дальше от г-жи де Реналь. Таким образом, он совершенно лишил себя всякой возможности взять ее за

руку. Разговор принял серьезный характер, и Жюльен с честью поддерживал его, если не считать нескольких пауз, когда он вдруг снова начинал ломать себе голову. «Как бы мне придумать какой-нибудь ловкий маневр,— говорил он себе,— чтобы заставить г-жу де Реналь снова выказывать мне то явное расположение, которое три дня тому назад позволяло мне думать, что она моя?»

Жюльен был чрезвычайно подавлен этим почти безвыходным положением, до которого он сам довел свои дела. А между тем счастливый исход привел бы его в еще большее замешательство.

Когда около двенадцати все разошлись, он с мрачной уверенностью решил про себя, что г-жа Дервиль относится к нему с глубочайшим презрением и что его дела с г-жой де Реналь обстоят не лучше.

В самом отвратительном расположении духа, чувствуя себя донельзя униженным, Жюльен никак не мог заснуть. Однако он не допускал мысли бросить все это притворство, отказаться от своих планов и жить изо дня в день подле г-жи де Реналь, довольствуясь, как дитя, теми радостями, которые приносит всякий новый день.

Он ломал себе голову, придумывая разные искусные маневры, которые спустя несколько секунд казались ему совершенно нелепыми; словом, он чувствовал себя глубоко несчастным, как вдруг на больших часах замка пробило *два*.

Этот звон заставил его очнуться — так очнулся апостол Петр, услышав, что пропел петух. Он почувствовал, что произошло нечто ужасное. С той самой минуты, как он осмелился сделать ей это дерзкое предложение, он больше ни разу не вспомнил о нем: ведь она так рассердилась на него!

«Я сказал ей, что приду к ней в два часа,— рассуждал он сам с собой, поднимаясь с постели,— я могу быть невеждой и грубияном, как оно, конечно, и полагается крестьянскому сыну,— г-жа Дервиль совершенно ясно дала мне это понять,— но я, по крайней мере, докажу, что я не ничтожество».

Поистине Жюльен с полным основанием мог гордиться своим мужеством; никогда еще не подвергал он себя такому чудовищному насилию. Отворяя дверь своей комнаты, он так дрожал, что у него подгибались колени, и он вынужден был прислониться к стене.

Он нарочно не надел башмаков. Выйдя в коридор, он подошел к двери г-на де Реналя и прислушался: оттуда доносился громкий храп. Его охватило полное отчаяние. Значит, у него

уже теперь нет никакого предлога не пойти к ней.— Но бог ты мой! — что он там будет делать? У него не было никакого плана, а если бы даже и был, он чувствовал себя сейчас до такой степени растерянным, что все равно не мог бы его выполнить.

Наконец, сделав над собой невероятное усилие, чувствуя, что ему в тысячу раз легче было бы пойти на смертную казнь, он вошел в маленький коридорчик, примыкавший к спальне г-жи де Реналь. Дрожащей рукой он отворил дверь, которая пронзительно скрипнула.

Спальня была освещена, на камине под колпачком горел ночник — вот беда, только этого не хватало! Увидев его, г-жа де Реналь мгновенно вскочила с постели. «Несчастный!» — вскричала она. Произошло маленькое замешательство. И тут у Жюльена вылетели из головы все его тщеславные бредни, и он стал просто самим собой. Быть отвергнутым такой прелестной женщиной показалось ему величайшим несчастьем. В ответ на ее упреки он бросился к ее ногам и обхватил ее колени. А так как она продолжала бранить его, и страшно сурово, он вдруг разрыдался.

Когда через несколько часов Жюльен вышел из спальни г-жи де Реналь, про него можно было сказать, как принято говорить в романах, что больше ему уж ничего не оставалось желать. И в самом деле, любовь, которую он к себе внушил, и то неожиданное впечатление, какое произвели на него ее прелести, даровали ему победу, коей он никогда не достиг бы всеми своими неуклюжими хитростями.

Но даже и в самые сладостные мгновения этот человек, жертва своей нелепой гордыни, пытался разыгрывать покорителя женских сердец и прилагал невероятные старания испортить все, что в нем было привлекательного. Вместо того чтобы упиваться восторгами, пробужденными им самим, и раскаянием, которое еще увеличивало их пылкость, он ни на минуту не позволял себе забыть о своем *долге*. Он боялся, что потом будет горько сожалеть и уронит себя в собственных глазах, если хоть немножко отступит от того идеала, который он сам для себя выдумал. Короче говоря, как раз то, что делало Жюльена существом высшего порядка, и мешало ему вкушать счастье, которое само шло ему в руки. Так шестнадцатилетняя девушка с очаровательнейшим цветом лица считает своим долгом румяниться, отправляясь на бал.

Перепугавшись до смерти при виде Жюльена, г-жа де Реналь сначала ужасно растерялась, а потом уже никак не

могла справиться со своим смятением. Слезы Жюльена, его отчаяние сразили ее.

Даже когда ей уж не в чем было отказывать Жюльену, она вдруг снова в порыве самого искреннего негодования отталкивала его и тут же снова бросалась в его объятия. Во всем этом не было ничего преднамеренного. Она уже считала себя бесповоротно погибшей и, преследуемая видением ада, пряталась на груди Жюльена и осыпала его бурными ласками. Словом, здесь было все, что только возможно для полного блаженства нашего героя, вплоть до природной пылкости, разбуженной им в этой женщине, если бы он только умел насладиться всем этим. Жюльен уже ушел, а она долго еще трепетала в страстном волнении и замирала от ужаса, терзаемая муками раскаяния.

«Боже мой! Это и есть счастье любви? И это все?» — вот какова была первая мысль Жюльена, когда он очутился один у себя в комнате. Он пребывал в том состоянии искреннего изумления и смутной растерянности, которые овладевают душой, когда она наконец достигла того, к чему так долго стремилась. Она привыкла желать, но теперь желать уже нечего, а воспоминаний у нее еще нет. Как солдат, возвратившийся с парада, Жюльен тщательно перебирал в памяти все подробности своего поведения. «Не упустил ли я чего-нибудь из того, что мне повелевает мой долг? Хорошо ли я сыграл свою роль?»

И какую роль? Роль человека, привыкшего быть неотразимым в глазах женщин.

XVI

НАЗАВТРА

He turns'd his lip to hers, and with his hand
Call'd back the tangles of her wandering hair.

Don Juan, c. I, st. CLXX [1].

Хорошо, что, на счастье Жюльена, г-жа де Реналь была так изумлена и потрясена, что не могла заметить нелепого поведения этого человека, который в один миг стал для нее всем на свете.

Когда уже начало светать, она стала уговаривать его, чтобы он ушел.

---

[1] К ее устам приник он, прядь волос
Рукою бережной с чела ее откинув. *Байрон, «Дон Жуан», песнь I, строфа CLXX (англ.).*

— Боже мой,— говорила она,— если только муж услышит шум, я погибла!

Жюльен, который за все это время успел придумать немало всяких фраз, вспомнил одну из них:

— А вам было бы жаль расстаться с жизнью?

— Ах, сейчас — да, ужасно! Но все равно я бы не пожалела о том, что узнала вас.

Жюльен счел долгом для поддержания своего достоинства выйти от нее, когда уже было совсем светло и без всяких предосторожностей.

Неослабное внимание, с каким он постоянно следил за каждым своим движением, одержимый нелепой идеей показать себя опытным мужчиной, оказалось все-таки полезным в одном отношении: когда они встретились с г-жой де Реналь за завтраком, его поведение было верхом осторожности.

А она не могла взглянуть на него без того, чтобы не покраснеть до корней волос, а вместе с тем не могла прожить и секунды без того, чтобы не поглядеть на него; она сама чувствовала, что смущается, и оттого, что она изо всех сил старалась скрыть это, смущалась вдвое. Жюльен только один раз поднял на нее глаза. Г-жа де Реналь сначала восхищалась его выдержкой. Но когда этот единственный взгляд так больше и не повторился, она испугалась: «Неужели он уже разлюбил меня? Увы! Я стара для него, я на целых десять лет старше!»

Когда они шли из столовой в сад, она вдруг схватила его руку и крепко сжала ее. Изумленный и застигнутый врасплох этим необычайным проявлением любви, он посмотрел на нее пламенным взором. Она показалась ему такой красивой за завтраком! Правда, он сидел, опустив глаза, но все время он только и представлял себе, как она необыкновенно прелестна. Этот взгляд утешил г-жу де Реналь; он не совсем рассеял ее опасения, но как раз эти-то опасения почти совсем заглушали ее угрызения совести по отношению к мужу.

За завтраком муж ровно ничего не заметил, но нельзя было бы сказать этого о г-же Дервиль; она решила, что г-жа де Реналь стоит на краю бездны. В течение целого дня, движимая отважным и решительным чувством дружбы, она не переставала донимать свою подругу разными намеками, чтобы изобразить ей в самых зловещих красках страшную опасность, которой она себя подвергала.

Госпожа де Реналь горела нетерпением поскорее очутиться наедине с Жюльеном; ей так хотелось спросить его, любит

ли он ее еще. Несмотря на всю свою беспредельную кротость, она несколько раз порывалась сказать подруге, что она лишняя.

Вечером в саду г-жа Дервиль устроила так, что ей удалось сесть между г-жой де Реналь и Жюльеном. И г-жа де Реналь, которая лелеяла упоительную мечту — как она сейчас крепко сожмет руку Жюльена и поднесет ее к своим губам,— не смогла даже перекинуться с ним ни единым словом.

Это препятствие только усилило ее смятение. Она горько упрекала самое себя. Она так бранила Жюльена за его безрассудство, когда он явился к ней в прошлую ночь, что теперь дрожала от страха: а вдруг он сегодня не придет? Она рано ушла из сада и затворилась у себя в комнате. Но от нетерпения ей не сиделось на месте: она подошла к двери Жюльена и прислушалась. Однако, как ни терзали ее беспокойство и страсть, она все же не решилась войти. Такой поступок казался ей уж последней степенью падения, ибо в провинции это неисчерпаемая тема для ехидства.

Слуги еще не все легли спать. В конце концов, вынужденная осторожностью, г-жа де Реналь волей-неволей вернулась к себе. Два часа ожидания тянулись для нее, словно два столетия непрерывной пытки.

Однако Жюльен был слишком верен тому, что он называл своим «долгом», чтобы позволить себе хоть в чем-либо отступить от предписанного им себе плана.

Как только пробило час, он тихонько вышел из своей комнаты, удостоверился, что хозяин дома крепко спит, и явился к г-же де Реналь. На этот раз он вкусил больше счастья возле своей возлюбленной, ибо он был не так сосредоточен на том, чтобы играть свою роль. У него открылись глаза, и он обрел способность слышать. То, что г-жа де Реналь сказала ему о своем возрасте, внушило ему некоторую уверенность в себе.

— Ах, боже мой! Ведь я на десять лет старше вас! Может ли это быть, чтобы вы меня любили? — твердила она ему без всякого умысла, просто потому, что эта мысль угнетала ее.

Жюльен не понимал, чем она так огорчается, но видел, что она огорчается искренне, и почти совсем забыл свой страх показаться смешным.

Нелепое опасение, что к нему из-за его низкого происхождения относятся как к любовнику-слуге, тоже рассеялось. По мере того как пылкость Жюльена вливала успокоение в сердце его робкой возлюбленной, она понемногу отходила душой и обретала способность приглядываться к своему милому. К сча-

стью, у него нынче ночью почти не замечалось той озабоченности, из-за которой вчерашнее свидание было для него только победой, а отнюдь не наслаждением. Если бы только она заметила его старания выдержать роль, это печальное открытие навсегда отравило бы ей все счастье. Она бы сказала себе, что это не что иное, как плачевное следствие огромной разницы лет.

Хотя г-жа де Реналь никогда не задумывалась над вопросами любви, неравенство лет, вслед за неравенством состояний,— одна из неисчерпаемых тем, излюбленный конек провинциального зубоскальства всякий раз, когда речь заходит о любви.

Прошло несколько дней, и Жюльен со всем пылом юности влюбился без памяти.

«Нет, надо признаться,— рассуждал он сам с собой,— она так добра, ну просто ангельская душа, а по красоте может ли кто с ней сравниться?»

Он уже почти выкинул из головы мысль о необходимости выдерживать роль. Как-то в минуту откровенности он даже признался ей во всех своих опасениях. Каким бурным проявлением любви было встречено это признание! «Так, значит, у меня не было счастливой соперницы!» — в восторге повторяла себе г-жа де Реналь. Она даже решилась спросить его, что это был за портрет, над которым он так дрожал. Жюльен поклялся, что это был портрет мужчины.

В редкие минуты относительного хладнокровия, когда к г-же де Реналь возвращалась способность размышлять, ее охватывало чувство бесконечного удивления: как это на свете существует такое счастье, о котором она никогда даже не подозревала?!

«Ах! Почему я не встретилась с Жюльеном лет десять тому назад,— мысленно восклицала она,— когда я еще могла считаться хорошенькой!»

Жюльену, разумеется, не приходили в голову подобные мысли. Любовь его в значительной мере все еще питалась тщеславием: его радовало, что он, нищий, ничтожное, презренное существо, обладает такой красивой женщиной. Его бурные восторги, его пламенное преклонение перед красотой своей возлюбленной в конце концов несколько рассеяли ее опасения относительно разницы лет. Будь у нее хоть сколько-нибудь житейского опыта, который у тридцатилетней женщины в более просвещенной среде накопился бы уже давно, она бы беспрестанно мучилась страхом, долго ли продлится такая любовь,

ибо, казалось, любовь эта только и держится тем, что все ей ново, все изумляет и сладостно льстит самолюбию.

Когда Жюльен забывал о своих честолюбивых стремлениях, он способен был искренне восхищаться даже шляпками, даже платьями г-жи де Реналь. Он таял от блаженства, вдыхая их аромат. Он раскрывал дверцы ее зеркального шкафа и часами стоял перед ним, любуясь красотой и порядком, который там царил. Его подруга стояла, прижавшись к нему, и смотрела на него, а он — он глядел на все эти драгоценные безделушки и наряды, которые накануне венчания кладут в свадебную корзинку невесты.

«Ведь я могла бы выйти замуж за такого человека! — думала иногда г-жа де Реналь.— Такая пламенная душа! Какое это было бы блаженство — жить с ним!»

Что же касается Жюльена, ему еще никогда в жизни не случалось подходить так близко ко всем этим сокрушительным орудиям женской артиллерии. «Мыслимо ли, чтобы в Париже можно было найти что-нибудь более прекрасное?» — восклицал он про себя. И в такие минуты он уже ни в чем не видел никаких помех своему счастью. Искреннее восхищение его возлюбленной, ее восторги часто заставляли его совершенно забывать жалкие рассуждения, которые делали его таким расчетливым и таким нелепым в первые дни их связи. Бывали минуты, когда, несмотря на его привычку вечно притворяться, ему доставляло неизъяснимую отраду чистосердечно признаваться этой обожавшей его знатной даме в полном своем неведении всяких житейских правил. Высокое положение его возлюбленной невольно возвышало его. Г-жа де Реналь, в свою очередь, находила истинно духовное наслаждение в том, чтобы наставлять во всяческих мелочах этого даровитого юношу, который, как все считали, далеко пойдет. Даже помощник префекта и сам г-н Вально, и те не могли не восхищаться им; и она теперь уже думала, что они вовсе не так глупы. Только одна г-жа Дервиль отнюдь не была склонна высказывать подобные мысли. В отчаянии от того, о чем она догадывалась, и видя, что ее добрые советы только раздражают молодую женщину, которая в буквальном смысле слова совсем потеряла голову, она внезапно уехала из Вержи без всяких объяснений; впрочем, ее остереглись допрашивать на этот счет. Г-жа де Реналь немножко всплакнула, но очень скоро почувствовала, что стала во много раз счастливее прежнего. После отъезда подруги она чуть ли не целый день проводила с глазу на глаз со своим любовником.

И Жюльен тоже наслаждался обществом своей возлюбленной, тем более, что, когда ему случалось надолго оставаться наедине с самим собой, злосчастное предложение Фуке по-прежнему не давало ему покоя. В первые дни этой новой для него жизни бывали минуты, когда он, до сих пор еще не знавший чувства любви, никогда никем не любимый, испытывал такое блаженство быть самим собой, что не раз готов был признаться г-же де Реналь в своем честолюбии, которое до сей поры было истинной сутью его жизни. Ему хотелось посоветоваться с нею относительно предложения Фуке, которое все еще как-то странно привлекало его, но одно незначительное происшествие внезапно положило конец всякой откровенности.

XVII

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК МЭРА

O, how this spring of love ressembleth
The uncertain glory of an April day,
Which now shows all the beauty of the sun,
And by and by a cloud takes all away!

Two gentlemen of Verona [1].

Как-то раз к вечеру, на закате, сидя возле своей подруги в укромном уголке фруктового сада, вдалеке от докучных свидетелей, Жюльен впал в глубокую задумчивость. «Эти счастливые минуты,— думал он,— долго ли они еще продлятся?» Его неотступно преследовала мысль о том, как трудно принять какое-то решение, когда так мало возможностей, и он с горечью сознавал, что это и есть то великое зло, которое неминуемо завершает пору детства и отравляет первые годы юности неимущего человека.

— Ах,— вырвалось у него,— Наполеона, можно сказать, сам бог послал молодым французам! Кто нам его заменит, что станут без него делать все эти несчастные, даже побогаче меня, у которых всего несколько экю в кармане, только-только на образование, а нет денег, чтобы подкупить кого надо, в два-

---

[1] Весна любви напоминает нам
Апрельский день, изменчивый, неверный.
То весь он блещет солнечным теплом,
То вдруг нахмурится сердитой тучей. *Шекспир, «Два веронца», д. 1, яв. 3 (англ.).*

дцать лет заручиться местом и пробивать себе дорогу в жизни! И что бы там ни делали,— прибавил он, глубоко вздохнув,— вечно нас будет преследовать это роковое воспоминание: никогда уж мы не будем чувствовать себя счастливыми.

Вдруг он заметил, что г-жа де Реналь нахмурилась и у нее сделалось такое холодное и надменное лицо,— подобный образ мыслей, на ее взгляд, годился только для слуги. Ей с детства внушили, что она очень богата, и она считала, как нечто само собой разумеющееся, что и Жюльен так же богат, как она. Она любила его в тысячу раз больше жизни, она любила бы его, даже если бы он оказался неблагодарным, обманщиком, и деньги в ее глазах ровно ничего не значили.

Но Жюльен, разумеется, и не догадывался об этом. Он точно с облаков на землю упал, увидев вдруг ее нахмуренные брови. Однако он все-таки не растерялся и, тут же присочинив что-то, дал понять этой знатной даме, сидевшей рядом с ним на дерновой скамье, что эти слова, которые он ей сейчас нарочно повторил, он слышал еще в тот раз, когда ходил в горы к своему приятелю лесоторговцу. Вот как они, мол, рассуждают, эти нечестивцы!

— Не надо вам водиться с такими людьми,— сказала г-жа де Реналь, все еще сохраняя на своем лице, только что дышавшем самой глубокой нежностью, холодновато-брезгливое выражение.

Эти нахмуренные брови г-жи де Реналь или, вернее, раскаяние в собственной неосторожности нанесли первый удар иллюзиям Жюльена. «Она добрая и милая,— говорил он себе,— и она действительно меня любит, но она выросла в неприятельском лагере. Разумеется, они должны бояться смелых, честных людей, которые, получив хорошее образование, никуда не могут пробиться из-за отсутствия средств. Что сталось бы со всеми этими дворянчиками, если бы нам только позволили сразиться с ними равным оружием! Вот, предположим, я мэр города Верьера, человек благонамеренный, честный,— таков ведь, в сущности, и г-н де Реналь. Но ах, как бы они у меня все полетели — и этот викарий, и господин Вально со всеми их плутнями! Вот когда справедливость восторжествовала бы в Верьере! Уж не таланты же их помешали бы мне. Ведь сами-то они словно впотьмах ходят».

Счастье Жюльена в этот день могло бы действительно стать чем-то прочным. Но у нашего героя не хватило смелости быть искренним до конца. Надо было проявить мужество и ринуться в бой, но немедленно. Г-жа де Реналь удивилась словам

Жюльена, потому что люди ее круга беспрестанно твердили о том, что следует опасаться появления нового Робеспьера и именно из среды чересчур образованных молодых людей низшего сословия. Г-жа де Реналь долго еще сохраняла холодный вид и, как казалось Жюльену, явно намеренно. А она, высказав сгоряча свое возмущение по поводу таких неуместных речей, теперь думала только о том, не сказала ли она ему нечаянно чего-нибудь обидного. И это-то огорчение и отражалось теперь на ее лице, обычно дышавшем такой чистотой и простосердечием, в особенности когда она была счастлива, вдали от всяких докучных людей.

Жюльен больше уж не позволял себе мечтать вслух. Он стал несколько спокойнее и, не будучи уже столь безумно влюблен, считал теперь, что ходить на свидания в комнату г-жи де Реналь, пожалуй, действительно неосторожно. Пускай лучше она приходит к нему: ведь если кто-нибудь из слуг и увидит ее в коридоре, у нее всегда найдется что сказать: мало ли у нее какие могут быть причины!

Но и это тоже имело свои неудобства. Жюльен достал через Фуке кое-какие книги, о которых сам он, молодой богослов, не посмел бы и заикнуться в книжной лавке. Он только ночью и решался читать. И частенько бывало, что ему вовсе не хотелось, чтобы его чтение прерывалось ночным посещением, в предвкушении которого еще так недавно, до этого разговора в саду, он вряд ли был способен взяться за книгу.

Благодаря г-же де Реналь для него теперь открылось много нового в книгах. Он не стеснялся расспрашивать ее о всяких мелочах, незнание которых ставит в тупик ум молодого человека, не принадлежащего к светскому обществу, какими бы богатыми дарованиями он ни был наделен от природы.

Это воспитание любовью, которое велось женщиной в высшей степени несведущей, было для него истинным счастьем. Жюльену сразу была дана возможность увидеть общество таким, каким оно было в то время. Ум его не засорялся рассказами о том, каково оно было в давние времена, две тысячи лет тому назад, или даже каких-нибудь шестьдесят лет назад, во времена Вольтера и Людовика XV. У него точно завеса упала с глаз! Как он обрадовался! Наконец-то ему стало понятно все, что происходило в Верьере.

На первый план выступили разные чрезвычайно запутанные интриги, завязавшиеся еще тому назад два года вокруг безансонского префекта. Интриги эти поддерживались письмами из Парижа, и от самых что ни на есть великих людей. А все

дело было в том, чтобы провести г-на де Муаро,— а это был самый набожный человек во всей округе — не младшим, а старшим помощником мэра в городе Верьере.

Соперником его был некий очень богатый фабрикант, которого надо было во что бы то ни стало оттеснить на место младшего помощника.

Наконец-то Жюльену стали понятны все те намеки, к которым он раньше с удивлением прислушивался на званых обедах, когда к г-ну де Реналю съезжалась вся местная знать. Это привилегированное общество было чрезвычайно глубоко заинтересовано в том, чтобы должность старшего помощника досталась именно этому человеку, о кандидатуре коего никто, кроме них, во всем городе, а тем паче либералы, даже и не подозревал. Такое важное значение придавалось этому по той причине, что, как всем известно, восточную сторону главной улицы Верьера надлежало расширить более чем на девять футов, ибо эта улица стала проезжей дорогой.

Так вот, если бы г-ну де Муаро, владевшему тремя домами, подлежащими сносу, удалось занять место старшего помощника, а впоследствии и мэра, коль скоро г-на де Реналя проведут в депутаты, он бы, разумеется, когда надо, закрыл глаза, и тогда дома, выходившие на общественную дорогу, подверглись бы только кое-каким незначительным перестройкам и, таким образом, простояли бы еще сто лет. Несмотря на великую набожность и несомненную честность г-на де Муаро, все были твердо уверены, что он окажется *достаточно покладистым*, ибо у него было много детей. А из этих домов, подлежавших сносу, девять принадлежали самым именитым людям Верьера.

На взгляд Жюльена, эта интрига имела куда больше значения, чем описание битвы под Фонтенуа — название, которое впервые попалось ему в одной из книг, присланных Фуке. Немало было на свете вещей, которые удивляли Жюльена вот уже целых пять лет, с тех самых пор, как он стал ходить по вечерам заниматься к кюре. Но так как скромность и смирение — первые качества юноши, посвятившего себя изучению богословия, то он не считал возможным задавать ему какие-либо вопросы.

Как-то раз г-жа де Реналь отдала какое-то распоряжение лакею своего мужа, тому самому, который ненавидел Жюльена.

— Но ведь нынче у нас пятница, сударыня, последняя в этом месяце,— ответил ей тот многозначительным тоном.

— Ну хорошо, ступайте,— сказала г-жа де Реналь.

— Так, значит, он отправится сегодня на этот сенной склад: ведь там когда-то была церковь, и недавно ее снова открыли,— сказал Жюльен.— А что же они там делают? Вот тайна, которую я никак не могу разгадать.

— Это какое-то весьма душеспасительное, но совершенно особенное учреждение,— отвечала г-жа де Реналь.— Женщин туда не пускают. Я знаю только, что они все там друг с другом на «ты». Ну, вот, например, если этот наш лакей встретится там с господином Вально, то этот спесивый глупец нисколько не рассердится, если Сен-Жан скажет ему «ты», и ответит ему так же. Если же вам хочется узнать поподробнее, что они там делают, я могу как-нибудь при случае расспросить об этом Можирона и Вально. Мы вносим туда по двадцать франков за каждого слугу,— должно быть, затем, чтобы они нас в один прекрасный день не прирезали, если опять наступит террор девяносто третьего года.

Время летело незаметно. Когда Жюльена одолевали приступы мрачного честолюбия, он вспоминал о прелестях своей возлюбленной и успокаивался. Вынужденный воздерживаться от всяких скучных, глубокомысленных разговоров, поскольку он и она принадлежали к двум враждебным лагерям, Жюльен, сам того не замечая, сильнее ощущал счастье, которое она ему давала, и все больше подпадал под ее власть.

Когда им иной раз в присутствии детей, которые теперь уже стали чересчур смышлеными, приходилось держаться в рамках рассудительной, спокойной беседы, Жюльен, устремив на нее пламенный, любящий взор, выслушивал с удивительной покорностью ее рассказы о том, как устроен свет. Случалось, что, рассказывая о каком-нибудь искусном мошенничестве, связанном с прокладкой дороги или крупным подрядом, г-жа де Реналь, глядя на изумленное лицо Жюльена, вдруг забывалась, и Жюльену приходилось ее удерживать, так как она в рассеянности обращалась с ним так же запросто и непринужденно, как со своими детьми. И действительно, бывали минуты, когда ей казалось, что она любит его, как свое дитя. Да и в самом деле, разве ей не приходилось беспрестанно отвечать на его наивные вопросы о самых простых вещах, которые мальчик из хорошей семьи уже отлично знает в пятнадцать лет? Но мгновение спустя она уже опять смотрела на него с восхищением, как на своего властелина. Его ум иной раз так поражал ее, что ей становилось страшно; с каждым днем она все сильнее убеждалась в том, что этому юному аббату предстоит совершить великие

дела. То она представляла его себе чуть ли не папой, то первым министром вроде Ришелье.

— Доживу ли я до того времени, когда ты прославишься? — говорила она Жюльену.— Большому человеку сейчас открыта дорога: и король и церковь нуждаются в великих людях; ведь только об этом изо дня в день и толкуют у нас в салонах. А если не появится какой-нибудь человек вроде Ришелье и не укротит эту бурю всяческих разногласий и распрей, не миновать катастрофы.

XVIII

КОРОЛЬ В ВЕРЬЕРЕ

> Или вы годны на то лишь, чтобы выкинуть вас, словно падаль,— народ, души лишенный, у коего кровь в жилах остановилась.
>
> *Проповедь епископа в часовне св. Климента.*

Третьего сентября, в десять часов вечера, по главной улице Верьера галопом проскакал жандарм и перебудил весь город. Он привез известие, что его величество король *** «соизволит прибыть в воскресенье»,— а дело происходило во вторник. Господин префект разрешил, иначе говоря, распорядился произвести отбор среди молодых людей для почетного караула; надо было позаботиться о том, чтобы все было обставлено как нельзя более торжественно и пышно. Тут же полетела эстафета в Вержи. Г-н де Реналь прискакал ночью и застал весь город в смятении. Всякий совался со своими предложениями; те, у кого не было особых забот, торопились поскорее снять балкон, чтобы полюбоваться на въезд короля.

Но кого же назначить начальником почетного караула? Г-н де Реналь тотчас же сообразил, что для пользы домов, подлежащих сносу, весьма важно, чтобы командование было поручено не кому иному, как г-ну де Муаро. Это стало бы для него чем-то вроде грамоты, дающей право занять место старшего помощника. Никаких сомнений относительно благочестия г-на де Муаро быть не могло; поистине оно было непревзойденным, но вот беда — он никогда в жизни не сидел в седле. Это был тридцатишестилетний господин в высшей степени робкого нрава, который одинаково боялся и свалиться с лошади, и оказаться в смешном положении.

Мэр вызвал его к себе в пять часов утра.

— Вы можете видеть, сударь, что я прибегаю к вам за советом, как если бы вы уже занимали тот пост, на котором вас жаждут видеть все честные люди. В нашем несчастном городе процветают фабрики, либеральная партия ворочает миллионами, она стремится забрать власть в свои руки и добивается этого любыми средствами. Подумаем об интересах короля, об интересах монархии и прежде всего об интересах нашей святой церкви. Скажите мне ваше мнение, сударь: как вы полагаете, кому могли бы мы поручить командование почетным караулом?

Несмотря на неописуемый страх перед лошадьми, г-н де Муаро в конце концов решился принять на себя это почетное звание, словно мученический венец.

— Я сумею держаться достойным образом,— сказал он мэру.

Времени оставалось в обрез, а надо было еще успеть привести в порядок форменные мундиры, в которых семь лет назад встречали в Верьере какого-то принца крови.

В семь часов утра из Вержи приехала г-жа де Реналь с детьми и Жюльеном. Салон ее уже осаждали жены либералов; ссылаясь на то, что сейчас надо показать полное единение партий, они умоляли ее замолвить словечко перед супругом и убедить его оставить для их мужей хотя бы одно место в почетном карауле. Одна из них уверяла, что, если ее мужа не выберут, он с горя непременно объявит себя банкротом. Г-жа де Реналь быстро выпроводила всех. Она казалась чем-то сильно озабоченной.

Жюльен очень удивлялся, а еще того больше сердился, что она скрывает от него причину своего волнения. «Я так и думал,— говорил он себе с горечью.— Всю ее любовь затмило теперь великое счастье принимать у себя короля. Она просто в себя прийти не может от всей этой кутерьмы. Когда эти кастовые бредни перестанут ей кружить голову, тогда она меня снова будет любить».

И удивительная вещь — от этого он еще больше в нее влюбился.

По всему дому работали обойщики. Жюльен долго и тщетно выжидал случая перекинуться с ней хоть словечком. Наконец он поймал ее, когда она выходила из его комнаты с его одеждой в руках. Кругом никого не было. Он попытался с ней заговорить. Но она не стала его слушать и убежала. «Как я глуп, что влюбился в такую женщину: ей так хочется блеснуть, что она просто помешалась на этом, совсем как ее муж».

Сказать правду, она даже превзошла своего мужа; ее захватила одна заветная мечта, в которой она никак не решалась признаться Жюльену из страха его обидеть: ей страстно хотелось заставить его хотя бы на один день снять это унылое черное одеяние. С необыкновенной ловкостью, поистине достойной удивления у столь простодушной женщины, она уговорила сначала г-на де Муаро, а затем и помощника префекта г-на де Можирона назначить Жюльена в почетный караул, хотя на это место претендовали еще пять-шесть молодых людей — все сыновья очень богатых местных фабрикантов, причем, по крайней мере, двое из них отличались примерным благочестием. Г-н Вально, намеревавшийся усадить в свою коляску самых хорошеньких женщин в городе и таким образом заставить всех любоваться его прекрасными нормандками, согласился дать одну из своих лошадей Жюльену, которого он, кстати сказать, ненавидел от всей души. Но у всех, кто был зачислен в почетный караул, были собственные или взятые напрокат роскошные небесно-голубые мундиры с серебряными полковничьими эполетами — те самые, в которых почетные стражи щеголяли семь лет назад. Г-же де Реналь хотелось во что бы то ни стало достать Жюльену новый мундир, и у нее оставалось всего-навсего четыре дня на то, чтобы заказать в Безансоне и успеть получить оттуда полную форму, оружие, треуголку и прочее,— все, что требуется для почетного стража. Забавнее всего было то, что она почему-то опасалась заказать мундир Жюльену здесь, в Верьере. Ей хотелось преподнести сюрприз и ему, и всему городу.

Когда наконец вся эта возня с почетным караулом и с обработкой общественного мнения была закончена, мэру пришлось принять участие в хлопотах по проведению торжественной религиозной церемонии. Король при посещении города Верьера не хотел упустить случая поклониться прославленным мощам святого Климента, что покоятся в Бре-ле-О, в полулье от города. Желательно было собрать елико возможно больше духовенства, а это оказалось весьма трудным делом: новый кюре, г-н Малон, ни в коем случае не желал, чтобы в этом участвовал г-н Шелан. Тщетно г-н де Реналь всячески доказывал ему, что это было бы в высшей степени неосторожно. Маркиз де Ла-Моль, чьи предки с давних пор, из рода в род, были губернаторами этой провинции, находится в числе лиц, составляющих свиту короля. И он уже тридцать лет знает аббата Шелана! Разумеется, он не преминет осведомиться о нем, будучи в Верьере. А стоит ему только узнать, что тот впал в немилость,

так с него станет пойти к старику в его домишко, да еще со всей свитой, какая только окажется при нем. Вот это будет пощечина!

— А для меня это будет позор как здесь, так и в Безансоне,— отвечал аббат Малон,— если он только появится в моем приходе. Помилуй меня боже! Да ведь он янсенист.

— Что бы вы там ни говорили, дорогой аббат,— возражал ему г-н де Реналь,— а я не могу допустить, чтобы представители власти в Верьере получили такой щелчок от господина де Ла-Моля. Вы его не знаете: это он при дворе благомыслящий, а здесь, в провинции, это такой зубоскал и насмешник,— рад всякому случаю потешиться над людьми. Ведь он просто ради того, чтобы позабавиться, способен поставить нас в самое дурацкое положение перед всеми нашими либералами.

Наконец только в ночь с субботы на воскресенье, после трехдневных переговоров, гордость аббата Малона была сломлена трусостью господина мэра, который расхрабрился со страху. Пришлось написать медоточивое письмо аббату Шелану и просить его принять участие в торжественном поклонении мощам в Бре-ле-О, если, разумеется, его преклонный возраст и недуги позволят ему это. Г-н Шелан потребовал и получил пригласительное письмо для Жюльена, который должен был сопровождать его в качестве иподиакона.

С раннего утра в воскресенье тысячи крестьян с окрестных гор наводнили улицы Верьера. Солнце сияло вовсю. Наконец около трех часов пополудни толпа заволновалась: на высоком утесе в двух лье от Верьера вспыхнул большой костер. Этот сигнал обозначал, что король изволил вступить в пределы департамента. Тут же грянули все колокола, и заухала раз за разом старенькая испанская пушка, принадлежавшая городу, знаменуя всеобщее ликование по поводу такого великого события. Половина населения уже взобралась на крыши. Все женщины высыпали на балконы. Почетный караул двинулся вперед. Все восхищались блестящими мундирами; каждый узнавал кто друга, кто родственника. Кругом посмеивались над страхом г-на де Муаро, который то и дело испуганно хватался рукой за луку седла. Но вот чье-то замечание возбудило всеобщий интерес и заставило забыть все остальное: первый всадник в девятом ряду был очень красивый, стройный юноша, которого сначала никто не мог узнать. И вдруг со всех сторон послышались негодующие возгласы, на всех лицах изобразилось возмущение, изумление,— словом, поднялся переполох. В этом молодом человеке, гарцевавшем на одной из нормандских лошадей г-на Вально,

люди узнали мальчишку Сореля, сына плотника. Все в один голос принялись возмущаться мэром, в особенности либералы. Как! Только из-за того, что этот мальчишка-мастеровой, вырядившийся аббатом, состоит гувернером при его детях, позволить себе наглость назначить его в почетный караул вместо господина такого-то или такого-то, богатых, почтенных фабрикантов!

— Так почему же эти господа не проучат хорошенько этого наглого мальчишку, это мужицкое отродье? — кричала супруга банкира.

— Этот мальчишка спуску не даст, у него, видите, сабля на боку,— возразил ей сосед.— Того и гляди, пырнет в лицо, с него станется.

Замечания людей, принадлежавших к светскому обществу, отличались несколько более опасным характером. Дамы спрашивали друг друга: неужели только мэра следует винить в этой непристойной выходке? Ведь до сих пор он отнюдь не проявлял никаких симпатий к людям низкого происхождения...

А в это время предмет всех этих обсуждений, Жюльен, чувствовал себя счастливейшим из смертных. Смелый от природы, он сидел на лошади много лучше, чем большинство молодых людей этого горного городка. По глазам женщин он прекрасно видел, что говорят о нем.

Эполеты его сверкали ярче всех других, так как они были новехонькие; конь под ним то и дело вставал на дыбы. Он был наверху блаженства.

А когда они поравнялись со старой крепостной стеной и от внезапного выстрела маленькой пушечки лошадь вынесла его из строя, тут уж радость его перешла все границы. Он каким-то чудом не вылетел из седла — и с этого момента почувствовал себя героем. Он был адъютантом Наполеона и мчался в атаку на вражескую батарею.

Но одна душа чувствовала себя еще счастливее его. Сначала она следила за ним из окна городской ратуши, затем, сев в коляску, поскакала в объезд и поспела как раз вовремя, чтобы замереть от ужаса, когда лошадь вынесла Жюльена из рядов. После этого коляска помчалась во весь опор и, выехав через другую заставу, очутилась у самого края дороги, по которой должен был проехать король, и тут уже медленно, на расстоянии двадцати шагов последовала за почетной стражей, окутанная благородной рыцарской пылью. Десять тысяч крестьян завопили: «Да здравствует король!» — когда мэр удостоился великой чести обратиться к его величеству с приветственной

речью. Час спустя, выслушав все полагающиеся по регламенту речи, король уже въезжал в город, и маленькая пушечка салютовала ему непрерывной пальбой. И тут произошел несчастный случай не с канонирами, которые превзошли свою науку под Лейпцигом и Монмирайем, а с будущим старшим помощником, г-ном де Муаро. Его лошадь бережно скинула его в единственную лужу, которая нашлась на большой дороге; поднялась суматоха, ибо пришлось спешно извлекать его оттуда, дабы освободить дорогу для коляски короля.

Его величество изволил сойти у прекрасной новой церкви, которая ради этого случая была изукрашена всеми своими пурпурными занавесями. Затем должен был состояться обед, после чего королю снова предстояло сесть в коляску и отправиться на поклонение мощам святого Климента. Едва только король вошел в церковь, Жюльен ринулся сломя голову к дому г-на де Реналя. Там, сокрушенно вздыхая, он расстался со своим небесно-голубым мундиром, со своими эполетами и саблей и снова облачился в свой черный поношенный костюм. Затем снова вскочил в седло и через несколько минут очутился в Бре-ле-О, расположенном на самой вершине очень живописного холма. «Какое воодушевление! Народ все прибывает и прибывает,— подумал Жюльен.— В Верьере толпы крестьян, так что не протиснешься, и здесь их тысяч десять, коли не больше, толчется вокруг этого старого монастыря». Наполовину разрушенное «варварством мятежников», аббатство при Реставрации было восстановлено во всем своем великолепии. Кругом уж начинали поговаривать о чудесах. Жюльен разыскал аббата Шелана, который сначала хорошенько отчитал его, а потом дал ему сутану и стихарь. Жюльен быстро оделся и отправился с аббатом Шеланом разыскивать молодого Агдского епископа. Этот прелат, племянник г-на де Ла-Моля, был только что удостоен епископского сана, и на него была возложена высокая честь показать королю святую реликвию. Но где сейчас находился епископ, никто не знал.

Весь причт пребывал в страшном нетерпении. Он ждал своего владыку под мрачными готическими сводами старинного монастырского хода. Дабы представить древний капитул аббатства Бре-ле-О, состоявший до 1789 года из двадцати четырех каноников, было собрано двадцать четыре священника. Прождав добрых три четверти часа, вздыхая и сокрушаясь по поводу того, что, несомненно, епископ слишком молод, они наконец пришли к заключению, что ректору капитула следовало бы пойти и уведомить его высокопреосвященство, что король вот-

вот прибудет и пора бы уж отправляться в церковь. Благодаря преклонному возрасту ректором оказался г-н Шелан, и хотя он очень сердился на Жюльена, он все же сделал ему знак следовать за ним. Стихарь на Жюльене сидел как нельзя лучше. Уж не знаю, при помощи каких экклезиастических ухищрений ему удалось пригладить и прилизать свои прекрасные непослушные кудри, но по оплошности, которая еще усиливала негодование г-на Шелана, из-под долгополой сутаны Жюльена выглядывали шпоры почетного стража.

Когда они добрались до апартаментов епископа, важные, разодетые лакеи едва соблаговолили ответить старому кюре, что его высокопреосвященство сейчас видеть нельзя. Они подняли его на смех, когда он попытался объяснить им, что в качестве ректора благородного капитула Бре-ле-О он облечен правом являться в любое время к епископу своей церкви.

Гордая натура Жюльена возмутилась против лакейской наглости. Он бросился в коридор, куда выходили кельи, и стал толкаться в каждую дверь, которая ему попадалась по пути. Одна совсем маленькая дверца поддалась его напору, и он очутился в келье среди камер-лакеев его высокопреосвященства, одетых в черные ливреи с цепью на груди. Он влетел туда с такой поспешностью, что эти важные господа, решив, что он вызван самим епископом, не посмели остановить его. Пройдя несколько шагов, он очутился в громадном готическом, почти совершенно темном зале, сплошь обшитом мореным дубом; высокие стрельчатые окна все, кроме одного, были заделаны кирпичом. Эта грубая кирпичная кладка не была прикрыта ничем и представляла весьма убогое зрелище рядом со старинной роскошью деревянных резных панелей. Вдоль стен этого зала, хорошо известного бургундским антикварам и построенного около 1470 года Карлом Смелым во искупление какого-то греха, тянулись ряды высоких деревянных кресел, отделанных богатой резьбой. На них, в виде барельефов из дерева, окрашенного в разные цвета, были представлены все тайны Апокалипсиса.

Это мрачное великолепие, обезображенное уродством голых кирпичей и белой штукатурки, потрясло Жюльена. Он остановился как вкопанный. На другом конце зала, возле единственного окна, сквозь которое проникал свет, он увидал большое створчатое зеркало в раме красного дерева. Молодой человек в лиловой рясе и кружевном стихаре, но с непокрытой головой стоял в трех шагах от зеркала. Предмет этот казался крайне неуместным в таком месте; ясно было, что его только что привезли сюда из города. Жюльен заметил, что у молодого чело-

века был очень сердитый вид; правой рукой он степенно раздавал благословения в сторону зеркала.

«Что бы это такое могло значить? — подумал Жюльен.— Должно быть, какой-нибудь предварительный обряд, возложенный на этого молодого священника. Может быть, это помощник епископа... Тоже будет грубить, как эти лакеи... Ну, черт возьми, куда ни шло, попытаемся».

Он неторопливо прошел через весь громадный зал, глядя прямо перед собой на это единственное окно и на этого молодого человека, который все кого-то без конца благословлял, медленно, но без передышки, раз за разом.

Чем ближе он подходил, тем более ему становилось заметно, какой разгневанный вид у этого человека. Необыкновенное великолепие его кружевного стихаря невольно заставило Жюльена приостановиться в нескольких шагах от роскошного зеркала.

«Но я все-таки должен его спросить»,— наконец решил он. Сумрачная красота этого зала всколыхнула Жюльена, и он уже заранее весь передергивался от тех грубостей, которые вот-вот на него посыплются.

Молодой человек увидел его в зеркале, обернулся и, мгновенно отбросив свой сердитый вид, спросил необыкновенно мягким голосом:

— Ну как, сударь, надеюсь, она наконец готова?

Жюльен остолбенел от изумления. Когда молодой человек обернулся, Жюльен увидал его наперсный крест. Это был сам епископ Агдский. «Какой молодой,— подумал Жюльен.— Разве что лет на шесть, на восемь старше меня...»

И ему стало стыдно за свои шпоры.

— Ваше высокопреосвященство,— отвечал он робко,— меня послал к вам ректор капитула, господин Шелан.

— А-а, я слышал о нем много хорошего,— ответил епископ таким любезным тоном, что восхищение Жюльена еще усилилось.— Пожалуйста, извините меня, сударь, я принял вас за другого. Мне тут должны принести митру. Ее так скверно упаковали в Париже, что вся парча наверху страшно измялась. Прямо не знаю, на что это будет похоже,— грустно добавил молодой епископ.— И, подумайте только, меня еще заставляют дожидаться!

— Ваше высокопреосвященство, я могу пойти за вашей митрой, если ваша милость разрешит.

Прекрасные глаза Жюльена оказали свое действие.

— Пожалуйста, подите, сударь,— ответил епископ с подкупающей вежливостью.— Она мне необходима сейчас же.

Мне, право, ужасно неприятно, что я заставляю ждать весь капитул.

Дойдя до середины зала, Жюльен обернулся и увидел, что епископ снова принялся раздавать благословения. «Да что же это такое? — снова подумал он.— Конечно, какой-нибудь предварительный церковный обряд, предшествующий сегодняшней церемонии». Войдя в келью, где находились камер-лакеи, он тотчас же увидел у них в руках митру. Невольно уступая повелительному взгляду Жюльена, они вручили ему митру его высокопреосвященства.

Он с гордостью понес ее. Войдя в зал, он замедлил шаг. Он нес митру с благоговением. Епископ сидел перед зеркалом, но время от времени его правая рука усталым движением опять принималась благословлять. Жюльен помог ему надеть митру. Епископ потряс головой.

— Ага, держится,— сказал он Жюльену с довольным видом.— А теперь, будьте добры, отойдите немножко.

Тут епископ очень быстро вышел на середину зала, а потом стал медленно приближаться к зеркалу, торжественно раздавая благословения, и у него опять сделалось очень сердитое лицо.

Жюльен стоял, остолбенев от изумления; ему казалось, что он догадывается, но он не решался этому поверить. Епископ остановился и, внезапно утратив всю свою суровость, обернулся и поглядел на него.

— Что вы скажете, сударь, о моей митре: хорошо сидит?

— Превосходно, ваше высокопреосвященство.

— Не очень она сдвинута на затылок? А то ведь это придает такой несколько глуповатый вид; но, с другой стороны, если надвинуть пониже на глаза, будет похоже на офицерский кивер.

— Мне кажется, она великолепно сидит.

— Король привык видеть вокруг себя почтенное духовенство, у них у всех очень суровый вид. Так вот мне бы не хотелось, в особенности из-за моего возраста, показаться несколько легкомысленным.

И епископ снова принялся расхаживать и раздавать благословения.

«Ясно,— подумал Жюльен, наконец осмелившись допустить свою догадку.— Он репетирует, он учится благословлять».

— Ну, я готов,— заявил епископ через несколько минут.— Ступайте, сударь, предупредите господина ректора и членов капитула.

Спустя некоторое время г-н Шелан и с ним еще два самых престарелых священника вошли через большие, украшенные чудесной резьбой двери, которых Жюльен в первый раз даже не заметил. На этот раз он, как ему полагалось по чину, очутился позади всех и мог видеть епископа только через плечи священников, столпившихся у дверей.

Епископ медленно прошел через весь зал; а когда он приблизился к дверям, священники стали в ряды, образуя процессию. После минутной заминки процессия двинулась вперед, распевая псалом. Епископ шел в самом конце крестного хода, между г-ном Шеланом и еще одним престарелым священником. Жюльен теперь пробрался совсем близко к епископу, как лицо, приставленное к аббату Шелану. Они шли длинными ходами аббатства Бре-ле-О; несмотря на то, что солнце пекло вовсю, там было темно и сыро. Наконец они вышли на паперть. Жюльен был в неописуемом восторге от этого великолепного шествия. Молодость епископа подзадоривала его честолюбие, а приветливость этого прелата, его пленительная учтивость совершенно обворожили его. Эта учтивость была совсем не похожа на учтивость г-на де Реналя даже в его лучшие минуты. «Чем ближе к самой верхушке общества,— подумал Жюльен,— тем чаще встречаешь такую приятную обходительность».

Крестный ход вошел в церковь через боковой вход; внезапно древние своды содрогнулись от невероятного грохота. Жюльену показалось, что они вот-вот обрушатся. Но это была все та же маленькая пушечка, ее только что примчали сюда карьером две четверки лошадей, и едва их выпрягли, как пушечка в руках лейпцигских канониров начала палить раз за разом, по пяти выстрелов в минуту, точно перед нею стеной стояли пруссаки. Но этот чудесный грохот уже больше не волновал Жюльена: он уже не вспоминал ни о Наполеоне, ни о воинской славе. «Такой молодой,— думал он,— и уже епископ Агдский! А где она, эта Агда? И сколько он получает жалованья? Наверно, тысяч двести, триста франков».

Лакеи его высокопреосвященства внесли роскошный балдахин; г-н Шелан взялся за одно его древко, но на самом деле нес его, разумеется, Жюльен. Епископ вступил под сень балдахина. Уж как он там ухитрился, но выглядел он действительно старым. Восхищение нашего героя поистине не имело границ. «Всего можно добиться умением и хитростью»,— подумал он.

Вошел король. Жюльену выпало счастье видеть его в нескольких шагах от себя. Епископ приветствовал короля торжественной речью и не преминул придать своему голосу легкую

дрожь волнения, весьма лестного для его величества. Не будем повторять описаний всех церемоний в Бре-ле-О: в течение двух недель ими были заполнены столбцы всех газет департамента. Из речи епископа Жюльен узнал, что король был потомок Карла Смелого. Уже много времени спустя Жюльену по долгу службы пришлось проверять счета, относившиеся к этой церемонии. Г-н де Ла-Моль, который раздобыл своему племяннику епископский жезл, желая оказать ему любезность, взял на себя все расходы. И вот одна только церемония в Бре-ле-О обошлась в три тысячи восемьсот франков.

После речи епископа и ответа короля его величество вступил под балдахин; затем он с величайшей набожностью преклонил колена на подушечке у самого алтаря. Вокруг клироса тянулись ряды кресел, возвышавшиеся на две ступеньки над полом. На нижней ступени, у ног г-на Шелана, сидел Жюльен, словно шлейфоносец подле своего кардинала в Сикстинской капелле, в Риме. Затем было молебствие — облака ладана, непрерывная пушечная и мушкетная пальба; все окрестное мужичье было пьяным-пьяно от радости и благочестия. Один такой денек способен свести на нет работу сотни выпусков якобинских газет.

Жюльен находился в шести шагах от короля и видел, что тот молился поистине с пламенным усердием. Тут он впервые заметил невысокого человечка с острым взглядом; на его одежде почти совсем не было золотого шитья. Но поверх этой очень скромной одежды на груди его, перевязанная через плечо, красовалась небесно-голубая лента. Он стоял гораздо ближе к королю, чем многие другие сановники, мундиры которых были до того расшиты золотом, что под ним, как говорил Жюльен, даже и сукна не видно было. Через несколько минут он узнал, что это г-н де Ла-Моль. Жюльену он показался надменным и даже заносчивым.

«Вряд ли этот маркиз умеет быть таким любезным, как мой хорошенький епископ,— подумал он.— Ах! Вот что значит духовное звание; оно делает человека кротким и мудрым. Но ведь король приехал сюда поклониться мощам, а никаких мощей я не вижу. Где же этот святой Климент?»

Молоденький служка, его сосед, объяснил ему, что святые мощи находятся на самом верху этого здания, в *Пылающей Каплице.*

«Что это за Пылающая Каплица?» — подумал Жюльен. Но ему не хотелось расспрашивать. Он с удвоенным вниманием стал наблюдать за происходящей церемонией.

Когда монастырь посещается коронованной особой, канонникам по этикету надлежит оставить епископа наедине с высоким гостем. Но епископ Агдский, направляясь наверх, позвал с собой аббата Шелана, а Жюльен осмелился пойти за ним.

Они поднялись по очень высокой лестнице и очутились у крохотной дверцы, готический наличник которой был сверху донизу покрыт богатейшей позолотой. По-видимому, это было сделано только накануне.

Перед самой дверцей стояли коленопреклоненные двадцать четыре молоденькие девушки из самых знатных семей Верьера. Прежде чем отворить дверцу, сам епископ преклонил колена посреди этих девиц, которые все были очень недурны собой. Пока он громко возносил молитву, они не сводили с него глаз и, казалось, не могли досыта наглядеться на его удивительные кружева, на его величавую осанку и на его такое молодое, такое ласковое лицо. Это зрелище лишило нашего героя последних остатков разума. В этот миг он, пожалуй, ринулся бы в бой за инквизицию, и ото всей души. Внезапно дверца распахнулась, и взорам присутствующих предстала маленькая часовня, как будто вся объятая пламенем. Перед ними на алтаре пылала чуть ли не тысяча свечей; они были установлены в восемь рядов, которые отделялись друг от друга пышными букетами цветов. Сладостное благовоние чистейшего ладана клубами неслось из дверцы святилища. Часовня была совсем крохотная, но стены ее, сплошь вызолоченные заново, уходили далеко ввысь. Жюльен заметил, что на алтаре иные свечи были вышиной больше пятнадцати футов. Невольные возгласы восхищения вырвались у юных девиц. В маленький притвор часовни только и были допущены эти двадцать четыре девицы, двое священнослужителей и Жюльен.

Вскоре появился король в сопровождении одного только г-на де Ла-Моля и своего первого камергера. Даже почетные телохранители остались снаружи, коленопреклоненные, с саблями наголо.

Его величество не опустился, а, можно сказать, ринулся на колени на бархатную подушку. И тут только Жюльен, притиснутый к золоченой дверце, увидел через голое плечико одной из юных девиц прелестную статую святого Климента. Святой в одежде юного римского воина покоился в глубине алтаря. На шее у него зияла широкая рана, откуда словно еще сочилась кровь. Ваятель превзошел самого себя: угасающие полузакрытые очи были полны небесной благодати, чуть пробивающиеся

усики оттеняли прелестные полуотверстые уста, которые как будто еще шептали молитву. От этого зрелища молоденькая девушка, соседка Жюльена, горько расплакалась. Одна слезинка ее упала прямо на руку Жюльену.

Помолившись с минуту в глубоком благоговейном молчании, нарушаемом лишь отдаленным благовестом во всех селах на десять лье в окружности, епископ Агдский попросил у короля позволения сказать слово. Он закончил свою краткую, но очень трогательную проповедь простыми словами, которые потрясли слушателей.

— Не забудьте вовек, юные христианки, что вы видели ныне величайшего из владык земных преклоняющим колена перед служителем бога всемогущего и грозного. Слабы и гонимы здесь, на земле, слуги господни и приемлют мучительную кончину, как вы можете видеть по этой кровоточащей и по сей день ране святого Климента, но они торжествуют на небесах. Не правда ли, о юные христианки, вы сохраните навеки в своей душе память об этом дне и возненавидите нечестие? Вы навсегда останетесь верными господу богу, столь великому, грозному и столь благостному?

И с этими словами епископ величественно поднялся с колен.

— Вы даете обет в этом? — провозгласил он вдохновенно, простирая длань.

— Даем обет,— пролепетали юные девицы, захлебываясь от рыданий.

— Принимаю обет ваш во имя господа карающего,— заключил епископ громовым голосом.

И на этом церемония была окончена.

Сам король плакал. И только уже много времени спустя Жюльен обрел в себе достаточно хладнокровия, чтобы спросить, а где же находятся кости святого, которые были посланы из Рима Филиппу Доброму, герцогу Бургундскому. Ему объяснили, что они спрятаны внутри этой прелестной восковой статуи.

Его величество соизволил разрешить всем благородным девицам, сопровождавшим его особу в часовню, носить алую ленту с вышитыми на оной словами: «Ненавижу нечестие. Преклоняюсь до гроба».

Господин де Ла-Моль распорядился раздать крестьянам десять тысяч бутылок вина. А вечером в Верьере либералы ухитрились устроить иллюминацию на своих домах во сто раз лучше, чем роялисты. Перед отъездом король осчастливил своим посещением г-на де Муаро.

XIX

МЫСЛИТЬ — ЗНАЧИТ СТРАДАТЬ

Необыденное в рутине повседневных событий заслоняет подлинное несчастье страстей.

Барнав.

Расставляя по местам мебель в комнате, которая была отведена г-ну де Ла-Молю, Жюльен нашел очень плотный лист бумаги, сложенный вчетверо. Внизу первой странички он прочел: «Его светлости господину маркизу де Ла-Молю, пэру Франции, кавалеру королевских орденов, и прочее, и прочее».

Это было прошение, написанное корявым почерком судомойки:

«Господин маркиз,

Я всю жизнь держался благочестивых правил. Я был в Лионе под бомбами во время осады в проклятом 93-м году. Я приобщаюсь св. тайн и каждое воскресенье хожу к мессе в нашу приходскую церковь. Никогда я святой пасхи не пропускал, даже в 93-м, да будет он проклят. Кухарка моя — до революции у меня много челяди было,— моя кухарка по пятницам постное готовит. И в Верьере я общим почетом пользуюсь, и, осмелюсь сказать, заслуженно. А когда крестный ход бывает, так я иду под самым балдахином рядом с господином кюре и самим господином мэром. А уж если какой особенный случай, так я сам свечу несу, самую толстую и за свой счет. И обо всем этом у меня письменные свидетельства имеются, и находятся они в министерстве финансов в Париже. Честь имею просить вашу милость дать мне в заведование лотерейную контору в Верьере, потому как она все равно скоро останется без начальника; нынешний совсем плох, тяжело хворает, а потом на последних выборах голосовал неподходяще, и пр.

де Шолен».

На полях этого сочинения была сделана рекомендательная приписка за подписью де Муаро, которая начиналась словами:

«Я имел честь сообщить *вчерась нащет* благонадежного человека, который просит...» и т. д.

«Вот оно что! — подумал Жюльен.— Даже болван Шолен, и тот показывает мне, каким путем следует идти».

Прошла неделя с тех пор, как король побывал в Верьере, и от неисчислимого вранья, глупейших пересудов, самых дурац-

ких разговоров, предметом коих поочередно были сам король, епископ Агдский, маркиз де Ла-Моль, десять тысяч бутылок вина, осрамившийся бедняга Муаро, который в надежде заполучить крестик выполз из дому только через месяц после своего падения,— единственно, что уцелело от всего этого, были толки о нахальном бесстыдстве, с коим протиснули в ряды почетной стражи этого Жюльена Сореля, плотничьего сынка! Стоило послушать, как упражнялись на сей счет богатые мануфактурщики, которые, сидя в кафе с утра до вечера, орали до хрипоты, проповедуя равенство. Эта гордячка г-жа де Реналь, вот кто придумал это безобразие! А что ее на это толкнуло? Догадаться нетрудно: красивые глаза да свежие щечки ихнего аббатика Сореля.

Вскоре после того, как семейство г-на де Реналя снова вернулось в Вержи, младший из детей, Станислав-Ксавье, заболел. Г-жу де Реналь внезапно охватили ужасные угрызения совести. Впервые она стала упрекать себя за свою страсть последовательно и жестоко; ей вдруг, словно чудом, открылось, в какой страшный грех вовлекла ее любовь. Несмотря на то, что она была глубоко верующей, ей до сих пор ни разу не случилось подумать о том, сколь велико ее преступление перед богом.

Когда-то в монастыре Сердца Иисусова она пылала исступленной любовью к богу; теперь она так же исступленно страшилась его. Мучительная борьба, раздиравшая ее душу, была тем особенно страшна, что страх ее не поддавался никаким доводам рассудка. Жюльен заметил, что всякое разумное убеждение не только не успокаивало, а, наоборот, раздражало ее, ибо ей казалось, что это сатанинские речи. Но Жюльен сам очень любил маленького Станислава, а она только с ним и могла говорить о болезни мальчика; ему с каждым днем становилось все хуже. Г-жа де Реналь, мучаясь непрестанным раскаянием, совсем лишилась сна; она целыми днями пребывала в угрюмом молчании, а если бы она только позволила себе разжать губы, она тут же немедленно покаялась бы в своем грехе перед богом и людьми.

— Заклинаю вас,— говорил ей Жюльен, когда они оставались одни,— не говорите ни с кем. Пусть я буду единственным свидетелем ваших мучений. Если вы хоть сколько-нибудь еще любите меня, молчите,— ваши признания не могут излечить нашего Станислава.

Но его уговоры не достигали цели, он не понимал, что г-жа де Реналь вбила себе в голову, что для умилостивления господа

бога, которого она прогневила, ей надо возненавидеть Жюльена или потерять сына. И оттого, что она не находила в себе сил возненавидеть своего любовника, она и была так несчастна.

— Оставьте меня,— сказала она однажды Жюльену.— Ради бога, умоляю вас, бегите из нашего дома: то, что вы здесь, со мной, убивает моего сына.

Бог карает меня,— добавила она, понизив голос.— Гнев его справедлив, да будет его святая воля. Я совершила ужасный грех, и я жила, даже не чувствуя раскаяния. А ведь это первый знак того, что господь оставил меня, и теперь я должна быть наказана вдвойне.

Жюльен был глубоко потрясен. Он видел, что это не лицемерие, не громкие фразы. «Она в самом деле верит, что своей любовью ко мне она убивает сына, и вместе с тем бедняжка любит меня больше, чем сына. И — тут уж сомневаться невозможно — я вижу, как ее убивают эти угрызения,— вот подлинно высокое чувство. Одного не понимаю только, как это я мог внушить ей такую любовь, я, такой бедняк, так плохо воспитанный, такой необразованный и зачастую даже такой грубиян в обращении».

Однажды ночью ребенку стало совсем плохо. Около двух часов в комнату вошел г-н де Реналь взглянуть на него. Мальчик, весь красный, метался в жару и не узнал отца. Внезапно г-жа де Реналь бросилась на колени перед мужем. Жюльен понял, что она способна сейчас все сказать и погубить себя навек.

На счастье, ее странное поведение только рассердило г-на де Реналя.

— Прощай, прощай! — бросил он, направляясь к двери.

— Нет! Выслушай меня! — вскричала она, стоя на коленях и пытаясь удержать его.— Ты должен узнать правду. Знай, это я убиваю моего сына. Я дала ему жизнь, и я же ее отнимаю у него. Небо наказует меня! Я согрешила перед господом, я убийца! Я должна сама предать себя на позор, подвергнуться унижению: быть может, эта жертва умилостивит создателя.

Будь у г-на де Реналя хоть капля воображения, он понял бы все.

— Романтические бредни! — воскликнул он, отстраняя жену, которая пыталась обхватить его колени.— Вот еще романтические бредни! Завтра утром, Жюльен, вызовите доктора.— И он отправился к себе спать.

Госпожа де Реналь рухнула на пол, почти теряя сознание; но она судорожно отталкивала Жюльена, бросившегося ей на помощь.

«Вот он, грех прелюбодеяния! — подумал он.— Возможно ли, чтобы эти мошенники-попы были правы? Чтобы эти люди, сплошь погрязшие в грехах, знали, что такое, в сущности, грех?.. Просто непостижимо!»

Прошло минут двадцать после того, как г-н де Реналь ушел из комнаты, и все это время Жюльен видел перед собой женщину, которую он любил, все в той же неподвижной позе,— уткнувшись головой в постельку ребенка, она словно застыла в беспамятстве. «Вот женщина поистине совершенно исключительная,— думал он.— И вот она сейчас доведена до полного отчаяния только из-за того, что узнала меня.

Время идет час за часом. А что я могу сделать для нее? Надо решиться. Здесь теперь уж дело не во мне. Что мне до людей и их пошлых кривляний? Но что же я могу сделать для нее?.. Бросить ее?.. Но ведь она останется тогда одна-одинешенька со своим ужасным горем. От этого ее истукана-мужа больше вреда, чем пользы. Он ее еще как-нибудь заденет по своей грубости. Она с ума может сойти, в окошко выброситься!

Если я оставлю ее, перестану ее сторожить, она ему откроется во всем. И как за него поручиться? Вдруг он, невзирая на будущее наследство, поднимет грязный скандал. Да она способна — господи боже! — во всем этому негодяю, аббату Малону, признаться! Он и так под предлогом того, что здесь болен шестилетний ребенок, не вылезал из их дома, и, разумеется, неспроста. Она в таком отчаянии, в таком страхе перед богом, что уже забыла, что́ он за человек,— сейчас он для нее только служитель божий».

— Уйди отсюда,— внезапно произнесла г-жа де Реналь, открывая глаза.

— Ах, тысячу раз я отдал бы жизнь мою, чтобы хоть узнать, как тебе можно помочь! — отвечал он.— Никогда я так не любил тебя, ангел мой, или, вернее, только сейчас начинаю я обожать тебя так, как должно. Что будет со мной вдали от тебя, да еще когда я все время буду думать, что ты из-за меня несчастна! Но что говорить о моих мучениях! Да, я уеду, уеду, любовь моя. Но ведь стоит мне только тебя покинуть, стоит мне только перестать оберегать тебя, непрестанно стоять меж тобой и твоим мужем, ты ему все расскажешь — и тогда ты погибла.

Ты подумай, ведь он тебя с позором выгонит из дома, и весь Верьер, весь Безансон только и будут болтать, что об этом скандале. Чего только на тебя не наплетут, никогда уж тебе после такого срама не подняться...

— Этого-то я и хочу! — вскричала она, вставая с колен.— Буду страдать, так мне и надо...

— Но ведь такой скандал ужасный и для него несчастье.

— Нет, это мой позор, я все на себя приму; пусть меня втопчут в грязь,— может быть, это спасет моего сына. Вот этому-то сраму подвергнуться, погубить себя в глазах всех,— может быть, это и есть такая казнь публичная! Сколько я могу рассудить моим слабым рассудком, разве это не самая величайшая жертва, какую я могла бы принести богу?.. Может быть, он смилостивится, примет мое уничижение и оставит мне моего сына. Укажи мне какую-нибудь другую жертву, еще более мучительную,— я готова на все.

— Дай мне наказать себя. Я ведь тоже виноват, тоже! Хочешь, я сделаюсь затворником-траппистом. Эта суровая жизнь может умилостивить твоего бога... О господи! Как это ужасно, что я не могу взять на себя болезнь Станислава...

— Ах! Ты-то любишь его! — вскричала г-жа де Реналь, бросаясь ему в объятия.

Но в тот же миг она с ужасом оттолкнула его.

— Я верю тебе, верю! — простонала она, снова падая на колени.— Ты мой единственный друг! Ах, почему не ты отец Станислава! Тогда бы это не был такой ужасный грех — любить тебя больше, чем твоего сына.

— Позволь мне остаться с тобой, и с этой минуты я буду любить тебя только как брат. Это, по крайней мере, хоть разумное искупление,— оно может смягчить гнев господень.

— А я? — вскричала она, вскакивая, и, схватив голову Жюльена обеими руками, отодвинула ее от себя и заглянула ему в глаза.— А я? Я могу любить тебя, как брата? В моей ли власти любить тебя, как брата?

Жюльен залился слезами.

— Как хочешь, как хочешь! — воскликнул он, падая к ее ногам.— Только скажи, что мне делать! Я послушаюсь, больше мне теперь ничего не остается. У меня разум помрачился, я не знаю, как быть. Уйду я — ты все мужу расскажешь, ты погибнешь, да и он с тобой. Никогда уж после такого срама ему не быть депутатом. Останусь — ты будешь думать, что из-за меня погиб твой сын, и сама умрешь от горя. Ну, хочешь, попытаемся,— я уйду? Хочешь, я наложу на себя наказание за наш грех

и уйду от тебя на неделю? Уйду и скроюсь совсем, туда, куда ты велишь. Ну хоть в аббатство Бре-ле-О? Но поклянись мне, что ты ничего без меня не будешь говорить мужу. Ты только подумай: если ты скажешь, мне уж нельзя будет вернуться.

Она обещала; он ушел, но не прошло и двух дней, как она вызвала его обратно.

— Без тебя мне не сдержать клятвы, которую я тебе дала. Если тебя не будет здесь, если ты не будешь постоянно приказывать мне взглядом, чтобы я молчала, я все расскажу мужу. И каждый час этой невыносимой жизни мне за день кажется.

Наконец небо сжалилось над несчастной матерью. Постепенно Станислав начал поправляться. Но покой уже был нарушен, она теперь сознавала всю чудовищность содеянного ею греха и уж не могла обрести прежнего равновесия. Угрызения совести не покидали ее, и только теперь они стали для нее тем, чем неминуемо должны были стать для чистого сердца. Жизнь ее была то раем, то адом: адом, когда она не видела Жюльена; раем, когда она была у его ног. «Я теперь уже не обманываю себя ни в чем,— говорила она ему даже в те минуты, когда, забываясь, всей душой отдавалась любви.— Я знаю, что я погибла, погибла, и нет мне пощады. Ты мальчик, ты просто поддался соблазну, а соблазнила тебя я. Тебя бог может простить, а я теперь проклята навеки. И я это наверное знаю, потому что мне страшно,— да и кому бы не было страшно, когда видишь перед собой ад? Но я, в сущности, даже не раскаиваюсь. Я бы опять совершила этот грех, если бы все снова вернулось. Только бог не покарал бы меня на этом свете, через моих детей,— и это уже будет много больше, чем я заслуживаю. Но ты-то, по крайней мере, ты, мой Жюльен,— восклицала она в иные минуты,— ты счастлив, скажи мне?! Чувствуешь ты, как я тебя люблю?»

Недоверчивость и болезненная гордость Жюльена, которому именно и нужна была такая самоотверженная любовь, не могли устоять перед этим великим самопожертвованием, проявлявшимся столь очевидно чуть ли не каждую минуту. Он боготворил теперь г-жу де Реналь. «Пусть она знатная дама, а я сын простого мастерового — она любит меня... Нет, я для нее не какой-нибудь лакей, которого взяли в любовники». Избавившись от этого страха, Жюльен обрел способность испытывать все безумства любви, все ее мучительные сомнения.

— Друг мой! — говорила она ему, видя, что он вдруг начинает сомневаться в ее любви.— Пусть я, по крайней мере, хоть дам тебе счастье в те немногие часы, которые нам осталось провести вместе. Будем спешить, милый, быть может, завтра мне

уже больше не суждено быть твоей. Если небо покарает меня в моих детях, тогда уж все равно,— как бы я ни старалась жить только для того, чтобы любить тебя, не думая о том, что мой грех убивает их,— я все равно не смогу, сойду с ума. Ах, если бы я только могла взять на себя еще и твою вину, так же вот самоотверженно, как ты тогда хотел взять на себя эту ужасную горячку бедного Станислава.

Этот резкий душевный перелом совершенно изменил и самое чувство Жюльена к его возлюбленной. Теперь уже любовь его не была только восхищением ее красотой, гордостью обладания.

Отныне счастье их стало гораздо более возвышенным, а пламя, снедавшее их, запылало еще сильнее. Они предавались любви с исступлением. Со стороны, пожалуй, могло бы показаться, что счастье их стало полнее, но они теперь утратили ту сладостную безмятежность, то безоблачное блаженство и легкую радость первых дней своей любви, когда все опасения г-жи де Реналь сводились к одному: достаточно ли сильно любит ее Жюльен? Теперь счастье их нередко напоминало преступление.

В самые счастливые и, казалось бы, самые безмятежные минуты г-жа де Реналь вдруг вскрикивала:

— Боже мой! Вот он, ад, я вижу его! — и судорожно стискивала руку Жюльена.— Ах, какие чудовищные пытки! Но я заслужила их! — И она сжимала его в своих объятиях и замирала, прильнув к нему, словно плющ к стене.

Тщетно Жюльен пытался успокоить ее смятенную душу. Она хватала его руку, осыпала ее поцелуями, а через минуту снова погружалась в мрачное оцепенение.

— Ад,— говорила она,— ад — ведь это было бы милостью для меня: значит, мне было бы даровано еще несколько дней на земле, с ним... Но ад в этой жизни, смерть детей моих... И, однако, быть может, этой ценой мой грех был бы искуплен... О боже великий, не даждь мне прощения такой страшной ценой! Эти несчастные дети, да разве они повинны перед тобой! Я, одна я виновна! Я согрешила: я люблю человека, который не муж мне.

Бывали минуты, когда Жюльену казалось, что г-жа де Реналь как будто успокаивается. Она старалась взять себя в руки, не отравлять жизнь тому, кого она так любила.

В этих чередованиях любви, угрызений совести и наслаждения время для них пролетало, как молния. Жюльен совершенно утратил привычку размышлять.

Как-то раз горничная Элиза отправилась в Верьер,— у нее была тяжба в суде. Она встретила г-на Вально и из разговора с ним обнаружила, что он страшно сердит на Жюльена. Она теперь ненавидела гувернера и частенько судачила о нем с г-ном Вально.

— Вы ведь меня погубите, сударь, коли я вам всю правду расскажу...— сказала она г-ну Вально.— Хозяева всегда друг за дружку стоят, как всерьез до дела дойдет... А прислуга, если в чем проболтается, так ей ни за что не простят...

После этого весьма обыденного вступления, которое нетерпеливое любопытство г-на Вально постаралось насколько возможно сократить, он услышал от нее вещи, весьма обидные для его самолюбия.

Эта женщина, самая блестящая женщина во всей округе, которую он в течение целых шести лет окружал таким вниманием,— что, к сожалению, происходило у всех на виду и было всем отлично известно,— эта гордячка, которая столько раз заставляла его краснеть своим презрительным обращением,— и что же... оказывается, она взяла себе в любовники этого подмастерья, пожалованного в гувернеры! Мало того, в довершение столь нестерпимой обиды, нанесенной господину директору дома призрения, г-жа де Реналь, оказывается, обожала своего любовника.

— Сказать правду,— тяжело вздохнув, добавила горничная,— господин Жюльен вовсе даже и не домогался этого; он и с нашей госпожой так же холодно держится, как со всеми.

Только в Вержи Элиза убедилась в этом окончательно, но, по ее мнению, эта история тянется уже давно.

— И вот из-за этого-то, конечно,— прибавила она с горечью,— он тогда и отказался на мне жениться. А я-то, дура, пошла еще к госпоже де Реналь посоветоваться, просила ее поговорить с гувернером!

В тот же вечер г-н де Реналь получил из города вместе со своей газетой пространное анонимное письмо, в котором ему весьма подробно сообщали о том, что происходит у него в доме. Жюльен заметил, как г-н де Реналь, читая это письмо, написанное на голубоватой бумаге, внезапно побелел, и после этого Жюльен несколько раз ловил на себе его свирепые взгляды. Весь вечер господин мэр был явно чем-то расстроен; тщетно Жюльен пытался подольститься к нему, расспрашивая его о генеалогии самых знатных бургундских семей.

XX

АНОНИМНЫЕ ПИСЬМА

Do not give dalliance
Too much the rein; the strongest oaths are straw
To the fire i'the blood.

Tempest [1].

Когда они около полуночи расходились по своим комнатам, Жюльен улучил минутку и шепнул своей подруге:

— Сегодня нам нельзя видеться: у вашего мужа зародились подозрения; готов об заклад побиться, что это длинное письмо, над которым он так вздыхал, не что иное, как анонимное послание.

По счастью, Жюльен заперся в своей комнате на ключ. Г-же де Реналь пришла в голову безумная мысль, что опасения, высказанные Жюльеном, только предлог для того, чтобы им сегодня не видеться. Она совсем потеряла голову и в обычный час отправилась к нему в комнату. Жюльен, заслышав шаги в коридоре, тотчас же задул лампу. Кто-то пытался открыть его дверь: кто, г-жа де Реналь или ее ревнивый муж?

Рано утром кухарка, которая всегда благоволила к Жюльену, принесла ему книгу; на обложке ее было написано несколько слов по-итальянски: guardate alla pagina 130 [2].

Жюльена бросило в дрожь от этой неосторожности; он поспешно открыл книгу на указанной странице и нашел приколотое булавкой письмо, написанное кое-как, наспех, все закапанное слезами и без малейшего соблюдения правил орфографии. Обычно г-жа де Реналь была очень аккуратна по части правописания, и его так растрогала эта красноречивая подробность, что он даже забыл об ужасной неосторожности своей возлюбленной.

«Ты не захотел меня впустить к себе сегодня ночью? Бывают минуты, когда мне кажется, что мне, в сущности, никогда не удавалось узнать до конца, что происходит у тебя в душе. Ты глядишь на меня — и твой взгляд меня пугает. Я боюсь тебя. Боже великий! Да неужели же ты никогда не любил меня? Если так, то пусть муж узнает все про нашу любовь и пусть он запрет меня на всю жизнь в деревне, в тюрьме, вдали

---

[1] Обуздывай себя — иль клятвы эти
В пылающей крови сгорят, как порох. *Шекспир, «Буря» (англ.).*

[2] Посмотрите на странице 130 *(итал.).*

от моих детей. Быть может, это и есть воля божья. Ну что ж, я скоро умру. А ты! Ты будешь чудовищем. Так, значит, не любишь? Тебе надоели мои безумства и вечные мои угрызения? Безбожный! Хочешь меня погубить? Вот самое простое средство. Ступай в Верьер, покажи это письмо всему городу, а еще лучше — пойди покажи его господину Вально. Скажи ему, что я люблю тебя — нет, нет, боже тебя сохрани от такого кощунства! — скажи ему, что я боготворю тебя, что жизнь для меня началась только с того дня, когда я увидала тебя, что даже в юности, когда предаешься самым безумным мечтам, я никогда не грезила о таком счастье, каким я тебе обязана, что я тебе жизнь свою отдала, душой своей для тебя пожертвовала,— да, ты знаешь, что я для тебя и гораздо большим пожертвую.

Но разве он что-нибудь понимает в том, что такое жертва, этот человек? Нет, ты ему скажи, скажи, чтобы его разозлить, что я ничуть не боюсь никаких злоязычников и что нет для меня на свете никакого другого несчастья, кроме одного: видеть, что ко мне охладел единственный человек, который меня привязывает к жизни. О, какое было бы для меня счастье совсем расстаться с нею, принести ее в жертву и больше уже не бояться за своих детей!

Милый друг, можете не сомневаться: если это действительно анонимное письмо, его прислал не кто иной, как этот гнусный человек, который в течение шести лет подряд преследовал меня своим оглушительным басом, постоянными рассказами о своем искусстве ездить верхом, своим самодовольством и бесконечным перечислением всех своих несравненных достоинств.

Да было ли оно, это анонимное письмо? Злюка! Вот о чем я только и хотела с тобой поговорить. Но нет, ты хорошо сделал. Разве я могла бы, обнимая тебя, быть может, в последний раз, рассуждать хладнокровно, как я это делаю сейчас, одна? Теперь уже наше счастье не будет даваться нам так легко. Огорчит ли это вас? Разве только в те дни, когда ваш Фуке не пришлет вам какой-нибудь занимательной книжки. Но все равно, жертва уже принесена, и было или нет это анонимное письмо, все равно, я завтра сама скажу мужу, что получила анонимное письмо и что необходимо во что бы то ни стало, под любым предлогом, немедленно отослать тебя к твоим родным, заплатив тебе щедро, не скупясь.

Увы, друг мой, нам придется расстаться недели на две, а может быть, и на месяц! Ах, я знаю, я уверена, ты будешь так

же мучиться, как и я. Но в конце концов это единственный способ предотвратить последствия анонимного письма. Ведь это уж не первое, которое ему пишут относительно меня. Ах, как я, бывало, потешалась над ними раньше!

У меня теперь одна цель: внушить мужу, что это письмо прислал господин Вально; да я и не сомневаюсь, что так оно и есть на самом деле. Если тебе придется уйти от нас, постарайся непременно устроиться в Верьере, а я уж сумею добиться того, что муж сам захочет поехать туда недельки на две, чтобы доказать этому дурачью, что мы с ним отнюдь не в ссоре. А ты, когда будешь в Верьере, постарайся подружиться со всеми, даже и с либералами. Я ведь знаю, что наши дамы готовы тебя на руках носить.

Но не вздумай ссориться с господином Вально, не смей отрезать ему уши, как ты когда-то грозился,— наоборот, ты должен быть с ним как можно любезнее. Сейчас самое важное для нас распустить слухи по всему Верьеру, что ты поступаешь к господину Вально или еще к кому-нибудь гувернером к детям.

Вот уж этого мой муж никогда не допустит. Ну, а если он все-таки решится — что ж делать! Во всяком случае, ты будешь жить в Верьере, мы сможем иногда с тобой видеться,— дети тебя так любят, они непременно будут проситься к тебе. Боже мой, я чувствую, что я даже детей моих люблю еще больше за то, что они тебя любят. Какой грех! Господи, чем только все это может кончиться!.. Я совсем голову потеряла... Ну, в общем, ты понимаешь, как тебе надо себя вести: будь кротким, вежливым; пожалуйста, не выказывай им презрения, этим грубиянам,— на коленях тебя умоляю, ведь от них зависит наша с тобой судьба. Можешь быть совершенно уверен, что мой муж, безусловно, сочтет нужным держаться с тобой именно так, как это предпишет ему *общественное мнение*.

Ты же и смастеришь мне анонимное письмо; вооружись терпением и ножницами. Вырежь из книги слова, которые я тебе напишу в конце, и наклей их поаккуратней на листик голубоватой бумаги, который я тебе посылаю,— эту бумагу мне подарил господин Вально. Опасайся обыска у себя в комнате и поэтому сожги книгу, из которой будешь вырезать. Если не найдешь целиком тех слов, которые нужны, не поленись составить их сам по буквам. Чтобы тебя не затруднять, я сочинила совсем коротенькое анонимное письмо. Ах, если ты больше меня не любишь, каким несносно длинным покажется тебе мое письмо!

«Сударыня,

Все ваши похождения известны, а лица, заинтересованные в том, чтобы положить им конец, предупреждены. Руководясь добрыми чувствами к вам, которые у меня еще не совсем пропали, предлагаю вам раз навсегда порвать с этим мальчишкой. Если вы настолько благоразумны, что последуете этому совету, ваш муж будет думать, что уведомление, которое он получил, лживо, и его так и оставят в этом заблуждении. Знайте, тайна ваша в моих руках; трепещите, несчастная! Настал час, когда вы должны будете *склониться* перед моей волей».

Как только ты наклеишь все слова этого письма (узнаёшь в нем манеру выражаться господина директора?), сейчас же выходи в сад,— я тебя встречу.

Я пойду в деревню и вернусь с убитым видом; ах, я и в самом деле чувствую себя убитой. Боже мой! Подумать, на что я решаюсь,— и все это только из-за того, что *тебе показалось,* будто он получил анонимное письмо. Так вот я с изменившимся лицом отдам мужу это самое письмо, врученное мне якобы каким-то незнакомцем. А ты ступай гулять с детьми по дороге в большой лес и не возвращайся до обеда.

С верхнего утеса тебе будет видна наша голубятня. Если все кончится благополучно, я вывешу там белый платочек, а в противном случае там ничего не будет.

Ну, а ты-то сам, неблагодарный, неужели сердце не подскажет тебе какой-нибудь способ, до того как ты уйдешь на прогулку, сказать мне, что ты любишь меня? Ах, что бы ни случилось, в одном ты можешь быть совершенно уверен: я дня не проживу, если нам придется расстаться навеки. Ах, скверная я мать! Но только зачем я пишу эти пустые слова, милый Жюльен? Я совсем не чувствую этого, я ни о ком, кроме тебя, не могу думать, я только затем их и написала, чтобы ты не бранил меня. Сейчас, в такую минуту, когда я думаю, что могу тебя потерять, к чему притворяться? Да, пусть уж лучше я покажусь тебе чудовищем, чем мне лгать перед человеком, которого я обожаю. Я и так слишком уж много обманывала в своей жизни. Ну, все равно, так и быть, я тебя прощаю, если ты меня больше не любишь. Мне даже некогда перечесть это письмо. А сказать по правде, какой пустяк, если бы даже мне пришлось заплатить жизнью за те блаженные дни, которые я провела в твоих объятиях. Ты знаешь, что они мне обойдутся много дороже».

XXI

ДИАЛОГ С ГОСПОДИНОМ

Alas, our frailty is the cause, not we,
For such as we are made of, such we be.

Twelfth Night [1].

В течение целого часа Жюльен с совершенно ребяческим удовольствием подбирал и наклеивал слова. Выйдя из комнаты, он сразу же встретил своих воспитанников с матерью; она так просто и решительно взяла письмо у него из рук, что это спокойствие даже испугало его.

— А клей совсем высох? — спросила она.

«И это та самая женщина, которая с ума сходила от угрызений совести! — подумал он.— Что она такое затеяла?» Спросить ее об этом казалось ему унизительным для его гордости, но, кажется, никогда в жизни он так не восхищался ею.

— Если это кончится плохо,— все с тем же невозмутимым хладнокровием добавила она,— у меня отнимут все. Закопайте этот ящичек где-нибудь там, на горе. Может быть, придет день, и это будет все, что у меня останется.

И она передала ему хрустальный ларчик в красном сафьяновом футляре, наполненный драгоценностями — золотыми и бриллиантовыми украшениями.

— Идите теперь,— сказала она ему.

Она поцеловала детей, а младшего — даже два раза. Жюльен стоял как каменный. Она удалилась быстрым шагом, даже не взглянув на него.

Существование г-на де Реналя с той минуты, как он распечатал анонимное письмо, стало поистине невыносимым. Никогда еще он не был так потрясен, за исключением одного раза в жизни, в 1816 году, когда ему чуть было не пришлось драться на дуэли; и надо отдать ему справедливость, даже перспектива получить пулю в лоб расстраивала его много меньше. «Почерк как будто женский,— думал он.— А если так, кто же из женщин мог это написать?» Он припоминал всех знакомых ему дам в Верьере и ни на одной из них не мог остановиться в своих подозрениях. «Может быть, письмо сочинил мужчина, и оно написано под диктовку? Но кто же этот мужчина?» И он опять терялся в догадках; конечно, завистников у него много, и боль-

[1] О слабость женская! Но наша ль в том вина,
Что женщина такой сотворена? *Шекспир, «Двенадцатая ночь» (англ.).*

шинство знакомых ненавидит его. «Надо пойти потолковать с женой!» — подумал он по привычке и уже совсем было поднялся с кресла, в котором сидел.

Но едва он приподнялся, как тут же хлопнул себя рукой по лбу. «Ах, боже мой! — вырвалось у него.— Ведь как раз ей-то я сейчас и не должен доверять. Теперь она враг мой!» И от досады и злости слезы брызнули у него из глаз.

Справедливо пожиная плоды своей сердечной сухости — а в ней-то, собственно, и заключается вся провинциальная мудрость,— г-н де Реналь из всех людей на свете больше всего опасался сейчас двух своих самых близких друзей.

«Есть ли у меня, кроме них, еще хотя бы человек десять друзей? — думал он и перебирал из всех одного за другим, стараясь представить себе, на какую долю сочувствия он мог бы рассчитывать у каждого из них.— Всем, всем,— с яростью вскричал он,— эта отвратительная история, которая случилась со мной, доставит величайшее удовольствие!» К счастью — и не без основания,— он считал, что все ему завидуют. Мало того, что он только что превосходно отделал свой роскошный городской дом, ныне навеки осчастливленный посещением короля, который соизволил провести ночь под его кровом,— он очень недурно подновил и свой замок в Вержи. Весь фасад побелили заново, а у окон появились прекрасные зеленые ставни. Он на минуту утешился, вспомнив это великолепие. В самом деле, замок его был виден теперь за три-четыре лье, к великому ущербу других загородных домов или так называемых «замков», находившихся по соседству, которые так и остались в своем скромном обличье, посеревшем от времени.

Господин де Реналь мог рассчитывать на сочувствие и слезы лишь одного из своих друзей — приходского церковного старосты; но это был кретин, способный прослезиться из-за чего угодно. Это был единственный человек, на которого он мог опереться.

«Какое несчастье может сравниться с моим? — воскликнул он в бешенстве.— Такое одиночество!»

«Да может ли это статься? — вопрошал себя этот поистине жалкий человек.— Может ли статься, чтобы в моем несчастье у меня даже не было человека, с которым я мог бы посоветоваться? Потому что мой рассудок отказывается мне помочь, я чувствую это. Ах, Фалькоз, ах, Дюкро!» — вскричал он с горечью. Это были два его друга детства, которых он оттолкнул от себя своим высокомерием в 1814 году. Они с юных лет привыкли держаться с ним на равной ноге, а тут ему вдруг

вздумалось переменить с ними тон, ибо это были незнатные люди.

Один из них, Фалькоз, человек умный и сердечный, бумаготорговец из Верьера, купил типографию в главном городе департамента и открыл там газету. Конгрегация решила разорить его: газету его запретили, а патент на типографию отобрали. В этих плачевных обстоятельствах он решился написать г-ну де Реналю, впервые за десять лет. Мэр Верьера счел нужным ответить наподобие древнего римлянина: «Если бы министр короля удостоил меня чести поинтересоваться моим мнением, я бы ответил ему: беспощадно уничтожайте всех провинциальных печатников, а на типографское дело введите монополию, как на табак». Это письмо близкому другу, которое в свое время привело в восторг весь Верьер, г-н де Реналь вспоминал теперь с ужасом. «Кто бы мог сказать, что я, с моим положением, с моим состоянием, с моими орденами, когда-нибудь пожалею об этом!» И вот в таких-то приступах ярости, то против самого себя, то против всего, что окружало его, он провел эту ужасную ночь; к счастью, однако, ему не пришло в голову попытаться выследить свою жену.

«Я привык к Луизе,— говорил он себе.— Она знает все мои дела. Будь у меня завтра возможность снова жениться, мне не найти женщины, которая заменила бы мне ее». И он пытался утешиться мыслью, что жена его невинна: это не ставило его в необходимость проявить твердость характера и было для него удобнее всего; в конце концов мало ли было на свете женщин, которые стали жертвою клеветы?

«Но как же это! — вдруг завопил он и судорожно заметался по комнате.— Да что я, совсем уж полное ничтожество, проходимец какой-нибудь? Как могу я допустить, чтобы она издевалась надо мной со своим любовником? Ведь так можно довести до того, что весь Верьер будет потешаться над моим мягкосердечием. Чего только не рассказывали о Шармье (известный по всему краю супруг, которого жена обманывала на глазах у всех)? Стоит только произнести его имя, и уж у всех улыбка на губах. Он хороший адвокат, но кто же вспоминает о том, какой он мастер говорить? А-а, говорят они, Шармье? Тот самый Шармье де Бернар — так его и прозвали, по имени человека, который его опозорил».

«Слава богу,— говорил он себе через несколько минут,— слава богу, что у меня нет дочери, а значит, как бы я ни наказал мать, это не отразится на судьбе детей,— я могу поймать этого подлого малого с моей женой и убить их обоих, и

тогда уже это будет трагическая история, над которой никто не будет потешаться». Эта идея ему понравилась, и он стал тщательно обдумывать все подробности. «Уложение о наказаниях в таком случае на моей стороне, да и как бы там оно ни обернулось, наша конгрегация и мои друзья, присяжные, сумеют меня спасти». Он вытащил свой охотничий нож, осмотрел его: нож был очень острый, но вдруг он представил себе лужу крови, и ему стало страшно.

«Я могу избить до полусмерти этого наглеца-гувернера и вытолкать его вон. Но какой скандал подымется на весь Верьер и даже на весь департамент! После того как суд постановил прикрыть газету Фалькоза, а главного редактора выпустили из тюрьмы, я приложил руку к тому, чтобы лишить его места, где он зарабатывал шестьсот франков. Говорят, теперь этот писака снова где-то вынырнул в Безансоне: уж он не упустит случая меня осрамить и сделает это так ловко, что и к суду-то его привлечь будет немыслимо. Привлечь к суду... Да ведь на суде этот наглец каких только пакостей не придумает, чтобы доказать, что он сказал правду! Человек знатного рода, умеющий поддержать свой престиж в обществе, как это делаю я, разумеется, внушает ненависть всем этим плебеям. Я увижу свое имя в этих гнусных парижских газетках,— боже мой, какой ужас! Старинное имя Реналей, втоптанное в грязь зубоскалами! Если мне вздумается куда-нибудь поехать, придется менять имя. Подумать только! Расстаться с этим славным именем, в котором вся гордость моя, вся сила! Хуже этого ничего быть не может.

Но если я не убью мою жену, а просто выгоню ее из дому с позором, так ведь у нее есть тетка в Безансоне, которая ей из рук в руки передаст все свое состояние. Жена моя отправится в Париж со своим Жюльеном; в Верьере об этом все, конечно, узнают, и я опять окажусь в дураках». Тут бедный супруг заметил, что свет его лампы тускнеет: начинало светать. Он вышел в сад подышать свежим воздухом. В эту минуту он уже почти решил не поднимать скандала, руководствуясь главным образом тем соображением, что такой скандал доставил бы величайшее удовольствие его добрым верьерским друзьям.

Прогулка по саду немного успокоила его. «Нет! — воскликнул он.— С какой стати я должен отказываться от моей жены? Ведь это полезный для меня человек». Он с ужасом представил себе, во что превратится его дом без нее. Из всей родни у него осталась только маркиза де Р..., старая злющая дура.

Конечно, это было весьма разумное рассуждение, но для того, чтобы осуществить его, требовалась большая твердость характера, значительно превышавшая скудную долю, отпущенную бедняге природой. «Если я не выгоню жену,— рассуждал он,— я ведь себя знаю, как-нибудь она меня разозлит, и я ей это припомню. Она гордячка, мы поссоримся, и все это может случиться раньше, чем она получит наследство от тетки. Вот когда они посмеются надо мной вволю. Жена любит своих детей; в конце концов все это, разумеется, достанется им же. Но я-то! Я сделаюсь истинным посмешищем в Верьере. Вот он каков, скажут, даже с собственной женой управиться не сумел. Не лучше ли мне просто держать про себя свои подозрения и не доискиваться истины? И тогда волей-неволей придется воздержаться от каких бы то ни было попреков».

Но через минуту г-н де Реналь, снова поддавшись чувству оскорбленного тщеславия, старательно припоминал всякие способы уличения в измене, о которых рассказывается за бильярдом в Казино или в Дворянском клубе, когда какой-нибудь зубоскал прерывает партию, чтобы потешить приятелей сплетней об обманутом супруге. Какими жестокими казались ему сейчас эти шутки!

«Боже! И отчего моя жена не умерла? Тогда бы никто уж не мог надо мной потешаться. Был бы я вдовцом! Проводил бы полгода в Париже, вращался бы в самом лучшем обществе...» Но после краткой минуты блаженства, навеянного мечтами о вдовстве, воображение его снова принималось выискивать средство, с помощью которого он мог бы узнать правду. Что, если, скажем, за полночь, когда уже все улягутся, насыпать пригоршню отрубей перед дверью Жюльена, а утром, чуть рассветет,— увидишь отпечатки шагов.

«Нет, эта шутка никуда не годится! — злобно вскричал он.— Подлюга Элиза заметит, конечно, и мгновенно весь дом будет знать, что я ревную».

В какой-то еще истории, слышанной им в Казино, некий муж убедился в своем несчастье при помощи волоска, протянутого между дверями жены и ее любовника и приклеенного с обоих концов воском на манер судейской печати.

После долгих часов сомнений и колебаний он, наконец, решил, что это средство, пожалуй, будет самым лучшим, и уже совсем начал было обдумывать, как он все это устроит, как вдруг на повороте аллеи повстречал ту самую женщину, которую ему так хотелось бы видеть мертвой.

Она возвращалась из деревни. Она ходила к мессе в вержийскую церковь. По преданию, которое на взгляд холодного философа не внушало доверия, но которому она тем не менее верила, эта маленькая церковь, ставшая ныне приходской, была некогда часовней в замке сеньора Вержи. Г-жа де Реналь во время мессы почему-то неотступно думала об этом. Перед нею беспрестанно возникала одна и та же картина: муж ее на охоте убивает Жюльена будто бы случайно, а вечером заставляет ее съесть его сердце.

«Судьба моя зависит сейчас целиком от того,— говорила она себе,— что́ он будет думать, слушая мой рассказ. Эти роковые четверть часа решат все, а уж после мне, быть может, больше и не придется с ним разговаривать. Он ведь человек неумный, он не руководствуется рассудком. А то бы уж я как-нибудь пораскинула мозгами, постаралась бы сообразить, что он сделает или скажет. А от его решения зависит наша судьба, она в его власти. Но она зависит также и от моей ловкости, от моего умения направить в ту или иную сторону мысли этого самодура,— ведь он в ярости ничего не помнит, не соображает, у него просто в голове мутится. Боже мой! Какое для этого нужно искусство, сколько хладнокровия! А где их взять?»

Но едва только она вошла в сад и увидела издали своего мужа, она, точно по волшебству, сразу успокоилась. По его всклокоченным волосам и измятой одежде видно было, что он не ложился спать.

Она подала ему письмо, распечатанное, но затем снова вложенное в конверт. Он взял его машинально и уставился на нее безумными глазами.

— Вот эту мерзость,— сказала она,— подал мне какой-то подозрительный субъект. Он сказал, что знает вас и даже чем-то обязан вам. Это было вот сейчас, когда я шла позади палисадника нотариуса. Я требую от вас только одного: чтобы вы сейчас же, без малейшего промедления, отослали господина Жюльена обратно к его отцу.

Госпожа де Реналь поторопилась скорее выговорить эту фразу,— может быть, даже немного раньше, чем следовало, лишь бы поскорее избавиться от страшной необходимости произнести ее.

Она вся затрепетала от радости, видя, как обрадовали ее слова мужа. По тому, как он уставился на нее, она поняла, что Жюльен угадал правильно. И вместо того чтобы огорчиться этой вполне очевидной неприятностью, она подумала: «Какая про-

нительность! Какое удивительное чутье! И у такого молодого человека, без всякого жизненного опыта! Подумать только, как далеко он может пойти в будущем! Увы, его успехи приведут к тому, что он меня забудет».

И невольное восхищение человеком, которого она боготворила, рассеяло все ее страхи.

Она похвалила себя за свою изобретательность. «Я оказалась достойной Жюльена»,— подумала она с тайным и сладостным восторгом.

Боясь не совладать с собой, г-н де Реналь, не говоря ни слова, начал читать анонимное письмо, составленное, как, вероятно, помнит читатель, из напечатанных слов, наклеенных на голубоватую бумагу. «Опять новые издевательства, конца этому нет,— подумал г-н де Реналь, чуть не падая от изнеможения.— Опять новые оскорбления, и над всем этим надо голову ломать, и все по милости моей жены!» У него уже готовы были сорваться с языка самые грубые ругательства, но, вспомнив о наследстве из Безансона, он с большим трудом сдержался. Не зная, на чем сорвать злобу, он скомкал это второе анонимное письмо и широкими шагами пошел по дорожке. Ему нужно было хоть на минуту уйти от жены. Через несколько мгновений он вернулся немного успокоенный.

— Надо решить, не откладывая, и отказать Жюльену,— сказала она мужу, как только он подошел.— В конце концов это сын простого плотника. Вы ему заплатите несколько лишних экю, он человек ученый и легко найдет себе место у того же господина Вально или у помощника префекта Можирона,— у них тоже есть дети. Так что вы его даже нисколько не обидите...

— Вы мелете вздор, как форменная дура! — неистово закричал г-н де Реналь.— Да и чего ждать от женщины? Откуда у нее здравый смысл? Вам и в голову никогда не придет обратить внимание на что-нибудь серьезное: может ли быть, чтобы вы в чем-нибудь толком разобрались? С вашим легкомыслием, с вашей ленью вам только бабочек ловить. Жалкие вы существа! Горе нам, семейным людям, что от вас никуда не денешься...

Госпожа де Реналь не мешала ему выговориться; он говорил долго, *изливая свою злость*, как говорят в здешних краях.

— Сударь,— ответила она ему наконец,— я говорю, как женщина, у которой затронута честь, то есть самое драгоценное, что только есть у нее.

Госпожа де Реналь сохраняла непоколебимое хладнокровие в течение всего этого мучительного разговора, от исхода которого зависела возможность жить, как прежде, под одним кровом с Жюльеном. Тщательно обдумывая каждое слово, она говорила только то, что могло обуздать ярость мужа, направить ее, куда ей было нужно. Она была совершенно нечувствительна ко всем его оскорбительным выкрикам, она не слушала их, она думала в это время о Жюльене: «Будет он доволен мной?»

— Этот деревенский мальчишка, с которым мы так носились, делали ему столько подарков, возможно, даже ни в чем не виноват,— сказала она наконец.— Но как-никак, а ведь из-за него мне первый раз в жизни нанесено такое оскорбление... Когда я прочла эту гнусную бумажонку, сударь, я дала себе слово: либо он, либо я, но один из нас должен уйти из вашего дома.

— Вам что же, хочется скандал устроить, чтобы опозорить меня да и себя тоже? Вы многим доставите удовольствие в Верьере.

— Это правда, все завидуют тому благосостоянию, которое вы вашим мудрым управлением сумели создать и себе, и своей семье, и всему городу... Ну, тогда я предложу Жюльену, чтобы он отпросился у вас на месяц и отправился к своему достойному другу, этому лесоторговцу в горах.

— А я запрещаю вам распоряжаться,— отрезал г-н де Реналь, впрочем, довольно спокойно.— И прежде всего я требую от вас, чтобы вы с ним не разговаривали. Вы начнете злиться, поссорите меня с ним, а вы знаете, какой он недотрога, этот господинчик.

— У этого молодого человека нет ни малейшего такта,— подхватила г-жа де Реналь.— Он, может быть, и образованный — вам лучше об этом судить,— но, в сущности, это простой крестьянин. Я, по крайней мере, совершенно разочаровалась в нем после того, как он отказался жениться на Элизе,— ведь он бы тогда стал вполне обеспеченным человеком,— и из-за чего, в сущности? Только из-за того, что она иногда потихоньку бегает к господину Вально.

— А-а,— протянул г-н де Реналь, высоко поднимая брови,— что такое? И Жюльен вам это сказал?

— Нет, он прямо этого не говорил. Он ведь всегда распространяется насчет своего призвания к священному сану, но, поверьте мне, главное призвание у этих людишек — это обеспечить себе кусок хлеба. Но он мне не раз давал понять, что ему известны ее таинственные прогулки.

— А мне об этом ничего не известно! — снова рассвирепев, воскликнул г-н де Реналь, внушительно отчеканивая слова.— У меня тут под носом что-то происходит, а я об этом и понятия не имею... Как! Значит, между ними что-то есть, у Элизы с Вально?

— Да это давнишняя история, дорогой мой,— смеясь, ответила г-жа де Реналь,— а возможно даже, между ними ничего серьезного и не было. Ведь это все началось еще в то время, когда ваш добрый друг Вально был очень не прочь, чтобы в Верьере ходили слухи, будто между ним и мной нечто вроде платонического романа.

— Я и сам это когда-то подозревал! — воскликнул г-н де Реналь, в ярости хлопая себя по лбу; поистине на него неожиданно сваливалось одно открытие за другим.— И вы мне ни слова не сказали!

— Стоило ли ссорить друзей из-за маленькой прихоти тщеславия нашего милого директора? Да назовите мне хоть одну женщину нашего круга, которая время от времени не получала бы от него необыкновенно прочувствованных и даже чуточку влюбленных писем.

— Он и вам писал?

— Он любит писать.

— Сейчас же покажите мне эти письма, я вам приказываю.— И г-н де Реналь вдруг точно сразу вырос футов на шесть.

— Нет, во всяком случае, не сейчас,— отвечала она необыкновенно спокойно, чуть ли даже не беззаботно.— Я их вам покажу как-нибудь в другой раз, когда вы будете настроены более рассудительно.

— Сию же минуту, черт подери! — рявкнул г-н де Реналь, уже совсем не владея собой, а вместе с тем с таким чувством облегчения, какого он не испытывал ни разу за эти двенадцать часов.

— Обещайте мне,— проникновенным голосом сказала г-жа де Реналь,— что вы не станете затевать ссору с директором из-за этих писем.

— Ссора там или не ссора, а я могу отнять у него подкидышей,— продолжал он с той же яростью.— Но я требую, чтобы вы немедленно подали мне эти письма, сейчас же. Где они?

— В ящике моего письменного стола, но все равно я ни за что не дам вам ключа.

— Я и без ключа до них доберусь! — закричал он, бросившись чуть ли не бегом в комнату жены.

И он действительно взломал железным прутом дорогой письменный столик узорчатого красного дерева, привезенный из Парижа, который он сам не раз протирал полой собственного сюртука, едва только замечал на нем пятнышко.

Госпожа де Реналь бросилась на голубятню и, бегом взбежав по всем ста двадцати ступенькам лестницы, привязала за уголок свой белый носовой платочек к железной решетке маленького оконца. Она чувствовала себя счастливейшей из женщин. Со слезами на глазах всматривалась она в густую чащу леса на горе. «Наверно, под каким-нибудь из этих развесистых буков стоит Жюльен,— говорила она себе,— и стережет этот счастливый знак». Долго она стояла, прислушиваясь, и кляла про себя немолчное верещание кузнечиков и щебет птиц. Если бы не этот несносный шум, до нее, может быть, донесся бы оттуда, с высоких утесов, его радостный крик. Жадным взором окидывала она эту громадную, ровную, как луг, темно-зеленую стену, которую образуют собой вершины деревьев. «И как это он только не догадается! — растроганно шептала она.— Придумал бы уж какой-нибудь знак, дал бы мне понять, что он так же счастлив, как и я». Она ушла с голубятни только тогда, когда уже стала побаиваться, как бы муж не заглянул сюда, разыскивая ее.

Она нашла его все в том же разъяренном состоянии: он торопливо пробегал слащавые фразочки г-на Вально, вряд ли когда-либо удостаивавшиеся того, чтобы их читали с таким волнением.

Улучив минуту, когда восклицания мужа позволили ей вставить несколько слов, г-жа де Реналь промолвила:

— Я все-таки возвращаюсь к моему предложению: надо, чтобы Жюльен на время уехал. Как бы он ни был сведущ в латыни, в конце концов, это простой крестьянин, сплошь и рядом грубый, бестактный. Каждый день, считая, по-видимому, что этого требует вежливость, он преподносит мне самые невероятные комплименты дурного вкуса, которые он выуживает из каких-нибудь романов...

— Он никогда не читает романов! — воскликнул г-н де Реналь.— Это я наверно знаю. Вы думаете, я слепой и не вижу, что у меня делается в доме?

— Ну, если он не вычитал где-нибудь эти дурацкие комплименты, значит, он сам их придумывает. Еще того лучше! Возможно, он в таком же тоне говорит обо мне и в Верьере...

А впрочем, к чему далеко ходить? — прибавила г-жа де Реналь, точно ей это только что пришло в голову.— Достаточно, если он говорил со мной так при Элизе,— это почти все равно, как если бы он говорил при господине Вально.

— А-а! — вдруг завопил г-н де Реналь, обрушивая на стол такой мощный удар кулака, что все в комнате задрожало.— Да ведь это напечатанное анонимное письмо и письма Вально написаны на одной и той же бумаге!

«Наконец-то...» — подумала г-жа де Реналь. Сделав вид, что совершенно ошеломлена этим открытием, и чувствуя, что она уже больше не в состоянии выдавить из себя ни слова, она прошла в глубину комнаты и села на диван.

С этой минуты битву можно было считать выигранной; ей стоило немало труда удержать г-на де Реналя, порывавшегося немедленно отправиться к предполагаемому автору анонимного письма и потребовать у него объяснений.

— Ну, как вы не понимаете, что устроить сейчас сцену господину Вально, не имея достаточных доказательств, было бы в высшей степени неразумно? Вам завидуют, сударь, а кто виноват в этом? Ваши таланты, ваше мудрое управление, ваш тонкий вкус, о котором свидетельствуют построенные вами здания, приданое, которое я вам принесла, а в особенности то довольно крупное наследство, которое нам достанется от моей милой тетушки,— о нем, как вы знаете, ходят весьма преувеличенные слухи... Так вот все это, разумеется, и делает вас первым лицом в Верьере.

— Вы забываете о моем происхождении,— слегка усмехнувшись, сказал г-н де Реналь.

— Вы один из самых знатных дворян в округе,— с готовностью подхватила г-жа де Реналь.— Если бы у короля были развязаны руки и он мог бы воздавать должное происхождению, вы, разумеется, были бы уже в палате пэров и все прочее. И вот, занимая такое блестящее положение, вы хотите дать завистникам повод для пересудов?

Затеять разговор с господином Вально об его анонимном письме — это значит распространить по всему Верьеру, да что я говорю,— по всему Безансону и даже по всему департаменту, что этот ничтожный буржуа, которого неосмотрительно приблизил к себе один из Реналей, сумел оскорбить его. Да если бы даже эти письма, которые сейчас попали вам в руки, дали вам основания думать, что я отвечала на любовь господина Вально, вам бы следовало убить меня,— я бы это стократ заслуживала,— но ни в коем случае не обнаруживать перед

ним своего гнева. Не забудьте, что все ваши соседи только того и ждут, чтобы отомстить вам за ваше превосходство: вспомните, что в тысяча восемьсот шестнадцатом году вы содействовали некоторым арестам. Тот беглец, которого поймали на крыше...

— Я вижу, у вас нет ни уважения, ни привязанности ко мне! — воскликнул г-н де Реналь с горечью, которую вызывали в нем такие воспоминания.— И меня так и не сделали пэром!

— Я думаю, друг мой,— с улыбкой отвечала г-жа де Реналь,— что я когда-нибудь буду богаче вас, что я ваша супруга вот уже двенадцать лет и что в силу всего этого я должна иметь голос в доме, а особенно в этой сегодняшней истории. Если вы предпочитаете мне какого-то господина Жюльена,— прибавила она явно обиженным тоном,— я готова уехать и провести зиму у моей тетушки.

Эта фраза была сказана как нельзя более удачно. В ней чувствовалась непреклонность, едва прикрытая вежливостью, она заставила г-на де Реналя решиться. Однако, по провинциальному обычаю, он долго еще продолжал говорить, снова и снова приводя все свои доводы. Жена не мешала ему выговориться — в голосе его все еще прорывалась злоба. Наконец эта пустопорожняя болтовня, продолжавшаяся целых два часа, довела до полного изнеможения супруга, который всю ночь провел, беснуясь от ярости. Он решил твердо и бесповоротно, каким образом ему следует вести себя по отношению к г-ну Вально, Жюльену и даже к Элизе.

Раз или два во время этой тягостной сцены г-жа де Реналь чуть было не прониклась сочувствием к несомненно искреннему горю этого человека, который на протяжении двенадцати лет был ее другом. Но истинная страсть эгоистична. К тому же она с минуты на минуту ждала, что он расскажет ей об анонимном письме, которое получил накануне, но он так и не признался в этом. А г-жа де Реналь не могла чувствовать себя в полной безопасности, не зная, какие мысли могло внушить это письмо человеку, от которого зависела ее судьба. Ибо в провинции общественное мнение создают мужья. Муж, который жалуется на жену, делается посмешищем, но это с каждым днем становится все менее опасным во Франции, тогда как жена, если муж не дает ей денег, опускается до положения поденщицы, зарабатывающей пятнадцать су в день, да еще иные добрые души задумываются, можно ли пользоваться ее услугами.

Как бы сильно одалиска в серале ни любила своего султана, он всемогущ, у нее нет никакой надежды вырваться

из-под его ига, к каким бы уловкам она ни прибегала. Месть ее господина свирепа, кровава, но воинственна и великодушна: удар кинжала — и конец всему. Но в XIX веке муж убивает свою жену, обрушивая на нее общественное презрение, закрывая перед ней двери всех гостиных.

Вернувшись к себе, г-жа де Реналь сразу почувствовала всю опасность своего положения; ее совершенно ошеломил разгром, учиненный в ее комнате. Замки на всех ее изящных шкатулках и ларчиках были взломаны, несколько плит паркета были выворочены вовсе. «Нет, он бы меня не пощадил,— подумала она.— Испортить так этот паркет цветного дерева! А ведь он так дрожал над ним! Стоило кому-нибудь из детей войти сюда с улицы с мокрыми ногами, он весь багровел от ярости. А теперь паркет испорчен вконец!» Зрелище этого свирепого буйства мигом уничтожило все угрызения совести, которые пробудила в ней слишком скорая победа.

За несколько минут до обеда явился Жюльен с детьми. За десертом, когда слуги удалились из комнаты, г-жа де Реналь сказала ему весьма сухим тоном:

— Вы не раз говорили мне о вашем желании отправиться недели на две в Верьер. Господин де Реналь согласен дать вам отпуск. Можете ехать, когда вам будет угодно. Но чтобы время у детей не пропадало даром, вам каждый день будут посылать их письменные работы, и вы будете их проверять.

— И, разумеется,— резко добавил г-н де Реналь,— я отпускаю вас не более чем на неделю.

Жюльен заметил беспокойство на его лице: видно было, что он глубоко озабочен.

— Он, по-видимому, еще не принял окончательного решения,— шепнул он своей возлюбленной, когда они на минутку остались одни в гостиной.

Госпожа де Реналь торопливо пересказала ему все, что произошло до обеда.

— А подробности сегодня ночью,— смеясь, добавила она.

«Вот оно, женское коварство,— подумал Жюльен.— С какой радостью они нас обманывают, с какой легкостью!»

— Мне кажется,— довольно едко сказал он,— что хоть вы и ослеплены вашей любовью, она вместе с тем изрядно просветила вас: вашим сегодняшним поведением можно прямо восхищаться. Но вряд ли было бы благоразумно видеться сегодня ночью. Мы здесь окружены врагами. Подумайте, какой жгучей ненавистью ненавидит меня Элиза.

— Эта ненависть очень похожа на то жгучее равнодушие, которое вы, по-видимому, питаете ко мне.

— Будь я даже равнодушен, я все же обязан уберечь вас от опасности, которая грозит вам из-за меня. Легко может случиться, что господину де Реналю взбредет на ум поговорить с Элизой,— он с первых же слов узнает от нее все. После этого почему бы ему не спрятаться около моей двери с оружием в руках и...

— Вот как! Значит, даже смелости не хватает! — сказала г-жа де Реналь с высокомерием благородной дамы.

— Я никогда не унижусь до того, чтобы говорить о своей смелости,— невозмутимо ответил Жюльен.— По-моему, это просто низость. И судить об этом должно по делам. А вы,— добавил он, беря ее за руку,— даже не представляете себе, до чего я к вам привязан, до какой степени дорожу возможностью проститься с вами перед этой жестокой разлукой.

XXII

ТАК ПОСТУПАЮТ В 1830 ГОДУ

Слово дано человеку, чтобы скрывать свои мысли.

Преподобный отец Малаграда.

Едва Жюльен очутился в Верьере, как он уже начал упрекать себя за свою несправедливость по отношению к г-же де Реналь. «Я презирал бы ее как никчемную бабенку, если бы она не выдержала и не довела до конца эту сцену с господином де Реналем. Она выпуталась из этого, как истый дипломат, а я проникаюсь сочувствием к побежденному, к моему врагу. В этом есть что-то подленькое, мещанское; мое самолюбие задето, ибо господин де Реналь — мужчина. Великое и обширное сословие, к коему имею честь принадлежать и я! Ах я болван!»

Господин Шелан отказался от всех квартир, которые наперебой предлагали ему самые почтенные местные либералы, когда он, будучи смещен, вынужден был покинуть свой приходский дом. Две комнатки, которые он теперь нанимал, были завалены его книгами. Жюльен, желая показать Верьеру пример, достойный священника, пошел к отцу, взял у него дюжину еловых досок и тащил их на собственных плечах через всю

Большую улицу. Он достал инструменты у одного из своих прежних приятелей и смастерил что-то вроде библиотечного шкафа, куда и убрал книги г-на Шелана.

— А я уж думал, что тебя совсем совратила мирская суета,— прослезившись от радости, говорил ему старик-кюре.— Ну вот, теперь ты вполне искупил свое мальчишество — этот парад в мундире почетной стражи, которым ты нажил себе столько врагов.

Господин де Реналь приказал Жюльену жить у него в доме. Никто не подозревал о том, что произошло. На третий день после своего приезда Жюльен, сидя у себя в комнате, удостоился визита не кого иного, как самого г-на помощника префекта де Можирона. Целых два часа выслушивал Жюльен бессмысленную болтовню и высокопарные жалобы на людскую злобу, на отсутствие честности у людей, которым вверено управление казенными средствами, на то, каким опасностям подвергается через это бедная Франция, и т. д., и т. д., пока, наконец, не начал смутно догадываться об истинной цели этого визита. Они уже вышли на площадку лестницы, и бедный, наполовину разжалованный гувернер с должным почтением распрощался с будущим префектом некоего счастливого департамента, когда сей последний соизволил проявить неожиданный интерес к делам Жюльена и стал превозносить его необычайную скромность в отношении денег, и т. д., и т. д. Наконец, заключив его в свои объятия с истинно отеческой нежностью, г-н де Можирон предложил ему оставить дом г-на де Реналя и перейти на службу к одному чиновнику, детей которого надобно воспитать и который, подобно королю Филиппу, благодарил небо не столько за то, что оно ему их даровало, сколько за то, что оно дозволило им родиться в ближайшем соседстве с г-ном Жюльеном. «Наставнику их положили бы там восемьсот франков, и платили бы не помесячно,— что за срам такой,— говорил г-н де Можирон,— а за четверть года, и всякий раз вперед».

Тут, наконец, наступила очередь Жюльена, который уже целых полтора часа дожидался с тоской, когда ему можно будет вставить хоть слово. Ответ его был поистине великолепен, а главное, многословен, совсем как епископское послание. Он позволял предположить все, а вместе с тем не говорил ничего положительного. В нем было и глубокое уважение к г-ну де Реналю, и благоговейное почитание верьерского общества, и признательность достославному господину помощнику префекта. Помощник префекта, искренне удивленный тем, что столкнулся с человеком, который еще более иезуит, чем он сам,

тщетно пытался добиться от него чего-нибудь более определенного. Жюльен, в восторге от того, что ему выпал случай поупражняться, продолжал отвечать в том же роде, но в несколько иных выражениях. Никогда еще ни одному краснобаю-министру, которому хочется мирно довести до конца заседание, когда в палате, того и гляди, разгорятся страсти, не удавалось наговорить так много и при этом так мало сказать. Едва за г-ном де Можироном закрылась дверь, как Жюльен принялся хохотать, как сумасшедший. Чтобы не потерять даром обуявший его иезуитский пыл, он написал г-ну де Реналю письмо на девяти страницах, где подробно сообщал все, что ему предложили, и смиренно просил совета. «Однако этот мошенник так и не назвал мне лицо, которое делает мне это предложение. Должно быть, это господин Вально, который рассматривает мою ссылку в Верьер как результат своего анонимного послания».

Отправив свое письмо, довольный, словно охотник, который часов в шесть утра в ясный осенний день попадает на полянку, полную дичи, Жюльен вышел из дому с намерением попросить совета у г-на Шелана. Но не успел он дойти до добряка-кюре, как провидение, приберегавшее для него к этому дню свои милости, послало ему навстречу самого г-на Вально, которому Жюльен тут же признался, что у него прямо душа разрывается: вот он такой бедняк, так жаждет посвятить себя тому призванию, к которому чувствует себя предназначенным свыше, а выходит, призвание — еще далеко не все в этом жалком мире. Для того, чтобы честно трудиться в вертограде господнем и не оказаться уж совсем недостойным своих ученых собратий, необходимо образование: надо два года учиться в безансонской семинарии, что не дешево стоит; а из этого следует, что необходимо и даже, можно сказать, в некотором роде вменяется в долг прикопить деньжонок, что, разумеется, много легче сделать, если получать, скажем, восемьсот франков, которые выплачиваются по четвертям, нежели шестьсот, которые расходятся у тебя из месяца в месяц. А с другой стороны, если провидение позаботилось устроить его к юным Реналям и вложило ему в сердце такую привязанность к ним, разве оно не указывает ему тем самым, что он не должен покидать их, не должен переходить на другое место...

Жюльен достиг столь высокой степени совершенства в подобного рода красноречии, пришедшем на смену решительным действиям времен Империи, что ему, наконец, самому стало тошно от своих разглагольствований.

Когда он вернулся домой, его уже дожидался лакей г-на Вально в парадной ливрее; он разыскивал его по всему городу, чтобы вручить ему приглашение на сегодняшний обед.

Жюльен еще никогда не бывал в доме этого господина; всего лишь несколько дней тому назад он только и мечтал, как бы угостить его палкой, да покрепче, и при этом не попасться в лапы исправительной полиции. Хотя обед был назначен на час дня, Жюльен счел более почтительным явиться в кабинет господина директора дома призрения в половине первого. Он застал его важно восседающим перед грудой разложенных на столе папок с делами. Его громадные черные баки, невероятная шевелюра, феска, напяленная на макушку, огромная трубка, вышитые туфли, толстенные золотые цепочки, перекрещивавшиеся в разных направлениях на его груди,— весь этот арсенал провинциального денежного туза, мнящего себя неотразимым победителем женских сердец, отнюдь не внушил почтения Жюльену,— наоборот, еще больше подстрекнул в нем охоту съездить его как следует палкой.

Он попросил, чтобы ему оказали честь и представили г-же Вально, но она занималась своим туалетом и не могла его принять. Зато ему было доставлено удовольствие присутствовать при туалете самого г-на директора. После этого они проследовали к г-же Вально, которая со слезами на глазах представила Жюльену своих деток. Эта дама, одна из самых влиятельных особ в Верьере, обладала грубой мужеподобной физиономией, которую она ради торжественного случая густо нарумянила. Она позаботилась пустить в ход весь свой материнский пафос.

Жюльен вспоминал г-жу де Реналь. Его недоверчивость мешала ему предаваться воспоминаниям, если не считать тех случаев, когда они возникали невольно, по противопоставлению, но тут он совсем растрогался. Это состояние еще усилилось тем, что́ он увидел в доме директора: его заставили обойти весь дом. Все здесь было великолепно, все только что из магазина, новехонькое, и ему тут же сообщали стоимость каждого предмета. Но Жюльен во всем этом видел что-то гнусное, от всего пахло краденными деньгами, и все в доме, вплоть до слуг, точно старались оградить себя от презрения.

Сборщик налогов, податной инспектор, жандармский офицер и еще двое или трое чиновников пожаловали со своими женами. За ними следом явилось несколько богатеньких либералов. Позвали к столу. Жюльен уже был в самом отвратительном настроении, а тут еще ему пришло в голову, что бок о бок

с этой столовой, за стеной, сидят несчастные призреваемые и на их-то скудном пайке, должно быть, и *загребали денежки* для приобретения всей этой безвкусной роскоши, которой его сейчас хотели ошеломить.

«Должно быть, они голодные сейчас»,— подумал он, и у него сдавило горло; он был не в силах заставить себя проглотить ни куска и даже почти не мог говорить. Но спустя примерно четверть часа он почувствовал себя еще хуже. Издали время от времени стали доноситься обрывки уличной песенки, и, надо сознаться, песенки малопристойной; ее распевал кто-то из этих несчастных затворников. Г-н Вально посмотрел на одного из своих ливрейных лакеев; тот мигом исчез, и через минуту пение прекратилось. Как раз в это время другой лакей подносил Жюльену рейнвейн в зеленой рюмке, и г-жа Вально не преминула сообщить Жюльену, что вино это стоит на месте девять франков бутылка. Жюльен поднял зеленую рюмку и сказал г-ну Вально:

— Там перестали петь эту гнусную песню.

— Еще бы, черт возьми,— с победоносным видом ответил директор.— Я приказал замолчать этой голытьбе.

Это было уже слишком для Жюльена: он вполне усвоил подобающие этому кругу манеры, но чувствами его он еще далеко не проникся. Несмотря на все свое лицемерие, к которому он так часто прибегал, он почувствовал, как по щеке у него покатилась крупная слеза.

Он постарался укрыться за зеленой рюмкой, но был совершенно не в состоянии оказать честь рейнскому вину. «*Не давать петь*,— повторял он про себя.— Боже мой! И ты это терпишь!»

К счастью, никто не заметил, что он так неприлично расчувствовался. Сборщик налогов затянул роялистскую песню. Когда все хором подхватили припев, совесть Жюльена стала нашептывать ему: «Вот оно — это грязное богатство, которого и ты можешь достигнуть и наслаждаться им, но только на таких вот условиях, не иначе как в этакой компании. Возможно, ты заполучишь местечко в двадцать тысяч франков, но в то время как сам ты будешь обжираться говядиной, ты будешь запрещать петь бедному узнику; ты будешь закатывать обеды на деньги, которые уворуешь из его жалкого пайка, и когда ты будешь пировать, он будет еще несчастней. О Наполеон! Как прекрасно было твое время, когда люди завоевывали себе положение на поле битвы! Но пробиваться подлостью, увеличивая страдания бедняков...»

Должен сознаться, что слабость, обнаруженная Жюльеном в этом монологе, внушает мне весьма неважное мнение о нем. Он был бы достойным собратом тех заговорщиков в желтых перчатках, которые желают перевернуть весь жизненный уклад большой страны, но не хотят иметь на совести ни малейшей царапинки.

Внезапно Жюльен был вынужден снова вернуться к своей роли. Ведь не для того, чтобы мечтать да сидеть, не говоря ни слова, позвали его обедать в таком изысканном обществе.

Бывший фабрикант набоек, ныне член-корреспондент Безансонской и Юзесской академий, обратился к нему с другого конца стола с вопросом: правда ли то, что говорят кругом о его удивительных успехах по части изучения Нового завета?

Сразу воцарилась глубокая тишина. Новый завет на латинском языке словно по волшебству оказался в руках ученого члена двух академий. Едва Жюльен успел ему ответить, как тот, открыв наугад книгу, прочел начало первой попавшейся латинской фразы. Жюльен продолжал ее наизусть. Память не изменила ему, и это чудо вызвало всеобщее восхищение, проявившееся с весьма шумной горячностью, подобающей концу обеда. Жюльен смотрел на раскрасневшиеся лица дам,— некоторые из них были весьма недурны. Он остановился взглядом на жене сборщика, голосистого запевалы.

— Мне, право, стыдно говорить так долго по-латыни перед дамами,— сказал он, глядя на нее.— Если бы господин Рюбиньо (это был член двух академий) был так любезен, что прочел бы наудачу какую-нибудь латинскую фразу, я попробовал бы, вместо того чтобы продолжать ее дальше, перевести ее тут же на французский.

Это второе испытание доставило ему еще больший успех.

Среди гостей было несколько богатых либералов, однако эти счастливые отцы семейств рассчитывали получить стипендии для своих детей и по этой причине, поддавшись гласу духовного увещевания, внезапно обратились в сторонников правительства. Но, несмотря на этот весьма тонкий политический ход, г-н де Реналь не желал принимать их у себя. Эти добрые люди, которые знали Жюльена только понаслышке и видели его всего лишь раз, когда он красовался верхом на коне в день встречи короля, теперь оказались его самыми пылкими почитателями. «Когда же этим остолопам надоест, наконец, слушать библейский язык, в котором они ровно ничего не смыслят?» — думал

он. Но выходило наоборот: язык этот забавлял их своей необычностью: они хохотали. Жюльену это надоело.

Едва часы пробили шесть, он степенно поднялся и сказал, что ему еще предстоит выучить целую главу из новой теологии Лигуори, которую он должен завтра отвечать г-ну Шелану.

— Ибо ремесло мое,— приятно улыбаясь, добавил он,— заключается в том, чтобы заставлять отвечать мне уроки и самому отвечать уроки.

Все очень смеялись и были в полном восторге: остроумие такого рода во вкусе Верьера. Жюльен уже стоял, и вопреки всем правилам светских приличий все поднялись со своих мест — таково могущество истинного таланта. Г-жа Вально задержала его еще на четверть часа: он непременно должен был послушать, как дети отвечают наизусть катехизис; они делали самые невероятные ошибки, но, кроме него, никто этого не заметил. Он не счел нужным их поправлять. «Какое невежество — не знать самых основных правил закона божия!» — подумал он. Наконец он раскланялся и уже надеялся ускользнуть, однако пришлось вытерпеть еще и басню Лафонтена.

— Это чрезвычайно безнравственный автор,— заявил Жюльен г-же Вально.— В известной басне о мессире Жане Шуаре он позволяет себе издеваться надо всем, что есть достойного в мире. Его очень резко осуждают самые серьезные комментаторы.

Прежде чем уйти, Жюльен получил четыре или пять приглашений на обед. «Да этот юноша просто слава нашего департамента!» — хором восклицали гости, сильно навеселе. Договорились даже до того, чтобы выделить для него особым постановлением некий пенсион из общественных сумм, дабы дать ему возможность закончить свое образование в Париже.

Покуда эта неосторожная идея обсуждалась на все лады в столовой, Жюльен уже успел выйти за ворота. «Ну и сволочь, сволочь!» — тихонько воскликнул он три-четыре раза подряд, с наслаждением вдыхая свежий воздух.

В эту минуту он чувствовал себя истинным аристократом — это он-то, который так долго не мог привыкнуть к презрительным улыбкам и чванливому высокомерию, скрывавшемуся за всеми учтивыми любезностями, какие расточались ему в доме г-на де Реналя. Теперь уж он не мог не почувствовать огромной разницы между этими домами. «Забудем даже о краденых деньгах,— рассуждал он дорогой,— отнятых у этих несчастных заключенных, которым еще вдобавок запрещают петь. Никогда бы господину де Реналю не пришло в голову объявлять своим

гостям цену каждой бутылки вина, которым он их угощает. А этот Вально, он просто не в состоянии удержаться от постоянного перечисления своих богатств, и когда он говорит о своем доме, о своей усадьбе, и прочее, и прочее,— если тут оказывается его жена, он непременно считает своим долгом сказать: «*Твой* дом, *твоя* усадьба».

Эта дама, по-видимому, до того наслаждается чувством собственности, что даже не постеснялась устроить безобразный скандал за обедом: изругала лакея, который разбил рюмку и *разрознил одну из ее дюжин*, и лакей этот ответил ей с невероятным нахальством.

Ну и компания! Да если бы даже они мне дали половину того, что они крадут, я бы и то не согласился жить с ними. В один прекрасный день я бы непременно чем-нибудь себя выдал: я бы не выдержал, не смог бы не обнаружить того презрения, которое они мне внушают».

Тем не менее, следуя наставлениям г-жи де Реналь, ему все-таки пришлось еще несколько раз присутствовать на такого рода обедах. Жюльен вошел в моду; ему простили его мундир почетной стражи, а быть может, именно эта неосторожность и была истинной причиной его нынешних успехов. Вскоре в Верьере только и было разговоров, что о том, кто же в конце концов возьмет верх и перетянет к себе этого ученого молодого человека: г-н де Реналь или директор дома призрения? Эти господа вкупе с г-ном Малоном составляли триумвират, который уж немало лет тиранил весь город. Мэру завидовали, у либералов было немало причин жаловаться на него, но в конце концов он все-таки был дворянин и, так сказать, создан для превосходства, тогда как отец г-на Вально не оставил сыну и шестисот ливров ренты. И не так-то легко было в отношении к нему перейти от жалости, которую он когда-то внушал своей скверной одежонкой цвета недозрелого яблока, к той великой зависти, которую он теперь вызывал у всех своими нормандскими лошадьми, золотыми цепочками, сшитыми в Париже костюмами, всем своим нынешним благополучием.

Среди всех этих новых для него людей Жюльен нашел, как ему показалось, одного порядочного человека: это был математик по фамилии Гро, слывший якобинцем. Жюльен, поклявшийся себе, что будет высказывать вслух только то, что сам считал ложью, вынужден был остеречься следовать этому правилу при г-не Гро. Из Вержи Жюльену присылали толстые пакеты с письменными работами детей. Ему советовали почаще видеться с отцом, и он подчинялся этой тягостной необходи-

мости. Одним словом, он довольно успешно выправлял свою репутацию. Но вот однажды утром он внезапно проснулся, почувствовав прикосновение двух ручек, прикрывших ему глаза.

Это была г-жа де Реналь: она приехала в город и бегом взбежала по лестнице, чтобы хоть на минуту опередить детей, задержавшихся внизу со своим любимцем — ручным кроликом, которого они привезли с собой. Это была восхитительная минута, но, к сожалению, слишком уж короткая: г-жа де Реналь скрылась, как только дети ворвались в комнату, притащив с собой кролика, которого им не терпелось показать своему другу. Жюльен радостно встретил всех, даже кролика. Он словно очутился опять в своей семье; он чувствовал, что любит этих детей, что ему приятно болтать с ними. Его удивлял и приятный звук их голосов, и простота, и благородство, сквозившие во всех их детских замашках; он испытывал потребность очистить свою память от вульгарного тона, отвратительных поступков и суждений, ото всего того, что ему приходилось терпеть в Верьере. Здесь всегда и во всем чувствовался вечный страх что-то упустить, шла непрерывная схватка между роскошью и нищетой. Люди, у которых ему приходилось обедать, заводили разговор о жарком и пускались в такие унизительные для себя откровенности, что тошно было слушать.

— Нет, вам, родовитым людям, есть чем гордиться,— говорил он г-же де Реналь и описывал ей те обеды, которые ему пришлось претерпеть.

— Так вы, милый мой, в моде! — И она покатывалась со смеху, представляя себе г-жу Вально под густым слоем румян, которые та считала нужным накладывать каждый раз, когда ждала к себе Жюльена.— Должно быть, она покушается на ваше сердце,— заметила она.

За завтраком царило необыкновенное оживление. Дети, которые, казалось, должны были стеснять их, на самом деле только увеличивали общее веселье. Бедняжки не знали, как выразить свою радость, что они снова видят Жюльена. Слуги, разумеется, уже насплетничали им, что ему предлагают лишних двести франков, лишь бы он согласился *обучать* молодых Вально.

Неожиданно среди завтрака маленький Станислав-Ксавье, еще бледный после своей тяжелой болезни, спросил у матери, сколько стоит его серебряный прибор и маленькая серебряная кружечка, из которой он пил.

— А зачем тебе?

— Я их продам и отдам деньги господину Жюльену, чтобы он не остался *в дураках*, если будет жить у нас.

Жюльен бросился целовать его со слезами на глазах. Мать расплакалась, а Жюльен, взяв малыша на колени, начал объяснять ему, что не надо так говорить: *«остался в дураках»*,— что так только лакеи говорят. Видя, что его объяснения доставляют удовольствие г-же де Реналь, он начал придумывать разные забавные примеры, поясняющие, что значит *«остаться в дураках»*.

— Я понимаю,— сказал Станислав.— Это как ворона осталась в дураках: она сыр уронила, и лисица его схватила, а лисица-то была льстецом.

Госпожа де Реналь, не помня себя от счастья, то и дело бросалась целовать детей, а для этого ей надо было всякий раз немножко опереться на Жюльена.

Вдруг дверь распахнулась — вошел г-н де Реналь. Его суровая недовольная физиономия являла удивительный контраст с той теплой радостью, которая померкла, едва лишь он показался. Г-жа де Реналь побледнела: она чувствовала, что сейчас неспособна что-либо отрицать. Жюльен сразу завладел разговором и громко стал рассказывать мэру про серебряную кружечку, которую хотел продать Станислав. Он не сомневался, что мэру не понравится эта история. Сперва г-н де Реналь нахмурил брови просто по привычке, услышав слово «деньги». «Когда при мне упоминают о презренном металле,— обычно говорил он,— это всегда бывает предисловием к тому, чтобы вытянуть что-нибудь из моего кошелька».

Но на этот раз дело было не только в деньгах,— его подозрения усилились. Радостное оживление жены и детей в его отсутствие отнюдь не доставляло удовольствия человеку, одолеваемому столь щекотливым тщеславием. Жена стала с гордостью рассказывать ему, какие милые, остроумные примеры придумывает Жюльен, объясняя своим ученикам незнакомые им выражения.

— Да, да,— отвечал он,— вот так-то он и охлаждает любовь детей ко мне — ему ведь ничего не стоит быть для них во сто раз милее меня, ибо я для них, в сущности, начальство. Да, все у нас теперь, словно нарочно, идет к тому, чтобы выставить *законную* власть в отталкивающем виде. Несчастная Франция!

Но у г-жи де Реналь вовсе не было охоты разбираться во всех оттенках мрачного недовольства своего супруга. У нее мелькнула надежда провести с Жюльеном целых двенадцать часов. Ей надо было сделать массу всяких покупок в городе, и она заявила, что непременно хочет пообедать в кабачке; как ни возражал ее муж, как ни сердился, она не уступила. Дети при-

шли в полный восторг от одного слова «кабачок», которое наши современные скромники произносят с таким упоением.

Господин де Реналь покинул жену в первой же галантерейной лавке, в которую она зашла: ему необходимо было повидать кое-кого. Он вернулся еще более мрачным, чем был утром: он убедился, что весь город только и говорит, что о нем и о Жюльене. На самом же деле еще ни одна душа не решилась намекнуть ему на кое-какие обидные для него подробности городских сплетен. Все, что передавали г-ну мэру, имело касательство только к одному интересующему всех вопросу: останется ли Жюльен у него на шестистах франках или уйдет на восемьсот к директору дома призрения.

Сей директор, повстречав г-на де Реналя в обществе, напустил на себя *ледяной вид*. Это был прием, не лишенный ловкости: в провинции так редка опрометчивость, так редки бросающиеся в глаза поступки, что их потом разбирают, переворачивают и толкуют на все лады.

Господин Вально был то, что за сто лье от Парижа называют *пройдохой;* бывают такие натуры — наглые и бесстыжие от природы. Его преуспеяние начиная с 1815 года помогло развернуться этим прекрасным качествам. Он, можно сказать, прямо царствовал в Верьере под началом г-на де Реналя, но, будучи намного энергичнее его и ничем не брезгуя, он во все совался, вечно носился туда-сюда, кому-то писал, с кем-то говорил, не считался ни с какими унижениями и, отнюдь ни на что не претендуя, ухитрился в конце концов сильно поколебать авторитет своего мэра в глазах церковных властей. Г-н Вально действовал так: он обращался к местным лавочникам и говорил: «Выберите мне двух завзятых дураков из вашей среды»; к судейским людям: «Выберите мне двух первоклассных невежд»; к лекарям: «Укажите мне двух самых отчаянных шарлатанов». А когда он таким образом собрал самую шваль от каждого ремесла, он предложил им: «Давайте царствовать вкупе».

Повадки этой компании задевали г-на де Реналя. Хамская натура Вально переносила все, даже публичные обличения, которыми его угощал аббат Малон.

Но посреди всего этого благоденствия г-ну Вально было все же необходимо время от времени ограждать себя кое-какими безобидными щелчками от тех обидных истин, которые всякий — и он прекрасно знал это — имел право бросить ему в лицо. Опасения, вызванные приездом г-на Аппера, удвоили его энергию. Он три раза ездил в Безансон; с каждой почтой отсылал целую кучу писем, а кое-что отправлял с какими-то неизвест-

ными субъектами, являвшимися к нему в сумерках. Он, пожалуй, несколько ошибся, добившись в свое время смещения престарелого кюре Шелана, ибо этот акт мести привел к тому, что многие богомольные дамы из высшей знати стали считать его форменным негодяем. Кроме того, эта оказанная ему услуга поставила его в полную зависимость от старшего викария де Фрилера, он стал получать от него престранные поручения. Вот как обстояли его дела, когда он, поддавшись искушению, доставил себе удовольствие сочинить анонимное послание. А тут еще, в довершение всего, супруга его заявила, что она непременно желает взять к детям Жюльена. И тщеславие г-на Вально прельстилось этой затеей.

При таком положении вещей г-н Вально чувствовал, что ему не избежать решительного объяснения со своим бывшим соратником г-ном де Реналем. Разумеется, тот наговорит ему всяких неприятностей. Это мало беспокоило г-на Вально, но г-н де Реналь мог написать в Безансон и даже в Париж. Того и гляди, в Верьер неожиданно нагрянет какой-нибудь племянник министра и отнимет у него дом призрения. Г-н Вально стал подумывать о том, что недурно было бы сблизиться с либералами,— вот почему кое-кто из них получил приглашение на тот обед, на котором блеснул Жюльен. Они, безусловно, могли стать для него мощной опорой против мэра. Ну, а что, если состоятся выборы,— тут уж было само собой ясно, что сохранить дом призрения и голосовать не за того, за кого следует,— вещи совершенно несовместимые. Г-жа де Реналь превосходно разбиралась во всей этой хитрой политике, и пока они под руку с Жюльеном переходили из одной лавки в другую, она все это ему подробно рассказала; увлекшись разговором, они незаметно для себя очутились в Аллее Верности, и там они провели несколько часов почти так же безмятежно, как бывало в Вержи.

Между тем г-н Вально, желая как-нибудь увильнуть от решительного объяснения со своим прежним патроном, принял, встретившись с ним, весьма заносчивый вид. Этот маневр на сей раз удался, но весьма усилил мрачное недовольство господина мэра.

Невозможно представить себе более жалкое состояние, чем то, до которого довела г-на де Реналя эта борьба между тщеславием и самой мелочной, жадной и ненасытной привязанностью к деньгам. И никогда еще не видел он своих детей такими веселыми и довольными, как в этот день, когда вошел в кабачок. Этот контраст совсем обозлил его.

— Я, по-видимому, лишний в семье,— сказал он, стараясь придать внушительность своему голосу.

В ответ на это жена, понизив голос, снова заговорила о том, что необходимо удалить Жюльена. Счастливые часы, которые она провела с ним, возвратили ей уверенность и твердость, необходимые для того, чтобы осуществить то, что она задумала уже две недели назад. Несчастного мэра, помимо прочего, удручало еще одно обстоятельство: он отлично знал, что в городе открыто подшучивают над его пристрастием к презренному металлу. Г-н Вально, щедрый, как все воры, блестяще показал себя во время последних сборов доброхотных даяний в пользу братства св. Иосифа, в пользу конгрегации Пресвятой девы, конгрегации Святого причастия, и т. п., и т. п.

Имя г-на де Реналя в списке местных помещиков, ловко составленном братьями-сборщиками в порядке размера даяний, не раз значилось на самом последнем месте. Тщетно оправдывался он тем, будто у него *нет доходов*. Святые отцы такими вещами не шутят.

XXIII

ОГОРЧЕНИЯ ЧИНОВНИКА

> Il piacere di alzar la testa tutto l'anno è ben pagato da certi quarti d'ora che bisogna passar.
>
> *Casti* [1].

Но предоставим этому человеку возиться с его жалкими опасениями; кто же виноват, что он взял к себе в дом мужественного, благородного человека, когда ему требовалась лакейская душонка? Кто виноват, что он не умеет выбирать своих слуг? Так уж оно заведено в XIX веке: если некая могущественная, знатная особа сталкивается с мужественным человеком, она либо убивает его, либо отправляет в изгнание, в тюрьму, или подвергает таким униженьям, что тот ничего умнее придумать не может, как умереть от горя. Случайно здесь вышло так, что страдания пока что достаются не на долю мужественного человека. В том-то и все несчастье маленьких французских городков, а также и выборных правительственных органов, как, например, скажем, в Нью-Йорке, что нет никакой возмож-

[1] Удовольствие ходить весь год, важно задрав голову, стоит того, чтобы помучиться каких-нибудь четверть часа. *Касти (итал.)*.

ности забыть о том, что в мире существуют личности, подобные г-ну де Реналю. В городке, где всего двадцать тысяч жителей, именно эти-то люди создают общественное мнение, а общественное мнение в стране, которой дана хартия,— это поистине нечто страшное. Человек с благородной, отважной душой, казалось бы, мог стать вашим другом, но он живет от вас на расстоянии сотни лье и судит о вас по тому, как относится к вам общественное мнение вашего городка, а оно создается глупцами, которым выпало счастье родиться знатными, богатыми и благонамеренными. Горе тому, кто от них отличается!

Сразу же после обеда все семейство уехало в Вержи, но уже через два дня Жюльен снова увидел их всех в Верьере.

Не прошло и часа после их приезда, как он, к своему крайнему удивлению, заметил, что г-жа де Реналь что-то от него скрывает. Едва он входил в комнату, как она сразу обрывала разговор с мужем и словно дожидалась, чтобы он ушел. Жюльен тотчас же позаботился, чтобы это больше не повторялось. Он сразу стал держаться холодно и сдержанно; г-жа де Реналь заметила это, но не стала доискиваться причины. «Уж не собирается ли она найти мне преемника? — подумал Жюльен.— А ведь еще только позавчера как она была нежна со мной! Но, говорят, знатные дамы всегда так поступают. Это как у королей: никогда они не бывают так милостивы к своему министру, как в тот день, когда он, вернувшись домой, находит у себя указ о своей опале».

Жюльен заметил, что в этих разговорах, которые так резко обрывались при его появлении, постоянно упоминалось об одном большом доме, принадлежащем городу Верьеру; это был старый, но удобный и просторный дом, который стоял как раз напротив церкви, на самом бойком торговом месте. «Но какая может быть связь,— размышлял Жюльен,— между этим домом и новым любовником?» И он в огорчении повторял про себя прелестную песенку Франциска I, которая для него была новинкой, ибо не прошло еще месяца, как он узнал ее от г-жи де Реналь. А какими клятвами, какими ласками опровергалась тогда каждая строчка этой песенки:

Красотки лицемерят,
Безумен, кто им верит.

Господин де Реналь отправился на почтовых в Безансон. Поездка эта, по-видимому, была решена в каких-нибудь два часа; у мэра был чрезвычайно озабоченный вид. Вернувшись, он швырнул на стол толстый сверток в серой бумажной обертке.

— Вот она, эта дурацкая история,— пробурчал он жене.

Через час Жюльен увидал, как человек, расклеивавший объявления, пришел и унес с собой этот огромный сверток; он тотчас же бросился за этим человеком. «Вот я сейчас узнаю, в чем секрет, на первом же углу».

Он стоял и с нетерпением ждал, пока наклейщик намазывал своей толстой кистью оборотную сторону объявления. Едва только он наклеил его на стену, как Жюльен, сгоравший от любопытства, увидел чрезвычайно подробное объявление о сдаче внаем с публичных торгов того самого старого дома, о котором так часто упоминалось в разговорах г-на де Реналя с женой.

Торги были назначены на завтра в два часа, в зале городской ратуши. Присуждение объявлялось действительным с того момента, когда погаснет третья свечка. Жюльен был ужасно разочарован, но все же ему показалось странным, что объявление вывешивают накануне торгов. Как же об этом успеют узнать все желающие принять в них участие? А впрочем, это объявление, помеченное истекшим числом двухнедельной давности, хоть он и прочел его от первого до последнего слова трижды, в разных местах, ровно ничего ему не объяснило.

Он отправился взглянуть, что это за дом. Привратник, не заметив его, с таинственным видом пояснял соседу:

— Э, что там! Напрасно стараться... Господин Малон обещал ему, что он получит его за триста франков. Мэр вздумал было артачиться,— так его сейчас же в епископат вытребовали, к старшему викарию де Фрилеру.

Появление Жюльена, по-видимому, сильно смутило друзей: они больше не промолвили ни слова.

Жюльен не преминул отправиться на торги. В еле освещенном зале толпилась масса народу, но все как-то странно приглядывались друг к дружке. Затем все взоры устремились к столу, где на оловянном блюде Жюльен увидел три маленьких зажженных огарка. Судебный пристав крикнул: «Триста франков, господа!»

— Триста франков! Совсем одурели...— тихонько сказал какой-то человек своему соседу. Жюльен случайно оказался между ними.

— Да ведь ему больше восьмисот цена. Ну-ка я дерну надбавку.

— Ну, что тебе за радость, скажи? Охота тебе злить господина Малона, господина Вально, епископа да еще этого старшего викария де Фрилера и всю эту шайку?

— Триста двадцать! — крикнул другой.

— Дурень! — выругался сосед.— А вот тут шпион мэра, гляди-ка,— добавил он, кивая на Жюльена.

Жюльен мигом обернулся, чтобы расправиться с обидчиком, но два приятеля франшконтейца уже не обращали на него ни малейшего внимания. Их хладнокровие передалось и ему. В этот момент последний огарок вспыхнул и потух, и тягучий голос судебного пристава объявил во всеуслышание, что дом передается на девять лет г-ну де Сен-Жиро, начальнику канцелярии префектуры, за триста тридцать франков.

Как только мэр вышел из зала, начались пересуды.

— Вот вам лишних тридцать франков в городскую казну, доход с глупости Грожо,— говорил один.

— Но господин де Сен-Жиро расправится с Грожо,— отвечали ему.— Он попомнит ему эти тридцать франков!

— Экая подлость! — говорил толстяк слева от Жюльена.— Да за такой дом я бы восемьсот дал, пустил бы его под свою фабрику, да еще в барышах остался бы.

— Что же вы хотите? — отвечал ему молодой фабрикант из либералов.— Ведь де Сен-Жиро — член конгрегации. Четверо детей, и все на стипендиях. Эдакий бедняк! Вот и пришлось накинуть ему на содержание пятьсот франков, только и всего.

— И подумать только, сам мэр ничего тут поделать не мог,— заметил третий.— А уж какой роялист лютый, дальше некуда, только вот разве что не ворует!

— Не ворует? — подхватил еще один.— Наша птичка не лапает, она на лету хапает! Да у них одна общая мошна, все туда валят, а к концу года поделят. Смотрите, вон тут Сорелев мальчишка, пойдем-ка отсюда по-хорошему.

Жюльен вернулся домой в самом скверном настроении; г-жа де Реналь сидела очень грустная.

— Вы с торгов? — спросила она.

— Да, сударыня, и меня там приняли за шпиона господина мэра.

— Ах, если бы он меня послушался и уехал куда-нибудь на это время!

В эту минуту вошел г-н де Реналь, чрезвычайно мрачный. За обедом никто не проронил ни слова. Г-н де Реналь велел Жюльену сопровождать детей в Вержи; ехали все невеселые. Г-жа де Реналь утешала мужа:

— Пора бы уж вам, друг мой, привыкнуть.

Вечером все молча уселись у камина; только потрескивание буковых поленьев нарушало тишину. Случается, что в

самых дружных семьях наступают такие тоскливые минуты. Вдруг один из мальчиков радостно закричал:

— Звонок! Звонок!

— А, черт! Если это господин де Сен-Жиро вздумал донимать меня под видом благодарности, так я ему выложу все, что думаю. Это уж слишком! В сущности, он всем обязан господину Вально, а я только скомпрометирован. Ну что, если проклятые якобинские газеты подхватят этот анекдотик и будут надо мной всячески потешаться?

Лакей распахнул дверь, и следом за ним в комнату вошел очень красивый господин с пышными черными баками.

— Господин мэр, я синьор Джеронимо. Вот письмо от кавалера де Бовези, атташе при неаполитанском посольстве; он передал мне его для вас в день моего отъезда, всего девять дней тому назад,— весело добавил синьор Джеронимо, поглядывая на г-жу де Реналь.— Синьор де Бовези, ваш кузен и мой близкий друг, сударыня, говорил, что вы знаете итальянский язык.

Веселый неаполитанец внес неожиданное оживление в этот скучный вечер. Г-жа де Реналь захотела непременно угостить его ужином. Она подняла весь дом на ноги, ей хотелось во что бы то ни стало заставить Жюльена забыть о том, что его сегодня дважды чуть не в лицо обозвали шпионом. Синьор Джеронимо, знаменитый певец, человек вполне светский, был вместе с тем очень веселым, жизнерадостным человеком,— ныне эти качества уже несовместимы во Франции. После ужина он спел с г-жой де Реналь маленький дуэт, а потом развлекал общество всякими занимательными рассказами. Когда в час ночи Жюльен сказал детям, что пора идти спать, они жалобно взмолились.

— Мы только еще немножко послушаем, последнюю историю! — сказал старший.

— Это история про меня, синьорино,— сказал синьор Джеронимо.— Восемь лет тому назад, когда я, как вы теперь, был учеником, я учился в Неаполитанской консерватории... Я хочу сказать, что мне было столько же лет, сколько вам, но я не имел чести быть сыном прославленного мэра прелестного городка Верьера.

При этих словах г-н де Реналь вздохнул и посмотрел на жену.

— Синьор Дзингарелли,— продолжал молодой певец, слегка утрируя свой акцент, отчего дети так и покатывались с хохоту,— мой синьор Дзингарелли был ужасно строгий учитель. Его не любили в консерватории, а он хотел, чтобы все вели себя

так, как если бы его очень любили. Я часто ухитрялся удирать потихоньку. Я отправлялся в маленький театрик Сан-Карлино и там слушал самую божественную музыку, но — бог ты мой! — как раздобыть восемь монеток, восемь су, которые надо заплатить за входной билет? Такая громадная сумма! — говорил он, поглядывая на детей, а они прыскали со смеху.— Как-то синьор Джованноне, который был директором Сан-Карлино, услышал, как я пою,— мне было тогда шестнадцать лет,— он сказал: «Этот мальчик — сущий клад».

— Хочешь, я тебя возьму к себе, милый мальчик? — говорит он мне.

— А сколько вы мне дадите?

— Сорок дукатов в месяц.

А ведь это, господа, ни много ни мало, сто шестьдесят франков! Мне показалось, словно передо мной рай открылся.

— Ну, а как же,— говорю я Джованноне,— как же устроить, чтобы строгий синьор Дзингарелли отпустил меня?

— Lascia fare a me.

— Предоставьте это мне! — вскричал старший из мальчиков.

— Совершенно верно, мой юный синьор. Так вот синьор Джованноне говорит мне: «Caro [1], подпиши-ка прежде всего вот этот контракт». Я подписываю. И он сейчас же дает мне три дуката. Я в жизнь свою таких денег не видывал. А затем объясняет мне, как я должен действовать.

На другой день я испрашиваю аудиенцию у грозного синьора Дзингарелли. Его старый лакей ведет меня к нему в комнату.

— Что тебе от меня надо, сорванец? — спрашивает Дзингарелли.

— Маэстро! — говорю ему я.— Я пришел покаяться во всех моих проступках. Никогда больше я не буду удирать из консерватории и лазить через забор. Я буду теперь учиться вдвое прилежнее, чем раньше.

— Если бы я не боялся испортить самый прекрасный бас, какой я когда-либо слышал, я бы тебя посадил под замок на хлеб и на воду, негодник; ты бы у меня посидел так недельки две.

— Маэстро,— опять начинаю я,— я теперь буду у вас самым примерным учеником во всей консерватории, credete a me [2].

---

[1] Дорогой *(итал.)*.

[2] Поверьте мне *(итал.)*.

Но я только прошу, не откажите исполнить мою просьбу: если к вам кто-нибудь явится просить, чтобы я пел где-нибудь, не отпускайте меня. Умоляю вас, скажите, что вы не можете!

— Да кому же в голову придет просить у меня такого шалопая? Да разве я когда-нибудь позволю тебе уйти из консерватории? Да ты что, смеяться надо мной вздумал? А ну-ка, вон отсюда! Сию минуту вон! — кричит он, а сам старается пнуть меня ногой в зад.— Смотри, попадешь у меня под замок на хлеб и на воду.

Через час сам синьор Джованноне является к директору.

— Я пришел просить вас,— говорит он,— сделайте милость, от вас зависит мое счастье,— отдайте мне Джеронимо, пусть он попоет у меня эту зиму, а я тогда смогу дочку замуж выдать.

— На что тебе этот сорванец? — кричит ему Дзингарелли.— Да я и слышать об этом не желаю! Не отдам ни за что! А кроме того, если бы я даже и отпустил его, он сам никогда не согласится бросить консерваторию: он только что клялся мне в этом.

— Ну, если только за этим дело,— важно ответствует Джованноне, доставая из кармана мой контракт,— carta canta [1] — вот его подпись.

Тут Дзингарелли рассвирепел, чуть звонок не оборвал.

— Выгнать,— кричит,— сейчас же выгнать Джеронимо вон из консерватории! — А сам весь трясется от ярости.

Так меня и выгнали. Ну и хохоту было! И в тот же вечер я уже пел арию Moltiplico: Полишинель собирается жениться и считает по пальцам, что ему надо купить себе для обзаведения хозяйством, и каждый раз сбивается со счета.

— Ах, сударь, будьте так добры, спойте нам эту арию! — сказала г-жа де Реналь.

Джеронимо запел, и все хохотали до слез. Синьор Джеронимо отправился спать, когда уже пробило два часа; он очаровал всю семью своими приятными манерами, своей любезностью и веселым нравом.

На другой день г-н и г-жа де Ренали вручили ему письма, которые были ему нужны для представления к французскому двору.

«Вот так-то везде, одна фальшь,— рассуждал сам с собой Жюльен.— Сейчас синьор Джеронимо покатит в Лондон на шестидесятитысячное жалованье. А без ловкости этого дирек-

[1] Контракт поет *(итал.)*.

тора Сан-Карлино его божественный голос стал бы известен, может быть, на десять лет позднее... Нет, честное слово, по мне — лучше быть Джеронимо, а не Реналем. Правда, его не так уважают в обществе, но зато у него нет таких неприятностей, как, скажем, эти торги, да и живется ему куда веселей».

Жюльен удивлялся самому себе: те недели, которые он провел в полном одиночестве в Верьере, в пустом доме г-на де Реналя, он чувствовал себя очень счастливым. Отвращение, мрачные мысли охватывали его только на званых обедах, а в остальное время, один во всем доме, он мог читать, писать, думать, и никто не мешал ему. Его ослепительные мечты не нарушались поминутно горькой необходимостью угадывать движения низкой душонки — да еще мало того — ублажать ее разными хитростями или лицемерными словами.

Быть может, счастье вот здесь, совсем рядом? Ведь на такую жизнь не нужно много денег: достаточно жениться на Элизе или войти в дело Фуке... Но путник, поднявшись на крутую гору, с великим удовольствием отдыхает на ее вершине. А будет ли он счастлив, если его заставят отдыхать вечно?

Госпожу де Реналь одолевали страшные мысли. Несмотря на все свои благие намерения, она не утерпела и рассказала Жюльену всю историю с торгами. «Я, кажется, готова ради него нарушить все мои клятвы»,— думала она.

Она, не задумываясь, пожертвовала бы жизнью, чтобы спасти мужа, если бы жизнь его была в опасности. Это была именно та благородная и романтическая натура, для которой видеть возможность великодушного поступка и не совершить его является источником столь тяжких угрызений совести, как если бы она уже была повинна в преступлении. И, однако, у нее иногда бывали такие страшные дни, когда она не могла отделаться от мысли о том, какое это было бы счастье, если бы она вдруг овдовела и могла выйти замуж за Жюльена.

Он любил ее сыновей гораздо больше, чем их любил отец, и они, несмотря на всю его строгость, обожали его. Она прекрасно понимала, что, если бы она стала женой Жюльена, ей пришлось бы покинуть Вержи, где ей было дорого каждое деревцо. Она представляла себе, как бы она жила в Париже, как сыновья ее продолжали бы там учиться и получили бы такое образование, что все кругом восхищались бы ими. Дети ее, она сама, Жюльен — все они были бы так счастливы!

Странное действие брака, каким сделал его XIX век! Скука супружеской жизни наверняка убивает любовь, если она и была

до брака, и при этом, говорит некий философ, супруги, достаточно богатые, чтобы не работать, очень скоро не знают, куда деваться от скуки; до того надоедают им мирные семейные радости. А среди женщин только очень сухие натуры не начинают в браке мечтать о любви.

Философское рассуждение заставляет меня простить г-жу де Реналь, но в Верьере ей не прощали. Напротив того, весь город, хотя она и не подозревала об этом, только и занимался, что скандальной историей ее любовных похождений. Благодаря этому скандалу там осенью было даже не так скучно, как всегда.

Осень и часть зимы пролетели очень быстро. Пришла пора расстаться с вержийскими лесами. Светское общество в Верьере начинало мало-помалу возмущаться, видя, какое слабое впечатление производят все его анафемы на г-на де Реналя. Не прошло и недели, как некие важные особы, которые, желая вознаградить себя за свою обычную серьезность, с радостью оказывали подобного рода услуги, постарались внушить ему самые тяжкие подозрения, однако сделав это как нельзя более осторожно.

Господин Вально, который вел свою игру потихоньку, пристроил Элизу в одно весьма почтенное, благородное семейство, где было пять женщин. Элиза, опасаясь, как она говорила, не найти себе места зимой, согласилась поступить в эту семью на две трети жалованья, которое она получала у господина мэра. Затем эта девица сама по себе возымела блестящую мысль: пойти исповедаться и к прежнему кюре, господину Шелану, и к новому, чтобы со всеми подробностями рассказать тому и другому историю любовных похождений Жюльена.

На другой же день после приезда семьи мэра, в шесть часов утра, аббат Шелан прислал за Жюльеном.

— Я ни о чем не собираюсь вас спрашивать,— сказал он ему,— и прошу вас — а если этого мало, приказываю — ничего мне не говорить, но я требую, чтобы вы в трехдневный срок отправились либо в Безансонскую семинарию, либо на житье к вашему другу Фуке, который по-прежнему готов прекрасно вас устроить. Я все предусмотрел, обо всем позаботился, но вы должны уехать и не показываться в Верьере, по крайней мере, в течение года.

Жюльен ничего не отвечал. Он размышлял, не следует ли ему, для сохранения собственного достоинства, оскорбиться этой заботливостью, которую проявляет о нем господин Шелан,— ведь не отец же он ему в конце концов.

— Завтра в это же время я буду иметь честь явиться к вам еще раз,— ответил он наконец старому кюре.

Господин Шелан, который полагал, что своим авторитетом он, безусловно, заставит подчиниться этого юнца, говорил долго. Жюльен, изобразив на своем лице самое глубокое смирение, почтительно стоял перед ним, не раскрывая рта.

Наконец его отпустили, и он бросился к г-же де Реналь рассказать ей все, но застал ее в глубоком отчаянии. Ее муж только что говорил с нею довольно откровенно. Его нерешительный характер и надежды на наследство из Безансона, которые еще усиливали его нерешительность, склонили его твердо держаться того мнения, что жена его совершенно невинна. Он пришел поделиться с ней неожиданным открытием: как странно, оказывается, настроено сейчас общественное мнение в Верьере. Разумеется, люди не правы, все это происки завистников, но в конце концов что же делать?

На минуту г-жа де Реналь попыталась утешить себя мыслью, что Жюльен может принять предложение г-на Вально и остаться в Верьере. Но теперь это уже была не та робкая, простодушная женщина, какою она была в прошлом году: злосчастная страсть и муки раскаяния вразумили ее. Слушая мужа, она с болью в душе убеждалась, что разлука, хотя бы временная, неизбежна. «Вдали от меня Жюльен снова отдастся своим честолюбивым мечтам, и это так естественно, когда у человека нет ни гроша за душой. А я! Боже мой! Я так богата — и это ничем, ничем не может помочь моему счастью. Он меня забудет. Такой обаятельный юноша! Конечно, его будут любить, полюбит и он. Ах, я несчастная!.. А на что жаловаться? Бог справедлив: ведь я даже и не пыталась перестать грешить; в наказание он отнял у меня разум. Мне надо было только подкупить Элизу, привлечь ее на свою сторону, уж, кажется, чего проще! А я даже не дала себе труда подумать об этом. Только и бредила любовью. И вот теперь все пропало».

Одно глубоко поразило Жюльена: когда он сообщил г-же де Реналь ужасную новость о том, что ему придется уехать, он не услышал от нее никаких эгоистических возражений. Видно было только, что она едва удерживается от слез.

— Друг мой, нам с вами нужна твердость.— Она отрезала для него на память прядь своих волос.— Не знаю, что со мною будет,— сказала она,— но только, если я умру, обещай мне, что ты никогда не покинешь моих детей. Близко ли ты будешь от них, далеко ли, постарайся сделать из них честных людей. Если опять будет революция, всю знать перережут, а их отцу,

вероятно, придется эмигрировать — из-за того крестьянина, которого тогда убили на крыше. Не забудь о моих сыновьях... Дай мне руку. Прощай, милый! Это наши с тобой последние минуты. Когда эта страшная жертва уже будет принесена, я надеюсь, что на людях у меня хватит мужества подумать о моем добром имени.

Жюльен ожидал взрыва отчаяния. Эти простые прощальные слова глубоко растрогали его.

— Нет, нет, я не хочу так прощаться! Я уеду, они все этого хотят, да и вы сами. Но через три дня я вернусь к вам ночью.

Все мигом преобразилось для г-жи де Реналь. Значит, Жюльен действительно любит ее, если ему самому пришло в голову увидеться с нею еще раз! Все ее страдания сразу исчезли, и ее охватило чувство невыразимой радости. Все стало так легко. Уверенность, что она еще раз увидит своего милого, заслонила собою все, что было мучительного в эти последние минуты. С этого мгновения вся осанка и выражение лица г-жи де Реналь исполнились какого-то особенного благородства, решимости и необыкновенного достоинства.

Вскоре явился г-н де Реналь; он был вне себя. И тут-то он наконец выложил жене все про это анонимное письмо, полученное им два месяца назад.

— Я это письмецо снесу в Казино, я всем его покажу, чтобы все знали, что за подлец этот Вально! Я его подобрал нищим, сделал одним из самых богатых людей в Верьере. Я его публично осрамлю, я драться с ним буду. Нет! Это уж перешло все границы.

«И я могу остаться вдовой, господи боже! — промелькнуло у г-жи де Реналь. Но в тот же миг она сказала себе: — Если я не помешаю этой дуэли,— а я, разумеется, могу это сделать,— я буду убийцей моего мужа».

Никогда еще она не пользовалась с такой ловкостью тщеславием своего супруга. В каких-нибудь два часа она сумела убедить его, при помощи его же собственных доводов, что он должен держать себя сейчас как нельзя более дружески с Вально и даже снова взять Элизу к себе в дом. Немало мужества потребовалось г-же де Реналь, чтобы решиться снова увидеть эту девушку, причину всех ее несчастий. Но эту мысль подал ей Жюльен.

Наконец, после того как его раза три-четыре наводили на путь истинный, г-н де Реналь уже собственным умом дошел до чрезвычайно тягостной для него в денежном отношении мысли,

а именно, что не может быть для него сейчас ничего хуже, как если Жюльен в разгар великого злопыхательства и сплетен по всему Верьеру останется в городе и поступит гувернером к детям г-на Вально. Ясно, что Жюльен не упустит случая принять столь выгодное предложение директора дома призрения; но для торжества г-на де Реналя необходимо, напротив, чтобы Жюльен уехал из Верьера и поступил в семинарию в Безансоне или, скажем, в Дижоне. Но как убедить его уехать, и, потом, на какие средства он там будет жить?

Господин де Реналь, видя, что денежная жертва неминуема, убивался больше, чем его жена. Она же после тягостной беседы с супругом чувствовала себя так, как должен чувствовать себя мужественный человек, который, решив покончить счеты с жизнью, проглотил смертельную дозу страмония и еще не умер; он живет, так сказать, по инерции, но уже ничем в мире больше не интересуется. Так, Людовик XIV, умирая, промолвил: «Когда я был королем...» Замечательная фраза!

На другой день спозаранку г-н де Реналь получил анонимное письмо. На этот раз письмо было весьма оскорбительного свойства. В каждой строчке самым грубым образом намекалось на его положение. Несомненно, это было делом рук какого-нибудь мелкого завистника. Это письмо снова вызвало у него желание драться с г-ном Вально. Он так расхрабрился, что решил действовать безотлагательно; вышел из дому один и отправился в оружейную лавку, купил там пару пистолетов и велел зарядить их.

«Нет, в самом деле,— рассуждал он,— представить себе, что снова вернулись бы прежние строгости императора Наполеона: у меня на душе буквально ни одного краденого гроша, мне не в чем себя упрекнуть. Единственно, что я позволял себе,— это закрывать глаза, но у меня в столе лежат кой-какие солидные документики, которые меня вполне оправдывают».

Госпожа де Реналь испугалась не на шутку холодной ярости своего мужа; ее опять стала соблазнять страшная мысль о вдовстве, которую ей стоило такого труда отогнать от себя. Она заперлась с мужем в его кабинете, где в течение нескольких часов уговаривала его без всякого результата: последнее анонимное письмо настроило его весьма решительно. Наконец ей все-таки удалось добиться того, что его отважная решимость закатить оплеуху г-ну Вально перешла в не менее отважную решимость предложить Жюльену шестьсот франков, чтобы он мог внести за год в семинарию. Г-н де Реналь, в сотый раз

проклиная тот день, когда ему пришла в голову злополучная идея взять гувернера, забыл об анонимном письме.

Одна только мысль немного утешала его, но он не говорил о ней жене: он надеялся — если ему удастся проявить достаточно умения и воспользоваться как-нибудь в своих интересах романтическими бреднями этого юнца — убедить его отказаться от предложения г-на Вально и за меньшую сумму.

Госпоже де Реналь стоило немало труда втолковать Жюльену, что он идет навстречу желаниям ее мужа, отказываясь в угоду ему от места в восемьсот франков, которые ему при свидетелях предлагал директор дома призрения, и потому не имеет никаких оснований стыдиться и должен без всякого стеснения принять эти деньги.

— Но, подумайте,— упрямо твердил Жюльен,— у меня никогда и в мыслях не было соглашаться на его предложения. Вы меня так приучили к порядочной жизни, что я бы просто не вынес хамства этих людей.

Но жестокая необходимость железной рукой сломила волю Жюльена. Он тешил свою гордость надеждой, что примет эту сумму от верьерского мэра только в долг и даст ему расписку с обязательством выплатить этот долг с процентами в течение пяти лет.

У г-жи де Реналь все еще оставалось несколько тысяч франков, припрятанных в маленькой пещерке в горах. Она предложила их ему, замирая от страха, что он откажется и только рассердится на нее.

— Неужели вы хотите,— отвечал Жюльен,— чтобы воспоминание о нашей любви стало для меня отвратительным?

Наконец Жюльен уехал. Г-н де Реналь был безгранично счастлив, ибо в роковую минуту, когда он предложил ему деньги, это испытание оказалось свыше сил Жюльена. Он отказался наотрез. Г-н де Реналь со слезами на глазах бросился ему на шею. Жюльен попросил у него свидетельство о своем поведении, и у мэра от избытка чувств не нашлось достаточно пылких выражений, чтобы превознести все его достоинства. У нашего героя было прикоплено пять луидоров, и еще столько же он рассчитывал занять у Фуке.

Он был сильно взволнован. Но, отойдя на лье от Верьера, где он оставлял все, что любил, он уже больше ни о чем не думал и только представлял себе, какое счастье увидеть большой город, настоящую большую крепость, как Безансон.

Во время этой краткой, трехдневной, разлуки г-жа де Реналь жила в ослеплении, поддавшись одному из самых жесто-

ких обманов любви. Жизнь ее была почти терпима, ибо между ее теперешним состоянием и страшным горем впереди было еще это последнее свидание с Жюльеном. Она считала часы и минуты, которые оставались до него. Наконец ночью на третий день она услышала издали условный сигнал Жюльена. Преодолев тысячу опасностей, он явился к ней.

С этой минуты она могла думать только об одном: «Я вижу его в последний раз». Она не только не отвечала на бурные ласки своего милого,— она была как труп, в котором чуть теплится жизнь. Когда она принуждала себя сказать ему, что любит его, это звучало так натянуто, что можно было подумать обратное. Ничто не могло отвлечь ее от страшной мысли о том, что они расстаются навеки. Жюльен со своей обычной подозрительностью чуть было не подумал, что он уже забыт. Но когда он отпустил какое-то язвительное замечание по этому поводу, она не ответила ни слова; только крупные слезы покатились у нее по щекам, и рука ее судорожно сжала его руку.

— Но боже мой! Да как же вы хотите, чтобы я вам верил,— отвечал Жюльен на скупые, неубедительные уверения своей возлюбленной.— Да вы бы выказали во сто раз больше дружеских чувств госпоже Дервиль или просто какой-нибудь вашей знакомой.

И помертвевшая г-жа де Реналь не знала, что отвечать.

— Сильнее этого страдать невозможно... Мне бы только умереть... Я чувствую, как у меня леденеет сердце...

И это были ее самые многословные ответы: больше он ничего не мог добиться.

Когда забрезживший рассвет напомнил, что ему пора уходить, слезы г-жи де Реналь сразу высохли. Она молча смотрела, как он привязывает к окну веревку с узлами, и не отвечала на его поцелуи. Напрасно он говорил ей:

— Ну, вот мы и достигли наконец того, чего вы так желали. Теперь уже вас не будут мучить угрызения совести. Не будет больше мерещиться, чуть только кто прихворнет из детей, что вы их сведете в могилу.

— Мне жаль, что вы не можете поцеловать Станислава,— холодно сказала она.

Жюльен наконец ушел, глубоко потрясенный мертвенными объятиями этого живого трупа, и на протяжении многих лье ни о чем другом думать не мог. Сердце его разрывалось, и, пока он не перевалил через гору, пока ему еще видна была верьерская колокольня, он то и дело оборачивался на ходу.

XXIV

БОЛЬШОЙ ГОРОД

Какой шум! Какая масса народа, и у каждого свои заботы! Каких только планов на будущее не родится в голове двадцатилетнего юноши! Как все это отвлекает от любви!

Барнав.

Наконец далеко впереди, на горе, показались черные стены — это была безансонская крепость. «Какая была бы великая разница,— сказал он со вздохом,— если бы я явился в эту благородную твердыню в качестве подпоручика одного из гарнизонных полков, оставленных здесь для ее защиты!»

Безансон не только один из самых красивых городов Франции,— в нем можно встретить много умных и благородных людей. Но Жюльен был всего-навсего бедный деревенский паренек, у которого не было возможности познакомиться с выдающимися людьми.

Он достал у Фуке простой штатский костюм и в этой одежде, в какой ходят все горожане, перешел через подъемные мосты. Он так много читал об осаде 1674 года, что ему захотелось, прежде чем похоронить себя в семинарии, осмотреть крепостные стены. Два или три раза его чуть не задержали часовые: он заглядывал в такие места, куда военная каста не пускает простых смертных, чтобы не лишиться возможности продавать на сторону сено и выручать за это двенадцать — пятнадцать тысяч франков в год.

Высоченные стены, глубочайшие рвы, грозные зевы пушек в течение нескольких часов поглощали все его внимание, но вот, проходя по бульвару, он увидел перед собой большое кафе. Он остановился в восхищении: он несколько раз прочел слово «Кафе», написанное гигантскими буквами над двумя огромными дверями, но никак не решался поверить собственным глазам. Наконец с большим трудом он преодолел свою робость и осмелился войти. Он очутился в длинной зале, в тридцать — сорок шагов длины, потолок которой возвышался по меньшей мере на двадцать футов над головой. Все сегодня пленяло Жюльена своей чудесной новизной.

На двух бильярдах шла игра. Маркеры выкрикивали счет, игроки бегали вокруг бильярдов, возле которых стояла тесная

толпа зрителей. Клубы табачного дыма, вылетавшие из каждого рта, обволакивали всех синим облаком. Жюльен с интересом смотрел на этих рослых, грузно ступавших людей с невероятными баками, с чуть сутулыми плечами, в широких длиннополых сюртуках. Сии благородные сыны древнего Бизонциума не говорили, а кричали; они корчили из себя грозных воинов. Жюльен в восхищении застыл на месте: он был заворожен необъятностью, великолепием этого важного города — Безансона. У него не хватало мужества спросить себе чашку кофе у одного из этих господ с надменным взглядом, которые выкрикивали счет очков у бильярдов.

Но девица, сидевшая за стойкой, заметила миленькое личико провинциала, который, остановившись в трех шагах от печки со своим узелком под мышкой, внимательно рассматривал бюст короля из превосходного белого алебастра. Девица эта, высокая статная франшконтейка, одетая весьма кокетливо, как это и требуется для такого заведения, уже два раза, тихонько, чтобы не услышал никто другой, окликнула Жюльена: «Сударь! Сударь!» Жюльен, встретившись взором с большими голубыми и весьма нежными глазами, понял, что она обращается именно к нему.

Он быстро устремился к стойке, за которой сидела юная красавица, точь-в-точь как он устремился бы на врага. От его резкого движения узелок выскочил у него из-под мышки и упал.

Как жалок показался бы наш провинциал юным парижским лицеистам, которые уже в пятнадцать лет умеют войти в кафе с шиком! Но эти юнцы, столь превосходно вышколенные в пятнадцатилетнем возрасте, в восемнадцать лет становятся весьма заурядными. Та пылкая робость, которую порой встречаешь в провинции, иногда превозмогает себя, и тогда она воспитывает волю. Приблизившись к этой молодой девушке, да еще такой красотке, которая сама соблаговолила с ним заговорить, Жюльен, расхрабрившись, после того как ему удалось побороть свою робость, решил сказать ей всю правду:

— Сударыня, я первый раз в жизни в Безансоне. Мне бы хотелось получить за плату чашку кофе с хлебом.

Девица улыбнулась и покраснела; у нее мелькнуло опасение, как бы этот юный красавчик не привлек насмешливого внимания и не сделался жертвой шуток бильярдных игроков: тогда он испугается, и больше его здесь не увидишь.

— Садитесь здесь, около меня,— сказала она, указывая на маленький мраморный столик, почти совершенно скрытый за

громадной стойкой красного дерева, выступавшей довольно далеко в залу.

Девица перегнулась через стойку, что дало ей возможность показать весьма соблазнительную талию. Жюльен заметил ее, и все его мысли тотчас же приняли другое направление. Красавица быстро поставила перед ним чашку, сахар и небольшой хлебец. Ей не хотелось звать официанта, чтобы он налил Жюльену кофе; она отлично понимала, что, как только тот подойдет, ее уединению с Жюльеном наступит конец.

Жюльен задумался, сравнивая про себя эту веселую белокурую красавицу с некоторыми воспоминаниями, которые нет-нет да вставали перед ним. Вся его робость пропала, когда он подумал о том, какую страстную любовь он к себе внушил. А красавице достаточно было взглянуть на него: она уже прочла все, что ей было нужно, в глазах Жюльена.

— Здесь так надымили табаком, что не продохнешь. Приходите завтра пораньше завтракать, до восьми утра. В это время я здесь почти одна.

— А как вас зовут? — с нежной улыбкой восхищенной робости спросил Жюльен.

— Аманда Бине.

— А вы не разрешите мне прислать вам через часок маленький сверточек вот вроде этого?

Красотка Аманда на минутку задумалась.

— За мной ведь тоже присматривают,— сказала она.— Как бы мне не повредило то, о чем вы просите, но я вам напишу мой адрес на этой карточке, вы наклейте ее на ваш сверточек, и можете послать мне, не опасаясь.

— Меня зовут Жюльен Сорель,— сказал юноша.— У меня нет ни родных, ни знакомых в Безансоне.

— Понимаю,— сказала она, обрадовавшись.— Вы, значит, поступаете в школу правоведения?

— Ах, нет,— отвечал Жюльен.— Меня посылают в семинарию.

Жюльен увидел горькое разочарование в чертах Аманды. Она подозвала официанта,— теперь она уже ничего не боялась. Официант, даже не взглянув на Жюльена, налил ему кофе.

Аманда, сидя за стойкой, получала деньги. Жюльен был очень горд тем, что решился поговорить. За одним из бильярдов громко спорили. Крики игроков, гулко разносившиеся по всей громадной зале, сливались в какой-то сплошной рев, который очень удивлял Жюльена. Аманда сидела с задумчивым видом, опустив глазки.

— А если хотите, мадемуазель,— сказал он вдруг спокойно-уверенным тоном,— я могу назваться вашим родственником.

Эта забавная самоуверенность понравилась Аманде. «Это не прощелыга какой-нибудь»,— подумала она. И она сказала очень быстро, не глядя на него, потому что все время следила, не идет ли кто-нибудь к стойке:

— Я из Жанлиса, это под Дижоном. Вы скажите, что вы тоже из Жанлиса, родня моей матери.

— Непременно, так и скажу.

— Летом каждый четверг, часов около пяти, господа семинаристы проходят здесь, у самого кафе.

— Если вы обо мне вспомните, когда я тоже буду здесь проходить,— выйдите с букетиком фиалок в руке.

Аманда поглядела на него с удивлением; этот взор превратил мужество Жюльена в безудержную отвагу, однако он все-таки покраснел до ушей, выпалив неожиданно:

— Я чувствую, что влюбился в вас без памяти.

— Говорите тише! — отвечала она испуганно.

Жюльен старался припомнить несколько фраз из раздерганного томика «Новой Элоизы», который попался ему в Вержи. Его память не подвела его: минут десять он цитировал «Новую Элоизу» восхищенной красотке Аманде и сам был в восторге от своей храбрости, как вдруг прекрасная франшконтейка приняла ледяной вид: один из ее любовников показался в дверях кафе.

Он подошел к стойке, посвистывая, подергивая плечами, и поглядел на Жюльена. И в тот же миг воображению Жюльена, всегда все до крайности преувеличивавшему, представилась неминуемая дуэль. Он сильно побледнел, отодвинул чашку, принял весьма самоуверенный вид и внимательно посмотрел на своего соперника. Пока этот последний, нагнув голову, бесцеремонно наливал себе рюмку водки, Аманда взглядом приказала Жюльену опустить глаза. Он послушался и минуты две сидел не шелохнувшись, бледный, решительный, не думая ни о чем, кроме того, что вот-вот должно произойти; поистине он был очень хорош в эту минуту. Соперника удивил взгляд Жюльена; проглотив водку одним духом, он перекинулся словечком с Амандой, потом, засунув руки в карманы своего необъятного сюртука, направился к одному из бильярдов, насвистывая и поглядывая на Жюльена. Тот вскочил, совершенно обезумев от ярости; но он не знал, как надо поступить, чтобы бросить вызов. Он положил свой сверток на стол и, приняв самый развязный вид, двинулся к бильярду.

Напрасно благоразумие твердило ему: «Если ты затеешь дуэль с первого же дня в Безансоне, духовная карьера для тебя кончена».

«Все равно. Зато никто не скажет, что я струсил перед нахалом!»

Аманда видела его храбрость: рядом с его застенчивой неловкостью она особенно бросалась в глаза. Она тотчас же отдала ему предпочтение перед здоровенным малым в сюртуке. Она поднялась с места и, делая вид, что следит за кем-то из проходящих по улице, поспешно встала между ним и бильярдом.

— Боже вас сохрани поглядывать так косо на этого господина; это мой зять.

— А мне какое дело? Чего он уставился на меня?

— Вы что, хотите меня сделать несчастной? Конечно, он на вас поглядел, да он, может быть, даже и заговорит с вами. Я же ему сказала, что вы мой родственник с материнской стороны и только что приехали из Жанлиса. Сам-то он из Франш-Конте, а в Бургундии нигде дальше Доля не бывал. Вы можете ему смело говорить все, что вам в голову придет.

Так как Жюльен все еще колебался, она поторопилась прибавить,— воображение этой девицы из-за стойки обильно снабжало ее всяким враньем:

— Конечно, он на вас посмотрел, но в этот момент он меня спрашивал, кто вы такой. Он человек простой, со всеми так держится; он вовсе не хотел вас оскорбить.

Жюльен, не отрываясь, следил взглядом за мнимым зятем; он видел, как тот подошел к дальнему бильярду и купил себе номерок, чтобы принять участие в игре; Жюльен услышал, как он угрожающе заорал во всю глотку: «А ну-ка, я вам сейчас покажу!» Жюльен быстро проскользнул за спиной Аманды и сделал шаг к бильярдам.

Аманда схватила его за руку.

— Извольте-ка сперва заплатить мне,— сказала она.

«В самом деле,— подумал Жюльен,— она боится, что я улизну, не расплатившись». Аманда была взволнована не меньше его, и щеки у нее пылали,— она очень долго возилась, отсчитывая ему сдачу, и тихонько повторяла:

— Уходите сейчас же из кафе, или я вас не стану любить! А вы мне, признаться, очень нравитесь.

В конце концов Жюльен ушел, но с крайней медлительностью. «А может быть, я все-таки должен пойти и поглядеть вот так же прямо в глаза этому грубияну?» — спрашивал он себя. И эта неуверенность заставила его проторчать чуть не

целый час на бульваре перед кафе: он все дожидался, не выйдет ли оттуда его обидчик. Но тот не появлялся, и Жюльен ушел.

Он пробыл в Безансоне всего несколько часов, и ему уже приходилось в чем-то упрекать себя. Старый лекарь, несмотря на свою подагру, когда-то преподал ему несколько уроков фехтования, и это был весь арсенал, которым располагала сейчас ярость Жюльена. Но это затруднение не остановило бы его, если бы он знал, каким способом, кроме пощечины, можно показать свое возмущение противнику; а ведь если бы дело дошло до кулаков, то, разумеется, его противник, этот громадный мужчина, избил бы его, и на том бы дело и кончилось.

«Для такого бедняка, как я,— размышлял Жюльен,— без покровителей, без денег, в сущности, небольшая разница, что семинария, что тюрьма. Надо будет оставить мое городское платье в какой-нибудь гостинице,— и там же я обряжусь в мое черное одеяние. Если мне когда-нибудь удастся вырваться на несколько часов из семинарии, я могу, переодевшись, пойти повидаться с красоткой Амандой». Придумано это было неплохо, но сколько ни попадалось ему гостиниц по дороге, он ни в одну из них не решился зайти.

Наконец, когда он уже второй раз проходил мимо «Посольской гостиницы», его озабоченный взгляд встретился с глазами толстой, довольно еще молодой, краснощекой женщины с очень оживленным и веселым лицом. Он подошел к ней и рассказал о своем затруднении.

— Ну, разумеется, хорошенький мой аббатик,— отвечала ему хозяйка «Посольской гостиницы»,— я сохраню вашу городскую одежду; мало того, обещаю вам ее проветривать почаще: в этакую погоду не годится оставлять долго лежать суконное платье.

Она достала ключ, сама проводила его в комнату и посоветовала записать на бумажке все, что он ей оставляет.

— Ах, боже мой, как вам идет это платье, дорогой аббат Сорель! — сказала ему толстуха, когда он пришел к ней на кухню.— А я, знаете, вас сейчас хорошим обедом попотчую. Да не беспокойтесь,— добавила она, понизив голос,— это вам будет стоить всего двадцать су, а со всех я пятьдесят беру: надо ведь поберечь кошелечек ваш.

— У меня есть десять луидоров,— не без гордости ответил Жюльен.

— Ай ты господи! — испуганно воскликнула хозяйка.— Да разве можно об этом так громко говорить? У нас тут немало

проходимцев, в Безансоне. Оглянуться не успеете, как вытащат. А главное, никогда по кофейням не ходите, там ихнего брата видимо-невидимо.

— Вот как! — промолвил Жюльен, которого это замечание заставило призадуматься.

— Да вы никуда, кроме как ко мне, и не ходите,— я вас всегда и кофеем напою. Знайте, что вас здесь всегда встретят по-дружески и обед вы получите за двадцать су; верьте мне, я вам дело говорю. Идите-ка усаживайтесь за стол, я вам сама подам.

— Нет, не могу есть,— сказал ей Жюльен.— Я очень волнуюсь; я ведь от вас должен прямо в семинарию идти.

Но сердобольная толстуха отпустила его только после того, как набила ему карманы всякой снедью. Наконец Жюльен отправился в свое страшное узилище. Хозяйка, стоя в дверях, показывала ему дорогу.

XXV

СЕМИНАРИЯ

> Триста тридцать шесть обедов по восемьдесят три сантима, триста тридцать шесть ужинов по тридцать восемь сантимов, шоколад — кому полагается по чину; а сколько же можно заработать на этом деле?
>
> *Безансонский Вально.*

Он издалека увидел железный золоченый крест на воротах; он медленно приблизился; ноги у него подкашивались. «Вот он, этот ад земной, из которого мне уж не выйти!» Наконец он решился позвонить. Звук колокола разнесся гулко, словно в нежилом помещении. Минут через десять к воротам подошел какой-то бледный человек, весь в черном. Жюльен глянул на него и мгновенно опустил глаза. Странное лицо было у этого привратника. Зрачки его выпуклых зеленоватых глаз расширялись, как у кошки; неподвижные линии век свидетельствовали о том, что от этого человека нечего ждать сочувствия; тонкие губы приоткрывались полукругом над торчащими вперед зубами. И, однако, на этом лице не было написано никаких пороков; скорее это была полная бесчувственность, то есть именно то, что больше всего может испугать молодого человека. Единственное

чувство, которое беглый взгляд Жюльена сумел отгадать на этой постной физиономии святоши, было глубочайшее презрение ко всему, о чем бы с ним ни заговорили, если только сие не сулило награды на небесах.

Жюльен с трудом заставил себя поднять глаза; сердце у него так билось, что он с трудом мог говорить; прерывающимся голосом он объяснил, что ему надо видеть ректора семинарии господина Пирара. Не произнеся ни слова, черный человек знаком велел ему следовать за ним. Они поднялись на третий этаж по широкой лестнице с деревянными перилами и совершенно перекосившимися ступенями, которые все съехали набок, в противоположную от стены сторону, и казалось, вот-вот развалятся вовсе. Они очутились перед маленькой дверцей, над которой был прибит огромный кладбищенский крест из простого дерева, выкрашенный в черную краску; она подалась с трудом, и привратник ввел Жюльена в низкую темную комнату с выбеленными известкой стенами, на которых висели две большие картины, потемневшие от времени. Здесь Жюльена оставили одного; он стоял совершенно помертвевший от ужаса; сердце его неистово колотилось, ему хотелось плакать, но он не смел. Мертвая тишина царила в доме.

Через четверть часа, которые ему показались сутками, зловещая физиономия привратника появилась в дверях в противоположном конце комнаты; он молча кивнул Жюльену, приглашая следовать за ним. Жюльен вошел в другую комнату; она была больше первой, и в ней было почти совсем темно. Стены были также выбелены, но они были совсем голые. Только в углу, около двери, Жюльен, проходя, заметил кровать некрашеного дерева, два плетеных стула и небольшое кресло, сколоченное из еловых досок и необитое. На другом конце комнаты, у маленького оконца с пожелтевшими стеклами и заставленным грязными цветочными банками подоконником, он увидел человека в поношенной сутане, сидевшего за столом; казалось, он был чем-то сильно рассержен; он брал из лежавшей перед ним кипы маленькие четвертушки бумаги, надписывал на каждой по несколько слов и раскладывал их перед собой на столе. Он не замечал Жюльена. А тот стоял неподвижно посреди комнаты, на том самом месте, где его оставил привратник, который вышел и закрыл за собой дверь.

Так прошло минут десять; плохо одетый человек за столом все писал и писал. Жюльен был до того взволнован и напуган, что едва держался на ногах; ему казалось, он вот-вот упадет. Какой-нибудь философ, наверно, сказал бы (но, возможно, он

был бы и не прав): «Таково страшное действие уродливого на душу, наделенную любовью к прекрасному».

Человек, который писал за столом, поднял голову; Жюльен заметил это не сразу, но даже и после того, как заметил, он продолжал стоять неподвижно, словно пораженный насмерть устремленным на него страшным взглядом. Затуманенный взор Жюльена с трудом различал длинное лицо, все покрытое красными пятнами; их не было только на лбу, который выделялся своей мертвенной бледностью. Между багровыми щеками и белым лбом сверкали маленькие черные глазки, способные устрашить любого храбреца. Густые, черные, как смоль, волосы гладко облегали этот огромный лоб.

— Подойдите сюда. Вы слышите или нет? — нетерпеливо промолвил наконец этот человек.

Жюльен, едва владея ногами, шагнул раз, другой и, наконец, чуть не падая и побелев, как мел, остановился в трех шагах от маленького столика некрашеного дерева, покрытого четвертушками бумаги.

— Ближе! — произнес человек в сутане.

Жюльен шагнул еще, протянув вперед руку, словно ища, на что бы опереться.

— Имя?

— Жюльен Сорель.

— Вы сильно опоздали,— произнес тот, снова пронизывая его своим страшным взглядом.

Жюльен не мог вынести этого взгляда: вытянув руку, словно пытаясь схватиться за что-то, он тяжело грохнулся на пол.

Человек позвонил в колокольчик; Жюльен не совсем потерял сознание, но он ничего не видел и не мог пошевелиться. Однако он услыхал приближающиеся шаги.

Его подняли, усадили на креслице некрашеного дерева. Он услышал, как страшный человек сказал привратнику:

— У него, должно быть, падучая. Этого еще не хватало!

Когда Жюльен смог наконец открыть глаза, человек с красным лицом сидел, как прежде, и писал; привратник исчез. «Надо найти в себе мужество,— сказал себе наш юный герой,— а главное, постараться скрыть то, что я сейчас испытываю (он чувствовал сильнейшую тошноту). Если со мной что-нибудь случится, они бог знает что обо мне подумают». Наконец человек перестал писать и покосился на Жюльена.

— Способны вы отвечать на мои вопросы?

— Да, сударь,— с трудом вымолвил Жюльен.

— А! Рад слышать.

Черный человек, привстав, со скрипом выдвинул ящик своего елового стола и стал нетерпеливо шарить в нем, разыскивая что-то. Наконец он нашел какое-то письмо, медленно уселся и снова впился в Жюльена таким взглядом, будто хотел отнять у него последние остатки жизни.

— Вас рекомендует мне господин Шелан. Это был лучший приходский священник во всей епархии, человек истинной добродетели и друг мой уж тридцать лет.

— Значит, я имею честь беседовать с господином Пираром? — произнес Жюльен чуть слышно.

— Очевидно,— отрезал ректор семинарии, глядя на него с неудовольствием.

Его маленькие глазки засверкали еще сильней, и углы рта сами собой задергались. Это было очень похоже на пасть тигра, который предвкушает удовольствие пожрать свою добычу.

— Шелан пишет кратко,— промолвил он, словно разговаривая сам с собой.— Intelligenti pauca [1]. В наше время любое письмо слишком длинно.

Он стал читать вслух:

— «Посылаю к вам Жюльена Сореля из нашего прихода, которого я окрестил почти двадцать лет тому назад; он сын богатого плотника, но отец ему ничего не дает. Жюльен будет отменным трудолюбцем в вертограде господнем. Память и понятливость — все есть у него, есть и разумение. Но долговременно ли его призвание? Искренне ли оно?»

— Искренне? — повторил аббат Пирар удивленным тоном и поглядел на Жюльена; но теперь взгляд аббата был уже не до такой степени лишен всего человеческого.— Искренне? — снова повторил он, понизив голос и принимаясь читать дальше:

— «Прошу у вас стипендии для Жюльена Сореля: он будет достоин ее, если сдаст все необходимые экзамены. Я обучил его немного теологии, старинной прекрасной теологии Боссюэ, Арно и Флери. Если такой стипендиат вам не подходит, отошлите его ко мне обратно; директор дома призрения, которого вы хорошо знаете, берет его на восемьсот франков наставником к своим детям. Душа моя спокойна, благодарение господу. Начинаю привыкать к постигшему меня тяжкому удару».

Аббат Пирар приостановился, дойдя до подписи, и со вздохом выговорил слово «Шелан».

---

[1] Для понимающего нужно не много *(лат.)*.

— Душа его спокойна,— промолвил он.— Добродетель его заслужила сию награду. Пошлет ли и мне ее господь бог наш, когда придет мой час?

Он устремил очи к небу и перекрестился. Жюльен, увидев это святое знамение, почувствовал, как у него понемножку начинает проходить леденящий ужас, который охватил его с той самой минуты, как он вошел в этот дом.

— Здесь у меня триста двадцать один человек, чающих обрести духовное звание,— сказал наконец аббат Пирар строгим, но не злым голосом.— Только семь или восемь из них рекомендованы мне такими людьми, как аббат Шелан; таким образом, вы между тремястами двадцатью одним будете девятым. Но покровительство мое не есть ни милость, ни послабление, а лишь усиленное рвение и строгость в искоренении пороков. Подите заприте дверь на ключ.

Жюльен с усилием прошел через всю комнату, и ему удалось удержаться на ногах. Рядом с дверью он заметил маленькое окошечко, которое выходило на зеленую окраину. Он взглянул на деревья, и ему стало легче, словно он увидел своих старых друзей.

— Loquerisne linguam latinam? (Говорите вы по-латыни?) — спросил его аббат Пирар, когда он вернулся к столу.

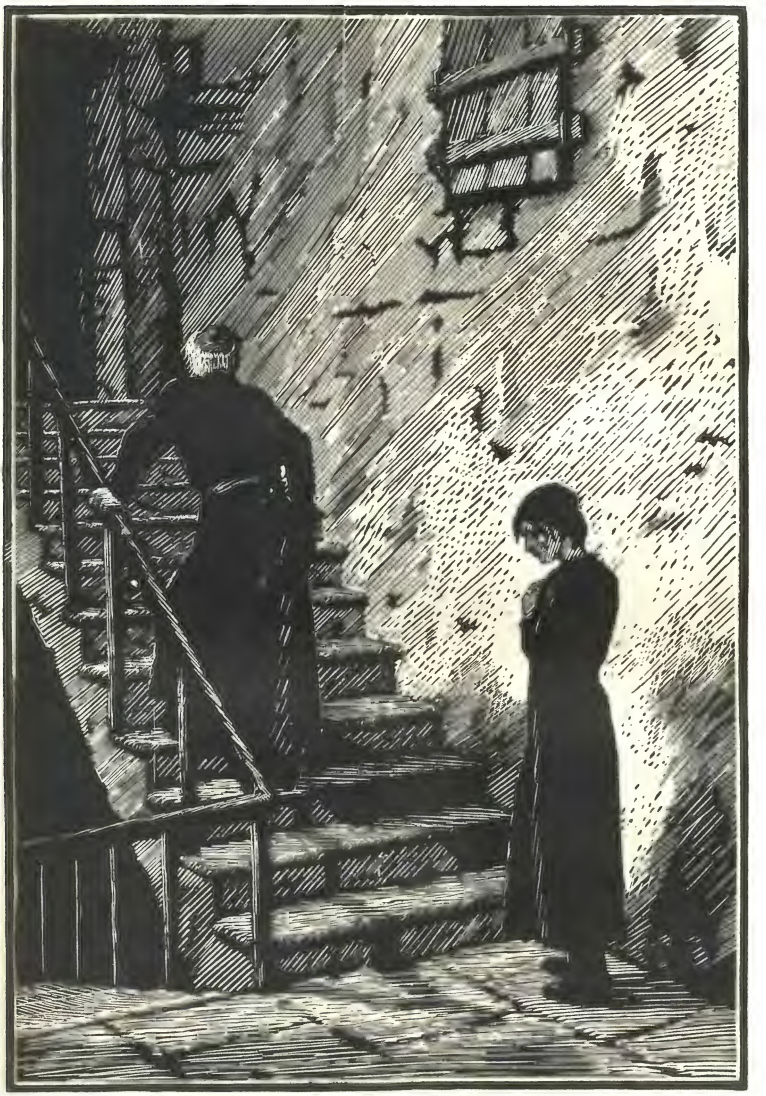
— Ita, pater optime (Да, преподобный отец),— ответил Жюльен, понемногу приходя в себя.

Поистине, еще не было на белом свете человека, который показался бы ему менее «преподобным», чем аббат Пирар за эти полчаса.

Разговор продолжался по-латыни. Выражение глаз аббата постепенно смягчалось; к Жюльену понемногу возвращалось присутствие духа. «До чего же я слаб,— подумал он,— если меня могло так сразить это показное благочестие! Вероятнее всего, этот человек — такой же плут, как и господин Малон».— И Жюльен порадовался про себя, что догадался спрятать почти все свои деньги в башмаки.

Аббат Пирар проэкзаменовал Жюльена по теологии и был поражен обширностью его знаний. Его удивление возросло еще более, когда он стал подробно спрашивать его по Священному писанию. Но когда дошла очередь до учения отцов церкви, он обнаружил, что Жюльен даже представления не имеет и, по-видимому, никогда не слыхал о таких именах, как св. Иероним, блаженный Августин, св. Бонавентура, св. Василий и так далее.

«Вот и выдает себя,— подумал Пирар,— это пагубное влечение к протестантству, в котором я всегда упрекал Шелана.



Углубленное, чересчур углубленное знание Священного писания!» (Жюльен только что изложил ему, хотя его и не спрашивали об этом, некоторые соображения о времени, когда *действительно* могли быть написаны Книга бытия, Пятикнижие и так далее.)

«К чему могут привести эти бесконечные рассуждения о Священном писании? — думал аббат Пирар.— Ни к чему иному, как к собственному, *личному толкованию,* то есть именно к самому отъявленному протестантизму. И наряду с этим небезопасным знанием ровно ничего из отцов церкви, что могло бы предотвратить такие поползновения!»

Но удивление ректора семинарии поистине перешло все границы, когда, спросив Жюльена о духовной власти папы и ожидая услышать в ответ положения старогалликанской церкви, он услышал от молодого человека точный пересказ чуть ли не всей книги г-на де Местра.

«Престранный человек этот Шелан! — подумал аббат Пирар.— Уж не для того ли он дал ему эту книгу, чтобы внушить ему, что ее не следует принимать всерьез?»

Тщетно выспрашивал он Жюльена, желая дознаться, верит ли он поистине в учение г-на де Местра. Юноша отвечал ему точь-в-точь по книге, на память. С этой минуты Жюльен почувствовал себя вполне уверенно и совершенно овладел собой. После очень долгого экзамена ему показалось, что аббат Пирар, пожалуй, только для виду продолжает держаться с ним так сурово. И в самом деле, если бы только не правило чрезвычайной строгости, которого вот уже пятнадцать лет он придерживался по отношению к своим питомцам, ректор семинарии с радостью расцеловал бы Жюльена во имя логики: такую ясность, точность и четкость обнаружил он в его ответах.

«Вот ум отважный и здравый! — думал он.— Но corpus debile (плоть немощна)».

— А часто вы так падаете? — спросил он Жюльена по-французски, показывая на пол.

— Первый раз в жизни,— отвечал Жюльен и прибавил, покраснев, как мальчик: — Лицо привратника очень напугало меня.

Аббат Пирар чуть усмехнулся.

— Вот к чему ведет суетность мирская. Вы, по-видимому, привыкли к лицам, на которых играет улыбка, к истинным ристалищам лжи. Истина сурова, сударь. Но наше предназначение здесь, на земле, разве не столь же сурово? Вам следует ревностно оберегать сознание ваше, дабы не совратила его сла-

бость сия — *чрезмерная чувствительность к суетной приятности внешнего.*

Если бы мне не рекомендовал вас,— продолжал аббат Пирар, с видимым удовольствием снова переходя на латинский язык,— если бы мне не рекомендовал вас такой человек, как аббат Шелан, я бы стал с вами говорить на том суетном мирском языке, к которому вы, по-видимому, привыкли. Полная стипендия, о которой вы просите, это, сказал бы я, почти невозможная вещь. Но малая была бы награда аббату Шелану за пятьдесят шесть лет его апостольских трудов, если бы он не мог располагать одной-единственной стипендией в семинарии.

Вслед за этим аббат Пирар приказал Жюльену не вступать ни в какое тайное общество или братство без его согласия.

— Даю вам слово! — воскликнул Жюльен с сердечной искренностью честного человека.

Ректор семинарии в первый раз улыбнулся.

— Это выражение неуместно здесь,— сказал он.— Оно слишком напоминает о суетной чести мирян, которая так часто ведет их к заблуждению, а нередко и к преступлениям. Вы обязаны мне безусловным послушанием во исполнение параграфа семнадцатого буллы Unam ecclesiam святого Пия Пятого. Я ваше духовное начальство. В доме этом, дорогой мой сын, слышать — значит повиноваться. Сколько у вас при себе денег?

«Ну, вот и доехали,— подумал Жюльен.— Из-за этого-то я и превратился в дорогого сына».

— Тридцать пять франков, отец мой.

— Записывайте тщательно, на что вы их будете тратить: вам придется давать мне отчет в этом.

Этот мучительный разговор тянулся три часа. Затем Жюльен позвал привратника.

— Отведите Жюльена Сореля в келью номер сто три,— сказал ему аббат Пирар.

Он предоставил Жюльену отдельное помещение,— такое отличие было великой милостью.

— Отнесите его вещи,— добавил он.

Жюльен опустил глаза и увидал, что его баул лежит прямо перед ним; он глядел на него три часа подряд и не узнавал.

Они пришли в келью № 103; это была крохотная комнатка в восемь квадратных футов в верхнем этаже здания. Жюльен заметил, что окно ее выходит на крепостной вал, а за ним виднеется прелестная равнина по ту сторону реки Ду.

«Какой чудесный вид!» — воскликнул Жюльен. Но хотя он обращался к самому себе, он плохо понимал, что означают эти слова. Столько сильных ощущений за то короткое время, что он провел в Безансоне, совершенно обессилили его. Он сел у окна на единственный деревянный стул, который был в келье, и тотчас же уснул крепким сном. Он не слыхал, как позвонили к ужину, как позвонил колокол к вечерней молитве; о нем забыли.

Первые лучи солнца разбудили его рано утром; он проснулся и увидал, что спит на полу.

XXVI

РОД ЛЮДСКОЙ, ИЛИ О ТОМ, ЧЕГО НЕДОСТАЕТ БОГАЧУ

> Я один на белом свете, никому до меня нет дела. Все, кто на моих глазах добивается успеха, отличаются бесстыдством и жестокосердием, а во мне этого совсем нет. Они ненавидят меня за мою уступчивую доброту. Ах, скоро я умру либо от голода, либо от огорчения, из-за того, что люди оказались такими жестокими.
>
> *Юнг.*

Он наспех вычистил свою одежду и поспешно сошел вниз; он опоздал. Надзиратель сделал ему строгий выговор, но Жюльен вместо того, чтобы оправдываться, скрестил руки на груди.

— Peccavi, pater optime (Согрешил, каюсь, отец мой),— ответил он сокрушенным тоном.

Такое начало имело большой успех. Те из семинаристов, что были похитрее, сразу догадались, что это не новичок в их деле. Наступила перемена между занятиями, и Жюльен оказался предметом всеобщего любопытства. Но им только и удалось подметить, что он скрытничает и молчит. Следуя правилам, которые он сам для себя установил, он смотрел на всех своих триста двадцать одного собрата, как на врагов, а самым опасным из всех в его глазах был аббат Пирар.

Прошло несколько дней, и Жюльен должен был выбрать себе духовника. Ему дали список.

«Боже мой! Да за кого они меня принимают? — подумал он.— Они думают, я не понимаю, что это *только церемония?*» И он выбрал аббата Пирара.

Ему и в голову не приходило, что этот поступок оказался для него решающим. Один семинаристик, совсем желторотый юнец родом из Верьера, с первого дня объявивший себя его другом, открыл ему, что если бы он выбрал г-на Кастанеда, помощника ректора семинарии, это, пожалуй, было бы более осмотрительно с его стороны.

— Аббат Кастанед — лютый враг господина Пирара, а Пирара подозревают в янсенизме,— добавил семинарист, наклоняясь к самому уху Жюльена.

Все первые шаги нашего героя, вполне уверенного в том, что он действует как нельзя более осторожно, оказались, как и выбор духовника, крайне опрометчивыми. Введенный в заблуждение той самонадеянностью, которой отличаются люди с воображением, он принимал свои намерения за совершившиеся факты и считал себя непревзойденным лицемером. Его ослепление доходило до того, что он даже упрекал себя за свои успехи в этом искусстве, к которому прибегают слабые.

«Увы! Это единственное мое оружие! — размышлял он.— Будь сейчас другое время, я бы *зарабатывал свой хлеб* делами, которые говорили бы сами за себя перед лицом неприятеля».

Довольный своим поведением, Жюльен осматривался кругом; все здесь, казалось, свидетельствовало своим видом о самой высокой добродетели.

Человек десять семинаристов были окружены ореолом святости: подобно святой Терезе или святому Франциску, когда он сподобился обрести свои стигматы на горе Верне в Апеннинах, их посещали видения. Но это была великая тайна, которую ревностно оберегали их друзья. А бедные юноши с видениями почти не выходили из лазарета. Еще можно было, пожалуй, насчитать человек сто, у которых могучая вера сочеталась с неутомимым прилежанием. Они трудились до того, что едва ноги таскали, но толку получалось немного. Двое или трое выделялись подлинными дарованиями, среди них — некий Шазель; но Жюльен держался от них в стороне, так же как и они от него.

Остальные из трехсот двадцати одного семинариста были просто темные невежды, вряд ли способные толком объяснить, что означают эти латинские слова, которые они зубрят с утра до вечера. Почти все это были простые деревенские парни, которым казалось, что зарабатывать себе на хлеб, затвердив несколько слов по-латыни, куда легче, чем копаться в земле. На

основании этих наблюдений Жюльен с первых же дней решил, что он очень быстро добьется успеха. «На всякой работе нужны люди с головой, потому что надо же делать дело,— рассуждал он сам с собой.— У Наполеона я был бы сержантом; а среди этих будущих попов я буду старшим викарием».

«Все эти несчастные парни,— думал он,— выросли на черной работе и до того, как попали сюда, жили на простокваше и на черном хлебе. Там у себя, в своих лачугах, они видят говядину раз пять-шесть в год. Подобно римским воинам, для которых война была временем отдыха, эти темные крестьяне совершенно очарованы сладостной семинарской жизнью».

В их хмурых взорах Жюльену никогда не удавалось прочесть ничего, кроме чувства удовлетворенной физической потребности после обеда и предвкушения физического удовольствия перед едой. Вот каковы были люди, среди которых ему надлежало выделиться. Однако Жюльен не знал одного,— и никто не собирался его в это посвящать,— а именно: что быть первым по различным предметам, как, например, по догматике, истории церкви и прочее и прочее, словом по всему, что проходят в семинарии, считалось в их глазах просто-напросто грехом *гордыни*. Со времени Вольтера, со времени введения двухпалатной системы, которая, в сущности, есть не что иное, как *недоверие* и *личное суждение,* ибо она-то и прививает умам народным гнусную привычку *не доверять,* французская церковь поняла, что истинные ее враги — это книги. Смиренномудрие — превыше всего в ее глазах. Преуспеяние в науках, и даже в священных науках, кажется ей подозрительным, и не без основания. Ибо кто сможет помешать просвещенному человеку перейти на сторону врага, как это сделали Сийес или Грегуар? Церковь трепещет и цепляется за папу, как за свой единственный якорь спасения. Только папа может пресечь личные суждения да при помощи благочестивой пышности своих придворных церемоний произвести некоторое впечатление на пресыщенный и растленный ум светских людей.

Жюльен, наполовину угадывая эти многообразные истины, которые старательно опровергаются всем, что произносится в семинарии, постепенно впадал в глубокое уныние. Он много занимался и быстро овладевал всяческими знаниями, весьма полезными для служителя церкви, в высшей степени лживыми, на его взгляд, и не внушавшими ему ни малейшего интереса. Он полагал, что больше ему, собственно, нечего делать.

«Неужели же все на свете забыли обо мне?» — думал он. Он не знал, что г-н Пирар получил и сжег немало писем с

дижонским штемпелем, в которых, несмотря на благопристойный стиль, угадывалась самая неудержимая страсть и чувствовалось, что страшные муки раскаяния гнетут и преследуют эту любовь. «Тем лучше,— думал аббат Пирар,— по крайней мере, этот юноша любил все-таки верующую женщину».

Однажды аббат Пирар вскрыл письмо, которое можно было прочесть только наполовину, так оно все расплылось от слез: это было прощание с Жюльеном навек. «Наконец-то,— было написано в письме,— господь даровал мне милость и заставил меня возненавидеть не того, кто был причиной моего греха, ибо он всегда останется для меня самым дорогим, что есть на свете, а самый грех мой. Жертва принесена, друг мой. И, как видите, это стоило мне немалых слез. Забота о спасении тех, кому я принадлежу, тех, кого вы так любили, одержала верх. Господь наш — справедливый, но грозный — теперь уже не обрушит на них гнев свой за грехи матери. Прощайте, Жюльен, будьте справедливы к людям». Эти последние прощальные слова в конце письма почти невозможно было разобрать. В письме прилагался дижонский адрес, хотя при этом выражалась надежда, что Жюльен воздержится отвечать на это письмо, а если и ответит, то в таких выражениях, которые женщина, обратившаяся к добродетели, могла бы прочесть, не краснея.

Меланхолия Жюльена вкупе с тем скудным питанием, которым снабжал семинарию некий поставщик обедов по 83 сантима за порцию, стала сказываться на его здоровье, как вдруг однажды утром у него в келье неожиданно появился Фуке.

— Наконец-то я до тебя добрался. Пятый раз, не в упрек тебе будь сказано, я нарочно приезжаю в Безансон, чтобы повидаться с тобой. И всякий раз вижу перед собой одну и ту же деревянную рожу. Уж я тут поставил кое-кого караулить у ворот семинарии. Да почему же ты, черт побери, никогда не выходишь?

— Это — испытание, которое я наложил на себя.

— А ты очень переменился. Наконец-то я тебя вижу! Две звонких монетки, по пяти франков каждая, сейчас только просветили меня: какой я, оказывается, был дурак, что не сунул их в первый же раз.

Разговорам двух друзей, казалось, конца не будет. Жюльен сильно побледнел, когда Фуке сказал ему:

— Да, кстати, знаешь, мать твоих учеников впала в самое исступленное благочестие.

И он непринужденным тоном, который тем сильнее задевает пылкую душу, что в ней в эту минуту, нимало не

подозревая о том, ворошат все самое для нее дорогое, стал рассказывать:

— Да, дружище, она ударилась в самую, понимаешь ли, пылкую набожность. Говорят, ездит на богомолье. Однако к вечному позору аббата Малона, который так долго шпионил за беднягой Шеланом, госпожа де Реналь не захотела иметь с ним дело. Она ездит исповедоваться в Дижон или в Безансон.

— Она бывает в Безансоне? — весь вспыхнув, спросил Жюльен.

— Бывает, и довольно часто,— с недоуменным видом ответил Фуке.

— Есть у тебя с собой номер «Конститюсьонель»?

— Что такое? — переспросил Фуке.

— Я спрашиваю, есть у тебя с собой номер «Конститюсьонель»? — повторил Жюльен самым невозмутимым тоном.— Он здесь, в Безансоне, продается по тридцать су за выпуск.

— Подумать! Даже в семинарии водятся либералы! — воскликнул Фуке лицемерным тоном, подражая приторному голосу аббата Малона.

Это свидание с другом произвело бы очень сильное впечатление на нашего героя, если бы на другой день одно словечко, сказанное ему мимоходом семинаристиком из Верьера, которого он считал глупым мальчишкой, не навело его на весьма важное открытие: с того самого дня, как Жюльен поступил в семинарию, все поведение его представляло собой непрерывный ряд ошибок. Он горько посмеялся над собой.

В самом деле, каждый важный шаг его был тщательно обдуман, но он мало заботился о мелочах, а семинарские умники только на подробности и обращали внимание. Таким образом, он уже успел прослыть *вольнодумцем.* Множество всяких мелких промахов изобличало его.

Так, в их глазах, он был безусловно повинен в страшном грехе: *он думал, он судил сам,* вместо того чтобы слепо подчиняться *авторитету* и следовать примеру. Аббат Пирар не помог ему решительно ни в чем: он ни разу даже не поговорил с ним, кроме как в исповедальне, да и там он больше слушал, чем говорил. Все было бы совершенно иначе, если бы он выбрал себе в духовники аббата Кастанеда.

Но с той самой минуты, как Жюльен обнаружил свое безрассудство, он перестал скучать. Ему нужно было узнать, как далеко он дал зайти злу, и с этой целью он разрешил себе несколько нарушить высокомерное и упорное молчание, которым он отпугивал от себя своих товарищей. Вот тут-то они и начали

мстить ему. Его попытки заговорить были встречены таким презрением, что это граничило с издевательством. Он узнал теперь, что с того момента, как он поступил в семинарию, не было ни одного часа — особенно во время перерывов между занятиями,— который не принес бы для него дурных или благоприятных последствий, не увеличил бы число его врагов или не расположил бы в его пользу какого-нибудь поистине достойного семинариста или хотя бы просто не такого невежду, как все прочие. Зло, которое ему предстояло исправить, было огромно, и задача эта была чрезвычайно нелегкая. С этих пор внимание Жюльена было постоянно настороже: ему надлежало изобразить себя совсем другим человеком.

Выражение его глаз, например, причиняло ему немало забот. Ведь не без основания в такого рода местах их держат постоянно опущенными. «Чего только я не мнил о себе в Верьере,— рассуждал про себя Жюльен.— Я воображал, что я живу, а оказывается, я только еще готовился к жизни; а вот теперь я вступил в жизнь, и такой она будет для меня до конца, пока роль моя не будет сыграна. Кругом — одни лютые враги. И какой же адский труд,— говорил он себе,— это ежеминутное лицемерие! Да оно затмит все подвиги Геркулеса! Геркулес нашего времени — это Сикст Пятый, который пятнадцать лет подряд обманывал своей кротостью сорок кардиналов, знавших его в юности надменным и запальчивым».

«Значит, знания здесь и в грош не ставятся? — говорил он себе с досадой.— Успехи в догматике, в священной истории и прочее поощряются только для виду? Все, что здесь говорится по этому поводу, просто ловушка, куда попадают болваны вроде меня? Увы! Единственной моей заслугой были мои быстрые успехи, моя способность легко схватывать весь этот вздор. Выходит, они сами знают ему цену и относятся ко всему так же, как и я! А я-то, дурак, гордился! Ведь как раз тем, что я всегда выхожу на первое место, я и нажил себе лютых врагов. Шазель, который знает много больше меня, постоянно допускает в своих сочинениях то ту, то другую нелепицу и благодаря этому плетется пятидесятым, а если когда и выходит на первое место, так только по недосмотру. Ах, одно-единственное слово, одно слово аббата Пирара могло бы меня спасти!»

С тех пор как Жюльен убедился в своих ошибках, долгие упражнения в аскетическом благочестии, как, например, чтение молитв по четкам пять раз в неделю, пение псалмов в часовне Сердца Иисусова и прочее и прочее,— все то, что раньше казалось ему смертной скукой, стало для него самым интересным

занятием. Тщательно следя за собой, стараясь главным образом не обольщаться своими способностями, Жюльен не стремился уподобиться сразу примерным семинаристам и совершать ежеминутно *значительные* деяния, свидетельствующие о его восхождении на новую ступень христианского совершенства. Ведь в семинарии даже яйцо всмятку можно съесть так, что это будет свидетельствовать об успехах на пути к благочестию.

Пусть читатель, у которого это, может быть, вызовет улыбку, припомнит, сколько оплошностей допустил аббат Делиль, кушая яичко за завтраком у одной знатной дамы при дворе Людовика XVI. Жюльен прежде всего стремился достигнуть non culpa [1], то есть такого состояния, при котором вся внешность семинариста, его походка, манера двигать руками, поднимать глаза и так далее свидетельствуют о полном отрешении от всего мирского, но вместе с тем еще не обнаруживают в нем человека, поглощенного видением вечной жизни и познавшего *бренность* жизни земной.

Повсюду на стенах коридора Жюльен постоянно видел написанные углем фразы: «Что значит шестьдесят лет испытаний по сравнению с вечным блаженством или с вечными муками в кипящем масле преисподней?» Теперь эти фразы уже не внушали ему презрения. Он понял, что их надо постоянно иметь перед глазами. «Чем я буду заниматься всю жизнь? — спрашивал он себя.— Продавать верующим места в раю. Как же наглядно показать им, что это такое? Только различием во внешности между мной и мирянином».

После многих месяцев неустанного усердия Жюльен все еще сохранял вид человека *мыслящего*. Его манера поднимать глаза, двигать губами отнюдь не свидетельствовала о слепой вере, которая приемлет все и готова претерпеть все вплоть до мученичества. Жюльен с досадой видел, что даже самые неотесанные деревенские парни превосходят его в этом. Чего проще было для них не обнаруживать своим видом, будто они что-то думают?

Сколько стараний положил он, чтобы приобрести этот лик, исполненный восторженной слепой веры, готовой все принять, все претерпеть, этот лик, который так часто можно встретить в итальянских монастырях и превосходные образцы которого оставил нам, мирянам, Гверчино в своих религиозных картинах [2].

---

[1] Безгрешности *(лат.)*.

[2] Посмотрите в Луврском музее картину «Франциск, герцог Аквитанский, слагает с себя корону и надевает монашеское одеяние». № 1130.

В дни больших праздников семинаристам давали на обед сосиски с кислой капустой. Соседи Жюльена по столу обнаружили, что он был совершенно нечувствителен к такого рода блаженству,— это было одним из первых его преступлений. Товарищи его усмотрели в этом лишь гнусное проявление глупейшего лицемерия; этим он нажил себе больше всего врагов. «Поглядите-ка на этого богатея, полюбуйтесь-ка на этого спесивца,— толковали они.— Ишь, притворяется, будто ему на самую лучшую *еду* наплевать, на сосиски с кислой капустой! У-у! Гадина! Гордец окаянный!»

Ему следовало бы сделать вид, что он наказывает себя, оставляя свою порцию недоеденной на тарелке, и, обрекая себя на такое самопожертвование, сказать кому-нибудь из товарищей, показав на капусту: «На какую еще жертву может обречь себя человек из любви к богу, как не на *добровольное мучение?*»

Но у Жюльена не было опыта, который позволяет без труда разбираться в такого рода вещах.

«Увы мне! Невежество этих деревенских парней, моих сотоварищей, великое их преимущество! — восклицал Жюльен в минуты отчаяния.— Когда они являются в семинарию, их наставнику не приходится выколачивать из них бесконечное множество всяких светских мыслей, то, что принес с собой я, и то, что они читают на моем лице, как бы я ни старался скрыть это». Жюльен с интересом, почти граничащим с завистью, изучал самых неотесанных из этих деревенских юнцов, поступавших в семинарию. В ту минуту, когда у них отбирали домашнюю суконную куртку, чтобы облачить их в черную рясу, все их образование заключалось в безграничном, безоговорочном уважении к звонкой монете, *монетине чистоганом,* как говорят во Франш-Конте.

Этим загадочным высокопарным словом выражается благоговейно-возвышенное представление о *наличных деньгах.*

Все счастье для этих семинаристов, как для героев вольтеровских романов, заключается главным образом в сытном обеде. Почти у всех Жюльен замечал также врожденное благоговение перед любым человеком, на котором было платье из *тонкого сукна.* Это чувство показывает, во что ценится или, пожалуй, даже как недооценивается та *справедливость* по части *распределения* благ земных, которая установлена нашими законами. «А чего добьешься,— часто поговаривали они между собой,— коли с *толстосумом* ссору заведешь?»

Этим словечком в долинах Юры именуют богача. Можно представить себе, каково же должно быть их уважение к тому, кто богаче всех, к правительству!

Не расплыться в почтительной улыбке при одном только упоминании имени господина префекта — это, с точки зрения франшконтейских крестьян, явная неосмотрительность. А бедняк за неосмотрительность живо расплачивается бескормицей.

Первое время Жюльен чуть не задыхался от охватывавшего его чувства презрения. Но в конце концов в нем шевельнулась жалость: ведь отцы большинства его товарищей, должно быть, не раз в зимние вечера возвращаются домой в свою лачугу и обнаруживают, что в доме нет ни куска хлеба, ни одного каштана, ни единой картофелины. «Что ж тут удивительного,— говорил себе Жюльен,— если в их представлении счастливый человек — это тот, кто, во-первых, хорошо пообедал, а затем тот, кто одет в хорошее платье? У всех моих товарищей очень твердое призвание: иначе говоря, они убеждены, что духовный сан даст им возможность длительно и постоянно наслаждаться этим великим счастьем — сытно обедать и тепло одеваться зимой».

Как-то Жюльен услыхал, как один юный семинарист, наделенный пылким воображением, говорил соседу:

— А почему бы мне не стать папой, подобно Сикету Пятому, который свиней пас?

— Папами бывают только итальянцы,— отвечал ему его друг.— Но и среди нас, наверняка, кому-нибудь выпадет жребий получить местечко старшего викария, настоятеля, а там, глядишь, и епископа. Вот господин П., который епископствует в Шалоне,— так ведь он сын бочара. А мой отец тоже бочар.

Однажды во время урока догматики аббат Пирар прислал за Жюльеном. Бедный юноша обрадовался случаю хоть ненадолго вырваться из той физической и нравственной атмосферы, в которой он совершенно задыхался.

У г-на ректора Жюльен встретил в точности такой же прием, какой так напугал его в день поступления в семинарию.

— Объясните, что здесь написано, вот на этой игральной карте? — сказал он, глядя на Жюльена так, что тот рад был бы провалиться сквозь землю.

Жюльен прочел:

«Аманда Бине, кофейня «Жираф», до восьми. Скажите, что вы родом из Жанлиса, родня моей матери».

Жюльен сразу понял, какая страшная опасность угрожает ему: фискалы аббата Кастанеда выкрали у него этот адрес.

— В тот день, когда я переступил порог этот,— отвечал он, глядя на лоб аббата Пирара, ибо он был не в силах выдержать его грозный взгляд,— я содрогался: господин Шелан предупреждал меня, что здесь будут и доносы, и всякие злобные преследования и что клевета и ябедничество поощряются среди учеников. Такова воля господа бога: чтобы юные священнослужители видели жизнь такой, какая она есть, и проникались отвращением к мирскому со всей его суетой сует.

— И это вы меня осмеливаетесь угощать таким пустословием! — воскликнул в негодовании аббат Пирар.— Ах, негодник!

— В Верьере,— спокойно продолжал Жюльен,— мои братья колотили меня, если им случалось позавидовать мне в чем-нибудь.

— К делу! К делу! — закричал г-н Пирар, теряя самообладание.

Нимало не испугавшись, Жюльен невозмутимо продолжал говорить:

— В тот день, когда я прибыл в Безансон, часов около двенадцати, я, проголодавшись, зашел в кофейню. Сердце мое было полно отвращения к этому нечестивому месту, но я подумал, что здесь, должно быть, дешевле позавтракать, чем в гостинице. Какая-то женщина, кажется, хозяйка этого заведения, видя, что я новичок, пожалела меня... «В Безансоне множество всяких проходимцев,— сказала она мне,— я за вас боюсь. Если с вами случится какая-нибудь неприятность, обратитесь ко мне, пошлите сюда кого-нибудь, только до восьми. А если в семинарии привратник откажется ко мне сходить, так вы ему скажите, что вы мой двоюродный брат и родом вы из Жанлиса...»

— Всю эту болтовню мы проверим! — воскликнул аббат Пирар. Он не мог усидеть на месте и расхаживал по комнате.— Марш сейчас же в келью!

Аббат пошел за ним по пятам и запер его на ключ. Жюльен тут же бросился к своему баулу, на дне которого была старательно припрятана роковая карта. Все там было цело, но многое лежало не так, как он уложил, хотя он никогда не расставался с ключом. «Какое все-таки счастье,— сказал себе Жюльен,— что в то время, когда я еще ровно ничего здесь не понимал,

я ни разу не воспользовался разрешением уйти из семинарии в город, а ведь мне так часто предлагал это аббат Кастанед, да еще с такой добротой! Теперь-то я понимаю, что это значит. Могло случиться, что я бы сдуру переоделся и пошел повидаться с прелестной Амандой,— и был бы мне конец. Когда они уже потеряли надежду погубить меня таким способом, они, не желая терять даром такой козырь, пошли и донесли».

Через два часа его снова позвали к ректору.

— Вы не солгали мне,— сказал он, глядя на него теперь уже не так сурово,— но хранить подобный адрес — это такая неосторожность, что вы даже и вообразить себе не можете, как это могло для вас обернуться. Несчастный юноша, даже и через десять лет это все еще может иметь для вас печальные последствия.

XXVII

НАЧИНАЕТСЯ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

Наше время, боже праведный! Да, это сущий Ковчег Завета: горе тому, кто к нему прикоснется!

Дидро.

Читатель не осудит нас за то, что мы приводим так мало точных и убедительных фактов из жизни Жюльена за этот период. Это не потому, что их у нас слишком мало, совсем напротив, но то, что ему пришлось видеть в семинарии, быть может, слишком уж мрачно для того умеренного колорита, который нам хотелось бы сохранить на этих страницах. Современники мои, которым кой от чего приходится страдать, не могут вспомнить о некоторых вещах без ужаса, и это отравляет для них всякое удовольствие, даже удовольствие читать сказку.

Жюльен слабо преуспевал в своих попытках лицемерить мимикой и жестами; бывали минуты, когда его охватывало чувство глубочайшего отвращения, даже подлинного отчаяния. Он ничего не мог добиться, да еще вдобавок в таком гнусном ремесле. Самая маленькая поддержка извне могла бы подкрепить его стойкость: не так уж велики были затруднения, которые требовалось преодолеть; но он был один-одинешенек, словно челн, брошенный посреди океана. «А если я и добьюсь,— говорил он себе,— так, значит, мне всю жизнь и жить в этой грязной

компании, среди обжор, мечтающих только об яичнице с салом, которую они сожрут за обедом, или вот таких аббатов Кастанедов, которые не остановятся ни перед каким, самым грязным преступлением. Конечно, они добьются власти, но какою ценой, боже великий!

Человеческая воля все может преодолеть. Сколько раз мне приходилось читать об этом! Но хватит ли ее на то, чтобы преодолеть такое отвращение? Великим людям легко было совершать подвиги: какая бы страшная опасность ни грозила им, она им казалась прекрасной; а кто, кроме меня, может понять, до чего омерзительно то, что меня окружает?»

Это была самая трудная пора его жизни. Ведь ему так легко было бы поступить в один из великолепных полков, стоявших гарнизоном в Безансоне! Или сделаться учителем латыни: много ли ему нужно, чтобы прожить? Но тогда прощай карьера, прощай будущность, которою только и живет его воображение: это все равно что умереть. Вот вам подробности одного из его невеселых дней.

«Как часто я в своей самонадеянности радовался тому, что я не такой, как все эти деревенские юнцы! Так вот, я теперь достаточно пожил на свете, чтобы понять, что *различие родит ненависть*»,— так говорил он себе однажды утром. Эта великая истина открылась ему при помощи одной чуть ли не самой обидной из всех его неудач. Он целую неделю старался понравиться одному из учеников, которого окружал ореол святости. Они прогуливались по дворику, и Жюльен покорно выслушивал всякую невыносимо скучную чепуху, которую тот ему плел. Вдруг небо разом потемнело, загрохотал гром, и святой семинарист, изо всех сил оттолкнув от себя Жюльена, вскричал:

— Слушайте-ка, всяк за себя на белом свете! Я не хочу, чтобы меня громом разразило, а господь может испепелить вас, потому что вы нечестивец, как Вольтер!

Стиснув зубы от ярости и подняв глаза к небесам, изборожденным молнией, Жюльен воскликнул: «Так мне и надо, пусть меня поразит молния за то, что я заснул во время бури! Попробуем-ка завоевать какого-нибудь другого святошу!»

Раздался звонок, и начался урок священной истории, которую преподавал аббат Кастанед.

Аббат объяснял сегодня этим деревенским парням, насмерть напуганным тяжкой работой и бедностью своих отцов, что правительство, которое в их представлении было чем-то необыкновенно грозным, обладает действительной и законной

властью только в силу того, что она препоручена ему наместником божьим на земле.

— Станьте достойными папской милости святостью жизни вашей, послушанием вашим, *будьте жезлом меж дланей его,*— добавил он,— и вы получите превосходное место, где будете сами себе голова, никто вам указывать не будет, бессменное место, на котором жалованье, выплачиваемое вам правительством, будет составлять одну треть, а две трети будет приносить вам ваша паства, послушная вашим наставлениям.

После урока аббат Кастанед, выйдя из класса, остановился во дворе, окруженный учениками, которые в этот день слушали его с особенным вниманием.

— Вот уж поистине верно сказано про священников,— говорил он обступившим его семинаристам,— каков поп, таков и приход. Я ведь сам своими глазами видел некоторые приходы в горах, где причту перепадало больше, чем иной священник в городе получает. И деньжонки им за то да за другое несут, не говоря уж о жирных каплунах, яичках да маслице и всяком прочем добре. И уж там священник, безусловно, первое лицо: никакой пир без него не обходится, и почет ему ото всех, ну и все такое.

Едва г-н Кастанед ушел к себе, толпа разошлась и разбилась на маленькие кучки. Жюльен не пристал ни к одной из них; его сторонились, словно шелудивой овцы. Он видел, как в каждой из этих кучек ученики один за другим подбрасывали вверх монетки, загадывая: орел или решка,— и если бросающий угадывал верно, товарищи говорили, что, значит, ему наверняка достанется приход с обильными приношениями.

Затем пошли всякие рассказы. Вот такой-то молодой священник меньше чем через год после рукоположения поднес упитанного кролика служанке старого кюре, после чего тот попросил его себе в викарии, а через несколько месяцев старый кюре помер, и молодой священник получил прекрасный приход. А другой добился, что его назначили в преемники к престарелому кюре в очень богатый приход потому, что он, как только старый кюре-паралитик садился за стол, являлся к нему и замечательно ловко разрезал старику цыпленка.

Как все молодые люди на всех поприщах, семинаристы весьма преувеличивали успешное действие подобного рода уловок, ибо в этом есть нечто необычайное, что привлекает юношеское воображение.

«Надо мне приучить себя к этим разговорам»,— думал Жюльен. Если они не говорили о сосисках да о богатых приходах, разговор заходил о житейской стороне церковного учения, о разногласиях епископов с префектами, кюре с мэрами. И тут Жюльен обнаруживал у них понятие иного бога, и бога гораздо более страшного и могущественного, чем первый; этим вторым богом был папа. Они потихоньку шушукались между собой — да и то только, когда были уверены, что их не может услышать г-н Пирар,— что если папа не дает себе труда самолично назначать каждого префекта и каждого мэра по всей Франции, то это только потому, что он препоручил сие французскому королю, наименовав его старшим сыном церкви.

Вот тут-то Жюльена и осенила мысль, что он может внушить к себе уважение при помощи хорошо известной ему книги де Местра о папе. Сказать правду, он поразил своих товарищей, но это опять обернулось для него бедой. Им не понравилось, что он излагает их собственные взгляды лучше их самих. Г-н Шелан проявил по отношению к Жюльену такую же неосторожность, как и по отношению к самому себе. Приучив его рассуждать здраво, а не отделываться пустыми словами, он забыл сказать ему, что у человека незначительного такая привычка считается преступлением, ибо всякое здравое рассуждение само по себе оскорбительно.

Таким образом, красноречие Жюльена оказалось для него новым преступлением. Семинаристы, судача о нем, придумали наконец такую кличку, при помощи которой им удалось выразить весь ужас, который он им внушал,— они прозвали его *Мартином Лютером*: вот уж поистине подходит к нему, говорили они, из-за этой его дьявольской логики, которой он так гордится.

Многие из молоденьких семинаристов обладали более свежим цветом лица, чем Жюльен, да, пожалуй, были и посмазливее его; но у него были белые руки, и он не умел скрывать свою привычку к чрезмерной опрятности. Эта похвальная черта отнюдь не считалась похвальной в унылом доме, куда его забросила судьба. Грязные деревенские парни, среди которых он жил, немедленно решили, что это у него от распущенных нравов. Нам не хотелось бы утомлять читателя описанием тысяч невзгод нашего героя. Так, например, некоторые из семинаристов посильней вздумали было его поколачивать; он вынужден был вооружиться железным циркулем и дал им понять, правда, только знаками, что пустит его в ход. Знаки в доносе не так легко привести в качестве улики, как произнесенное слово.

XXVIII

КРЕСТНЫЙ ХОД

> Все сердца были взволнованы. Казалось, бог сошел в эти узкие готические улички, разубранные и густо усыпанные песком благодаря заботливому усердию верующих.
>
> *Юнг.*

Как ни старался Жюльен прикидываться дурачком и ничтожеством, он не мог понравиться: слишком уж он ото всех отличался. «А ведь как-никак,— думал он,— все наши наставники — люди весьма тонкие, и выбирали их из тысяч. Почему же их не трогает мое смирение?» Только один, как ему казалось, был обманут его готовностью всему верить и его стараниями строить из себя простачка. Это был аббат Шас-Бернар, распорядитель всех соборных празднеств, которого вот уж лет пятнадцать как обещали сделать настоятелем; а пока что он вел в семинарии курс духовного красноречия. Это был один из тех предметов, по которому Жюльен с самого начала, еще во времена своего ослепления, почти всегда был первым. С этого-то и началось явное благоволение к нему аббата Шаса: частенько после урока он дружески брал Жюльена под руку и прогуливался с ним по саду.

«Чего он от меня хочет?» — думал Жюльен. Он с удивлением слушал, как аббат часами рассказывал ему о разной церковной утвари и облачениях, которые имеются в соборе. Одних риз парчовых было семнадцать перемен, не считая траурных. Большие надежды возлагались на старую советницу де Рюбампре; эта девяностолетняя дама хранила по меньшей мере вот уж лет семьдесят свои свадебные наряды из великолепных лионских шелков, сплошь затканных золотом.

— Вы только вообразите себе, друг мой,— говорил аббат Шас, вдруг останавливаясь и в восхищении закатывая глаза,— они прямо стоймя стоят, эти платья, столько на них золота! Так вот, все почтенные люди у нас в Безансоне полагают, что по завещанию госпожи советницы к сокровищам собора прибавится еще десять риз, помимо четырех-пяти праздничных мантий для торжественных празднеств. А я позволяю себе надеяться и на большее,— добавлял аббат Шас, понижая голос.— У меня есть некоторые основания полагать, что советница оставит нам еще восемь великолепнейших светильников из золоче-

ного серебра, которые, говорят, были приобретены в Италии бургундским герцогом Карлом Смелым, ибо один из ее предков был его любимым министром.

«И что это он потчует меня всем этим старьем? — удивлялся Жюльен.— Уже сколько времени тянется вся эта искусная подготовка, а до дела не доходит. Видно, он мне не доверяет. Должно быть, он хитрее их всех; у тех через какие-нибудь две недели можно наверняка угадать, куда они клонят. Оно, впрочем, понятно: его честолюбие страдает уже пятнадцать лет».

Однажды вечером на уроке фехтования Жюльена вызвали к аббату Пирару. Аббат сказал ему:

— Завтра праздник Тела господня. Господин аббат Шас-Бернар нуждается в ваших услугах для убранства собора; извольте идти и повиноваться.

Но тут же аббат Пирар вернул его и соболезнующим тоном добавил:

— Вы сами должны подумать о том, воспользуетесь ли вы этим случаем, чтобы прогуляться по городу.

— Incedo per ignes (Имею тайных врагов),— отвечал Жюльен.

На другой день с раннего утра Жюльен отправился в собор, опустив глаза в землю. Когда он почувствовал вокруг себя оживление и суету пробуждающегося города, ему стало легче. Повсюду украшали фасады домов в ожидании крестного хода. Все то время, которое он провел в семинарии, представилось ему одним мгновением. Мысли его устремлялись в Вержи да еще к хорошенькой Аманде Бине, которую ведь он мог даже встретить, потому что ее кафе было совсем неподалеку. Он издали увидал аббата Шас-Бернара, который стоял на паперти своего возлюбленного собора. Это был толстый мужчина с веселым лицом и открытым взглядом. Сегодня он весь сиял.

— Я ждал вас, дорогой сын мой! — крикнул он, едва только Жюльен показался вдалеке.— Милости просим! Нам с вами сегодня придется потрудиться вовсю, и нелегкая это будет работа. Подкрепим же наши силы первым завтраком, а уж второй раз закусим часиков в десять, во время торжественной мессы.

— Я желал бы, сударь,— степенно сказал Жюльен,— не оставаться ни на секунду один. Не откажите обратить внимание,— добавил он, показывая ему на башенные часы вверху, над их головами,— что я явился к вам в пять часов без одной минуты.

— А-а! Вы боитесь наших негодников-семинаристов? Да стоит ли думать о них? — сказал аббат Шас.— Разве дорога

становится хуже от того, что по краям ее в изгороди торчат колючки? Путник идет своей дорогой, а злые колючки пусть себе торчат на своих местах. Да ну их! Примемся за работу, дорогой друг мой, за работу!

Аббат Шас не зря говорил, что работа будет нелегкая. Накануне в соборе были торжественные похороны, и поэтому нельзя было делать никаких приготовлений к празднику. Теперь надо было за одно утро задрапировать все готические пилоны, которые образуют три притвора, алой дамасской тканью до самого верха, на тридцать футов в вышину. Г-н епископ вызвал ради этого случая четырех обойщиков из Парижа, оплатив им проезд в почтовой карете, но эти господа не успевали всюду управиться, и, вместо того чтобы помочь своим неумелым товарищам безансонцам, они только еще больше обескураживали их своими насмешками.

Жюльен увидел, что ему придется самому взобраться на лестницу; вот когда ему пригодилась его ловкость. Он взялся руководить местными обойщиками. Аббат Шас с восхищением поглядывал, как он летал вверх и вниз с одной лестницы на другую. Когда все пилоны были уже обтянуты дамасской тканью, стали обсуждать, как бы водрузить пять пышных султанов на большом балдахине, над главным алтарем. Роскошный венчик из золоченого дерева поддерживался восемью высокими колоннами из итальянского мрамора. Но чтобы добраться до середины балдахина, над самым престолом, надо было пройти по старому деревянному карнизу, может быть, и не без червоточины, висевшему на высоте сорока футов.

Вид этой небезопасной дорожки сразу охладил хвастливую расторопность парижских обойщиков; они поглядывали на балдахин, спорили, рассуждали, но никто не решался лезть наверх. Жюльен схватил султаны и легко взбежал по лестнице. Он очень ловко приладил их на самом венчике, как раз посреди балдахина. Когда он сошел с лестницы, аббат Шас-Бернар заключил его в свои объятия.

— *Optime!* [1] — вскричал добрый толстяк.— Я расскажу об этом его высокопреосвященству.

В десять часов они очень весело позавтракали. Никогда еще аббат Шас не видал свою церковь такой нарядной.

— Дорогой сын мой,— говорил он Жюльену,— моя матушка сдавала напрокат стулья в этой почтенной базилике, так что я в некотором роде вскормлен этим прекрасным зданием.

[1] Превосходно! *(лат.)*

Террор Робеспьера разорил нас, но я — мне было тогда восемь лет — уже прислуживал на молебствиях и мессах, которые заказывали на дому, и в эти дни меня кормили. Никто не мог свернуть ризу ловчее меня; бывало, у меня никогда ни одна золотая кисть не сомнется. А с тех пор как Наполеон восстановил богослужение, мне посчастливилось стать надзирателем в этом почтенном храме. Пять раз в году он предстоит перед моим взором в этом пышном убранстве. Но никогда еще он не был так великолепен, как сегодня, ни разу еще эти алые дамасские ткани не спадали такими пышными складками, не облегали так красиво колонны.

«Ну, вот сейчас он наконец выложит мне свою тайну,— подумал Жюльен.— Раз уж он начал говорить о себе, сейчас пойдут излияния!» Но, несмотря на свое явно возбужденное состояние, аббат не обронил ни одного неосторожного слова. «А ведь он потрудился немало. И как радуется! — подумал Жюльен.— И винца изрядно хлебнул. Вот это человек! Какой пример для меня! К отличию его!» (Это выражение Жюльен перенял у старика-лекаря.)

Когда колокола зазвонили *Sanctus*, Жюльен хотел было надеть стихарь, чтобы принять участие в торжественной процессии, возглавляемой епископом.

— А жулики, дорогой мой, а жулики! — вскричал аббат Шас.— Вы о них не подумали! Все пойдут крестным ходом, церковь останется пустая. Нам с вами придется вот как сторожить! Еще хорошо будет, если мы недосчитаемся потом только одного-двух кусков этой великолепной золотой парчи, которой обвит низ пилонов. А ведь это дар госпожи де Рюбампре. Эта парча досталась ей от ее знаменитого предка королевской крови, чистейшее золото, дорогой мой! — восхищенным шепотом добавил аббат, наклонившись к самому его уху.— Никакой примеси! Я поручаю вам наблюдать за северным крылом, и вы оттуда — ни шагу. А я буду смотреть за южным крылом и главным нефом. Да присматривайте хорошенько за исповедальнями: как раз там-то эти наводчицы, сподручные воров, и прячутся и только того и ждут, чтобы к ним спиной повернулись.

Едва он успел договорить, как пробило три четверти двенадцатого. И в ту же минуту ударил большой колокол. Он гудел во всю силу, и ему вторили другие колокола. Эти полные, торжественные звуки захватили Жюльена. Воображение его словно вырвалось на волю и унеслось далеко от земли.

Благоухание ладана и розовых лепестков, которые разбрасывали перед святыми дарами маленькие дети, одетые под Иоанна Крестителя, усиливало это восторженное чувство.

Величественные звуки колокола не должны были бы внушать Жюльену ничего, кроме мысли о том, что это результат работы двадцати человек, которым платят по пятьдесят сантимов, а им помогают, быть может, пятнадцать или двадцать человек из прихожан. Ему следовало бы подумать о том, что веревки изношены и леса также, что и колокол сам по себе представляет опасность: он падает через каждые два столетия; не мешало бы ему рассудить и о том, нельзя ли как-нибудь урезать вознаграждение звонарям или уплачивать им за труд индульгенциями либо какой-нибудь иной милостью от щедрот церкви, дабы не истощать ее казны.

Но вместо того чтобы предаваться столь мудрым размышлениям, душа Жюльена, подхваченная этими полными и мужественными звуками, носилась в заоблачных просторах воображения. Никогда не получится из него ни хорошего священника, ни дельного начальника! Что может выйти путного из душ, способных так восторгаться? Разве что какой-нибудь художник! И вот тут-то самонадеянность Жюльена и обнаруживается во всей своей наготе. Наверно, уж не менее полсотни из его семинарских товарищей, напуганных народной ненавистью и якобинством, которым их вечно пугают, внушая им, что оно гнездится чуть ли не за каждым плетнем, научились как следует разбираться в действительности и, услышав большой соборный колокол, не подумали бы ни о чем другом, кроме того, какое жалованье платят звонарю. Они стали бы высчитывать с гениальностью Барема, стоит ли степень умиления молящихся тех денег, которые приходится выплачивать звонарям. Но если бы Жюльену и пришло в голову задуматься о материальных интересах собора, то его воображение завело бы его снова не туда, куда следует: он бы придумал, пожалуй, как сберечь сорок франков церковному совету, и упустил бы возможность избежать расхода в двадцать пять сантимов.

В то время как процессия в этот чудесный, солнечный день медленно двигалась по Безансону, останавливаясь у нарядных уличных алтарей, воздвигнутых в изобилии городскими властями, старавшимися перещеголять друг друга, церковь покоилась в глубочайшей тишине. Там царили полумрак, приятная прохлада, и все было еще пропитано благоуханием цветов и ладана.

Это безмолвие, уединение и прохлада в просторных церковных притворах погружали Жюльена в сладкое забытье. Он не

опасался, что его потревожит аббат Шас, надзиравший за другим крылом здания. Душа его уже почти рассталась со своей смертной оболочкой, а та между тем медленно прогуливалась по северному притвору, порученному ее бдительности. Жюльен был совершенно спокоен: он уже убедился, что в исповедальнях нет ни души, кроме нескольких благочестивых женщин; глаза его глядели, не видя.

Однако он все же несколько вышел из своего забытья, заметив двух хорошо одетых коленопреклоненных женщин: одна из них молилась в исповедальне, другая — тут же, рядом, на низенькой молельной скамье. Он смотрел, не видя, но вдруг то ли смутное сознание возложенных на него обязанностей, то ли восхищение строгой благородной осанкой обеих дам заставило его вспомнить о том, что в исповедальне сейчас нет священника. «Странно,— подумал он,— почему эти нарядные дамы, если они такие богомольные, не молятся сейчас перед каким-нибудь уличным алтарем, а если это дамы из общества, почему же они не восседают торжественно на виду у всех на каком-нибудь балконе? Как красиво облегает ее это платье! Какая грация!» И он замедлил шаг, надеясь, что ему, быть может, удастся поглядеть на них.

Та, что стояла на коленях в исповедальне, чуть-чуть повернула голову, услышав шаги Жюльена среди этой необъятной тишины. Вдруг она громко вскрикнула и лишилась чувств.

Потеряв сознание, она опрокинулась назад, а подруга ее, которая была рядом, бросилась к ней на помощь. И в тот же миг Жюльен увидал плечи и шею падающей дамы. Ему бросилось в глаза хорошо знакомое ожерелье из прекрасных крупных жемчужин. Что стало с ним, когда он узнал волосы г-жи де Реналь! Это была она. А другая дама, которая поддерживала ей голову, чтобы не дать подруге упасть, была г-жа Дервиль. Не помня себя, Жюльен бросился к ним. Г-жа де Реналь своей тяжестью увлекла бы и свою подругу, если бы Жюльен вовремя не поддержал обеих. Он увидел запрокинутую голову г-жи де Реналь на своем плече, ее бледное, безжизненное лицо. Он помог г-же Дервиль прислонить эту прелестную головку к плетеной спинке стула.

Госпожа Дервиль обернулась и тут только узнала его.

— Уходите, сударь, уходите! — сказала она негодующим голосом.— Только бы она вас не увидала! Да как же ей не приходить в ужас при виде вас! Она была так счастлива, пока вас не знала! Ваше поведение гнусно! Уходите! Сейчас же уходите отсюда, если у вас есть хоть капля стыда!

Это было сказано таким повелительным тоном, а Жюльен так растерялся и был в эту минуту так слаб, что он отошел. «Она всегда меня ненавидела»,— подумал он о г-же Дервиль.

В ту же минуту гнусавое пение попов, шедших во главе процессии, раздалось в церкви: крестный ход возвращался. Аббат Шас-Бернар несколько раз окликнул Жюльена; тот не слышал его; наконец он подошел к нему и, взяв его за руку, вывел из-за колонны, куда Жюльен спрятался еле живой. Аббат хотел представить его епископу.

— Вам дурно, дитя мое,— сказал он, видя, что Жюльен весь побелел и почти не в состоянии двигаться.— Вы сегодня чересчур много трудились.— Он взял его под руку.— Идемте, сядьте вот на эту скамеечку кропильщика позади меня, а я вас собой прикрою.— Они были теперь у самого входа в храм, сбоку от главных дверей.— Успокойтесь, у нас есть еще впереди добрых двадцать минут, пока появится его высокопреосвященство. Постарайтесь оправиться, а когда он будет проходить, я вас приподниму — я ведь здоровый, сильный человек, хоть и немолод.

Но когда показался епископ, Жюльен так дрожал, что аббату Шасу пришлось отказаться от мысли представить его.

— Вы особенно этим не огорчайтесь,— сказал он ему,— я еще найду случай.

Вечером аббат велел отнести в часовню семинарии десять фунтов свечей, сэкономленных, как он говорил, стараниями Жюльена,— так проворно он их гасил. Это было мало похоже на правду. Бедный малый сам совершенно угас; он ни о чем больше думать не мог после того, как увидел г-жу де Реналь.

XXIX

ПЕРВОЕ ПОВЫШЕНИЕ

> Он хорошо изучил свой век, хорошо изучил свой округ, и теперь он обеспечен.
>
> *«Прекюрсёр».*

Жюльен еще не совсем пришел в себя и продолжал пребывать в состоянии глубокой задумчивости после того случая в соборе, когда однажды утром суровый аббат Пирар позвал его к себе.

— Я только что получил письмо от господина аббата Шас-Бернара, где он всячески вас расхваливает. Могу сказать, что я более или менее доволен вашим поведением. Вы чрезвычайно

неосторожны и опрометчивы, хотя это сразу и не заметно. И, однако, по сие время сердце у вас доброе и даже великодушное и разум высокий. В общем, я вижу в вас некую искру, коей не следует пренебрегать.

Пятнадцать лет трудился я здесь, а ныне мне придется покинуть этот дом: преступление мое заключается в том, что я предоставлял семинаристов их свободной воле и не поощрял и не притеснял то тайное общество, о котором вы говорили мне на духу. Но раньше чем я уеду отсюда, мне хочется что-нибудь для вас сделать. Я бы позаботился о вас еще два месяца тому назад, ибо вы это заслужили, если бы не донос по поводу найденного у вас адреса Аманды Бине. Я назначаю вас репетитором по Новому и Ветхому завету.

Жюльен, преисполненный благодарности, хотел было броситься на колени, дабы возблагодарить бога, но поддался более искреннему порыву. Он подошел к аббату Пирару, взял его руку и поднес ее к губам.

— Это еще что такое? — сердито закричал ректор, но глаза Жюльена говорили много больше, чем его жест.

Аббат Пирар глядел на него с изумлением, как смотрит человек, который давным-давно отвык встречать тонкие душевные движения. Этот долгий взгляд выдал ректора; голос его дрогнул.

— Да, да, дитя мое. я привязался к тебе. Господь видит, что это случилось помимо моей воли. Мой долг — быть справедливым и не питать ни к кому ни ненависти, ни любви. Тяжкая тебе предстоит жизнь. Я вижу в тебе нечто, что претит низким душам. Зависть и клевета всюду будут преследовать тебя. Куда бы ни забросило тебя провидение, товарищи твои всегда будут ненавидеть тебя, а если даже и будут притворяться друзьями, то только затем, чтобы вернее тебя погубить. Только одно может тебе помочь: не полагайся ни на кого, кроме бога, который в наказание за твою самонадеянность наделил тебя тем, что неизбежно вызывает к тебе ненависть. Да будет поведение твое выше всяких упреков — в этом единственное твое спасение. Если ты неуклонно будешь держаться истины, рано или поздно твои враги будут повержены.

Жюльен так давно не слышал дружеского голоса, что — простим ему эту слабость — он залился слезами. Аббат Пирар обнял его и привлек к своей груди; сладостен был этот миг для них обоих.

Жюльен не помнил себя от радости: это было первое повышение, которого он добился, а преимущества, вытекавшие из

него, были огромны. Оценить их может только тот, кто был обречен жить долгие месяцы, ни на минуту не оставаясь наедине с собой, но вечно в тесном соприкосновении с одноклассниками, которые по меньшей мере несносны, а в большинстве случаев невыносимы. Одни крики их способны довести до исступления чувствительную натуру. Шумная радость этих досыта накормленных, чисто одетых крестьян только тогда была полной, когда могла дать себе выход, когда им можно было беспрепятственно орать во всю силищу своих здоровенных легких.

Теперь Жюльен обедал один или почти один, примерно на час позже всех остальных. У него был ключ от сада, и он мог там прогуливаться, когда никого не было.

К своему великому удивлению, Жюльен обнаружил, что его стали меньше ненавидеть, а он-то, наоборот, ожидал, что ненависть семинаристов удвоится. Теперь они не считали нелепым высокомерием его нежелание вступать в разговор, что было для всех очевидно и создало ему столько врагов. Этим грубым созданиям, среди которых он жил, его замкнутость казалась теперь вполне уместным чувством собственного достоинства. Ненависть заметно уменьшилась, особенно среди младших семинаристов, отныне его учеников, с которыми он обращался чрезвычайно учтиво. Мало-помалу у него стали появляться и сторонники, а называть его *Мартином Лютером* теперь уже считалось непристойной шуткой.

Но к чему перечислять его друзей, его врагов? Все это гнусно, и тем гнуснее, чем правдивее будет наше изображение. А между тем ведь это единственные воспитатели нравственности, какие есть у народа: что же с ним будет без них? Сможет ли когда-нибудь газета заменить попа?

С тех пор как Жюльен получил новое назначение, ректор семинарии явно избегал разговаривать с ним без свидетелей. Это была с его стороны осторожность, полезная равно как учителю, так и ученику, но прежде всего это было испытание. Суровый янсенист, аббат Пирар держался непоколебимого правила: если какой-нибудь человек обладает в глазах твоих некоторыми достоинствами, ставь препятствия на пути ко всему, чего он жаждет, к чему стремится. Если он обладает подлинными достоинствами, он сумеет преодолеть или обойти все препятствия.

Наступила охотничья пора. Фуке надумал прислать в семинарию от имени родных Жюльена оленя и кабана. Туши этих зверей положили в коридоре между кухней и трапезной. Тамто их и увидели семинаристы, когда они шли обедать. С каким

любопытством они разглядывали их! Кабан, даже и бездыханный, внушал страх младшим ученикам — они осторожно дотрагивались до его клыков. Целую неделю только и было разговоров, что об этих тушах.

Этот дар, ставивший семью Жюльена в тот слой общества, к которому надлежит относиться с уважением, нанес смертельный удар завистливой ненависти. Жюльен приобрел право на превосходство, освященное зажиточностью. Шазель и другие из наиболее успевающих семинаристов начали заискивать перед ним и чуть ли не пеняли ему, как это он с самого начала не поставил их в известность о достатке своих родителей, позволив им тем самым выказать невольное неуважение к деньгам.

В это время происходил рекрутский набор, но Жюльен в качестве семинариста не подлежал призыву. Он был глубоко потрясен этим. «Вот и прошел для меня навсегда этот миг, который двадцать лет назад позволил бы мне вступить на путь героев!»

Как-то раз, прогуливаясь в одиночестве по семинарскому саду, он услышал разговор каменщиков, чинивших ограду:

— Ну вот, пришел и наш черед. Новый набор объявили!

— Да, когда *тот* был — что же, в добрый час! Из каменщика ты офицером делался, а то и генералом, видали такие случаи.

— Теперь, брат, уж не увидишь! Одна голытьба в солдаты идет. А тот, у кого в кармане позвякивает, дома остается.

— Кто нищим родился, тот нищим весь век и останется.

— А что это, верно говорят, будто *тот* помер? — вмешался третий каменщик.

— Это, брат, толстосумы говорят! Как же, он им нагнал страху!

— Вот ведь какая она разница получается, как дела-то при *том* шли! И скажи на милость, его же маршалы его и предали! Родятся же на свет такие изменники!

Этот разговор несколько утешил Жюльена. Он пошел дальше по дорожке и, вздыхая, говорил про себя:

Единственный монарх, чью память чтит народ!

Подошло время экзаменов. Жюльен отвечал блестяще; он видел, что даже Шазель старается показать все свои знания.

В первый день господа экзаменаторы, назначенные небезызвестным старшим викарием де Фрилером, были весьма раздосадованы тем, что им неизменно приходилось выставлять в своем

списке на первое или, в крайнем случае, на второе место этого Жюльена Сореля, о котором им донесли, что он любимчик аббата Пирара. В семинарии уже держали пари, что Жюльен выйдет на первое место по всем предметам и в главном экзаменационном листе, а значит, ему и достанется почетное право быть приглашенным на обед к его преосвященству епископу.

Но на последнем экзамене, когда он отвечал об отцах церкви, один ловкий экзаменатор, задав ему несколько вопросов о святом Иерониме и его пристрастии к Цицерону, завел речь о Горации, Вергилии и прочих поэтах-язычниках. Жюльен потихоньку от товарищей выучил наизусть немало стихов этих авторов. Воодушевленный своим успехом, он забыл о том, где находится, и на повторный вопрос экзаменатора начал с жаром читать и перелагать Горациевы оды. Экзаменатор минут двадцать не мешал ему пребывать в этом ослеплении, а затем, вдруг сразу приняв негодующий вид, стал сурово отчитывать за то, что он даром тратил время на это нечестивое занятие и засорял себе голову бесполезными и греховными идеями.

— Я глупец, сударь, вы правы,— смиренно отвечал ему Жюльен, поняв наконец искусный маневр, которым его погубили.

Эта уловка экзаменатора даже и семинаристам показалась подлостью, однако она не помешала тому, что г-н аббат де Фрилер, этот хитрейший человек, который так искусно наладил обширную сеть тайных обществ в Безансоне и чьи донесения в Париж приводили в трепет судей, префекта и даже высшее начальство гарнизонного штаба, изволил сам своей властной рукой поставить против имени Жюльена цифру «198». Он обрадовался этой возможности причинить неприятность своему врагу янсенисту Пирару.

Вот уже добрых десять лет, как он всеми способами старался столкнуть его с поста ректора семинарии. Аббат Пирар следовал тем же правилам поведения, которые он преподал Жюльену: он был искренен, благочестив, не занимался интригами и ревностно исполнял свои обязанности. Но господь в гневе своем наделил его желчным темпераментом, а такие натуры глубоко чувствуют обиду и ненависть. Ни одно из оскорблений, нанесенных ему, не проходило бесследно для этой пламенной души. Он уже сто раз подал бы в отставку, но он был убежден, что действительно приносит пользу на этом посту, на который его поставило провидение. «Я препятствую распространению иезуитства и идолопоклонства»,— говорил он себе.

К тому времени, как начались экзамены, он уже около двух месяцев ни разу не разговаривал с Жюльеном, и, однако, он заболел и прохворал целую неделю после того, как получил официальное уведомление о результатах экзаменов и увидел цифру «198» против имени своего ученика, который в его глазах был гордостью семинарии. Единственное утешение для этой суровой натуры заключалось в том, что он теперь сосредоточил на Жюльене всю силу своей бдительности. И для него было величайшей радостью убедиться, что Жюльен не обнаруживал ни злобы, ни желания отомстить, ни малодушия.

Через несколько недель Жюльен получил письмо и весь затрепетал: на конверте стоял парижский штемпель. «Наконец-то,— подумал он,— госпожа де Реналь вспомнила о том, что она мне когда-то обещала». Какой-то господин, подписавшийся «Поль Сорель» и называвший себя его родственником, посылал ему чек на пятьсот франков. В письме говорилось, что, если Жюльен будет и впредь с таким же рвением изучать славных авторов-латинян, он каждый год будет получать такую же сумму.

«Это она, это ее доброта! — растрогавшись, думал Жюльен.— Ей захотелось утешить меня. Но почему же нет ни одного дружеского слова?»

Он жестоко ошибался относительно этого письма. Г-жа де Реналь, подпав под влияние своей подруги, г-жи Дервиль, всей душой предавалась глубокому раскаянию. Против своей воли ей случалось нередко вспоминать об этом необыкновенном существе, встреча с которым перевернула ее жизнь, но она ни за что не позволила бы себе написать ему.

Если бы нам вздумалось заговорить семинарским языком, мы, наверное, признали бы чудом появление этих пятисот франков и сказали бы, что они исходят от самого г-на де Фрилера, кого провидение избрало своим орудием, дабы ниспослать этот дар Жюльену.

Двенадцать лет тому назад аббат де Фрилер явился в город Безансон с одним тощим саквояжем в руках, где, как утверждает здешняя молва, заключалось все его достояние. Теперь он был одним из самых богатых помещиков на всю округу. За время своего постепенного обогащения он приобрел половину имения, другая половина которого досталась по наследству г-ну де Ла-Молю. Из-за этого между двумя высокими особами и возникла великая тяжба.

Несмотря на свое блестящее положение в Париже и все свои придворные должности, г-н маркиз де Ла-Моль почувствовал, что вести в Безансоне борьбу против старшего викария, о

котором шла молва, будто он рукополагает и низлагает префектов, небезопасно. Однако вместо того чтобы выхлопотать себе пятьдесят тысяч наградных под каким-нибудь удобным наименованием, предусмотренным бюджетом, и уступить аббату де Фрилеру в этой пустяковой тяжбе из-за пятидесяти тысяч франков, маркиз заупрямился. Он считал, что право на его стороне: несокрушимый довод — *право!*

Но да позволено нам будет спросить: существует ли на свете такой судья, у которого нет сына или хотя бы какого-нибудь родственника, которого надо протолкнуть, помочь ему выбиться в люди?

Дабы сие уразумел и слепой, г-н аббат де Фрилер через неделю после того, как он добился первого решения суда, явился в карете его высокопреосвященства к своему адвокату и самолично вручил ему орден Почетного легиона. Г-н де Ла-Моль, несколько растерявшись от таких решительных действий противной стороны и чувствуя, что адвокаты его, того и гляди, сдадутся, обратился за советом к аббату Шелану, а тот, в свою очередь, связал его с г-ном Пираром.

К тому времени, о котором повествует наша история, отношения между ними длились уже несколько лет. Аббат Пирар взялся за это дело со всей страстностью своей натуры. Постоянно встречаясь с адвокатами маркиза, он хорошо изучил его иск и, убедившись, что маркиз прав, открыто стал на сторону г-на де Ла-Моля, против всемогущего старшего викария. Г-н де Фрилер был чрезвычайно оскорблен подобной дерзостью, да еще со стороны какого-то ничтожного янсениста!

— Полюбуйтесь-ка на эту придворную знать, которая считает себя такой всесильной,— говорил своим близким друзьям аббат де Фрилер.— Господин де Ла-Моль не потрудился даже исхлопотать своему безансонскому агенту какого-нибудь ничтожного крестика; он и пальцем не пошевельнет, если того сместят. А между тем, как мне пишут, сей благородный пэр недельку не пропустит, чтобы не выставить напоказ свою голубую ленту и не отправиться в гостиную министра юстиции, кто бы он там ни был.

Несмотря на все старания аббата Пирара, г-ну де Ла-Молю, хоть он действительно всегда был в наилучших отношениях с министром юстиции, а тем паче с его канцелярией, после шестилетних хлопот удалось добиться только того, что тяжба его не была проиграна окончательно.

Постоянно переписываясь с аббатом Пираром по поводу этого дела, к которому оба они относились с большим рвением,

маркиз в конце концов оценил своеобразный ум аббата. Малопомалу, несмотря на огромное расстояние, разделявшее их на общественной лестнице, их переписка приняла дружеский тон. Аббат Пирар сообщил маркизу, что путем всяческих притеснений его хотят заставить уйти в отставку. Возмущенный гнусным подвохом, придуманным, как он полагал, нарочно для Жюльена, он изложил всю эту историю маркизу.

При всем своем богатстве этот вельможа отнюдь не был скуп. Ему до сих пор никогда не удавалось заставить аббата Пирара принять от него хотя бы некоторую сумму в возмещение почтовых расходов, вызванных тяжбой. И тут ему пришло в голову послать пятьсот франков любимому ученику аббата.

Господин де Ла-Моль даже изволил потрудиться и собственноручно написал сопроводительное письмо. Это заставило его вспомнить и об аббате.

В один прекрасный день аббат Пирар получил записку, в которой его просили немедленно прийти по одному весьма важному делу в гостиницу в предместье Безансона. Там он нашел управителя г-на де Ла-Моля.

— Господин маркиз поручил мне предоставить в ваше распоряжение его коляску,— сказал ему управитель.— Он надеется, что вы не откажетесь, ознакомившись с его письмом, отправиться через четыре или пять дней в Париж. А я за тот срок, который вам угодно будет мне назначить, объеду владения господина маркиза здесь, во Франш-Конте. А после этого, когда вы изволите пожелать, мы отправимся в Париж.

Письмо было коротенькое:

«Развяжитесь вы со всеми этими провинциальными дрязгами, дорогой мой аббат, и приезжайте подышать нашим спокойным парижским воздухом. Посылаю вам мой экипаж — я приказал ждать вашего решения четыре дня. Сам я буду ждать вас в Париже до вторника. От вас, сударь, требуется одно только слово «да», чтобы оставить за вами один из самых лучших приходов в окрестностях Парижа. Самый богатый из ваших будущих прихожан никогда вас не видел, однако вы себе и представить не можете, до какой степени он вам предан; это не кто иной, как

маркиз де Ла-Моль».

Суровый аббат Пирар, сам того не подозревая, горячо любил свою семинарию, населенную его врагами: вот уж пятнадцать лет, как все его думы были посвящены ей. Письмо г-на де

Ла-Моля подействовало на него так, как если бы к нему явился хирург для того, чтобы произвести над ним некую мучительную, но неизбежную операцию. Смещение его было неминуемо. Он назначил управителю свидание через три дня.

В продолжение сорока восьми часов его одолевали приступы нерешительности. Наконец он написал письмо г-ну де Ла-Молю и сочинил послание его высокопреосвященству, истинный шедевр экклезиастического стиля, но чуточку длинноватый. Трудно было бы подыскать более безукоризненные выражения, проникнутые столь глубокой почтительностью. И, однако же, письмо это, предназначенное для того, чтобы заставить г-на де Фрилера пережить нелегкий часок с глазу на глаз со своим начальством, подробно излагало все основания для серьезных жалоб, все вплоть до мелких гнусных придирок, которые, после того как он покорно переносил их в течение шести лет, заставили его в конце концов решиться покинуть епархию.

У него воровали дрова из сарая, отравили его собаку, и так далее, и так далее.

Окончив это письмо, он послал разбудить Жюльена, который, как и все семинаристы, ложился спать в восемь часов вечера.

— Вы знаете, где находится епископское подворье? — обратился он к нему на безупречном латинском языке.— Отнесите это письмо его высокопреосвященству. Не стану скрывать от вас, что посылаю вас в волчье логово. Вам надлежит быть лишь ушами и глазами. Не допускайте никакой лжи в ваших ответах, но не забудьте, что тот, кто будет задавать вам вопросы, возможно, испытает истинную радость, если ему удастся повредить вам. Я очень рад, дитя мое, дать вам возможность пройти через это испытание, прежде чем я вас покину, ибо не скрою от вас, что письмо, которое вы понесете,— это моя отставка.

Жюльен словно застыл на месте. Он любил аббата Пирара. Тщетно осторожность твердила ему: «Когда этот честный человек уйдет отсюда, партия Сердца Иисусова будет притеснять меня и, может быть, выгонит совсем».

Он не в силах был думать о себе. Он стоял в нерешительности, потому что ему хотелось сказать одну вещь; он не знал, как бы выразить это поделикатнее, и ничего не мог придумать.

— Ну что же, друг мой? Отчего вы не идете?

— Дело в том, что...— робко сказал Жюльен,— мне пришлось слышать, что вы за все долгое время вашего управления ничего не отложили. У меня есть шестьсот франков...

Слезы мешали ему говорить.

— *Это тоже будет отмечено,*— холодно ответил бывший ректор семинарии.— Отправляйтесь к епископу, уже поздно.

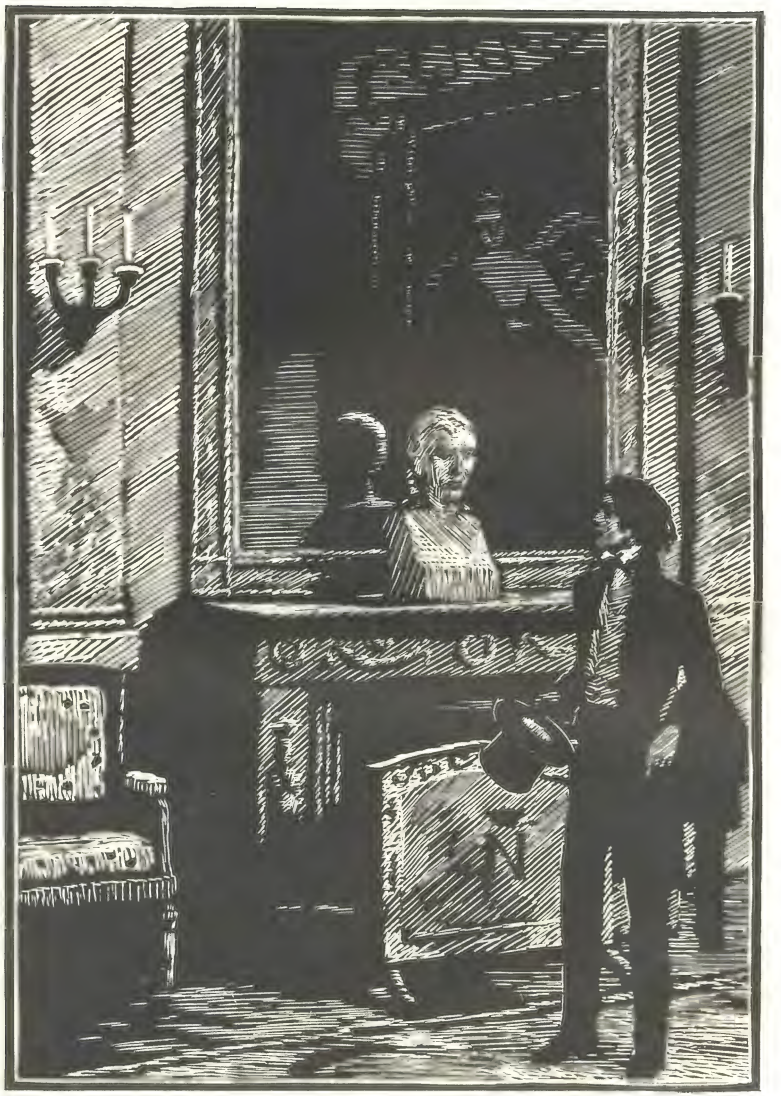
Случайно в этот вечер дежурным в приемной епископа оказался аббат де Фрилер. Его высокопреосвященство был на обеде в префектуре. Таким образом, Жюльен вручил письмо самому г-ну де Фрилеру; но, разумеется, он этого не знал.

Жюльен с удивлением смотрел, как этот аббат бесцеремонно вскрыл письмо, адресованное епископу. Красивое лицо старшего викария сначала выразило изумление, смешанное с живейшим удовольствием, а затем сделалось весьма озабоченным. Пока он читал, Жюльен, пораженный его красивой внешностью, успел хорошо разглядеть его. Лицо это обладало бы большей внушительностью, если бы в каких-то его черточках не сквозила поразительная хитрость, которая могла бы даже изобличить криводушие, если только обладатель этой красивой физиономии хотя бы на миг забыл о том, что́ ей надлежит выражать. Нос, резко выступавший вперед, образовывал превосходную прямую линию, но придавал, к несчастью, этому весьма благородному профилю непоправимое сходство с лисьей мордой. Заметим, кстати, что этот аббат, которого, по-видимому, так заинтересовала отставка аббата Пирара, был одет с большой элегантностью, что очень понравилось Жюльену, которому до сих пор не приходилось видеть чего-либо подобного ни у одного священника.

Уже много времени спустя Жюльен узнал, в чем заключался особый талант аббата де Фрилера. Он умел забавлять своего епископа, любезного старца, привыкшего жить в Париже и чувствовавшего себя в Безансоне, как в изгнании. У епископа было очень слабое зрение, а он страстно любил рыбу. Аббат де Фрилер выбирал косточки из рыбы, которую подавали его высокопреосвященству.

Жюльен молча смотрел на аббата, перечитывавшего прошение об отставке, как вдруг дверь с шумом распахнулась. В комнату поспешно вошел богато разодетый лакей. Жюльен едва успел обернуться к двери: он увидел сухонького старичка с крестом на груди. Жюльен бросился на колени и распростерся в земном поклоне; епископ милостиво улыбнулся ему и проследовал дальше. Красавец аббат пошел вслед за ним, и Жюльен остался один в приемной, где он мог без помех наслаждаться окружающим его благолепием.

Епископ Безансонский, человек ума испытанного, но отнюдь не одряхлевшего от долгих невзгод эмиграции, имел от



роду более семидесяти пяти лет и чрезвычайно мало беспокоился о том, что случится лет через десять.

— Что это за семинарист с таким смышленым взглядом, которого я сейчас заметил, проходя? — спросил епископ.— Разве они не должны, согласно моему уставу, давно уже быть в постелях и спать в этот час?

— Уж у этого, можно поручиться, сна нет ни в одном глазу, ваше высокопреосвященство. Он принес нам весьма важную новость: прошение об отставке единственного янсениста, который оставался в нашей епархии. Наконец-то этот ужасный аббат Пирар догадался, чего от него хотят.

— Вот как! — сказал епископ с лукавой усмешкой.— Держу пари, что вы не сумеете заменить его человеком, который бы его стоил. И чтобы вы знали цену таким людям, я приглашаю его обедать на завтра.

Старший викарий хотел было ввернуть словцо насчет преемника. Но прелат не был настроен заниматься делами и сказал ему:

— Раньше чем мы позволим прийти другому, давайте посмотрим, как уходит этот. Позовите ко мне этого семинариста: истина обитает в устах младенцев.

Позвали Жюльена. «Сейчас я предстану перед двумя инквизиторами»,— подумал он. Никогда еще он не чувствовал в себе такой отваги.

В ту минуту, когда он вошел, два рослых камер-лакея, одетые побогаче самого г-на Вально, раздевали его высокопреосвященство. Прелат, прежде чем заговорить об аббате Пираре, счел долгом порасспросить Жюльена об его успехах. Он задал ему несколько вопросов по догматике и был поражен. Затем он перешел к классикам: к Вергилию, Горацию, к Цицерону. «Вот эти-то имена и удружили мне, за них-то я и получил сто девяносто восьмой номер,— подумал Жюльен.— Но теперь уже терять нечего, постараемся блеснуть». И он действительно блеснул; прелат, который сам был превосходным знатоком классиков, пришел в восторг.

На обеде в префектуре одна молодая девица, пользовавшаяся заслуженной известностью, читала поэму о Магдалине. Епископу хотелось поговорить о литературе, и он вскоре забыл и об аббате Пираре, и о всех своих делах, увлекшись разговором с семинаристом на тему о том, был ли Гораций богат или беден. Прелат цитировал кое-какие оды, но память иной раз изменяла ему, и когда тот запинался, Жюльен с самым скромным видом подхватывал стих и читал дальше до конца.

Епископа в особенности поражало то, что Жюльен при этом не выходил из тона беседы и произносил двадцать или тридцать латинских стихов так непринужденно, как если бы он рассказывал о том, что делается в семинарии. Они долго говорили о Вергилии. В конце концов прелат не мог отказать себе в удовольствии похвалить юного семинариста.

— Вы преуспели в науках как нельзя лучше.

— Ваше высокопреосвященство,— отвечал ему Жюльен,— ваша семинария может представить вам сто девяносто семь учеников, далеко не столь недостойных вашей высокой похвалы.

— Как это так? — спросил прелат, удивленный такой цифрой.

— Я могу подтвердить официальным свидетельством то, что я имел честь доложить вашему высокопреосвященству. На семинарских экзаменах за этот год я как раз отвечал по тем самым предметам, которые снискали мне сейчас одобрение вашего высокопреосвященства, и я получил сто девяносто восьмой номер.

— А! Так это любимчик аббата Пирара! — воскликнул епископ, смеясь и поглядывая на г-на де Фрилера.— Мы должны были ожидать чего-нибудь в этом роде. Однако это честная война. Не правда ли, друг мой,— добавил он, обращаясь к Жюльену,— вас разбудили, чтобы послать сюда?

— Да, ваше высокопреосвященство. Я ни разу не выходил один из семинарии, за исключением того случая, когда меня послали помочь господину аббату Шас-Бернару украсить собор в день праздника Тела господня.

— Optime,— промолвил епископ.— Так это вы, значит, проявили такую храбрость, водрузив султаны над балдахином? Я каждый год смотрю на них с содроганием и всегда боюсь, как бы они мне не стоили жизни человеческой. Друг мой, вы далеко пойдете. Однако я не хочу прерывать вашу карьеру, которая, несомненно, будет блестящей, и уморить вас голодной смертью.

И епископ распорядился подать бисквиты и графин малаги, которым Жюльен отдал должное, а еще больше аббат де Фрилер, ибо он знал, что епископу доставляет удовольствие, когда люди едят весело и с аппетитом.

Прелат, все более и более довольный так удачно сложившимся вечером, попробовал было заговорить с Жюльеном об истории церкви. Он тотчас же заметил, что Жюльен его не понимает. Он перешел к состоянию нравов римской империи

эпохи Константина. Конец язычества отличался тем же духом беспокойства и сомнений, который в XIX веке угнетает многие разочарованные и скучающие умы. Епископ обнаружил, что Жюльен даже и не слыхал имени Тацита.

Когда он выразил свое удивление по этому поводу, Жюльен простодушно ответил, что этого автора у них в семинарской библиотеке нет.

— Ах, вот как! Я очень рад это слышать,— весело сказал епископ.— Вы меня выводите из затруднения: вот уж минут десять я стараюсь придумать, как бы мне вас отблагодарить за приятный вечер, который вы мне сегодня доставили, и, главное, так неожиданно. Вот уж я никак не ожидал встретить ученого в воспитаннике моей семинарии. Хоть это будет и не совсем канонический дар, но я хочу подарить вам Тацита.

Прелат велел принести восемь томов в превосходных переплетах и пожелал сделать собственноручно на титуле первого тома любезную дарственную надпись на латинском языке — поощрение Жюльену Сорелю. Епископ имел слабость гордиться своим тонким знанием латыни. На прощание он сказал Жюльену серьезным тоном, который резко отличался от тона всего разговора.

— Молодой человек, если вы будете *благоразумны,* вы со временем получите лучший приход в моей епархии, и не за сто лье от моего епископского дворца; но надо быть *благоразумным.*

Пробило полночь, когда Жюльен в сильном недоумении вышел из епископского подворья, нагруженный томами Тацита.

Его высокопреосвященство не сказал ему ни единого слова об аббате Пираре. Но больше всего Жюльен был удивлен необычайной любезностью епископа. Он даже не представлял себе, что учтивость манер может сочетаться с таким непринужденным достоинством. И его невольно поразил контраст, когда он увидел мрачного аббата Пирара, дожидавшегося его с нетерпением.

— Quid tibi dixerunt? (Что тебе сказали?) — закричал он громко, едва только увидел его издали.

Жюльен, несколько запинаясь, стал передавать по-латыни разговор с епископом.

— Говорите по-французски и повторите слово в слово все, что говорил его высокопреосвященство, ничего не прибавляя и не опуская,— сказал бывший ректор семинарии своим обычным резким тоном, без всякой учтивости.

— Что за странный подарок от епископа юному семинаристу! — промолвил он, перелистывая великолепного Тацита, чей золотой обрез, казалось, внушал ему ужас.

Пробило два часа ночи, когда, выслушав полный, со всеми подробностями, отчет, он позволил своему любимому ученику вернуться в его комнату.

— Оставьте мне первый том вашего Тацита с лестной надписью его высокопреосвященства,— сказал он ему.— Эта латинская строчка будет для вас громоотводом в этом доме, когда меня здесь не будет. Erit tibi, fili mi, successor meus tanquam leo quaerens quem devoret (Ибо для тебя, сын мой, преемник мой будет аки лев рыкающий, иский, кого поглотити).

На другой день утром Жюльен обнаружил нечто необычное в обхождении с ним товарищей. В ответ на это он только еще больше замкнулся в себе. «Вот,— подумал он,— уже сказывается отставка господина Пирара. Разумеется, это ни от кого не тайна, а я считаюсь его любимчиком. В их поведении кроется какое-то ехидство». Однако ему никак не удавалось уловить, в чем, собственно, оно кроется. Наоборот, во взглядах, которые он ловил на себе, проходя по семинарским дортуарам, не было и следа ненависти. «Что это значит? Не иначе как какая-нибудь ловушка. Ну что ж, будем начеку». Наконец юный семинаристик из Верьера сказал ему, хихикая: «Cornelii Taciti opera omnia» (Полное собрание сочинений Тацита).

При этих словах, которые были произнесены довольно громко, все наперебой бросились поздравлять Жюльена не только с великолепным подарком, который он получил от епископа, но и с двухчасовой беседой, которой его удостоили. Им было известно все, вплоть до мельчайших подробностей. С этой минуты никто уж не решался обнаруживать зависть: перед ним явно заискивали; сам аббат Кастанед, который еще накануне держался с ним чрезвычайно заносчиво, взял его под руку и пригласил к себе завтракать.

Но судьба наделила Жюльена как нельзя более злосчастным характером: наглость этих грубых созданий причиняла ему немало огорчений, а их низкое угодничество вызывало в нем только отвращение и не доставляло ни малейшего удовольствия.

Около полудня аббат Пирар расстался со своими воспитанниками, не преминув обратиться к ним с суровым наставлением.

— Стремитесь ли вы к мирским почестям,— сказал он им,— к общественным преимуществам, прельщает ли вас удо-

вольствие повелевать, насмехаться над законами и беззаконно оскорблять каждого? Или вы помышляете о вечном спасении? Достаточно самому ленивому из вас раскрыть глаза, и он ясно различит эти две дороги.

Едва успел он переступить порог, как благочестивцы из Святого сердца Иисусова бросились в часовню и громко пропели: *Тебе, бога, хвалим.* Ни одна душа во всей семинарии не приняла всерьез наставлений бывшего ректора. «Солона ему показалась отставка»,—поговаривали они между собой. Ни один семинарист не оказался таким простаком, чтобы поверить, что человек может отказаться добровольно от должности, которая позволяет ему вести дела с разными крупными поставщиками.

Аббат Пирар переселился в лучшую безансонскую гостиницу и под предлогом дел, которых у него не было, решил провести там два дня.

Епископ пригласил его обедать и, чтобы подразнить своего старшего викария де Фрилера, старался дать аббату Пирару возможность блеснуть. Они сидели за десертом, как вдруг из Парижа прибыло известие о том, что аббат Пирар назначается в великолепный ...ский приход, в четырех лье от столицы. Добрый прелат от всего сердца поздравил его. Во всей этой истории он усмотрел некую *тонкую игру,* это его развеселило, и он составил себе самое высокое представление о талантах аббата. Он выдал ему превосходную аттестацию на латинском языке, а аббату де Фрилеру, который позволил себе чем-то проявить свое неудовольствие, приказал помолчать.

Вечером епископ отправился поделиться своим восхищением с маркизой де Рюбампре. Все светское общество Безансона было потрясено этой удивительной новостью. Все терялись в догадках по поводу такой необычайной милости. Аббата Пирара чуть ли не прочили в епископы. Люди подогадливее решили, что г-н де Ла-Моль уже министр, и даже позволили себе в этот вечер посмеиваться над тем величественным видом, с которым г-н аббат де Фрилер считал нужным появляться в обществе.

На другой день утром за аббатом Пираром чуть ли не хвостом ходили по улицам; лавочники высовывались из дверей, когда он проходил мимо, направляясь в суд по делам маркиза; там его впервые приняли вежливо. Суровый янсенист, возмущенный до глубины души всем, что ему приходилось видеть, допоздна совещался с адвокатами, которых он выбрал для маркиза де Ла-Моля, и отправился в Париж. Он имел слабость сказать двум или трем своим школьным друзьям, которые про-

водили его до коляски и не могли налюбоваться ее гербами, что после пятнадцати лет управления семинарией он уезжает из Безансона с пятьюстами двадцатью франками,— это все, что ему удалось скопить. Друзья прощались с ним, обнимая его со слезами на глазах, а потом сказали друг другу: «Добрый аббат мог бы обойтись и без этой лжи. Это уж просто смешно».

Низкие души, ослепленные любовью к деньгам, неспособны были понять, что только в своем высоком чистосердечии аббат Пирар черпал силы, необходимые ему для того, чтобы в течение шести лет одному, безо всякой поддержки, вести борьбу против Марии Алакок, против «Сердца Иисусова», против иезуитов и против своего епископа.

XXX

ЧЕСТОЛЮБЕЦ

> Единственный благородный титул — это титул *герцога;* маркиз — в этом есть что-то смешное; но стоит только произнести *герцог*, все невольно оборачиваются.
>
> *«Эдинбургское обозрение».*

Аббат был поражен истинно аристократической внешностью и почти веселым тоном маркиза. Впрочем, будущий министр принял его без всех церемонных любезностей большого вельможи, с виду чрезвычайно учтивых, но на деле оскорбительных для того, кто их понимает. Это было бы пустой тратой времени, а маркиз играл достаточно видную роль в серьезных делах, чтобы терять время попусту.

Вот уже полгода, как он вел крупную интригу, которая должна была заставить короля и страну согласиться на некий определенный состав кабинета, который в благодарность за это должен был поднести ему герцогский титул.

В течение долгих лет маркиз безуспешно добивался от своего безансонского адвоката, чтобы тот представил ему ясный отчет о судебной волоките в Франш-Конте. Но как мог этот знаменитый адвокат объяснить маркизу то, чего он сам не понимал?

Четвертушка бумаги, которую ему вручил аббат, объясняла решительно все.

— Дорогой мой аббат,— сказал ему маркиз, покончив меньше чем за пять минут со всеми формулами вежливости и

вопросами личного характера,— я при всем моем пресловутом благополучии никак не могу найти времени, чтобы заняться всерьез двумя несложными вещами, довольно важными, впрочем: моей семьей и моими делами. Я забочусь о положении моей семьи и располагаю в этом смысле немалыми возможностями. Я забочусь и о своих удовольствиях, и это, разумеется, должно стоять на первом месте,— по крайней мере, на мой взгляд,— добавил он, поймав удивленный взор аббата Пирара.

Хотя аббат был человек здравомыслящий, он все же удивился, что такой старик столь откровенно говорит о своих удовольствиях.

— Разумеется, и в Париже есть труженики,— продолжал вельможа,— но они ютятся где-нибудь на чердаках. Стоит мне только приблизить к себе человека, как он сейчас же снимает себе апартаменты в бельэтаже, а его жена назначает приемные дни, иными словами, все труды, все старания идут уже только на то, чтобы стать светским человеком или прослыть таковым. Это у них единственная забота с той минуты, как они перестают думать о хлебе насущном.

Для моих судебных процессов и даже, если говорить точно, для каждого процесса в отдельности у меня есть адвокаты, которые прямо-таки надрываются от усердия: один только что умер от чахотки, два дня тому назад. Но для моих дел вообще, можете вы себе это представить, сударь, вот уже целых три года, как я безнадежно ищу человека, который, взявшись вести мою переписку, соблаговолил бы хоть капельку подумать всерьез о том, что он делает. Впрочем, все это только так, предисловие.

Я вас уважаю и, осмелюсь добавить, хоть и вижу вас впервые,— люблю. Хотите стать моим секретарем и получать за это восемь тысяч франков или вдвое больше? И я еще выгадаю на этом, клянусь вам. При этом я берусь позаботиться о том, чтобы ваш прекрасный приход остался за вами до того дня, когда нам с вами захочется расстаться.

Аббат отказался, но к концу разговора, когда он ясно представил себе, в каком затруднительном положении находится маркиз, ему пришла в голову одна мысль.

— У меня в семинарии,— сказал он маркизу,— остался один бедный юноша, которого, если я не ошибаюсь, будут там жестоко преследовать. Будь он простым послушником, давно бы уж его засадили in pace [1].

---

[1] Подземная монастырская темница *(лат.)*.

До сей поры этот молодой человек изучал только латынь и Священное писание, но легко может статься, что в один прекрасный день он обнаружит большие дарования либо как проповедник, либо как наставник душ. Не знаю, что из него выйдет, но в нем есть священная искра, и он может пойти далеко. Я рассчитывал обратить на него внимание нашего епископа, если бы у нас когда-нибудь появился некто, обладающий хотя бы в малой доле таким, как у вас, отношением к делу и к людям.

— А из какой среды этот ваш молодой человек?

— Говорят, он сын плотника из наших горных мест, но я думаю, что это скорее незаконный сын какого-нибудь богача. Как-то я видел, он получил письмо — то ли безыменное, то ли подписанное чужим именем — с чеком на пятьсот франков.

— А! Это Жюльен Сорель? — сказал маркиз.

— Откуда вы знаете его имя? — спросил удивленный аббат и сам тут же смутился от своего вопроса.

— Этого я вам не скажу,— заметив его смущение, ответил маркиз.

— Так вот! — продолжал аббат.— Вы могли бы попробовать сделать себе из него секретаря: у него есть и энергия и ум — словом, попробовать стоит.

— Почему бы и нет? — ответил маркиз.— Но только не такой ли это человек, который способен польститься на взятку от начальника полиции или еще кого-нибудь и станет тут у меня шпионить? Вот, собственно, единственное мое опасение.

Когда аббат Пирар успокоил его на этот счет весьма благоприятным отзывом о Жюльене, маркиз вынул тысячефранковый билет.

— Пошлите это на дорогу Жюльену Сорелю, и пусть он явится ко мне.

— Поистине только привычка жить в Париже, господин маркиз, могла привести вас к столь приятному заблуждению,— отвечал аббат Пирар.— Вы стоите столь высоко, что даже понятия не имеете, какая тирания тяготеет над нами, бедными провинциалами, особенно над священниками, которые не дружат с иезуитами. Они не пожелают отпустить Жюльена Сореля и сумеют отделаться разными искусными отговорками: ответят мне, что он болен, что письмо затерялось на почте, и так далее, и так далее.

— Я на днях возьму у министра письмо к епископу,— сказал маркиз.

— Я забыл одну подробность,— сказал аббат.— Этот молодой человек, хоть он и весьма низкого происхождения, душу

имеет высокую. Никакого проку вашим делам от него не будет, если вы заденете его гордость; вы превратите его этим в тупицу.

— Это мне нравится,— сказал маркиз.— Я сделаю его товарищем моего сына. Достаточно этого?

Спустя некоторое время Жюльен получил письмо, написанное незнакомым почерком; на конверте стоял штемпель города Шалона, и к письму был приложен чек на имя одного безансонского торговца. Письмо было подписано вымышленным именем, но, развернув его, Жюльен затрепетал: громадная клякса красовалась посреди страницы на тринадцатом слове — это был знак, о котором они условились с аббатом Пираром.

Не прошло и часа, как Жюльена позвали к епископу, где он был принят поистине с отеческой добротой. Не переставая цитировать Горация, его преосвященство в весьма изысканных выражениях поздравил Жюльена с прекрасной будущностью, открывающейся перед ним в Париже, ожидая, по-видимому, услышать в благодарность кое-какие разъяснения по этому поводу. Но Жюльен ничего не мог ему сказать, прежде всего потому, что сам ровно ничего не знал,— и его высокопреосвященство проникся к нему истинным уважением. Один из должностных священников епископского подворья составил письмо к мэру, который поспешил сам принести подписанную подорожную, в которой было оставлено чистое место для имени путешественника.

В двенадцатом часу ночи Жюльен явился к Фуке, который, как человек здравомыслящий, выразил больше удивления, чем восторга, по поводу перспектив, которые, казалось бы, открывались перед его другом.

— Для тебя это кончится не иначе как какой-нибудь казенной должностью,— сказал ему этот приверженец либералов,— и это рано или поздно приведет тебя к чему-нибудь такому, за что тебя в газетах с грязью смешают. Я о тебе здесь услышу только тогда, когда ты там осрамишься. Припомни мои слова. Даже с чисто финансовой точки зрения лучше зарабатывать сто луидоров честной торговлей лесом и быть самому себе хозяином, чем получать четыре тысячи франков от правительства, хотя бы во главе его стоял сам царь Соломон.

Но Жюльен в этих рассуждениях усмотрел только мелочную ограниченность деревенского богача. Наконец-то пришло для него время появиться на арене великих событий. Ему хотелось поменьше такой сытой уверенности и побольше широких возможностей. В душе его не было сейчас ни малейшего

страха перед голодной смертью. Попасть в Париж, который представлялся ему населенным умными, выдающимися людьми, страшно хитрыми и лицемерными, но чрезвычайно учтивыми, вроде епископа Безансонского или Агдского,— это счастье затмевало для него все. Он ответил своему другу, что в данном случае действует не по своему усмотрению, а подчиняется аббату Пирару.

На другой день около полудня он явился в Верьер, чувствуя себя счастливейшим человеком в мире: он надеялся повидаться с г-жой де Реналь. Но прежде всего он отправился к первому своему покровителю, старому аббату Шелану. Тот встретил его сурово.

— Считаете ли вы себя хоть сколько-нибудь обязанным мне? — сказал ему аббат Шелан, даже не ответив на его приветствие.— Вы сейчас позавтракаете со мной, а за это время вам наймут другую лошадь, и вы уедете из Верьера, *не повидавшись ни с кем.*

— Слышать — значит повиноваться,— отвечал Жюльен с постной миной семинариста; и дальше в их разговоре уже больше не было речи ни о чем, кроме богословия и латинской словесности.

Он вскочил в седло и, проехав примерно лье, очутился на опушке леса; оглядевшись по сторонам и видя, что кругом нет ни души, он углубился в чащу. На закате он отослал лошадь с каким-то крестьянином с первого попавшегося двора, а немного попозже зашел на виноградник и уговорил хозяина продать ему лестницу, и тот согласился пойти с ним и донести ее до рощи, которая тянется над Аллеей Верности в Верьере.

— Сам-то я горемыка, беглый рекрут...

— Или контрабандист,— сказал ему крестьянин, прощаясь с ним.— Ну, да какое мне дело! За лестницу мне заплатили, не поскупились. Да и у меня бывали в жизни *минутки*, за которыми по часам не угонишься.

Ночь была черным-черна. В первом часу Жюльен с лестницей на плечах вошел в Верьер. Он сразу спустился к ручью, который пересекает великолепный сад г-на де Реналя и бежит между двумя стенами в десять футов вышиной. Жюльен легко взобрался на стену по своей лестнице. «Как-то встретят меня сторожевые псы? — подумал он.— От этого все зависит». Собаки залаяли и бросились на него, но он тихонько свистнул, и они стали ласкаться к нему.

Постепенно перебираясь с уступа на уступ, хотя все калитки высокой железной ограды были заперты, он наконец без

всякого труда добрался до окна спальни г-жи де Реналь, которое выходило в сад на высоте девяти-десяти футов над землей.

В ставнях было маленькое отверстие в форме сердечка, хорошо знакомое Жюльену. К его глубокому огорчению, это маленькое отверстие не было освещено изнутри светом ночника.

«Боже великий! — подумал он.— Сегодня госпожа де Реналь спит не в этой комнате! Где же она может спать? Семья в Верьере,— иначе бы здесь собак не было; но ведь я могу в этой комнате без ночника наткнуться на самого господина де Реналя или на кого-нибудь чужого! Вот будет скандал!»

Самое благоразумное было бы удалиться, но Жюльен не мог и подумать об этом. «Если это кто-нибудь чужой, я кинусь бежать со всех ног, а лестницу брошу. Но если это она,— както она меня встретит? Она теперь предается раскаянию и ударилась в самую отчаянную набожность — в этом можно не сомневаться; но в конце концов она еще помнит обо мне, раз она мне пишет». Это последнее соображение заставило его решиться.

С замирающим сердцем, но все же решив либо погибнуть, либо повидаться с ней, он стал бросать камешки в ставень; ответа не последовало. Он приставил свою лестницу сбоку от окна и постучал сам, сначала потихоньку, затем погромче. «Как ни темно сейчас,— подумал Жюльен,— а все-таки ничего не стоит подстрелить меня из ружья». Эта мысль немедленно превратила его безумную затею в вопрос храбрости.

«Либо в этой комнате сегодня никого нет,— думал он,— либо тот, кто там спал, сейчас уже проснулся, так что теперь с этим человеком нечего больше церемониться: надо только постараться, чтобы меня не услыхали и не проснулись те, кто спит в других комнатах».

Он спустился вниз, приставил лестницу под самый ставень, снова поднялся, и когда он просунул руку в отверстие в форме сердечка, ему посчастливилось довольно быстро нащупать проволоку, на которую надевался крючок, запиравший ставень. Он дернул за проволоку и с величайшей радостью обнаружил, что ничто больше не держит ставень и тот поддается его усилиям. «Надо открывать потихоньку и постараться, чтобы она сразу узнала мой голос». Он приоткрыл ставень так, чтобы можно было просунуть голову, и произнес еле слышно несколько раз: *«Это друг»*.

Прислушавшись, он убедился, что ничто не нарушает глубокого безмолвия этой комнаты. И действительно, никакого ночника, хотя бы чуть-чуть теплившегося, на камине не было. Это был плохой признак.

«Как бы кто не выстрелил!» Он немного подумал, потом решился потихоньку постучать пальцем в стекло; никто не ответил; он постучал посильнее. «Хоть разобью стекло, а надо довести дело до конца». Он стучал уже совсем громко, и тут ему показалось, что в глубине этой непроглядной тьмы движется какая-то белая тень. Наконец сомнений уже больше не было: он увидел тень, которая как будто приближалась к нему необычайно медленно. И вдруг он увидел щеку, прильнувшую к стеклу перед его глазом.

Он весь задрожал и слегка откинулся назад. Но тьма была такая, что даже на этом расстоянии он не мог различить, была ли то г-жа де Реналь. Он испугался, как бы она не закричала от испуга,— уже несколько секунд он слышал, как собаки, рыча, бродили около его лестницы.

— Это я,— повторил он довольно громко,— друг...

Никакого ответа: бледный призрак исчез.

— Умоляю вас, откройте, мне надо поговорить с вами, я так несчастен!

И он стал стучать все громче и громче, точно намеревался выбить стекло.

Послышался негромкий отрывистый звук, и задвижка опустилась; он толкнул раму и тихонько соскочил в комнату.

Белый призрак удалялся. Он схватил его за плечи; это была женщина. Все его смелые намерения мигом улетучились. Если это она,— что она скажет? Что сделалось с ним, когда по легкому вскрику он понял, что это была действительно г-жа де Реналь!

Он сжал ее в объятиях; она вся дрожала,— у нее едва хватило сил оттолкнуть его.

— Несчастный! Что вы здесь делаете?

Голос у нее прерывался: она еле выговорила эти слова. Жюльен почувствовал в них искреннее негодование.

— Я пришел к вам после четырнадцати месяцев ужасной разлуки.

— Уходите! Оставьте меня сию же минуту! Ах, господин Шелан! Зачем вы не позволили мне написать ему? Я бы не допустила этого ужаса.— Она оттолкнула его с невероятной для нее силой.— Я раскаиваюсь в моем преступлении: господь

смилостивился и просветил меня,— твердила она прерывающимся голосом.— Уходите! Уходите сейчас же!

— После четырнадцати месяцев сплошной муки я, конечно, не уйду отсюда, не поговорив с вами. Я хочу знать все, что вы делали. Ах, я так любил вас! Неужели я даже настолько не заслужил доверия?.. Я хочу знать все, все.

Как ни сопротивлялась г-жа де Реналь, этот властный голос обладал силой повелевать ее сердцем.

Жюльен, который до этой минуты страстно сжимал ее в своих объятиях и не давал ей освободиться, как она ни старалась, теперь отпустил ее. Это немного успокоило г-жу де Реналь.

— Я втащу лестницу,— сказал он,— а то как бы нас не заметили: не дай бог, кто-нибудь из слуг, разбуженный стуком, вздумает обойти дом.

— Ах, нет! Я же вам говорю: уходите! — твердила она с неподдельным негодованием.— Что мне до людей? Но господь видит эту ужасную сцену, которую вы меня заставляете терпеть, и он меня покарает за это. Вы самым низким образом пользуетесь теми чувствами, которые я когда-то питала к вам. Но их больше нет! Вы слышите, господин Жюльен?

Он втаскивал лестницу очень медленно и осторожно, чтобы не шуметь.

— А муж твой в городе? — спросил он, вовсе не думая дразнить ее, а просто поддавшись давней привычке.

— Не говорите со мной так, ради бога, или я сейчас позову мужа. Я и так уж бесконечно виновата, что не выгнала вас, невзирая ни на что. Я просто сжалилась над вами,— прибавила она, стараясь задеть его гордость, которая, как она знала, была весьма чувствительна.

Этот отказ говорить ему «ты», эта жестокая решимость порвать столь нежную сердечную дружбу, в которую он не переставал верить, довели чуть не до исступления страстное чувство, пылавшее в сердце Жюльена.

— Как! Неужели возможно, что вы и вправду меня больше не любите? — сказал он подкупающим голосом, который, казалось, шел из самой глубины сердца; трудно было остаться к нему равнодушной.

Она не ответила, и он вдруг горько заплакал. И в самом деле, у него уже не было сил говорить.

— Значит, я совсем забыт единственным существом, которое меня за всю мою жизнь любило! Зачем же мне тогда жить?

Все его мужество покинуло его теперь, когда он убедился, что ему не грозит опасность встретиться здесь с мужчиной; все исчезло из его сердца, кроме любви.

Он долго плакал в тишине; она слышала его рыдания. Он взял ее руку, она хотела отнять ее, но все же, после нескольких почти судорожных движений, рука ее осталась в его руке. В комнате было совсем темно; они сидели друг подле друга на постели г-жи де Реналь.

«Как это не похоже на то, что было четырнадцать месяцев тому назад! — подумал Жюльен и опять заплакал.— Значит, разлука и впрямь убивает у человека все чувства! Нет, лучше уж уйти!»

— Соблаговолите сказать мне, что с вами такое случилось,— подавленный ее молчанием, промолвил наконец Жюльен прерывающимся от слез голосом.

— Разумеется, мое падение было уже известно всему городу, когда вы уехали,— отвечала г-жа де Реналь сухим тоном, и в голосе ее Жюльену послышалось что-то жесткое и укоризненное.— Вы вели себя так неосторожно на каждом шагу, а потом, через несколько времени, когда я была в таком отчаянии, ко мне пришел почтенный господин Шелан. Он очень долго тщетно добивался, чтобы я созналась ему. Наконец однажды он придумал отвезти меня в Дижон, в церковь, где я в первый раз причащалась. И там он заговорил сам, первый... — Слезы мешали г-же де Реналь продолжать.— Боже, какой это был стыд! Я призналась во всем. Этот добрый человек сжалился надо мной: он не обрушился на меня с негодованием, он горевал вместе со мной. В то время я каждый день писала вам письма, которые не осмеливалась отсылать: я прятала и берегла их, а когда уж мне становилось совсем невтерпеж, я запиралась у себя в комнате и перечитывала эти письма.

Наконец господин Шелан настоял, чтобы я их ему отдала. А некоторые из них, которые были написаны немножко осмотрительнее, были вам посланы. Вы мне ничего не отвечали.

— Ни разу, клянусь тебе, я не получил ни одного письма от тебя в семинарии.

— Боже милостивый! Кто же их мог перехватить?

— Так вот, подумай, до чего я был несчастен: пока я не увидал тебя в соборе, я даже не знал, жива ты или нет.

— Господь смилостивился надо мной,— продолжала г-жа де Реналь.— Он дал мне уразуметь, какой грех я совершила перед ним, перед детьми, перед мужем. Муж мой никогда не

любил меня, как я воображала тогда, когда вы меня еще любили!..

Жюльен бросился к ней на грудь, просто от избытка чувств, не помня себя. Но г-жа де Реналь оттолкнула его и продолжала довольно твердым голосом:

— Мой почтенный друг, господин Шелан, дал мне понять, что раз я вышла замуж за господина де Реналя, я тем самым отдала ему все мои чувства, даже те, о которых я и не подозревала и которых я никогда не испытывала ранее, до этой злосчастной связи. После великой жертвы, когда я рассталась со своими письмами, которые мне так были дороги, жизнь моя потекла если не счастливо, то, по крайней мере, довольно спокойно. Не нарушайте же моего покоя, будьте мне другом... лучшим из друзей.— Жюльен осыпал ее руки поцелуями; она чувствовала, что он все еще плачет.— Не плачьте, не терзайте меня... Расскажите теперь вы, что вы делали.— Жюльен не в силах был говорить.— Я хочу знать, как вы жили в семинарии,— повторила она,— а потом вы уйдете.

Не думая о том, что он говорит, Жюльен стал рассказывать ей об интригах, о всяческих кознях и происках, с которыми он столкнулся на первых порах, а потом о своей более спокойной жизни после того, как его сделали репетитором.

— И вот тогда-то,— добавил он,— после вашего длительного молчания, которое, конечно, должно было дать мне понять то, что я слишком хорошо вижу сейчас, что вы меня разлюбили, что я стал вам безразличен (г-жа де Реналь сжала его руки)... вот тогда-то вы мне прислали эти пятьсот франков.

— Никогда не посылала! — сказала г-жа де Реналь.

— Это было письмо с парижским штемпелем, и оно было подписано «Поль Сорель», чтобы отвлечь подозрение.

Они начали строить всякие предположения о том, кто бы мог послать это письмо. Атмосфера несколько изменилась. Незаметно для себя г-жа де Реналь и Жюльен перешли от приподнятого тона к сердечному, дружескому разговору. Они не могли видеть друг друга, так как было темно, но звук голоса каждому пояснял все. Жюльен тихонько обнял ее за талию; это, конечно, был рискованный жест. Она попыталась было отвести его руку, но в эту минуту он довольно искусно отвлек ее внимание какой-то занимательной подробностью своего рассказа. О руке его как будто забыли, и она осталась там, где была.

После множества всевозможных догадок относительно письма с пятьюстами франками Жюльен снова принялся рассказывать; постепенно к нему возвращалось его самообладание,

по мере того как он описывал ей свою семинарскую жизнь, которая по сравнению с тем, что он переживал сейчас, не представляла для него никакого интереса. Все его мысли были теперь целиком поглощены тем, как окончится это свидание. «Вы должны уйти»,— поминутно повторял ему прерывающийся голос.

«Какой позор, если меня отсюда выпроводят,— думал Жюльен.— Вся жизнь моя будет отравлена угрызениями совести, никогда уж она мне не напишет, и, бог весть, попаду ли я еще когда-нибудь в эти края». С этой минуты сладостное упоение этой близостью исчезло для него. Сидя рядом с женщиной, которую он обожал, и почти сжимая ее в своих объятиях, в той самой комнате, где он когда-то был так счастлив, в этой глубокой тьме, угадывая и убеждаясь, что она плачет, чувствуя по тому, как вздымается ее грудь, что она едва сдерживает рыдания, он, на свое несчастье, превратился в холодного политика, почти столь же холодного и расчетливого, каким он бывал там, на семинарском дворе, когда чувствовал, что против него замышляется какая-то мерзость со стороны кого-нибудь из его товарищей посильней его. Жюльен нарочно затягивал свой рассказ, расписывая ей безотрадную жизнь, которую он вел с тех пор, как уехал из Верьера. «Так, значит, — говорила себе г-жа де Реналь,— после целого года разлуки и даже не имея никакой возможности знать, помнят ли о нем, в то самое время, когда я всячески старалась забыть его, он только и жил теми счастливыми днями, которые судьба ему послала в Вержи». Рыдания ее усилились: Жюльен видел, что рассказ его достигает цели. Он понял, что надо решиться на последнюю попытку: он быстро перешел к письму, которое получил из Парижа.

— И я распростился с его преосвященством.

— Как! Вы больше не вернетесь в Безансон? Вы покидаете нас навсегда?

— Да,— отвечал Жюльен решительным тоном,— я покидаю этот край, где я забыт даже тою, кого я любил больше всех в моей жизни, и больше я уже никогда не вернусь сюда. Я еду в Париж...

— Ты едешь в Париж! — громко воскликнула г-жа де Реналь.

Рыдания душили ее; она уже не пыталась скрыть своего смятения. Жюльен только этого поощрения и ждал: теперь он мог отважиться на решительный шаг, которым до сих пор боялся испортить все. До этого ее восклицания, ничего не видя в

темноте, он совсем не мог себе представить, к чему это может привести. Теперь он уже больше не колебался: страх перед угрызениями совести, которые потом отравляли бы ему жизнь, вернул ему все его самообладание; он поднялся и холодно сказал:

— Да, сударыня, я покидаю вас навсегда; будьте счастливы, прощайте.

Он сделал несколько шагов к окну и уж взялся за раму, чтобы приоткрыть ее. Г-жа де Реналь бросилась к нему и припала головой к его плечу; он почувствовал, как она сжимает его в своих объятиях и щека ее льнет к его щеке.

Так после трехчасового разговора Жюльен добился того, чего так пламенно жаждал в течение двух первых часов. Случись это немного раньше, какое счастье доставила бы ему и эта пылкая нежность, вспыхнувшая с прежней силой, и заглохшее раскаяние г-жи де Реналь, но теперь, когда он добился этого хитростью, он уже не ощущал ничего, кроме наслаждения. Жюльену захотелось во что бы то ни стало, несмотря на все возражения своей возлюбленной, зажечь ночник.

— Неужели ты хочешь,— говорил он ей,— чтобы у меня даже не осталось никакого воспоминания о том, что я тебя видел? Любовь, которая, наверно, сияет в твоих прелестных глазах, пропадет для меня! Эта милая беленькая ручка так и останется невидимкой? Подумай, ведь я покидаю тебя, и, быть может, очень надолго!

«Какой стыд!» — говорила себе г-жа де Реналь; но она уже не могла отказать ему ни в чем: едва только он напоминал ей о вечной разлуке,— она заливалась слезами. Уже заря начинала отчетливо обрисовывать контуры елей на горах, к востоку от Верьера. Но вместо того, чтобы бежать, Жюльен, совершенно опьяневший от страсти, стал просить г-жу де Реналь позволить ему провести весь день, спрятавшись в ее комнате, и уйти только завтра ночью.

— А почему бы нет? — отвечала она.— После того как я вторично пала, и бесповоротно, у меня не осталось ни капли уважения к себе: видно, это уж мое горе на всю жизнь.— И она самозабвенно прижала его к своему сердцу.— Муж мой сейчас не то, что раньше: у него сильные подозрения, ему кажется, что я *перехитрила его,* и он очень зол на меня. Если он услышит хотя бы малейший звук, я пропала; он меня выгонит, как последнюю тварь,— да я такая и есть.

— Ах! Вот они, увещания господина Шелана,— сказал Жюльен.— Ты не стала бы так говорить со мной до этого

проклятого моего отъезда в семинарию. Тогда ты меня любила!

Жюльен был немедленно вознагражден за то хладнокровие, с каким он произнес эти слова: он увидел, как возлюбленная его тотчас же позабыла о той опасности, которая ей грозила со стороны мужа, а испугалась другой, гораздо более страшной опасности: что Жюльен может усомниться в ее любви. День разгорался стремительно и ярко разливался по комнате; Жюльен в своей гордости теперь упивался блаженством, видя в своих объятиях и чуть ли не у ног своих эту прелестную женщину, единственную, которую он любил в своей жизни и которая, всего несколько часов тому назад, вся была охвачена одним только страхом перед карающим богом и всем существом предана своему долгу. Вся ее решимость, подкрепленная стойкостью, не изменявшей ей в течение целого года, не могла устоять перед его мужеством.

Вскоре в доме началось движение, и г-жу де Реналь встревожило одно обстоятельство, о котором она совсем было забыла.

— Эта противная Элиза придет в комнату... А что же нам делать с твоей громадной лестницей? — сказала она своему возлюбленному.— Куда ее спрятать? Ах, знаю, я отнесу ее на чердак! — задорно воскликнула она.

— Вот такой я тебя помню, такая ты была раньше! — с восторгом сказал Жюльен.— Но ведь тебе придется пройти через людскую, где спит лакей?

— А я оставлю лестницу в коридоре, позову лакея и ушлю его куда-нибудь.

— Придумай, что ему сказать, если он, проходя по коридору, заметит лестницу.

— Ну, конечно, ангел мой! — отвечала ему г-жа де Реналь, целуя его.— А ты сразу полезай под кровать, если, не дай бог, Элиза придет сюда без меня.

Жюльен был поражен этой неожиданной веселостью. «Значит, приближение настоящей опасности,— подумал он,— не только не пугает, а, наоборот, радует ее, потому что она забывает обо всех этих своих угрызениях. Ах, вот поистине бесподобная женщина! Есть чем гордиться, властвуя над таким сердцем!» Жюльен был в полном восхищении. Г-жа де Реналь приподняла лестницу: она явно была слишком тяжела для нее. Жюльен подошел помочь ей и залюбовался ее изящным станом, который отнюдь не свидетельствовал о большой силе, как вдруг г-жа де Реналь без всякой помощи подхватила лестницу и понесла ее с такой легкостью, словно это был стул. Она бы-

стро поднялась с ней в коридор четвертого этажа и там положила ее на пол вдоль стены. Затем она кликнула лакея, а чтобы дать ему время одеться, пошла наверх, на голубятню. Когда она минут через пять вернулась в коридор, лестницы там уже не было. Куда же она исчезла? Если бы Жюльена не было в доме, это нимало не обеспокоило бы ее. Но сейчас — если муж увидит эту лестницу! Страшно подумать, что из этого может произойти. Г-жа де Реналь бросилась искать ее по всему дому. Наконец она нашла ее под самой крышей, куда ее втащил и даже, по-видимому, припрятал лакей. Это было престранное происшествие, и в другое время оно, несомненно, испугало бы ее.

«А не все ли равно,— подумала она,— что может случиться через двадцать четыре часа, когда Жюльена здесь не будет? Все уж тогда превратится для меня в один сплошной ужас и угрызения».

У нее смутно мелькнула мысль, что для нее это будет смерть,— ах, не все ли равно! После такой разлуки — и ведь она думала, что это уж навсегда,— судьба вернула ей Жюльена, она снова с ним, а то, что он сделал, чтобы добраться до нее, показывает, как сильно он ее любит!

Она рассказала Жюльену про историю с лестницей.

— Но что же я скажу мужу,— говорила она,— если лакей донесет ему, что нашел лестницу? — Она с минуту подумала.— Им понадобится по меньшей мере двадцать четыре часа, чтобы найти крестьянина, который тебе ее продал...— И, бросившись в его объятия и судорожно сжимая его, она воскликнула: — Ах! Умереть, умереть бы вот так! — и, прильнув к нему, осыпала его поцелуями.— Но все-таки я не хочу, чтобы ты умер с голоду,— сказала она, смеясь.— Идем, я тебя сейчас спрячу в комнате госпожи Дервиль, она у нас всегда на запоре.— Она пошла караулить в самый конец коридора, а Жюльен бегом пробежал в соседнюю комнату.— Смотри, не открывай, если постучат,— сказала она, запирая его,— а впрочем, это могут быть только дети: им может прийти в голову затеять здесь какую-нибудь игру.

— Ты их приведи в сад под окошко, мне хочется на них посмотреть, и пусть они поговорят.

— Да! Да! Непременно! — крикнула она ему уходя.

Она скоро вернулась с апельсинами, бисквитами и бутылкой малаги; хлеба ей не удалось стащить.

— А муж твой что делает? — спросил Жюльен.

— Пишет, у него там какие-то сделки с крестьянами.

Но пробило уже восемь часов, и в доме поднялась обычная утренняя суета. Не покажись г-жа де Реналь, ее стали бы искать повсюду. Ей пришлось покинуть Жюльена. Но скоро она опять появилась и, пренебрегая всякой осторожностью, принесла ему чашку кофе: она боялась только одного — как бы он у нее не умер с голоду. После завтрака ей удалось привести детей под окна комнаты г-жи Дервиль. Он нашел, что они очень выросли, но ему показалось, что они как-то погрубели, а может быть, это он сам изменился. Г-жа де Реналь заговорила с ними о Жюльене. Старший очень дружелюбно вспоминал о своем наставнике и сожалел о нем, но оба младшие, как оказалось, почти совсем забыли его.

Господин де Реналь не выходил из дому в это утро: он без конца бегал вверх и вниз по лестнице и сновал по всему дому, занятый своими сделками с крестьянами, которым он продавал картофель. До самого обеда у г-жи де Реналь не нашлось ни одной минутки, чтобы навестить своего узника. Когда позвонили к обеду и подали на стол, ей пришло в голову стащить для него тарелку горячего супа. И вот в ту самую минуту, когда она тихонько подходила к двери его комнаты, осторожно неся тарелку с супом, она вдруг столкнулась лицом к лицу с тем самым лакеем, который утром припрятал лестницу. Он также тихонько крался по коридору и как будто прислушивался. Должно быть, Жюльен неосторожно разгуливал у себя в комнате. Лакей удалился, несколько сконфуженный. Г-жа де Реналь спокойно вошла к Жюльену; эта встреча с лакеем очень напугала его.

— Ты боишься,— сказала она ему,— а я сейчас готова встретить любую опасность и глазом не моргну. Я только одного боюсь: той минуты, когда останусь одна, после того как ты уедешь.— И она бегом выбежала из комнаты.

— Ах! — воскликнул восхищенный Жюльен.— Только одни муки раскаяния и страшат эту удивительную душу!

Наконец наступил вечер. Г-н де Реналь отправился в Казино.

Жена его заявила, что у нее ужаснейшая мигрень, и ушла к себе; она поторопилась отослать Элизу и, едва та ушла, тотчас же вскочила, чтобы выпустить Жюльена.

Оказалось, что он в самом деле умирает от голода. Г-жа де Реналь отправилась в буфетную за хлебом. Вдруг Жюльен услыхал громкий крик. Г-жа де Реналь вернулась и рассказала ему, что она в темноте подошла к буфету, куда убирали хлеб, и едва протянула руку, как наткнулась на женское плечо. Оказалось, что это Элиза, и ее-то крик и слышал Жюльен.

— Что она там делала?

— Наверно, таскала конфеты или подглядывала за нами,— отвечала ему г-жа де Реналь с полнейшим равнодушием.— Но я, к счастью, нашла паштет и большой хлебец.

— А тут что у тебя? — сказал Жюльен, показывая на карманы ее передника.

Госпожа де Реналь совсем забыла, что они у нее с самого обеда набиты хлебом.

Жюльен сжал ее в объятиях: никогда еще она не казалась ему такой прекрасной. «Даже в Париже,— смутно пронеслось у него в голове,— никогда я не встречу такую благородную душу!» Эта ее неловкость, свидетельствующая о том, что она не привыкла к такого рода ухищрениям, сочеталась в ней с истинным мужеством, присущим человеку, который способен содрогнуться только перед опасностью иного рода, и опасностью гораздо более страшной, но только в ином смысле.

Жюльен ужинал с большим аппетитом, а подруга его подшучивала над простотой угощения — ей было страшно позволить себе перейти на серьезный тон,— как вдруг кто-то с силой рванул дверь. Это был г-н де Реналь.

— Что вы там заперлись? — кричал он ей.

Жюльен едва успел спрятаться под диван.

— Как так? Вы совсем одеты! — сказал г-н де Реналь, входя.— Вы ужинаете и заперлись на ключ!

В обычный день этот вопрос, заданный со всей супружеской резкостью, привел бы в замешательство г-жу де Реналь, но сейчас она знала, что стоит мужу только чуть-чуть нагнуться — и он увидит Жюльена, ибо г-н де Реналь уселся как раз на тот стул, на котором только что сидел Жюльен, прямо напротив дивана.

Мигрень послужила оправданием всему. Тогда он начал пространно рассказывать ей, каким образом ему удалось выиграть партию на бильярде в Казино,— «да, партию в девятнадцать франков, представь себе!» — говорил он, и вдруг она заметила на стуле, в трех шагах от них, шляпу Жюльена. Она словно обрела еще больше хладнокровия: спокойно начала раздеваться, и, улучив момент, быстро прошла позади мужа и кинула свое платье на стул со шляпой.

Наконец г-н де Реналь удалился. Она попросила Жюльена еще раз рассказать ей, как он жил в семинарии.

— Вчера я тебя не слушала: ты говорил, а я только и думала, как бы мне собраться с духом и прогнать тебя.

Сегодня ей даже и в голову не приходило остерегаться. Они говорили очень громко, и было, наверно, уже часа два ночи, как вдруг их прервал неистовый стук в дверь. Это опять был г-н де Реналь.

— Откройте сейчас же! К нам забрались воры! — кричал он.— Сен-Жан нынче утром нашел их лестницу.

— Вот и конец всему! — воскликнула г-жа де Реналь, бросаясь в объятия Жюльена.— Он убьет нас обоих, он не верит в воров. А я умру в твоих объятиях, и умру такая счастливая, какой никогда не была в жизни.

Она ни слова не отвечала мужу, который бушевал за дверью, и страстно целовала Жюльена.

— Спаси мать Станислава,— сказал он ей, приказывая взглядом.— Я прыгну во двор из окна уборной и убегу через сад; собаки меня узнали. Сверни в узел мою одежду и брось в сад, как только будет возможно. А пока пускай ломает дверь. Главное, никаких признаний: запрещаю тебе это. Пусть уж лучше подозревает, лишь бы не знал наверно.

— Ты разобьешься насмерть! — вот все, что она сказала; больше она ни о чем не тревожилась.

Она подошла вместе с ним к окну уборной, потом не спеша спрятала его одежду. И только после этого она наконец отворила мужу, который прямо кипел от ярости. Он осмотрел комнату, затем уборную и, не сказав ни слова, ушел. Одежда Жюльена полетела из окна; он поймал ее и стремглав бросился бежать к нижней террасе сада, в сторону Ду.

Вдруг около его уха просвистела пуля, и тотчас же позади загремел ружейный выстрел.

«Это не господин де Реналь,— подумал Жюльен.— Он слишком плохо стреляет». Собаки бежали рядом с ним, не лая. Вторая пуля, видимо, перебила лапу одной из собак, потому что она жалобно завизжала. Жюльен перескочил через ограду, пробежал вдоль нее шагов пятьдесят и бросился бежать в противоположном направлении. Он услышал перекликавшиеся голоса и ясно разглядел своего врага — лакея, который стрелял из ружья; какой-то крестьянин по ту сторону сада тоже принялся стрелять, но в это время Жюльен уже стоял на берегу Ду и одевался.

Через час он был уже на расстоянии лье от Верьера, на дороге в Женеву. «Если у них действительно есть подозрения,— думал Жюльен,— они бросятся ловить меня по дороге в Париж».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Она некрасива, потому что не нарумянена.

Сент-Бёв.

I

СЕЛЬСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

O rus, quando ego te adspiciam!

Гораций [1].

— Вы, сударь, верно, почтовых дожидаетесь на Париж? — сказал ему хозяин гостиницы, куда он зашел перекусить.

— Сегодня не удастся,— поеду завтра, я не тороплюсь,— отвечал ему Жюльен.

Он старался придать себе как нельзя более равнодушный вид; как раз в эту минуту подкатила почтовая карета. В ней оказалось два свободных места.

— Как! Да это ты, дружище Фалькоз! — воскликнул путешественник, ехавший из Женевы, другому, который входил в карету вслед за Жюльеном.

— А я думал, ты устроился где-то под Лионом,— сказал Фалькоз,— в какой-нибудь пленительной долине на берегах Роны.

— Устроился! Бегу оттуда.

— Да что ты! Ты, Сен-Жиро, и бежишь? С этаким пресвятым видом и ты умудрился попасть в преступники! — сказал Фалькоз, рассмеявшись.

— Да, оно, пожалуй, было бы и лучше, клянусь честью. Я бегу от этой чудовищной жизни, которую ведут в провин-

[1] О деревня, когда же тебя я увижу! *(лат.)*

ции. Я, ты знаешь, люблю лесов зеленую прохладу и сельскую тишину. Сколько раз ты упрекал меня за этот романтизм... Никогда в жизни я не хотел слушать про проклятую политику, а она-то меня оттуда и выгнала.

— А к какой же ты партии принадлежишь?

— Да ни к какой решительно,— это меня и погубило. Вот тебе вся моя политика: я люблю музыку, живопись. Хорошая книга для меня — целое событие. Скоро мне стукнет сорок четыре года. Сколько мне осталось жить? Пятнадцать, двадцать — ну, тридцать лет, самое большее. Так вот! Я думаю, лет через тридцать министры сделаются немного половчее, но уж, конечно, это будут такие же отменно честные люди, как и сейчас. История Англии показывает мне, все равно как зеркало, все наше будущее. Всегда найдется какой-нибудь король, которому захочется расширить свои прерогативы, всегда мечты о депутатском кресле, слава и сотни тысяч франков, которые загребал Мирабо, будут мешать спать провинциальным богачам, и это у них называется — быть либералом и любить народ. Жажда попасть в пэры или в камер-юнкеры вечно будет подстегивать ультрароялистов. Всякий будет стремиться стать у руля на государственном корабле, ибо за это недурно платят. И неужели там так-таки никогда и не найдется скромного маленького местечка для обыкновенного путешественника?

— Да в чем дело-то? Выкладывай, что с тобой случилось? Должно быть, что-нибудь очень занятное, принимая во внимание твой невозмутимый характер: уж не последние ли выборы выгнали тебя из провинции?

— Мои несчастья начались много раньше. Четыре года тому назад, когда мне было сорок, у меня было пятьсот тысяч франков, нынче мне на четыре года больше, а денег у меня, похоже, тысяч на пятьдесят франков поубавится, и теряю я их на продаже моего замка Монфлери на Роне... Чудесное место...

В Париже мне осточертела эта постоянная комедия, которую нас заставляет ломать так называемая цивилизация девятнадцатого века. Я жаждал благодушия и простоты. И вот я покупаю себе именьице в горах, над Роной. Красота неописуемая, лучше на всем свете не сыщешь.

Приходский священник и мелкопоместные дворянчики, мои соседи, ухаживают за мной целых полгода, я их кормлю обедами. «Я уехал из Парижа,— говорю я им,— чтобы больше за всю жизнь мою не слышать ни одного слова о политике. Как

видите, я даже ни на одну газету не подписался. И чем меньше мне почтальон писем носит, тем мне приятнее».

Но у приходского священника, оказывается, свои виды: вскорости меня начинают неотступно осаждать тысячами всяких бесцеремонных требований и придирок. Я собирался уделить в пользу бедняков две-три сотни франков в год. Нет! У меня требуют их на какие-то богоспасаемые общества — святого Иосифа, святой Девы и так далее. Я отказываюсь — на меня начинают сыпаться всяческие поношения. А я, дурак, огорчаюсь. Я уж больше не могу вылезти из дома утром и спокойно бродить себе, наслаждаясь красотой наших гор,— непременно какая-нибудь пакость нарушит мое мечтательное настроение и самым отвратительным образом напомнит о существовании людей и их злобы. Ну вот, скажем, идет крестный ход с молебствием — люблю я это пение (ведь это, верно, еще греческая мелодия),— так они моих полей не благословляют, потому что, говорит наш поп, сии поля суть поля нечестивца. У старой ханжи-крестьянки пала корова. Так это, говорит, оттого, что она паслась возле пруда, который принадлежит мне, нечестивцу, парижскому философу,— и через неделю все мои рыбки плавают брюшком вверх: отравили негашеной известью. И вот такие пакости подносятся мне тысячью всяческих способов. Мировой судья — честный человек, но он боится за свое место, и потому вечно я у него оказываюсь неправ. Деревенский покой превращается для меня в ад. А раз люди видят, что от меня отрекся приходский священник, глава местного общества иезуитов, и меня не думает поддерживать отставной капитан, глава тамошних либералов, все на меня ополчаются, все, вплоть до каменщика, который целый год жил на моих хлебах, вплоть до каретника, который, починяя мои плуги, попробовал было обжулить меня безнаказанно.

Наконец, чтобы иметь хоть какую-нибудь поддержку и выиграть хоть одну из моих судебных тяжб, я делаюсь либералом, ну, а тут как раз, как вот ты и сказал, подоспели эти окаянные выборы: от меня требуют, чтобы я голосовал...

— За неизвестного тебе кандидата?

— Да нет, он слишком хорошо мне известен! Я отказываюсь — чудовищная неосторожность! Тут уж на меня мигом обрушиваются либералы, и положение мое становится невыносимым. Я полагаю, что если бы приходскому попу пришло в голову обвинить меня в том, что я зарезал мою судомойку, так нашлось бы двадцать свидетелей из той и другой клики,

которые видели своими глазами, как я совершил это преступление.

— А ты хотел жить в деревне и не угождать страстишкам своих соседей, даже не слушать их болтовни? Какая слепота!

— Ну, теперь-то я прозрел. Монфлери продается; пусть уж я потеряю на этом пятьдесят тысяч франков, коли понадобится, но я просто в себя не могу прийти от радости, что выбрался наконец из этого ада лицемерия и мерзостей.

Теперь я решил искать одиночества и сельской тишины в единственном месте во Франции, где его можно найти,— в мансарде на пятом этаже, с окнами на Елисейские Поля. И я даже, знаешь, подумываю, не обеспечить ли мне свою политическую репутацию в Рульском квартале подношением просфор нашему приходу.

— Да, этого с тобой не случилось бы при Бонапарте! — сказал Фалькоз, и глаза его сверкнули гневом и сожалением.

— Здравствуйте пожалуйста! А чего же он совался куда не надо, этот твой Бонапарт? Все, что я теперь терплю,— его рук дело.

Тут Жюльен, слушавший внимательно, насторожился еще больше. Он с первых же слов догадался, что бонапартист Фалькоз не кто иной, как друг детства г-на де Реналя, отрекшегося от него в 1816 году, а философ Сен-Жиро, должно быть, брат того самого начальника канцелярии в префектуре... который умел прибирать к своим рукам по дешевке общественные здания на торгах.

— Все это твой Бонапарт наделал,— продолжал Сен-Жиро.— Порядочный человек сорока лет от роду, с пятьюстами тысяч франков в кармане, как бы он ни был безобиден, не может обосноваться в провинции и обрести там мир душевный,— попы да тамошняя знать изгоняют его оттуда.

— Ах, не говори о нем так! — воскликнул Фалькоз.— Никогда Франция не пользовалась таким уважением среди народов, как эти тринадцать лет, когда он царствовал. Все, все, что тогда ни делалось, было полно величия.

— Твой император, чтоб его черт побрал,— возразил сорокачетырехлетний господин,— был велик только на полях сражений да еще когда он навел порядок в финансах в тысяча восемьсот втором году. А что означает все его поведение после этого? Все эти его камергеры, и эта помпа, и приемы в Тюильри — все это просто повторение, новое издание все той же

монархической чепухи. Его подновили, подправили, это издание, и оно могло бы еще продержаться век, а то и два. Знати и попам захотелось вернуться к старому, но у них нет той железной руки, которая умела бы преподнести его публике.

— Вот уж поистине речь старого газетчика!

— Кто меня согнал с моей земли? — продолжал разъяренный газетчик.— Попы, которых Наполеон вернул своим конкордатом, вместо того чтобы держать их на том же положении, как держат в государстве врачей, адвокатов, астрономов, считать их за обыкновенных граждан и отнюдь не интересоваться ремеслом, при помощи которого они зарабатывают себе на хлеб. Разве сейчас могли бы существовать эти наглецы-дворянчики, если бы твой Бонапарт не понаделал из них баронов да князей? Нет, они уже доживали свой век. А теперь, после попов, вот именно эти-то сельские аристократишки больше всего мне крови и испортили, они-то и заставили меня либералом сделаться.

Разговору этому не было конца; еще полвека Франция будет разглагольствовать на эту тему. Сен-Жиро продолжал твердить, что жить в провинции немыслимо; тогда Жюльен робко указал ему на пример г-на де Реналя.

— Нашли пример, нечего сказать! Эх вы, молодой человек! — воскликнул Фалькоз.— Реналь поспешил стать молотом, чтобы не оказаться наковальней, да еще каким молотом! Но я уже вижу, как его вот-вот спихнет Вально! Знаете вы этого мошенника? Вот это уж поистине беспримесный. Что-то запоет ваш господин де Реналь, когда в одно прекрасное утро он и оглянуться не успеет, как из-под него вышибут стул и на его место сядет Вально?

— Вот он тогда и останется один на один со всеми своими преступлениями,— сказал Сен-Жиро.— А вы, значит, знаете Верьер, молодой человек? Ну, так вот. Бонапарт — чтоб ему на том свете пусто было за все эти его монархические плутни,— он-то как раз и дал возможность царствовать всем этим Реналям да Шеланам, а те уже допустили царство Вально и Маломов.

Этот мрачный разговор о тайнах политики задевал любопытство Жюльена и отвлекал его от сладостных воспоминаний.

Он не ощутил особого волнения, когда вдалеке перед его взором впервые показался Париж. Воздушные замки грядущего отступали перед живым и еще не успевшим остыть воспоминанием о тех двадцати четырех часах, которые он только что

провел в Верьере. Он клялся себе, что никогда не покинет детей своей возлюбленной и бросит все, чтобы защитить и спасти их, если наглые происки попов снова приведут страну к республике и к преследованиям знати.

А что бы случилось тогда, когда он ночью явился в Верьер, если бы в ту минуту, когда он прислонил лестницу к окну спальни г-жи де Реналь, там бы оказался кто-нибудь чужой или сам г-н де Реналь?

А какое блаженство — вспоминать эти первые два часа, когда его возлюбленная так хотела прогнать его, а он уговаривал ее, сидя около нее в темноте! В такой душе, как душа Жюльена, такие воспоминания остаются на всю жизнь. А конец свидания уже переплетался у него с первыми днями их любви, больше года тому назад.

Но вот карета остановилась, и Жюльен очнулся от своих упоительных грез. Они въехали во двор почтовой станции на улице Жан-Жака Руссо.

— Я хочу поехать в Мальмезон,— сказал он, увидя подъезжавший кабриолет.

— В такой час, сударь! Зачем?

— А вам что до этого? Поезжайте.

Истинная страсть думает только о себе. И вот потому-то, как мне кажется, страсти так и нелепы в Париже, где каждый ваш сосед воображает, что им очень интересуются. Не стану описывать вам восторги Жюльена в Мальмезоне. Он плакал. Как? Плакал? Несмотря на эти гнусные белые стены, что понастроили там в нынешнем году, искромсав весь парк на кусочки? Представьте себе, сударь, да; для Жюльена, как и для потомства, не существовало никакой разницы между Аркольским мостом, Святой Еленой и Мальмезоном.

Вечером Жюльен долго колебался, прежде чем решился пойти в театр: у него были престранные идеи по поводу этого богопротивного места.

Глубочайшее недоверие не позволяло ему любоваться живым Парижем; его трогали только памятники, оставленные его героем.

«Итак, значит, я теперь в самом центре всяких интриг и лицемерия! Вот тут-то и царят покровители аббата де Фрилера».

На третий день к вечеру любопытство одержало верх над его намерением посмотреть все и только потом уж отправиться к аббату Пирару. Холодным, сухим тоном аббат разъяснил ему, какая жизнь ждет его у г-на де Ла-Моля.

— Если к концу нескольких месяцев вы не окажетесь полезным, вы вернетесь в семинарию, но у вас будет добрая зарука. Вы будете жить в доме маркиза; это один из первых вельмож во Франции. Вы будете носить черный костюм, но такой, какой носят люди в трауре, а не такой, какой носит духовенство. Я требую, чтобы вы три раза в неделю продолжали занятия по богословию в семинарии, куда я вас рекомендую. Ежедневно к полудню вы будете являться в библиотеку маркиза, который предполагает поручить вам вести переписку по его тяжбам и другим делам. Маркиз пишет на полях каждого письма, которое приходит на его имя, кратко, в двух словах, что надлежит ответить. Я полагаю — и так я сказал ему,— что по истечении трех месяцев вы приобретете умение составлять ответы эти так, что, если вы принесете на подпись маркизу двенадцать писем, он сможет подписать восемь или девять. Вечером, в восемь часов, вы все складываете, приводите в порядок его письменный стол, и в десять вы свободны.

Может случиться,— продолжал аббат Пирар,— что какая-нибудь престарелая дама или какой-нибудь господин с вкрадчивым языком посулят вам некие необозримые блага или просто-напросто предложат вам деньги, чтобы вы показали им письма, которые пишут маркизу...

— О сударь! — весь вспыхнув, воскликнул Жюльен.

— Странно,— сказал аббат с горькой усмешкой,— что у вас, при вашей бедности, да еще после целого года семинарии, все еще сохранились эти порывы благородного негодования. Должно быть, вы были совсем уж слепцом!

— Уж не сила ли крови это? — промолвил аббат вполголоса, как бы рассуждая сам с собой.— А всего страннее,— добавил он, поглядывая на Жюльена,— то, что маркиз вас знает... Не представляю себе, откуда. Он положил вам для начала сто луидоров жалованья. Этот человек повинуется только своим прихотям — вот в чем его недостаток. Взбалмошностью он, пожалуй, не уступит вам. Если он останется вами доволен, ваше жалованье может со временем подняться до восьми тысяч франков.

Но вы, конечно, понимаете,— язвительным тоном продолжал аббат,— что он дает вам эти деньги не за ваши прекрасные глаза. Надо суметь стать полезным. Я бы на вашем месте старался говорить поменьше и тем более воздерживался бы говорить о том, чего я не знаю. Да,— промолвил аббат,— я еще собрал кое-какие сведения для вас: я совсем было забыл про

семью господина де Ла-Моля. У него двое детей: дочь и сын — юноша девятнадцати лет, красавец, щеголь, ветрогон, который никогда в полдень не знает, что ему в два часа дня в голову взбредет. Он неглуп, храбрец, воевал в Испании. Маркиз надеется, уж не знаю почему, что вы станете другом юного графа Норбера. Я сказал, что вы преуспеваете в латыни. Быть может, он рассчитывает, что вы обучите его сына нескольким расхожим фразам о Цицероне и Вергилии.

На вашем месте я бы никогда не позволил этому молодому красавцу подшучивать над собой, и, прежде чем отвечать на всякие его любезности, которые, несомненно, будут как нельзя более учтивы, но уж, наверно, не без иронии, я бы заставил повторить их себе не один раз.

Не скрою от вас, что молодой граф де Ла-Моль будет, разумеется, презирать вас хотя бы просто потому, что вы буржуа, а его предок был придворным и ему выпала честь сложить голову на плахе на Гревской площади двадцать шестого апреля тысяча пятьсот семьдесят четвертого года за некую политическую интригу.

Вы же — вы всего лишь сын плотника из Верьера да еще состоите на жалованье у его отца. Взвесьте хорошенько эту разницу да почитайте историю этой семьи у Морери. Все льстецы, которые у них обедают, никогда не упускают случая упомянуть об этом историческом труде каким-нибудь, как у них говорится, лестным намеком.

Думайте хорошенько, когда будете отвечать на шуточки господина графа Норбера де Ла-Моля, командира гусарского эскадрона и будущего пэра Франции, чтобы потом не прибегать ко мне с жалобами.

— Мне кажется,— сказал Жюльен, густо краснея,— что я просто не должен отвечать человеку, который меня презирает.

— Вы понятия не имеете о презрении такого рода: оно будет проявляться только в преувеличенной любезности. И будь вы глупцом, вы бы, конечно, легко могли дать себя провести на этом, а если бы вы стремились во что бы то ни стало сделать себе карьеру, вы должны были бы дать себя провести.

— А если в один прекрасный день я решу, что все это мне не подходит,— сказал Жюльен,— что же, я буду считаться неблагодарным, если вернусь в мою келейку номер сто три?

— Разумеется,— отвечал аббат.— Все клевреты этого дома постараются оклеветать вас, но тогда появлюсь я. Adsum qui feci [1]. Я скажу, что это решение исходит от меня.

Жюльена ужасно удручал желчный и чуть ли не злобный тон г-на Пирара: этот тон совсем обесценил для него даже последние слова аббата.

Дело в том, что аббат укорял себя за свою привязанность к Жюльену, и его охватывал какой-то чуть ли не благоговейный страх, словно он совершал кощунство, позволяя себе вот так вмешиваться в чужую судьбу.

— Вы увидите там еще,— продолжал он все тем же недовольным тоном и словно выполняя некий неприятный долг,— госпожу маркизу де Ла-Моль. Это высокая белокурая дама, весьма набожная, высокомерная, отменно вежливая, но еще более того суетно никчемная. Это дочь старого герцога де Шона, столь известного своими аристократическими предрассудками. И сия важная дама являет собой нечто вроде весьма выразительного образца женщины ее ранга, самой сущности ее. Она не считает нужным скрывать, что единственное преимущество, достойное уважения в ее глазах,— это иметь в своем роду предков, которые участвовали в крестовых походах. Деньги — это уже нечто второстепенное и далеко не столь существенное. Вас это удивляет? Друг мой, мы с вами уже не в провинции.

Вы увидите в ее гостиной больших сановников, которые позволяют себе говорить о наших государях весьма пренебрежительным тоном. Что же касается госпожи де Ла-Моль, то она всякий раз, как произносит имя какого-нибудь принца, а тем более принцессы королевской крови, считает своим долгом почтительно понизить голос. Я не советую вам говорить при ней, что Филипп II или Генрих VIII были чудовищами. Они были королями, и это дает им незыблемое право пользоваться благоговейным уважением всех людей, а тем более таких захудалых людишек, как мы с вами. Однако,— добавил г-н Пирар,— мы люди духовного звания — таким, по крайней мере, она вас будет считать,— и в качестве таковых мы являемся для нее чем-то вроде лакеев, необходимых для спасения ее души.

— Сударь,— сказал Жюльен,— мне сдается, что я недолго пробуду в Париже.

— В добрый час. Но заметьте, что человек нашего звания не может достигнуть положения без покровительства вельмож. А те, я бы сказал, неизъяснимые черты, которые, по крайней

[1] Я, который совершил это *(лат.)*.

мере, на мой взгляд, отличают натуру вашу, обрекают вас на гонение, если вы не сумеете прочно устроить свою судьбу,— середины для вас нет. Не обольщайтесь. Люди видят, что вам не доставляет удовольствия, когда они заговаривают с вами, а в такой общительной стране, как наша, вы осуждены быть горемыкой, если не заставите себя уважать.

Что сталось бы с вами в Безансоне, если бы не прихоть маркиза де Ла-Моля? Придет день, и вы поймете, как необыкновенно то, что он для вас сделал, и если вы не бесчувственное чудовище, вы будете питать к нему и к его семье вечную признательность. Сколько бедных аббатов, гораздо более образованных, чем вы, годами жили в Париже, получая по пятнадцати су за требу и десять су за ученый диспут в Сорбонне!.. Вспомните-ка, что я вам рассказывал прошлой зимой, какую жизнь приходилось вести в первые годы этому мошеннику кардиналу Дюбуа. Или вы в гордыне своей воображаете, что вы, может быть, даровитее его?

Я, например, человек спокойный, заурядный, я был уверен, что так и окончу свои дни в семинарии, и с истинно детским неразумием привязался к ней. И что же? Меня уже совсем собирались сместить, когда я подал прошение об отставке. А знаете ли вы, каковы были тогда мои средства к существованию? Мой капитал равнялся пятистам двадцати франкам, ни более ни менее, и друзей — никого, разве что двое или трое знакомых. Господин де Ла-Моль, которого я никогда в глаза не видал, вытащил меня из этой скверной истории: стоило ему замолвить словечко — и мне дали приход. Прихожане мои — люди с достатком и не из тех, что погрязли во всяких грубых пороках, а доход мой — стыдно даже сказать, насколько он превышает мои труды. Я потому с вами так долго беседую, что хочу вложить немножко здравого смысла в эту ветреную голову.

И еще одно: я, на свое несчастье, человек вспыльчивый,— может случиться, что мы с вами когда-нибудь перестанем говорить друг с другом.

Если высокомерие маркизы или скверные шуточки ее сынка сделают для вас этот дом совершенно невыносимым, я вам советую закончить ваше образование где-нибудь в семинарии в тридцати лье от Парижа, и лучше на севере, чем на юге. На севере народ более цивилизован и несправедливости меньше, и надо признаться,— добавил он, понизив голос,— что соседство парижских газет как-никак немного обуздывает этих маленьких тиранов.

Если же мы с вами будем по-прежнему находить удовольствие в общении друг с другом и окажется, что дом маркиза вам не подходит, я предлагаю вам занять место моего викария, и вы будете получать половину того, что дает мой приход. Я вам должен это и еще более того,— прибавил он, прерывая благодарности Жюльена,— за то необычайное предложение, которое вы мне сделали в Безансоне. Если бы у меня тогда вместо пятисот двадцати франков не оказалось ничего, вы бы меня спасли.

Голос аббата утратил свою язвительность. Жюльен, к великому своему стыду, почувствовал, что глаза его наполняются слезами; ему так хотелось броситься на грудь к своему другу. Он не удержался и сказал, стараясь придать своему голосу как можно больше мужественности:

— Мой отец ненавидел меня с того дня, как я появился на свет; это было для меня одним из величайших несчастий. Но я всегда буду благодарить судьбу — в вас я нашел отца, сударь.

— Хорошо, хорошо,— смутившись, пробормотал аббат и, обрадовавшись случаю произнести назидание, достойное ректора семинарии, добавил: — Никогда не следует говорить «судьба», дитя мое: говорите всегда «провидение».

Фиакр остановился, кучер приподнял бронзовый молоток у огромных ворот. Это был особняк *де Ла-Моль;* и чтобы прохожие не могли в этом усомниться, слова эти были вырезаны на черной мраморной доске над воротами.

Эта напыщенность не понравилась Жюльену. Они так боятся якобинцев! Им за каждым забором мерещится Робеспьер и его тележка. У них это доходит до того, что иной раз просто со смеху умереть можно,— и вдруг так выставлять напоказ свое жилище, точно нарочно, чтобы толпа сразу могла узнать его, если разразится мятеж, и бросилась громить. Он поделился этой мыслью с аббатом Пираром.

— Ах, бедное дитя мое! Да, вам скоро придется быть моим викарием. Что за чудовищные мысли вам приходят на ум.

— Да ведь это так просто, само собой напрашивается,— отвечал Жюльен.

Важный вид привратника, а еще того более — сверкающий чистотой двор привели его в восхищение. Стоял ясный солнечный день.

— Какая замечательная архитектура! — сказал он своему спутнику.

Это был один из тех безвкусных особняков Сен-Жерменского предместья, которые строились незадолго до смерти Вольтера. Никогда еще мода и красота не были так далеки друг от друга.

II

ВСТУПЛЕНИЕ В СВЕТ

Забавное, трогательное воспоминание: первая гостиная, в которую восемнадцатилетний юноша вступает один, без поддержки! Достаточно было одного беглого женского взгляда, и я уже робел. Чем больше я старался понравиться, тем больше я обнаруживал свою неловкость. Мои представления обо всем — как они были далеки от истины: то я ни с того ни с сего привязывался к кому-нибудь всей душой, то видел в человеке врага, потому что он взглянул на меня сурово. Но среди всех этих ужасных мучений, проистекавших из моей робости, сколь прекрасен был для меня ясный, безоблачный день.

Кант.

Жюльен, озираясь, остановился посреди двора.

— Ведите же себя благоразумно,— сказал ему аббат Пирар,— вам приходят в голову ужаснейшие мысли, а потом, оказывается, вы сущее дитя! Где же Горациево nil mirari (ничему не удивляться)? Подумайте, весь этот сонм лакеев, глядя, как вы стоите здесь, тотчас же подымет вас на смех, они будут видеть в вас ровню, только по несправедливости поставленного выше их. Под видом добродушия, добрых советов, желания помочь вам они постараются подстроить так, чтобы вы оказались посмешищем.

— Пусть-ка попробуют,— отвечал Жюльен, закусив губу, и к нему тотчас же вернулась вся его обычная недоверчивость.

Гостиные бельэтажа, по которым они проходили, направляясь в кабинет маркиза, показались бы вам, мой читатель, столь же унылыми, сколь и великолепными. Предложи вам их со всем тем, что в них есть,— вы бы не захотели в них жить. Это обитель зевоты и скучнейшего резонерства. Но восхищение Жюльена при виде их еще более возросло. «Как можно быть несчастным,— думал он,— живя среди такого великолепия!»

Наконец они вступили в самую безобразную из всех комнат этого роскошного особняка: свет едва проникал в нее. Там сидел маленький худощавый человечек с острым взглядом, в белокуром парике. Аббат обернулся к Жюльену и представил его.

Это был маркиз. Жюльен с большим трудом узнал его: таким он сейчас казался любезным. Это был совсем не тот надменный сановник, которого он видел в Бре-ле-О. Жюльену показалось, что в парике маркиза чересчур много волос. Он был так поглощен своими наблюдениями, что нисколько не робел. Потомок друга Генриха IV на первый взгляд показался ему весьма невзрачным. Он был ужасно тощий и необыкновенно суетился. Но вскоре Жюльен заметил, что учтивость маркиза, пожалуй, даже приятнее для собеседника, нежели учтивость самого епископа Безансонского. Аудиенция длилась каких-нибудь три минуты. Когда они вышли, аббат заметил Жюльену:

— Вы смотрели на маркиза, как смотрят на картину; я не большой знаток по части того, что у этих людей называют вежливостью,— скоро вы будете знать все это лучше меня,— но все-таки должен сказать, что вольность вашего взгляда показалась мне не очень учтивой.

Они снова сели в фиакр; кучер остановился около бульвара, и Жюльен вслед за аббатом вошел в большое помещение, где перед ними открылась анфилада просторных зал. Жюльен заметил, что здесь не было никакой мебели. Он принялся рассматривать великолепные золоченые часы на стене, изображавшие, как ему показалось, нечто весьма непристойное, но тут к нему подошел какой-то очень элегантный и очень приветливый господин. Жюльен кивнул ему.

Господин заулыбался и положил ему руку на плечо. Жюльен вздрогнул и отскочил в сторону. Он весь побагровел от гнева. Аббат Пирар, несмотря на всю свою суровость, громко рассмеялся. Господин этот был портной.

— Даю вам полную свободу на два дня,— сказал аббат Жюльену, когда они вышли,— и тогда только я смогу представить вас госпоже де Ла-Моль. Другой стал бы вас оберегать, на первых порах, как молоденькую девушку в этом новом Вавилоне. Но если уж вам должно погибнуть, погибайте сразу, я, по крайней мере, буду избавлен от моей глупой слабости непрестанно печься о вас. Послезавтра утром этот портной пришлет вам два костюма, и вы дадите пять франков подмастерью, который вам будет их примерять. Да, кстати, старайтесь, чтобы эти парижане поменьше слышали ваш голос. Достаточно вам сказать слово, как они уж сумеют найти над чем посмеяться. У них к этому природный дар. Послезавтра к полудню вы должны быть у меня... Ну, ступайте, погибайте... Да, я и забыл: закажите себе обувь, сорочки, шляпу — вот по этим адресам.

Жюльен разглядывал почерк, которым были написаны адреса.

— Это рука маркиза,— сказал аббат.— Это человек деятельный, который все всегда предусмотрит и предпочитает все делать сам, нежели отдавать приказания. Он вас затем и берет к себе, чтобы вы его избавили от такого рода забот. Хватит ли у вас ума, чтобы должным образом исполнять все то, что этот нетерпеливый человек даст вам понять полусловом? Это уж покажет будущее, смотрите, берегитесь!

Жюльен, не вымолвив ни слова, побывал у всех мастеров, адреса которых были указаны маркизом; он заметил, что все они относились к нему почтительно, а сапожник, записывая его имя в свою книгу, вывел: «Господин Жюльен де Сорель».

На кладбище Пер-Лашез какой-то в высшей степени обязательный и весьма либерально выражавшийся господин вызвался показать ему могилу маршала Нея, которого мудрая политика отказала почтить эпитафией. Но, расставшись с этим либералом, который со слезами на глазах чуть не задушил его в своих объятиях, Жюльен обнаружил, что остался без часов. Обогащенный этим опытом, он через два дня в полдень предстал перед аббатом Пираром; тот долго осматривал его.

— Вы, чего доброго, еще сделаетесь фатом,— сурово вымолвил аббат.

Жюльен выглядел очень молодо и производил впечатление юноши, который носит глубокий траур; он и впрямь был очень мил, но добрый аббат был сам слишком большой провинциал и не мог заметить, что у Жюльена еще осталась привычка вертеть на ходу плечами, что в провинции считается весьма элегантным и внушительным.

На маркиза, когда он увидел Жюльена, его элегантность произвела совсем иное впечатление, нежели на доброго аббата.

— Вы бы не стали возражать против того, чтобы господин Сорель брал уроки танцев? — спросил он аббата.

Аббат остолбенел.

— Нет,— вымолвил он наконец,— Жюльен не священник.

Маркиз, шагая через ступеньку по узенькой потайной лестнице, сам повел нашего героя в хорошенькую мансарду, окно которой выходило в громадный сад при особняке. Он спросил Жюльена, сколько сорочек он взял у белошвейки.

— Две,— робко отвечал Жюльен, смущенный тем, что столь важный сановник изволит входить в такие подробности.

— Превосходно,— с серьезным видом сказал маркиз отрывистым, повелительным тоном, который заставил призадуматься нашего героя.— Превосходно. Так возьмите еще двадцать две. Вот ваше жалованье за первую четверть года.

Спускаясь из мансарды, маркиз окликнул какого-то пожилого человека.

— Арсен,— сказал он ему,— вы будете прислуживать господину Сорелю.

Через несколько минут Жюльен очутился один в великолепной библиотеке. Какое блаженство! Чтобы кто-нибудь не застал его в таком волнении, он забрался в самый темный угол и оттуда с восхищением оглядывал блестящие корешки книг. «Все это я смогу прочесть! — говорил он себе.— Ну как же мне может здесь не понравиться? Господин де Реналь уж, наверно, считал бы себя навеки обесчещенным, если бы сделал для меня сотую долю того, что сделал маркиз де Ла-Моль. А теперь посмотрим, что я тут должен переписать».

Покончив с работой, Жюльен осмелился приблизиться к книгам; он совсем одурел от радости, увидев полное собрание сочинений Вольтера. Он побежал к дверям библиотеки и распахнул их, чтобы его не могли застать врасплох. После этого он позволил себе насладиться вволю, раскрывая один за другим все восемьдесят томов. Они были в великолепных переплетах — это был истинный шедевр лучшего лондонского мастера. Да вовсе и не требовалось всего этого великолепия, чтобы привести Жюльена в неописуемый восторг.

Час спустя вошел маркиз, взглянул на бумаги, переписанные Жюльеном, и с удивлением заметил у него орфографическую ошибку. «Неужели все, что аббат наговорил мне о его учености, просто басня?» Сильно разочарованный, маркиз мягко заметил ему:

— Вы не совсем тверды в правописании?

— Да, это правда,— отвечал Жюльен, нимало не подозревая, как он вредит себе этим признанием.

Он был очень растроган добротой маркиза: она невольно приводила ему на память грубое высокомерие г-на де Реналя.

«Пустая трата времени вся эта затея с этим франшконтейским аббатиком,— подумал маркиз.— Но мне так нужен был верный человек!»

— Всякий раз,— сказал он Жюльену,— когда будете заканчивать вашу переписку, проверяйте в словаре те слова, в правописании которых вы не уверены.

К шести часам маркиз прислал за Жюльеном; он с явным огорчением посмотрел на его сапоги.

— Это моя оплошность: я забыл вам сказать, что каждый день в половине шестого вам надлежит одеваться.

Жюльен смотрел на него, не понимая.

— Я имею в виду: надевать чулки. Арсен будет вам напоминать об этом. А сегодня я извинюсь за вас.

С этими словами маркиз распахнул дверь в гостиную, всю сиявшую позолотой, пропуская Жюльена вперед. В подобных случаях г-н де Реналь всегда прибавлял шаг перед дверью, чтобы непременно войти первым. Эта мелкая суетность его прежнего патрона повела сейчас к тому, что Жюльен наступил маркизу на ногу, причинив ему этим немалую боль, ибо тот страдал подагрой. «Ах, он еще ко всему прочему и увалень»,— подумал маркиз. Он представил его высокой и весьма величественной женщине. Это была маркиза. Жюльен нашел, что своим заносчивым видом она немного напоминает г-жу де Можирон, супругу помощника префекта Верьерского округа, когда та восседает на торжественных обедах в Сен-Шарле. Немного оробевший от пышного великолепия гостиной, Жюльен не расслышал того, что сказал г-н де Ла-Моль. Маркиза едва соблаговолила взглянуть на него. В гостиной было несколько мужчин, среди которых Жюльен, к своей несказанной радости, узнал молодого епископа Агдского, так милостиво беседовавшего с ним несколько месяцев назад во время торжественной церемонии в Бре-ле-О. Молодой прелат, должно быть, испугался умильных взоров, которые устремлял на него с робкой надеждой Жюльен, и не подумал узнать этого провинциала...

Жюльену казалось, что люди, собравшиеся в этой гостиной, держат себя как-то уныло и натянуто; в Париже говорят тихо и не позволяют себе волноваться из-за пустяков.

Было уже около половины седьмого, когда в гостиную вошел красивый молодой человек с усиками, очень бледный и очень статный; у него была удивительно маленькая голова.

— Вы всегда заставляете себя ждать,— сказала ему маркиза, когда он целовал ей руку.

Жюльен понял, что это граф де Ла-Моль. Он с первого же взгляда показался ему очаровательным.

«Может ли быть,— подумал Жюльен,— чтобы этот юноша своими оскорбительными шутками заставил меня бежать из этого дома?»

Разглядывая графа Норбера, Жюльен заметил, что он был в сапогах со шпорами... «А я должен быть в туфлях, очевидно,

как низший?» Все сели за стол; Жюльен услышал, как маркиза, повысив голос, сделала кому-то строгое замечание. И почти в ту же минуту он заметил молодую особу, очень светлую блондинку, необыкновенно стройную. Она подошла к столу и села напротив него. Она ему совсем не понравилась; однако, поглядев более внимательно, он подумал, что никогда еще не видел таких красивых глаз; но только они изобличали необыкновенно холодную душу. Потом Жюльен уловил в них выражение скуки, которая пытливо приглядывается, но непрестанно помнит о том, что ей надлежит быть величественной. «Вот у госпожи де Реналь были очень красивые глаза,— думал он,— ей все говорили об этом, но в них нет ничего общего с этими глазами». У Жюльена было еще слишком мало опытности, чтобы понять, что огоньки, загоравшиеся иногда в глазах мадемуазель Матильды,— он слышал, что ее так называли,— были не чем иным, как огнем остроумия. А когда загорались глаза г-жи де Реналь,— это было пламя страсти или огонь благородного негодования, охватывавшего ее, если при ней рассказывали о каком-нибудь возмутительном поступке. К концу обеда Жюльен нашел словечко, которое хорошо определяло особенную красоту глаз м-ль де Ла-Моль. «Они у нее искрометные»,— сказал он про себя. А в общем, она была ужасно похожа на мать, которая казалась Жюльену все более и более противной,— и он перестал на нее смотреть. Зато граф Норбер казался ему обворожительным во всех отношениях. Жюльен был до того им очарован, что ему и в голову не приходило завидовать молодому графу или ненавидеть его за то, что граф был богаче и знатнее, чем он.

У маркиза, по мнению Жюльена, был явно скучающий вид.

Когда подавали вторую перемену, он сказал сыну:

— Норбер, прошу тебя любить и жаловать господина Жюльена Сореля. Я только что взял его в свой штаб и думаю сделать из него человека, если это удастся.

— Это мой секретарь,— сказал маркиз своему соседу,— он пишет «cela» через два «l».

Все посмотрели на Жюльена, который слегка поклонился, главным образом в сторону Норбера, но, в общем, все остались довольны его взглядом.

Маркиз, по-видимому, сказал, какого рода образование получил Жюльен, ибо один из гостей начал допрашивать его о Горации. «Как раз разговором о Горации я и понравился епископу Безансонскому,— подумал Жюльен.— Видно, они никакого другого автора не знают». И с этой минуты он сразу

овладел собой. Это произошло безо всяких усилий с его стороны, потому что он только что решил про себя, что мадемуазель де Ла-Моль никогда не может быть женщиной в его глазах. А к мужчинам он после семинарии потерял всякое уважение, и не так-то им было легко запугать его. Он чувствовал бы себя совсем уверенным, если бы только эта столовая не блистала таким великолепием. Все дело, в сущности, было в двух зеркалах, в восемь футов высоты каждое, на которые он время от времени поглядывал, видя в них своего собеседника, рассуждавшего с ним о Горации,— они-то несколько и смущали его. Для провинциала его фразы были не так уж длинны. У него были красивые глаза, и от застенчивости взгляд их, то робеющий, то радостный — когда ему удавалось удачно ответить,— сверкал еще ярче. Этот экзамен внес некоторое оживление в чинный обед. Маркиз незаметно сделал знак собеседнику Жюльена, поощряя его понажать сильней. «Неужели он и вправду что-то знает?» — подумал маркиз.

Жюльен, отвечая, высказывал собственные соображения и настолько преодолел свою застенчивость, что обнаружил не ум, конечно,— ибо это немыслимо для того, кто не знает, на каком языке говорят в Париже, но то, что у него есть какие-то свои мысли, хоть он и выражал их несколько неуклюже и не всегда к месту, а кроме того, видно было, что он превосходно знает латынь.

Оппонентом Жюльена был член Академии Надписей, который случайно знал латинский язык. Он заметил, что Жюльен хорошо разбирается в классиках, и, перестав опасаться, что заставит его покраснеть, стал нарочно сбивать его всякими путаными вопросами. В пылу этого поединка Жюльен, наконец, забыл о великолепном убранстве столовой и стал высказывать о латинских поэтах суждения, которых его собеседник нигде не читал. Как честный человек, он отдал должное молодому секретарю. К счастью, разговор перешел далее к вопросу о том, был ли Гораций человек богатый или он был беден, был ли он просто любезником, влюбчивым и беспечным, который сочинял стихи для собственного удовольствия, как Шапель, друг Мольера и Лафонтена, или это был горемычный придворный поэт, живший милостями свыше и сочинявший оды ко дню рождения короля, вроде Саути. обвинителя лорда Байрона. Затем зашла речь о состоянии общества при Августе и при Георге IV: и в ту и в другую эпоху аристократия была всесильна, но в Риме это привело к тому, что власть была вырвана из ее рук Меценатом,

который был, в сущности, простым воином, а в Англии власть аристократии постепенно низвела Георга IV на положение венецианского дожа. Этот разговор как будто вывел маркиза из той оцепенелой скуки, в которую он был погружен в начале обеда.

Жюльен ровно ничего не понимал, слушая все эти имена современников, как Саути, лорд Байрон, Георг IV, ибо он слышал их впервые. Но ни от кого не ускользнуло, что всякий раз, как только разговор касался событий, происходивших в Риме, о которых можно было узнать из творений Горация, Марциала, Тацита и прочих, он, безусловно, оказывался самым сведущим. Жюльен, не задумываясь, присвоил себе кое-какие суждения, слышанные им от епископа Безансонского в вечер той памятной беседы с ним, и они, надо сказать, вызвали немалый интерес.

Когда всем уже надоел разговор о поэтах, маркиза, которая считала своим долгом восхищаться всем, что занимало ее супруга, соблаговолила взглянуть на Жюльена.

— За неуклюжими манерами этого юного аббата, быть может, скрывается образованный человек,— тихо заметил маркизе академик, который сидел рядом с ней, и до Жюльена долетело несколько слов из этого замечания.

Такие готовые изречения были как раз в духе хозяйки дома; она тотчас же усвоила это в применении к Жюльену и похвалила себя за то, что пригласила на обед академика. «Он развлек господина де Ла-Моля»,— подумала она.

III

ПЕРВЫЕ ШАГИ

> Эта необозримая равнина, вся залитая сверкающими огнями, и несметные толпы народа ослепляют мой взор. Ни одна душа не знает меня, все глядят на меня сверху вниз. Я теряю способность соображать.
>
> *Реина.*

На другой день с раннего утра Жюльен уже сидел в библиотеке и переписывал письма, как вдруг отворилась маленькая дверца в простенке, искусно замаскированная корешками книг, и появилась м-ль Матильда. Меж тем как Жюльен с вос-

хищением смотрел на это остроумное изобретение, м-ль Матильда глядела на него с крайним изумлением и, по-видимому, была весьма недовольна, встретив его здесь. Она была в папильотках и показалась Жюльену жесткой, надменной и даже похожей на мужчину. М-ль де Ла-Моль тайком брала книги из отцовской библиотеки, и ни одна душа в доме не подозревала об этом. И вот из-за присутствия Жюльена она, оказывается, напрасно пожаловала сюда сегодня, и это было ей тем более досадно, что она пришла за вторым томом вольтеровской «Принцессы Вавилонской» — достойным пополнением монархического и высокорелигиозного воспитания, составляющего славу монастыря Сердца Иисусова. Бедняжке в девятнадцать лет уже требовалось нечто пикантно-остроумное, иначе ни один роман не интересовал ее.

Часам к трем в библиотеке появился граф Норбер: он зашел просмотреть газету, на случай, если вечером зайдет разговор о политике, и выразил удовольствие видеть Жюльена, о существовании которого он уже успел позабыть. Он был с ним чрезвычайно любезен и предложил ему поехать кататься верхом.

— Отец отпускает нас до обеда.

Жюльен понял, что означало это «нас», и проникся восхищением.

— Ах, боже мой, господин граф,— сказал Жюльен,— если бы речь шла о том, чтобы свалить дерево футов восемьдесят в вышину, обтесать его и распилить на доски, я бы показал себя молодцом, а ездить верхом мне за всю мою жизнь приходилось разве что раз шесть, не больше.

— Прекрасно, это будет седьмой,— ответил Норбер.

Жюльен, вспоминая день встречи короля в Верьере, считал в глубине души, что он превосходно ездит верхом. Но на обратном пути из Булонского леса, на самом бойком месте улицы Бак, он, пытаясь увернуться от кабриолета, вылетел из седла и весь вывалялся в грязи. Счастье, что ему сшили два костюма. За обедом маркиз, желая поговорить с ним, спросил, хорошо ли они прогулялись. Норбер поспешил ответить, сказав какую-то общую фразу.

— Господин граф чрезвычайно великодушен ко мне,— возразил Жюльен.— Я очень признателен ему и ценю его доброту. Он распорядился дать мне самую смирную и самую красивую лошадку, но все же он не мог привязать меня к ней, и из-за отсутствия этой предосторожности я свалился как раз посреди длинной улицы, перед самым мостом.

Мадемуазель Матильда, несмотря на все свое старание удержаться, прыснула со смеху, а затем без всякого стеснения стала расспрашивать о подробностях. Жюльен все рассказал с необычайной простотой, и у него это вышло очень мило, хотя он этого и не подозревал.

— Из этого аббатика будет прок,— сказал маркиз академику.— Провинциал, который держится так просто при подобных обстоятельствах, это что-то невиданное, и нигде этого и нельзя увидать! Мало того, он еще рассказывает об этом своем происшествии в присутствии *дам!*

Жюльен так расположил к себе своих слушателей этим рассказом о своем злоключении, что к концу обеда, когда общий разговор шел уже на другие темы, м-ль Матильда все еще продолжала расспрашивать брата, интересуясь подробностями этого происшествия. Слушая ее вопросы и несколько раз поймав на себе ее взгляд, Жюльен осмелился сам ответить ей, хотя она обращалась не к нему, и все втроем принялись хохотать, точь-в-точь как если бы это была простая крестьянская молодежь в какой-нибудь глухой деревушке.

На другой день Жюльен побывал на двух лекциях по богословию, а затем вернулся в библиотеку, где ему предстояло переписать десятка два писем. Здесь он застал расположившегося рядом с его столом какого-то молодого человека, очень тщательно одетого, но весьма ничтожного на вид и с очень завистливой физиономией.

Вошел маркиз.

— Что вы здесь делаете, господин Тамбо? — спросил он этого пришельца строгим тоном.

— Я полагал...— начал молодой человек с подобострастной улыбочкой.

— Нет, сударь, вы ничего *не полагали.* Вашу попытку надо считать неудавшейся.

Юный Тамбо вскочил, разозленный, и исчез. Это был племянник академика, приятеля г-жи де Ла-Моль, он собирался вступить на литературное поприще. Академик упросил маркиза взять его к себе в секретари. Тамбо работал в особой комнате, но, узнав, какой привилегией пользуется Жюльен, пожелал и сам пользоваться ею и перетащил сегодня утром свои письменные принадлежности в библиотеку.

В четыре часа Жюльен, после некоторых колебаний, решился зайти к графу Норберу. Тот собирался ехать верхом и, будучи человеком в высшей степени вежливым, оказался в несколько затруднительном положении.

— Я думаю,— сказал он Жюльену,— что вы скоро будете брать уроки в манеже, и через несколько недель я с большим удовольствием буду кататься с вами.

— Я хотел иметь честь поблагодарить вас за вашу ко мне доброту. Поверьте мне, сударь,— прибавил Жюльен весьма проникновенным тоном,— я глубоко чувствую, как должен быть вам обязан. Если лошадь ваша не пострадала из-за моей вчерашней неловкости и если она свободна, мне бы хотелось прокатиться на ней сегодня.

— Как знаете, дорогой мой Сорель, но только пеняйте на себя, если свернете себе шею. Считайте, что я сделал вам все предостережения, которых требует благоразумие. Но дело в том, что уже четыре часа и время терять некогда.

— А что, собственно, надо делать, чтобы не падать? — спросил Жюльен молодого графа, когда они уже сидели в седле.

— Много разных разностей,— отвечал Норбер, хохоча во все горло.— Ну, например, надо откидывать корпус назад.

Жюльен поехал крупной рысью. Они выехали на площадь Людовика XVI.

— Ах вы, юный смельчак! — сказал Норбер.— Смотрите, сколько здесь экипажей, и правят ими бесшабашные люди. Упади вы, и все эти тильбюри тотчас же затопчут вас: кому охота портить лошади рот удилами, останавливая ее на полном ходу!

Раз двадцать Норбер видел, что Жюльен вот-вот вылетит из седла, но в конце концов прогулка окончилась благополучно. Когда они вернулись, молодой граф сказал сестре:

— Позвольте вам представить отчаяннейшего сорвиголову!

За обедом, разговаривая с отцом, сидевшим на противоположном конце стола, Норбер громко превозносил отчаянную храбрость Жюльена. Но это было все, что можно было похвалить в его верховой езде. Молодой граф слышал утром, как конюхи, чистя лошадей на дворе, судачили о падении Жюльена и насмехались над ним самым непристойным образом.

Несмотря на все эти любезности и доброжелательность, Жюльен скоро почувствовал себя в этой семье совершенно одиноким. Все здешние обычаи казались ему ужасно странными, и он то и дело их нарушал. Его промахи доставляли великое удовольствие лакеям.

Аббат Пирар уехал в свой приход. «Если Жюльен только тростник колеблющийся, пусть погибает, а если это человек мужественный, пусть пробивается сам»,— так рассуждал он.

IV

ОСОБНЯК ДЕ ЛА-МОЛЬ

Что он здесь делает? Нравится ему здесь? Или он льстит себя надеждой понравиться?

Ронсар.

Если в аристократической гостиной особняка де Ла-Моль все казалось необычным Жюльену, то и сам этот бледный молодой человек в черном костюме производил очень странное впечатление на тех, кто удостаивал его своим вниманием. Г-жа де Ла-Моль предложила своему супругу отсылать его куда-нибудь с поручением, когда у них будут приглашены на обед особенно важные лица.

— Я хочу довести опыт до конца,— отвечал маркиз.— Аббат Пирар полагает, что мы не правы, подавляя самолюбие людей, которых мы приближаем к себе. *Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление,* ну, и так далее. Этот же кажется неуместен только потому, что его здесь никто не знает, а в общем, это ведь глухонемой.

«Чтобы я мог разобраться здесь,— говорил себе Жюльен,— надо мне будет записывать имена людей, которые бывают в этом доме, и в двух словах отмечать характер каждого».

В первую очередь он записал пятерых или шестерых друзей дома, которые полагали, что маркиз из прихоти покровительствует ему, и на всякий случай ухаживали за ним. Это были люди неимущие, малозначительные, державшиеся более или менее подобострастно; однако, к чести людей этой породы, встречающихся в наши дни в аристократических салонах, они были не со всеми одинаково подобострастны. Так, многие из них готовы были терпеть любое обращение маркиза, но из-за какого-нибудь резкого слова г-жи де Ла-Моль поднимали бунт.

Хозяева дома по природе своей были слишком горды и пресыщены, слишком привыкли они, развлечения ради, унижать людей, поэтому им не приходилось рассчитывать на истинных друзей. Впрочем, если не считать дождливых дней и редких минут, когда их одолевала жесточайшая скука, они проявляли по отношению к своим гостям отменную вежливость.

Если бы эти пятеро или шестеро угодников, относившихся к Жюльену с отеческим дружелюбием, покинули особняк де Ла-Моля, г-жа маркиза была бы обречена на долгие часы одиночества; а в глазах женщин такого ранга одиночество — вещь ужасная: это знак *немилости.*

Маркиз был безупречен по отношению к своей жене: он заботился о том, чтобы салон ее достойным образом блистал, однако не пэрами, ибо он полагал, что эти новые его коллеги недостаточно знатны, чтобы бывать у него запросто, по-дружески, и недостаточно забавны, чтобы терпеть их здесь на положении низших.

Впрочем, во все эти тайны Жюльену удалось проникнуть значительно позднее. Высшая политика, которая в буржуазных домах служит обычной темой разговора, в домах людей того круга, к которому принадлежал маркиз, обсуждается только в минуты бедствий.

Потребность развлекаться и в наш скучающий век настолько непреодолима, что даже в дни званых обедов, едва только маркиз покидал гостиную, все моментально разбегались. В разговорах не допускалось только никаких шуточек над господом богом, над духовенством, над людьми с положением, над артистами, которым покровительствует двор,— словом, над чем-либо таким, что считалось раз навсегда установленным; не допускалось никаких лестных отзывов о Беранже, об оппозиционных газетах, о Вольтере, о Руссо, ни о чем бы то ни было, что хоть чуть-чуть отдает свободомыслием, самое же главное— никоим образом не допускалось говорить о политике; обо всем остальном можно было разговаривать совершенно свободно.

Преступить эту салонную хартию не давали права ни стотысячный доход, ни синяя лента. Малейшая живая мысль казалась грубостью. Невзирая на хороший тон, на отменную вежливость, на желание быть приятным, на всех лицах явно была написана скука. Молодые люди, являвшиеся с обязательными визитами, опасаясь говорить о чем-нибудь, что могло бы дать повод заподозрить у них какие-то мысли или обнаружить знакомство с каким-либо запрещенным сочинением, умолкали, обронив несколько изящных фраз о Россини да о том, какая сегодня погода.

Жюльен имел не один случай отметить, что разговор обычно поддерживался двумя виконтами и пятью баронами, с которыми г-н де Ла-Моль дружил в эмиграции. Эти господа располагали рентой от шести до восьми тысяч ливров, четверо из них выписывали «Котидьен», а трое — «Газет де Франс». Один из них всегда имел про запас какой-нибудь свежий дворцовый анекдот, изобиловавший словечком «восхитительно». Жюльен подметил, что у этого господина было пять орденов, а у остальных — обычно только три.

Но зато в передней торчали десять ливрейных лакеев и весь вечер через каждые четверть часа подавали чай или мороженое, а к полуночи бывал маленький ужин с шампанским.

Это было причиной того, что Жюльен иной раз засиживался до конца; а в общем, он никак не мог взять в толк, как это можно серьезно слушать разговоры, которые велись в этой великолепной раззолоченной гостиной. Он иногда вглядывался в собеседников, не будучи вполне уверен, не издеваются ли они сами над тем, что говорят. «Мой господин де Местр, которого я знаю наизусть,— раздумывал он,— говорил во сто раз лучше, но и он иногда скучен донельзя».

Не только Жюльен замечал этот невыносимый гнет морального удушья. Одни утешались тем, что поглощали без устали мороженое, другие — предвкушением удовольствия повторять всем попозже вечером: «Я только что от де Ла-Моля. Представьте себе, говорят, что Россия...», и так далее.

От одного из угодников Жюльен узнал, что всего полгода тому назад г-жа де Ла-Моль в награду за более чем двадцатилетнюю верность ее дому произвела в префекты бедного барона Ле-Бургиньона, который был помощником префекта с начала Реставрации.

Это великое событие подогрело рвение этих господ: не на многое они обижались и раньше, а теперь уж ни на что не обижались. Впрочем, явное пренебрежение к ним высказывалось редко, хотя Жюльен уже раза два-три отмечал за столом краткие диалоги между маркизом и его супругой, весьма жестокие по отношению к лицам, сидевшим с ними рядом. Эти знатные господа не скрывали своего искреннего презрения ко всякому, кто не мог похвастаться тем, что его предки *ездили в королевских каретах*. Жюльен заметил еще, что только упоминание о *крестовых походах* — единственное, что могло вызвать на их лицах выражение глубокой серьезности, смешанной с уважением. Обычное же уважение всегда носило какой-то оттенок снисходительности.

Посреди этого великолепия и скуки Жюльен относился с интересом только к г-ну де Ла-Молю. Он не без удовольствия услышал однажды, как маркиз уверял кого-то, что он ровно ничего не сделал для повышения этого бедняги Ле-Бургиньона. Это была любезность по отношению к маркизе: Жюльен знал правду от аббата Пирара.

Однажды утром аббат работал с Жюльеном в библиотеке маркиза, разбирая его бесконечную тяжбу с де Фрилером.

— Сударь,— внезапно сказал Жюльен,— обедать каждый день за столом маркизы — это одна из моих обязанностей или это знак благоволения ко мне?

— Это редкая честь! — вскричал с возмущением аббат.— Никогда господин Н., академик, который вот уж пятнадцать лет привержен к этому дому, при всем своем усердии и постоянстве не мог добиться этого для своего племянника господина Тамбо.

— Для меня, сударь, это самая мучительная часть моих обязанностей. Даже в семинарии я не так скучал. Я иногда вижу, как зевает даже мадемуазель де Ла-Моль, которая уж должна бы была привыкнуть к учтивостям друзей дома. Я всегда боюсь, как бы не заснуть. Сделайте милость, выхлопочите мне разрешение ходить обедать за сорок су в какую-нибудь скромную харчевню.

Аббат, скромный буржуа по происхождению, чрезвычайно ценил честь обедать за одним столом с вельможей. В то время как он старался внушить это чувство Жюльену, легкий шум заставил их обоих обернуться. Жюльен увидел м-ль де Ла-Моль, которая стояла и слушала их разговор. Он покраснел. Она пришла сюда за книгой и слышала все,— она почувствовала некоторое уважение к Жюльену. «Этот не родился, чтобы ползать на коленях,— подумала она.— Не то что старик-аббат. Боже, какой урод!»

За обедом Жюльен не смел глаз поднять на м-ль де Ла-Моль, но она снизошла до того, что сама обратилась к нему. В этот день ждали много гостей, и она предложила ему остаться. Юные парижские девицы не очень-то жалуют пожилых людей, особенно если они к тому же не заботятся о своей внешности. Жюльену не требовалось прозорливости, чтобы давно заметить, что коллеги г-на Ле-Бургиньона, прижившиеся в этой гостиной, удостаивались чести служить мишенью для неистощимых острот м-ль де Ла-Моль. На этот раз приложила ли она особые старания блеснуть или нет, но она была просто беспощадна к этим скучным господам.

Мадемуазель де Ла-Моль была центром маленького кружка, который почти каждый вечер собирался позади необъятного мягкого кресла, в котором восседала маркиза. Здесь были маркиз де Круазенуа, граф де Келюс, виконт де Люз и еще двое или трое молодых офицеров, друзей Норбера и его сестры. Вся эта компания располагалась на большом голубом диване. Возле дивана, как раз напротив блистательной Матильды, молчаливо сидел Жюльен на низеньком стульчике с соломенным

сиденьем. Этому скромному посту завидовали все поклонники Матильды. Норбер любезно удерживал на нем секретаря своего отца и раза два за вечер обращался к нему и перекидывался с ним несколькими фразами. В этот вечер м-ль де Ла-Моль обратилась к нему с вопросом: как высока гора, на которой расположена безансонская крепость? Жюльен так и не мог ей сказать: что эта гора, выше или ниже Монмартра. Он часто от души смеялся над тем, что болтали в этом маленьком кружке. Но сам он чувствовал себя совершенно неспособным придумать что-нибудь в этом роде. Для него это был словно какой-то иностранный язык, который он понимал, но на котором сам говорить не мог.

Сегодня друзья Матильды встречали в штыки всех, кто только появлялся в этой обширной гостиной. В первую очередь попадало друзьям дома: их лучше знали. Можно представить себе, с каким вниманием слушал все это Жюльен; все интересовало его: и скрытый смысл этих шуток, и самая манера острить.

— А-а! Вот и господин Декули! — сказала Матильда.— Он уже без парика: он, верно, надеется попасть в префекты исключительно при помощи своего редкого ума, оттого-то он и выставляет напоказ свою лысую голову, полную, как он говорит, «высоких мыслей».

— Этот человек знаком со всей вселенной,— заметил маркиз де Круазенуа.— Он бывает и у моего дяди, кардинала. Он способен сочинить невесть что про любого из своих друзей и поддерживать эти небылицы годами, а друзей у него человек двести или триста. Он умеет давать пищу дружбе — это его талант. Зимой, так же как и сейчас, с семи часов утра он прилипает к дверям кого-нибудь из своих друзей. Время от времени он с кем-нибудь ссорится и сочиняет семь-восемь писем, чтобы закрепить разрыв. Потом мирится и тогда посылает еще семь или восемь писем с изъявлениями вечной дружбы. Но в чем он действительно достиг совершенства и прямо-таки блистает — это в чистосердечных и пламенных излияниях честнейшего человека, у которого душа нараспашку. К этому средству он прибегает, когда ему надо добиться какого-нибудь одолжения. Один из старших викариев моего дядюшки восхитительно рассказывает о жизни господина Декули после Реставрации. Я как-нибудь его к вам приведу.

— Я что-то не очень верю таким рассказам: по-моему, это профессиональная зависть мелких людишек,— сказал граф де Келюс.

— Господин Декули войдет в историю,— возразил маркиз.— Он делал Реставрацию вместе с аббатом Прадтом и господами Талейраном и Поццо ди Борго.

— Этот человек когда-то ворочал миллионами,— сказал Норбер,— и я понять не могу, чего ради он ходит сюда глотать отцовские остроты, иной раз совершенно невыносимые. Как-то раз при мне отец крикнул ему через весь стол: сколько раз вы предавали своих друзей, дорогой мой Декули?

— А это правда, что он предавал? — спросила м-ль де Ла-Моль.— Но кто же не предавал?

— Как! — сказал граф де Келюс Норберу.— У вас бывает этот знаменитый либерал господин Сенклер? Какого дьявола ему здесь надо? Надо подойти к нему, заставить его поболтать, говорят, это такой умница, на редкость.

— Но как же это твоя матушка принимает его? — спросил г-н де Круазенуа.— У него ведь такие необыкновенные идеи, смелые, независимые...

— Полюбуйтесь,— сказала м-ль де Ла-Моль,— на этого независимого человека, который чуть ли не до земли кланяется господину Декули и хватает его за руку. Я уж было подумала, что он сейчас приложится к ней.

— Надо полагать, Декули в более тесных отношениях с властями, чем нам это кажется,— возразил г-н де Круазенуа.

— Сенклер приходит сюда, чтобы пробраться в Академию,— сказал Норбер.— Посмотрите, Круазенуа, как он кланяется барону Л.

— Уж лучше бы он просто стал на колени,—подхватил г-н де Люз.

— Дорогой мой Сорель,— сказал Норбер,— вы человек умный, но вы еще так недавно покинули родные горы,— так вот постарайтесь никогда не кланяться так, как это делает сей великий пиит. Никому, будь это хоть сам бог-отец.

— А! Вот и человек непревзойденного ума, господин барон Батон,— провозгласила м-ль де Ла-Моль, слегка подражая голосу лакея, который только что доложил о нем.

— Мне кажется, даже ваши люди смеются над ним. Надо же такое имя — барон Батон! — промолвил г-н де Келюс.

— «Что такое имя?» — сказал он нам как-то на днях,— подхватила Матильда.— «Представьте себе, что вам в первый раз докладывают о герцоге Бульонском, просто люди еще недостаточно привыкли к моему имени...»

Жюльен покинул свое место у дивана. Он еще недостаточно воспринимал очаровательную тонкость легкой насмешки и

полагал, что смеяться можно только умным шуткам. В болтовне этих молодых людей он видел лишь бесцеремонное поношение всего на свете, и это возмущало его. Его провинциальная, чуть ли не английская чопорность готова была заподозрить в этом даже зависть, в чем он, конечно, ошибался.

«Я видел, как граф Норбер испортил три черновика, пока сочинил письмо в двадцать строк своему полковому командиру,— говорил он себе.— И уж он, наверно, себя бы не помнил от счастья, если бы ему за всю его жизнь удалось написать хоть одну страничку так, как пишет господин Сенклер».

Не привлекая ничьего внимания благодаря своему незначительному положению, Жюльен переходил от одной группы к другой. Он издали следил за бароном Батоном, и ему хотелось послушать, что тот говорит. Этот человек столь прославленного ума имел весьма озабоченный вид и, как заметил Жюльен, успокоился только после того, как ему удалось придумать на ходу три или четыре забавные фразы. Жюльену показалось, что подобного рода ум нуждается в некотором просторе.

Барон был не из острословов; чтобы блеснуть, ему требовалось, по крайней мере, четыре фразы, по шести строк каждая.

— *Этот человек не разговаривает, а разглагольствует,*— сказал кто-то позади Жюльена.

Он обернулся и вспыхнул от удовольствия, услышав, что произнесли имя графа Шальве. Это был самый остроумный человек своего времени. Жюльен не раз встречал его имя в «Мемориале Святой Елены» и в исторических записках, продиктованных Наполеоном. Граф Шальве выражался кратко; его остроты были как молнии — точные, пронзительные, глубокие. Если он вел какой-нибудь деловой разговор, вы сразу видели, что дело двигается вперед. Он тотчас же приводил факты; слушать его было одно удовольствие. Что же касается политики, то в ней он был совершенно бесстыдным циником.

— Я, видите ли, человек независимый,— говорил граф Шальве господину с тремя звездами, над которым он явно подсмеивался.— Почему от меня требуют, чтобы я сегодня думал то же самое, что я думал полтора месяца тому назад? Если бы это было так, мое мнение было бы моим тираном.

Четверо серьезных молодых людей, которые стояли вокруг него, поморщились: эти господа не любят шуток. Граф заметил, что хватил через край. К счастью, он увидел честнейшего г-на Баллана, истинного Тартюфа честности. Граф заговорил с ним, их тотчас же обступили,— всем было ясно, что беднягу Баллана сейчас сотрут в порошок. С помощью своей высокой нрав-

ственности и нравоучительности и несмотря на свою невообразимо гадкую внешность, г-н Баллан после первых шагов в свете, трудно поддающихся описанию, женился на очень богатой особе, которая вскоре умерла; затем он женился на второй, такой же богатой особе, которую никто никогда не видел в обществе. Теперь со всем присущим ему смирением он наслаждался шестидесятитысячной рентой и обзавелся собственными льстецами. Граф Шальве заговорил с ним обо всем этом безо всякого сострадания. Вскоре около них собралось уже человек тридцать. Все улыбались, даже серьезные молодые люди — надежда века.

«И зачем он только ходит сюда, к господину де Ла-Молю, где он явно служит для всех посмешищем»,— подумал Жюльен. И он подошел к аббату Пирару спросить об этом.

Господин Баллан мигом улетучился.

— Чудно! — сказал Норбер.— Итак, один из шпионов уже исчез, и теперь остался только этот кривоногий Напье.

«Не в этом ли разгадка? — подумал Жюльен.— Но зачем в таком случае маркиз принимает господина Баллана?»

Суровый аббат Пирар хмурился в углу, слушая, как лакей называет имена гостей.

— Это сущий вертеп! — восклицал он подобно Базилио.— Сюда приходят только люди с запятнанной репутацией.

Дело в том, что суровый аббат просто не знал, что представляет собой истинно светское общество. Но через своих друзей-янсенистов он располагал весьма точными сведениями об этих людях, которые проникают в гостиные только благодаря своему исключительному умению угождать всем партиям разом или благодаря богатству, нажитому сомнительным путем. Сегодня вечером он от избытка чувств несколько минут подряд отвечал Жюльену на его настойчивые вопросы, потом вдруг сразу остановился, сокрушенный тем, что ему все время приходится говорить обо всех только дурное, и уже чуть ли не каясь в своем грехе. Этот желчный янсенист, веривший в заповедь христианского милосердия, вынужден был, живя в миру, непрестанно бороться с собой.

— Ну и лицо у этого аббата Пирара! — сказала м-ль де Ла-Моль, когда Жюльен вернулся к дивану.

Жюльен почувствовал негодование, хотя она, конечно, была права. Можно было не сомневаться, что аббат Пирар был самым честным человеком в этой гостиной, но его покрытое красной сыпью лицо, на котором отражались сейчас терзания совести, было на редкость безобразно. «Вот и верь после этого физиогно-

мике,— подумал Жюльен.— Как раз сейчас аббат Пирар по своей совестливости мучается из-за какого-то пустяка, и от этого у него и вид такой ужасный, а вот на лице этого Напье, всем известного шпиона, сияет чистая, безмятежная радость». Аббат все же пошел на большие уступки ради интересов своих единомышленников — он завел себе слугу и стал превосходно одеваться.

Жюльену вдруг показалось, что в гостиной происходит что-то странное: все взоры устремились к дверям, разговоры затихли. Лакей произнес фамилию знаменитого барона де Толли, который обратил на себя всеобщее внимание во время последних выборов. Жюльен подошел поближе, и ему удалось как следует разглядеть его. Барон состоял председателем одной из избирательных коллегий, и его осенила блестящая мысль — утаить все записочки, поданные за одну из партий. Чтобы возместить недостачу, он заменял их всякий раз другими записочками, на которых стояло некое более угодное ему имя. Однако этот смелый маневр был замечен кое-кем из избирателей, которые, разумеется, не преминули выразить свое громкое восхищение барону де Толли. Бедняга еще не совсем оправился после этой шумной истории, он был несколько бледен. Злые языки поговаривали о галерах. Г-н де Ла-Моль принял его весьма холодно. Бедный барон мигом исчез.

— Он, должно быть, торопится к господину Конту [1], потому он так быстро и исчез,— сказал граф Шальве, и все засмеялись.

Среди этого блестящего общества безгласных сановников и всяческих интриганов с сомнительной репутацией, но сверкающим остроумием, которыми сегодня изобиловала гостиная г-на де Ла-Моля (его прочили в министры), впервые подвизался юный Тамбо. Если ему еще не хватало тонкости суждений, то он старался возместить это, как мы увидим далее, чрезвычайной энергичностью своих выражений.

— Почему бы не приговорить этого человека к десяти годам тюрьмы? — разглагольствовал он в тот самый момент, когда Жюльен подошел к этой группе.— Гадов следует держать в глубине подземелий, чтобы они там подыхали во мраке, иначе они выделяют все больше яда и становятся еще опаснее. Что проку приговаривать его к штрафу в тысячу экю? Он беден? Положим, это так, тем лучше, но за него заплатит его клика. Нет, дать бы ему штрафа пятьсот франков да десять лет подземной темницы.

---

[1] Знаменитый фокусник. *(Прим. автора.)*

«Боже милостивый! О каком это чудовище они говорят?» — подумал Жюльен, пораженный исступленным тоном и судорожной жестикуляцией своего коллеги. Тощее, испитое личико племянника академика было в эту минуту поистине отвратительно.

Вскоре Жюльен понял, что речь идет о величайшем современном поэте.

«Ах, негодяй! — воскликнул Жюльен чуть не вслух, и глаза его увлажнились горячими слезами негодования.— Ах, жалкая тварь! Погоди, я тебе припомню эти слова!»

«Вот они, эти заблудшие чада той самой партии, во главе которой стоит среди прочих и маркиз,— думал он.— А этот великий человек, которого здесь так порочат,— сколько ему надавали бы орденов и всяких синекур, продайся он, уж я не говорю — этим бездарностям из министерства господина Нерваля, но любому из его более или менее порядочных предшественников».

Аббат Пирар издали поманил Жюльена, с ним только что говорил о чем-то г-н де Ла-Моль. Но Жюльен в эту минуту слушал, опустив глаза, сетования некоего епископа, и когда тот наконец отпустил его и он мог подойти к своему другу, аббата уже перехватил гнусный проныра Тамбо. Этот выродок ненавидел аббата, считая его виновником особого положения Жюльена, и именно потому он так перед ним лебезил.

— *И когда же, наконец, смерть освободит нас от этой заразы?* — В таких выражениях, с истинно библейским пылом, говорил этот ничтожный писака о почтенном лорде Голланде.

Следовало отдать ему должное: он превосходно знал биографии современных деятелей и только что сделал большой обзор всех, кто мог рассчитывать на некоторое влияние под скипетром нового короля Англии.

Аббат Пирар прошел в соседнюю гостиную. Жюльен последовал за ним.

— Маркиз не любит бумагомарателей, предупреждаю вас. Это его единственная антипатия. Можете знать латынь, греческий, коли вы на то способны, историю египтян, персов и так далее, он будет вас почитать и покровительствовать вам как ученому. Но сохрани вас боже написать хотя бы одну страницу на французском языке, а тем паче о серьезных материях, которые не соответствуют вам по вашему положению в свете,— он тотчас же обзовет вас писакой, и вы попадете в немилость. Как же это вы, живя в особняке вельможи, не знаете знаменитой фразы герцога де Кастри про д'Аламбера и Руссо: «Обо всем рассуждать желают, а у самих нет даже тысячи экю ренты».

«Итак, здесь все известно,— подумал Жюльен,— совсем как в семинарии!» Он как-то сочинил восемь или десять страничек в весьма приподнятом стиле. Это было нечто вроде похвального слова старому штаб-лекарю, который, как он говорил, сделал из него человека. «Но ведь эта тетрадка у меня всегда под замком!» — воскликнул про себя Жюльен. Однако он тут же пошел к себе, сжег рукопись и вернулся в гостиную. Блистательные проходимцы уже исчезли, остались только особы, украшенные орденами.

Вокруг стола, который слуги внесли в гостиную уже накрытым, сидело семь-восемь женщин, очень знатных, очень благочестивых, очень чванных, в возрасте примерно от тридцати до тридцати пяти лет. Блистательная супруга маршала де Фервака вошла, прося извинить ее за столь поздний приход. Было уже за полночь. Она села за стол рядом с маркизой. Жюльена охватило чувство глубокого волнения: ее глаза и взгляд напомнили ему г-жу де Реналь.

Кружок м-ль де Ла-Моль еще не разошелся. Она и ее друзья с увлечением издевались над несчастным графом де Талером. Это был единственный сын знаменитого еврея, прославившегося своим несметным богатством, которое он нажил, ссужая деньги королям для войн с народами. Еврей только что умер, оставив своему сынку сто тысяч экю месячной ренты и имя, увы, пользовавшееся слишком громкой известностью.

При таком исключительно своеобразном положении человеку требуется истинное простосердечие или большая твердость и воля. Граф, на свою беду, был простачком, но с массой всяких претензий, подсказанных ему льстецами.

Господин де Келюс уверял, что ему подсказали возыметь желание просить руки м-ль де Ла-Моль, за которой ухаживал маркиз де Круазенуа, будущий обладатель герцогского титула и ста тысяч ливров ренты.

— Ах, не обвиняйте его в том, что он возымел желание,— сострадательно сказал Норбер.

Несчастному графу де Талеру, пожалуй, и впрямь всего больше не хватало способности желать. В силу этой черты своего характера он поистине заслуживал королевского трона. Он советовался со всеми на свете, но у него всегда недоставало мужества последовать до конца хотя бы одному из полученных советов.

— Одной его физиономии достаточно, чтобы заставить меня хохотать до упаду,— заявила м-ль де Ла-Моль.

Это была престранная смесь беспокойства и разочарования, сквозь которые временами внезапно прорывались потуги важности и властной решительности, подобающие самому богатому человеку во Франции, особенно, если он недурен собой и ему еще нет тридцати шести лет. «Робкий наглец»,— говорил про него г-н де Круазенуа. Граф де Келюс, Норбер и еще двоетрое молодых людей с усиками досыта поиздевались над ним, чего он, разумеется, не понял, и, наконец, выпроводили его, когда пробило час.

— Неужели это ваши знаменитые арабские лошади дожидаются вас у подъезда в такую погоду? — сказал ему Норбер.

— Нет, это другая упряжка, гораздо менее ценная,— отвечал г-н де Талер.— Левая лошадь стоила мне пять тысяч франков, а правая всего лишь сто луидоров, но, уверяю вас, ее только ночью и запрягают. Дело в том, что у нее в точности такой же шаг, как у той.

Замечание Норбера навело графа на мысль о том, что такому человеку, как он, вполне приличествует иметь страсть к лошадям и что ему не следует держать их под дождем. Он ушел, а молодые люди вышли минуту спустя, не переставая насмехаться над ним.

«Вот,— думал Жюльен, слушая, как они смеются на лестнице,— сегодня мне привелось увидеть человека, который по своему положению представляет собою полную противоположность мне. У меня нет и двадцати луидоров в год, а вот рядом со мной человек, доход которого составляет двадцать луидоров в час, и все потешаются над ним. Такое зрелище способно исцелить от зависти».

V

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЛИКОСВЕТСКАЯ ХАНЖА

> Мало-мальски живая мысль кажется дерзостью, настолько привыкли здесь к избитым и плоским речам. Горе тому, кто блеснет своеобразием в разговоре.
>
> *Фоблаз.*

Прошло несколько месяцев испытания, и вот каково было положение Жюльена, когда домоправитель принес ему его жалованье за третью четверть года. Г-н де Ла-Моль поручил ему следить за управлением его земель в Бретани и Нормандии.

Жюльен нередко совершал туда поездки. На него была возложена вся переписка по пресловутой тяжбе с аббатом де Фрилером. Аббат Пирар ознакомил его с этим делом.

Руководствуясь короткими заметками, которые маркиз царапал на полях всевозможных адресованных ему писем, Жюльен составлял ответы, и почти все они удостаивались подписи маркиза.

В семинарии преподаватели выражали сожаление, что у него мало усидчивости, но тем не менее считали его одним из самых выдающихся своих учеников. Все эти многообразные занятия, которым он предавался со всем рвением уязвленного честолюбия, вскоре лишили Жюльена тех свежих красок, которые он вывез из провинции. Его бледность, впрочем, была заслугой в глазах его товарищей семинаристов; он находил, что они совсем не так злы и не так пресмыкаются перед деньгами, как их безансонские собратья; они же, в свою очередь, считали его чахоточным.

Маркиз подарил ему лошадь. Жюльен, опасаясь, что кто-нибудь из семинаристов может случайно увидеть его во время этих прогулок верхом, сказал им, что верховая езда предписана ему докторами. Аббат Пирар ввел его в различные янсенистские круги. Жюльен был поражен; представление о религии было у него неразрывно связано с лицемерием и жаждой наживы. Он восторгался этими богобоязненными, суровыми людьми, не помышлявшими о доходах. Многие из них выказывали ему дружеское расположение, давали ему советы. Новый мир открывался перед ним. У янсенистов он познакомился с неким графом Альтамирой, человеком гигантского роста, либералом, приговоренным к смертной казни у себя на родине, и при всем том весьма набожным человеком. Его изумляло это странное противоречие — набожность и любовь к свободе.

Отношения Жюльена с юным графом Норбером были холодноваты. Норбер находил, что Жюльен позволяет себе чересчур вольно отвечать на шутки некоторых его друзей. После того как Жюльен раз или два преступил в чем-то правила хорошего тона, он дал себе слово не заговаривать больше с м-ль Матильдой. Все были с ним неизменно и безукоризненно вежливы в особняке де Ла-Моль, но он чувствовал, что как-то уронил себя в их глазах. Его провинциальное здравомыслие находило этому объяснение в народной пословице: *хороша обнова сиову*. Возможно, он стал несколько проницательнее, чем в первые дни, а может быть, просто его уже теперь не так пленяла

парижская учтивость, от которой он был в восторге первое время.

Едва только он оставлял работу, как им овладевала смертельная скука: таково иссушающее действие этой безукоризненной вежливости, столь строго размеренной, столь точно рассчитанной по ступеням, отвечающим тому или иному положению в светском обществе. Человек с мало-мальски чувствительной душой живо ощущает эту искусственность.

Конечно, провинцию можно упрекать за ее грубоватый или не совсем вежливый тон, но там, разговаривая с вами, немножко воодушевляются. В особняке де Ла-Моль самолюбию Жюльена никогда не приходилось страдать, но нередко к концу дня ему хотелось плакать. В провинции, если с вами что-нибудь случится при входе в кафе, официант сразу проявит к вам интерес, и если в этом происшествии есть что-то обидное для вашего самолюбия, он, соболезнуя вам, раз десять повторит слово, которое вас уязвляет. В Париже из деликатности смеются украдкой, но вы там всегда и для всех чужой.

Мы обходим молчанием множество всяких маленьких приключений, которые могли бы выставить Жюльена в смешном виде, если бы он по своему положению не считался, в сущности, недостойным того, чтобы над ним потешались. Его неистовая чувствительность заставляла его совершать тысячи промахов. Все его развлечения были мерами предосторожности: он каждый день упражнялся в стрельбе из пистолета, он был прилежным учеником одного из самых известных учителей фехтования. Как только у него выдавалась свободная минута, он, вместо того чтобы читать, как он это делал когда-то, мчался в манеж и требовал самых норовистых лошадей. На уроках верховой езды он чуть ли не каждый раз падал с лошади.

Маркиз считал Жюльена вполне подходящим для себя человеком, ибо Жюльен работал упорно, был молчалив, понятлив; мало-помалу маркиз поручил ему вести все дела, которые требовали некоторых усилий, чтобы в них разобраться. Когда высокие честолюбивые замыслы, которыми был поглощен маркиз, позволяли ему немного передохнуть, он весьма разумно устраивал свои дела: будучи в курсе всех новостей, он успешно играл на бирже. Он скупал дома и имения, но был раздражителен и легко приходил в ярость из-за пустяка. Он швырял сотнями луидоров и судился из-за сотни франков. Богатый человек с широкой натурой ищет в делах развлечения, а не выгоды. Мар-

кизу действительно нужен был своего рода начальник штаба, который мог бы привести в стройный, удобообозримый порядок все его денежные дела.

Госпожа де Ла-Моль, несмотря на свой весьма сдержанный характер, иногда насмехалась над Жюльеном. Все *непроизвольное,* порожденное чувствительностью, внушает ужас знатным дамам — это антипод благопристойности. Маркиз два-три раза заступался за Жюльена: «Если он смешон в вашей гостиной, он преуспевает за своим письменным столом...» Жюльен, с своей стороны, считал, что он проник в тайну маркизы. Она становилась благосклонной и проявляла интерес ко всему, едва только лакей произносил имя барона де Ла-Жумата. Это было до крайности холодное существо с бесстрастной физиономией. Барон был невысок ростом, худ, безобразен, превосходно одет, постоянно бывал при дворе и обладал даром ни о чем ничего не говорить. Таков был его образ мыслей. Г-жа де Ла-Моль впервые за всю свою жизнь почувствовала бы себя истинно счастливой, если бы ей удалось сделать его супругом своей дочери.

VI

ОТТЕНКИ ПРОИЗНОШЕНИЯ

> Их высокое назначение — невозмутимо обсуждать мелкие происшествия повседневной жизни народов. Им надлежит предотвращать своею мудростью великую ярость гнева, вспыхивающего из-за ничтожных причин или из-за каких-либо событий, которые в устах молвы искажаются до неузнаваемости.
>
> *Граций.*

Для приезжего, только что высадившегося на сушу, да который еще к тому же из гордости не позволял себе никогда задавать вопросов, Жюльен не натворил никаких чрезмерных глупостей. Однажды неожиданный ливень загнал его в кафе на улице Сент-Оноре, где какой-то рослый человек в толстом суконном сюртуке, изумленный его угрюмым взором, глянул на него, в свою очередь, совсем так же, как некогда в Безансоне возлюбленный красотки Аманды.

Жюльен столько раз упрекал себя за то, что оставил безнаказанным то первое оскорбление, что теперь не мог стерпеть

этого взгляда. Он потребовал объяснений. Человек в сюртуке разразился в ответ площадной бранью; все, кто был в кафе, окружили их, прохожие останавливались у дверей. Жюльен, как провинциал, из предосторожности постоянно носил с собой маленькие пистолеты; рука его судорожно сжимала их в кармане. Однако он благоразумно сдержался и ограничился тем, что ежеминутно повторял своему противнику:

— *Ваш адрес, милостивый государь. Я презираю вас.*

Упорство, с каким он повторял эти семь слов, наконец, подействовало на толпу.

— А в самом деле! Пусть тот, который так разорался, даст ему свой адрес.

Человек в сюртуке, слыша этот неоднократно повторенный настойчивый возглас, швырнул в лицо Жюльену с полдюжины визитных карточек. К счастью, ни одна не задела его лица; Жюльен дал себе слово не браться за пистолеты, пока его не тронут. Противник удалился, но несколько раз оборачивался на ходу, грозя Жюльену кулаками и осыпая его бранью.

Жюльен весь обливался потом. «Так, значит, любое ничтожество может до такой степени взволновать меня! — в бешенстве воскликнул он про себя.— Как же убить в себе эту унизительную чувствительность?»

Если бы он только мог, он тут же вызвал бы его на дуэль. Его останавливало лишь одно: как найти секунданта в этом необъятном Париже? У него не было никаких друзей. Он завязал кой-какие знакомства, но все его знакомые, один за другим, спустя несколько недель как-то отдалялись от него. «Я не располагаю к общительности,— думал он,— и вот как жестоко я за это наказан». Наконец ему пришло в голову разыскать некоего отставного лейтенанта 96-го полка Льевена, бедного малого, с которым они иногда упражнялись на рапирах. Жюльен откровенно рассказал ему все.

— Я готов быть вашим секундантом,— сказал Льевен,— но только с одним условием: если вы не раните вашего обидчика, вы тут же будете биться со мной, не сходя с места.

— Согласен! — воскликнул восхищенный Жюльен.

И они отправились разыскивать г-на Ш. де Бовуази куда-то в самую глубь Сен-Жерменского предместья, по адресу, напечатанному на визитных карточках.

Было семь часов утра. Когда они, уже войдя в дом, велели доложить о себе, Жюльену вдруг пришло в голову, что это,

может быть, тот самый молодой родственник г-жи де Реналь, который был когда-то атташе при посольстве, то ли римском, то ли неаполитанском, и который дал рекомендательное письмо синьору Джеронимо.

Жюльен передал важному лакею одну из визитных карточек, брошенных ему накануне, приложив к ней свою.

Их заставили ждать, его и его секунданта, добрых три четверти часа; наконец провели в апартаменты, обставленные с исключительным изяществом. Там их встретил высокий молодой человек, разодетый, как кукла; черты его лица являли совершенство и невыразительность истинно греческой красоты. Его необычайно узкая голова была увенчана пирамидой прекрасных белокурых волос. Они были завиты с невероятной тщательностью: ни один волосок не отделялся от другого. «Вот из-за этой-то завивки,— подумал лейтенант 96-го,— проклятый фат и заставил нас дожидаться». Пестрый шлафрок, утренние панталоны — все, вплоть до вышитых туфель, было безупречно и свидетельствовало об исключительном тщании хозяина. Его благородная и совершенно пустая физиономия отражала мысли весьма пристойные и возникающие редко: идеал дипломата по образцу Меттерниха.

Лейтенант 96-го полка растолковал Жюльену, что заставлять так долго дожидаться после того, как ты швыряешь человеку визитную карточку в лицо,— это еще новое оскорбление, и Жюльен вошел к г-ну де Бовуази с весьма решительным видом. У него было намерение держать себя вызывающе, но в то же время ему хотелось соблюсти хороший тон.

Однако он был до того поражен мягкими манерами г-на де Бовуази, его сдержанным и вместе с тем важным и самодовольным видом, бесподобным изяществом окружающей обстановки, что у него сразу пропало желание быть дерзким. Это был не тот человек, с которым он имел дело накануне. Он был так удивлен, увидав перед собой вместо вчерашнего грубияна, которого рассчитывал встретить, столь элегантную особу, что не мог выговорить ни слова. Он молча протянул ему одну из карточек, которые ему швырнули вчера.

— Это действительно мое имя,— сказал молодой дипломат, которому черный костюм Жюльена в столь ранний час не внушал особенного уважения.— Но я, право, не понимаю, клянусь честью...

Какой-то особый оттенок, с которым он произнес эти последние слова, рассердил Жюльена.

— Я пришел, чтобы драться с вами, сударь!

И он коротко изложил ему всю историю.

Господин Шарль де Бовуази после зрелого размышления в общем остался удовлетворен покроем черного костюма Жюльена. «Это от Штауба, совершенно ясно,— говорил он себе, слушая его рассказ.— Жилет выбран с большим вкусом, и ботинки недурны, но, с другой стороны, черный костюм с раннего утра! Ах, да, это чтобы не быть мишенью для пули!» — наконец догадался кавалер де Бовуази.

Едва только он нашел это объяснение, он стал отменно вежлив и дальше уже держал себя с Жюльеном почти как равный с равным. Беседа продолжалась долго, дело было довольно щекотливое, но в конце концов Жюльен не мог спорить против очевидности. Этот молодой человек с безупречными манерами не имел ничего общего с той грубой личностью, которая оскорбила его накануне.

Жюльену чрезвычайно не хотелось уходить ни с чем, поэтому он затягивал объяснение. Он наблюдал за самодовольной физиономией шевалье де Бовуази, который не преминул назвать себя в разговоре этим титулом, задетый тем, что Жюльен называл его просто «сударь».

Жюльен любовался его важностью, к которой примешивался какой-то оттенок легкой кичливости, не покидавшей его ни на минуту. Он удивлялся его странной манере двигать языком, произнося слова... Но в конце концов во всем этом не было ни малейшего основания для ссоры.

Юный дипломат с величайшей учтивостью выразил свою готовность драться, но отставной лейтенант 96-го полка, который просидел битый час, раздвинув ноги, упершись руками в бедра и выставив локти, заявил, что его друг г-н Сорель отнюдь не способен вступать с человеком в ссору на прусский манер только из-за того, что у этого человека украли его визитные карточки.

Жюльен вышел из дома шевалье де Бовуази в отвратительнейшем настроении. Карета шевалье стояла во дворе перед крыльцом. Нечаянно подняв глаза, Жюльен узнал в кучере, сидевшем на козлах, своего вчерашнего оскорбителя.

Едва он его увидел, он мигом схватил его за полу длинного кафтана, сбросил с козел и осыпал ударами хлыста. Двое лакеев бросились на выручку своего товарища и обрушились на Жюльена с кулаками, но он тотчас же выхватил свой маленький пистолет и стал стрелять; они сразу обратились в бегство. Все это было делом одной минуты.

Шевалье де Бовуази, спускаясь по лестнице с восхитительно важным видом, повторял своим барственным голосом, внушительно оттеняя каждое слово: «Что такое? Что такое?» Несомненно, он был заинтересован до крайности, но его дипломатическая важность не позволяла ему обнаружить свое любопытство. Когда он узнал, в чем дело, эта торжественная важность на его лице постепенно уступила место выражению шутливого хладнокровия, которое никогда не должно покидать лица дипломата.

Лейтенант 96-го понял, что г-ну де Бовуази самому не терпится драться, и решил сделать дипломатический ход, дабы сохранить за своим другом преимущество инициативы.

— Ну, тут уж имеется явное основание для дуэли! — вскричал он.

— Да, я полагаю, вполне достаточное,— сказал дипломат.— Выгнать этого мошенника! — сказал он лакеям.— Пусть кто-нибудь другой сядет на его место.

Открыли дверцу: шевалье непременно желал оказать любезность своему противнику и его секунданту. Они отправились к другу г-на де Бовуази, и тот указал подходящее для дуэли место. Дорогой они очень мило беседовали. Только дипломат выглядел несколько странно в своем шлафроке.

«Хоть это и очень знатные господа,— думал Жюльен,— но они совсем не такие скучные, как те особы, что являются на обеды к господину де Ла-Молю. Они позволяют себе отступать от благопристойности». Разговор шел о танцовщицах, которые понравились публике во вчерашнем балете. Господа эти беспрестанно намекали на какие-то пикантные истории, которых ни Жюльен, ни его секундант, лейтенант 96-го, не знали. Жюльен был не такой глупец, чтобы притворяться осведомленным: он совершенно непринужденно признался в своем невежестве. Такое чистосердечие очень понравилось другу шевалье; он рассказал Жюльену эти истории со всеми подробностями и весьма забавно.

Одно обстоятельство чрезвычайно удивило Жюльена. На какой-то улице карета их задержалась на минутку из-за того, что там шли работы по сооружению уличного алтаря для религиозной процессии в честь праздника Тела господня. Дипломат и его приятель позволили себе по этому поводу несколько шуток: здешний кюре, по их словам, был родным сыном архиепископа. Никогда в доме маркиза де Ла-Моля, претендовавшего на титул герцога, никто не осмелился бы произнести что-либо подобное.

Дуэль закончилась в одну минуту: Жюльен получил пулю в руку, ему сделали перевязку из носовых платков, смоченных водкой, и шевалье де Бовуази весьма вежливо попросил у Жюльена позволения доставить его домой в той самой карете, которая привезла их сюда. Когда Жюльен назвал особняк де Ла-Моля, юный дипломат и его друг переглянулись. Фиакр Жюльена стоял тут же, но разговор с этими господами казался ему много более занимательным, нежели речи бравого лейтенанта 96-го полка.

«Бог мой! Так вот это и есть дуэль? Только и всего? — думал Жюльен.— Какое счастье, что я все-таки поймал этого кучера! Как бы я мучился, если бы мне пришлось перенести еще и это оскорбление в кафе!» Приятная беседа почти не прерывалась во все время пути. И тут Жюльен понял, что дипломатическое притворство в иных случаях тоже бывает полезно.

«Значит, скука вовсе не есть нечто неотъемлемое в разговоре знатных людей,— рассуждал он про себя.— Ведь вот они подшучивают над крестным ходом, не стесняются рассказывать весьма скабрезные анекдоты, да еще с такими живописными подробностями. Им не хватает разве что рассуждений о высокой политике, но этот недостаток вполне искупается изяществом речи и удивительной точностью выражений». Жюльен чувствовал пылкую симпатию к этим молодым людям. «Как был бы я счастлив, если бы мог встречаться с ними почаще!»

Едва они расстались, шевалье де Бовуази поспешил навести справки о Жюльене; они оказались не блестящими.

Ему было весьма любопытно узнать, с кем он имел дело, прилично ли нанести ему визит. Те немногие сведения, которые ему удалось раздобыть, были отнюдь не обнадеживающими.

— Это ужасно! — сказал он своему секунданту.— Мыслимое ли дело — признаться, что я дрался с простым письмоводителем господина де Ла-Моля, да еще из-за того, что мой кучер украл мои визитные карточки!

— Можно не сомневаться, что это покажется смешным.

И в тот же вечер шевалье де Бовуази и его друг поспешили рассказать всем, что этот г-н Сорель, кстати сказать, очень милый молодой человек,— побочный сын близкого друга маркиза де Ла-Моля. Этой истории поверили без всяких затруд-

нений. После того, как факт был установлен, юный дипломат и его друг соблаговолили нанести несколько визитов Жюльену за те две недели, которые он провел в своей комнате. Жюльен признался им, что он за всю свою жизнь был только один раз в Опере.

— Но это немыслимо,— сказали они ему.— Ведь только туда и стоит ходить. Надо непременно, чтобы первый ваш выход был на «Графа Ори».

В Опере шевалье де Бовуази представил его знаменитому певцу Джеронимо, пользовавшемуся в то время громадным успехом.

Жюльен чуть было не влюбился в шевалье: эта смесь самоуважения и какой-то таинственной важности и фатовства в молодом человеке приводила его в восторг. Так, например, шевалье немного заикался потому только, что он имел честь часто встречаться с одним важным вельможей, страдавшим этим недостатком. Никогда еще Жюльену не приходилось видеть, чтобы в одном существе соединялись такие забавные странности с совершенством манер, которому бедный провинциал может только пытаться подражать.

Его видели в Опере с шевалье де Бовуази, и это знакомство заставило заговорить о нем.

— Итак,— сказал ему однажды г-н де Ла-Моль,— оказывается, вы побочный сын богатого дворянина из Франш-Конте, моего близкого друга?

Маркиз оборвал Жюльена, когда тот попытался уверить его, что он совершенно неповинен в распространении этого слуха.

— Господин де Бовуази не желал, чтобы говорили, что он дрался с сыном плотника.

— Знаю, знаю,— сказал г-н де Ла-Моль.— Теперь дело за мной. Я должен упрочить эту легенду,— она для меня удобна. Я попрошу вас об одном одолжении, это отнимет каких-нибудь полчаса вашего времени. В дни спектаклей, в половине двенадцатого вечера, присутствуйте в вестибюле при разъезде светского общества. Я иногда замечаю у вас кое-какие провинциальные замашки, от которых вам надо избавиться. К тому же вам не помешает знать в лицо наших крупных сановников, к которым мне, может быть, придет надобность послать вас с каким-нибудь поручением. Зайдите в театральную кассу, чтобы они вас там знали. Вам заказан постоянный пропуск.

VII

ПРИСТУП ПОДАГРЫ

И я получил повышение не потому, что заслужил его, а потому, что у патрона разыгралась подагра.

Бертолотти.

Быть может, читателя удивляет этот непринужденный и чуть ли не дружеский тон: ведь мы забыли сказать, что маркиз уже полтора месяца не выходил из дому, потому что у него разыгралась подагра.

Мадемуазель де Ла-Моль и ее мать уехали на Гиеры к матери маркиза. Граф Норбер заходил к своему отцу редко, на минутку в день. Они были в превосходных отношениях, но им не о чем было говорить друг с другом. Г-н де Ла-Моль, вынужденный довольствоваться обществом одного Жюльена, был крайне удивлен, обнаружив у него какие-то мысли. Он заставлял его читать себе вслух газеты. Вскоре юный секретарь уже сам был в состоянии выбирать интересные места. Была одна новая газета, которую маркиз ненавидел: он поклялся, что никогда не будет ее читать, и каждый день говорил о ней. Жюльен смеялся. Возмущаясь нынешним временем, маркиз заставлял Жюльена читать себе Тита Ливия: импровизированный перевод прямо с латинского текста забавлял его.

Как-то раз маркиз обратился к нему с той преувеличенной учтивостью, которая теперь нередко раздражала Жюльена.

— Разрешите мне, дорогой мой Сорель,— сказал он,— поднести вам в подарок синий фрак. Когда вам вздумается надеть его и зайти ко мне, я буду считать, что вы младший брат графа де Реца, то есть сын моего друга, старого герцога.

Жюльен не совсем понял, что, собственно, это должно означать, но в тот же вечер явился к маркизу в синем фраке. Маркиз держался с ним, как с равным. Жюльен обладал душой, способной оценить истинную вежливость, но он не имел ни малейшего представления об ее оттенках. До этой прихоти маркиза он готов был поклясться, что большей любезности, чем та, которую ему оказывал маркиз, проявить нельзя. «Вот замечательный талант!» — невольно подумал Жюльен, когда он поднялся, собираясь уходить, и маркиз стал извиняться перед ним, что не в состоянии проводить его из-за своей подагры.

Эта странная фантазия заставила задуматься Жюльена. «А не насмехается ли он надо мной?» — спрашивал он себя. Он отправился посоветоваться к аббату Пирару, но тот, будучи много менее вежлив, чем маркиз, ничего не сказал ему, а только фыркнул в ответ и заговорил о чем-то другом. На другой день Жюльен с утра явился к маркизу в черном костюме со своей папкой и письмами, которые надо было подписать. Тот его принял по-старому. Вечером, когда он пришел в синем фраке, его приветствовали совсем иным тоном, с точно такой же учтивостью, как накануне.

— Если вы не слишком скучаете, навещая по своей доброте бедного больного старика,— сказал ему маркиз,— вы могли бы доставить ему удовольствие, рассказывая о всяких маленьких происшествиях из вашей жизни, но только откровенно и не думая ни о чем, кроме того, чтобы рассказ получился ясный и занимательный. Ибо надо уметь развлекаться,— продолжал маркиз.— В сущности, это единственное, что есть в жизни. Человек не может спасать мне каждый день жизнь на войне или дарить каждый день по миллиону, но вот если бы здесь, около моего кресла, был Ривароль, он бы каждый день избавлял меня на час от мучений и скуки. Я очень часто виделся с ним в Гамбурге, во время эмиграции.

И маркиз рассказал Жюльену несколько анекдотических случаев касательно Риваролля и гамбуржцев, которые сходились вчетвером, чтобы разгадать какую-нибудь его остроту.

Господин де Ла-Моль, вынужденный довольствоваться обществом юного аббатика, хотел как-нибудь расшевелить его. Ему удалось задеть гордость Жюльена. Жюльен, поскольку от него хотели правды, решил говорить обо всем и умолчал только о двух вещах: о своем фанатическом обожании некоего имени, которое приводило маркиза в ярость, и о полном своем неверии, ибо это не очень шло к будущему кюре. Его маленькая стычка с шевалье де Бовуази пришлась здесь очень кстати. Маркиз хохотал до слез над сценой с кучером, осыпавшим Жюльена площадной бранью в кафе на улице Сент-Оноре. Это было время полной откровенности между патроном и его подчиненным.

Господина де Ла-Моля заинтересовал этот своеобразный характер. Сначала он поощрял чудачества Жюльена, ибо они забавляли его, однако вскоре ему показалось более занятным потихоньку исправлять кое-какие ложные представления этого молодого человека. «Другие провинциалы, приехав в Париж,

умиляются решительно всему,— рассуждал маркиз,— а этот все презирает. У них избыток восторженности, а ему как раз этого-то и недостает, и вот глупцы принимают его за глупца».

Приступ подагры затянулся из-за сильных холодов и продлился несколько месяцев.

«Ведь привязываются же люди к хорошенькой болонке,— убеждал себя маркиз.— Чего же мне стыдиться, если я привязался к этому аббатику? Это своеобразная натура. Я обращаюсь с ним, как с сыном,— ну и что же? Что тут такого непристойного? Эта фантазия, если она продлится, будет мне стоить одного бриллианта стоимостью в пятьсот луидоров в моем завещании».

Теперь, когда маркиз хорошо узнал твердый характер юноши, которому он оказывал покровительство, не проходило дня, чтобы он не поручал ему какого-нибудь нового дела.

Жюльен с ужасом замечал, что этот важный вельможа дает ему иной раз по одному и тому же делу совершенно противоречивые приказания.

Это могло поставить Жюльена в весьма неприятное положение. Он завел обычай, приходя к маркизу с делами, приносить с собою книгу, куда он записывал его распоряжения, а маркиз ставил под ними свои инициалы. Затем Жюльен завел писца, который переписывал решения по каждому делу в особую книгу и туда же вносил копии всех писем.

Сперва эта затея показалась маркизу чрезвычайно нелепой и скучной. Но не прошло и двух месяцев, как он убедился во всех ее преимуществах. Жюльен предложил ему взять еще счетовода из банка, чтобы вести двойную бухгалтерию по всем приходам и расходам земельных владений, которые были поручены надзору Жюльена.

Все эти мероприятия настолько прояснили для маркиза состояние его собственных дел, что он мог теперь доставить себе удовольствие пускать свои средства в оборот, не прибегая к помощи подставного лица, бессовестно обворовывавшего его.

— Возьмите себе три тысячи франков,— сказал он однажды своему юному министру.

— Сударь, это может навлечь на меня клевету.

— Так что же вам нужно? — спросил с неудовольствием маркиз.

— Чтобы вы соблаговолили принять определенное решение и вписали его собственной рукой в книгу. И тогда это

решение предоставит мне три тысячи франков. А кстати сказать, это аббат Пирар подал мысль завести все это счетоводство.

Маркиз со скучающей миной маркиза де Монкада, выслушивающего отчет своего интенданта г-на Пуассона, записал свое решение.

По вечерам, когда Жюльен появлялся в синем фраке, о делах никогда не заходило и речи. Милости маркиза были столь лестны для вечно страдающего самолюбия нашего героя, что он вскоре невольно почувствовал что-то вроде привязанности к этому любезному старику. Это не значит, что Жюльен оказался чувствительным в том смысле, в каком это понимают в Париже, но он вовсе не был истуканом, а после смерти старого штаб-лекаря никто больше не говорил с ним с такой добротой. Он с удивлением замечал, что маркиз старается щадить его самолюбие с такой любезной предусмотрительностью, какой он никогда не наблюдал у старого лекаря. И он наконец пришел к заключению, что лекарь гордился своим крестом много больше, чем маркиз своей синей лентой. Отец маркиза был большим вельможей.

Однажды в конце утренней аудиенции, когда Жюльен был в черном костюме и они занимались делами, он сумел чем-то позабавить маркиза; тот задержал его на целых два часа и хотел непременно заставить его принять несколько банковых билетов, которые ему только что принес с биржи его агент.

— Надеюсь, господин маркиз, что я не преступлю пределов моего глубочайшего уважения к вам, если попрошу у вас позволения сказать слово.

— Говорите, друг мой.

— Я покорнейше прошу господина маркиза позволить мне отказаться от этого дара. Он предназначается отнюдь не человеку в черном костюме и совершенно испортит ту непринужденность обращения, которая столь милостиво разрешается человеку в синем фраке.

Жюльен весьма почтительно поклонился и, не взглянув на маркиза, вышел из комнаты.

Этот поступок показался маркизу забавным. Вечером он рассказал о нем аббату Пирару.

— Я должен вам наконец кое в чем признаться, мой дорогой аббат. Мне известно происхождение Жюльена, и я разрешаю вам не держать в тайне то, что я вам доверил.

«Его поведение сегодня утром было поистине благородно,— думал маркиз.— Так вот я и дам ему благородное происхождение».

Прошло еще некоторое время, и маркиз наконец стал выходить.

— Поезжайте, поживите месяца два в Лондоне,— сказал он Жюльену.— Нарочные и прочие курьеры будут привозить вам мою корреспонденцию с моими пометками. Вы будете составлять ответы и отсылать мне их, вкладывая в конверт и присланное мной. Я подсчитал, что запоздание составит не более пяти дней.

Сидя в почтовой карете по дороге в Кале, Жюльен от всей души изумлялся пустяковым поручениям, ради которых его посылали в эту якобы деловую поездку.

Не будем говорить, с каким чувством ненависти и чуть ли не ужаса ступил он на английскую землю. Его безумная страсть к Наполеону известна читателю. В каждом офицере он видел сэра Гудсона Лоу, в каждом сановнике — лорда Бетхерста, того самого, что учинял все эти гнусности на Святой Елене и получил в награду за это министерский портфель на десять лет.

В Лондоне он наконец постиг, что значит истинно светское фатовство. Он познакомился с молодыми русскими сановниками, которые посвятили его в эти тонкости.

— Вы, дорогой Сорель, предопределены самой судьбой,— говорили они ему.— Вас сама природа наделила этим холодным лицом,— то, что называется *за тридевять земель от переживаемых вами чувств,*— то есть именно тем, что мы так стараемся изобразить.

— Вы не понимаете своего века,— говорил ему князь Коразов.— *Делайте всегда обратное тому, что от вас ожидают.* Это, по чести сказать, единственный закон нашего времени. Не будьте ни глупцом, ни притворщиком, ибо тогда от вас будут ждать либо глупостей, либо притворства, и заповедь будет нарушена.

Жюльен покрыл себя истинной славой в гостиной герцога де Фиц-Фока, который пригласил его к обеду, равно как и князя Коразова. Обеда дожидались целый час. Среди двадцати человек приглашенных Жюльен держал себя так, что молодые секретари лондонских посольств вспоминают об этом и до сих пор. Выражение его лица было поистине бесподобно.

Ему хотелось во что бы то ни стало, несмотря на шуточки своих приятелей-денди, повидать знаменитого Филиппа Вена, единственного философа, которого имела Англия после Локка.

Он нашел его в тюрьме за решеткой, отбывающим седьмой год своего заключения. «Аристократия в этой стране не склонна шутить,— подумал Жюльен.— Мало того, что Вена упрятали в тюрьму, его еще опозорили, втоптали в грязь и прочее».

Вен был в отличном настроении: ярость аристократов потешала его. «Вот единственный веселый человек, которого я видел в Англии»,— сказал себе Жюльен, выходя из тюрьмы.

«Нет для тиранов идеи полезнее, чем идея бога!» — сказал ему Вен.

Мы не будем излагать его философскую систему, ибо это система *циника.*

Когда Жюльен вернулся из Англии, г-н де Ла-Моль спросил его:

— Чем вы можете меня порадовать, какие приятные впечатления вывезли вы из Англии?

Жюльен молчал.

— Ну приятные или неприятные, но хоть какие-нибудь впечатления вы вывезли оттуда? — нетерпеливо повторил маркиз.

— *Primo,*— сказал Жюльен,— самый рассудительный англичанин становится на час в день, умалишенным: к нему является демон самоубийства, который и есть бог этой страны.

Secundo, разум и гений теряют примерно около двадцати пяти процентов своей ценности, высаживаясь в Англии.

Tertio, нет ничего на свете более прекрасного, удивительного и трогательного, чем английский пейзаж.

— А теперь моя очередь,— сказал маркиз.— *Primo,* зачем это вы на балу у русского посланника изволили говорить, что во Франции есть триста тысяч юношей, которые страстно жаждут войны? Вы думаете, это лестно для государей?

— Никак не угадаешь, что надо сказать, когда говоришь с нашими великими дипломатами,— отвечал Жюльен.— У них просто страсть какая-то заводить серьезные разговоры. Так вот, если придерживаться общих мест и газетных истин, прослывешь глупцом. Если же вы позволите себе преподнести что-нибудь новенькое и похожее на правду, они изумляются, не знают, что отвечать, а на другой день, в семь часов утра, вам сообщают через первого секретаря посольства, что вы вели себя непристойно.

— Недурно,— рассмеявшись, сказал маркиз.— Но вот что, господин глубокий мыслитель, держу пари, что вы так-таки и не догадались, зачем вы ездили в Англию.

— Прошу прощения,— отвечал Жюльен,— я ездил туда для того, чтобы раз в неделю обедать у посла его величества, самого учтивого человека в мире.

— Вы ездили вот за этим орденом,— сказал маркиз.— У меня нет намерения заставить вас расстаться с вашим черным костюмом, но я привык к более занятному тону беседы, которого я держусь с человеком в синем фраке. Впредь до нового распоряжения прошу вас хорошенько уяснить себе следующее: когда я буду видеть на вас этот орден, вы будете для меня младшим сыном моего друга герцога де Реца, состоящим, хоть он о том и не ведает, уже полгода на дипломатической службе. И заметьте,— добавил маркиз очень серьезным тоном, резко обрывая попытки изъявления благодарности,— я вовсе не хочу, чтобы вы изменяли вашему званию. Это вечное заблуждение и несчастье как для покровителя, так и для того, кто пользуется этим покровительством. Когда мои тяжбы надоедят вам или я найду, что вы больше мне не подходите, я вам достану хороший приход, скажем такой, как у нашего друга аббата Пирара, *и ничего более*,— прибавил маркиз очень сухо.

Этот орден успокоил наконец гордость Жюльена; он стал много более разговорчивым, не так часто чувствовал себя оскорбленным и не принимал на свой счет всякие словечки, может быть, и действительно не совсем учтивые, если в них разобраться, но которые в оживленной беседе легко могут вырваться у всякого.

Благодаря этому ордену он удостоился чести весьма необычного посещения: к нему явился с визитом г-н барон де Вально, который приехал в Париж принести министру благодарность за свой титул и столковаться с ним кое о чем. Его собирались назначить мэром города Верьера вместо г-на де Реналя.

Жюльен чуть не хохотал про себя, когда г-н Вально по секрету сообщил ему, что г-н де Реналь, оказывается, был якобинцем и что это только совсем недавно открылось. Дело было в том, что на предстоящих перевыборах в палату депутатов новоиспеченный барон выдвигался кандидатом от министерства, а в большой избирательной коллегии департамента, в действительности ультрароялистской, г-на де Реналя выдвигали либералы.

Тщетно Жюльен пытался узнать хоть что-нибудь о г-же де Реналь: барон, вероятно, припомнил их былое соперничество и не обмолвился о ней ни словом. Он завершил свой визит тем, что попросил у Жюльена голос его отца на предстоящих выборах. Жюльен обещал написать отцу.

— Вам следовало бы, господин шевалье, представить меня господину маркизу де Ла-Молю.

«И правда, *следовало бы,*— подумал Жюльен.— Но такого мошенника!..»

— Правду сказать,— отвечал он,— я слишком маленький человек в особняке де Ла-Моль, чтобы брать на себя смелость представлять кого-нибудь.

Жюльен рассказывал маркизу обо всем. Вечером он рассказал ему о желании, которое выразил Вально, а также обо всех его проделках и фокусах, начиная с 1814 года.

— Вы не только представите мне завтра же этого нового барона,— весьма внушительно сказал ему г-н де Ла-Моль,— но пригласите его обедать на послезавтра. Это будет один из наших новых префектов.

— В таком случае,— холодно промолвил Жюльен,— я прошу у вас место директора дома призрения для моего отца.

— Превосходно,— ответил маркиз, вдруг развеселившись,— согласен. Я, признаться, опасался нравоучений. Вы, я вижу, исправляетесь.

Господин Вально сообщил Жюльену, что управляющий лотерейной конторой в Верьере недавно скончался; Жюльену показалось забавным предоставить это место г-ну де Шолену, тому старому кретину, чье прошение он когда-то подобрал на полу в комнате г-на де Ла-Моля. Маркиз от души хохотал над этим прошением, которое Жюльен процитировал ему, когда принес на подпись письмо к министру финансов по поводу этого места.

Едва только г-н де Шолен был назначен, Жюльену стало известно, что депутация от департамента уже ходатайствовала о предоставлении этого места г-ну Гро, знаменитому математику. Этот благородный человек располагал всего лишь тысячью четырьмястами франками ренты и ежегодно отдавал из них шестьсот франков семье покойного управляющего этой конторы, дабы помочь ей прокормиться.

Жюльен был изумлен тем, что он сделал. А эта семья покойного? Чем же они теперь будут жить? Сердце его сжалось при этой мысли. «Пустяки! — сказал он себе.— Мало ли мне предстоит совершить всяких несправедливостей, если я хочу преуспеть? Надо будет только научиться прикрывать все это прочувствованными фразами. Бедный господин Гро! Вот кто поистине заслужил орден. А получил его я, и мне надлежит действовать в духе правительства, которое соизволило мне его пожаловать».

VIII

КАКОЕ ОТЛИЧИЕ ВЫДЕЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА?

— Твоя вода не освежает меня,— сказал истомленный жаждой джинн.
— А ведь это самый прохладный колодец во всем Диар-Бекире.
Пеллико.

Как-то раз Жюльен возвратился из поездки в прелестное имение Вилькье на берегу Сены, которому г-н де Ла-Моль уделял некоторое внимание, ибо это было единственное из всех его владений, принадлежавшее некогда знаменитому Бонифасу де Ла-Молю. Он застал дома маркизу и ее дочь, которые только что приехали с Гиерских островов.

Жюльен теперь был настоящий денди и вполне овладел искусством жить в Париже. Он держался с м-ль де Ла-Моль с изысканной холодностью. У него, казалось, не сохранилось и тени воспоминания о тех давно минувших днях, когда она потешалась, расспрашивая, как это он так ловко свалился с лошади.

Мадемуазель де Ла-Моль нашла, что он вырос и побледнел. В его фигуре, в манере держаться теперь уже не было ничего провинциального, а вот в манере говорить что-то было не совсем так: в его разговоре все еще чувствовалось слишком много серьезности, положительности. Впрочем, невзирая на эти разумные свойства и благодаря присущей ему гордости, это не производило впечатления подчиненности; чувствовалось только, что он все еще слишком многому придает значение. Однако сразу можно было сказать, что этот человек не отступится от того, что он говорит.

— Ему не хватает легкости, а совсем не ума,— сказала как-то м-ль де Ла-Моль отцу, пошучивая с ним по поводу ордена, который он раздобыл Жюльену.— Мой брат просит его у вас полтора года. А ведь он де Ла-Моль!..

— Да, но Жюльен способен проявить неожиданную находчивость, чего никогда не случалось с де Ла-Молем, о котором вы говорите.

Доложили о приходе герцога де Реца.

Матильду вдруг одолела непреодолимая зевота; стоило ей только его увидеть, как она сразу почувствовала, что опять видит все ту же старинную золоченую мебель, все тех же неизменных завсегдатаев отцовской гостиной. И она представила

себе невыносимо скучное существование, которое опять начнется для нее в Париже. А на Гиерских островах она скучала о Париже!

«И ведь мне всего девятнадцать лет! — думала она.— Самый счастливый возраст, как говорится в этом хламе с золотыми обрезами». Она поглядела на десяток новеньких томиков стихов, скопившихся на консоле в гостиной за время ее путешествия в Прованс. На свою беду, она была много умнее всех этих господ де Круазенуа, де Келюсов, де Люзов и прочих своих друзей. Она представила себе все, что они будут говорить ей о прекрасном небе Прованса, о поэзии, о блаженном Юге и так далее, и так далее.

Ее прекрасные глаза, в которых застыла беспредельная скука и, хуже того, полная безнадежность найти хоть какую-нибудь радость, остановились на Жюльене. Этот, по крайней мере, был не совсем такой, как все остальные.

— Господин Сорель,— сказала она отрывистым, нетерпеливым тоном, каким говорят молодые женщины высшего круга и в котором нет решительно ничего женственного,— вы будете сегодня вечером на бале у господина де Реца?

— Мадемуазель, я не имел чести быть представленным господину герцогу (можно было подумать, что эти слова и титул раздирали рот этому гордецу-провинциалу).

— Он поручил моему брату привезти вас к нему. Так вот, если вы там будете, вы расскажете мне подробно об этом имении в Вилькье: мы подумываем, не поехать ли туда весной. Мне хочется знать, пригоден ли замок для жилья и так ли хороши окрестности, как говорят. Ведь слава часто бывает и незаслуженной.

Жюльен не отвечал.

— Приезжайте на бал вместе с братом,— добавила она очень сухо.

Жюльен почтительно поклонился. «Итак, даже на бале я обязан отдавать отчеты всем членам этой семьи. Однако ведь мне как раз и платят за то, что я управляю их делами». Его раздражение добавило к этому: «Бог их знает, не попаду ли я еще впросак, сказав дочке что-нибудь такое, что не будет совпадать с планами отца, сына и маменьки. Ведь это настоящий двор самодержавного властителя. Здесь надо быть полным ничтожеством, а вместе с тем не давать никому повода для жалоб».

«Вот уж не нравится мне эта долговязая девица,— подумал он, провожая взглядом м-ль де Ла-Моль, которую позвала мать, пожелавшая представить ее каким-то дамам, своим прия-

тельницам.— И как она старается превзойти все моды: платье у нее совсем сползает с плеч... Она еще бледнее, чем была до своего путешествия... А волосы совсем бесцветные, до того белые... прямо, можно сказать, просвечивают насквозь... А сколько высокомерия в ее манере здороваться, в этом взгляде,— скажите, какие царственные жесты!»

Мадемуазель де Ла-Моль окликнула своего брата в ту минуту, когда он выходил из гостиной.

Граф Норбер подошел к Жюльену.

— Дорогой мой Сорель,— сказал он ему,— где мне вас поймать в полночь, чтобы нам с вами поехать на бал к господину де Рецу? Он мне поручил непременно привезти вас.

— Я очень хорошо знаю, кому я обязан столь великой милостью,— отвечал Жюльен, кланяясь чуть ли не до земли.

Вежливый и даже предупредительный тон Норбера не давал повода для придирок дурному настроению Жюльена, и он придрался к собственному ответу на это любезное приглашение. Ему померещился в нем оттенок низости.

Приехав вечером на бал, он был поражен необычайным великолепием особняка де Реца. Двор, куда въезжали экипажи, был словно шатер: над ним был натянут громадный тент из алого тика в золотых звездах; это было просто изумительно. А под шатром весь двор был превращен в настоящий лес из апельсиновых деревьев и олеандров в цвету. Кадки этих деревьев были зарыты так глубоко, что казалось, деревья растут из земли. Дорога, по которой подъезжали экипажи, была усыпана песком.

Все это, вместе взятое, показалось нашему провинциалу чем-то поистине необычайным. Он не имел ни малейшего представления о подобной роскоши; его потрясенное воображение мигом унеслось за тысячи лье от всяких мрачных мыслей. В карете, когда они ехали на бал, Норбер весело болтал, а Жюльену все представлялось в черном свете, но едва только въехали во двор, они поменялись ролями.

Внимание Норбера привлекали главным образом какие-то мелочи, на которые посреди всего этого великолепия, очевидно, не обратили внимания. Он оценивал стоимость каждой затеи, и Жюльен видел, что, по мере того как общий итог возрастал, его спутника начинало разбирать нечто вроде зависти и раздражения.

А Жюльен вошел в первую залу, где уже начались танцы, очарованный, восхищенный и чуть ли не оробевший от этих слишком сильных ощущений. Все стремились к дверям второй

залы, и там образовалась такая толпа, что пробиться не было возможности. Эта вторая зала была убрана в стиле гренадской Альгамбры.

— Царица бала! Бесспорно, нельзя не согласиться,— произнес какой-то молодой человек с усиками, чье плечо довольно крепко упиралось в грудь Жюльена.

— Мадемуазель Фурмон, которая всю эту зиму была у нас первой красавицей,— откликнулся его сосед,— чувствует, что ей придется отступить на второе место. Посмотри, какой у нее странный вид.

— Да, все усилия прилагает, чтобы понравиться. Смотри, какая прелестная улыбка, вот сейчас, когда она идет в кадрили. Клянусь честью, неподражаемо.

— А мадемуазель де Ла-Моль и виду не подает, что ее радует эта победа, которую она отлично сознает. Можно подумать, что она боится понравиться тому, с кем говорит.

— Великолепно! Вот истинное искусство пленять.

Жюльен тщетно силился разглядеть Матильду: семь или восемь мужчин, все гораздо выше его, окружали обольстительницу.

— А ведь в этой благородной сдержанности тоже немало кокетства,— промолвил молодой человек с усиками.

— А эти громадные голубые глаза, как медленно они опускаются в тот самый момент, когда кажется, что они уже вот-вот себя выдадут! — подхватил сосед.— Нет, честное слово, ничего искусней и вообразить нельзя!

— Погляди, как рядом с ней красавица Фурмон стала вдруг какой-то совсем неприметной,— сказал третий.

— Этот сдержанный вид словно говорит вам: сколько радости я подарила бы вам, будь вы человеком, достойным меня!

— Но кто может быть достоин божественной Матильды? — сказал первый.— Разве какой-нибудь принц королевской крови, статный красавец, умник, герой, отличившийся в войне, и при всем том не старше двадцати лет.

— Побочный сын русского императора. А чтобы сделать его достойным такого брака, его пожалуют во владетельные князья. А может быть... просто-напросто граф Талер, хоть он и похож на наряженного крестьянина?..

В дверях стало просторней, и Жюльен мог войти.

«Уж если она кажется этим куклам такой замечательной, стоит рассмотреть ее хорошенько,— подумал он.— По крайней мере, буду хоть знать, в чем заключается совершенство, по мнению этих людей».

Он стал искать ее глазами, и в эту минуту Матильда взглянула на него. «Мои обязанности призывают меня»,— сказал себе Жюльен; но хоть он и выразился так, он не почувствовал никакой досады. Любопытство заставляло его двигаться вперед не без чувства удовольствия, а сильно обнаженные плечи Матильды мгновенно увеличили это удовольствие, что, признаться, было отнюдь не лестно для его самолюбия. «Ее красота,— подумал он,— это красота юности». Пятеро или шестеро молодых людей, среди которых Жюльен узнал и тех, что беседовали между собою в дверях, находились между ним и ею.

— Вы, сударь, были здесь всю зиму,— сказала она ему.— Не правда ли, это самый прелестный бал за весь сезон?

Он ничего не ответил.

— Эта кадриль Кулона, по-моему, просто восхитительна, и наши дамы танцуют ее бесподобно.

Молодые люди обернулись, чтобы увидеть счастливца, от которого так настойчиво добивались ответа. Но ответ не заключал в себе никакого поощрения.

— Вряд ли я могу быть хорошим судьей, мадемуазель. Моя жизнь проходит за письменным столом. Я в первый раз присутствую на таком блестящем бале.

Молодые люди с усиками были явно скандализованы.

— Вы мудрец, господин Сорель,— последовало в ответ заметно оживившимся тоном.— Вы глядите на все эти балы, на все эти праздники, как философ, как Жан-Жак Руссо. Эти безумства вас удивляют, но ничуть не пленяют.

Одно словечко в этой фразе внезапно потушило воображение Жюльена и сразу изгнало из его сердца всякое самообольщение. Губы его сложились в презрительную усмешку; быть может, это получилось несколько чересчур подчеркнуто.

— Жан-Жак Руссо,— отвечал он,— на мой взгляд, просто глупец, когда он берется судить о высшем свете. Он не понимал его и стремился к нему душой лакея-выскочки.

— Он написал «Общественный договор»,— сказала Матильда с благоговением.

— Проповедуя республику и ниспровергая троны монархов, этот выскочка пьянел от счастья, когда какой-нибудь герцог изменял своей обычной послеобеденной прогулке, чтобы проводить кого-либо из его друзей.

— Ах, да! Это герцог Люксембургский в Монморанси проводил некоего господина Куенде, когда тот возвращался в Париж...— подхватила м-ль де Ла-Моль, с живостью и восторгом предаваясь новообретенному счастью учености.

Она была в восторге от своих знаний, как тот академик, который открыл существование короля Феретрия. Взор Жюльена по-прежнему был пронизывающим и суровым. Матильду охватил порыв истинного воодушевления, и холодность ее собеседника совершенно ошеломила ее. Она была тем более изумлена, что до сих пор обычно сама производила такое впечатление на людей.

В это самое время маркиз де Круазенуа поспешно пробирался к м-ль де Ла-Моль через густую толпу. Он уже был в трех шагах от нее, но никак не мог подойти ближе. Он смотрел на нее, посмеиваясь над тем, что попал в такой затор. Рядом с ним стояла юная маркиза де Рувре, кузина Матильды. Она опиралась на руку своего мужа, который стал им всего лишь две недели тому назад. Маркиз де Рувре, еще совсем юноша, был влюблен без памяти, что легко может случиться с человеком, когда он, вступая в приличный брак по расчету, устроенный нотариусами, вдруг обнаруживает в своей жене прелестное существо. Г-н де Рувре должен был получить герцогский титул после смерти своего весьма престарелого дядюшки.

В то время как маркиз де Круазенуа, не будучи в состоянии пробиться сквозь толпу, улыбаясь, смотрел на Матильду, она устремила свои громадные, синие, как небо, глаза на него и на его соседей. «Что может быть на свете пошлее вот этого сборища! Вот Круазенуа, который изволит претендовать на мою руку, человек мягкий, вежливый, и манеры у него такие же утонченные, как у этого господина де Рувре. Если бы только не скука, которой веет от них, все эти господа были бы чрезвычайно милы. И вот он так же будет ездить со мной на балы, и вид у него будет такой же ограниченный и самодовольный. Через год после свадьбы моя коляска, мои лошади, мои наряды, мой замок в двадцати лье от Парижа — все это будет так безупречно, что дальше некуда, а какая-нибудь выскочка вроде графини де Руавиль, глядя на это, будет умирать от зависти! А потом...»

Матильда уже заранее изнывала от скуки. Маркизу де Круазенуа, наконец, удалось пробиться сквозь толпу, он подошел и заговорил с ней, но она, не слушая его, продолжала думать о своем. Слова его не долетали до ее слуха, сливаясь с многоголосым шумом бала. Машинально она следила глазами за Жюльеном, который отошел от нее с почтительным, но гордым и недовольным видом. В дальнем углу залы, в стороне от движущейся толпы, она заметила графа Альтамиру, приговоренного к смерти у себя на родине,— читатель с ним уже

знаком. В царствование Людовика XIV одна из его родственниц была замужем за принцем Конти; это обстоятельство в какой-то мере охраняло его от тайной полиции иезуитов.

«Видно, только смертный приговор и выделяет человека,— подумала Матильда.— Вот единственная вещь, которую нельзя купить. А ведь это я недурно придумала! Как жаль, что мысль эта не подвернулась мне в такой момент, когда бы я могла блеснуть ею!» У Матильды было достаточно вкуса: ей не могло прийти в голову ввести в разговор остроту, придуманную заранее. Но у нее было также достаточно тщеславия, чтобы прийти в восторг от самой себя. Радость, озарившая ее лицо, прогнала с него выражение явной скуки. Маркиз де Круазенуа, который не переставал говорить, обрадовался успеху и удвоил свое красноречие.

«Что мог бы какой-нибудь злой язык противопоставить моей остроте? — раздумывала Матильда.— Я бы ответила этому критику: титул барона, титул виконта — все это можно купить, ордена даются просто так,— мой брат только что получил орден, а что он сделал? Чин можно получить — достаточно десяти лет гарнизонной службы или родства с военным министром, и вот вы уже командир эскадрона, как Норбер. Большое состояние?.. Ну, это, пожалуй, самое трудное, а следовательно, и самое почетное. Ведь вот как смешно выходит,— как раз обратное тому, что говорится во всех книгах... Ну, в конце концов, чтобы приобрести состояние, человек может жениться на дочери Ротшильда.

Нет, действительно моя мысль не лишена глубины. Смертный приговор — это пока единственная вещь, которой никому не приходило в голову добиваться».

— Вы знакомы с графом Альтамирой? — спросила она г-на де Круазенуа.

По лицу ее видно было, что она только сейчас очнулась,— вопрос ее не вязался со всем тем, что вот уже целых пять минут рассказывал ей бедняга маркиз; он несколько опешил, и его учтивость не сразу пришла ему на выручку. А между тем это был весьма находчивый человек, славившийся своим остроумием.

«Матильда не лишена странностей,— подумал он.— Это, разумеется, не очень удобно, но какое замечательное положение в обществе она даст своему мужу! Не знаю, как ухитряется достичь этого маркиз де Ла-Моль, но он связан с самыми достойными и видными людьми в каждой партии; этот человек всегда будет на виду. Возможно, впрочем, что эти странности

Матильды создадут ей славу оригинальной натуры. А когда человек знатен и богат, оригинальность уже перестает быть курьезом, и тогда это будет выдающаяся женщина! Стоит ей захотеть — и это сочетание ума, характера и исключительной находчивости сделает ее неотразимо обаятельной...» Так как хорошо делать два дела сразу — вещь нелегкая, то маркиз, глядя на Матильду отсутствующим взором, отвечал ей словно затверженный урок:

— А кто же не знает беднягу Альтамиру? — и принялся рассказывать ей историю этого неудавшегося заговора, смехотворного, нелепого.

— Ужасно нелепого! — отвечала Матильда, словно говоря сама с собой.— Однако он что-то делал. Я хочу посмотреть на настоящего человека; приведите его сюда,— сказала она жестоко уязвленному маркизу.

Граф Альтамира был одним из самых откровенных поклонников высокомерной и чуть ли не дерзкой красоты м-ль де Ла-Моль: он считал ее одной из первых красавиц в Париже.

— Как она была бы великолепна на троне! — сказал он маркизу де Круазенуа и охотно последовал за ним.

Немало людей из светского общества склонно считать, что заговор в XIX веке — верх дурного тона; от этого несет якобинством. А может ли быть что-либо отвратительнее неудачливого якобинца?

Матильда, обмениваясь взглядами с г-ном де Круазенуа, посмеивалась над либерализмом Альтамиры, но слушала его с удовольствием.

«Заговорщик на бале — прелестный контраст»,— думала она; Альтамира со своими черными усищами напоминал ей отдыхающего льва; но вскоре она обнаружила, что у него только одно на уме: *польза, преклонение перед пользой.*

Молодой граф не находил в мире ничего достойного внимания, за исключением того, что могло бы дать его стране правительство двухпалатной системы. Увидев входящего в залу перуанского генерала, он с видимым удовольствием покинул Матильду, первую красавицу бала. Потеряв надежду на Европу, после того как Меттерних завел в ней свои порядки, бедный Альтамира вынужден был утешать себя мечтами о будущем, когда страны Южной Америки станут сильными, могущественными и возвратят Европе свободу, ниспосланную им Мирабо.

Матильду обступила толпа молодых людей с усиками. Она прекрасно понимала, что ей не удалось очаровать Альтамиру, и ей было досадно, что он ушел. Она видела, как его черные

глаза загорелись, когда он заговорил с перуанским генералом. М-ль де Ла-Моль разглядывала молодых французов с такой глубокой серьезностью, какой не могла бы перенять ни одна из ее соперниц. «Кто из них,— думала она,— способен навлечь на себя смертный приговор, предполагая даже, что все благоприятные обстоятельства для этого будут налицо?»

Ее странный взгляд нравился глупцам, но многим делалось от него не по себе. Они опасались, что у нее вот-вот вырвется какое-нибудь острое словцо, на которое не будешь знать, что ответить.

«Знатное происхождение наделяет человека множеством всяких качеств, отсутствие которых оскорбляет меня,— я замечаю это на примере Жюльена,— думала Матильда,— но оно стирает те качества души, которыми заслуживают смертный приговор». В эту минуту кто-то сказал позади нее: «Ведь этот граф Альтамира — второй сын принца Сан-Назаро-Пименталя. Его предок Пиментель пытался спасти Конрадина, обезглавленного в 1268 году. Это одна из самых родовитых семей в Неаполе».

«Вот так подтверждение моей теории,— подумала Матильда,— будто знатное происхождение лишает человека той силы характера, без которой он не способен навлечь на себя смертный приговор!.. Нет, я, кажется, осуждена сегодня изрекать одни сплошные нелепицы. Ну, раз уж я всего-навсего женщина, как и все другие, что ж делать, придется танцевать». И она уступила настояниям маркиза де Круазенуа, который уже целый час приглашал ее на галоп. Чтобы забыть о своей неудачной попытке философствовать, Матильда решила быть обаятельной. Г-н де Круазенуа был наверху блаженства.

Но ни танцы, ни желание очаровать одного из самых красивых людей при дворе — ничто не могло развлечь Матильду. Она пользовалась невообразимым успехом; она была царицей бала, она сознавала это, но с полным хладнокровием.

«Какую бесцветную жизнь я буду влачить с таким существом, как этот Круазенуа,— говорила она себе час спустя, когда он подводил ее к креслу.— А в чем же радость для меня,— грустно подумала она,— если после шестимесячного отсутствия я не способна чувствовать ее вот на этом бале, о котором с такой завистью мечтают все женщины в Париже? И ведь каким успехом я пользуюсь среди этого избранного общества, лучше которого, я сама знаю, ничего и представить себе нельзя! Ведь из буржуа здесь только, может быть, несколько пэров да один или два человека вроде Жюльена. И подумать;— уже совсем

грустно добавила она,— чем только не одарила меня судьба: известностью, богатством, молодостью — словом, всем, кроме счастья!..

Из всех моих преимуществ, пожалуй, самые сомнительные те, о которых мне твердят сегодня весь вечер. Ум, например, безусловно, потому что он явно пугает их всех. Стоит только коснуться чего-нибудь серьезного, они уж через пять минут совершенно изнемогают и, точно совершив какое-то великое открытие, повторяют то, что я твержу им в течение целого часа. Я красива — это то самое преимущество, за которое госпожа де Сталь отдала бы все, и, однако, я умираю со скуки. А есть ли какое-нибудь основание думать, что я буду скучать хоть немного меньше, когда сменю мое имя на имя маркизы де Круазенуа?»

«Но, боже мой! — прибавила она, чуть не плача.— Ведь он же прекрасный человек. В наш век — да это верх воспитанности! На него поглядеть нельзя без того, чтобы он тут же не сказал вам какую-нибудь любезность, и даже не лишенную остроумия. Он храбр... Но какой странный этот Сорель,— подумала она, и выражение скуки в ее глазах сменилось выражением гнева.— Я же предупредила его, что хочу с ним поговорить, а он даже не изволит показываться!»

IX

БАЛ

> Роскошные туалеты, блеск свечей, тончайшие ароматы! А сколько прелестных обнаженных рук, дивных плеч! А букеты цветов! А упоительные арии Россини, а живопись Сисери! Прямо дух захватывает!
>
> *«Путешествия Узери».*

— Вы чем-то недовольны? — сказала ей маркиза де Ла-Моль.— Должна вам заметить, что показывать это на бале нелюбезно.

— У меня просто голова болит,— пренебрежительно ответила Матильда,— здесь слишком жарко.

В эту минуту, словно в подтверждение слов Матильды, престарелому барону де Толли сделалось дурно, и он упал.

Пришлось вынести его на руках. Кругом стали шептаться, что с ним случился удар; это было пренеприятное происшествие.

Матильда не проявила к нему ни малейшего интереса. Она давно взяла себе за правило никогда не глядеть на стариков и вообще ни на кого из тех, кто склонен был говорить печальные вещи.

Она снова пошла танцевать, чтобы не слышать этих разговоров об ударе, которого вовсе и не было, ибо через день барон снова появился в обществе.

«Но господин Сорель и не думает появляться»,— опять сказала она себе, направляясь к креслу. Она чуть ли не искала его глазами и вдруг увидела его в другом зале. Удивительная вещь! Он как будто утратил свой невозмутимо холодный и, казалось бы, столь естественный для него вид; он сейчас совсем не был похож на англичанина.

«Он говорит с графом Альтамирой, с моим приговоренным к смерти! — воскликнула про себя Матильда.— Глаза его сверкают каким-то мрачным огнем; он похож на переодетого принца. А взгляд какой! Сколько высокомерия!»

Жюльен, продолжая беседовать с графом Альтамирой, приближался к тому месту, где она стояла; она глядела на него не отрываясь, вглядываясь в его черты, стараясь отыскать в них те высокие качества, которыми человек может заслужить честь быть приговоренным к смерти.

Жюльен и граф прошли мимо нее.

— Да,— говорил Жюльен Альтамире,— Дантон — это был человек!

«О боже! Уж не Дантон ли он? — подумала Матильда.— Но у него такое благородное лицо, а Дантон был страшным уродом и, кажется, мясником». Жюльен был еще довольно близко от нее; она, не задумываясь, окликнула его: со свойственной ей самоуверенностью и надменностью она прямо обратилась к нему с вопросом, весьма необычным для молодой девушки.

— Ведь он был сущий мясник, этот Дантон, не правда ли? — сказала она.

— Да, в глазах некоторых людей,— отвечал ей Жюльен, поднимая на нее еще горящий от разговора с Альтамирой взгляд, и на лице его отразилось плохо скрытое презрение.— Но, к несчастью для людей знатных, он был адвокатом в Мерина-Сене! Иначе говоря, мадемуазель,— ехидно добавил он,— он

начал свою карьеру, как и многие пэры из числа тех, что я вижу здесь. Несомненно, в глазах женщин Дантон обладал одним ужасным недостатком: он был очень безобразен.

Эти последние слова он произнес быстро и каким-то необыкновенно странным и положительно неучтивым тоном.

Жюльен подождал минутку, слегка наклонив корпус с видом горделивого смирения. Казалось, он говорил: «Мне платят, чтобы я вам отвечал, и я на это существую». Он не соизволил поднять глаза на Матильду. А она, глядя на него не отрываясь своими широко раскрытыми прекрасными глазами, стояла перед ним, словно его рабыня. Так как молчание продолжалось, он наконец взглянул на нее, как смотрит слуга на господина, ожидая приказаний. И хотя глаза его встретились в упор с глазами Матильды, по-прежнему устремленными на него с каким-то странным выражением, он тотчас же отошел с явной поспешностью.

«Как он красив! — сказала себе Матильда, очнувшись наконец от своего забытья.— И так превозносит уродство! Ведь никогда не вспомнит о себе. Нет, он совсем не такой, как Келюс или Круазенуа. У этого Сореля есть что-то общее с моим отцом, когда он так замечательно разыгрывает на балах Наполеона». Она совсем забыла о Дантоне. «Нет, положительно я сегодня скучаю». Она взяла брата под руку и, к великому его огорчению, заставила его пройтись с ней по зале. Ей хотелось послушать, о чем они говорят,— этот приговоренный к смерти и Жюльен.

В зале толпилась масса народу. Наконец ей удалось их настигнуть в тот самый момент, когда в двух шагах от нее Альтамира подошел к подносу взять вазочку с мороженым. Он стоял полуобернувшись и продолжал разговаривать с Жюльеном. И вдруг увидел руку в расшитом обшлаге, которая протянулась к вазочке рядом с его рукой. Это шитье, видимо, привлекло его внимание: он обернулся посмотреть на человека, которому принадлежала эта рука. В тот же миг его благородные и такие простодушные глаза сверкнули чуть заметным презрением.

— Вы видите этого человека? — тихо сказал он Жюльену.— Это князь Арачели, посол ***. Сегодня утром он требовал моей выдачи: он обращался с этим к вашему министру иностранных дел, господину де Нервалю. Вот он, поглядите, там — играет в вист. Господин де Нерваль весьма склонен выдать меня, потому что в тысяча восемьсот шестнадцатом году мы передали вам двух или трех заговорщиков. Если меня выдадут

моему королю, он меня повесит в двадцать четыре часа. И арестовать меня явится один из этих прелестных господ с усиками.

— Подлецы! — воскликнул Жюльен почти громко.

Матильда не упустила ни одного слова из этого разговора. Вся скука ее исчезла.

— Не такие уж подлецы,— возразил граф Альтамира.— Я заговорил о себе, просто чтобы дать вам наглядное представление. Посмотрите на князя Арачели, он каждые пять минут поглядывает на свой орден Золотого Руна. Он в себя не может прийти от радости, видя у себя на груди эту безделушку. Этот жалкий субъект просто какой-то анахронизм. Лет сто тому назад орден Золотого Руна представлял собой высочайшую почесть, но Арачели в то время не позволили бы о нем и мечтать. А сегодня, здесь, среди всех этих знатных особ, надо быть Арачели, чтобы так им восхищаться. Он способен целый город перевешать ради этого ордена.

— Не такой ли ценой он и добыл его? — с горечью спросил Жюльен.

— Да нет, не совсем так,— холодно отвечал Альтамира.— Ну, может быть, он приказал у себя на родине бросить в реку десятка три богатых помещиков, слывших либералами.

— Вот изверг! — снова воскликнул Жюльен.

Мадемуазель де Ла-Моль, склонив голову и слушая с величайшим интересом, стояла так близко от него, что ее чудные волосы чуть не касались его плеча.

— Вы еще очень молоды! — отвечал Альтамира.— Я говорил вам, что у меня в Провансе есть замужняя сестра. Она и сейчас недурна собой: добрая, милая, прекрасная мать семейства, преданная своему долгу, набожная и совсем не ханжа.

«К чему это он клонит?» — подумала м-ль де Ла-Моль.

— Она живет счастливо,— продолжал граф Альтамира,— и жила так же недурно и в тысяча восемьсот пятнадцатом году. Я тогда скрывался у нее, в ее имении около Антиб. Так вот, когда она узнала, что маршал Ней казнен, она заплясала от радости.

— Да что вы! — вырвалось у потрясенного Жюльена.

— Таков дух приверженности к своей партии,— возразил Альтамира.— Никаких подлинных страстей нет в девятнадцатом веке. Потому-то так и скучают во Франции. Совершают ужаснейшие жестокости, и при этом без всякой жестокости.

— Тем хуже! — сказал Жюльен.— Уж если совершать преступления, то надо их совершать с радостью: а без этого что

в них хорошего; если их хоть чем-нибудь можно оправдать, так только этим.

Мадемуазель де Ла-Моль, совершенно забыв о том, подобает ли это ее достоинству, протиснулась вперед и стала почти между Жюльеном и Альтамирой. Ее брат, которого она держала под руку, привыкнув повиноваться ей, смотрел куда-то в сторону и, дабы соблюсти приличия, делал вид, что их задержала толпа.

— Вы правы,— сказал Альтамира.— Все делается без всякого удовольствия, и никто не вспоминает ни о чем, даже о преступлениях. Вот здесь, на этом балу, я могу показать вам уж наверно человек десять, которые на том свете будут осуждены на муки вечные, как убийцы. Они об этом забыли, и свет тоже забыл [1].

Многие из них готовы проливать слезы, если их собачка сломает себе лапу. На кладбище Пер-Лашез, когда их могилу, как вы прелестно выражаетесь в Париже, засыпают цветами, нам говорят, что в их груди соединились все доблести благородных рыцарей, и рассказывают о великих деяниях их предков, живших при Генрихе IV. Но если, невзирая на усердные старания князя Арачели, меня все-таки не повесят и если я когда-нибудь получу возможность распоряжаться своим состоянием в Париже, я приглашу вас пообедать в обществе восьми или десяти убийц, людей весьма почтенных и не знающих никаких угрызений совести.

Вы да я — только мы двое и будем не запятнаны кровью на этом обеде, и, однако же, меня будут презирать и чуть ли не ненавидеть как лютого изверга, кровожадного якобинца, а вас будут презирать как простолюдина, втершегося в порядочное общество.

— Совершенно верно! — сказала м-ль де Ла-Моль.

Альтамира взглянул на нее с удивлением. Жюльен не удостоил ее взглядом.

— Заметьте, что революция, во главе которой я очутился,— продолжал граф Альтамира,— не удалась только по той единственной причине, что я не захотел снести три головы и раздать нашим сторонникам семь или восемь казенных миллионов, лежавших в сундуке, ключ от которого был у меня. Мой король, которому сейчас не терпится меня повесить и с которым до этого восстания мы были на «ты», пожаловал бы меня своим

---

[1] Это говорит недовольный. (Ремарка Мольера в «Тартюфе».— *Прим. автора.*)

королевским орденом первой степени, если бы я снес эти три головы и роздал бы казенные деньги, потому что тогда я добился бы, по меньшей мере, хоть половинного успеха и страна моя имела бы хоть какую-нибудь конституцию... Так уж оно на свете заведено: это шахматная игра.

— Но тогда,— с загоревшимся взором возразил Жюльен,— вы еще были неопытны в игре, а теперь...

— Я бы срубил эти головы — это вы хотите сказать? И не стал бы разыгрывать жирондиста, как вы мне заметили на днях?.. Я с вами поговорю об этом,— грустно ответил Альтамира,— когда вы убьете человека на дуэли; а ведь это куда менее гнусно, чем отдать его в руки палача.

— Ну, знаете! — сказал Жюльен.— Если идешь к цели, нечего гнушаться средствами. Если бы, вместо того, чтобы быть ничтожной пылинкой, я имел какую-то власть в руках, я бы отправил на виселицу троих, чтобы спасти жизнь четверым.

Глаза его вспыхнули убежденной решимостью и презрением к жалким человеческим суждениям. И в эту самую минуту он встретился взглядом с м-ль де Ла-Моль, которая стояла совсем рядом с ним; но это презрение, вместо того, чтобы уступить место любезной учтивости, казалось, еще возросло.

Матильда почувствовала себя глубоко уязвленной, но она уже была не в силах забыть Жюльена; она с раздражением отошла, увлекая за собой брата.

«Мне надо выпить пунша и танцевать до упаду,— сказала она себе.— Выберу сейчас самого блестящего кавалера и во что бы то ни стало постараюсь стать центром внимания. Да вот, кстати, прославленный наглец, граф де Фервак». Она приняла его приглашение, и они пошли танцевать. «Посмотрим, кто из нас сумеет быть более дерзким; но для того, чтобы вволю поиздеваться над ним, надо заставить его говорить». Вскоре все, принимавшие участие в кадрили, танцевали только для соблюдения приличий. Никому не хотелось упустить ни одного из острых словечек, которыми Матильда парировала замечания графа. Г-н де Фервак был в замешательстве, у него было наготове сколько угодно галантных фраз, но никаких мыслей; он корчил недовольные мины. Матильда была раздражена, она была беспощадна к нему и нажила себе врага. Она танцевала до утра и наконец уехала смертельно усталая. Но и в карете она из последних сил не переставала тосковать и огорчаться. Жюльен выказал ей презрение, а она не могла его презирать.

Жюльен был в полном восторге. Сам того не замечая, он был опьянен музыкой, цветами, красивыми женщинами, всей окружавшей его роскошью, а больше всего — своим собственным воображением: мечтами о славе для себя и свободе для всех.

— Какой чудесный бал! — сказал он графу.— Просто не налюбуешься. Чего тут только нет!

— Мысли,— отвечал Альтамира.

И на лице его промелькнуло презрение, которое было тем явственнее, что его по долгу вежливости старались скрыть.

— Но ведь здесь вы, граф! Это ли не мысль, да еще мысль, взлелеявшая заговор!

— Я здесь только благодаря моему имени. Но в ваших гостиных ненавидят мысль, ей надлежит держаться на уровне каламбура из водевильного куплета,— вот тогда она получает награды. Но если человек думает, если в его шутках есть какая-то сила и новизна, вы его называете циником. Ведь так, кажется, один из ваших судей назвал Курье? Вы его упрятали в тюрьму, так же, как и Беранже. Да у вас всякого, кто хоть чего-нибудь стоит в смысле ума, конгрегация отдает в руки исправительной полиции, и так называемые порядочные люди приветствуют это. Ибо для вашего одряхлевшего общества самое главное — соблюдать приличия... Вам никогда не подняться выше военной храбрости: у вас будут Мюраты, но никогда не будет Вашингтонов. Я не вижу во Франции ничего, кроме пустого тщеславия. Человек, который проявляет какую-то изобретательность в разговоре, легко может обронить какое-нибудь неосторожное словцо. И вот уж хозяин дома считает себя обесчещенным.

Тут коляска графа, отвозившая Жюльена, остановилась перед особняком де Ла-Моль. Жюльен совсем влюбился в своего заговорщика. Альтамира преподнес ему замечательный комплимент, и, по-видимому, от всей души:

— В вас нет этого французского легкомыслия, и вы понимаете принцип *полезного*.

Как раз за два дня перед этим Жюльен видел «Марино Фальеро», трагедию Казимира Делавиня.

«Ну разве не ясно, что у этого простого столяра Израэля Бертуччо куда больше характера, чем у всех знатных венецианцев? — говорил себе наш возмутившийся плебей.— А ведь все это были люди родовитые, и их родословную можно проследить до семисотого года, за целый век до Карла Великого,

тогда как вся эта аристократия, что красовалась сегодня на балу у господина де Реца, пустила корни разве что в тринадцатом столетии. И вот из всех этих благородных венецианцев столь славного происхождения, но, в сущности, совершенно бесцветных и ничем не примечательных, сохранилось только имя Израэля Бертуччо. Заговор уничтожает все титулы, созданные прихотями того или иного общественного строя. Тут человек сразу занимает то место, на которое его возводит умение смотреть смерти в лицо. Даже ум и тот теряет свое могущество...

Чем был бы сегодня Дантон, в этот век Вально и Реналей? Каким-нибудь помощником прокурора, да и то вряд ли.

Ах, что я говорю! Он бы продался иезуитам и сделался бы министром, потому что в конце концов ведь и великий Дантон воровал. Мирабо тоже продался. Наполеон награбил миллионы в Италии, а без этого он бы не мог шагу ступить из-за нищеты, как Пишегрю. Только один Лафайет никогда не воровал. Так что же, значит, надо воровать? Надо продаваться?» На этом вопросе Жюльен запнулся. Весь остаток ночи он, не отрываясь, читал историю революции.

На другой день, занимаясь деловой перепиской в библиотеке, он то и дело возвращался мыслью к своему разговору с графом Альтамирой.

«Действительно, выходит так,— сказал он себе после долгого раздумья.— Если бы эти испанские либералы вовлекли народ в преступления, их бы тогда не выкинули с такой легкостью. А это были дети; они важничали, разглагольствовали, как я»,— вдруг вскричал Жюльен, точно внезапно проснувшись.

«Что я сделал такого трудного, что давало бы мне право судить этих несчастных, которые, в конце концов, раз в жизни решились и посмели действовать? Я похож на человека, который, вставая из-за стола, кричит: «Завтра я не буду обедать, но это не помешает мне и завтра быть таким же сильным и бодрым, как сегодня!» Кто знает, что испытывают люди на полдороге к великому деянию?.. Ведь в конце концов это же не то, что выстрелить из пистолета!..» Эти высокие размышления были прерваны появлением м-ль де Ла-Моль, которая неожиданно вошла в библиотеку. Он был до такой степени увлечен своими мыслями, воодушевившись великими достоинствами всех этих Дантонов, Мирабо, Карно, которые сумели не дать себя победить, что, подняв глаза, остановил свой взгляд на м-ль де Ла-Моль, не думая о ней, не поклонившись ей и почти не

видя ее. Когда наконец эти большие, широко раскрытые глаза обнаружили ее присутствие, взгляд его потух. М-ль де Ла-Моль с горечью подметила это.

Напрасно придумала она попросить его достать ей том «Истории Франции» Вели, стоявший на самой верхней полке, что заставило Жюльена пойти за большой библиотечной лестницей. Жюльен притащил лестницу, нашел книгу, подал ее Матильде, но все еще был не способен думать о ней. Унося лестницу, Жюльен стремительно повернулся и ударил локтем в стекло библиотечного шкафа; осколки со звоном посыпались на паркет, и тут только он наконец очнулся. Он поспешил извиниться перед м-ль де Ла-Моль: он хотел быть вежливым и действительно был вежливым, но и только. Матильда ясно видела, что она ему помешала и что ему доставляет гораздо больше удовольствия предаваться тем размышлениям, которые его занимали до ее прихода, чем разговаривать с ней. Она долго смотрела на него и наконец медленно удалилась. Жюльен проводил ее взглядом. Его восхитил этот контраст: простота ее сегодняшнего туалета по сравнению с изысканной роскошью вчерашнего наряда. И лицо ее почти столь же разительно отличалось от того лица, какое у нее было вчера. Эта молодая девушка, такая надменная на балу у герцога де Реца, сейчас смотрела каким-то почти умоляющим взглядом. «Пожалуй, это черное платье,— подумал Жюльен,— еще больше подчеркивает красоту ее фигуры. У нее поистине царственная осанка; только почему она в трауре? Если спросить у кого-нибудь, что означает этот траур, не вышло бы опять какой-нибудь неловкости».

Жюльен теперь уже совершенно очнулся от своего вдохновенного забытья. «Надо мне перечесть все письма, которые я сочинил сегодня утром. Бог знает, что я там написал или пропустил по рассеянности». В то время как он, стараясь сосредоточиться, перечитывал первое письмо, он вдруг услышал рядом с собой шелест шелкового платья; он быстро обернулся: м-ль де Ла-Моль стояла в двух шагах от стола; она смеялась. Жюльена охватило чувство досады: его прерывали второй раз.

Что же касается Матильды, она ясно чувствовала, что ровно ничего не значит для этого молодого человека; смех ее был притворным, она старалась скрыть свое замешательство, и это ей удалось.

— Вы, по-видимому, думали о чем-то очень интересном, господин Сорель? Может быть, вам вспомнилась какая-нибудь

любопытная подробность того заговора, который... послал к нам в Париж графа Альтамиру? Расскажите мне, что это такое, я прямо сгораю от любопытства. Я никому не скажу, клянусь вам!

Слушая самое себя, она удивлялась, как это она могла произнести эти слова. Как так? Она умоляет своего подчиненного? Замешательство ее еще более усилилось, и она добавила шутливо-небрежным тоном:

— Что бы это такое могло быть, что заставило вас, обычно такого холодного, превратиться вдруг во вдохновенное существо, вроде микеланджеловского пророка?

Этот внезапный и бесцеремонный допрос возмутил Жюльена, и на него словно нашло какое-то безумие.

— Дантон правильно делал, что воровал? — внезапно заговорил он с каким-то ожесточением, которое, казалось, с секунды на секунду все возрастало.— Пьемонтские, испанские революционеры должны были запятнать свой народ преступлениями? Раздавать направо и налево людям без всяких заслуг командные места в армии и всякие ордена? Ведь люди, которые получили бы эти отличия, должны были бы опасаться возвращения короля! Следовало ли отдать туринскую казну на разграбление? Короче говоря, мадемуазель,— сказал он, наступая на нее с грозным видом,— должен ли человек, который хочет истребить невежество и преступление на земле, разрушать, как ураган, и причинять зло не щадя, без разбора?

Матильде стало страшно; она не могла вынести его взгляда и невольно попятилась. Она молча поглядела на него, потом, устыдившись своего страха, легкими шагами вышла из библиотеки.

X

КОРОЛЕВА МАРГАРИТА

> Любовь! В каких только безумствах не заставляешь ты нас обретать радость!
>
> *«Письма португальской монахини».*

Жюльен перечел свои письма. Зазвонили к обеду. «Каким я, должно быть, кажусь смешным этой парижской кукле! — подумал он.— Что за безумие на меня нашло — рассказывать ей, о чем я думаю на самом деле! А может быть, и не та-

кое уж безумие. Сказать правду в данном случае было достойно меня.

И зачем ей понадобилось приходить сюда и допрашивать меня о вещах, для меня дорогих? Это просто нескромность с ее стороны! Неприличный поступок! Мои мысли о Дантоне отнюдь не входят в те обязанности, за которые мне платит ее отец».

Войдя в столовую, Жюльен сразу забыл о своем недовольстве, увидев м-ль де Ла-Моль в глубоком трауре; это показалось ему тем более удивительным, что из семьи никто, кроме нее, не был в черном.

После обеда он окончательно пришел в себя от того неистового возбуждения, в котором пребывал весь день. На его счастье, за обедом был тот самый академик, который знал латынь. «Вот этот человек, пожалуй, не так уж будет насмехаться надо мной,— подумал Жюльен,— если предположить, что мой вопрос о трауре мадемуазель де Ла-Моль действительно окажется неловкостью».

Матильда смотрела на него с каким-то особенным выражением. «Вот оно, кокетство здешних женщин; точь-в-точь такое, как мне его описывала госпожа де Реналь,— думал Жюльен.— Сегодня утром я был не особенно любезен с ней, не уступил ее прихоти, когда ей вздумалось со мной поболтать. И от этого я только поднялся в ее глазах. Ну, разумеется, черт в убытке не будет. Она мне это еще припомнит, даст мне почувствовать свое презрительное высокомерие; я, пожалуй, только ее раззадорил. Какая разница по сравнению с тем, что я потерял! Какое очарование естественное! Какое чистосердечие! Я знал ее мысли раньше, чем она сама, я видел, как они рождались, и единственный мой соперник в ее сердце был страх потерять детей. Но это такое разумное и естественное чувство, что оно было приятно мне, хоть я и страдал из-за него. Глупец я был... Мечты о Париже, которыми я тогда упивался, лишили меня способности ценить по-настоящему эту божественную женщину.

Какая разница, боже мой! А здесь что я вижу? Одно тщеславие, сухое высокомерие, бесчисленные оттенки самолюбия — и больше ровно ничего».

Все уже поднимались из-за стола. «Надо не упустить моего академика»,— решил Жюльен. Он подошел к нему, когда все выходили в сад, и с кротким, смиренным видом сочувственно присоединился к его негодованию по поводу успеха «Эрнани».

— Да, если бы мы жили во времена секретных королевских приказов...— сказал он.

— Тогда бы он не осмелился! — вскричал академик, потрясая рукой наподобие Тальма́.

По поводу какого-то цветочка Жюльен процитировал несколько слов из «Георгик» Вергилия и тут же заметил, что ничто не может сравниться с прелестными стихами аббата Делиля. Одним словом, он подольстился к академику, как только мог, и только после этого произнес с самым равнодушным видом:

— Надо полагать, мадемуазель де Ла-Моль получила наследство от какого-нибудь дядюшки, по котором она сегодня надела траур?

— Как! — сразу остановившись, сказал академик.— Вы живете в этом доме и не знаете ее мании? Признаться, это странно, что ее мать позволяет ей подобные вещи, но, между нами говоря, в этой семье не очень-то отличаются силой характера. А у мадемуазель де Ла-Моль характера хватит на всех, вот она ими и вертит. Ведь сегодня тридцатое апреля.— Академик умолк и хитро поглядел на Жюльена. Жюльен улыбнулся так многозначительно, как только мог.

«Какая связь может быть между такими вещами, как вертеть всеми в доме, носить траур, и тем, что сегодня тридцатое апреля? — думал он.— Выходит, что я попал впросак больше, чем предполагал».

— Признаться, я...— сказал он академику и устремил на него вопрошающий взгляд.

— Пройдемтесь по саду,— сказал академик, с наслаждением предвкушая возможность пуститься в длинное красочное повествование.— Послушайте: может ли это быть, чтобы вы не знали, что произошло тридцатого апреля тысяча пятьсот семьдесят четвертого года?

— Где? — с удивлением спросил Жюльен.

— На Гревской площади.

Жюльен был так изумлен, что даже и это название ничего не разъяснило ему. Любопытство и ожидание чего-то трагически-интересного, того, что как раз было в его духе, зажгло в его глазах тот особенный блеск, который рассказчик так любит видеть в глазах своего слушателя. Академик, в полном восторге от того, что ему посчастливилось найти столь девственные уши, принялся весьма пространно рассказывать Жюльену о том, как 30 апреля 1574 года самый красивый юноша того времени, Бонифас де Ла-Моль, и его друг, пьемонт-

ский дворянин Аннибале де Коконассо, были обезглавлены на Гревской площади.

— Де Ла-Моль был возлюбленным Маргариты, королевы Наваррской, ее обожаемым возлюбленным, и заметьте,— добавил академик,— что мадемуазель де Ла-Моль носит имя Матильда-Маргарита. В то же время де Ла-Моль был любимцем герцога Алансонского и близким другом короля Наваррского, впоследствии Генриха IV, и мужа его возлюбленной. Как раз на самую масленицу, во вторник, вот в этом тысяча пятьсот семьдесят четвертом году, двор находился в Сен-Жермене вместе с несчастным королем Карлом IX, который уже был при смерти. Де Ла-Моль задумал похитить своих друзей, принцев, которых королева Екатерина Медичи держала при дворе в качестве пленников. Он явился к стенам Сен-Жермена с двумястами всадников. Герцог Алансонский струсил, и де Ла-Моль был отдан в руки палача.

Но что тут более всего трогает мадемуазель де Ла-Моль,— и она мне в этом сама созналась тому назад лет семь, ей тогда было двенадцать лет, но это ведь такая голова, такая голова! — И академик возвел глаза к небу.— Так вот, в этой политической трагедии ее больше всего поразило то, что королева Маргарита Наваррская, тайно от всех укрывшись в каком-то доме на Гревской площади, отважилась послать гонца к палачу и потребовать у него мертвую голову своего любовника. А когда настала полночь, она взяла эту голову, села в свою карету и отправилась в часовню, которая находится у подножия Монмартрского холма, и там собственноручно похоронила ее.

— Неужели это правда? — воскликнул растроганный Жюльен.

— Мадемуазель де Ла-Моль презирает своего брата, ибо он, вы сами видите, и думать не хочет обо всей этой истории и не надевает траура тридцатого апреля. А со времени этой знаменитой казни, чтобы никогда не забывали о тесной дружбе де Ла-Моля с Коконассо,— а Коконассо был итальянец и звали его Аннибалом,— все мужчины этого рода носят имя Аннибал. Но этот Коконассо,— добавил академик, понижая голос,— по словам самого Карла IX, был одним из самых жестоких убийц двадцать четвертого августа тысяча пятьсот семьдесят второго года. Но как же это все-таки могло случиться, мой милый Сорель, что вы, сотрапезник дома сего, не знаете этой истории?

— Так вот почему сегодня за обедом раза два мадемуазель де Ла-Моль назвала своего брата Аннибалом. А я подумал, что ослышался.

— Это был упрек. Странно, что маркиз терпит такие выходки... Мужу этой прелестной девицы скучать не придется.

За этим последовало пять-шесть язвительных фраз. Злорадство и фамильярность, поблескивавшие в глазах академика, возмущали Жюльена. «Вот мы с ним, словно два лакея, сплетничаем о господах,— подумал он.— Но от этого господина академика всего можно ожидать».

Жюльен застал его однажды на коленях перед маркизой де Ла-Моль: он выпрашивал у нее должность податного инспектора по табачным изделиям для своего племянника в провинции. Вечером молоденькая камеристка м-ль де Ла-Моль, которая кокетничала с Жюльеном, как некогда Элиза, дала ему понять, что госпожа ее надевает этот траур вовсе не для того, чтобы на нее глазели. По-видимому, эта причуда проистекала из сокровенных свойств ее натуры. Она действительно любила этого де Ла-Моля, обожаемого любовника самой просвещенной королевы того века, погибшего за то, что он пытался вернуть свободу своим друзьям. И каким друзьям! Первому принцу крови и Генриху IV.

Привыкнув к той совершенной естественности, которая обнаруживалась во всех поступках г-жи де Реналь, Жюльен не находил в парижских женщинах ничего, кроме жеманства, и когда ему хоть немножко было не по себе, он просто не знал, о чем говорить с ними. М-ль де Ла-Моль оказалась исключением.

Теперь уж он больше не считал сухостью сердца этот своеобразный род красоты, который сочетается с благородной осанкой. Он подолгу разговаривал с м-ль де Ла-Моль, прогуливаясь с нею в ясные весенние дни по саду под распахнутыми окнами гостиной. Как-то она сказала ему, что читает историю д'Обинье и Брантома. «Престранное чтение! — подумал Жюльен.— А маркиза не разрешает ей читать романы Вальтера Скотта!..»

Однажды она ему рассказала — и глаза ее так блестели при этом, что можно было не сомневаться в ее искренности,— о поступке одной молодой женщины в царствование Генриха III,— она только что прочла это в мемуарах Летуаля: женщина эта, узнав, что муж ей изменяет, пронзила его кинжалом.

Самолюбие Жюльена было польщено. Эта особа, окруженная таким почетом и, по словам академика, вертевшая всеми в доме, снисходила до разговоров с ним чуть ли не в дружеском тоне.

«Нет, я, должно быть, ошибся,— подумал через некоторое время Жюльен.— Это вовсе не дружеский тон: просто я нечто вроде наперсника из трагедии, а ей не терпится поговорить. Ведь я у них слыву ученым. Надо мне почитать Брантома, д'Обинье, Летуаля. Тогда я смогу хоть поспорить об этих историях, которые рассказывает мне мадемуазель де Ла-Моль. Надо мне выйти из роли немого наперсника».

Мало-помалу его беседы с молодой девушкой, державшей себя с таким достоинством и вместе с тем так непринужденно, становились все более и более интересными. Он забывал свою печальную роль возмутившегося плебея. Он обнаружил, что она довольно начитанна и даже рассуждает неплохо. Мысли, которые она высказывала во время прогулок в саду, сильно отличались от тех, которые она выражала в гостиной. Иногда в разговоре с ним она так воодушевлялась и говорила с таким жаром, что это было полнейшей противоположностью ее обычной манере держаться — такой высокомерной и холодной.

— Войны Лиги — вот героические времена Франции,— сказала она ему однажды, и глаза ее сверкали восторгом и воодушевлением.— Тогда каждый бился во имя чего-то, что должно было принести победу его единомышленникам, а не ради того только, чтобы получить орден при вашем императоре. Согласитесь, что тогда было меньше эгоизма и всякой мелочности. Люблю я этот век.

— И Бонифас де Ла-Моль был его героем,— сказал ей Жюльен.

— По крайней мере, он был любим так, как, должно быть, приятно быть любимым. Найдется ли сейчас на свете женщина, которая решилась бы прикоснуться к отрубленной голове своего любовника?

Госпожа де Ла-Моль позвала свою дочь. Лицемерие, если оно хочет быть полезным, должно скрываться, а Жюльен, как мы видим, наполовину признался м-ль де Ла-Моль в своей страсти к Наполеону.

«Вот в этом-то и есть их огромное преимущество над нами,— подумал Жюльен, оставшись в саду один.— История их предков возвышает их над заурядными чувствами, и им нет необходимости постоянно думать о средствах к существованию.

Какое убожество! — прибавил он с горечью.— Я просто недостоин рассуждать об этих высоких предметах. Жизнь моя — это сплошное лицемерие, и все это только потому, что у меня нет тысячи франков ренты на хлеб насущный».

— О чем это вы мечтаете, сударь? — спросила его Матильда, которая вернулась к нему бегом.

Жюльен устал презирать самого себя. Из гордости он откровенно сказал ей, о чем думал. Он сильно покраснел, ибо говорил о своей бедности такой богатой особе. Он старался хорошенько дать ей понять своим независимым, гордым тоном, что ничего не просит. Никогда еще он не казался Матильде таким красивым: она уловила в выражении его лица чувствительность и искренность, которых ему так часто недоставало.

Прошло около месяца. Как-то раз Жюльен, задумавшись, прогуливался в саду особняка де Ла-Моль, но теперь на лице его уже не было этого выражения суровости и философической непримиримости, проистекавшего от постоянного сознания своей приниженности. Он только что проводил до дверей гостиной м-ль де Ла-Моль, которая сказала ему, что она ушибла ногу, бегая с братом.

«Она как-то странно опиралась на мою руку! — размышлял Жюльен.— Или я фат, или я действительно ей немного нравлюсь. Она слушает меня с таким кротким лицом, даже когда я признаюсь ей, какие мучения гордости мне приходится испытывать. Воображаю, как бы они все удивились в гостиной, если бы увидали ее такою. Я совершенно уверен, что ни для кого у нее нет такого кроткого и доброго выражения лица».

Жюльен старался не преувеличивать этой необыкновенной дружбы. Сам он считал ее чем-то вроде вооруженного перемирия. Каждый день, встречаясь друг с другом, прежде чем перейти на этот чуть ли не теплый, дружеский тон, который был у них накануне, они словно спрашивали себя: «Ну, как сегодня, друзья мы или враги?» В первых фразах, которыми они обменивались, суть разговора не имела никакого значения. Форма обращения — вот к чему настороженно устремлялось внимание обоих. Жюльен прекрасно понимал, что, если он только раз позволит этой высокомерной девушке безнаказанно оскорбить себя, все будет потеряно. «Если уж ссориться, так лучше сразу, с первой же минуты, защищая законное право своей гордости, чем потом отражать эти уколы презрения, которые неизбежно посыплются на меня, стоит мне

только хоть в чем-либо поступиться моим личным достоинством, допустить хоть малейшую уступку».

Уже не раз Матильда, когда на нее находило дурное настроение, пыталась принять с ним тон светской дамы,— и какое необыкновенное искусство вкладывала она в эти попытки! — но каждый раз Жюльен тотчас же пресекал их.

Однажды он оборвал ее очень резко:

— Если мадемуазель де Ла-Моль угодно что-либо приказать секретарю своего отца, он, безусловно, должен выслушать ее приказание и повиноваться ей с совершенным почтением, но сверх этого он не обязан говорить ни слова. Ему не платят за то, чтобы он сообщал ей свои мысли.

Эти придуманные им правила и кое-какие странные подозрения, возникавшие у Жюльена, прогнали скуку, которая одолевала его в первые месяцы в этой гостиной, блиставшей таким великолепием, но где так всего опасались и где считалось неприличным шутить над чем бы то ни было.

«Вот было бы забавно, если бы она влюбилась в меня! Но любит она меня или нет, у меня установились тесные дружеские отношения с умной девушкой, перед которой, как я вижу, трепещет весь дом и больше всех других этот маркиз де Круазенуа. Такой вежливый, милый, отважный юноша, ведь у него все преимущества: и происхождение и состояние! Будь у меня хоть одно из них, какое бы это было для меня счастье! Он без ума от нее, он должен стать ее мужем. Сколько писем заставил меня написать маркиз де Ла-Моль обоим нотариусам, которые подготавливают этот контракт! И вот я, простой подчиненный, который утром с пером в руке сидит и пишет, что ему велят, спустя каких-нибудь два часа здесь, в саду, я торжествую над этим приятнейшим молодым человеком, потому что в конце концов предпочтение, которое мне оказывают, разительно, несомненно. Возможно, правда, что она ненавидит в нем именно будущего супруга,— у нее на это хватит высокомерия. А тогда, значит, милости, которые оказываются мне,— это доверие, оказываемое наперснику-слуге.

Да нет, либо я с ума сошел, либо она ко мне неравнодушна. Чем холоднее и почтительнее я с ней держусь, тем сильнее она добивается моей дружбы. Можно было бы допустить, что это делается с каким-то умыслом, что это сплошное притворство, но я вижу, как у нее сразу загораются глаза, стоит мне только появиться. Неужели парижанки способны притворяться до такой степени? А впрочем, не все ли равно? Видимость в

мою пользу! Будем же наслаждаться этой видимостью. Бог мой, до чего же она хороша! Как нравятся мне эти огромные голубые глаза, когда видишь их совсем близко, когда они смотрят прямо на тебя, как это теперь часто бывает. Какая разница — эта весна и весна в прошлом году, когда я чувствовал себя таким несчастным и когда только сила воли поддерживала меня среди этих трех сотен лицемеров, злобных, отвратительных. И сам я был почти такой же злобный, как они».

Но в минуты сомнения Жюльен говорил себе: «Эта девица потешается надо мной. Она сговорилась со своим братом, и они дурачат меня. Но ведь она, кажется, так презирает его за слабохарактерность. Он храбр, и только, говорила она мне. Да и вся храбрость его только в том, что он не боялся испанских шпаг; а в Париже он боится всего: шагу не ступит, вечно дрожит, как бы не попасть в смешное положение. У него нет ни одной мысли, которая бы хоть чуточку отступала от общепринятых взглядов. Мне даже приходится всегда заступаться за него. Ведь это девятнадцатилетняя девушка! Возможно ли в этом возрасте притворяться с таким постоянством, ни на секунду не изменяя себе?

Но, с другой стороны, стоит только мадемуазель де Ла-Моль устремить на меня свои огромные голубые глаза и с таким особенным выражением, как граф Норбер сейчас же уходит. В этом есть что-то подозрительное; должно быть, он возмущен, что сестра отличает какого-то *слугу* из домашней челяди: ведь я сам слышал, как герцог де Шон так именно и отзывался обо мне». При этом воспоминании злоба вытеснила в Жюльене все другие чувства. Может быть, этот маньяк-герцог питает пристрастие к старинной манере выражаться?

«Да, она красива,— продолжал Жюльен, сверкая глазами, как тигр,— я овладею ею, а потом уйду. И горе тому, кто попробует меня задержать!»

Предаваться этим мечтам стало теперь единственным занятием Жюльена: он ни о чем другом не мог думать. Дни для него летели, как часы.

Едва у него выдавалась минута, когда он хотел заняться чем-нибудь серьезным, как мысли его уносились прочь; проходило четверть часа, и он, очнувшись, чувствовал, как сердце его замирает, охваченное жадным стремлением, в голове стоит туман, и весь он поглощен только одним: «Любит ли она меня?»

XI

ВЛАСТЬ ЮНОЙ ДЕВУШКИ

Я восхищаюсь ее красотой, но боюсь ее ума.

Мериме.

Если бы Жюльен, вместо того чтобы превозносить про себя красоту Матильды или возмущаться унаследованным ею от предков высокомерием, которое она для него покидала, употребил это время на то, чтобы понаблюдать за тем, что происходит в гостиной, он бы понял, в чем заключалась ее власть над всеми окружающими. Стоило только кому-нибудь не угодить м-ль де Ла-Моль, она всегда умела наказать виновного столь тонко рассчитанной, столь меткой шуткой, которая, не выходя за пределы приличий, ранила так остро, что укол, нанесенный ею, давал себя чувствовать все сильнее и сильнее, чем больше вы над этим задумывались. Постепенно он становился невыносимым для оскорбленного самолюбия. В силу того, что многие вещи, представлявшие собой предмет заветных стремлений других членов семьи, не имели для нее никакой цены, она всегда казалась всем необычайно хладнокровной. Аристократический салон приятен тем, что, выйдя из него, человек может упомянуть о нем при случае,— и это все. Полное отсутствие мысли, пустые фразы, настолько *банальные,* что превосходят всякое ханжество,— все это может довести до исступления своей тошнотворной приторностью. Вежливость и только вежливость — сама по себе вещь достойная, но лишь на первых порах. Жюльен испытал это после того, как первое время был ею изумлен, очарован. Вежливость, говорил он себе,— это только отсутствие раздражения, которое прорывается при дурных манерах. Матильда часто скучала; возможно, она скучала бы совершенно так же в любом ином месте. И вот тут-то отпустить какое-нибудь колкое словцо доставляло ей истинное развлечение и удовольствие.

И, может быть, только для того, чтобы изощряться в этом над более занятными жертвами, чем ее почтенные родители, академик да еще пять-шесть приживалов, которые заискивали перед ней, она и подавала надежды маркизу де Круазенуа, графу де Келюсу и еще двум-трем в высшей степени достойным молодым людям. Это были для нее просто новые мишени для насмешек.

Мы вынуждены с огорчением признаться,— ибо мы любим Матильду,— что от кой-кого из этих молодых людей она получала письма, а иной раз и отвечала им. Спешим добавить, что в современном обществе с его нравами эта девушка составляла исключение. Уж никак не в недостатке благонравия можно было упрекнуть воспитанниц аристократического монастыря Сердца Иисусова.

Однажды маркиз де Круазенуа вернул Матильде довольно неосмотрительное письмо, которое она написала ему накануне; проявляя столь мудрую осторожность, он надеялся подвинуть вперед свои дела. Но Матильду в этой переписке пленяло именно безрассудство. Ей нравилось рисковать. После этого она не разговаривала с ним полтора месяца.

Ее забавляли письма этих молодых людей, но, по ее словам, все они были похожи одно на другое. Вечно одни и те же изъявления самой глубокой, самой безутешной любви.

— Все они на один лад, рыцари без страха и упрека, готовые хоть сейчас отправиться в Палестину,— говорила она своей кузине.— Можно ли представить себе что-нибудь более невыносимое? И такие письма мне предстоит получать всю жизнь! Ведь стиль этих посланий может изменяться ну разве что раз в двадцать лет, в соответствии с родом занятий, на которые меняется мода. Уж, верно, во времена Империи они все-таки были не так бесцветны. Тогда молодые люди из светского общества либо наблюдали, либо совершали сами какие-то дела, в которых *действительно* было что-то великое. Мой дядя герцог Н. был в бою под Ваграмом.

— Да разве требуется какой-нибудь ум, чтобы рубить саблей? — возразила мадемуазель Сент-Эредите, кузина Матильды.— Но уж если кому это довелось, так они вечно только об этом и рассказывают.

— Так что же! Эти рассказы доставляют мне удовольствие. Участвовать в *настоящем* сражении, в наполеоновской битве, когда на смерть шли десять тысяч солдат,— это доказывает истинную храбрость. Смотреть в лицо опасности — возвышает душу и избавляет от скуки, в которой погрязли все мои несчастные поклонники,— а она так заразительна, эта скука! Кому из них может прийти мысль совершить что-нибудь необыкновенное? Они добиваются моей руки,— подумаешь, какой подвиг! Я богата, отец мой создаст положение зятю! Ах, если бы он нашел мне кого-нибудь хоть чуточку позанятнее!

Образ мыслей Матильды, живой, ясный, красочный, влиял несколько развращающе на ее язык, как вы это можете заметить. Частенько какое-нибудь ее словечко коробило ее благовоспитанных друзей. И если бы только Матильда не пользовалась таким успехом, они чуть ли не открыто признались бы в том, что у нее иногда проскальзывают кое-какие сочные выражения, отнюдь не совместимые с женской деликатностью.

А она, в свою очередь, была жестоко несправедлива к этим изящным кавалерам, которыми кишит Булонский лес. Она смотрела на будущее не то чтобы с ужасом,— это было бы слишком сильное чувство,— но с отвращением — явление весьма редкое в таком возрасте.

Чего ей было желать? Все у нее было: богатство, знатность, происхождение, ум, красота,— всем этим, как уверяли ее окружавшие и как она знала сама, ее щедро наделила воля случая.

Вот каким размышлениям предавалась эта самая завидная наследница во всем Сен-Жерменском предместье, когда она вдруг почувствовала, что ей доставляют удовольствие прогулки с Жюльеном. Ее изумляла его гордость; она восхищалась тонкостью ума этого простолюдина. «Он сумеет попасть в епископы, как аббат Мори»,— думала она.

Вскоре это искреннее и отнюдь не наигранное упорство, с которым наш герой оспаривал некоторые ее мысли, заинтересовало ее; она задумывалась над этим; она посвящала свою приятельницу во все подробности своих разговоров с ним, и ей казалось, что она никак не может передать их подлинный характер, их оттенки.

И вдруг ее озарила мысль: «Мне выпало счастье полюбить,— сказала она себе однажды в неописуемом восторге.— Я люблю, люблю, это ясно. Девушка моего возраста, красивая, умная,— в чем еще она может найти сильные ощущения, как не в любви? Как бы я ни старалась, я никогда не смогу полюбить ни этого Круазенуа, ни Келюса, ни tutti quanti [1]. Они безукоризненны, и, пожалуй, слишком безукоризненны. Словом, мне с ними скучно».

Она стала припоминать про себя все описания страсти, которые читала в «Манон Леско», в «Новой Элоизе», в «Письмах португальской монахини» и т. д. Речь шла, само собой разумеется, о высоком чувстве: легкое любовное увлечение

[1] Всех, им подобных *(итал.)*.

было недостойно девушки ее лет и ее происхождения. Любовью она называла только то героическое чувство, которое встречалось во Франции времен Генриха III и Бассомпьера. Такая любовь не способна была трусливо отступить перед препятствиями; наоборот, она толкала на великие дела. «Какое несчастье для меня, что у нас сейчас не существует настоящего двора, как двор Екатерины Медичи или Людовика XIII! Я чувствую, что способна на все самое смелое, самое возвышенное. Чего бы я только не сделала для такого доблестного короля, как Людовик XIII, если бы сейчас такой король был у моих ног! Я повела бы его в Вандею, как любит говаривать барон де Толли, и он отвоевал бы оттуда свое королевство. Тогда уж никакой Хартии не было бы... А Жюльен бы мне помогал. Чего ему недостает? Только имени и состояния! Он создал бы себе имя, создал бы и состояние.

У Круазенуа есть все, но он всю свою жизнь будет только герцогом, полуроялистом, полулибералом, всегда чем-то неопределенным, средним, подальше от всяких крайностей, а следовательно, *всегда на втором месте*.

Да может ли быть какое-нибудь великое деяние, которое не было бы *крайностью* в ту минуту, когда его совершают? Вот когда оно уже совершено, тогда его начинают считать возможным и обыкновенные люди. Да, любовь со всеми ее чудесами владычествует в моем сердце; я чувствую, что ее пламень воодушевляет меня. Провидение должно было ниспослать мне эту милость. Не напрасно же оно соединило в одном существе все преимущества. Мое счастье будет достойно меня. Каждый день моей жизни не будет бессмысленным повторением вчерашнего дня. Осмелиться полюбить человека, который так далеко отстоит от меня по своему общественному положению,— уже в этом есть величие и дерзание. Посмотрим, будет ли он и впредь достоин меня. Как только я замечу в нем какую-нибудь слабость, я тотчас же брошу его. Девушка из столь славного рода, с таким рыцарским характером, какой приписывают мне (так выразился однажды ее отец), не должна вести себя, как дура.

А именно на эту роль я была бы обречена, если бы полюбила де Круазенуа. Это было бы точь-в-точь повторением того счастья, которым наслаждаются мои кузины, как раз то, что я от души презираю. Мне заранее известно все, что мне будет говорить этот бедняжка маркиз, и все, что я должна буду ему отвечать. Что же это за любовь, от которой тебя одолевает

зевота? Уж лучше стать ханжой. Подумать: подпишут брачный контракт, как это проделали с младшей из моих двоюродных сестер, и добрые родственники придут в умиление. Хорошо еще, что им не так легко угодить и они мнутся из-за этого последнего условия, которое внес накануне в договор нотариус противной стороны».

XII

НЕ ДАНТОН ЛИ ЭТО?

Жажда треволнений — таков был характер прекрасной Маргариты Валуа, моей тетки, которая вскоре вступила в брак с королем Наваррским, царствующим ныне во Франции под именем Генриха IV. Потребность рисковать — вот в чем весь секрет характера этой обворожительной принцессы; отсюда и все ее ссоры и примирения с братьями, начиная с шестнадцатилетнего возраста. А чем может рисковать молодая девушка? Самым драгоценным, что есть у нее: своим добрым именем. По нему судится вся жизнь ее.

Мемуары герцога Ангулемского, побочного сына Карла IX.

«А у меня с Жюльеном никаких контрактов, никаких нотариусов, предваряющих мещанский обряд. Все будет героическим, все будет предоставлено случаю. Если не считать знатного происхождения, чего у него нет, это совсем как любовь Маргариты Валуа к юному де Ла-Молю, самому замечательному человеку того времени. Но разве я виновата в том, что наши придворные молодые люди слепо привержены к *приличиям* и бледнеют при одной мысли о каком-нибудь хоть чуточку необычном происшествии. Маленькая поездка в Грецию или Африку представляется им верхом отваги, да и на это они не рискнут иначе, как по команде, отрядом. А стоит их только предоставить самим себе, ими тотчас же овладевает страх,— не перед копьем бедуина, нет, а как бы не очутиться в смешном положении; и этот страх просто сводит их с ума.

А мой милый Жюльен — как раз наоборот: он все любит делать сам, у этого исключительного существа никогда в

мыслях нет опереться на кого-нибудь, обратиться к другому за поддержкой. Он презирает других, и вот поэтому я не презираю его.

Если бы Жюльен при своей бедности был дворянином, любовь моя была бы просто пошлейшей глупостью, самым обыкновенным мезальянсом, никогда бы я на это не пошла; в этом не было бы ничего такого, чем отличаются подлинно великие страсти, никаких неодолимых препятствий, ни этой темной неизвестности грядущего».

Мадемуазель де Ла-Моль была так увлечена этими возвышенными рассуждениями, что на другой день незаметно для себя стала превозносить Жюльена маркизу де Круазенуа и своему брату. Она говорила с таким жаром, что это в конце концов уязвило их.

— Берегитесь этого молодого человека с его энергичным характером! — воскликнул ее брат.— Начнись опять революция, он всех нас отправит на гильотину.

Она остереглась отвечать на это и принялась подшучивать над братом и маркизом де Круазенуа по поводу того страха, который внушала им решимость. Ведь, в сущности, это просто страх столкнуться с чем-то непредвиденным, просто боязнь растеряться перед непредвиденным...

— Вечно, вечно, господа, у вас этот страх очутиться в смешном положении — пугало, которое, к несчастью, погребено в тысяча восемьсот шестнадцатом году.

«В стране, где существуют две партии,— говорил г-н де Ла-Моль,— смешного положения быть не может». Его дочь поняла, что он хотел этим сказать.

— Итак, господа,— говорила она недругам Жюльена,— вы будете бояться всю вашу жизнь, а потом вам споют:

Ведь это был не волк, а просто волчья тень.

Вскоре Матильда ушла от них. Слова брата ужаснули ее: она долго не могла успокоиться, но на другой день пришла к заключению, что это — величайшая похвала.

«В наше время, когда всякая решимость умерла, его решимость пугает их. Я повторю ему слова моего брата. Мне хочется посмотреть, что он на это ответит. Надо только уловить такой момент, когда у него загораются глаза. Тогда он не может мне лгать».

«А что, если это Дантон? — промолвила она, очнувшись от долгого раздумья.— Ну что ж! Начнись опять революция, какую роль придется тогда играть Круазенуа и моему брату?

Она уже предопределена заранее: величественная покорность судьбе. Это будут героические бараны, которые дадут перерезать себя без малейшего сопротивления. Единственно, чего они будут опасаться, умирая,— это опять-таки погрешить против хорошего тона. А мой маленький Жюльен, если у него будет хоть какая-нибудь надежда спастись, всадит пулю в лоб первому якобинцу, который явится его арестовать. Уж он-то не побоится дурного тона, нет».

Эти слова заставили ее задуматься. Они пробудили в ней какие-то мучительные воспоминания, и весь ее задор сразу пропал. Слова эти напомнили ей шутки господ де Келюса, де Круазенуа, де Люза и ее брата. Все они в один голос упрекали Жюльена в том, что у него вид *святоши* — смиренный, лицемерный.

— Ах,— вдруг воскликнула она с радостно загоревшимся взором,— их ехидство и эти постоянные шутки и доказывают, наперекор им самим, что это самый замечательный человек из всех, кого мы видели в эту зиму! Что им за дело до его недостатков, до его смешных странностей? В нем есть настоящее величие, и это-то их и задевает, несмотря на всю их снисходительность и доброту. Разумеется, он беден и он учился, чтобы стать священником, а они командуют эскадронами, и им нет надобности учиться. Это много удобнее.

И, однако, несмотря на все минусы — этот его неизменный черный костюм и поповскую мину, с которой бедняжке приходится ходить, чтобы не умереть с голоду,— его превосходство пугает их. Это совершенно ясно. А эта поповская мина мгновенно у него улетучивается, стоит мне только хоть на несколько секунд остаться с ним наедине. Когда этим господам случается отпустить какую-нибудь остроту, которая им самим кажется блестящей и неожиданной, они прежде всего поглядывают на Жюльена. Я это прекрасно заметила. И ведь они отлично знают, что сам он никогда не заговорит с ними, пока к нему не обратятся с вопросом. Он разговаривает только со мной. Он видит во мне возвышенную натуру. А на их возражения отвечает ровно столько, сколько этого требует вежливость. И сейчас же почтительно умолкает. Со мной он готов спорить целыми часами и только тогда не сомневается в своей правоте, когда у меня не находится ни малейшего возражения. И в конце концов за всю эту зиму мы ни разу не поссорились с ним всерьез, разве что иногда говорили друг другу колкости нарочно, просто чтобы обратить на себя внимание. Да что там, даже отец — уж на что выдающийся человек, ведь только ему

мы обязаны престижем нашего дома,— и тот уважает Жюльена. Все остальные его ненавидят, но никто не презирает его, если не считать этих ханжей, приятельниц моей матушки».

Граф де Келюс был или старался прослыть страстным любителем лошадей; вся жизнь его проходила на конюшне, он нередко даже завтракал там. Такая необыкновенная страсть, а также привычка никогда не улыбаться завоевали ему великое уважение среди друзей; словом, это была выдающаяся фигура, сущий орел этого маленького кружка.

Едва только все они собрались на другой день позади огромного кресла г-жи де Ла-Моль — Жюльен на этот раз отсутствовал,— как г-н де Келюс, поддерживаемый Круазенуа и Норбером, принялся ретиво оспаривать лестное мнение Матильды о Жюльене, и при этом без всякого повода, а прямо с места в карьер, едва только он увидел м-ль де Ла-Моль. Она сразу разгадала этот нехитрый маневр и пришла в восхищение.

«Вот они все теперь друг за дружку,— подумала она,— все против одного даровитого человека, у которого нет и десяти луидоров ренты и который не может даже ответить им, пока они не соблаговолят обратиться к нему с вопросом. Он внушает им страх даже в своем черном костюме. Что же было бы, если бы он носил эполеты?»

Никогда еще она не блистала таким остроумием. Едва они повели наступление, как она сразу обрушилась язвительнейшими насмешками на Келюса и его союзников. Когда огонь шуток этих блестящих офицеров был подавлен, она обратилась к г-ну де Келюсу:

— Стоит завтра какому-нибудь дворянину из франшконтейских гор установить, что Жюльен — его побочный сын, и завещать ему свое имя и несколько тысяч франков,— не пройдет и полутора месяцев, как у него появятся совсем такие же усы, как у вас, господа, а через каких-нибудь полгода он сделается гусарским офицером, как и вы, господа. И тогда величие его характера уж отнюдь не будет смешным. Я вижу, господин будущий герцог, у вас теперь остался только один, да и тот негодный и устаревший, довод — превосходство придворного дворянства над дворянством провинциальным. А что же у вас останется, если я вас сейчас припру к стене и дам в отцы Жюльену испанского герцога, томившегося в плену в Безансоне во время наполеоновских войн? Представьте себе, что в порыве раскаяния этот герцог на смертном одре признает Жюльена своим сыном!

Все эти разговоры о незаконном рождении показались господам де Келюсу и де Круазенуа несколько дурного тона. Вот все, что они изволили усмотреть в рассуждениях Матильды.

Как ни привык подчиняться сестре Норбер, но ее речи были уж до того ясны, что он принял внушительный вид, который, надо признаться, отнюдь не шел к его улыбающейся и добрейшей физиономии, и даже осмелился сказать по этому поводу несколько слов.

— Уж не больны ли вы, друг мой? — состроив озабоченную мину, сказала ему Матильда.— Должно быть, вы захворали всерьез, если вам приходит в голову отвечать нравоучениями на шутку. Вы — и нравоучения! Уж не собираетесь ли вы стать префектом?

Матильда очень скоро позабыла и обиженный тон графа де Келюса, и недовольство Норбера, и безмолвное отчаяние де Круазенуа. Ей надо было разрешить одно роковое сомнение, которое закралось в ее душу.

«Жюльен искренен со мной,— думала она.— В его годы, при таком подчиненном положении, да еще снедаемый невероятным честолюбием, он, конечно, испытывает потребность в друге,— я и есть этот друг; но я не вижу у него никакой любви. А ведь это такая смелая натура, он бы не побоялся сказать мне, что любит меня».

Эта неуверенность, этот спор с самой собой, который заполнял теперь каждое мгновение жизни Матильды — ибо достаточно ей было поговорить с Жюльеном, как у нее находились новые доводы и возражения,— окончательно излечили ее от приступов скуки, беспрестанно одолевавшей ее до сих пор.

Дочь весьма умного человека, который в один прекрасный день мог, став министром, вернуть духовенству его угодья, м-ль де Ла-Моль была предметом самой неумеренной лести в монастыре Сердца Иисусова. Такое несчастье навсегда остается непоправимым. Ей внушили, что благодаря всяческим преимуществам — происхождению, состоянию и всему прочему — она должна быть счастливее всех других. Вот это-то и является источником скуки всех королей в мире и их бесконечных самодурств.

Матильда не избежала пагубного влияния этого внушения. Каким умом ни обладай, трудно в десять лет устоять перед лестью целого монастыря, лестью, к тому же столь прочно обоснованной.

С той минуты, как она решила, что любит Жюльена, она перестала скучать. Она восторгалась своей решимостью

изведать великую страсть. «Но это очень опасная забава,— говорила она себе.— Тем лучше! В тысячу раз лучше!

Без этой высокой страсти я умирала от скуки в самую прекрасную пору моей жизни — от шестнадцати до двадцати лет. Я и так уже упустила лучшие годы. Все развлечения для меня заключались в том, что я вынуждена была слушать бессмысленные рассуждения приятельниц моей матери; а ведь говорят, что в тысяча семьсот девяносто втором году в Кобленце они вовсе не отличались такой суровостью, как их теперешние нравоучения».

В такие минуты великих сомнений, одолевавших Матильду, Жюльен много раз замечал на себе ее долгие взгляды и не понимал, что это значит. Он ясно чувствовал, что в обращении с ним графа Норбера появилась какая-то чрезмерная холодность, что господа де Келюс, де Люз, де Круазенуа стали держаться с ним крайне высокомерно. Но он уже привык к этому. Неприятности такого рода случались с ним не раз после какого-нибудь вечера, когда он блистал в разговоре больше, чем подобало его положению. Если бы не то исключительное внимание, которое проявляла к нему Матильда, и не собственное его любопытство, которое подзадоривало его узнать, что, в сущности, за всем этим кроется, он бы решительно уклонился от послеобеденных прогулок по саду в компании этих блестящих молодых людей с усиками, увивавшихся возле м-ль де Ла-Моль.

«Да, невозможно, чтобы я так уж ошибался,— рассуждал сам с собой Жюльен.— Ясно, что мадемуазель де Ла-Моль поглядывает на меня как-то очень странно. Но даже когда ее прекрасные голубые глаза устремлены на меня как будто в самозабвении, я всегда читаю в глубине их какую-то пытливость, что-то холодное и злое. Возможно ли, чтобы это была любовь? Какая разница! Таким ли взором глядела на меня госпожа де Реналь!»

Как-то раз после обеда Жюльен, проводив г-на де Ла-Моля до его кабинета, поспешно возвращался в сад. Когда он подходил к компании, окружавшей Матильду, до него долетело несколько громко произнесенных слов. Матильда поддразнивала брата. Жюльен дважды отчетливо услышал свое имя. Как только он подошел, внезапно воцарилось полное молчание, и их неловкие попытки прервать его явно не удавались. М-ль де Ла-Моль и ее брат оба были слишком возбуждены и не способны говорить о чем-либо другом. Господа де Келюс, де Круазенуа, де Люз и еще один их приятель встретили Жюльена ледяной холодностью. Он удалился.

XIII

ЗАГОВОР

> Обрывки разговоров, случайные встречи превращаются в неопровержимые доказательства для человека, наделенного воображением, если в сердце его сокрыта хоть искра пламени.
>
> *Шиллер.*

На другой день он снова наткнулся на Норбера с сестрой, когда они разговаривали о нем. Едва только они его увидели, воцарилось мертвое молчание, точь-в-точь как накануне. Теперь уж ничто не могло остановить его подозрений. Так, значит, эти прелестные молодые люди вздумали издеваться над ним? «Признаться, это гораздо более вероятно и естественно, чем эта вообразившаяся мне страсть мадемуазель де Ла-Моль к ничтожному письмоводителю. Да разве эти люди способны на какую-нибудь страсть? Строить козни — вот это они умеют. Они завидуют моему скромному дару: умению овладеть разговором. Зависть — вот их уязвимое место. Таким образом, все очень просто объясняется. Мадемуазель де Ла-Моль задумала убедить меня, что она ко мне неравнодушна, с единственной целью сделать меня посмешищем в глазах своего нареченного».

Это ужасное подозрение резко изменило душевное состояние Жюльена. Оно сразу подавило в его сердце зачаток зарождавшейся любви. Ведь любовь эта была вызвана только исключительной красотой Матильды или, вернее даже, ее царственной осанкой, ее роскошными туалетами. А Жюльен в этом отношении был еще сущим простачком. Недаром говорят, что самое ошеломляющее впечатление на простолюдина, пробившегося своим умом в верхние слои общества, производит красивая светская женщина. Ведь не душевные качества Матильды погружали Жюльена в мечты все эти дни. У него было достаточно здравого смысла, и он прекрасно понимал, что он не имеет ни малейшего представления об ее душевных качествах. Все, что он имел возможность наблюдать, могло быть простой видимостью.

Вот, например, Матильда ни за что на свете не позволила бы себе пропустить воскресную мессу; она всякий раз непременно отправлялась в церковь вместе с матерью. Если в гости-

ной особняка де Ла-Моль какой-нибудь неосторожный гость забывал о том, где он находится, и позволял себе хотя бы самый отдаленный намек на шутку, задевающую истинные или предполагаемые интересы трона или церкви, Матильда немедленно облекалась в ледяную суровость. И взгляд ее, обычно такой задорный, внезапно приобретал бесстрастную надменность старинного фамильного портрета.

Однако Жюльен наверняка знал, что у нее в комнате всегда лежат один или два тома наиболее философических сочинений Вольтера. Он и сам частенько тайком уносил к себе по нескольку томов этого прекрасного издания в таких замечательных переплетах. Чуть-чуть раздвигая расставленные на полке соседние тома, он маскировал таким образом отсутствие тех, которые он вытащил; но вскоре он обнаружил, что не он один читает Вольтера. Он прибег к семинарской хитрости и положил несколько волосков на те тома, которые, как он полагал, могли заинтересовать м-ль де Ла-Моль. Они исчезли на целые недели.

Господин де Ла-Моль, выведенный из терпения своим книгопродавцем, который присылал ему всякие *подложные* мемуары, поручил Жюльену покупать все мало-мальски занимательные новинки. Но, чтобы яд не распространялся в доме, секретарю было дано указание ставить эти книги в шкаф, находящийся в комнате самого маркиза. И вскоре Жюльен убедился, что как только среди этих новинок попадалось что-либо, хоть чуточку враждебное интересам трона или церкви, книги эти немедленно исчезали. Ясное дело, их читал не Норбер.

Жюльен преувеличивал значение этого открытия, подозревая в Матильде чуть ли не макиавеллиевское двуличие. Это предполагаемое коварство придавало ей в глазах Жюльена какое-то очарование. Пожалуй, это было единственное ее душевное качество, которое пленяло его. Вот до какой крайности довели его душеспасительные разговоры и надоевшее до смерти ханжество.

Он больше возбуждал свое воображение, чем был увлечен любовью.

Когда он, забываясь в мечтах, представлял себе прелестную фигуру м-ль де Ла-Моль, ее изысканные наряды, ее белоснежную ручку, изумительные плечи, непринужденную грацию всех ее движений, он чувствовал себя влюбленным. И тогда, чтобы усилить очарование, он воображал ее Екатериной Медичи. И тут уж он наделял ее таким непостижимым характером, которому было под стать любое злодейство, любое

черное вероломство. Это был идеал Малонов, Фрилеров, Кастанедов, которыми он налюбовался в юности. Словом, это был для него идеал Парижа.

Непостижимая глубина и злодейство — что может быть потешнее такого представления о характере парижан?

«Вполне возможно, что это трио издевается надо мной»,— думал Жюльен. Всякий, кто хоть немного знает его характер, может представить себе, каким мрачным, ледяным взглядом отвечал он на взоры Матильды. С язвительнейшей иронией отверг он уверения в дружбе, с которыми изумленная м-ль де Ла-Моль два-три раза пыталась обратиться к нему.

Эта неожиданная странность уязвила молодую девушку, и ее обычно холодное, скучающее и послушное только рассудку сердце запылало всей силой страсти, на какую она была способна. Но в характере Матильды было также слишком много гордости, и это пробудившееся в ней чувство, открывшее ей, что счастье ее отныне зависит от другого человека, погрузило ее в мрачное уныние.

Жюльен кое-чему научился с тех пор, как приехал в Париж, и ясно видел, что это — совсем не черствое уныние скуки! Вместо того, чтобы жадно искать удовольствий, разъезжать по вечерам, по театрам и придумывать разные развлечения, как бывало раньше, Матильда теперь всего этого избегала.

Мадемуазель де Ла-Моль терпеть не могла французского пения: оно нагоняло на нее смертельную скуку,— и, однако, Жюльен, который считал своим долгом присутствовать при разъезде в Опере, заметил, что она стремится бывать там как можно чаще. Ему казалось, что она как будто несколько утратила ту безупречную выдержку, которая прежде проявлялась во всем, что бы она ни делала. Она иногда отвечала своим друзьям поистине оскорбительными шутками, отличавшимися чрезмерной колкостью. Ему казалось, что она открыто выказывает свое пренебрежение маркизу де Круазенуа. «Должно быть, этот молодой человек весьма привержен к деньгам,— думал Жюльен,— если он до сих пор не бросил эту девицу, несмотря на все ее богатство!» И, возмущенный ее издевательствами, оскорблявшими мужское достоинство, он стал обращаться с нею еще холодней. Нередко случалось, что он позволял себе отвечать ей не совсем вежливо.

Но хотя Жюльен и твердо решил, что ни в коем случае не даст обмануть себя никакими знаками внимания, которые ему выказывала Матильда, они иной раз были до такой степени

очевидны, а Жюльен, у которого понемногу открывались глаза, так пленился красотой Матильды, что его иногда невольно охватывало чувство замешательства.

«Кончится тем, что ловкость и упорство этих светских молодых людей возьмут верх над моей неопытностью,— говорил он себе.— Надо мне уехать и положить конец всему этому». Маркиз только что поручил ему управление множеством мелких земельных участков и поместий в Нижнем Лангедоке. Необходимо было съездить туда; г-н де Ла-Моль отпустил его с большой неохотой, ибо во всем, за исключением предметов, связанных с его высокими политическими чаяниями, Жюльен сделался теперь как бы его вторым «я».

«Вот им и не удалось меня поймать,— думал Жюльен, собираясь в дорогу.— А шутки мадемуазель де Ла-Моль над ее кавалерами — принимать ли их за чистую монету или считать, что она все это придумала нарочно для того, чтобы внушить мне доверие,— не все ли равно? Меня они, во всяком случае, позабавили.

Если у них нет заговора против сына бедного плотника, поведение мадемуазель де Ла-Моль просто непостижимо,— и в такой же мере по отношению ко мне, как по отношению к маркизу де Круазенуа. Вчера, например, она была явно рассержена, и я имел удовольствие слышать, как из-за моей милости досталось некоему молодому человеку, богатому, знатному... Что́ я перед ним? Нищий, плебей! Вот это замечательный успех. Как приятно будет вспоминать об этом в почтовой карете среди лангедокских равнин!»

Он никому не говорил о своем отъезде, но Матильда лучше его знала, что на другой день он должен покинуть Париж и надолго. Она сослалась на жестокую головную боль, которая якобы усиливалась от духоты в гостиной, и долго гуляла в саду; она до того доняла своими ядовитыми остротами Норбера, маркиза де Круазенуа, де Келюса, де Люза и других молодых людей, которые в этот день обедали в особняке де Ла-Моль, что заставила их обратиться в бегство. Она смотрела на Жюльена каким-то странным взглядом.

«Конечно, этот взгляд, может быть, просто притворство,— думал Жюльен,— но прерывистое дыхание, взволнованный вид... А впрочем, где мне судить о таких вещах! Ведь это верх изысканности и тонкости... Много ли таких женщин найдется во всем Париже? Это учащенное дыхание, которое чуть не растрогало меня, да она переняла его у Леонтины Фэ, которую она так любит».

Они остались одни; разговор явно не клеился. «Нет! Жюльен ровно ничего ко мне не испытывает»,— с горечью говорила себе бедная Матильда.

Когда он прощался с ней, она схватила его руку выше локтя и крепко сжала ее.

— Вы сегодня получите от меня письмо,— проговорила она таким изменившимся голосом, что его трудно было узнать.

Жюльен сразу растрогался, заметив это.

— Отец,— продолжала она,— чрезвычайно ценит услуги, которые вы ему оказываете. *Не надо* завтра уезжать, придумайте какой-нибудь предлог,— и она убежала.

Фигурка ее была просто очаровательна. Трудно было вообразить себе более хорошенькую ножку, и бежала она с такой грацией, что Жюльен был совершенно пленен. Но догадается ли читатель, о чем он прежде всего подумал, едва только она скрылась из его глаз? Его возмутил повелительный тон, которым она произнесла это *«не надо»*. Людовик XV на смертном одре тоже весьма был уязвлен словом *«не надо»*, которыми некстати обмолвился его лейб-медик, а ведь Людовик XV как никак не был выскочкой.

Час спустя лакей принес письмо Жюльену. Это было просто-напросто объяснение в любви.

«Не такой уж напыщенно-притворный слог!» — сказал себе Жюльен, стараясь этими литературными замечаниями сдержать бурную радость, которая сводила ему щеки и помимо его воли заставляла расплываться в широкой улыбке.

«Итак,— вырвалось у него, ибо переживания его были слишком сильны и он был не в состоянии их сдержать,— я, бедный крестьянин, получил объяснение в любви от знатной дамы!»

«Ну, а сам я не сплоховал,— продолжал он, изо всех сил сдерживая свою бурную радость.— Нет, я сумел не уронить своего достоинства. Я никогда не говорил ей, что люблю ее». Он принялся разглядывать каждое слово, каждую букву. У м-ль де Ла-Моль был изящный, мелкий английский почерк. Ему нужно было чем-нибудь занять себя, чтобы опомниться от радости, от которой у него закружилась голова.

«Ваш отъезд вынуждает меня высказаться... Не видеть вас долго — свыше моих сил...»

И вдруг одна мысль, словно какое-то открытие, потрясла Жюльена; он бросил изучать письмо Матильды, охваченный новым приливом неудержимой радости. «Значит, я взял верх над маркизом де Круазенуа! — воскликнул он.— Но я разгова-

риваю с ней только о серьезных предметах! А ведь он такой красавец! Какие усы! Ослепительный мундир, и всегда найдет что сказать — к месту, и так умно, так тонко!»

Жюльен пережил восхитительные минуты; углубившись в сад, он блуждал по дорожкам, не помня себя от восторга.

Спустя некоторое время он поднялся в канцелярию и велел доложить о себе маркизу де Ла-Молю, который, на его счастье, оказался дома. Показав ему несколько деловых писем, полученных из Нормандии, Жюльен без всякого труда убедил маркиза, что хлопоты, связанные с нормандскими процессами, заставляют его отложить поездку в Лангедок.

— Очень рад, что вы не едете,— сказал ему маркиз, когда они уже окончили все деловые разговоры,— мне *приятно вас видеть.*

Жюльен сразу же ушел. Эта фраза смутила его.

«А я собираюсь соблазнить его дочь! И, быть может, помешаю ее браку с маркизом де Круазенуа, на который он возлагает большие надежды; если уж сам он не будет герцогом, то, по крайней мере, дочь его получит право сидеть в присутствии коронованных особ». У Жюльена мелькнула мысль уехать в Лангедок, невзирая на письмо Матильды, невзирая на разговор с маркизом. Однако этот проблеск добродетели мелькнул и исчез.

«Экий я добряк,— сказал он себе.— Мне ли, плебею, жалеть такую знатную дворянскую семью? Мне ли, кого герцог де Шон называет челядью? А каким способом маркиз увеличивает свое громадное состояние? Очень просто: продает ренту на бирже, когда при дворе ему становится известно, что завтра предполагается разыграть нечто вроде правительственного кризиса. И я, которого злая судьба закинула в последние ряды и, наделив благородным сердцем, не позаботилась дать и тысячи франков ренты, иначе говоря, оставила без куска хлеба, *буквально без куска хлеба,* откажусь от счастья, которое само идет мне в руки? От светлого источника, что может утолить мою жажду в этой пустыне посредственности, через которую я пробираюсь с таким трудом! Ну нет, не такой уж я дурак,— всяк за себя в этой пустыне эгоизма, именуемой жизнью».

Он вспомнил презрительные взгляды, которые кидала на него г-жа де Ла-Моль, а в особенности эти *дамы,* ее приятельницы.

Удовольствие восторжествовать над маркизом де Круазенуа окончательно подавило голос добродетели.

«Как бы я хотел, чтобы он вышел из себя! — говорил Жюльен.— С какой уверенностью нанес бы я ему теперь удар

шпагой! — И он сделал стремительное движение выпада.— До сих пор в его глазах я был просто холуем, который расхрабрился не в меру. После этого письма я ему ровня».

«Да,— медленно продолжал он, с каким-то необыкновенным сладострастием смакуя каждое слово,— наши достоинства — маркиза и мои — были взвешены, и бедняк плотник из Юры одержал победу».

«Прекрасно! — воскликнул он.— Так я и подпишусь под своим письмом. Не вздумайте воображать, мадемуазель де Ла-Моль, что я забуду о своем положении. Я вас заставлю хорошенько понять и почувствовать, что именно ради сына плотника изволили вы отказаться от потомка славного Ги де Круазенуа, который ходил с Людовиком Святым в крестовый поход».

Жюльен был не в силах больше сдерживать свою радость. Его потянуло в сад. Ему было тесно взаперти у себя в комнате; он задыхался.

«Я, ничтожный крестьянин из Юры,— без конца повторял он самому себе,— осужденный вечно ходить в этом унылом, черном одеянии!.. Ах, двадцать лет тому назад и я бы щеголял в мундире, как они! В те времена человек, как я, или был бы уже убит, или стал бы *генералом в тридцать шесть лет*». Письмо, которое он сжимал в руке, словно придавало ему росту; он чувствовал себя героем. Теперь, правда, этот черный сюртук может к сорока годам дать местечко на сто тысяч франков и голубую ленту, как у епископа Бовезского.

«Ну что ж,— сказал он с какой-то мефистофельской усмешкой,— значит, я умнее их; я выбрал себе мундир по моде, во вкусе нашего века». И честолюбие его вспыхнуло с удвоенной силой, а вместе с ним и его приверженность к сутане. «А сколько кардиналов еще более безвестного происхождения, чем я, добивались могущества и власти! Взять хотя бы моего соотечественника Гранвеля».

Мало-помалу возбуждение Жюльена улеглось; начало брать верх благоразумие. Он сказал себе, как его учитель Тартюф,— эту роль он знал наизусть:

> Невинной шуткой все готов я это счесть...
> . . . . . .
> Но не доверюсь я медовым тем речам,
> Доколе милости, которых так я жажду,
> Не подтвердят мне то, что слышал не однажды...

«Тартюфа тоже погубила женщина, а ведь он был не хуже других... Мой ответ могут потом показать кому-нибудь, но у нас против этого есть средство,— произнес он с расстановкой,

сдерживая подымавшуюся в нем ярость.— Мы с того и начнем, что повторим в нем самые пылкие фразы из письма несравненной Матильды.

Да, но вот четверо лакеев господина де Круазенуа бросаются на меня и отнимают у меня это письмо.

Ну нет, я хорошо вооружен, и им должна быть известна моя привычка стрелять в лакеев.

Так-то так! Но один из них может оказаться храбрым малым, да ему еще посулят сотню наполеондоров. Я его уложу на месте или раню, а им только этого и надо. Меня тут же сажают в тюрьму, как полагается по закону, я попадаю в руки полиции, правосудие торжествует, и господа судьи с чистой совестью отправляют меня в Пуасси разделить компанию с господами Фонтаном и Магалоном. И я там буду валяться вповалку с четырьмястами оборванцев... И я еще вздумал жалеть этих людей! — вскричал он, стремительно вскакивая.— А они когда-нибудь жалеют людей из третьего сословия, когда те попадают им в руки?» И это восклицание было предсмертным вздохом его признательности к г-ну де Ла-Молю, которая все еще невольно мучила его.

«Не извольте торопиться, господа дворяне, я отлично понимаю эти ваши макиавеллиевы хитрости. Аббат Малон или господин Кастанед из семинарии вряд ли придумали бы лучше. Вы похитите у меня это *обманное* письмецо, и я окажусь вторым полковником Кароном в Кольмаре.

Минуточку, господа. Я отправлю это роковое письмо в наглухо запечатанном пакете на хранение к господину аббату Пирару. Это честнейший человек, янсенист, и в силу этого он не способен прельститься деньгами — его не подкупишь. Да, но только у него привычка вскрывать письма... Нет, я отошлю это письмо к Фуке».

Надо сознаться, взор Жюльена был ужасен, лицо его стало отвратительно, оно дышало откровенным преступлением. Это был несчастный, вступивший в единоборство со всем обществом.

«К оружию!» — вскричал он. И одним прыжком соскочил с крыльца особняка. Он ворвался в будку уличного писца, испугав его своим видом.

— Перепишите! — сказал он, протягивая ему письмо м-ль де Ла-Моль.

Покуда писец корпел над перепиской, он сам успел написать Фуке: он просил его сохранить этот драгоценный пакет. «Ах, что же это я! — вдруг спохватился он.— Фискальный кабинет на почте вскроет мой пакет и вручит вам то, что вы

ищете... Нет, господа!» Он вышел и отправился к некоему книгопродавцу — протестанту; он купил у него огромную Библию и ловко спрятал письмо Матильды под переплетом, затем сдал все это упаковать, и пакет его отправился почтой, на имя одного из работников Фуке, о котором ни одна душа в Париже понятия не имела.

Когда все это было сделано, Жюльен поспешно вернулся в особняк де Ла-Моль в весьма приподнятом настроении духа. «Ну, теперь приступим!» — воскликнул он, запираясь на ключ в своей комнате и скидывая сюртук.

«Мыслимо ли это, мадемуазель,— писал он Матильде,— чтобы дочь маркиза де Ла-Моль через Арсена, лакея своего отца, передала такое соблазнительное письмо бедному плотнику из Юры, без сомнения, только для того, чтобы подшутить над его простотой...» Он переписал тут же самые откровенные фразы из полученного им письма.

Его письмо сделало бы честь даже дипломатической осторожности шевалье де Бовуази. Было только десять часов; Жюльен, совершенно опьяневший от счастья и упоенный своим могуществом — ощущением, весьма непривычным для бедняка,— отправился в Итальянскую оперу. Сегодня пел его друг Джеронимо. Никогда еще музыка не волновала его до такой степени. Он чувствовал себя богом.

XIV

РАЗМЫШЛЕНИЯ МОЛОДОЙ ДЕВУШКИ

> Какие муки нерешительности! Сколько ночей, проведенных без сна! Боже великий! Неужели я дойду до такого унижения? Он сам будет презирать меня. Но он уезжает, уезжает далеко.
>
> *Альфред де Мюссе.*

Матильде пришлось немало бороться с собой, прежде чем она решилась написать это письмо. Из чего бы ни возникла ее склонность к Жюльену, она скоро восторжествовала над ее гордостью, которая, с тех пор как она себя помнила, властвовала безраздельно в ее сердце. Эта надменная и холодная душа впервые была охвачена пламенным чувством. Но хотя это чувство и покорило ее гордость, оно сохранило все повадки гордости. Два месяца непрестанной борьбы и новых, никогда не испы-

танных ощущений, можно сказать, преобразили весь ее душевный склад.

Матильде казалось, что перед нею открывается счастье. Это видение, которое имеет такую безграничную власть над мужественной душой, если она еще к тому же сочетается с высоким умом, долго боролось с чувством собственного достоинства и прописного долга. Однажды в семь часов утра она явилась к матери и стала умолять ее разрешить ей уехать в Вилькье. Маркиза даже не соизволила ничего ответить на это, а посоветовала ей лечь в постель и выспаться. Это была последняя попытка прописного житейского благоразумия и уважения к общепринятым взглядам.

Боязнь сделать дурной шаг или преступить правила, которые у Келюсов, де Люзов и Круазенуа считались священными, не слишком угнетала Матильду; люди этой породы, по ее мнению, не способны были понять ее; она могла посоветоваться с ними, если бы речь шла о покупке коляски или поместья. Она, в сущности, страшилась только одного: как бы ее не осудил Жюльен.

А вдруг это ей только так кажется, что он исключительный человек?

Она презирала бесхарактерность; это-то, в сущности, и претило ей во всех этих милых молодых людях, которые увивались вокруг нее. Чем больше они, стремясь угодить ей, изощрялись в изящном острословии надо всем, что не принято и что осмеливается уклоняться от моды, тем больше они роняли себя в ее глазах.

«У них только одно и есть — храбрость, и это все. Да и что это за храбрость? — говорила она себе.— Драться на дуэли? А что такое теперь дуэль? Просто церемония. Все уже заранее известно, даже что́ надо произнести, когда ты падаешь. Упав на траву, надо приложить руку к сердцу и великодушно простить своего противника, не забыв при этом упомянуть о своей возлюбленной, нередко существующей только в воображении, или, может быть, о такой, которая в тот самый день, когда вас убьют, отправится на бал из страха, как бы о ней чего-нибудь не подумали.

Они помчатся навстречу опасности во главе эскадрона, с сверкающими саблями наголо — но встретиться один на один с какой-нибудь необычайной, непредвиденной, поистине скверной опасностью...»

«Увы! — говорила себе Матильда.— Только при дворе Генриха III встречались такие выдающиеся люди, высокие духом

и происхождением. Ах, если бы Жюльен сражался под Жарнаком или Монконтуром, тогда бы я не сомневалась! Вот это были времена доблести и силы, тогда французы не были куклами. День битвы был для них днем, когда им меньше всего приходилось задумываться.

Их жизнь не была наподобие египетской мумии закутана в какой-то покров, для всех одинаковый, неизменный. Да,— добавила она,— тогда требовалось больше истинного мужества, чтобы выйти одному в одиннадцать часов вечера из дворца в Суассоне, где жила Екатерина Медичи, чем теперь прокатиться в Алжир. Человеческая жизнь была непрерывной сменой случайностей. А теперь цивилизация и префекты не допускают никаких случайностей, ничего неожиданного. Едва только обнаружится какая-нибудь неожиданная мысль, сейчас же на нее обрушиваются с эпиграммами, а уж если в каком-нибудь событии мелькнет что-либо неожиданное, нет на свете такой подлости, на которую бы не толкнул нас страх. До какой бы нелепости мы ни дошли от страха, она уже заранее оправдана. Выродившийся, скучный век! Что бы сказал Бонифас де Ла-Моль, если бы, подняв из гробницы свою отрубленную голову, он увидел в тысяча семьсот девяносто третьем году семнадцать своих потомков, которые, как бараны, позволили схватить себя, чтобы отправиться через два дня на гильотину? Они наверняка знали, что идут на смерть, но защищаться, убить хотя бы одного или двух якобинцев считалось, видите ли, дурным тоном. Ах, в те героические времена Франции, в век Бонифаса де Ла-Моля, Жюльен был бы командиром эскадрона, а брат мой — юным благонравным священником с целомудрием в очах и вразумлением на устах».

Тому назад несколько месяцев Матильда отчаивалась встретить когда-либо человека, который бы хоть немножко отличался от общего шаблона. Она придумала себе развлечение: вступить в переписку с некоторыми молодыми людьми из общества. Такая предосудительная вольность, такая опрометчивость молодой девушки могли серьезно уронить ее в глазах г-на де Круазенуа, его отца, герцога де Шона, и всей этой семьи, которая, узнав о том, что предполагаемый брак расстраивается, могла бы осведомиться о причинах этого. Матильда даже иной раз не спала в те дни, когда отваживалась написать кому-нибудь письмо. Но ведь ее письма тогда были только ответами.

А здесь она сама осмелилась написать, что любит. Она написала сама, *первая* (какое ужасное слово!), человеку, занимающему самое последнее место в обществе.

Стань этот поступок известен, это, безусловно, опозорило бы ее навеки. Никто из женщин, бывающих у ее матери, не осмелился бы стать на ее сторону! Да и что можно было бы придумать для ее оправдания, чтобы они могли повторить это и ослабить удар ужасающего презрения гостиных?

Ведь даже вымолвить такое признание — и то было бы ужасно; а написать! *«Есть вещи, которых не пишут!»* — вскричал Наполеон, узнав о капитуляции при Байлене. И ведь как раз Жюльен и рассказал ей об этой фразе, точно он заранее хотел преподать ей урок.

Но все это еще были пустяки; мучительные опасения Матильды проистекали из других причин. Невзирая на то, какое ужасное впечатление могло все это произвести на общество, какой несмываемый позор и презрение грозили ей,— ибо она оскорбляла свою касту,— Матильда решилась написать человеку совсем иной породы, нежели все эти Круазенуа, де Люзы, Келюсы.

Глубина, *непостижимость* натуры Жюльена могли испугать даже при самых обычных отношениях с ним. А она собиралась сделать его своим возлюбленным, быть может, своим властелином.

«Кто знает, какие у него появятся притязания, если я когда-нибудь окажусь в его власти? Ну что ж, мне придется тогда сказать себе, как говорила Медея: «Средь ужасов таких мне «Я» мое осталось».

«У Жюльена нет никакого уважения к благородству крови,— думала она.— Хуже того, может быть, он даже вовсе и не влюблен в меня!»

В эти мучительные минуты ужасных сомнений ее стали преследовать мысли о женской гордости. «Все должно быть необычно в судьбе такой девушки, как я!» — вскричала однажды разгневанная Матильда. И тогда гордость, которая была взлелеяна в ней с колыбели, восстала против добродетели. И вот в эту-то минуту отъезд Жюльена внезапно ускорил ход событий.

(Такие натуры, к счастью, весьма редки.)

Вечером, уже совсем поздно, Жюльену пришло в голову схитрить: он распорядился отнести свой дорожный сундук в швейцарскую и поручил это лакею, который ухаживал за горничной м-ль де Ла-Моль. «Может быть, эта хитрость ни к чему и не поведет,— сказал он себе,— но если она удастся, Матильда подумает, что я уехал». И он уснул, очень довольный своей проделкой. Матильда не сомкнула глаз.

На другой день Жюльен спозаранку ушел из дому, никем не замеченный, но вернулся, когда еще не было восьми часов.

Едва он вошел в библиотеку, как в дверях появилась м-ль де Ла-Моль. Он передал ей свой ответ. Он подумал, что ему следовало бы что-то сказать ей — более удобный момент трудно было бы и выбрать,— но м-ль де Ла-Моль не пожелала его слушать и исчезла. Жюльен был в восторге, ибо он не знал, что ей сказать.

«Если только все это не шутка, которую они затеяли сообща с графом Норбером, ясно как день, что именно мои невозмутимо холодные взгляды, они-то и зажгли эту диковинную любовь, которую эта знатная девица вздумала питать ко мне. Я оказался бы непозволительно глуп, если бы когда-нибудь позволил себе увлечься всерьез этой долговязой белобрысой куклой». Это умозаключение привело к тому, что он почувствовал себя таким холодным и расчетливым, каким никогда в жизни не был.

«В сражении, которое сейчас готовится,— продолжал он,— ее дворянская гордость будет своего рода пригорком — военной позицией между мной и ею. Вот по нему-то и надо бить. Я преглупо поступил, оставшись в Париже. Эта оттяжка с отъездом унижает меня, ставит меня в невыгодное положение, если, конечно, это не что иное, как комедия. А чем бы я рисковал, если бы уехал? Вышло бы, что и я насмеялся над ними, в случае если они насмехаются надо мной. А если она действительно сколько-нибудь интересуется мной, то ее интерес ко мне только вырос бы от этого во сто раз».

Письмо м-ль де Ла-Моль до такой степени приятно польстило тщеславию Жюльена, что хоть он и посмеивался, не решаясь поверить тому, что произошло, но ему тогда и в голову не пришло серьезно подумать, как уместен был бы его отъезд.

Он был чрезвычайно чувствителен к своим промахам,— это была злосчастная черта его характера. На этот раз он до такой степени огорчился, что у него чуть ли не вылетела из памяти необычайная победа, предшествовавшая этой маленькой неудаче, когда вдруг, часов около девяти, на пороге библиотеки появилась м-ль де Ла-Моль, бросила ему письмо и убежала.

«Похоже, что это будет роман в письмах,— промолвил он, поднимая письмо.— Неприятель делает вероломную вылазку, ну, а я пущу в ход холодность и добродетель!»

У него просили определенного ответа, при этом с таким высокомерием, что его это развеселило. Он доставил себе удоволь-

ствие и исписал целых две страницы, дурачась над людьми, которым вздумалось издеваться над ним, и в конце письма забавы ради прибавил, что уезжает завтра рано утром.

Окончив письмо, он тут же подумал: «Отдам ей в саду». Он вышел в сад и поглядел на окна комнаты м-ль де Ла-Моль.

Комната ее помещалась во втором этаже, рядом с апартаментами матери, но под ними были большие антресоли.

Второй этаж был расположен так высоко, что Жюльена, который с письмом в руках прогуливался по липовой аллее, нельзя было увидеть из окна м-ль де Ла-Моль. Его совершенно закрывал свод из липовых деревьев, подстриженных с необыкновенной тщательностью.

«Да что это я! — вдруг с досадой подумал Жюльен.— Какая опять неосторожность! Если все это задумано нарочно, чтобы посмеяться надо мной,— расхаживать тут, на виду, с письмом в руке — значит помогать моим неприятелям».

Комната графа Норбера находилась как раз над комнатой его сестры, и стоило только Жюльену выйти из-под зеленого свода подстриженных лип, граф и его друзья могли отлично наблюдать за всеми его движениями.

Мадемуазель де Ла-Моль появилась у своего окна. Он показал ей уголок письма, она кивнула. Жюльен бегом бросился к себе наверх и вдруг на парадной лестнице столкнулся лицом к лицу с прелестной Матильдой, которая совершенно спокойно выхватила у него из рук письмо и посмотрела на него смеющимися глазами.

«Сколько чувства бывало в глазах бедняжки госпожи де Реналь,— подумал Жюльен,— когда уже спустя полгода после того, как мы стали близки друг другу, она так робко брала у меня из рук письмо. Мне кажется, она ни разу в жизни не смотрела на меня смеющимися глазами».

Он не пытался довести свою мысль до конца и найти ей объяснение; быть может, он устыдился суетности своих побуждений. «Но какая же, однако, разница,— не унималась мысль,— и в изяществе утреннего туалета, и в изяществе манер! Всякий человек со вкусом, увидев Матильду на расстоянии тридцати шагов, сразу поймет, к какому классу общества принадлежит эта девушка. Вот уж это у нее действительно бесспорное достоинство».

Так, пошучивая, Жюльен все-таки не признавался себе до конца в своей мысли: ведь у г-жи де Реналь не было маркиза де Круазенуа, которым она могла бы для него пожертвовать. Единственным его соперником был этот гнусный помощник

префекта г-н Шарко, который называл себя де Можироном, потому что никого из Можиронов в живых не осталось.

В пять часов дня Жюльен получил третье письмо: ему бросили его с самого порога библиотеки. И опять м-ль де Ла-Моль сразу убежала. «Какая страсть к переписке! — смеясь, подумал Жюльен.— Так просто было бы поговорить друг с другом! Ясно, неприятель желает заполучить мои письма, да побольше!» Он, не торопясь, распечатал письмо. «Опять красивые фразы...» — подумал он, но, пробежав письмо глазами, он побледнел. В нем было всего восемь строк:

«Мне надо поговорить с вами, мне необходимо поговорить с вами сегодня же вечером: как только пробьет час ночи, выходите в сад. Возьмите большую лестницу садовника, у колодца, подставьте ее к моему окну и поднимитесь ко мне. Теперь полнолуние, светло — но все равно».

XV

А ЭТО НЕ ЗАГОВОР?

О, сколь мучителен промежуток времени, отделяющий смелый замысел от его выполнения! Сколько напрасных страхов! Сколько колебаний! На карту ставится жизнь — более того, много более: честь!

Шиллер.

«Дело принимает серьезный оборот,— подумал Жюльен.— И что-то уж чересчур недвусмысленный...— добавил он после некоторого раздумья.— Как же так? Эта прелестная девица может поговорить со мной в библиотеке, и, слава тебе господи, совершенно свободно, ибо маркиз, который боится, как бы я к нему не пристал со счетами, никогда сюда не заглядывает. Госпожа де Ла-Моль и граф Норбер — единственные лица, которые могут сюда войти, но их целыми днями дома нет, и нет ничего проще проследить момент их возвращения домой,— и великолепная Матильда, руки которой счастлив был бы удостоиться какой-нибудь наследный принц, желает заставить меня пойти на такую чудовищную неосторожность!

Ясно: меня хотят погубить или по меньшей мере сделать из меня посмешище. Сначала они рассчитывали проделать это с помощью моих писем, но письма эти оказались слишком осто-

рожными. Теперь они хотят толкнуть меня на такой шаг, который выдаст им меня с головой. Похоже, что эти любезные господа считают меня отменным дураком или уж невесть каким фатом. Черт возьми! Ночью сейчас светло, как днем, луна светит вовсю, а я должен лезть по лестнице в бельэтаж на вышину в двадцать пять футов! Да меня тут же из соседних домов заметят. Нечего сказать, хорош я буду на этой лестнице!» Жюльен пошел к себе и, насвистывая, стал укладывать свой дорожный сундук. Он решил даже не отвечать Матильде. Однако это мудрое решение не принесло ему душевного покоя.

«А что, если вдруг,— промолвил он, уже закрыв свой сундук,— все это у Матильды всерьез? В таком случае я окажусь в ее глазах презреннейшим трусом. Я не могу похвастаться происхождением, мне надо обладать подлинными достоинствами, наличными, не такими, которые основываются на всяких там милых предположениях, а такими, что говорят сами за себя, поступками».

Он стал прохаживаться взад и вперед по своей комнате; прошло примерно четверть часа. «Ну что там толковать? — сказал он наконец.— Ясно, что она сочтет меня трусом. И я лишу себя не только самой блестящей красавицы высшего света — так ведь они говорили там на бале, у герцога де Реца,— но лишу себя и несказанного наслаждения видеть, как мне жертвуют маркизом де Круазенуа, сыном герцога и будущим герцогом, таким бесподобным молодым человеком, а ведь у него все преимущества, которых у меня нет: изящное остроумие, знатность, богатство...

Всю жизнь меня потом будет грызть раскаяние — не из-за нее, конечно,— мало ли на свете красоток!

...Но честь у нас одна! —

как говорит старый дон Диего. И вот сейчас я совершенно явно, несомненно отступаю перед первой же опасностью, которая встречается на моем пути. Потому что дуэль с господином де Бовуази — это была просто забава. А тут совсем другое дело. Меня может подстрелить, как воробья, какой-нибудь лакей, и это еще не самое страшное,— меня могут опозорить».

«Да, голубчик, это дело нешуточное! — молодцевато, гасконским говорком добавил он.— Речь идет о твоем *добром имечке.* Никогда уж тебе, бедному малому, заброшенному злосчастной судьбой на самое дно, не представится другого такого случая. Может, еще когда и будут удачи, да не такие!..»

Он долго раздумывал, расхаживая взад и вперед быстрым шагом и время от времени круто останавливаясь. Ему поставили в комнату великолепный мраморный бюст кардинала Ришелье, на который он невольно поглядывал. Этот бюст, освещенный сейчас светом лампы, казалось, глядел на него сурово, словно упрекая его в отсутствии смелости, которую надлежит иметь истинному французу. «В твое время, великий человек, неужели я бы задумался?»

«Представим себе самое худшее,— сказал, наконец, Жюльен,— предположим, что это ловушка: но ведь это может кончиться очень гадко и позорно для молодой девушки. Они знают, что я не такой человек, который будет молчать. Стало быть, меня надо прикончить. Все это было очень хорошо в тысяча пятьсот семьдесят четвертом году, во времена Бонифаса де Ла-Моля, но теперешние де Ла-Моли никогда на такое дело не отважатся: не такие это люди. Мадемуазель де Ла-Моль так все кругом завидуют! Ее позор завтра же прогремит по всем четыремстам гостиным! И с каким наслаждением за него ухватятся! Прислуга уже и сейчас судачит о том, что я пользуюсь особым вниманием,— я знаю это, я слышал, как они болтали.

А с другой стороны — эти письма!.. Они, верно, думают, что я с ними не расстаюсь. Вот они и решили заманить меня в ее комнату, а там бросятся на меня и отнимут их. Возможно, меня там будут подстерегать двое, трое, четверо. Кто их знает? Но откуда же они возьмут этих людей? Да разве в Париже теперь найдешь слуг, на которых можно положиться? Все они трусят перед судом... Ах, черт... да ведь это могут быть они сами — Келюсы, Круазенуа, де Люзы. Какой соблазн для них полюбоваться этим зрелищем, когда я буду стоять перед ними дурак дураком! Берегитесь участи Абеляра, господин секретарь!

Ах так, господа? Но уж я позабочусь, чтобы и у вас сохранились следы: буду рубить прямо по лицу, как солдаты Цезаря при Фарсале... А письма я сумею припрятать в надежное место».

Жюльен переписал два последних письма и спрятал их в один из томов роскошного издания Вольтера, взятого из библиотеки, а оригиналы сам понес на почту.

Когда он вернулся домой, он вдруг, словно очнувшись, спросил себя с изумлением и ужасом: «Что я делаю! Ведь это совершенно безумная затея!» До этого он целых четверть часа ни разу не подумал о том, что́ ему предстоит нынче ночью.

«Но если я откажусь, я потом буду презирать себя. Всю жизнь я буду мучиться сомнением, а для меня такое сомнение

страшнее всего на свете. Как я тогда мучился из-за любовника этой Аманды! Мне кажется, я бы скорее простил себе самое настоящее преступление: раз признавшись, я бы перестал о нем думать. Как! Судьба посылает мне такой невероятно счастливый случай, выделяет меня из толпы, чтобы сделать соперником человека, который носит одно из самых славных имен Франции, и я сам, добровольно, уступаю ему! Да ведь это трусость — не пойти. А если так — тогда решено! — воскликнул Жюльен, вскакивая.— Да к тому же еще такая красотка!

Если все это не предательство, то на какое же безумие решается она ради меня!.. А если это, черт возьми, фарс, что ж, господа, от меня зависит превратить эту шутку в нечто весьма серьезное, и я это сделаю.

А если мне сразу свяжут руки, как только я появлюсь в комнате? Вдруг они там поставят какой-нибудь хитроумный капкан!»

«Но ведь это как на дуэли! — сказал он вдруг, рассмеявшись.— Всякий удар можно парировать, как говорит мой учитель фехтования, но господь бог, который хочет положить конец поединку, делает так, что один из противников забывает отразить удар. Во всяком случае, у меня есть чем им ответить».— С этими словами он вытащил из кармана свои пистолеты и, хотя они были недавно заряжены, перезарядил их.

Времени впереди было много, можно было еще чем-нибудь заняться. Жюльен сел писать письмо Фуке: «Друг мой, письмо, которое сюда вложено, ты вскроешь только в том случае, если что-нибудь случится, если ты услышишь, что со мной произошло нечто необыкновенное. Тогда сотри собственные имена в рукописи, которую я тебе посылаю, сделай восемь копий и разошли их по газетам в Марсель, Бордо, Лион, Брюссель и так далее; через десять дней отпечатай эту рукопись и пошли первый экземпляр маркизу де Ла-Молю, а недели через две разбросай ночью остальные экземпляры по улицам Верьера».

В этом маленьком оправдательном документе, написанном в форме повествования, который Фуке надлежало вскрыть, только если случится что-нибудь необычайное, Жюльен постарался, насколько возможно, пощадить доброе имя м-ль де Ла-Моль; однако он все же весьма точно описал свое положение.

Жюльен запечатывал свое послание, когда позвонили к обеду; сердце его забилось. Воображение его, взвинченное

только что написанным рассказом, было полно страшных предчувствий. Он уже видел, как его хватают, связывают по рукам и по ногам, затыкают рот кляпом и тащат в подвал. Там его оставят на попечение какого-нибудь холуя, который будет стеречь его, не спуская глаз. А если честь знатной фамилии требует трагического конца, нет ничего легче устроить это при помощи какого-нибудь яда, который не оставляет следов, и тогда скажут, что он умер от такой-то болезни, и мертвого перенесут в его комнату.

Подобно автору, сочинившему драму, взволнованный собственным произведением, Жюльен действительно содрогался от страха, входя в столовую. Он поглядывал на этих слуг, разодетых в парадные ливреи. Он изучал их лица. «Кого из них выбрали для сегодняшней ночной экспедиции? — думал он.— В этой семье еще так живы предания о дворе Генриха III, так часто возвращаются к ним, что, конечно, эти люди, сочтя себя оскорбленными, способны, скорее чем кто-либо другой из их круга, прибегнуть к решительным действиям». Он посмотрел на м-ль де Ла-Моль, пытаясь прочесть в ее глазах коварные замыслы ее семьи. Она была бледна, лицо ее было совсем как на средневековом портрете. Никогда еще он не замечал в нем столь возвышенного благородства; поистине она была прекрасна и величественна. Он чуть ли не почувствовал себя влюбленным. «Pallida morte futura» [1],— решил он про себя. («Бледность ее выдает ее высокие замыслы»).

Напрасно он после обеда долго расхаживал по саду: м-ль де Ла-Моль так и не показалась. А какое бы бремя свалилось с его души, если бы он мог поговорить с ней сейчас!

Почему не сказать прямо — ему было страшно. А так как он уже твердо решил действовать, то сейчас, не стыдясь, предавался этому чувству. «Лишь бы только в решительный момент у меня хватило мужества,— говорил он себе.— А сейчас не все ли равно, что́ я испытываю?» Он заранее пошел посмотреть, где находится лестница, попробовал, тяжела ли она.

«Видно, мне на роду написано пользоваться этим орудием,— сказал он себе, усмехнувшись.— Вот теперь здесь, как тогда — в Верьере. Но какая разница! Да, там,— вздохнув, прибавил он,— мне не приходилось опасаться особы, ради которой я подвергал себя такому риску. Да и риск был далеко не тот.

---

[1] «Бледна перед лицом смерти» *(итал.)*.

Если бы меня тогда подстрелили в саду господина де Реналя, для меня не было бы в этом ничего позорного. Мою смерть, не задумываясь, приписали бы некоей необъяснимой случайности. А здесь — каких только ужасов не будут рассказывать обо мне в гостиных у герцога де Шона, у Келюсов, у Реца и прочих — словом, повсюду! Меня просто чудовищем сделают на веки вечные».

«На два, на три года, не больше! — добавил он, посмеиваясь над собой.— А чем бы можно было меня оправдать? Ну, допустим, что Фуке напечатает мой посмертный памфлет,— ведь это лишь еще более заклеймит меня. Подумать только! Меня приютили в доме, и в благодарность за гостеприимство, за все благодеяния, которые мне здесь оказывают, я публикую памфлет с описанием того, что здесь делается! Порочу честь женщины! Ах, нет, тысячу раз лучше остаться в дураках».

Это был ужасный вечер.

XVI

ЧАС НОЧИ

> Сад этот был очень большой, и разбит он был с изумительным вкусом тому назад несколько лет. Но деревья росли здесь со времен достопамятного Пре-о-Клера, столь прославившегося в царствование Генриха III. Им было более ста лет. От них веяло каким-то диким привольем.
>
> *Мессинджер.*

Он только что собрался написать Фуке, чтобы отменить свое предыдущее распоряжение, когда услышал, что бьет одиннадцать. Он громко стукнул задвижкой и несколько раз повернул ключ в дверном замке своей комнаты, словно запирался на ночь. Затем, крадучись, пошел посмотреть, что делается в доме, в особенности на пятом этаже, где жили слуги. Нигде ничего особенного не происходило. У одной из горничных г-жи де Ла-Моль была вечеринка,— собравшиеся весело попивали пунш. «Те, что там гогочут,— подумал Жюльен,— не могут участвовать в этой ночной засаде,— они были бы настроены посерьезней».

Наконец он пробрался в самый темный угол сада. «Если они решили не посвящать в это дело здешних слуг, то люди, которым поручено схватить меня, явятся, очевидно, через садовую ограду.

Если господин де Круазенуа все это хладнокровно обдумал, он, разумеется, должен был бы сообразить, что для репутации особы, на которой он собирается жениться, более безопасно схватить меня, прежде чем я успею проникнуть в ее комнату».

Он произвел настоящую рекогносцировку, и весьма тщательную. «Ведь тут на карту поставлена моя честь,— думал он,— и если я чего-нибудь не предусмотрю и попаду впросак, напрасно я потом буду говорить себе: «Ах, я об этом не подумал»,— все равно я себе этого никогда не прощу». Погода была на редкость ясная: тут уж надеяться было не на что. Луна взошла около одиннадцати, и сейчас, в половине первого, она заливала ярким светом весь фасад особняка, выходивший в сад.

«Нет, она просто с ума сошла!» — думал Жюльен. Пробило час, но в окнах графа Норбера все еще был виден свет. Никогда за всю свою жизнь Жюльен не испытывал такого страха: во всей этой затее ему со всех сторон мерещились одни только опасности, и он не чувствовал ни малейшего пыла.

Он пошел, притащил огромную лестницу, подождал минут пять — может быть, она еще одумается? — и ровно в пять минут второго приставил лестницу к окну Матильды. Он поднялся тихонько, держа пистолет в руке, удивляясь про себя, что его до сих пор не схватили. Когда он поравнялся с окном, оно бесшумно раскрылось.

— Наконец-то! — сказала ему Матильда, явно взволнованная.— Я уже целый час слежу за всеми вашими движениями.

Жюльен чувствовал себя в высшей степени растерянно; он не знал, как ему следует себя вести, и не испытывал никакой любви. Стараясь преодолеть свое замешательство, он подумал, что надо держаться посмелей, и попытался обнять Матильду.

— Фу,— сказала она, отталкивая его.

Очень довольный тем, что его оттолкнули, он поспешно огляделся по сторонам. Луна светила так ярко, что тени от нее в комнате Матильды были совсем черные. «Очень может быть, что тут где-нибудь и спрятаны люди, только я их не вижу»,— подумал он.

— Что это у вас в боковом кармане? — спросила Матильда, обрадовавшись, что нашлась какая-то тема для разговора.

Она была в мучительнейшем состоянии: все чувства, которые она преодолевала в себе,— стыдливость, скромность, столь естественные в девушке благородного происхождения,— теперь снова овладели ею, и это была настоящая пытка.

— У меня тут оружие всех родов, в том числе и пистолеты,— отвечал Жюльен, довольный не менее ее, что может что-то сказать.

— Надо опустить лестницу,— сказала Матильда.

— Она огромная. Как бы не разбить окна внизу в гостиной или на антресолях.

— Нет, окон бить не надо,— возразила Матильда, тщетно пытаясь говорить непринужденным тоном.— Мне кажется, вы могли бы опустить лестницу на веревке, если ее привязать к первой перекладине. У меня тут всегда целый запас веревок.

«И это влюбленная женщина! — подумал Жюльен.— И она еще осмеливается говорить, что любит! Такое хладнокровие, такая обдуманность во всех этих мерах предосторожности довольно ясно показывают, что я вовсе не торжествую над господином де Круазенуа, как мне по моей глупости вообразилось, а просто являюсь его преемником. В сущности, не все ли равно! Я ведь не влюблен в нее! Я торжествую над маркизом в том смысле, что ему, разумеется, должно быть неприятно, что его заменил кто-то другой, а еще более неприятно, что этот другой — я. С каким высокомерием он поглядел на меня вчера в кафе Тортони, делая вид, что не узнал меня, и с каким злым видом он, наконец, кивнул мне, когда уж больше неудобно было притворяться!»

Жюльен привязал веревку к верхней перекладине лестницы и стал медленно опускать ее, высунувшись далеко за оконную нишу, чтобы не задеть лестницей стекла внизу. «Вот удобный момент, чтобы прикончить меня,— подумал он,— если кто-нибудь спрятан в комнате у Матильды». Но кругом по-прежнему царила глубокая тишина.

Лестница коснулась земли, Жюльену удалось уложить ее на гряду с экзотическими цветами, которая в виде бордюра шла вдоль стены.

— Что скажет моя матушка,— молвила Матильда,— когда увидит свои роскошные насаждения в таком изуродованном виде.

— Надо бросить и веревку,— добавила она с неизъяснимым хладнокровием.— Если увидят, что она спущена из окна, это будет довольно трудно объяснить.

— А мой как уходить отсюда? — шутливым тоном спросил Жюльен, подражая ломаному языку креолов. (Одна из горничных в доме была родом из Сан-Доминго.)

— Вам — ваш уходить через дверь,— в восторге от этой выдумки отвечала Матильда.

«Ах, нет,— подумала она,— конечно, этот человек достоин моей любви!»

Жюльен бросил веревку в сад; Матильда схватила его за руку. Подумав, что это враг, он быстро обернулся и выхватил кинжал. Ей показалось, что где-то открыли окно. Несколько мгновений они стояли неподвижно, затаив дыхание. Луна озаряла их ярким, полным светом. Шум больше не повторился, беспокоиться было нечего.

И тогда снова наступило замешательство,— оно было одинаково сильно у обоих. Жюльен удостоверился, что дверь в комнату заперта на все задвижки; ему очень хотелось заглянуть под кровать, но он не решался. Там вполне могли спрятаться один, а то и два лакея. Наконец, устрашившись мысли, что он потом сам будет жалеть о своей неосторожности, он заглянул.

Матильду опять охватило мучительное чувство стыда. Она была в ужасе от того, что она затеяла.

— Что вы сделали с моими письмами? — выговорила она наконец.

— Первое письмо спрятано в толстенную протестантскую Библию, и вчерашний вечерний дилижанс увез ее далеко-далеко отсюда.

Он говорил очень внятно и умышленно приводил эти подробности с тем, чтобы люди, которые могли спрятаться в двух огромных шкафах красного дерева, куда он не решался заглянуть, услышали его.

— А другие два сданы на почту и отправлены той же дорогой.

— Боже великий! Зачем же такие предосторожности? — спросила изумленная Матильда.

«Чего мне, собственно, лгать?» — подумал Жюльен и признался ей во всех своих подозрениях.

— Так вот чем объясняются твои холодные письма! — воскликнула Матильда, и в голосе ее слышалось скорее какое-то исступление, чем нежность.

Жюльен не заметил этого оттенка, но от этого «ты» кровь бросилась ему в голову, и все его подозрения мигом улетучились; он точно сразу вырос в собственных глазах; осмелев, он схватил в объятия эту красавицу, которая внушала ему такое уважение. Его оттолкнули, но не слишком решительно.

Он снова прибегнул к своей памяти, как некогда в Безансоне с Амандой Бине, и процитировал несколько прелестных фраз из «Новой Элоизы».

— У тебя мужественное сердце,— отвечала она ему, не вслушиваясь в его слова.— Я признаюсь тебе: мне хотелось испытать твою храбрость. Твои подозрения и твоя решимость доказывают, что ты еще бесстрашнее, чем я думала.

Матильде приходилось делать над собой усилия, чтобы говорить с ним на «ты», и, по-видимому, это непривычное обращение больше поглощало ее внимание, чем то, что она говорила.

Спустя несколько мгновений это «ты», лишенное всякой нежности, уже не доставляло никакого удовольствия Жюльену; его самого удивляло, что он не испытывает никакого счастья, и, чтобы вызвать в себе это чувство, он обратился к рассудку. Ведь он сумел внушить уважение этой гордячке, которая так скупа на похвалы, что если когда кого и похвалит, так тут же оговорится; это рассуждение наполнило его самолюбивым восторгом.

Правда, это было совсем не то душевное блаженство, которое он иной раз испытывал подле г-жи де Реналь. Боже великий! Какая разница! В его ощущениях сейчас не было решительно ничего нежного. Это был просто бурный восторг честолюбия, а Жюльен был прежде всего честолюбив. Он снова стал рассказывать ей, какие у него были подозрения, какие меры предосторожности он придумал. И, рассказывая, обдумывал, как бы ему воспользоваться плодами своей победы.

Матильда все еще испытывала чувство острой неловкости и, по-видимому, совершенно подавленная своей выходкой, была чрезвычайно рада, что нашлась тема для разговора. Они заговорили о том, каким способом они будут видеться в дальнейшем. И Жюльен во время этой беседы не преминул снова блеснуть умом и храбростью. Ведь они имеют дело с весьма проницательными людьми. Этот юный Тамбо, разумеется,— настоящий шпион. Однако Матильда и он тоже не лишены хитрости.

— Что может быть проще — встретиться в библиотеке и там обо всем условиться?

— Я имею возможность,— продолжал Жюльен,— появляться, не возбуждая ни малейших подозрений, повсюду у вас в доме, вплоть до покоев госпожи де Ла-Моль.

Только через комнаты г-жи де Ла-Моль и можно было пройти в комнату ее дочери. Но если Матильде больше нравится, чтобы он и впредь взбирался к ней в окно по приставной лестнице, он с наслаждением готов подвергать себя этой ничтожной опасности.

Матильда, слушая его, возмущалась этим победоносным тоном. «Так, значит, он уже мой господин?» — говорила она себе. И ее терзало раскаяние. Рассудок ее восставал против той неслыханной глупости, которую она допустила. Если бы только она могла, она бы сейчас убила и себя и Жюльена. Когда ей усилием воли удавалось на мгновение заглушить эти угрызения совести, чувства застенчивости и оскорбленного целомудрия причиняли ей невыносимые страдания. Никогда у нее даже и мысли не было, что это будет для нее так ужасно.

«И все-таки я должна заставить себя разговаривать с ним,— сказала она себе наконец,— ведь с возлюбленным принято разговаривать». И, побуждаемая этим долгом по отношению к самой себе, она с чувством, которое проявлялось, впрочем, только в ее речах, но отнюдь не в голосе, стала рассказывать ему о том, какие противоречивые решения по поводу него она принимала и отменяла в течение этих последних дней.

И вот в конце концов она решила так: если у него хватит смелости явиться к ней, поднявшись по садовой лестнице, как она ему написала, она станет его возлюбленной. Но вряд ли когда-нибудь такие любовные речи произносились столь холодным и учтивым тоном.

Свидание это до сих пор было совершенно ледяным. Поистине, к такой любви можно было проникнуться омерзением. Какой поучительный урок для молодой опрометчивой девицы! Стоило ли рисковать всей своей будущностью ради такой минуты?

После долгих колебаний, которые постороннему наблюдателю могли бы показаться следствием самой несомненной ненависти,— с таким трудом даже твердая воля Матильды преодолевала естественные женские чувства, стыдливость, гордость,— она, наконец, заставила себя стать его любовницей.

Однако, сказать правду, эти любовные порывы были несколько нарочиты. Страстная любовь была для нее скорее

неким образцом, которому следовало подражать, а не тем, что возникает само собой.

Мадемуазель де Ла-Моль считала, что она выполняет долг по отношению к самой себе и к своему возлюбленному. «Бедняжка проявил поистине безупречную храбрость,— говорила она себе,— он должен быть осчастливлен, иначе это будет малодушием с моей стороны». Но она с радостью согласилась бы обречь себя на вечные мучения, только бы избежать этой ужасной необходимости, которую она сама себе навязала.

И все же, несмотря на страшное насилие, которому она себя подвергла, Матильда внешне вполне владела собой.

Никакие сожаления и упреки не омрачили этой ночи, которая показалась Жюльену скорее необычайной, чем счастливой. Какая разница, боже мой, с тем последним свиданием, с теми сутками, которые он провел в Верьере! «Эти прекрасные парижские правила хорошего тона ухитрились испортить всё, даже самую любовь!» — говорил он себе, что было весьма несправедливо.

Этим размышлениям он предавался в одном из огромных шкафов красного дерева, куда его заставили спрятаться, как только послышалось движение в соседних покоях, занимаемых г-жой де Ла-Моль. Матильда отправилась с матерью к мессе, горничные ушли, и Жюльену удалось выскользнуть незаметно, прежде чем они вернулись и приступили к уборке комнат.

Он отправился верхом в Медонской лес; он ехал шагом и выбирал самые уединенные места. Он чувствовал себя скорее изумленным, чем счастливым. Радость, временами охватывавшая его, была подобна радости юного подпоручика, которого за какой-нибудь удивительный подвиг главнокомандующий сразу производит в полковники,— он чувствовал себя вознесенным на недосягаемую высоту. Все то, что накануне стояло высоко над ним, теперь оказалось рядом или даже значительно ниже. Счастье Жюльена вырастало мало-помалу, по мере того как оно отдалялось от него.

Если в душе Матильды не пробудилось никакой нежности, это объяснялось, как это ни странно, тем, что она во всем своем поведении с ним повиновалась предписанному себе долгу. В событиях этой ночи для нее не было ничего неожиданного, кроме горя и стыда, которые охватили ее, вместо того упоительного блаженства, о котором рассказывается в романах.

«Уж не ошиблась ли я? Да люблю ли я его?» — говорила она себе.

XVII

СТАРИННАЯ ШПАГА

I now mean to be serious;— it is time,
Since laughter now-a-days is deem'd too serious.
A jest at Vice by Virtue's call'd a crime...

Don Juan, c. XIII st. I[1].

К обеду она не вышла. Вечером она появилась на минутку в гостиной, но даже не взглянула на Жюльена. Такое поведение показалось ему странным. «Впрочем,— подумал он,— надо признаться, все эти правила высшего света известны мне только по самым обыденным вещам, которые я наблюдаю изо дня в день. Конечно, она потом мне все это объяснит». Однако его снедало ужасное любопытство, и он вглядывался в выражение лица Матильды; он не мог не признаться себе, что оно было черствое и злое. Ясно, что это была совсем не та женщина, которая прошлой ночью предавалась или делала вид, что предается, восторгам любви, слишком, пожалуй, преувеличенным, чтобы можно было поверить в их искренность.

И на другой день и на третий — все та же неизменная холодность с ее стороны; она не смотрела на него, она совершенно не замечала его присутствия! Жюльен, охваченный мучительным беспокойством, чувствовал себя теперь за тридевять земель от тех победоносных ощущений, которые только и воодушевляли его в тот первый день. «Уж не сожалеет ли она о том, что сошла с пути добродетели?» — думал Жюльен. Но такое предположение казалось ему чересчур мещанским в отношении гордой Матильды.

«В обычном житейском обиходе она совсем не признает религии,— рассуждал он.— Она привержена к ней только потому, что считает ее полезной в интересах своей касты.

А может быть, просто по женской слабости она раскаивается в том, что совершила такой непоправимый шаг». Жюльен полагал, что он первый ее возлюбленный.

---

[1] Пора мне стать серьезным, ибо смех
Сурово судят ныне. Добродетель
И шутку над пороком ставит в грех... *Байрон, «Дон Жуан», песнь XIII, строфа I (англ.).*

«Однако,— говорил он себе через несколько минут,— я, признаться, не замечаю в ее поведении ни малейшей наивности, никакого простосердечия или нежности. Никогда еще она не была так похожа на королеву, сошедшую с трона. Уж не презирает ли она меня? На нее это похоже: ведь она способна, вспомнив о моем низком происхождении, раскаяться в том, что сделала».

В то время как Жюльен, ослепленный ложными представлениями, почерпнутыми из книг и из верьерских воспоминаний, лелеял в своем воображении образ нежной возлюбленной, забывшей о своем существовании с того момента, как она составила счастье своего возлюбленного, возмущенное тщеславие Матильды яростно восставало против него.

Так как ей за эти два месяца ни разу не приходилось скучать, она перестала бояться скуки — и таким образом Жюльен, нимало того не подозревая, утратил одно из своих самых важных преимуществ.

«Итак, я обзавелась господином,— говорила себе м-ль де Ла-Моль, в смятении расхаживая взад и вперед по комнате.— Он полон благородства; это, конечно, очень мило, но если только я чем-нибудь всерьез задену его тщеславие, он отомстит мне, разгласив наши отношения». Вот уж поистине несчастье нашего века: даже самые отчаянные сумасбродства не излечивают от скуки. Жюльен был первым увлечением Матильды. И в то время как подобное обстоятельство даже у самых черствых натур пробуждает в душе сладостные иллюзии, она вся была поглощена самыми горькими размышлениями.

«Он приобрел надо мной огромную власть, ибо его господство основано на страхе. Он может покарать меня чудовищно, если я выведу его из терпения». Одной этой мысли было достаточно, чтобы заставить Матильду обрушиться на Жюльена, ибо основным качеством ее натуры была смелость. Ничто так не могло оживить ее и излечить от постоянно повторяющихся приступов скуки, как мысль, что она ставит на карту всю свою жизнь.

На третий день, видя, что м-ль де Ла-Моль упорно не желает глядеть на него, Жюльен, явно вопреки ее желанию, пошел вслед за нею после обеда в бильярдную.

— Вы, сударь, изволили, по-видимому, вообразить,— сказала она с еле сдерживаемым гневом,— что вы приобрели надо мной какие-то особенные права, если, вопреки моему желанию, выраженному как нельзя более ясно, вы пытаетесь за-

говорить со мной?.. Известно ли вам, что никто в мире не осмеливался еще на подобную дерзость?

Нельзя представить себе ничего более смешного, чем разговор этих двух любовников; сами того не замечая, они воспламенились друг к другу самой яростной ненавистью. Так как ни один из них не отличался терпением, а вместе с тем оба привыкли держать себя прилично, они, не тратя лишних слов, очень скоро заявили друг другу, что между ними все кончено.

— Клянусь вам, все, что было, навсегда останется нерушимой тайной,— сказал Жюльен.— И позволю себе добавить, что отныне я никогда не сказал бы вам ни слова, если бы только ваша репутация не пострадала от такой чересчур заметной перемены.

Он почтительно поклонился и ушел.

До сих пор он без особого усилия подчинялся тому, что считал своим долгом; он ни минуты не думал, что серьезно влюблен в м-ль де Ла-Моль. Безусловно, он не был влюблен в нее три дня тому назад, когда его спрятали в большом шкафу красного дерева. Но все мигом изменилось в его душе, как только он увидел, что они поссорились навеки.

Его безжалостная память сейчас же принялась рисовать ему все малейшие подробности той ночи, которая на самом деле оставила его совершенно холодным.

Через день после их объяснения и разрыва Жюльен ночью чуть не сошел с ума, вынужденный признаться себе, что любит м-ль де Ла-Моль.

Какая ужасная внутренняя борьба поднялась в его душе вслед за этим открытием! Все чувства его точно перевернулись.

Прошла неделя, и вместо того, чтобы гордо не замечать г-на де Круазенуа, он уже готов был броситься ему в объятия и разрыдаться у него на груди.

Свыкнувшись со своим несчастьем, он обрел в себе силы проявить немного здравого смысла и решил уехать в Ланге-док. Он уложил свой дорожный сундук и отправился на почтовый двор.

Он чуть не лишился чувств, когда на почтовой станции ему сказали, что по счастливой случайности есть место назавтра в тулузской почтовой карете. Он заплатил за это место и вернулся в особняк де Ла-Моля, чтобы сообщить маркизу о своем отъезде.

Господина де Ла-Моля не было дома. Жюльен, едва живой, отправился в библиотеку подождать его. Что сталось с ним, когда он увидел там м-ль де Ла-Моль!

При виде его на лице ее выразилась такая явная злоба, что никаких сомнений в том, что это относилось к нему, быть не могло.

Растерявшись от неожиданности, Жюльен в порыве горя не удержался и сказал ей кротким голосом, идущим из глубины души:

— Так, значит, вы меня больше не любите?

— Я в себя не могу прийти от ужаса, что отдалась первому встречному,— сказала Матильда и от злости на себя залилась слезами.

— *Первому встречному?* — вскричал Жюльен и бросился к старинной средневековой шпаге, которая хранилась в библиотеке как редкость.

Невыносимая мука, охватившая его в тот миг, когда он заговорил с м-ль де Ла-Моль, казалась свыше его сил, но когда он увидел, что она плачет от стыда, его страдание усилилось во сто крат. Он почувствовал бы себя счастливейшим из людей, если бы мог убить ее тут же на месте.

В ту минуту, когда он с некоторым усилием вытащил шпагу из старинных ножен, Матильда, обрадованная столь необычайным ощущением, гордо шагнула к нему навстречу: слезы ее мгновенно высохли.

Внезапно у Жюльена мелькнула мысль о маркизе де Ла-Моле, его благодетеле. «Я едва не убил его дочь! — подумал он.— Какой ужас!» — И он хотел было уже швырнуть шпагу. «Конечно, она сейчас покатится со смеху при виде такого мелодраматического жеста»,— подумал он, и эта мысль вернула ему все его самообладание. Он внимательно поглядел на лезвие старой шпаги, словно исследуя, нет ли на ней ржавчины, затем вложил ее снова в ножны и с невозмутимым спокойствием повесил на прежнее место, на бронзовый золоченый гвоздь.

Все эти его движения, которые к концу стали чрезвычайно медленными, длились с добрую минуту. М-ль де Ла-Моль смотрела на него с удивлением. «Итак, я была на волосок от смерти; меня чуть не убил мой любовник!» — думала она.

И мысль эта перенесла ее в далекие, чудесные времена Карла IX и Генриха III.

Она стояла неподвижно перед Жюльеном, который только что повесил шпагу на место, и смотрела на него, но в глазах ее уже не было ненависти. Надо признаться, она была поистине обольстительна в эту минуту, и уж во всяком случае про нее никак нельзя было сказать, что она похожа на парижскую куклу. Это выражение в устах Жюльена означало как раз то, что больше всего претило ему в парижанках.

«Как бы мне опять не поддаться своей слабости к нему!— подумала Матильда.— Тут-то он, уж наверно, и вообразит себя моим повелителем и господином, стоит только уступить ему, да еще сразу после того, как я говорила с ним так непреклонно». И она убежала.

«Боже, как она хороша! — думал Жюльен, глядя ей вслед.— И это создание всего каких-нибудь две недели тому назад так пылко кинулось в мои объятия!.. И эти мгновения больше никогда не повторятся, никогда! И я сам в этом виноват! А в самый момент этого столь необыкновенного, столь важного для меня события я был совершенно бесчувствен!.. Надо сознаться, я уродился на свет с каким-то ужасно убогим и на редкость несчастным характером».

Вошел маркиз; Жюльен поспешил сообщить ему о своем отъезде.

— Куда? — спросил г-н де Ла-Моль.

— В Лангедок.

— Нет уж, извините, вам предуготовлены более высокие дела. Если вы куда-нибудь и поедете, так на север... и даже скажу больше: выражаясь по-военному, я вас сажаю под домашний арест. Извольте мне обещать, что вы не будете отлучаться больше чем на два-три часа в день; вы мне можете понадобиться с минуты на минуту.

Жюльен поклонился и вышел, не сказав ни слова, чем маркиз был немало удивлен. Жюльен был не в состоянии говорить; он заперся у себя в комнате. Тут уж ему никто не мешал предаваться любым преувеличениям и проклинать беспримерную жестокость своей злосчастной судьбы.

«Вот теперь я даже уехать не могу,— говорил он.— И один бог знает, сколько времени продержит меня маркиз в Париже. Боже мой, что со мной будет? И нет ни одного друга,— не с кем посоветоваться. Аббат Пирар оборвет меня на первом же слове, а граф Альтамира, чтобы отвлечь меня, предложит вступить в какой-нибудь заговор. А ведь я прямо с ума схожу,— чувствую, что схожу с ума. Кто может поддержать меня? Что со мной будет?»

XVIII

УЖАСНЫЕ МГНОВЕНИЯ

И она признаётся мне в этом! Рассказывает все до мельчайших подробностей. Ее прекрасные очи глядят на меня, пылая любовью, которую она испытывает к другому!

Шиллер.

Мадемуазель де Ла-Моль в совершенном упоении только и думала о той восхитительной минуте, когда ее чуть было не убили. Она уже едва ли не говорила себе: «Он достоин быть моим господином: ведь он готов был убить меня. Сколько понадобилось бы сплавить вместе этих прелестных великосветских юношей, чтобы добиться такого взрыва страсти?

Надо признаться, он был очень красив в ту минуту, когда встал на стул, чтобы повесить шпагу, и старался, чтобы она приняла то же самое живописное положение, какое придал ей обойщик-декоратор. В конце концов я вовсе не так уж безумна, что влюбилась в него».

Подвернись ей в эту минуту какой-нибудь удобный предлог, чтобы возобновить отношения, она с радостью ухватилась бы за него. Жюльен, наглухо заперев дверь, сидел у себя в комнате и предавался самому безудержному отчаянию. У него иногда мелькала безумная мысль пойти броситься к ее ногам. Если бы, вместо того, чтобы прятаться у себя в углу, он пошел побродить по саду или прогуляться по дому, и, таким образом, не уклонялся бы от случая, возможно, что какой-нибудь один миг превратил бы его ужасное отчаяние в самое сияющее счастье.

Однако, будь у него эта предусмотрительность, в отсутствии которой мы его упрекаем, он был бы не способен с такой благородной пылкостью схватиться за шпагу, а это-то и сделало его теперь таким красавцем в глазах м-ль де Ла-Моль. Этот благоприятный для Жюльена каприз длился целый день. Матильда предавалась прелестным видениям, вспоминая те краткие минуты, когда она любила его, и вспоминала о них с сожалением.

«Сказать по правде,— рассуждала она,— моя любовь к бедному мальчику, если взглянуть на это его глазами, только и продолжалась, что с часу ночи, когда он взобрался ко мне

по лестнице со всеми своими пистолетами в кармане, и до девяти утра. А уже через четверть часа, когда мы с матерью слушали мессу в церкви святого Валерия, я начала думать, как бы ему не пришло в голову заставить меня повиноваться ему при помощи угроз».

После обеда м-ль де Ла-Моль не только не старалась избегать Жюльена, но сама заговорила с ним и дала ему понять, что она ничего не имеет против того, чтобы он пошел с ней в сад. Он покорился. Только этого испытания ему и не хватало. Матильда незаметно для себя уже поддавалась тому чувству, которое снова влекло ее к нему. Ей доставляло неизъяснимое удовольствие идти с ним рядом, и она с любопытством поглядывала на эти руки, которые сегодня утром схватили шпагу, чтобы заколоть ее.

Однако, после всего того, что произошло между ними, о прежних разговорах не могло быть и речи.

Мало-помалу Матильда с дружеской откровенностью стала рассказывать ему о своих сердечных переживаниях; этот разговор доставлял ей какое-то непонятное наслаждение, и она так увлеклась, что стала описывать свои мимолетные увлечения г-ном де Круазенуа, г-ном де Келюсом.

— Как? И господином де Келюсом тоже? — воскликнул Жюльен, и жгучая ревность покинутого любовника прорвалась в этом восклицании. Матильда так это и поняла и совсем не обиделась.

Она продолжала мучить Жюльена, подробно описывая ему свои прежние чувства, причем это выходило у нее как нельзя более искренне и правдиво. Он видел, что она действительно описывает то, что встает перед ней в воспоминаниях. Он с болью замечал, что она, делясь с ним этими воспоминаниями, сама делает неожиданные открытия в собственном сердце.

Он пережил все самые ужасные пытки ревности.

Подозревать, что ваш соперник любим,— это нестерпимо, но слушать из уст обожаемой женщины подробности этой любви — это поистине верх мучений.

О, как он теперь был наказан за все порывы своей гордости, внушавшей ему, что он выше всех этих Келюсов и Круазенуа! С какой глубокой душевной болью превозносил он теперь все их самые ничтожные преимущества! Как пламенно, от всего сердца, презирал самого себя!

Матильда казалась ему бесподобной; нет слов, достаточно выразительных, чтобы передать его восхищение. Он шел рядом

с ней и украдкой поглядывал на ее руки, на ее плечи, на ее царственную осанку. Он готов был броситься к ее ногам, сраженный любовью и горем, и крикнуть: «Пощади!»

«И эта прелестная девушка, которая так возвышается надо всеми, любила меня однажды, и вот теперь она, несомненно, готова влюбиться в господина де Келюса».

Жюльен не мог сомневаться в искренности м-ль де Ла-Моль,— так убедительно и правдиво было все то, что она говорила. И словно для того, чтобы переполнить меру его страданий, Матильда, стараясь разобраться в чувствах, которые когда-то внушал ей г-н де Келюс, рассказывала о них так, как если бы она питала их сейчас. В ее интонациях, в ее голосе, несомненно, прорывалась любовь. Жюльен явственно ощущал это.

Если бы в грудь Жюльену влили расплавленный свинец, он страдал бы меньше. Да и как мог он, бедняжка, потерявший рассудок от горя, догадаться, что м-ль де Ла-Моль только потому с таким удовольствием вспоминала свои мимолетные увлечения г-ном де Келюсом или г-ном де Круазенуа, что она делилась этими воспоминаниями с ним.

Тщетно было бы пытаться описать мучительные переживания Жюльена. Он слушал ее пространные сердечные излияния, признания в любви к другим в той самой липовой аллее, где всего несколько дней тому назад он ждал, что вот пробьет час ночи, и он поднимется к ней, в ее комнату. Есть предел человеческому страданию — он дошел до этого предела.

Эта безжалостная откровенность продолжалась целую неделю. Матильда то сама втягивала его в разговор, то пользовалась каким-нибудь случаем, чтобы заговорить с ним, и тема этих разговоров, к которой оба они постоянно возвращались с каким-то жестоким упоением, всегда была одна и та же — описание чувств, которые она испытывала к другим. Она пересказывала ему письма, которые когда-то писала, припоминала их слово в слово, приводила оттуда целые фразы. В последние дни она, казалось, поглядывала на Жюльена с какой-то лукавой радостью. Его страдания доставляли ей явное удовольствие. Она видела в них слабость своего тирана, а следовательно, она могла позволить себе любить его.

Читателю ясно, что у Жюльена не было никакого жизненного опыта; он даже не читал романов; будь он хоть чуточку догадливее, сумей он проявить некоторое хладнокровие, он сказал бы этой обожаемой девушке, которая делала ему такие

странные признания: «Сознайтесь, что хоть я и не стою всех этих господ, а все-таки любите вы меня...»

Быть может, она обрадовалась бы, что ее так разгадали; по крайней мере, успех его зависел бы исключительно от того, насколько удачно сумел бы он выразить эту мысль, найти для этого наиболее подходящий момент. Во всяком случае, он вышел бы из этого положения не без пользы для себя, ибо оно уже начинало немножко надоедать Матильде своим однообразием.

— Вы меня совсем не любите? А я молиться на вас готов! — сказал ей однажды Жюльен после одной из таких долгих прогулок, обезумев от любви и от горя. Большей глупости, пожалуй, нельзя было бы и придумать.

Эти слова мгновенно уничтожили для м-ль де Ла-Моль все удовольствие, которое она испытывала, рассказывая ему о своих сердечных делах. Она уже начала удивляться, как это он, после всего, что произошло, не обижается на ее рассказы, и как раз в ту самую минуту, когда он обратился к ней с этой дурацкой фразой, у нее зародилось подозрение, а может быть, он ее больше не любит. «Наверно, гордость подавила его любовь,— думала она.— Не такой это человек, чтобы терпеть безнаказанно, что ему предпочитают таких ничтожеств, как де Келюс, де Люз, де Круазенуа, хоть он и уверяет, что они гораздо выше его. Нет, больше мне уж не видать его у своих ног!»

Последние дни Жюльен в чистосердечном отчаянии не раз от всей души искренне превозносил перед ней блестящие достоинства этих молодых людей; он даже склонен был прикрашивать их. Это прикрашивание не ускользнуло от внимания м-ль де Ла-Моль: оно удивило ее. Смятенная душа Жюльена, превознося своего соперника, осчастливленного любовью, стремилась разделить с ним его счастье.

Но эти столь искренние и столь необдуманные слова мгновенно изменили все. Матильда, убедившись, что она любима, сразу прониклась к нему полным презрением.

Они прогуливались вместе по саду, но едва он успел произнести эту нелепую фразу, как она тотчас же покинула его, и взгляд, который она бросила на него, уходя, был полон самого уничтожающего презрения. Вечером, в гостиной, она ни разу не взглянула на него. На следующий день она не ощущала в своем сердце ничего, кроме презрения,— ни малейшей склонности, которая до сих пор в течение целой недели влекла ее к дружескому общению с Жюльеном и доставляла

ей такое удовольствие; ей даже и смотреть на него было неприятно. Это дошло до того, что вскоре он стал внушать ей отвращение; нельзя даже и передать, какое безграничное презрение охватывало ее, когда он попадался ей на глаза.

Жюльен ничего не понимал в том, что происходило в сердце Матильды, но его обостренное самолюбие сразу ощутило ее презрение. У него хватило здравого смысла показываться ей на глаза как можно реже, и он совсем перестал смотреть на нее.

Но для него это была смертная мука — лишить себя совсем ее общества. Он чувствовал, что ему стало еще тяжелее переносить свое ужасное горе. «Есть же какой-нибудь предел человеческому мужеству! — говорил он себе.— Этого нельзя вынести». Он целыми днями просиживал в мансарде у маленького окошечка с тщательно прикрытым решетчатым ставнем: отсюда ему, по крайней мере, можно было хоть изредка увидеть м-ль де Ла-Моль, когда она выходила в сад.

Что только делалось с ним, когда иной раз она появлялась после обеда в обществе г-на де Келюса, г-на де Люза или еще кого-нибудь из тех, кого она называла ему, рассказывая о своих прежних сердечных увлечениях!

Жюльен никогда не представлял себе, что можно дойти до такого ужасного отчаяния; он готов был кричать; эта стойкая душа была истерзана вконец; в ней не осталось живого места.

Всякое усилие мысли, если оно не было связано с м-ль де Ла-Моль, стало ненавистно ему; он не в состоянии был написать самого простого письма.

— Да вы с ума сошли! — сказал ему однажды утром маркиз.

Жюльен, испугавшись, как бы кто не догадался о причине его состояния, сказал, что он болен, и ему поверили. На его счастье, маркиз за обедом начал подшучивать по поводу его будущего путешествия. Матильда поняла, что оно может затянуться надолго. Жюльен уже несколько дней избегал ее, а блестящие молодые люди, которые обладали всем, чего недоставало этому бледному, мрачному и когда-то любимому ею человеку, не способны были вывести ее из задумчивости.

«Обыкновенная девушка,— говорила она себе,— стала бы искать себе избранника именно среди этих молодых людей, привлекающих к себе все взоры в гостиных; но человек с

возвышенной душой как раз и отличается тем, что его мысль не следует по избитой тропе, проложенной посредственностью.

Если я стану подругой такого человека, как Жюльен, которому не хватает только состояния,— а оно есть у меня,— я буду постоянно привлекать к себе всеобщее внимание, жизнь моя не пройдет незамеченной. Я не только не буду испытывать вечного страха перед революцией, как мои кузины, которые так трепещут перед чернью, что не смеют прикрикнуть на кучера, который их плохо везет,— я, безусловно, буду играть какую-то роль, и крупную роль, ибо человек, которого я избрала,— человек с характером и безграничным честолюбием. Чего ему недостает? Друзей, денег? Я дам ему и то и другое». Но в своих размышлениях о Жюльене она представляла его себе как бы каким-то низшим существом, которое можно осчастливить, когда и как тебе заблагорассудится, и в любви которого даже не может возникнуть сомнения.

XIX

КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА

O, how this spring of love ressembleth
The uncertain glory of an April day;
Which now shows all the beauty of the sun
And by, and by a cloud takes all away!

Shakespeare [1].

Поглощенная мечтами о будущем и о той исключительной роли, которую ей, быть может, предстояло играть, Матильда иной раз не без сожаления вспоминала о сухих, метафизических спорах, которые у них прежде возникали с Жюльеном. А иногда, устав от этих высоких размышлений, она с сожалением вспоминала о минутах счастья, которые обрела возле него. Но эти воспоминания вызывали у нее чувство раскаяния, и оно иной раз жестоко терзало ее.

«Если человек уступает какой-то своей слабости,— говорила она себе,— то такая девушка, как я, может позволить

[1] Весна любви напоминает нам
Апрельский день, изменчивый, неверный:
То весь он блещет солнечным теплом,
А то нахмурится сердитой тучей.

Шекспир, «Два веронца» (англ.).

себе поступиться своей добродетелью только ради действительно достойного человека. Никто никогда не скажет про меня, что я прельстилась красивыми усиками или умением ловко сидеть в седле. Нет, меня пленили его глубокие рассуждения о будущем, которое ожидает Францию, его мысли о грядущих событиях, которые могут оказаться сходными с революцией тысяча шестьсот восемьдесят восьмого года в Англии. Да, я прельстилась,— отвечала она своим угрызениям,— да, я слабая женщина, но, по крайней мере, мне хоть не вскружили голову, как какой-нибудь безмозглой кукле, просто внешние качества! Его лицо отражает высокую душу, этим-то оно и пленило меня.

Если произойдет революция, то почему бы Жюльену Сорелю не сыграть в ней роль Ролана, а мне — госпожи Ролан? Эта роль мне нравится больше, чем роль госпожи де Сталь: безнравственное поведение в наше время было бы большим препятствием. Ну уж меня-то наверняка нельзя будет еще раз упрекнуть в слабости,— я бы умерла со стыда».

Надо признаться, впрочем, что не всегда рассуждения Матильды были так уж серьезны, как мысли, которые мы только что привели.

Она иной раз украдкой смотрела на Жюльена и в каждом его движении находила неизъяснимую прелесть.

«Теперь можно не сомневаться,— говорила она себе,— я своего добилась; у него, конечно, и в мыслях нет, что он может иметь какие-то права на меня.

Какой несчастный вид был у бедного мальчика, когда он с таким глубоким чувством сделал мне это признание в любви, в саду, неделю тому назад! Это ли не доказательство? И надо сознаться, с моей стороны было в высшей степени странно сердиться на него за эти слова, в которых было столько глубокого уважения, столько чувства. Разве я не жена его? Ведь так естественно, что он это сказал, и, признаться, он был очень мил. Жюльен продолжал любить меня даже после этих бесконечных разговоров, когда я изо дня в день и, по правде сказать, так безжалостно рассказывала ему обо всех моих минутных увлечениях этими великосветскими юношами, к которым он так меня ревнует! А ведь у меня это было просто от нестерпимой скуки, среди которой мне приходится жить. Ах, если бы он только знал, сколь мало они для него опасны! Какими бесцветными они мне кажутся по сравнению с ним; и все совершенно одинаковы, точно списаны друг с друга».

Углубившись в эти размышления и делая вид, что она очень занята,— чтобы не вступать в разговор с матерью, которая на нее смотрела,— Матильда рассеянно чертила карандашом в своем альбоме. Один из профилей, который она только что набросала, изумил и обрадовал ее: он был поразительно похож на Жюльена. «Это глас провидения! Вот истинное чудо любви! — в восторге воскликнула она.— Я, совершенно не думая об этом, нарисовала его портрет».

Она бросилась к себе в комнату, заперлась на ключ, взяла краски и принялась усердно писать портрет Жюльена. Но у нее ничего не получалось; профиль, который она набросала случайно, все-таки имел наибольшее сходство. Матильда пришла в восхищение; она увидела в этом неоспоримое доказательство великой страсти.

Она оставила свой альбом, когда уже совсем стемнело и маркиза прислала за ней, чтобы ехать в Итальянскую оперу. Матильда думала только об одном: хорошо бы увидать Жюльена. Тогда можно будет уговорить мать, чтобы она пригласила и его ехать с ними.

Но Жюльен не появился, и в ложе наших дам оказались только самые заурядные личности. Во время первого акта Матильда ни на минуту не переставала мечтать о своем возлюбленном с увлечением и страстью. Но во втором акте одна любовная ария — мелодия эта поистине была достойна Чимарозы — поразила ее в самое сердце. Героиня оперы пела: «Я наказать себя должна, я наказать себя должна за то, что так люблю!..»

С той минуты как Матильда услыхала эту восхитительную арию, все в мире исчезло для нее. С ней разговаривали — она не отвечала; мать делала ей замечания, но она с трудом могла заставить себя взглянуть на нее. Она была в каком-то экстазе, все чувства ее были до такой степени возбуждены, что это можно было сравнить только с теми исступленными приступами страсти, которые в течение последних дней одолевали Жюльена. Полная божественной грации, мелодия, на которую были положены эти слова, удивительно совпадавшие с тем, что она переживала сама, так захватила ее, что в те минуты, когда она не думала о самом Жюльене, она вся была поглощена ею. Благодаря своей любви к музыке она в этот вечер стала такой, какой всегда бывала г-жа де Реналь, когда думала о Жюльене. Рассудочная любовь, конечно, гораздо разумнее любви истинной, но у нее бывают только редкие минуты

самозабвения; она слишком хорошо понимает себя, беспрестанно разбирается в себе, она не только не позволяет блуждать мыслям — она и возникает не иначе, как при помощи мысли.

Вернувшись домой, Матильда, не слушая никаких уговоров г-жи де Ла-Моль, заявила, что ей нездоровится, и до поздней ночи просидела у себя за роялем, наигрывая эту мелодию. Она без конца напевала знаменитую кантилену, которая ее так пленила:

Devo punirmi, devo punirmi,
Se troppo amai, etc.

Безумие, охватившее ее в эту ночь, перешло у нее в конце концов в твердую уверенность, что она сумела преодолеть свою любовь.

Эта страничка может повредить злосчастному автору больше всех других. Найдутся ледяные души, которые будут обвинять его в непристойности. Но он вовсе не собирается обижать юных особ, блистающих в парижских гостиных, и не допускает мысли, что среди них найдется хотя бы одна, способная на такие безумства, принижающие образ Матильды. Героиня моего романа есть плод чистейшей фантазии и даже более того,— она создана фантазией вне всяких социальных устоев, которые, безусловно, позволят занять цивилизации XIX века столь выдающееся место в ряду всех прочих столетий.

В чем, в чем, но уж никак не в недостатке благоразумия можно упрекнуть юных девиц, составляющих украшение балов нынешней зимы.

Не думаю также, что их можно было бы обвинить в излишнем пренебрежении к богатству, к выездам, к прекрасным поместьям и ко всему, что обеспечивает приятное положение в свете. Все эти преимущества отнюдь не нагоняют на них скуки, напротив, они неизменно являются для них предметом постоянных вожделений, и если сердца их способны загореться страстью, то только к этому единственному предмету.

И отнюдь не любовь берет под свое покровительство и ведет к успеху молодых людей, одаренных, подобно Жюльену, кое-какими способностями; они прилепляются накрепко, нерасторжимой хваткой к какой-нибудь клике, и когда этой клике везет, все блага общественные сыплются на них в изобилии.

Горе ученому, не принадлежащему ни к какой клике,—любой, самый ничтожный, едва заметный его успех навлечет на него нападки, и высокая добродетель будет торжествовать, обворовывая его. Эх, сударь мой! Роман — это зеркало, с которым идешь по большой дороге. То оно отражает лазурь небосвода, то грязные лужи и ухабы. Идет человек, взвалив на себя это зеркало, а вы этого человека обвиняете в безнравственности! Его зеркало отражает грязь, а вы обвиняете зеркало! Обвиняйте уж скорее большую дорогу с ее лужами, а еще того лучше — дорожного смотрителя, который допускает, чтобы на дороге стояли лужи и скапливалась грязь.

Теперь, когда мы твердо установили, что характер Матильды совершенно немыслим в наш столь же благоразумный, сколь и добродетельный век, я уже не так буду бояться прогневить читателя, продолжая свой рассказ о безрассудствах этой прелестной девушки.

На следующий день она всячески искала случая, который позволил бы ей убедиться в том, что она действительно одержала победу над своей безумной страстью. Самое же главное заключалось в том, чтобы все делать наперекор Жюльену; но при этом она ни на минуту не переставала следить за каждым его движением.

Жюльен был слишком несчастен, а главное, слишком потрясен, чтобы разгадать столь сложный любовный маневр; и еще менее того он был способен усмотреть в нем что-либо благоприятное для себя; он оказался просто-напросто жертвой. Никогда еще он не доходил до такого отчаяния; его поведение до такой степени не согласовалось с голосом рассудка, что если бы какой-нибудь умудренный горем философ сказал ему: «Торопитесь воспользоваться обстоятельствами, которые складываются для вас благоприятно: при этой рассудочной любви, которую мы встречаем в Париже, одно и то же настроение не может продлиться более двух дней»,— он бы его не понял. Но в каком бы умонсступлении он ни находился, он не способен был изменить долгу чести. Честь обязывала его молчать, он это понимал. Попросить совета, рассказать о своих мучениях первому попавшемуся человеку было бы для него великим счастьем, подобным тому, какое испытывает несчастный путник, когда он посреди раскаленного зноя пустыни чувствует каплю прохладной влаги, упавшую с неба. Он сознавал эту опасность; он боялся, что случись кому-нибудь неосторожно обратиться к нему с расспросами, он

сейчас же разразится потоком слез; он заперся у себя в комнате.

Он видел, что Матильда долго бродила в саду, и только когда она, наконец, ушла оттуда, он решился выйти сам; он подошел к розовому кусту, с которого она сорвала цветок.

Вечер был темный, и он мог предаваться своему горю, не опасаясь, что его увидят. Для него было ясно, что м-ль де Ла-Моль любит одного из этих молодых офицеров, с которыми она только что так весело болтала... А его она тоже любила, но теперь поняла, что он ничего не стоит.

«Да, в самом деле, какие у меня достоинства? — с чувством глубочайшего убеждения твердил себе Жюльен.— Я существо совершенно незначительное, заурядное, в высшей степени скучное для окружающих и очень неприятное для самого себя». Ему до смерти опротивели и все его прекрасные качества, и все то, что когда-то воодушевляло и увлекало его; и вот в таком-то состоянии, когда воображение его как бы вывернулось наизнанку, он пытался разобраться в жизни при помощи своего воображения. В такое заблуждение может впасть только недюжинный человек.

Уже не раз мысль о самоубийстве соблазняла его; видение это было полно для него глубокого очарования; это был словно блаженный отдых, чаша студеной воды, поднесенная несчастному, который погибает в пустыне от жажды и зноя.

«Умереть,— но ведь она будет презирать меня еще больше! — воскликнул он.— Какую память я оставлю по себе!»

Когда человеческое существо ввергнуто в такую бездну отчаяния, у него нет иного прибежища, как только его мужество. У Жюльена не хватало догадливости сказать себе: «Надо рискнуть!» Но вечером, глядя на окно Матильды, он увидел сквозь ставни, как она погасила свет; он представил себе эту очаровательную комнату, которую он видел — увы! — единственный раз в жизни. Дальше воображение его не решалось идти.

Пробило час ночи. И вот тут, услыхав бой часов, он сразу сказал себе: «Взберусь по лестнице!»

Его словно осенило свыше, и тут же подоспело множество всяких разумных доводов. «Ведь хуже уж ничего не может быть!» — повторял он себе. Он бегом бросился к лестнице; садовник держал ее теперь под замком на цепи. Курком

своего маленького пистолета, который он при этом сломал, Жюльену, проявившему в этот миг сверхчеловеческую силу, удалось разогнуть одно из звеньев цепи, замыкавшей лестницу. Через несколько минут она уже была у него в руках, и он подставил ее к окну Матильды.

«Ну что ж, рассердится, обрушит на меня свое презрение, пусть! Я поцелую ее, поцелую в последний раз, а потом поднимусь к себе и застрелюсь... Губы мои коснутся ее щеки, перед тем как я умру!»

Он одним духом взлетел по лестнице. Вот он уже стучит в ставень. Через несколько мгновений Матильда, услыхав стук, пытается отворить окно. Лестница мешает. Жюльен хватается за железный крючок, который придерживает ставень, когда он открыт, и, тысячу раз рискуя полететь вниз головой, сильным рывком заставляет лестницу чуть-чуть сдвинуться вбок. Матильда может теперь открыть окно.

Он влетает в комнату ни жив ни мертв.

— Это ты! — говорит она, падая в его объятия.

. . . . . .

Кто мог бы описать безумную радость Жюльена? Матильда была счастлива, пожалуй, не меньше его.

Она кляла себя, жаловалась на себя.

— Накажи меня за мою чудовищную гордость,— говорила она, обнимая его так крепко, словно хотела задушить в своих объятиях.— Ты мой повелитель, я твоя раба, я должна на коленях молить у тебя прощение за то, что я взбунтовалась.— И, разомкнув объятия, она упала к его ногам.— Да, ты мой повелитель! — говорила она, упоенная счастьем и любовью.— Властвуй надо мною всегда, карай без пощады свою рабыню, если она вздумает бунтовать.

Через несколько мгновений, вырвавшись из его объятий, она зажигает свечу, и Жюльену едва удается удержать ее: она непременно хочет отрезать огромную прядь, чуть ли не половину своих волос.

— Я хочу всегда помнить о том, что я твоя служанка, и если когда-нибудь моя омерзительная гордость снова ослепит меня, покажи мне эти волосы и скажи: «Дело не в любви и не в том, какое чувство владеет сейчас вашей душой; вы поклялись мне повиноваться — извольте же держать слово».

Но, пожалуй, разумней воздержаться от описания этого безумия и этого блаженства.

Мужество Жюльена было столь же велико, сколь и его счастье.

— Мне надо уйти через окно,— сказал он Матильде, когда утренняя заря показалась на востоке за садами на дальних дымовых трубах.— Жертва, на которую я иду, достойна вас: я лишаю себя нескольких часов самого ослепительного счастья, какое когда-либо вкушала душа человеческая; я приношу эту жертву ради вашего доброго имени. Если вы можете читать в моем сердце, вы поймете, какому насилию я себя подвергаю. Будете ли вы для меня всегда такой, как в эту минуту? Но сейчас я должен повиноваться голосу чести — это главное. Знайте, что после первого нашего свидания подозрение пало не только на воров. Господин де Ла-Моль приказал поставить сторожей в саду. Господин де Круазенуа окружен шпионами; о нем известно все, каждый его шаг ночью.

— Бедняжка! — воскликнула Матильда и громко расхохоталась.

Ее мать и одна из служанок проснулись; неожиданно ее окликнули через дверь. Жюльен поглядел на Матильду; она побледнела, резко выговаривая горничной, а матери даже не соблаговолила ответить.

— Но если им вздумается открыть окно, они увидят лестницу! — сказал Жюльен.

Он еще раз сжал ее в своих объятиях, бросился к лестнице и не то что сбежал, а опрометью скатился по ней,— в следующее мгновение он уже стоял на земле.

Две-три секунды спустя лестница лежала в липовой аллее, и честь Матильды была спасена. Жюльен, опомнившись, увидал, что он весь в крови и почти голый; он ободрал себе и платье и кожу, скользя по лестнице.

Чувство счастья, переполнявшее его, вернуло ему всю его решимость и силу: если бы на него сейчас напало двадцать человек, он бы, не задумавшись, бросился на них один, и это даже доставило бы ему удовольствие. К счастью, его воинские доблести на сей раз не подверглись испытанию; он отнес лестницу на ее прежнее место, тщательно скрепил державшую ее цепь; он позаботился даже уничтожить следы от лестницы на грядке с экзотическими цветами под окном Матильды.

Когда он в темноте приминал рукой рыхлую землю, чтобы убедиться, что никаких ямок от лестницы больше нет, он

почувствовал, как что-то мягко упало ему на руки,— это была огромная прядь волос; Матильда все-таки отрезала их и бросила ему.

Она стояла у окна.

— Это посылает тебе твоя служанка,— громко сказала она,— в знак вечной признательности. Я отрекаюсь от своего разума — будь моим повелителем.

Жюльен, не помня себя, чуть было не бросился опять за лестницей, чтобы снова подняться к ней. В конце концов благоразумие одержало верх.

Проникнуть в особняк со стороны сада было не так-то просто. Ему удалось взломать одну из дверей подвала; когда он пробрался в дом, ему пришлось, соблюдая величайшую осторожность и стараясь производить как можно меньше шума, взломать дверь в собственную комнату. В своем смятении он оставил в той комнате, которую он только что так поспешно покинул, все, вплоть до ключа от двери, он лежал в кармане его сюртука. «Только бы она догадалась спрятать эти бренные останки»,— подумал он.

Наконец усталость превозмогла его бурное счастье, и, когда уже стало всходить солнце, он заснул глубоким сном.

Звонок к завтраку еле разбудил его; он спустился в столовую. Вскоре появилась и Матильда. Какой блаженный миг, какая отрада для гордости Жюльена, когда он увидел сияющие любовью глаза этой красавицы, перед которой все преклонялись; но благоразумие его вскоре забило тревогу.

Под предлогом, что она будто бы не успела как следует причесаться, Матильда заколола свои волосы так, что Жюльен с первого взгляда мог убедиться, какую великую жертву она принесла, отрезав для него ночью прядь своих волос. Если бы это прелестное лицо можно было чем-нибудь испортить, то Матильда почти добилась своего: вся правая сторона ее прекрасных пепельно-белокурых волос была отрезана кое-как, на полпальца от головы.

За завтраком все поведение Матильды вполне соответствовало ее опрометчивой выходке. Можно было подумать, что ей не терпелось объявить всему свету, какую безумную страсть питает она к Жюльену. К счастью, в этот день г-н де Ла-Моль и маркиза были чрезвычайно поглощены предстоящей раздачей голубых лент и тем, что герцог де Шон был при этом обойден. К концу завтрака Матильда, разговаривая с Жюльеном, вдруг назвала его «мой повелитель». Он вспыхнул до корней волос.

Объяснялось ли это простой случайностью, или об этом позаботилась г-жа де Ла-Моль, но в течение всего этого дня Матильда ни на минуту не оставалась одна. Вечером, выходя из гостиной в столовую, она все же улучила момент и шепнула Жюльену:

— Все мои планы расстроены. Вы верите, что это не уловка с моей стороны? Мама только что распорядилась, чтобы одна из ее служанок спала у меня в комнате.

Этот день промелькнул с молниеносной быстротой. Жюльен не помнил себя от счастья. На другой день с семи часов утра он уже сидел в библиотеке: он надеялся, что м-ль де Ла-Моль зайдет туда; он написал ей длиннейшее письмо.

Однако он увидел ее только много часов спустя, уже за завтраком. На этот раз она была причесана необыкновенно тщательно; при помощи каких-то чудесных ухищрений то место, где была отхвачена прядь, было искусно скрыто. Она взглянула на Жюльена раз или два, но вежливым и невозмутимым взором — и в голову не могло бы прийти, что она способна назвать его «мой повелитель».

Жюльен чуть не задохнулся от удивления... Матильда почти упрекала себя за все, что она ради него сделала.

Поразмыслив хорошенько, она пришла к заключению, что, может быть, это и не совсем заурядный человек, но, во всяком случае, не настолько выдающийся, чтобы стоило ради него совершать все эти безумства. А вообще говоря, она вовсе не думала о любви; ей сегодня наскучило любить.

Что же касается Жюльена, он переживал все это, как мог бы переживать подросток, мальчик в шестнадцать лет. Ужасное сомнение, изумление, отчаяние терзали его попеременно в продолжение всего завтрака, который показался ему бесконечным.

Едва только появилась возможность, не нарушая приличий, выйти из-за стола, он бросился сломя голову на конюшню, сам оседлал свою лошадь и поскакал куда глаза глядят: он опасался, что не удержится и опозорит себя, обнаружив свою слабость. «Пусть сердце мое отупеет от смертельной усталости,— думал он, носясь по Медонскому лесу.— Что я сделал, что я такое сказал, чтобы заслужить подобную немилость?»

«Сегодня ничего не делать, ничего не говорить,— думал он, возвращаясь домой,— быть таким же мертвецом физически, каким я чувствую себя в душе. Жюльена больше нет, это только труп его еще содрогается».

XX

ЯПОНСКАЯ ВАЗА

> Сердце его на первых порах еще не постигает всей бездны своего несчастья: оно не столь удручено, сколько взволновано. Но постепенно, по мере того как возвращается рассудок, оно познает всю глубину своего горя. Все радости жизни исчезают для него, оно теперь ничего не чувствует, кроме язвящего жала отчаяния, пронзающего его. Да что говорить о физической боли! Какая боль, ощущаемая только телом, может сравниться с этой мукой?
>
> *Жан Поль.*

Позвонили к обеду; Жюльен едва успел переодеться. Он увидел Матильду в гостиной: она уговаривала брата и г-на де Круазенуа не ездить сегодня вечером в Сюренн к маршальше де Фервак.

Она была с ними как нельзя более очаровательна и любезна. После обеда появились господа де Люз, де Келюс и еще кто-то из их друзей. Казалось, м-ль де Ла-Моль, воспылав нежной дружбой к брату, прониклась благоговейным уважением к светским правилам и приличиям. Погода в этот вечер была чудесная, но она настояла на том, чтобы не идти в сад: ей хотелось, чтобы никто не уходил из гостиной, и они уселись за широкой спинкой кресла г-жи де Ла-Моль. Голубой диван снова сделался центром их маленького кружка, как это бывало зимой.

Сад вызывал у Матильды неприятное чувство или, как ей казалось, нагонял на нее нестерпимую скуку: с ним были связаны воспоминания о Жюльене.

Горе затмевает разум. Наш герой имел глупость задержаться у того самого плетеного стульчика, на котором он когда-то пожинал столь блестящие победы. Сегодня никто не обратился к нему, не сказал ему ни слова; его присутствия словно не замечали. Друзья м-ль де Ла-Моль, сидевшие возле него на конце дивана, старались нарочно повернуться к нему спиной,— так ему, по крайней мере, казалось.

«Я в опале»,— подумал он. И ему захотелось немножко поближе присмотреться к этим людям, которые так явно выражали ему свое презрение.

Дядюшка г-на де Люза был назначен на какую-то важную должность при особе короля, вследствие чего этот блестящий офицер всякий раз, как вступал с кем-нибудь в разговор, считал своим долгом прежде всего сообщить следующую пикантную подробность: его дядюшка, видите ли, изволил отбыть в семь часов в Сен-Клу и рассчитывает там заночевать; это преподносилось как бы вскользь, с самым простодушным видом, но неукоснительно всем и каждому.

Наблюдая за г-ном де Круазенуа суровым взором человека, познавшего горе, Жюльен заметил, что этот любезный и добросердечный молодой человек придает огромное значение оккультным силам. Он всерьез огорчался и даже выходил из себя, если кто-либо в его присутствии пытался объяснить какое-нибудь мало-мальски важное событие простой и естественной причиной. «Это просто какое-то помешательство,— подумал Жюльен.— Этой чертой своего характера он удивительно похож на императора Александра, как мне его описывал князь Коразов». Первый год своего пребывания в Париже бедняга Жюльен, только что вырвавшийся из семинарии, был до такой степени ослеплен столь непривычным для него любезным обхождением этих блестящих молодых людей, что он мог только восхищаться ими. Их настоящий облик начал более или менее четко вырисовываться для него только теперь.

«Какую недостойную роль я здесь играю!» — внезапно подумал он. Надо было подняться с этого плетеного стульчика и уйти как-нибудь так, чтобы это никому не бросилось в глаза. Он пытался что-то придумать, взывал к своему воображению, чтобы оно хоть что-нибудь подсказало, но оно было поглощено чем-то совсем другим. Пытался было порыться в памяти, но память его, надо сознаться, мало чем могла помочь ему в этом отношении: бедняжке Жюльену еще недоставало светских навыков; поэтому, когда он поднялся и вышел из гостиной, у него это получилось в высшей степени неловко и привлекло к нему всеобщее внимание. Для всех было очевидно, что он чем-то чрезвычайно подавлен. Ведь он чуть ли не целый час проторчал здесь на положении навязчивого приживала, перед которым даже не считают нужным скрывать, что́ о нем думают.

Однако критические наблюдения, которым он только что подверг своих соперников, помешали ему отнестись к своему несчастью трагически: воспоминание о том, что произошло третьего дня, поддерживало его гордость. «Каковы бы ни были

их неисчислимые преимущества передо мной,— думал он, выходя в сад,— ни для кого из них Матильда не была тем, чем она соблаговолила быть для меня дважды».

Но на большее его рассудительности не хватало. Он совершенно не разбирался в характере этой своеобразной натуры, которая, по воле случая, оказалась полновластной владычицей его счастья.

Весь следующий день прошел в том, что он старался довести до полного изнеможения и себя, и свою лошадь. Вечером он уже не пытался приблизиться к голубому дивану, который Матильда не покидала и на этот раз. Он подметил, что граф Норбер, встречаясь с ним в доме, даже не удостаивал его взглядом. «Должно быть, ему стоит это немалых усилий,— подумал он,— ведь обычно это такой вежливый человек».

Для Жюльена сон был бы теперь истинным счастьем. Но, несмотря на физическую усталость, воображением его всецело владели прельстительные воспоминания. Ему не приходило в голову, что его бесконечные прогулки верхом по лесам в окрестностях Парижа действуют только на него самого и нимало не задевают ни сердца, ни рассудка Матильды и что, таким образом, он предоставляет случаю распоряжаться своей судьбой.

Ему казалось, что только одно могло бы принести ему несомненное облегчение — это поговорить с Матильдой. Но что же мог он решиться сказать ей?

Об этом-то он и раздумывал, сидя однажды в семь часов утра у себя в библиотеке, как вдруг увидал входящую Матильду.

— Я знаю, сударь, вы хотите поговорить со мной.

— Боже мой! Да кто вам сказал?

— Я знаю. Не все ли равно, откуда? Если вы человек бесчестный, вы можете погубить меня или, во всяком случае, можете попытаться сделать это. Однако эта опасность, в которую я, признаться, не верю, не помешает мне быть с вами вполне откровенной. Я вас больше не люблю, сударь, мое сумасшедшее воображение обмануло меня...

Не ожидавший такого ужасного удара, Жюльен, обезумев от горя и любви, начал было в чем-то оправдываться. Что может быть нелепее? Да можно ли оправдаться в том, что ты перестал нравиться? Но поступки его уже не управлялись разумом. Слепой инстинкт побуждал его задержать как-нибудь этот страшный для него приговор. Ему казалось, что, пока он говорит, еще не все кончено. Матильда не слушала

его, его голос раздражал ее, она понять не могла, как это он осмелился перебить ее.

Нравственные угрызения и уязвленная гордость совсем замучили ее, и она сейчас чувствовала себя не менее несчастной, чем он. Ее подавляло невыносимое сознание, что она дала какие-то права над собой этому попику, сыну деревенского мужика. «Это вроде того, как если бы мне пришлось сознаться самой себе, что я влюбилась в лакея»,— говорила она себе в отчаянии, раздувая свое несчастье.

Такие дерзкие и гордые натуры отличаются способностью мгновенно переходить от раздражения против самих себя к неистовой злобе на окружающих, и сорвать свою злобу в таком случае доставляет им живейшее наслаждение.

Не прошло и минуты, как м-ль де Ла-Моль уже дошла до того, что обрушилась на Жюльена со всей силой своего уничтожающего презрения. Она была очень умна и в совершенстве владела искусством уязвлять чужое самолюбие и наносить ему жесточайшие раны.

Первый раз в жизни Жюльен оказался мишенью для этого блестящего ума, подстегиваемого самой неудержимой ненавистью. Ему не только не пришло в голову попробовать как-нибудь защититься, его неистовое воображение тотчас же обратилось против него и заставило его презирать самого себя. Выслушивая все эти жестокие, презрительные нападки, так тонко, так безошибочно рассчитанные на то, чтобы разрушить до основания все его доброе мнение о самом себе, он думал, что Матильда не только совершенно права, но что она еще даже щадит его.

А ей доставляло неизъяснимое наслаждение тешить свою гордость, бичуя таким образом и его и себя за то обожание, которое она испытывала несколько дней тому назад.

Ей не приходилось ни обдумывать, ни изобретать заново все эти колкости, которые она теперь преподносила ему с таким удовлетворением. Она просто повторяла все то, что уже в течение целой недели твердил в ее душе некий голос, выступавший в защиту всего того, что восставало в ней против любви.

Каждое ее слово стократно увеличивало чудовищные муки Жюльена. Он хотел бежать, но м-ль де Ла-Моль схватила его за руку и властно удержала.

— Соблаговолите заметить, что вы говорите очень громко,— сказал он ей.— Вас могут услышать в соседних комнатах.

— Ну и что ж! — гордо возразила м-ль де Ла-Моль.— Кто осмелится мне сказать, что меня слышали? Я хочу

излечить раз навсегда ваше мелкое самолюбие от тех представлений, которые оно могло возыметь на мой счет.

Когда, наконец, Жюльен вышел из библиотеки, он был до такой степени изумлен, что даже не так уж сильно ощущал свое горе. «Итак, она меня больше не любит,— повторял он себе вслух, словно для того, чтобы хорошенько уяснить свое положение.— Выходит, что она любила меня всего восемь или десять дней, а я буду любить ее всю жизнь!

Да может ли это быть? Ведь еще несколько дней тому назад она не занимала в моем сердце никакого места! Никакого!»

Сердце Матильды ликовало, упиваясь гордостью: вот она и порвала все, раз навсегда! Она была необыкновенно счастлива, что ей удалось одержать столь блестящую победу над этой, так сильно одолевшей ее слабостью. «Теперь этот щелкопер поймет, наконец, что он не имеет и никогда не будет иметь надо мной никакой власти». Она была до того счастлива, что в эту минуту действительно не испытывала никакой любви.

После такой чудовищно жестокой и унизительной сцены для всякого существа, не столь пылкого, как Жюльен, любовь была бы немыслима. Ни на минуту не теряя самообладания и не роняя своего достоинства, м-ль де Ла-Моль ухитрилась наговорить ему таких беспощадных и бьющих по самому сердцу вещей, что они вполне могли показаться справедливыми даже и потом, когда он вспоминал о них более или менее хладнокровно.

Заключение, к которому Жюльен пришел в первую минуту после этой поразительной сцены, сводилось к тому, что Матильда — неистовая гордячка. Он твердо верил, что между ними все кончено навсегда, и, однако, на другой день, за завтраком, он смущался и робел. До сих пор его нельзя было упрекнуть в такой слабости. Как в малом, так и в большом он всегда точно знал, как ему надлежит и как он намерен поступить, и поступал соответственно.

В этот день, после завтрака, г-жа де Ла-Моль попросила его передать ей некую бунтовщическую, но при этом весьма редкую брошюрку, которую ей сегодня утром потихоньку принес духовник, и Жюльен, доставая ее с консоля, опрокинул старинную голубую фарфоровую вазу, на редкость безобразную.

Госпожа де Ла-Моль, отчаянно вскрикнув, вскочила и подошла посмотреть на осколки своей ненаглядной вазы.

— Это старинный японский фарфор,— говорила она.— Эта ваза досталась мне от моей двоюродной бабушки, аббатисы Шельской. Голландцы преподнесли ее в дар регенту, герцогу Орлеанскому, а он подарил ее своей дочери...

Матильда подошла вслед за матерью, очень довольная тем, что разбили эту голубую вазу, которая казалась ей страшно уродливой. Жюльен стоял молча, и по его виду незаметно было, что он очень сконфужен; подняв глаза, он увидел рядом с собой м-ль де Ла-Моль.

— Эта ваза,— сказал он ей,— разбита вдребезги, уничтожена навсегда. То же случилось с одним чувством, которое некогда владело моим сердцем. Я прошу вас простить мне все те безумства, которые оно заставило меня совершить.

И он вышел.

— Право, можно подумать,— сказала г-жа де Ла-Моль, когда он удалился,— что господин Сорель очень горд и доволен тем, что он здесь натворил.

Эти слова кольнули Матильду в самое сердце. «А ведь это правда,— подумала она,— мама верно угадала; действительно, это то, что он сейчас чувствует». И тут только сразу пропала вся радость, которая до сих пор наполняла ее после вчерашней сцены. «Итак, все кончено,— сказала она себе с видимым спокойствием.— Это будет мне серьезным уроком. Я допустила чудовищную, унизительную ошибку, после этого мне хватит благоразумия на всю жизнь».

«Ах, если бы то, что я сказал, было правдой! — думал Жюльен.— Почему любовь, которую пробудила во мне эта сумасбродка, все еще терзает меня?»

А любовь эта не только не угасала, как он надеялся, а разгоралась все сильней и сильней. «Она сумасшедшая, это верно,— говорил он себе.— Но разве от этого она менее обаятельна? Есть ли на свете женщина красивее ее? Все, что есть самого изысканного и утонченного, все, что только может пленять взор, все это в таком изобилии сочетается в мадемуазель де Ла-Моль!» И воспоминания о минувшем счастье овладевали Жюльеном и разрушали все, что с таким трудом воздвигал его рассудок.

Тщетно рассудок пытается бороться с подобного рода воспоминаниями,— его мучительные усилия лишь увеличивают их сладостное очарование.

Прошли сутки после того, как Жюльен разбил старинную японскую вазу, и можно без преувеличения сказать: несчастнее его не было человека на свете.

XXI

СЕКРЕТНАЯ НОТА

Ибо все, что я рассказываю, я сам видел; а если, глядя на это, я в чем-либо и обманулся, то, во всяком случае, я не обманываю вас, рассказывая вам это.

Письмо к автору.

Маркиз позвал Жюльена к себе; г-н де Ла-Моль, казалось, помолодел: глаза его сверкали.

— Поговорим-ка немного о вашей памяти,— сказал он Жюльену.— Говорят, она у вас замечательная! Способны ли вы выучить наизусть четыре страницы, а потом отправиться в Лондон и там повторить их? Но в точности, слово в слово?

Маркиз раздраженно мял в руках свежий номер «Котидьен», тщетно стараясь скрыть необычайную серьезность, какой Жюльен никогда еще не видал у него, даже когда дело касалось его процесса с де Фрилером.

Жюльен был уже достаточно опытен и понимал, что должен совершенно всерьез принимать этот шутливый тон, которым с ним старались говорить.

— Вряд ли этот номер «Котидьен» достаточно занимателен, но, если господин маркиз разрешит, завтра утром я буду иметь честь прочитать его весь наизусть.

— Как? Даже объявления?

— В точности. Не пропуская ни слова.

— Вы ручаетесь, вы мне обещаете это? — вдруг спросил маркиз с неожиданной серьезностью.

— Да, сударь, и разве только страх нарушить обещание мог бы ослабить мою память.

— Видите ли, я забыл вас спросить об этом вчера. Я не собираюсь заставлять вас клясться мне, что вы никогда никому не повторите того, что сейчас услышите,— я слишком хорошо знаю вас, чтобы оскорбить вас таким подозрением. Я поручился за вас. Вы поедете со мной в один дом, где соберутся двенадцать человек. Вы будете записывать в точности все, что скажет каждый из них.

Не беспокойтесь, это будет не общий неопределенный разговор, все будут говорить по очереди. Конечно, это не значит, что будет соблюдаться строгий порядок,— добавил маркиз, снова переходя на легкий, шутливый тон, который был ему так свойствен.— Пока мы будем беседовать, вы испишете страниц двадцать, потом мы вернемся с вами домой и выкроим из этих двадцати страниц четыре. И вот эти четыре странички вы мне и прочтете завтра наизусть вместо всего номера «Котидьен». А затем вы тотчас же уедете: вы отправитесь на почтовых и будете разыгрывать из себя молодого человека, путешествующего ради собственного удовольствия. Ваша задача будет состоять в том, чтобы ни одна душа вас не заметила. Вы приедете к очень высокопоставленному лицу. Там уже вам потребуется проявить некоторую ловкость. Дело в том, что вам надо будет обмануть всех, кто его окружает, ибо среди его секретарей, среди слуг его есть люди, подкупленные нашими врагами; они подстерегают наших посланцев и стараются перехватить их. У вас будет рекомендательное письмо, но оно, в сущности, не будет иметь никакого значения.

Как только его светлость взглянет на вас, вы вынете из кармана мои часы — вот они, я вам даю их на время вашего путешествия. Возьмите их, чтобы они уже были у вас, а мне отдайте ваши.

Герцог сам соизволит записать под вашу диктовку эти четыре страницы, которые вы выучите наизусть.

Когда это будет сделано — но отнюдь не раньше, заметьте это себе,— вы расскажете его светлости, если ему будет угодно спросить вас, о том заседании, на котором вы сейчас будете присутствовать.

Я думаю, в дороге вам не придется скучать, ибо между Парижем и резиденцией министра найдется немало людей, которые почтут за счастье пристрелить аббата Сореля. Тогда его миссия будет окончена, и полагаю, что дело наше весьма затянется, ибо, дорогой мой, как же мы сумеем узнать о вашей смерти? Ваше усердие не может простираться до того, чтобы самому сообщить нам о ней.

Отправляйтесь же немедленно и купите себе костюм,— сказал маркиз, снова переходя на серьезный тон.— Оденьтесь так, как это считалось в моде, ну, скажем, тому назад два года. Сегодня вечером вы должны иметь вид человека, мало заботящегося о своей внешности. А в дороге, наоборот, вы должны быть таким, как обычно. Это вас удивляет? Я вижу, что подозрительность ваша уже угадала? Да, друг мой,

одно из почтенных лиц, чью речь вы услышите, вполне способно сообщить кое-кому некоторые сведения, на основании коих вас отлично смогут угостить ну хотя бы опиумом на каком-нибудь гостеприимном постоялом дворе, где вы остановитесь поужинать.

— Уж лучше дать тридцать лье крюку,— сказал Жюльен,— и не ехать прямой дорогой. Я полагаю, речь идет о Риме...

У маркиза сделался такой надменный и недовольный вид, какого Жюльен не видал у него со времени Бре-ле-О.

— Об этом, сударь, вы узнаете, когда я сочту уместным сообщить вам это. Я не люблю вопросов.

— Это был не вопрос,— горячо возразил Жюльен.— Клянусь вам, сударь, я просто думал вслух, я искал про себя наиболее безопасный путь.

— Да, похоже на то, что ваши мысли витали где-то очень далеко. Не забывайте, что посланник, да еще в ваши годы, ни в коем случае не должен производить впечатление, что он посягает на чье-то доверие.

Жюльен был чрезвычайно смущен — действительно, он сглупил. Его самолюбие пыталось найти оправдание и не находило его.

— И учтите еще,— добавил г-н де Ла-Моль,— что стоит только человеку сделать глупость, как он пытается тотчас же сослаться на свои добрые намерения.

Час спустя Жюльен уже стоял в передней маркиза; вид у него был весьма приниженный; на нем был старомодный костюм с галстуком сомнительной белизны, он был похож на забитого сельского учителя.

Увидя его, маркиз расхохотался, и только после этого Жюльен получил полное прощение.

«Уж если и этот юноша предаст меня,— думал г-н де Ла-Моль,— то кому можно довериться? А когда действуешь, неизбежно приходится кому-нибудь доверяться. У моего сына и у его достойных друзей такой же закваски, как он, смелости и верности хватило бы на сто тысяч человек: если бы пришлось драться, они бы пали на ступенях трона, и умеют они всё... всё... да вот только не то, что необходимо в данную минуту. Черта с два, да разве среди них найдется хоть один, который мог бы выучить наизусть четыре страницы текста и проехать сотню лье, не попавшись? Норбер сумеет пойти на смерть, как и его предки, но ведь на это способен и любой рекрут...»

И маркиз впал в глубокую задумчивость. «Да и на смерть пойти, пожалуй, этот Сорель тоже сумеет не хуже его»,— подумал он и вздохнул.

— Ну, едем,— сказал маркиз, словно пытаясь отогнать неприятную мысль.

— Сударь,— сказал Жюльен,— покуда мне поправляли этот костюм, я выучил наизусть первую страницу сегодняшнего номера «Котидьен».

Маркиз взял газету, и Жюльен прочел на память все, не сбившись ни в одном слове. «Превосходно,— сказал себе маркиз, который в этот вечер сделался сущим дипломатом.— По крайней мере, юноша не замечает улиц, по которым мы едем».

Они вошли в большую, довольно невзрачного вида гостиную, частью отделанную деревянными панелями, а местами обитую зеленым бархатом. Посредине комнаты хмурый лакей расставлял большой обеденный стол, который затем под его руками превратился в письменный при помощи громадного зеленого сукна, испещренного чернильными пятнами,— рухляди, вытащенной из какого-нибудь министерства.

Хозяин дома был высоченный, необыкновенно тучный человек; имя его ни разу не произносилось; Жюльен нашел, что своей физиономией и красноречием он похож на человека, который всецело поглощен своим пищеварением.

По знаку маркиза Жюльен примостился в самом конце стола. Дабы соблюсти подобающий вид, он принялся чинить перья. Украдкой он насчитал семь собеседников, однако он видел только спины их. Двое из них, казалось, держали себя с г-ном де Ла-Молем как равные, остальные обращались к нему более или менее почтительно.

Вошел без доклада еще какой-то господин. «Странно! — подумал Жюльен.— Здесь даже не докладывают о том, кто входит. Или это мера предосторожности в честь моей особы?» Все поднялись с мест, приветствуя вошедшего. У него были те же весьма почетные ордена, как и у тех троих, кто уже присутствовал в гостиной. Говорили совсем тихо. Жюльен мог судить о новоприбывшем, руководясь только чертами его лица и его фигурой. Он был низенький, коренастый, краснощекий, в его поблескивающих глазках нельзя было прочесть ничего, кроме свирепости дикого кабана.

Появившаяся почти немедленно вслед за ним другая особа, совсем иного вида, сразу отвлекла внимание Жюльена. Это

был очень высокий, чрезвычайно худой человек; на нем было надето три или четыре жилета. Взгляд у него был благожелательный, манеры учтивые.

«Вылитый епископ Безансонский»,— подумал Жюльен. Человек этот был духовного звания; ему можно было дать лет пятьдесят — пятьдесят пять, и вид у него был поистине святоотческий.

Вошел молодой епископ Агдский, и на лице его изобразилось крайнее удивление, когда он, обводя взглядом присутствующих, наткнулся на Жюльена. Он ни разу не говорил с ним со времени крестного хода в Бре-ле-О. Его удивленный взгляд смутил и рассердил Жюльена. «Ну, что это! — говорил он себе.— Неужели то, что я знаю человека, вечно будет для меня камнем преткновения? Все эти важные особы, которых я никогда в жизни не видал, нисколько меня не смущают, а взгляд этого молодого епископа леденит меня. Надо сознаться, я действительно какое-то ужасно странное и злосчастное существо».

Небольшой человечек с чрезвычайно черной шевелюрой шумно вошел в гостиную и заговорил сразу, едва показавшись в дверях; лицо у него было желтое, он немного смахивал на сумасшедшего. Как только появился этот невыносимый болтун, гости стали сходиться кучками, по-видимому, для того, чтобы спастись от неприятности слушать его.

Удаляясь от камина, группы беседующих постепенно приближались к дальнему концу стола, где сидел Жюльен. Положение его становилось все более и более затруднительным, ибо в конце концов, какие бы усилия он ни прилагал, он не мог не слышать, и, как ни мал был его опыт, он, конечно, понимал всю важность того, о чем здесь говорили безо всяких обиняков; а уж, несомненно, все эти высокопоставленные особы, которых он здесь видел, были весьма заинтересованы в том, чтобы все это осталось в глубокой тайне!

Жюльен уже очинил, по крайней мере, десятка два перьев, хоть и старался делать это как можно медленней; прикрывать свое замешательство при помощи этого занятия больше не было возможности. Тщетно он пытался уловить какое-нибудь приказание в глазах г-на де Ла-Моля; маркиз забыл о нем.

«То, что я делаю, совершенно нелепо,— рассуждал Жюльен, продолжая чинить перья,— но эти люди со столь заурядными физиономиями, которые, по собственному ли почину или будучи кем-то уполномочены, замышляют такие дела, должны

быть весьма и весьма настороже. В моем злосчастном взгляде, наверно, сквозят недоумение и недостаток почтительности, и это, разумеется, должно их раздражать. А если я буду все время сидеть, опустив глаза, у меня будет такой вид, будто я стараюсь не пропустить ни одного их слова».

Его замешательство дошло до крайних пределов; он слышал весьма удивительные речи.

XXII

ПРЕНИЯ

> Республика! Нынче на одного человека, готового пожертвовать всем ради общего блага, приходятся тысячи тысяч, миллионы таких, которым нет дела ни до чего, кроме собственного удовольствия и тщеславия. В Париже человека судят по его выезду, а отнюдь не по его достоинствам.
>
> *Наполеон. «Мемориал св. Елены».*

Стремительно вошедший лакей возгласил: «Господин герцог ***».

— Замолчи, любезный, ты просто глуп,— сказал герцог, входя.

Он так хорошо произнес это и с таким величием, что Жюльену невольно пришло на ум, что искусство одернуть лакея и есть истинное призвание сей знатной особы. Жюльен поднял глаза и тотчас же опустил их. Его представление о новоприбывшем оказалось до такой степени верным, что он испугался, как бы его взгляд не выдал этой дерзкой догадки.

Герцогу на вид было лет пятьдесят; одет он был истинным франтом и выступал, словно заводная кукла. У него была узкая голова, большой нос, резко очерченное и выпяченное вперед неподвижное лицо; трудно было вообразить себе более аристократическую и вместе с тем более незначительную физиономию. С его появлением заседание немедленно открылось.

Голос г-на де Ла-Моля внезапно прервал физиогномические наблюдения Жюльена.

— Представляю вам господина аббата Сореля,— сказал маркиз.— Он наделен изумительной памятью; всего лишь час назад я сообщил ему о том, что, быть может, ему выпадет честь удостоиться высокой миссии, и он, дабы показать свою память, выучил наизусть всю первую страницу «Котидьен».

— А-а! Сообщения из-за границы этого бедняги Н.,— промолвил хозяин дома.

Он поспешно схватил газету и, состроив какую-то нелепую мину, ибо старался придать себе внушительный вид, поглядел на Жюльена.

— Прошу вас, сударь,— сказал он.

Наступило глубокое молчание, все глаза устремились на Жюльена; он отвечал так хорошо, что после двадцати строк герцог прервал его, промолвив:

— Довольно.

Маленький человечек с кабаньим взглядом сел за стол. Он был председателем, ибо едва только он уселся на свое место, он указал Жюльену на ломберный столик и знаком предложил придвинуть его к себе. Жюльен расположился за этим столиком со своими письменными принадлежностями. Он насчитал двенадцать человек за зеленой скатертью.

— Господин Сорель,— сказал герцог,— подите пока в соседнюю комнату; вас позовут.

У хозяина дома вдруг сделался крайне озабоченный вид.

— Ставни не закрыли,— сказал он вполголоса своему соседу.— В окна смотреть незачем! — довольно глупо крикнул он Жюльену.

«Ну, вот я и попал по меньшей мере в заговорщики,— подумал Жюльен.— Хорошо еще, что этот заговор не из тех, которые прямиком ведут на Гревскую площадь. Но если бы даже и грозила такая опасность, я должен пойти на это и даже на большее ради маркиза. Я был бы счастлив загладить как-нибудь те огорчения, которые могут причинить ему в будущем мои безрассудства!»

И, задумавшись о своих безрассудствах и о своем горе, он в то же время внимательно оглядывался по сторонам, и все, что он видел здесь, прочно запечатлевалось в его памяти. И тут только он припомнил, что маркиз не сказал лакею названия улицы, а распорядился нанять фиакр, чего никогда еще не бывало.

Жюльен надолго был предоставлен своим размышлениям. Он сидел в гостиной, обтянутой красным бархатом с широкими золототканными галунами. На высоком столике стояло

большое распятие из слоновой кости, а на камине лежала книга «О папе» г-на де Местра, с золотым обрезом и в великолепном переплете. Жюльен раскрыл ее, чтобы не иметь вида человека, который подслушивает. Разговор в соседней комнате временами шел очень громко. Наконец дверь отворилась, и его позвали.

— Имейте в виду, господа,— сказал председатель,— что с этой минуты мы говорим перед лицом герцога ***. Этот господин,— промолвил он, показывая на Жюльена,— молодой священнослужитель, вполне преданный нашему святому делу, и он с помощью своей изумительной памяти перескажет без труда слово в слово весь наш разговор.

— Слово принадлежит вам, сударь,— сказал он, делая пригласительный жест в сторону особы с святоотческим видом, облаченной в три или четыре жилета.

Жюльен подумал, что естественнее было бы назвать по имени этого господина в жилетах. Он взял бумагу и принялся старательно записывать.

(Здесь автор имел в виду поставить целую страницу точек.

— Это будет совершенно неуместно,— заявил издатель,— а для такого легкомысленного произведения неуместные выдумки просто зарез.

— Политика,— возражал автор,— это камень на шее литературы; не пройдет и полгода, как он потопит литературное произведение. Политика средь вымыслов фантазии — это все равно, что выстрел из пистолета среди концерта: душераздирающий звук, но при этом безо всякой выразительности. Он не гармонирует ни с какими инструментами. Политика насмерть разобидит одну половину моих читателей, а другой половине покажется скучной, ибо то, что они читали сегодня утром в газете, было куда интереснее и острее...

— Если ваши действующие лица не говорят о политике,— сказал издатель,— значит, это не французы тысяча восемьсот тридцатого года и книга ваша отнюдь не является зеркалом, как вы изволили заявить...)

Протокол Жюльена занял двадцать шесть страниц; вот краткое изложение его, хотя и довольно бледное, ибо пришлось, как это всегда делается в подобных случаях, выпустить разные курьезы, изобилие коих могло бы оттолкнуть или показаться неправдоподобным (см. «Газет де трибюно»).

Человек в жилетах со святоотческим видом (возможно, это был епископ) часто улыбался, и тогда глаза его, затенен-

ные полуопущенными ресницами, загорались странным блеском, а взгляд его казался уже не столь нерешительным, как обычно. Этот господин, которому было предложено первому говорить пред лицом герцога («но какой же это герцог?» — подумал Жюльен), по-видимому, с целью изложить общее мнение и выступить, так сказать, в роли всеобщего поверенного, обнаружил, как показалось Жюльену, какую-то неуверенность, отсутствие определенных выводов, в чем так часто обвиняют судейское сословие. Впоследствии, во время обсуждения, герцог не преминул поставить ему это на вид.

После нескольких фраз душеспасительного и назидательного характера человек в жилетах сказал:

— Благородная Англия, руководимая великим человеком, бессмертным Питтом, израсходовала сорок миллиардов франков, дабы противостоять революции. Если собрание разрешит, я позволю себе высказать откровенно некую печальную мысль; я бы сказал, что Англия недостаточно понимала, что с таким человеком, как Бонапарт,— тем паче если ему ничего не могли противопоставить, кроме благих намерений,— добиться решительных результатов можно было только средствами индивидуального...

— Ах, опять восхваление убийств! — тревожным тоном сказал хозяин дома.

— Избавьте нас, сделайте милость, от ваших сентиментальных наставлений! — раздраженно воскликнул председатель, и его кабаньи глазки загорелись свирепым огнем.— Продолжайте! — сказал он человеку в жилетах.

Щеки и лоб председателя побагровели.

— Благородная Англия,— продолжал докладчик,— ныне раздавлена. Каждый англичанин, раньше чем он заплатит за хлеб свой, должен сперва оплатить проценты за те сорок миллиардов, которые пошли на борьбу с якобинцами. Питта у нее уже нет.

— У нее есть герцог Веллингтон! — произнес человек в военном мундире, с весьма внушительным видом.

— Умоляю, господа, спокойствие! — вскричал председатель.— Если опять начнутся споры, то зачем мы вызвали господина Сореля?

— Известно, что вы, сударь, одержимы великими идеями,— колко заметил герцог, кинув взгляд на военного, бывшего наполеоновского генерала. Жюльен понял, что в этих словах заключался какой-то намек личного характера, весьма

оскорбительный. Все улыбнулись; генерал-перебежчик явно кипел от ярости.

— Питта больше нет, господа,— снова заговорил докладчик унылым тоном человека, отчаявшегося вразумить своих слушателей.— Да если бы и нашелся в Англии новый Питт, нельзя обмануть целый народ два раза подряд одним и тем же способом.

— Вот поэтому-то генерал-завоеватель, второй Бонапарт, ныне уже немыслим во Франции! — воскликнул, снова перебивая его, военный.

На этот раз ни председатель, ни герцог не решились рассердиться, хотя Жюльен и видел по их глазам, что они едва сдерживаются. Они опустили глаза, и герцог вздохнул так, чтобы все это заметили.

Но докладчик на этот раз обиделся.

— Мне не дают договорить,— сказал он запальчиво, внезапно отбрасывая ту улыбчивую учтивость и осторожность, которые, как полагал Жюльен, являлись подлинным выражением его нрава,— мне не дают договорить, никто не желает принимать во внимание тех усилий, которые я кладу на то, чтобы не задеть ничьих ушей, какой бы длины они ни были. Так вот, господа, я буду краток.

И я вам скажу попросту: у Англии сейчас гроша нет, чтобы помочь благому делу. Вернись сейчас сам Питт, и он при всей своей гениальности не смог бы одурачить мелких английских собственников, ибо им прекрасно известно, что одна короткая Ватерлооская кампания обошлась им в миллиард франков. Так как от меня требуют ясности,— продолжал докладчик, все более воодушевляясь,— то я вам прямо скажу: *помогайте себе сами,* потому что у Англии нет ни одной гинеи к вашим услугам, а когда Англия не может платить, то Австрия, Россия и Пруссия, у которых сколько угодно храбрости и ни гроша денег, не могут выдержать более одной или двух кампаний против Франции.

Можно надеяться, что молодые солдаты, которых наберут якобинцы, будут разбиты в первой кампании, даже, быть может, во второй, но что касается третьей, то пусть я окажусь революционером в ваших предубежденных глазах,— в третьей кампании вы увидите солдат тысяча семьсот девяносто четвертого года, которые уже перестали быть деревенскими рекрутами тысяча семьсот девяносто второго.

Тут его прервали возгласы с трех или четырех мест сразу.

— Сударь,— сказал председатель Жюльену,— подите в

соседнюю комнату и перепишите набело начало протокола, который вы вели.

Жюльен ушел с немалым сожалением. Докладчик только что затронул некоторые предполагаемые возможности, которые были предметом постоянных размышлений Жюльена.

«Боятся, как бы я их на смех не поднял»,— подумал он.

Когда его позвали снова, г-н де Ла-Моль говорил торжественным тоном, показавшимся Жюльену очень забавным, ибо он хорошо знал маркиза.

— ...Да, господа, и вот именно об этом-то несчастном народе и можно сказать:

Кем быть ему, чурбаном или богом?

«Он будет богом!» — восклицает баснописец. Но это из ваших уст, господа, надлежит нам услышать эти великие, проникновенные слова. Начните и действуйте сами, и славная Франция явится снова почти такой же, какой сделали ее наши предки и какой мы еще видели ее своими глазами перед кончиной Людовика XVI.

Англия, по крайней мере ее благородные лорды, так же как и мы, ненавидит подлое якобинство: без английского золота Россия, Австрия и Пруссия не в состоянии дать более двух-трех сражений. Но разве этого достаточно, чтобы привести к столь счастливой оккупации, как та, которую так глупо упустил господин де Ришелье в тысяча восемьсот семнадцатом году? Я этого не думаю.

Тут кто-то попытался прервать его, но попытку эту пресекло поднявшееся со всех сторон шиканье. Прервать пытался опять все тот же бывший генерал императорской армии: он мечтал о голубой ленте и рассчитывал занять видное место среди составителей секретной ноты.

— Нет, я этого не думаю,— повторил г-н де Ла-Моль после того, как смятение улеглось, причем он так резко, с такой уверенной дерзостью подчеркнул это «я», что Жюльен пришел в восторг.

«Вот это правильный ход! — думал он, и перо его летало по бумаге, почти не отставая от речи маркиза.— Одно слово, сказанное так, как надо, и г-н де Ла-Моль сводит на нет двадцать кампаний, проделанных этим перебежчиком».

— И не только на чужеземцев следует нам рассчитывать,— продолжал маркиз самым невозмутимым тоном,— в наших надеждах на новую военную оккупацию. Вся эта молодежь, которая пишет зажигательные статейки в «Глоб»,

может вам дать три-четыре тысячи молодых командиров, среди коих, возможно, найдутся и Клебер, и Гош, и Журдан, и Пишегрю, только далеко не такой благонамеренный на сей раз.

— Мы не позаботились создать ему славу,— сказал председатель.— Следовало бы увековечить его имя.

— Необходимо, наконец, добиться, чтобы во Франции было две партии,— продолжал г-н де Ла-Моль,— но чтобы это были две партии не только по имени, а две совершенно четкие, резко разграниченные партии. Установим, кого надо раздавить. С одной стороны, журналисты, избиратели, короче говоря, общественное мнение; молодежь и все, кто ею восхищается. Пока они себе кружат головы собственным пустословием, мы, господа, пользуемся великим преимуществом: мы распоряжаемся бюджетом.

Тут его опять перебили.

— Вы, сударь,— обратился г-н де Ла-Моль к перебившему его, и при этом с удивительным спокойствием и крайним высокомерием,— вы, если вас задевает мое выражение, не распоряжаетесь бюджетом, а просто пожираете сорок тысяч франков государственного бюджета плюс восемьдесят тысяч, которые вы получаете по цивильному листу.

Хорошо, сударь, раз вы меня к этому вынуждаете, я позволю себе, не стесняясь, привести вас в пример. Подобно вашим благородным предкам, которые пошли за Людовиком Святым в крестовый поход, вы за эти сто двадцать тысяч франков должны были бы выставить нам, по крайней мере, один полк,— да что я говорю, хотя бы одну роту, ну, полроты, или пусть это будет хоть пятьдесят человек, готовых сражаться и преданных правому делу на жизнь и на смерть. А что же у вас? Одни лакеи, которые, случись бунт, вам же и зададут страху.

Трон, церковь, дворянство — все это может завтра же рухнуть, господа, если вы не позаботитесь создать в каждом департаменте вооруженные отряды из пятисот *преданных* людей, я говорю преданных не только со всей французской доблестью, но и со всей испанской стойкостью.

Половина этих людей должна состоять из наших сыновей, наших племянников — словом, из родовитого дворянства. И каждый из них должен иметь при себе не пустого болтуна-мещанина, готового нацепить на себя трехцветную кокарду, если повторится тысяча восемьсот пятнадцатый год,— нет, простого крестьянского парня, простодушного, чистосердеч-

ного, вроде Кателино. Наш дворянин будет его наставником, а всего лучше, если возможно, чтобы это был его молочный брат. Пусть каждый из нас отдаст *пятую долю* своих доходов, чтобы создать в каждом департаменте этакий маленький преданный отряд из пятисот человек. Вот тогда можно смело рассчитывать на иностранную оккупацию. Но никогда чужеземный солдат не дойдет даже до Дижона, если у него не будет уверенности, что в каждом департаменте он найдет полтысячи вооруженных друзей.

Иностранные короли до тех пор не будут вас слушать, пока вы не заявите им, что у вас есть двадцать тысяч дворян, готовых взяться за оружие для того, чтобы распахнуть перед ними ворота Франции. Это тяжкая повинность, скажете вы. Господа, этой ценой мы спасаем наши головы. Между свободой печати и нашим существованием, как дворян, идет борьба не на жизнь, а на смерть. Становитесь фабрикантами либо крестьянами или беритесь за ружье. Можете робеть коли угодно, но не будьте глупы, откройте глаза.

«Стройтесь в батальоны» — вот что я вам скажу словами якобинской песенки, и тогда найдется какой-нибудь великодушный Густав-Адольф, который, видя неминуемую опасность, угрожающую монархическим основам, бросится за три сотни лье от своих владений и сделает для вас то, что сделал Густав для протестантских князей. Или вам угодно заниматься разговорами и сидеть сложа руки? Пройдет пятьдесят лет, и в Европе будут только одни президенты республик и ни одного короля. А вместе с этими шестью буквами: К-О-Р-О-Л-Ь — будут стерты с лица земли и служители церкви и дворяне. Вот мы тогда и полюбуемся, как останутся одни *кандидаты,* заискивающие перед *низким большинством.*

Можно сколько угодно разглагольствовать о том, что во Франции сейчас нет популярного генерала, всем известного и всеми любимого, что армия наша созидалась в целях защиты престола, тогда как в любом австрийском или прусском полку найдется человек пятьдесят унтеров, понюхавших пороху. Двести тысяч молодых людей из мелкой буржуазии бредят войной.

— Не достаточно ли этих горьких истин? — чванно произнесла некая важная особа, по-видимому, занимавшая весьма видное место среди духовной иерархии, ибо г-н де Ла-Моль, вместо того, чтобы рассердиться, улыбнулся на его слова, что Жюльену показалось весьма знаменательным.

— Достаточно горьких истин, хорошо, сделаем выводы,

господа: человеку, которому необходимо отнять гангренозную ногу, бесполезно было бы уверять своего хирурга, что эта больная нога совершенно здорова. Простите меня, если я позволю себе так выразиться, господа: благородный герцог *** — наш хирург.

«Ну, вот, наконец-то заветное слово сказано,— подумал Жюльен,— значит, нынче ночью я помчусь прямехонько в...»

XXIII

ДУХОВЕНСТВО, ЛЕСА, СВОБОДА

> Основной закон для всего существующего — это уцелеть, выжить. Вы сеете плевелы и надеетесь взрастить хлебные колосья.
>
> *Макиавелли.*

Важная персона продолжала свою речь; видно было, что это человек осведомленный; Жюльену очень понравилась мягкая, сдержанная убедительность, с которой он излагал свои великие истины:

1. У Англии не найдется для нас ни одной гинеи, там сейчас в моде экономия и Юм. Никто, даже их *святые*, не дадут нам денег, а господин Брум поднимет нас на смех.

2. Больше чем на две кампании венценосцы Европы не рискнут пойти без английского золота, а двух кампаний мало, чтобы раздавить мелкую буржуазию.

3. Необходимо создать во Франции вооруженную партию, без чего монархические элементы Европы не отважатся даже и на эти две кампании.

А четвертый пункт, который я позволю себе вам представить как нечто совершенно бесспорное, заключается вот в чем:

Немыслимо создать вооруженную партию во Франции без помощи духовенства. Я вам прямо это говорю, господа, и сейчас я вам это докажу. Надо все предоставить духовенству. Находясь денно и нощно при исполнении своих обязанностей, руководимое высокодостойными людьми, кои ограждены от всяких бурь, ибо обитель их за триста лье от ваших границ...

— А-а! Рим, Рим! — воскликнул хозяин дома.

— Да, сударь, *Рим!* — гордо повторил кардинал.— В ка-

ких бы шуточках ни изощрялись на этот счет в дни вашей юности, когда подобное остроумие было в моде, я говорю вам во всеуслышание, в тысяча восемьсот тридцатом году одно только духовенство, руководимое Римом, сумеет найти доступ к сердцу простого народа.

Пятьдесят тысяч священников повторяют одни и те же слова в день, указанный их владыками, и народ, который в конце концов и дает вам солдат, восчувствует глас своих пастырей сильнее, нежели всякое витийство мирян... (Этот личный выпад вызвал ропот среди собравшихся.)

— Духовенство обладает силой, превосходящей вашу,— снова заговорил кардинал, возвышая голос,— все шаги, которые вы делали, дабы достичь основной цели — *создать во Франции вооруженную партию*,— были сделаны нами...

Тут последовали факты... Кто роздал восемьдесят тысяч ружей в Вандее?.. И так далее, и так далее.

— Пока духовенство не получит обратно своих лесов, оно ничего не в состоянии сделать. Стоит только начаться войне, министр финансов предпишет агентам за отсутствием средств выплачивать жалованье только приходским священникам. Ведь Франция, в сущности,— неверующая страна, и она любит воевать. Кто бы ни преподнес ей войну, он будет популярен вдвойне, ибо воевать — значит, выражаясь на площадном языке, заставить иезуитов пухнуть с голоду; воевать — значит избавить гордых французов от угрозы иноземного нашествия.

Кардинала слушали благосклонно.

— Следовало бы еще,— добавил он,— чтобы господин де Нерваль оставил министерство, ибо имя его вызывает излишнее раздражение.

Тут все повскакали с мест и заговорили разом. «Сейчас меня опять вышлют»,— подумал Жюльен; но даже сам осмотрительный председатель забыл о присутствии и существовании Жюльена.

Все взоры устремились на человека, которого Жюльен сразу узнал. Это был г-н де Нерваль, премьер-министр; он видел его на бале у герцога де Реца.

Смятение достигло апогея, как принято выражаться в газетах по поводу парламентских заседаний. Прошло добрых четверть часа, пока наконец восстановилась относительная тишина.

Тогда поднялся г-н де Нерваль и, наподобие апостола, начал вещать.

— Я далек от того, чтобы утверждать,— начал он каким-то необыкновенным голосом,— что я вовсе не дорожу постом министра.

Мне указывают, господа, будто имя мое умножает силы якобинцев, восстанавливая против нас множество умеренных. Я охотно ушел бы, но пути господни дано знать немногим. А мне,— добавил он, глядя в упор на кардинала,— надлежит выполнить то, что мне предназначено. Глас небесный изрек мне: «Либо ты сложишь голову на эшафоте, либо восстановишь во Франции монархию и низведешь Палаты на то место, какое занимал парламент при Людовике XV». И я это *сделаю,* господа.

Он умолк и сел; наступила мертвая тишина.

«Хороший актер!» — подумал Жюльен. Он ошибался, как всегда, приписывая людям, по своему обыкновению, гораздо больше ума, чем у них было на самом деле. Воодушевленный спорами сегодняшнего бурного вечера, а еще того более искренностью выступавших ораторов, г-н де Нерваль в эту минуту всей душой верил в свое предназначение. Этот человек, обладавший большим мужеством, отнюдь не отличался умом.

В тишине, воцарившейся после знаменательной фразы *«Я это сделаю»,* пробило полночь. Жюльену почудилось в этом бое часов что-то величественное и зловещее. Он был взволнован.

Прения вскоре возобновились с удвоенной силой, а главное — с непостижимой откровенностью. «Эти люди в конце концов меня отравят,— подумывал иногда Жюльен.— Как это они решаются говорить подобные вещи перед плебеем?»

Пробило два часа, а они все говорили и говорили. Хозяин дома давно уже похрапывал; г-н де Ла-Моль был вынужден позвонить, чтобы подали новые свечи. Г-н де Нерваль, министр, отбыл без четверти два, не преминув, однако, несколько раз перед уходом впиться внимательным взглядом в физиономию Жюльена, отражавшуюся в стенном зеркале неподалеку от его стула. Как только он скрылся, все почувствовали себя свободнее.

Пока вставляли новые свечи, человек в жилетах тихонько сказал соседу:

— Бог его знает, что только не наговорит королю этот человек. Он может поставить нас в самое глупое положение и испортить нам все. Надо прямо сказать: это исключительная самонадеянность и даже наглость с его стороны, что он появляется здесь. Он бывал здесь и раньше, до того, как попал в министры, но портфель как-никак меняет все, человек

жертвует ему всеми своими интересами, и он должен был бы это понимать.

Не успел министр скрыться, как бонапартистский генерал сомкнул вежды. Потом заговорил о своем здоровье, о ранах, взглянул на часы и исчез.

— Держу пари,— сказал человек в жилетах,— что генерал сейчас догоняет министра. Он будет оправдываться в том, что его застали здесь, и уверять, что он нас держит в руках.

Когда заспанные лакеи зажгли, наконец, новые свечи, слово взял председатель:

— Нам надо прийти к решению, господа. Не будем пытаться переубедить друг друга. Подумаем лучше о содержании ноты, которая через сорок восемь часов будет находиться перед глазами наших иноземных друзей. Здесь говорили о министрах. Теперь, когда господин де Нерваль покинул нас, мы можем сказать: а что нам за дело до министров? Мы заставим их желать того, что нам требуется.

Кардинал тонкой улыбкой выразил свое одобрение.

— Нет ничего проще, как, мне кажется, изложить нашу точку зрения,— сказал молодой епископ Агдский со сдерживаемым потаенным огнем самого лютого фанатизма.

До сих пор он хранил молчание, и Жюльен, наблюдавший за ним, видел, что взор его, сначала мягкий и кроткий, загорелся после первого же часа прений. Теперь огонь, пылавший в его душе, вырвался наружу, как лава Везувия.

— Начиная с тысяча восемьсот шестого и по тысяча восемьсот четырнадцатый год,— сказал он,— Англии можно поставить в вину только одно: что она не предприняла никакого прямого действия непосредственно против особы Наполеона. Как только этот человек начал жаловать в герцоги и камергеры, как только он восстановил трон, миссия, возложенная на него господом богом, была завершена,— оставалось только сокрушить его. Священное писание не в одном месте указывает нам, как надлежит расправляться с тиранами (тут пошли многочисленные латинские цитаты).

Ныне, господа, требуется сокрушить не одного человека, а весь Париж. Вся Франция берет пример с Парижа. Какой толк вооружать эти ваши пятьсот человек в каждом департаменте? Затея рискованная, и добром она не кончится. Зачем нам вмешивать всю Францию в дело, которое касается одного Парижа? Только Париж, со своими газетами, со своими салонами, породил это зло, пусть же и погибнет этот новый Вавилон.

Борьба идет между церковью и Парижем, и пора положить ей конец. Катастрофа эта пойдет на пользу трону даже с точки зрения его светских интересов. Почему Париж пикнуть не смел при Бонапарте? Спросите об этом пушку у церкви святого Роха...

. . . . . .

Было уже три часа утра, когда Жюльен вышел вместе с г-ном де Ла-Молем.

Маркиз устал, и ему было неловко. Обратившись к Жюльену, он впервые заговорил с ним тоном, в котором слышалась просьба. Он просил Жюльена дать ему слово, что он никогда никому не проговорится о том чрезмерном рвении (так именно он и выразился), свидетелем которого он случайно оказался.

— Вы можете рассказать об этом нашему чужеземному другу лишь в том случае, если он будет упорно настаивать и действительно обнаружит желание узнать, что представляют собой наши молодые безумцы. Что им за дело, если все государство полетит в тартарары? Они станут кардиналами, они укроются в Риме, а нас в наших замках перережут мужики.

Секретное послание, которое маркиз составил из длинного, в двадцать шесть страниц, протокола Жюльена, было готово без четверти пять утра.

— Устал до смерти,— сказал маркиз,— да это и по ноте видно: конец недостаточно четкий. Я так ею недоволен, как еще никогда в жизни не был недоволен ни одним из своих дел. Вот что, друг мой,— добавил он,— ступайте-ка отдохните несколько часов, а чтобы вас у меня не похитили, я вас запру на ключ в вашей комнате.

На другой день маркиз повез Жюльена куда-то довольно далеко от Парижа, в какой-то замок, стоявший на отлете, особняком. Хозяева произвели на Жюльена странное впечатление: ему показалось, что это были люди духовного звания. Ему дали подорожную с вымышленным именем, но там, наконец, было указано, куда он на самом деле едет,— чего до сих пор Жюльен будто бы не знал. Он сел в коляску один.

У маркиза не было никаких опасений насчет его памяти — Жюльен уже несколько раз прочел ему наизусть всю секретную ноту,— но он сильно побаивался, как бы самого Жюльена не схватили в дороге.

— Помните, самое главное — вы должны держаться франтом, который путешествует от скуки, просто потому, что

ему некуда деваться,— дружески наставлял он Жюльена, провожая его до двери гостиной.— Вполне возможно, что на наше вчерашнее собрание затесался не один мнимый собрат.

Время в пути летело быстро, но Жюльену было очень тоскливо. Едва только он успел скрыться из глаз маркиза, как мгновенно позабыл и о секретном послании, и о том, куда и зачем он едет. Все мысли его были поглощены отвергнувшей его Матильдой.

Когда он остановился в какой-то деревушке в нескольких лье за Мецом, смотритель почтового двора заявил ему, что лошадей нет. Было десять часов вечера. Жюльен, крайне раздосадованный, спросил ужинать. Прогуливаясь около ворот, он, будто невзначай, так, чтобы не привлечь ничьего внимания, заглянул на конный двор. Действительно, лошадей не было.

«А все-таки у этого человека был несколько странный вид,— подумал Жюльен.— Он слишком бесцеремонно меня разглядывал».

Как видно, он начинал уже не доверять тому, что ему говорили. Решив как-нибудь скрыться после ужина, чтобы разузнать на всякий случай кое-что об этих краях, он пошел в кухню погреться у очага. Какова же была его радость, когда он увидел там знаменитого певца синьора Джеронимо!

Устроившись в кресле, которое он велел подвинуть к самому огню, неаполитанец громко вздыхал и болтал один больше, чем двадцать немецких крестьян, столпившихся вокруг и глазевших на него, разинув рты.

— Эти люди хотят разорить меня! — крикнул он Жюльену.— Ведь я обещал завтра петь в Майнце! Семь владетельных князей съехались туда, чтобы меня послушать. А ну-ка, выйдем подышать свежим воздухом,— сказал он каким-то многозначительным тоном.

Они прошли по дороге шагов сто,— здесь их никто уже не мог слышать.

— Знаете вы, в чем тут дело? — сказал он Жюльену.— Этот смотритель — просто мошенник. Я пошел пройтись и сунул двадцать су здешнему мальчишке, а тот мне все и выложил. У него на конюшне дюжина лошадей, только они в другом конце деревни стоят. Здесь хотят задержать какого-то курьера.

— Да что вы? — с невинным видом воскликнул Жюльен.

Однако удостовериться в плутовстве было еще не все, надо было еще суметь уехать отсюда, но ни Джеронимо, ни его друг не могли этого сделать.

— Подождем до завтра,— решил наконец Джеронимо.— По-видимому, мы им внушаем подозрение. Вы это или я, но кому-то из нас они не доверяют. Завтра с утра закажем завтрак, да пообильнее, а пока они будут возиться с ним, пойдем пройтись, улизнем подальше, наймем лошадей, да и докатим до следующей почтовой станции.

— А как же ваши вещи? — спросил Жюльен, которому пришло в голову, что, быть может, самому Джеронимо как раз и поручено перехватить его.

Пора уже было ужинать и ложиться спать. Жюльен только что задремал, как вдруг его внезапно разбудили какие-то голоса: два человека без всякого стеснения разговаривали между собой у него в комнате.

В одном из них он узнал смотрителя почтового двора, который держал в руках потайной фонарь. Свет падал прямо на дорожный сундук, который Жюльен велел перенести из коляски к себе в комнату. Какой-то человек, стоявший рядом со смотрителем, преспокойно рылся в открытом сундуке. Жюльену видны были только рукава его одежды: они были черные и тесно облегали руку.

«Да ведь это сутана!» — решил он про себя и тихонько взялся за свои пистолеты, которые лежали у него под подушкой.

— Вы не бойтесь, ваше преподобие, он не проснется,— говорил почтовый смотритель.— Мы его угостили тем вином, которое вы сами изволили приготовить.

— Не нахожу решительно никаких бумаг,— отвечал священник.— Одно белье, духи, помада да всякие пустяки. Это просто какой-нибудь вертопрах из нынешней молодежи гоняется за развлечениями. Курьер их, должно быть, тот, другой, который нарочно говорит с итальянским акцентом.

Оба они приблизились к Жюльену с целью обыскать карманы его дорожного платья. Ему страшно хотелось пристрелить их, как воров. Ведь это не грозило ему никакими последствиями. Он с трудом подавил в себе это желание. «Дурак я буду,— подумал он.— Испорчу все дело». Они обыскали его одежду. «Нет, это не дипломат»,— решил священник. Он отошел — и хорошо сделал.

«Если только он дотронется до меня, несдобровать ему,— думал Жюльен.— Он еще и сейчас может пырнуть меня кинжалом, да только я этого не допущу».

Священник повернулся к нему. Жюльен чуть-чуть приоткрыл глаза. Каково же было его удивление: это был не кто иной, как аббат Кастанед! И в самом деле, хотя оба эти субъекта и старались говорить не особенно громко, один из голосов с первой же минуты показался Жюльену знакомым. Он почувствовал неудержимое желание избавить землю от этой гнуснейшей твари.

«А миссия моя?» — сказал он себе.

Священник и его подручный ушли. Через четверть часа Жюльен сделал вид, что проснулся. Он стал кричать, поднял шум и перебудил весь дом.

— Меня отравили! Мне плохо! — кричал он.— Ой, какие нестерпимые муки!

Ему нужен был предлог, чтобы помочь Джеронимо. Он отправился к нему и нашел его в полуобморочном состоянии от опиума, который им подмешали в вино.

Сам Жюльен, предвидя, что с ним могут сыграть такую штуку, поужинал одним шоколадом, который он захватил из Парижа. Как он ни старался, ему не удалось разбудить Джеронимо и уговорить его уехать.

— Пусть мне подарят все неаполитанское королевство,— бормотал сквозь сон певец,— не проснусь, нет, нет! Спать так сладко!

— А семь владетельных князей?

— Подождут.

Жюльен уехал один и без всяких происшествий добрался до высокой особы. Целое утро он потерял даром, тщетно пытаясь добиться аудиенции. На его счастье, часов около четырех герцог вышел прогуляться. Жюльен, увидев, как он направился пешком, не задумываясь, приблизился к нему и попросил подаяния. Остановившись в двух шагах от высокой особы, он вытащил из кармана часы маркиза де Ла-Моля и показал их, протянув ладонь.

— Следуйте за мной поодаль,— ответили ему, не взглянув на него.

Примерно в четверти лье от места их встречи герцог внезапно свернул и вошел в маленькую кофейню. И вот тут-то, в грязной комнатушке низкопробной харчевни, Жюльен имел честь рапортовать герцогу наизусть свои четыре страницы.

— *Повторите все сначала,*— сказали ему, когда он кончил,— *и говорите медленнее!*

Герцог записал кое-что.

— Идите пешком до следующей почтовой станции. Вещи и коляску бросьте здесь. Доберитесь до Страсбурга, как сумеете, а двадцать второго числа этого месяца (а было десятое) *в половине первого дня будьте в этой же кофейне. Выходите отсюда не раньше чем через полчаса. Ни слова!*

Это было все, что услышал Жюльен. Но этого было достаточно, чтобы он проникся истинным восхищением. «Вот как делаются серьезные дела! — подумал он.— А что бы сказал этот государственный муж, если бы услышал наших оголтелых болтунов три дня тому назад!»

У Жюльена ушло два дня на дорогу до Страсбурга, где, как ему казалось, делать было совершенно нечего. Он добирался туда окольным путем и сделал изрядный крюк. «Если этот сатана аббат Кастанед меня узнал, то не такой он человек, чтобы упустить мой след... А уж как бы он обрадовался случаю посмеяться надо мной и провалить мою миссию!»

Аббат Кастанед, начальник полиции Конгрегации по всей северной границе, на его счастье, не узнал его. И страсбургские иезуиты, как ни бдительны они были, не подумали устроить слежку за Жюльеном, который в своем синем сюртуке, с орденом в петлице, имел вид молодого военного, занятого исключительно собственной персоной.

XXIV

СТРАСБУРГ

> Ослепление! Тебе дана вся пылкость любви, вся сила ее предаваться отчаянию. Ее пленительные радости, ее сладостные утехи — лишь это одно не в твоей власти. Я не мог сказать, глядя на ее спящую: вот она, вся моя, во всей своей ангельской красе, со всеми своими милыми слабостями. Она сейчас в моей власти вся как есть, как создал ее господь бог в своем милосердии, на радость и счастье мужскому сердцу.
>
> *Ода Шиллера.*

Вынужденный провести в Страсбурге неделю, Жюльен, чтобы как-нибудь развлечься, предавался размышлениям о военной славе и преданности отчизне. Был ли он все-таки влюблен? Он и сам не знал, он чувствовал только, что в его

истерзанной душе Матильда властвует безраздельно,— владычица его счастья и его воображения. Ему приходилось напрягать все свои душевные силы, чтобы преодолеть себя и не впасть в отчаяние. Думать о чем бы то ни было, что не имело отношения к м-ль де Ла-Моль, было выше его сил. Честолюбие, мелкие утехи тщеславия когда-то отвлекали его от тех чувств, которые он питал к г-же де Реналь. Матильда поглотила его всего: мысли о будущем неизменно приводили его к ней.

И в этом будущем, каким оно представлялось ему теперь, его ждали одни только неудачи. Этот странный человек, которого мы видели в Верьере таким гордым, таким самонадеянным, теперь впал в другую крайность: скромность его доходила до нелепости.

Три дня тому назад он с великим удовольствием пристрелил бы аббата Кастанеда, но если бы теперь, в Страсбурге, какой-нибудь ребенок повздорил с ним, он решил бы, что прав ребенок, а не он. Перебирая в памяти всех своих соперников и врагов, с которыми он сталкивался в жизни, он теперь всякий раз приходил к выводу, что виноваты были не они, а он сам.

Ибо ныне его неумолимым противником было его могучее воображение, которое некогда без устали рисовало ему будущее, полное блистательных успехов.

Одиночество, на которое невольно обречен путешественник, еще увеличивало власть этого мрачного воображения. Каким сокровищем сейчас был бы для него друг! «Да! — говорил себе Жюльен.— Но есть ли на свете хоть одно сердце, которое бьется для меня? А если бы у меня и был друг, разве я нарушил бы долг чести, который повелевает мне хранить вечное молчание?»

Он уныло разъезжал верхом в окрестностях Келя; это городок на берегу Рейна,— Дезе и Гувьон Сен-Сир обессмертили его. Немец-крестьянин показывал ему маленькие речушки, проселочные дороги, островки на Рейне, прославленные мужеством этих великих полководцев. Жюльен держал в левой руке повод, а правой поддерживал развернутую превосходную карту, которая украшает «Мемуары» маршала Сен-Сира. Неожиданно веселое восклицание заставило его поднять голову.

Это был князь Коразов, его лондонский друг, который несколько месяцев назад преподал ему первые правила высшего щегольства. Верный этому великому искусству, Коразов, приехавший в Страсбург накануне, а в Кель всего час тому

назад, и за всю свою жизнь не прочитавший ни строки об осаде 1796 года, принялся подробно описывать ее Жюльену. Немец-крестьянин глядел на него оторопев, ибо он все-таки достаточно понимал по-французски и замечал чудовищные нелепости, которые говорил князь. Но Жюльен был за тридевять земель от того, что думал крестьянин; он с удивлением глядел на этого молодого человека, любовался его фигурой и тем, как ловко он сидит в седле.

«Вот счастливый характер! — думал он.— Какие у него замечательные рейтузы! А волосы как хорошо подстрижены! Ах, если бы я был таким, она бы не могла проникнуться ко мне отвращением после трех дней любви!»

Когда, наконец, князь покончил с осадой Келя, он повернулся к Жюльену.

— Да у вас вид настоящего монаха-молчальника! — сказал он.— Мне кажется, вы переусердствовали, следуя тому правилу серьезности, которое я когда-то преподал вам в Лондоне. Грустный вид совершенно не соответствует хорошему тону, надо иметь вид не грустный, а скучающий. А если у вас грустный вид, значит, вам чего-то недостает, вы в чем-то не сумели добиться успеха. *Это значит выставлять себя в невыгодном свете.* И, наоборот, если вы скучаете, тогда в невыгодном положении оказывается тот, кто напрасно пытался вам понравиться. Вы поймите, мой дорогой, какую вы допускаете ошибку.

Жюльен бросил экю крестьянину, который слушал их, разинув рот.

— Очень мило,— заметил князь.— В этом есть изящество и благородная небрежность! Очень, очень мило!

И он пустил лошадь вскачь. Жюльен поскакал за ним, преисполненный чувством глупейшего восхищения.

«Ах, если бы я был таким, она не предпочла бы мне этого Круазенуа!» И чем сильнее возмущался его разум нелепыми чудачествами князя, тем сильнее он презирал себя, восхищаясь ими, и горевал, что не может быть таким же. Отвращение к самому себе не может зайти далее этого.

Князь убедился, что Жюльен действительно чем-то подавлен.

— Вот что, дорогой мой,— сказал он ему, когда они въезжали в Страсбург.— Это уже просто дурной тон; вы что, разорились, потеряли все состояние или, может быть, влюбились в какую-нибудь актрису?

Русские старательно копируют французские нравы, только отставая лет на пятьдесят. Сейчас они подражают веку Людовика XV.

От этих шуток насчет любви у Жюльена слезы подступили к глазам. «А почему бы мне и не посоветоваться с этим милым молодым человеком?» — подумал он вдруг.

— Увы, друг мой, да,— сказал он князю,— действительно, вы угадали: я влюблен; хуже того, я покинут. Прелестная женщина — она живет тут, неподалеку, в одном городке — любила меня страстно три дня подряд, а потом вдруг неожиданно прогнала, и я совсем убит этим.

И он описал князю поведение Матильды и ее характер, изобразив всю эту историю под вымышленными именами.

— Можете не продолжать дальше,— сказал Коразов.— Чтобы внушить вам доверие к врачевателю, я докончу за вас ваши излияния. Супруг этой молодой дамы — очень богатый человек, или, может быть, сама она из очень родовитой семьи — это, пожалуй, вернее. Короче говоря, ей есть чем гордиться.

Жюльен молча кивнул головой: сказать что-нибудь у него не хватало мужества.

— Прекрасно! — отвечал князь.— Вот вам три пилюли, довольно горькие. Извольте принять их без промедления:

Во-первых, каждый день видеться с госпожой... как вы ее назвали?

— Госпожой де Дюбуа.

— Ну и имечко! — воскликнул князь, покатываясь со смеху.— Простите, я понимаю, для вас это святыня. Итак, вы каждый день должны встречаться с госпожой де Дюбуа, но ни в коем случае не показывайте ей, что вы холодны или что вы разобижены. Не забывайте великое правило нашего века: всегда будьте полной противоположностью тому, чего от вас ожидают. Показывайтесь ей в точности таким, каким вы были за неделю до того, как впервые удостоились ее благосклонности.

— Ах, тогда я был совершенно спокоен! — в отчаянии воскликнул Жюльен.— Мне казалось, у меня просто чувство жалости к ней.

— Мотылек обжигается о пламя свечи,— перебил его князь,— сравнение старое, как мир.

Итак, во-первых, вы должны видеться с ней ежедневно.

Во-вторых, вы должны начать ухаживать за одной из светских женщин, но не проявляя при этом никаких признаков страсти, понятно? Не буду скрывать от вас, вам придется играть трудную роль; вы должны разыграть комедию, но если это разгадают, вы пропали.

— Она так умна, а я совершенно безмозглый дурак. Я пропал,— упавшим голосом промолвил Жюльен.

— Нет, только вы, по-видимому, влюблены более, чем я думал. Госпожа де Дюбуа чрезвычайно поглощена собственной персоной, как и все женщины, которых судьба наделила чересчур знатным происхождением или несметным богатством. Она интересуется собой, вместо того чтобы интересоваться вами, и, следовательно, она вас не знает. Во время этих двух-трех порывов любви, которую она сама же раздувала в себе, подстегивая свое воображение, она видела в вас героя своей фантазии, а совсем не то, что вы есть на самом деле...

Но, черт побери! Ведь это же все сплошная азбука, мой дорогой Сорель, ведь не школьник же вы на самом деле!..

Вот что! Зайдемте-ка в этот магазин. Какой очаровательный черный галстук! Можно подумать, от Джона Андерсона с Берлингтон-стрит. Сделайте милость, наденьте его и выбросьте эту мерзкую черную веревку, которая болтается у вас на шее.

Так вот! — продолжал князь, выходя из лавки первого басонщика в Страсбурге.— А в каком обществе вращается госпожа де Дюбуа? Бог ты мой! Что за имя! Не сердитесь, мой дорогой Сорель, право, это у меня нечаянно вырвалось... Так за кем же вы будете ухаживать?

— За самим воплощением добродетели, дочкой чулочного фабриканта, страшного богача. У нее изумительные глаза. Я, право, таких не видывал: ужасно мне нравятся! Она, конечно, считается первой особой в городе, но, несмотря на все эти преимущества, краснеет и конфузится, если при ней заговорят о торговле, о лавках. На ее несчастье, отец ее был одним из известных купцов в Страсбурге.

— А следовательно,— подхватил князь, посмеиваясь,— если зайдет речь о надувательстве, вы можете быть совершенно уверены, что ваша красавица отнесет это на свой счет, а никак не на ваш. Это ее чудачество просто бесподобно и в высшей степени полезно: оно не позволит вам ни на миг потерять голову из-за ее прекрасных глаз. Успех обеспечен.

Жюльен имел в виду вдову маршала, г-жу де Фервак, которая часто бывала в особняке де Ла-Моль. Это была красавица-иностранка, вступившая в брак с маршалом за год до его смерти. Вся жизнь ее, казалось, была посвящена одной цели: заставить забыть всех о том, что она дочь фабриканта; а для того чтобы создать себе какое-то положение в Париже, она решила возглавить жен, ратующих за добродетель.

Жюльен искренне восхищался князем; чего бы только он не отдал, чтобы обладать всеми его чудачествами! Разговор двух друзей затянулся до бесконечности. Коразов был в восторге: никогда еще ни один француз не слушал его так долго. «Ну, вот я, наконец, и добился, чего хотел,— ликовал в душе князь,— мои учителя слушают меня и учатся у меня».

— Итак, мы с вами условились? — повторял он Жюльену в десятый раз.— Ни тени страсти, когда вы будете говорить с юной красавицей, дочкой чулочного фабриканта, в присутствии госпожи де Дюбуа. В письмах же, напротив, проявляйте самую пламенную страсть. Читать прелестно написанное любовное письмо — это высшее наслаждение для недотроги, это для нее минута отдыха. Тут ей уж не надо ломать комедию, она может позволить себе слушать голос своего сердца. Так вот, катайте ей по два письма в день.

— Ни за что, ни за что! — испуганно воскликнул Жюльен.— Пусть меня лучше живьем истолкут в ступе! Я не способен сочинить и двух фраз, я совершенный труп, дорогой мой, ничего от меня ждать нельзя. Бросьте меня, я вот здесь лягу и умру на краю дороги.

— А кто вам говорит, что вы должны сочинять какие-то фразы? У меня с собой в дорожной сумке лежит шесть томов любовных писем. Всех сортов, на любой женский характер. Найдутся и для образцовой добродетели! Ведь вот же Калисский волочился в Ричмонд-Террасе — это в трех лье от Лондона — за самой хорошенькой квакершей во всей Англии.

Когда в два часа ночи Жюльен расстался со своим другом, он чувствовал себя уже не столь несчастным.

На другой день князь пригласил на дом переписчика, а через два дня Жюльен получил пятьдесят три любовных письма, тщательно перенумерованных и предназначенных для одоления самой возвышенной и самой унылой добродетели.

— Пятьдесят четвертого письма не имеется,— сказал князь,— ибо Калисского вежливо выпроводили. Ну, а вам-то не все ли равно, если дочь чулочного фабриканта в конце концов укажет вам на дверь? Вы же имеете в виду воздействовать только на сердце госпожи де Дюбуа!

Каждый день они катались верхом, и князь был без ума от Жюльена. Не зная, как выразить ему свою внезапную привязанность, он предложил ему руку одной из своих кузин, богатой московской наследницы.

— А когда вы женитесь на ней, то с помощью моего влияния и вот этого вашего ордена вы через два года будете уже полковником.

— Но ведь этот орден пожалован не Наполеоном, это не одно и то же.

— А какая разница? — отвечал князь.— Ведь учредил его Наполеон; он все равно почитается высшим орденом в Европе.

Жюльен уже совсем было согласился на предложение князя, но долг призывал его предстать пред очи светлейшей особы; расставаясь с Коразовым, он обещал написать ему. Он получил ответ на доставленную им секретную ноту и помчался обратно в Париж; но достаточно ему было пробыть два дня наедине с самим собой, как мысль покинуть Францию и Матильду показалась ему горше лютой смерти. «Нет, не женюсь я на этих миллионах, которые мне предлагает Коразов,— решил он.— А советам его я последую.

В конце концов, ведь искусство соблазнять — это его ремесло. Никакими другими занятиями он не интересуется вот уж пятнадцать лет, а сейчас ему тридцать. Нельзя сказать, что он не умен; он человек хитрый, ловкий; пылкость, поэзия с таким характером несовместимы,— это душа прокурора. Так что же? Тем больше оснований полагать, что он рассуждает правильно.

Да, так и надо сделать: буду ухаживать за госпожой де Фервак. Должно быть, скучновато с ней будет, но я буду глядеть в ее прелестные глаза; они напоминают мне те, что любили меня так, как меня никто никогда не любил.

Она иностранка, вот мне и будет новый характер для изучения.

Я схожу с ума, совсем пропадаю,— я должен следовать этим дружеским советам и не слушаться самого себя».

XXV

НА СЛУЖБЕ У ДОБРОДЕТЕЛИ

> Но если я буду вкушать это наслаждение столь рассудительно и осторожно, оно уж не будет для меня наслаждением.
>
> *Лопе де Вега.*

Едва вернувшись в Париж и вручив маркизу де Ла-Молю ответ, которым тот, по-видимому, был крайне разочарован, герой наш, выйдя из его кабинета, бросился к графу Альтамире. Помимо преимущества быть приговоренным к смертной казни, этот блистательный чужеземец отличался еще крайним глубокомыслием и имел счастье быть весьма набожным; эти достоинства, а еще более того — высокое происхождение графа вполне отвечали вкусам г-жи де Фервак, и она часто виделась с ним.

Жюльен совершенно серьезно признался ему, что влюблен без памяти.

— Это поистине высокодобродетельная, чистая и возвышенная душа,— отвечал граф Альтамира,— только в ней есть некоторая доля иезуитства и какой-то напыщенности. Бывает иногда, что я прекрасно понимаю каждое слово, которое она произносит, но никак не могу понять смысла всей фразы. В разговоре с ней мне нередко приходит на ум, что я вовсе уж не так хорошо знаю французский язык, как меня уверяют. Это знакомство выдвинет вас, придаст вам вес в обществе. Но, знаете, поедемте-ка к Бустосу,— промолвил граф Альтамира, любивший во всем поступать последовательно и разумно.— Он когда-то ухаживал за госпожой маршальшей.

Дон Диего Бустос заставил долго и подробно объяснять себе, в чем дело, сам при этом не произнося ни слова, точно адвокат; он был похож на раздобревшего монаха, но у него были черные усищи, и держался он с непроницаемой важностью, а впрочем, это был честный карбонарий.

— Понятно,— сказал он наконец Жюльену.— Спрашивается, были ли у маршальши де Фервак любовники или их у нее не имелось? И следовательно: имеете ли вы надежду добиться успеха? Это вас интересует? Могу сказать вам: что касается меня, я потерпел фиаско. Теперь, когда меня это уже не трогает, могу сообщить по части ее характера следую-

щее: на нее часто находит дурное настроение, и, как вы сейчас увидите, она довольно мстительна.

Я не замечал в ней желчного темперамента, который свойствен одаренным натурам и придает всему, что бы они ни делали, оттенок страстности. Наоборот, именно этой своей голландской флегматичности и невозмутимости она и обязана своей редкой красотой и такими удивительно свежими красками.

Жюльена раздражала медлительность и невозмутимое хладнокровие испанца; от нетерпения он несколько раз невольно прерывал его какими-то односложными восклицаниями.

— Угодно вам меня выслушать? — важно спросил его дон Диего Бустос.

— Простите мою furia francese [1]. Я весь обратился в слух,— отвечал Жюльен.

— Маршальша де Фервак способна пылать ненавистью. Она беспощадно преследует людей, которых она никогда в жизни в глаза не видала,— разных адвокатов, бедняг-сочинителей, которые придумывают всякие песенки, вроде Колле, знаете?

Это мой конек...
Я любил, как мог... и т. д.

И Жюльену пришлось выслушать эту песенку до самого конца. Испанцу, видимо, очень нравилось петь по-французски.

Эту чу́дную песенку никогда еще не слушали с таким нетерпением.

— Маршальша,— сказал дон Диего Бустос, после того как пропел песенку до конца,— пустила по миру автора одной такой шансонетки:

Сражен любовью в кабачке...

Жюльен испугался, что Бустос сейчас опять запоет. Но он удовольствовался тем, что тщательно пересказал содержание шансонетки.

Действительно, она была весьма нечестива и непристойна.

— Когда маршальша стала при мне возмущаться этой песенкой,— сказал дон Диего,— я ей возразил, что женщины

[1] Французскую горячность *(итал.)*.

ее круга вовсе не должны повторять всякую ерунду, которую печатают. Как бы успешно ни насаждали благочестие и строгость нравов, во Франции всегда будет существовать литература для кабачков. А когда маршальша де Фервак добилась того, что сочинителя этой песенки, несчастного голыша, которому платили половину того, что ему полагалось, лишили его места с жалованьем в тысячу восемьсот франков, я ей сказал: «Берегитесь, вы атаковали этого бедного рифмоплета вашим оружием, а он может вам ответить своими стишками — сочинит какую-нибудь песенку насчет добродетели. Все разззолоченные гостиные будут за вас, а люди, которые не прочь посмеяться, будут везде повторять эту эпиграмму». Так знаете ли, сударь, что мне ответила маршальша? «Ради божьего дела я готова на глазах всего Парижа пойти на казнь: это было бы невиданным зрелищем во Франции. Народ научился бы уважать высокую добродетель. И этот день был бы прекраснейшим днем моей жизни». А какие глаза у нее были при этом — забыть нельзя!

— У нее дивные глаза! — воскликнул Жюльен.

— Я вижу, вы действительно влюблены... Итак,— снова важно начал дон Диего Бустос,— у ней нет этого желчного темперамента, который сам по себе располагает к мстительности. И эта ее склонность вредить людям происходит оттого, что она несчастна. Я подозреваю, что у нее есть *тайное горе*. Может быть, все дело в том, что ей надоело разыгрывать добродетель.

Испанец умолк и в течение целой минуты, не произнося ни слова, смотрел на Жюльена.

— Вот в чем вся суть,— важно добавил он.— Вот отсюда-то вы и можете извлечь некоторую надежду. Я много раздумывал над этим в течение тех двух лет, когда имел честь состоять при ней покорным слугой. И все ваше будущее, господин влюбленный, зависит всецело от этой великой загадки: не ханжа ли она, которая устала от взятой на себя роли и озлобилась потому, что она несчастна?

— Или, может быть,— сказал граф Альтамира, нарушив наконец свое глубокое молчание,— это то, что я тебе уже двадцать раз говорил: просто она заразилась французским тщеславием, и ее преследует воспоминание о папаше, пресловутом сукноторговце. Вот это-то и гложет ее, а характер у нее от природы угрюмый, сухой. Единственное, что могло бы оказаться для нее счастьем,— это переехать в Толедо и попасть

в лапы какого-нибудь духовника, который бы терзал ее каждый день, разверзая перед ней страшную бездну ада.

Когда Жюльен уже уходил, дон Диего, приняв еще более внушительный вид, сказал ему:

— Альтамира сообщил мне, что вы один из наших. Придет день, и вы поможете нам отвоевать свободу; вот почему и я хочу помочь вам в вашей маленькой затее. Вам будет небесполезно познакомиться со стилем маршальши. Вот четыре письма, написанные ее рукой.

— Я перепишу их,— воскликнул Жюльен,— и принесу вам обратно!

— И никогда ни одна душа не будет знать, о чем мы здесь говорили?

— Никогда, клянусь честью! — вскричал Жюльен.

— Тогда да поможет вам бог! — промолвил испанец и молча проводил до лестницы Альтамиру и Жюльена.

Эта сцена немного развеселила нашего героя и вызвала у него что-то вроде улыбки. «Вот вам и благочестивец Альтамира, который споспешествует мне в прелюбодействе!» — сказал он про себя.

Все время, пока шел этот необыкновенно важный разговор с доном Диего Бустосом, Жюльен внимательно прислушивался к бою часов на башне особняка Алигр.

Приближалось время обеда; он сейчас увидит Матильду. Вернувшись домой, он с большим тщанием занялся своим туалетом.

«Вот первая глупость,— сказал он себе, уже спускаясь по лестнице.— Надо исполнять предписания князя слово в слово».

И он опять поднялся к себе и надел самый затрапезный дорожный костюм.

«Теперь,— подумал он,— только бы не выдать себя взглядом». Было еще только половина шестого, а обедали в шесть. Его потянуло в гостиную; там не было ни души. Увидев голубой диван, он бросился перед ним на колени и прижался губами к тому месту, на которое Матильда обычно опиралась рукой; слезы хлынули из его глаз. «Надо избавиться от этой дурацкой чувствительности,— сказал он себе с негодованием.— Она меня выдаст». Он взял для вида газету и прошелся несколько раз из гостиной в сад и обратно.

Потом, незаметно укрывшись за большим дубом, весь дрожа, он наконец решился поднять глаза на окно м-ль де Ла-Моль. Оно было закрыто наглухо; он чуть не упал и долго

стоял, прислонившись к дубу, потом, едва держась на ногах, пошел взглянуть на лестницу садовника.

Кольцо у цепи, которое он разогнул когда-то,— увы, как все тогда было по-другому! — так и осталось непочиненным. Не помня себя, в порыве безумия, Жюльен прижал его к губам.

После этого долгого хождения из гостиной в сад и обратно Жюльен почувствовал себя страшно усталым; это было первое достижение, которое его чрезвычайно обрадовало. «Вот теперь у меня будет погасший взгляд, и можно не опасаться, что я себя выдам». Постепенно все начали сходиться в гостиной; всякий раз, когда открывалась дверь, сердце Жюльена мучительно сжималось и замирало.

Сели за стол. Наконец появилась и м-ль де Ла-Моль, верная, как всегда, своей привычке заставлять себя ждать. Увидев Жюльена, она густо покраснела: никто не сказал ей ни слова о том, что он приехал. Вспомнив советы князя Коразова, Жюльен поглядел на ее руки: они дрожали. Его охватило чувство неописуемого волнения, и он еще раз порадовался, что выглядит усталым.

Господин де Ла-Моль произнес похвальную речь Жюльену, после чего маркиза соизволила обратиться к нему и сказала что-то весьма любезное по поводу его усталого вида. Жюльен ежеминутно повторял себе: «Я не должен смотреть на мадемуазель де Ла-Моль слишком часто, но я не должен также избегать глядеть на нее. Мне надо казаться таким, каким я был за неделю до постигшего меня несчастья...» В общем, он решил, что может быть доволен своим поведением. Оказывая внимание хозяйке дома, он старался втянуть в разговор ее гостей и поддерживал оживленную беседу.

Его учтивость была вознаграждена: около восьми часов доложили о приезде маршальши де Фервак. Жюльен тотчас исчез и вскоре появился снова, одетый с необыкновенной тщательностью. Г-жа де Ла-Моль была весьма признательна ему за этот знак внимания и, желая выразить ему свое одобрение, заговорила с г-жой де Фервак о его поездке. Жюльен сел около маршальши, но при этом так, чтобы Матильде не видно было его глаз. Поместившись таким образом, согласно всем правилам искусства, он устремил на г-жу де Фервак красноречивый взор, полный изумленного восхищения. Первое из пятидесяти трех писем, подаренных ему князем Коразовым, начиналось пространным словоизлиянием, посвященным именно этому чувству.

Маршальша заявила, что она едет в Комическую оперу. Жюльен устремился туда же и повстречал там шевалье де Бовуази, который провел его в придворную ложу, как раз рядом с ложей г-жи де Фервак. Жюльен смотрел на нее не сводя глаз. «Надо будет,— решил он, возвращаясь домой,— вести дневник этой осады, иначе я перезабуду все мои маневры». Он заставил себя исписать три или четыре страницы на эту скучнейшую тему и — о чудо! — за этим занятием ни разу не вспомнил о м-ль де Ла-Моль.

Матильда почти забыла о нем, пока он путешествовал. «В конце концов это совершенно заурядный человек,— решила она.— Имя его будет постоянно напоминать мне о величайшем позоре моей жизни. Надо добросовестно проникнуться самыми общепринятыми понятиями скромного благоразумия и чести; женщина, забывая о них, может потерять решительно все». Она дала понять, что брачный контракт с маркизом де Круазенуа, подготовлявшийся уже давно, можно наконец считать делом решенным. Г-н де Круазенуа был вне себя от радости; он был бы до крайности удивлен, если бы ему сказали, что это новое отношение к нему Матильды, которым он так гордился, проистекало просто из равнодушной покорности судьбе.

Но все намерения м-ль де Ла-Моль мигом изменились, как только она увидала Жюльена. «Да ведь это же на самом деле муж мой,— сказала она себе,— и если я действительно хочу вступить на путь добродетели и благоразумия, то ясно, что я должна выйти замуж только за него».

Она уже заранее ждала, что он будет одолевать ее всяческими излияниями и унылыми взглядами, и уже придумывала, что́ она ему ответит, так как, разумеется, едва только встанут из-за стола, он попытается заговорить с нею. Но он не только не сделал этой попытки, а преспокойно остался в гостиной и даже ни разу не взглянул в сторону сада — один бог знает, чего ему это стоило! «Самое лучшее — сразу же объясниться с ним»,— решила м-ль де Ла-Моль и вышла одна в сад. Жюльен не появлялся. Матильда прошла мимо больших стеклянных дверей гостиной и увидала, что он с воодушевлением рассказывает г-же де Фервак о развалинах старинных замков, которые разбросаны на гористых берегах Рейна и придают им такой своеобразный характер. Он теперь уже более или менее овладел искусством этой сентиментальной вычурной речи, которая в некоторых салонах считается признаком *ума*.

Будь князь Коразов в Париже, он, несомненно, мог бы гордиться: все в этот вечер происходило именно так, как он предсказывал.

И на другой день и в следующие дни поведение Жюльена также удостоилось бы его одобрения.

От интриг, которые вели члены таинственной камарильи, зависело распределение нескольких голубых лент; г-жа де Фервак настаивала на том, чтобы в кавалеры ордена был пожалован ее двоюродный дед. Маркиз де Ла-Моль претендовал на то же самое для своего тестя; они объединили свои усилия, и маршальша посещала особняк де Ла-Моль чуть ли не каждый день. От нее-то и узнал Жюльен, что маркиза должны сделать министром: он предложил *камарилье* весьма хитроумный план полной ликвидации Хартии в течение каких-нибудь трех лет и без всяких потрясений.

А если г-н де Ла-Моль станет министром, Жюльен мог рассчитывать со временем стать епископом. Но для него теперь все эти высокие чаяния словно заслонились какой-то завесой. Если они иной раз и рисовались его воображению, то как-то весьма смутно и отдаленно. Несчастная любовь, которая сделала из него маньяка, перевернула все его жизненные интересы: все, о чем бы он теперь ни думал, стояло в тесной связи с тем, как сложатся его отношения с м-ль де Ла-Моль. Он рассчитывал, что через пять-шесть лет напряженных усилий он добьется того, что она полюбит его снова.

Эта столь хладнокровная, трезвая голова дошла, как мы видим, до полного безрассудства. От всех его качеств, которыми он когда-то отличался, у него осталось только некоторое упорство. Внешне, в своем поведении, он неукоснительно следовал плану, предписанному князем Коразовым: каждый вечер он усаживался возле кресла г-жи де Фервак, но он был не в состоянии произнести ни единого слова.

Усилия, которые он должен был делать, чтобы казаться Матильде излечившимся, истощали его душевные силы. Он сидел около маршальши с совершенно безжизненным видом, и даже в глазах его, казалось, угасло всякое выражение, как у человека, который превозмогает мучительную физическую боль.

Так как г-жа де Ла-Моль во всех своих суждениях повторяла слово в слово то, что говорил ее супруг, который мог сделать ее герцогиней, она вот уже несколько дней превозносила до небес неоценимые достоинства Жюльена.

XXVI

ЛЮБОВЬ ДУШЕСПАСИТЕЛЬНАЯ

There also was of course in Adeline
That calm patrician polish in the address,
Which ne'er can pass the equinoctial line
Of any thing which nature would express;
Just as a Mandarin finds nothing fine,—
At least his manner suffers not to guess
That any thing he views can greatly please.

Don Juan, c. XIII, st. XXXIV [1].

«Все они в этой семье отличаются какой-то взбалмошностью суждений,—думала маршальша.—Теперь они помешались на своем аббатике, который только и умеет, что слушать, уставившись на вас своими, правда, довольно красивыми глазами».

Жюльен, со своей стороны, находил в обращении маршальши поистине достойный образец той *патрицианской невозмутимости*, которая проявляется в безукоризненной вежливости, а еще более того — в полнейшей неспособности к каким бы то ни было сильным чувствам. Какое-нибудь неожиданное резкое движение, утрата самообладания могли шокировать г-жу де Фервак почти в той же мере, как недостаток внушительности в обращении с подчиненными. Малейшее проявление чувствительности было в ее глазах чем-то вроде *моральной нетрезвости*, которой должно стыдиться и которая сильно роняет чувство собственного достоинства, подобающее человеку высшего общества. Величайшим для нее удовольствием было поговорить о последней королевской охоте, а любимой ее книгой были «Мемуары Сен-Симона», особенно в генеалогической их части.

Жюльен знал, что у г-жи де Фервак есть свое любимое место в гостиной, где падавший на нее свет оттенял ее красоту самым наивыгодным образом. Он располагался там заранее, но при этом старался поставить свой стул так, чтобы ему не видно было Матильды. Удивленная упорством, с каким он от нее прятался, она в один прекрасный вечер покинула голубой диван и уселась со своим рукоделием за маленький сто-

---

[1] У Аделины, несомненно, был
Патрицианский холод в обращенье,
Тот светский лоск, что сдерживает пыл
Всех чувств живых, страшась, как преступленья,
Нарушить равновесье. Так застыл,
Невозмутим, исполненный презренья,
В своем величье, важный мандарин. *Байрон, «Дон Жуан», песнь XIII, строфа XXXIV (англ.).*

лик около кресла маршальши. Жюльен видел ее теперь совсем близко из-под полей шляпы г-жи де Фервак. Эти глаза, которым дана была власть распоряжаться его судьбой, сначала испугали его, когда он неожиданно увидел их так близко, а потом вдруг сразу вся его апатия исчезла — он заговорил, и говорил очень хорошо.

Он обращался только к маршальше, но единственной его целью было воздействовать на душу Матильды. Он до такой степени увлекся, что г-жа де Фервак совершенно перестала понимать, что́ он ей говорит.

Это был блестящий успех. Если бы Жюльен догадался увенчать его еще несколькими фразами в духе немецкой мистики, высокой религиозности и иезуитства, маршальша, вероятно, сразу причислила бы его к выдающимся людям, призванным обновить наш век.

«Ну, если уж он до такой степени неразборчив, что способен так долго и с таким пылом разговаривать с госпожой де Фервак,— убеждала себя м-ль де Ла-Моль,— я не стану больше его слушать». И она до конца вечера не изменила своему слову, что стоило ей немалых усилий.

В полночь, когда она с подсвечником в руках пошла проводить свою мать в спальню, г-жа де Ла-Моль, остановившись на лестнице, принялась расхваливать Жюльена. Матильду это привело в еще большее раздражение, и она всю ночь не могла уснуть. Только одна мысль успокаивала ее: «То, что я презираю, маршальше, конечно, кажется, достоинством: наверно, она считает, что это необыкновенная личность».

Что же касается Жюльена, то он вышел из состояния бездействия и уже не чувствовал себя таким несчастным; случайно взгляд его упал на бумажник из русской кожи, который князь Коразов преподнес ему вместе с пятьюдесятью тремя любовными письмами. Развернув первое письмо, Жюльен увидел в конце примечание: *«Номер первый отсылается через неделю после первой встречи»*.

«Да я опоздал! — воскликнул Жюльен.— Вот уже сколько времени я вижусь с госпожой де Фервак!» И он принялся тут же переписывать это любовное письмо; оно представляло собой настоящую проповедь, набитую всякими высокопарными словами о добродетели,— можно было прямо умереть со скуки. Жюльену посчастливилось: он уснул на второй странице.

Через несколько часов яркий солнечный свет разбудил его; оказалось, он всю ночь так и просидел за столом. Для него теперь самым мучительным в жизни был момент про-

буждения, когда он, только что очнувшись ото сна, заново осознавал свое несчастье. В это утро, кончая переписывать письмо, он чуть ли не посмеивался. «Да неужели это может быть,— говорил он себе,— чтобы нашелся на свете такой юноша, который на самом деле мог все это написать!» Он насчитал несколько фраз по девяти строк. В конце письма он увидел заметку, сделанную карандашом:

«Эти письма надо отвозить лично: верхом, в черном галстуке, в синем сюртуке. Письмо вручают швейцару; вид при этом следует иметь сокрушенный, глубочайшая меланхолия во взоре. Если встретится горничная, надлежит украдкой смахнуть слезу. Сказать несколько слов горничной».

Все это было в точности исполнено.

«Я поступаю довольно дерзко,— подумал Жюльен, выходя из особняка де Фервак,— но тем хуже для Коразова. Осмелиться писать даме, столь прославленной своей добродетелью! Воображаю, каким уничтожающим презрением она теперь встретит меня! Вот будет потеха! Пожалуй, только эта комедия и может меня расшевелить. Да, выставить на посмешище это отвратительное существо, которое именуется моим «я». Это единственное, что может меня позабавить. Будь у меня уверенность, что я способен совершить преступление, я бы, не задумываясь, совершил его, только чтобы как-нибудь рассеяться».

Весь этот месяц единственным счастьем в жизни Жюльена были минуты, когда он отводил свою лошадь на конюшню. Коразов строго-настрого запретил ему смотреть на покинувшую его возлюбленную: это не разрешалось ни в коем случае, ни под каким предлогом. Но знакомый стук копыт его лошади, манера Жюльена похлопывать хлыстом по воротам конюшни, чтобы вызвать конюха, иной раз невольно тянули Матильду поглядеть из-за занавески в окно. Занавеска была такая тоненькая, что Жюльену было видно сквозь нее. Ухитряясь незаметно поглядывать из-под полей своей шляпы, Жюльен различал фигуру Матильды, но глаз ему не было видно. «А следовательно, и она не может видеть моих глаз,— рассуждал он.— Это не значит смотреть на нее».

Вечером г-жа де Фервак встретила его совершенно так же, как если бы она не получала этого философически-мистического и религиозного трактата, который он с таким меланхолическим видом вручил утром ее швейцару. Накануне Жюльен случайно открыл способ обрести красноречие: на этот раз он уже нарочно уселся так, чтобы ему видны были глаза

Матильды. А Матильда тоже, едва только появилась маршальша, покинула голубой диван, иначе говоря, изменила своему кружку. Г-н де Круазенуа был, по-видимому, крайне удручен этим новым капризом; его явное огорчение немножко смягчило жестокие муки Жюльена.

Эта неожиданная радость вознесла его красноречие в поистине заоблачные высоты, а так как тщеславие проникает в любые сердца, даже и в те, что служат обителью самой непреклонной добродетели, маршальша, усаживаясь в карету, решила: «Нет, госпожа де Ла-Моль права: этот юный *аббат*, несомненно, выдающийся человек. Должно быть, первое время он смущался в моем присутствии. Ведь в этом доме, в сущности, на кого ни посмотришь, на всех лежит отпечаток какого-то легкомыслия, а добродетельные особы, которых встречаешь здесь,— это добродетели, обретенные в преклонные годы: они держатся только при помощи хладной старости. И молодой человек, несомненно, почувствовал разницу. Он пишет недурно, но я сильно опасаюсь, не скрывается ли в его просьбе просветить его моими советами некое чувство, в котором он сам не отдает себе отчета.

А с другой стороны, мало ли мы знаем примеров, когда обращение человека на путь истинный начиналось именно так? И что особенно внушает мне благие надежды — это разница между его стилем и стилем других молодых людей, чьи письма мне случалось читать. Нельзя не заметить высокого благочестия, проникновенной серьезности и глубокого убеждения в послании этого юного священнослужителя; поистине, в нем есть нечто от кроткой добродетели Массильона».

XXVII

ЛУЧШИЕ ЦЕРКОВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

Заслуги? Таланты? Достоинства? Пустое!.. Надо принадлежать к какой-нибудь клике.

Телемах.

Таким-то образом представление об епископском сане впервые сочеталось с представлением о Жюльене в сознании этой женщины, которой рано или поздно предстояло распоряжаться всеми самыми высокими постами французской церкви. Но успех этот нимало не тронул бы Жюльена: мысль его сейчас была не способна устремиться ни к чему, она была нераз-

лучна с его горем, а кругом все, казалось, только усиливало его: так, например, ему стала совершенно невыносима теперь собственная комната. Вечером, когда он входил к себе со свечой в руках, каждый предмет, каждая маленькая безделушка, казалось, поднимали голос, чтобы безжалостно крикнуть ему о какой-нибудь новой подробности его горя.

«Ну, сегодня я отбываю принудительную повинность,— сказал он, входя с таким оживлением, какого не испытывал уже давно.— Будем надеяться, что второе письмо окажется таким же скучным, как и первое».

Оно оказалось еще скучней. То, что он переписывал, казалось ему такой бессмыслицей, что он под конец стал писать машинально, строку за строкой, не вникая в смысл.

«Это что-то до такой степени напыщенное,— говорил он себе,— что превзойдет, пожалуй, даже официальные статьи Мюнстерского трактата, которые мой профессор дипломатии заставлял меня переписывать в Лондоне».

И тут только он вдруг вспомнил о письмах г-жи де Фервак, которые он забыл вернуть важному испанцу, дону Диего Бустосу. Он разыскал их; сказать правду, они оказались чуть ли не в точности такой же невообразимой бессмыслицей, как и письма русского вельможи. Полнейшая расплывчатость! В них словно хотели сказать все и в то же время не сказать ровно ничего. «Стиль — сущая арфа эолова,— решил Жюльен.— За всеми этими превыспренними размышлениями о небытии, о смерти, о вечности я не вижу ничего живого, кроме жалкого страха показаться смешной».

Монолог, который мы здесь вкратце привели, повторялся две недели подряд. Засыпать над перепиской чего-то вроде комментариев к Апокалипсису, на другой день отвозить с меланхолическим видом письмо, отводить лошадь на конюшню в надежде увидеть хоть платье Матильды, работать, вечером появляться в Опере, если г-жа де Фервак не приезжала в особняк де Ла-Моль,— таково было однообразное течение жизни Жюльена. Она приобретала некоторый интерес, когда г-жа де Фервак приезжала к маркизе; тогда из-за полей шляпы маршальши ему видны были глаза Матильды, и он обретал дар слова. Его образная, прочувствованная речь становилась все более выразительной и в то же время более непринужденной.

Он прекрасно понимал, что все, что он говорит, кажется Матильде полной бессмыслицей, но ему хотелось поразить ее

изысканностью своего красноречия. «Чем больше притворства в том, что я говорю, тем больше я должен ей нравиться»,— думал Жюльен и с необычайной смелостью пускался во всякие преувеличенные описания и восхваления природы. Он очень скоро заметил, что для того, чтобы не показаться маршальше заурядным, надо всего более остерегаться простых и разумных мыслей. Он и продолжал в этом духе, а иногда чуть-чуть сокращал свое многословие, судя по тому, ловил ли он одобрение или равнодушие в глазах этих двух светских дам, которым он старался понравиться.

В общем, существование его было теперь не столь невыносимым, как прежде, когда он проводил свои дни в полном бездействии.

«Что ж,— сказал он себе однажды вечером,— вот уж я переписываю пятнадцатую из этих омерзительных диссертаций. Все четырнадцать предыдущих я собственными руками вручил швейцару маршальши. По-видимому, мне выпала честь набить этим все ящики ее письменного стола. А меж тем она держится со мной так, будто я вовсе ей никогда не писал! И к чему же это в конце концов может привести? Не надоест ли ей мое упорство так же, как оно опротивело мне? Надо признаться, что этот русский, друг Коразова, влюбленный в прелестную квакершу из Ричмонда, был в свое время, вероятно, ужаснейшим человеком. Можно ли быть скучнее?»

Как всякий заурядный смертный, которого случай делает свидетелем маневров великого полководца, Жюльен ничего не понимал в этом наступлении, предпринятом молодым русским на сердце неприступной англичанки. Все первые сорок писем предназначались только для того, чтобы испросить прощения за дерзость писать ей. Необходимо было заставить эту милую особу, которая, надо полагать, убийственно скучала, усвоить привычку получать письма, может быть, несколько менее бесцветные, чем ее повседневное существование.

Однажды утром Жюльену подали письмо. Он узнал герб г-жи де Фервак и сломал печать с поспешностью, на которую он еще совсем недавно вряд ли был бы способен. Это было всего-навсего приглашение на обед.

Он бросился искать указаний у князя Коразова. К сожалению, молодой русский вздумал блеснуть легкостью стиля Дора как раз там, где ему следовало бы быть простым и впятным; так Жюльен и не мог догадаться, какое душевное состояние подобает ему изображать за столом у маршальши.

Гостиная маршальши блистала великолепием, раззолоченная, словно галерея Дианы в Тюильри, с картинами, писанными маслом, в роскошных рамах. На некоторых картинах видны были совершенно свежие мазки. Впоследствии Жюльен узнал, что кой-какие сюжеты показались хозяйке не совсем пристойными и она приказала исправить картины. «Вот истинно нравственный век!» — подумал он.

В этом салоне он приметил трех лиц из тех, кто присутствовал при составлении секретной ноты. Один из них, епископ ...ский, дядюшка маршальши, распоряжался назначениями по духовному ведомству и, как говорили, ни в чем не мог отказать своей племяннице. «Вот я как далеко шагнул! — с меланхолической улыбкой сказал себе Жюльен.— И до чего все это мне безразлично! Подумать только, я обедаю со знаменитым епископом ...ским».

Обед был весьма посредственный, а разговор раздражал невыносимо. «Похоже на оглавление какой-то плохой книги,— подумал Жюльен.— С какой самоуверенностью берутся здесь за самые великие проблемы мысли человеческой! Но послушай их три минуты, и уже не знаешь, чему больше удивляться: тому ли, что этот говорун так напыщен, или его невероятной невежественности».

Читатель уж, наверно, забыл ничтожного писаку по имени Тамбо, племянника академика и будущего профессора, который своими грязными сплетнями отравлял воздух в гостиной особняка де Ла-Моль.

Как раз этот ничтожный человечек и навел Жюльена на мысль, что г-жа де Фервак, хотя она и не отвечает на его письма, быть может, относится благосклонно к чувству, которое их диктует. Черная душонка г-на Тамбо просто разрывалась от зависти, когда он думал об успехах Жюльена, но так как, с другой стороны, и самый одаренный человек, как и любой дурак, не может сразу быть в двух местах, то «ежели этот Сорель станет любовником ослепительной маршальши,— говорил себе будущий профессор,— она его пристроит к церкви на какое-нибудь выгодное место, и я избавлюсь от него в особняке де Ла-Моль».

Аббат Пирар прочел Жюльену целый ряд нравоучений по поводу его успехов в особняке де Фервак. Тут сказался *сектантский дух соперничества,* существовавший между суровым янсенистом и иезуитским салоном добродетельной маршальши, претендующим на возрождение нравов и укрепление монархии.

XXVIII

МАНОН ЛЕСКО

> И вот после того, как он вполне убедился в глупости и ослином упрямстве приора, он стал угождать ему очень просто: называя белое черным, а черное — белым.
>
> *Лихтенберг*

В пояснениях к русским письмам неукоснительно предписывалось ни в коем случае не перечить явным образом особе, которой ты пишешь, а также ни под каким видом не уклоняться от постоянного благоговейного восхищения; все письма неизменно исходили из этой основной предпосылки.

Как-то раз вечером в Опере, сидя в ложе г-жи де Фервак, Жюльен превозносил до небес балет «Манон Леско». Единственным основанием для подобных похвал было то, что сам он находил его ничтожным.

Маршальша заметила, что этот балет гораздо слабее романа аббата Прево.

«Вот как! — подумал Жюльен, удивленный и заинтересованный.— Особа столь высокой добродетели — и хвалит какой-то роман!» Г-жа де Фервак считала своей обязанностью по меньшей мере два-три раза в неделю обрушиваться с уничтожающим презрением на этих писак, которые своими мерзкими сочинениями развращают молодежь, столь легко поддающуюся, увы, пагубным заблуждениям страстей.

— Среди подобного рода безнравственных, опасных сочинений,— продолжала маршальша,— «Манон Леско» занимает, как говорят, одно из первых мест. Заблуждения, а также заслуженные страдания глубоко порочного сердца описаны там, говорят, с большой правдивостью и проникновением, что, впрочем, не помешало вашему Бонапарту на острове Святой Елены сказать, что этот роман написан для лакеев.

Эти слова вывели Жюльена из душевного оцепенения. «Меня хотели погубить в глазах маршальши; ей рассказали о моем увлечении Наполеоном. И это так задело ее, что она не могла устоять перед соблазном дать мне это почувствовать». Это открытие занимало его весь вечер, и он заметно оживился. Когда он расставался с маршальшей в вестибюле Оперы, она сказала ему:

— Запомните, сударь, кто любит меня, не должен любить Бонапарта. Можно, самое большее, признавать его, как некую необходимость, ниспосланную провидением. К тому же этот человек отнюдь не отличался душевной тонкостью, он был не способен ценить великие произведения искусства.

«*Кто любит меня!* — повторял Жюльен.— Это или ровно ничего не значит, или значит все. Вот тайны языка, непостижимые для нас, бедных провинциалов». И, переписывая необъятное письмо, предназначавшееся для маршальши, он без конца вспоминал о г-же де Реналь.

— Как могло случиться,— сказала ему г-жа де Фервак на другой день таким равнодушным тоном, что он показался ему явно неестественным,— что вы говорите мне о *Лондоне* и *Ричмонде* в письме, которое вы написали, как мне кажется, вчера вечером, после того, как вернулись из Оперы?

Жюльен пришел в крайнее замешательство: он переписывал строку за строкой, ничуть не вникая в то, что он пишет, и, по-видимому, не обратил внимания, что следует переменить слова *Лондон* и *Ричмонд*, которые встречались в оригинале, на *Париж* и *Сен-Клу*. Он попытался что-то сказать, начал было одну фразу, потом другую, но никак не мог довести их до конца: его душил смех. Наконец он кое-как выпутался, придумав следующее объяснение: «Увлеченная возвышенными размышлениями о непостижимых идеалах души человеческой, моя душа, когда я писал вам, легко могла впасть в забывчивость».

«Я произвел впечатление,— решил он,— на сегодняшний вечер я могу избавить себя от этой скучищи». И он чуть ли не бегом бросился из особняка де Фервак. Поздно вечером, достав оригинал письма, которое он списывал накануне, он сразу нашел то роковое место, где молодой русский упоминал о Лондоне и Ричмонде. Жюльен страшно удивился, обнаружив, что это чуть ли не любовное письмо.

И вот этот-то контраст между кажущейся непринужденностью его разговора и необычайной, чуть ли не апокалипсической глубиной его писем и заставил г-жу де Фервак обратить на него внимание. Маршальшу особенно пленяли его бесконечно длинные фразы: не то что этот скачущий слог, на который завел моду Вольтер, этот безнравственнейший человек! И хотя герой наш прилагал все старания, чтобы совершенно изгнать из своих разговоров всякие признаки здравого смысла, все же в них оставался легкий душок антимонархизма и безбожия, и это не ускользало от маршальши де Фервак.

Окруженная людьми в высшей степени нравственными, но которые обычно за целый вечер не способны были произнести ни одного живого слова, эта дама была весьма восприимчива ко всему, что отличалось некоторой новизной, хоть и считала своим долгом возмущаться этим. Она называла этот порок *печатью легкомысленного века...*

Но посещать такие гостиные можно, только если вы хотите чего-то добиться. Скука лишенного всякого интереса существования, которое вел Жюльен, разумеется, понятна читателю. Это словно оголенные степи в нашем с вами путешествии.

Все это время, которое Жюльен тратил на свою затею с де Фервак, м-ль де Ла-Моль приходилось делать над собой немалые усилия, чтобы не думать о нем. В душе ее происходила ожесточенная борьба: иногда она гордо уверяла себя, что презирает этого ничтожного человека, но разговор его невольно пленял ее. Больше всего ее изумляло его непостижимое притворство: во всем, что он говорил маршальше, не было ни единого слова правды, все это был сплошной обман или, по крайней мере, чудовищное искажение его образа мыслей, который Матильда прекрасно знала чуть ли не по поводу любого предмета. Этот макиавеллизм поражал ее. «Но как это глубоко продумано! — говорила она себе.— Какая разница по сравнению с этими надутыми тупицами или заурядными плутами вроде господина Тамбо, который разглагольствует на те же темы!»

И тем не менее у Жюльена бывали ужасные дни. Он словно отбывал невыносимо тягостную повинность, появляясь каждый день в гостиной маршальши. Ему стоило таких усилий разыгрывать свою роль, что он иногда доходил до полного изнеможения. Как часто вечером, входя в громадный двор особняка де Фервак, он призывал на помощь всю силу своей воли и рассудка, чтобы не впасть в полное отчаяние!

«Ведь не поддавался же я отчаянию в семинарии,— убеждал он себя,— а какой ужас был у меня тогда впереди! Достиг ли бы я тогда успеха или нет, и в том и в другом случае я знал, что мне предстоит всю жизнь прожить в самой презренной и гнусной среде. И вот следующей весной, всего через каких-нибудь одиннадцать месяцев, я оказался, быть может, счастливейшим человеком из всех моих сверстников».

Но сплошь и рядом все эти прекрасные рассуждения оказывались совершенно бессильными пред лицом невыносимой

действительности. Каждый день за завтраком и за обедом он видел Матильду. Из многочисленных писем, которые ему диктовал г-н де Ла-Моль, он знал, что она вот-вот станет женой г-на де Круазенуа. Этот приятный молодой человек уже стал появляться в особняке де Ла-Моль по два раза в день, и ревнивое око покинутого любовника следило за каждым его шагом.

Когда ему казалось, что м-ль де Ла-Моль относится благосклонно к своему нареченному, Жюльен, возвращаясь к себе в комнату, с нежностью поглядывал на свои пистолеты.

«Ах! — восклицал он про себя.— Куда было бы умнее с моей стороны снять метки с белья, забраться в какой-нибудь дальний лес в двадцати лье от Парижа и прекратить это мерзостное существование! Там меня никто не опознает, и недели две никто не будет и знать о моей смерти, а через две недели кто обо мне вспомнит?»

Рассуждение весьма разумное, ничего не скажешь. Но на другой день он случайно видел локоток Матильды, мелькнувший между рукавом и длинной перчаткой, и этого уж было достаточно: наш юный философ погружался в мучительнейшие воспоминания, которые, однако, привязывали его к жизни. «Ну, хорошо! — говорил он себе.— Доведу до конца эту русскую политику. Но чем все это кончится?

Что касается маршальши — ясно: после того как я перепишу все эти пятьдесят три письма, больше я ей писать не буду.

Что же касается Матильды, кто знает: или эта невыносимая полуторамесячная комедия так ни к чему и не приведет, не заставит ее смягчиться, или она принесет мне хоть краткий миг примирения. Боже великий! Да я умру от счастья!» И тут уж он не мог думать ни о чем.

Но когда, очнувшись от этого сладкого забытья, он снова принимался рассуждать, он говорил себе: «Ну и что же из этого выйдет: один день счастья, а потом опять начнутся все эти колкости, потому что все это происходит оттого, что я не умею ей понравиться! И тогда уж мне больше не на что будет надеяться, все для меня будет кончено раз и навсегда. Как можно за что-либо поручиться при ее характере? Ах, вся беда в том, что сам-то я не могу похвастаться никакими достоинствами. Нет у меня этого изящества манер, и разговариваю я тяжело, скучно! Боже великий! Ах, если бы я был не я!»

XXIX

СКУКА

Стать жертвой своих страстей! Это еще куда ни шло. Но стать жертвой страстей, которых ты не испытываешь! О, жалкий XIX век!

Жироде.

Сначала г-жа де Фервак читала длинные письма Жюльена безо всякого удовольствия, но постепенно они стали все больше занимать ее внимание; однако ее удручало одно обстоятельство: как жаль, что господин Сорель не настоящий священник! Вот тогда, пожалуй, можно было бы себе позволить с ним некоторую близость. Но с этим орденом, в этом почти штатском костюме,— как оградить себя от всяких коварных вопросов и что на них отвечать? Она не договаривала своей мысли: «Какой-нибудь завистливой приятельнице придет в голову,— и она с радостью будет рассказывать всем,— что это какой-то родственник по отцовской линии, из мелких купцов, заслуживший орден в национальной гвардии».

До того как г-жа де Фервак встретилась с Жюльеном, для нее не существовало большего удовольствия, чем ставить слово «маршальша» рядом со своим именем. Теперь болезненное тщеславие выскочки, уязвлявшееся решительно всем, вступило в борьбу с зарождающимся чувством.

«Ведь это было бы так просто для меня — сделать его старшим викарием в каком-нибудь приходе по соседству с Парижем! Но просто *господин Сорель*, и все, да еще какой-то секретарь господина де Ла-Моля! Нет, это ужасно!»

Первый раз в жизни эта душа, *которая опасалась всего,* была затронута каким-то интересом, не имевшим ничего общего с ее претензиями на знатность, на высокое положение в свете. Старик-швейцар заметил, что когда он подавал ей письмо от этого молодого красавца, у которого был такой грустный вид, с лица хозяйки мгновенно исчезало рассеянное и недовольное выражение, которое маршальша считала своим долгом принимать в присутствии прислуги.

Это скучное существование, насквозь проникнутое честолюбием, желанием произвести впечатление в обществе, между тем как сердце ее, в сущности, даже не испытывало никакой радости от этих успехов, стало для нее до такой степени

невыносимым с тех пор, как у нее проснулся интерес к Жюльену, что ей достаточно было провести вечером хотя бы час с этим необыкновенным юношей — и тогда на другой день ее горничные могли чувствовать себя спокойно: она не донимала их своими придирками. Доверие, завоеванное им, устояло даже против анонимных писем, написанных с большим искусством. Напрасно г-н Тамбо подсунул господам де Люзу, де Круазенуа, де Келюсу две-три весьма ловко состряпанные клеветы, которые эти господа тут же бросились распространять с величайшей готовностью, не потрудившись даже проверить, есть ли в них хоть доля правды. Маршальша, которая по складу своего ума не способна была противостоять столь грубым приемам, поверяла свои сомнения Матильде, и та ее всякий раз успокаивала.

Однажды, справившись раза три, нет ли ей писем, г-жа де Ферваk внезапно решила, что надо ответить Жюльену. Победу эту следовало приписать скуке. Но уже на втором письме маршальша заколебалась — ей показалось в высшей степени непристойным написать собственной своей рукой такой гадкий адрес: *Г-ну Сорелю в особняке маркиза де Ла-Моля.*

— Мне нужно иметь конверты с вашим адресом,— сказала она вечером Жюльену как нельзя более сухим тоном.

«Ну, вот я и попал в любовники-лакеи»,— подумал Жюльен и поклонился, злорадно представляя себя с физиономией Арсена, старого лакея маркиза.

В тот же вечер он принес ей конверты, а на другой день, рано утром, получил третье письмо; он пробежал пять-шесть строк с начала, да две-три в конце. В нем было ровно четыре страницы, исписанные очень мелким почерком.

Мало-помалу у нее создалась сладостная привычка писать почти каждый день. Жюльен отвечал, аккуратно переписывая русские письма; и — таково уж преимущество этого ходульного стиля — г-жа де Ферваk нимало не удивлялась тому, что ответы так мало соответствуют ее собственным посланиям.

Как уязвлена была бы ее гордость, если бы этот тихоня Тамбо, добровольно взявший на себя роль шпиона и следивший за каждым шагом Жюльена, пронюхал и рассказал ей, что все ее письма валяются нераспечатанными, засунутые кое-как в ящик письменного стола.

Как-то раз утром швейцар принес ему письмо от маршальши в библиотеку; Матильда встретила швейцара, когда он нес письмо, и узнала на адресе почерк Жюльена. Она

вошла в библиотеку в ту самую минуту, когда швейцар выходил оттуда; письмо еще лежало на краю стола: Жюльен, занятый своей работой, не успел спрятать его в ящик.

— Вот этого я уж не могу стерпеть! — воскликнула Матильда, хватая письмо.— Вы совершенно пренебрегаете мною, а ведь я ваша жена, сударь. Ваше поведение просто чудовищно.

Но едва только у нее вырвались эти слова, как гордость ее, пораженная этой непристойной выходкой, возмутилась. Матильда разразилась слезами, и Жюльену показалось, что она вот-вот лишится чувств.

Оторопев от неожиданности, Жюльен не совсем ясно понимал, какое восхитительное блаженство сулила ему эта сцена. Он помог Матильде сесть; она почти упала к нему в объятия.

В первое мгновение он чуть не обезумел от радости. Но в следующий же миг он вспомнил Коразова: «Если я скажу хоть слово, я погублю все». От страшного усилия, к которому принуждала его осторожная политика, мускулы у него на руках напряглись до боли. «Я даже не смею позволить себе прижать к сердцу этот прелестный, гибкий стан: опять она будет презирать меня, гнать от себя. Ах, какой ужасный характер!»

И, проклиная характер Матильды, он любил ее еще во сто раз больше, и ему казалось, что он держит в объятиях королеву.

Бесстрастная холодность Жюльена усилила муки гордости, раздиравшие душу м-ль де Ла-Моль. Она сейчас не в состоянии была рассуждать хладнокровно; ей не приходило в голову заглянуть Жюльену в глаза и попытаться прочесть в них, что чувствует он к ней в эту минуту. Она не решалась посмотреть ему в лицо — ей страшно было прочесть на нем презрение.

Она сидела на библиотечном диване неподвижно, отвернувшись от Жюльена, и сердце ее разрывалось от нестерпимых мучений, которыми любовь и гордость могут бичевать душу человеческую. Как это случилось, что она позволила себе такую чудовищную выходку!

«Ах, я несчастная! Дойти до того, чтобы, потеряв всякий стыд, чуть ли не предлагать себя — и увидеть, как тебя отталкивают! И кто же отталкивает? — подсказывала истерзанная, разъяренная гордость.— Слуга моего отца!»

— Нет, этого я не потерплю,— громко сказала она.

И, вскочив, она в бешенстве дернула ящик письменного стола, стоявшего против нее. Она застыла на месте, остолбенев

от ужаса: перед ней лежала груда из восьми или десяти нераспечатанных писем, совершенно таких же, как то, которое только что принес швейцар. На каждом из них адрес был написан рукой Жюльена, слегка измененным почерком.

— Ах, вот как! — вскричала она вне себя.— Вы не только поддерживаете с ней близкие отношения, вы еще презираете ее,— вы, ничтожество, презираете госпожу де Фервак!

— Ах! Прости меня, душа моя,— вдруг вырвалось у нее, и она упала к его ногам.— Презирай меня, если хочешь, только люби меня! Я не могу жить без твоей любви.

И она без чувств рухнула на пол.

«Вот она, эта гордячка, у моих ног!» — подумал Жюльен.

XXX

ЛОЖА В КОМИЧЕСКОЙ ОПЕРЕ

...As the blackest sky
Foretells the heaviest tempest...
Don Juan, c. I, st. LXXIII [1].

Во время всей этой бурной сцены Жюльен испытывал скорее чувство удивления, чем радости. Оскорбительные возгласы Матильды убедили его в мудрости русской политики. «*Как можно меньше говорить, как можно меньше действовать* — только в этом мое спасение».

Он поднял Матильду и, не говоря ни слова, снова усадил ее на диван. Мало-помалу сознание возвращалось к ней, по щекам ее катились слезы.

Стараясь как-нибудь овладеть собой, она взяла в руки письма г-жи де Фервак и стала медленно распечатывать их одно за другим. Она вся передернулась, узнав почерк маршальши. Она переворачивала, не читая, эти исписанные листки почтовой бумаги — в каждом письме было примерно по шесть страниц.

— Ответьте мне, по крайней мере,— промолвила наконец Матильда умоляющим голосом, но все еще не решаясь взглянуть на Жюльена.— Вы хорошо знаете мою гордость: я избалована — в этом мое несчастье, пусть даже это несчастье моего

[1] Так черной мглой сокрытый небосвод
Свирепую предсказывает бурю. *Байрон, «Дон Жуан», песнь I, строфа LXXIII (англ.).*

характера, я готова в этом сознаться. Так, значит, ваше сердце принадлежит теперь госпоже де Фервак, она похитила его у меня?.. Но разве она ради вас пошла на все те жертвы, на которые меня увлекла эта роковая любовь?

Жюльен отвечал угрюмым молчанием. «Какое у нее право,— думал он,— требовать от меня такой нескромности, недостойной порядочного человека?»

Матильда попыталась прочесть исписанные листки, но слезы застилали ей глаза, она ничего не могла разобрать.

Целый месяц она чувствовала себя невыразимо несчастной; но эта гордая душа не позволяла себе сознаться в своих чувствах. Чистая случайность довела ее до этого взрыва. Ревность и любовь нахлынули на нее и в одно мгновение сокрушили ее гордость. Она сидела на диване совсем близко к нему. Он видел ее волосы, ее шею, белую, как мрамор; и вдруг он забыл все, что он себе внушал; он тихо обнял ее за талию и привлек к своей груди.

Она медленно повернула к нему голову, и он изумился выражению безграничного горя в ее глазах,— как это было непохоже на их обычное выражение!

Жюльен почувствовал, что он вот-вот не выдержит; чудовищное насилие, которому он себя подвергал, было свыше его сил.

«Скоро в этих глазах не останется ничего, кроме ледяного презрения,— сказал он себе.— Я не должен поддаваться этому счастью, не должен показывать ей, что я ее люблю». А она между тем еле слышным, прерывающимся голосом, тщетно пытаясь говорить связно, твердила ему, как горько она раскаивается во всех своих выходках, на которые толкала ее несносная гордость.

— У меня тоже есть гордость,— с усилием вымолвил Жюльен, и на лице его изобразилась безграничная усталость.

Матильда порывисто обернулась к нему. Услышать его голос — это было такое счастье, на которое она уже потеряла надежду. Как она теперь проклинала свою гордость, как ей хотелось совершить что-нибудь необычайное, неслыханное, чтобы доказать ему, до какой степени она его обожает и как она ненавистна самой себе!

— И, надо полагать, только благодаря этой гордости вы и удостоили меня на миг вашим вниманием,— продолжал Жюльен,— и нет сомнения, что только моя стойкая твердость, подобающая мужчине, и заставляет вас сейчас испытывать ко мне некоторое уважение. Я могу любить маршальшу...

Матильда вздрогнула; в глазах ее промелькнуло какое-то странное выражение. Сейчас она услышит свой приговор. От Жюльена не ускользнуло ее движение, он почувствовал, что мужество изменяет ему.

«Ах, боже мой! — думал он, прислушиваясь к пустым словам, которые произносили его губы, как к какому-то постороннему шуму.— Если бы я мог покрыть поцелуями эти бледные щеки, но только так, чтобы ты этого не почувствовала!»

— Я могу любить маршальшу,— продолжал он... а голос его все слабел, так что его было еле слышно,— но, разумеется, у меня нет никаких существенных доказательств того, что она интересуется мной...

Матильда поглядела на него; он выдержал этот взгляд, по крайней мере, он надеялся, что она ничего не смогла прочесть на его лице. Он чувствовал, как любовь словно заполнила до краев все самые сокровенные уголки его сердца. Никогда еще он так не боготворил ее: в эту минуту он сам был почти таким же безумным, как и Матильда. Если бы у нее только нашлось немножко мужества и хладнокровия, чтобы вести себя обдуманно, он бросился бы к ее ногам и отрекся от этой пустой комедии. Но, собрав, последний остаток сил, он продолжал говорить. «Ах, Коразов,— мысленно восклицал он,— если бы вы были здесь! Как важно мне было бы сейчас услышать от вас хоть одно слово, чтобы знать, что мне делать дальше!» А губы его в это время произносили:

— Не будь у меня даже никаких чувств, одной признательности было бы достаточно, чтобы я привязался к маршальше: она была так снисходительна ко мне, она утешала меня, когда меня презирали. У меня есть основания не слишком доверять некоторым проявлениям чувств, несомненно весьма лестным для меня, но, по всей вероятности, столь же мимолетным.

— Ах, боже мой! — воскликнула Матильда.

— В самом деле, какое ручательство вы можете мне дать? — настойчиво и решительно спросил ее Жюльен, вдруг словно откинув на миг всю свою дипломатическую сдержанность.— Да и какое может быть ручательство, какой бог может поручиться, что расположение ваше, которое вы готовы вернуть мне сейчас, продлится более двух дней?

— Моя безграничная любовь и безграничное горе, если вы меня больше не любите,— отвечала она, схватив его за руки и поворачиваясь к нему.

От этого порывистого движения ее пелерина чуть-чуть откинулась, и Жюльен увидел ее прелестные плечи. Ее слегка растрепавшиеся волосы воскресили в нем сладостные воспоминания...

Он уже готов был сдаться. «Одно неосторожное слово,— подумал он,— и опять наступит для меня бесконечная вереница дней невыносимого отчаяния. Госпожа де Реналь находила для себя разумные оправдания, когда поступала так, как ей диктовало сердце. А эта великосветская девица дает волю своему сердцу только после того, как доводами рассудка докажет себе, что ему следует дать волю».

Эта истина осенила его мгновенно, и в то же мгновение к нему вернулось мужество.

Он высвободил свои руки, которые Матильда так крепко сжимала в своих, и с нарочитой почтительностью чуть-чуть отодвинулся от нее. Ему потребовалась на это вся сила, вся стойкость, на какую только способен человек. Затем он собрал в одну пачку все письма г-жи де Фервак, разбросанные на диване, и с преувеличенной учтивостью, столь жестокой в эту минуту, добавил:

— Надеюсь, мадемуазель де Ла-Моль разрешит мне подумать обо всем этом.

И он быстрыми шагами вышел из библиотеки; она долго слышала стук дверей, которые, по мере того как он удалялся, захлопывались за ним одна за другой.

«Он даже ничуть не растрогался! Вот изверг,— подумала она.— Ах, что я говорю — изверг! Он умный, предусмотрительный, он хороший, а я кругом виновата так, что хуже и придумать нельзя».

Это настроение не покидало ее весь день. Матильда чувствовала себя почти счастливой, ибо все существо ее было поглощено любовью; можно было подумать, что эта душа никогда и не знала страданий гордости, да еще какой гордости!

Когда вечером в гостиной лакей доложил о г-же де Фервак, она в ужасе содрогнулась: голос этого человека показался ей зловещим. Она была не в состоянии встретиться с маршальшей и поспешно скрылась. У Жюльена было мало оснований гордиться столь трудно доставшейся ему победой; он боялся выдать себя взглядом и не обедал в особняке де Ла-Моль.

Его любовь, его радость возрастали с неудержимой силой по мере того, как отдалялся момент его поединка с Матиль-

дой; он уже готов был ругать себя. «Да как же я мог устоять? — говорил он себе.— А если она совсем меня разлюбит? В этой надменной душе в один миг может произойти переворот, а я, надо сознаться, обращался с ней просто чудовищно».

Вечером он вспомнил, что ему непременно надо появиться в ложе г-жи де Фервак в Комической опере. Она даже прислала ему особое приглашение. Матильда, конечно, будет осведомлена, был он там или позволил себе такую невежливость и не явился. Но как ни очевидны были эти доводы, когда настал вечер, он чувствовал себя не в состоянии показаться на людях. Придется разговаривать, а это значит наполовину растерять свою радость.

Пробило десять; надо было во что бы то ни стало ехать.

На его счастье, когда он пришел, ложа г-жи де Фервак была полна дамами; его оттеснили к самой двери, и там он совсем скрылся под целой тучей шляпок. Это обстоятельство спасло его, иначе он оказался бы в неловком положении: божественные звуки, в которых изливается отчаяние Каролины в «Тайном браке», вызвали у него слезы. Г-жа де Фервак их заметила. Это было так непохоже на обычное выражение мужественной твердости, присущее его лицу, что даже душа этой великосветской дамы, давно пресыщенная всякими острыми ощущениями, которые выпадают на долю болезненно самолюбивой выскочки, была тронута. То немногое, что еще сохранилось в ней от женской сердечности, заставило ее заговорить с ним. Ей захотелось насладиться звуком его голоса в эту минуту.

— Видели вы маркизу и мадемуазель де Ла-Моль? — спросила она его.— Они в третьем ярусе.

Жюльен в ту же секунду заглянул в зал и, довольно невежливо облокотившись на барьер ложи, увидел Матильду: в глазах у нее блестели слезы.

«А ведь сегодня — не их оперный день,— подумал Жюльен.— Как ей загорелось!»

Матильда уговорила свою мать поехать в Комическую оперу, несмотря на то, что ложа в третьем ярусе, которую поспешила им предложить одна из угодливых знакомых, постоянно бывавшая в их доме, совсем не подходила для дам их положения. Ей хотелось узнать, проведет Жюльен этот вечер с маршальшей или нет.

XXXI

ДЕРЖАТЬ ЕЕ В СТРАХЕ

> Вот оно, истинное чудо вашей цивилизации! Вы ухитрились превратить любовь в обыкновенную сделку.
>
> *Барнав.*

Жюльен бросился в ложу г-жи де Ла-Моль. Его глаза сразу встретились с заплаканными глазами Матильды; она плакала и даже не старалась сдержаться; в ложе были какие-то посторонние, малозначительные лица — приятельница ее матери, предложившая им места, и несколько человек ее знакомых. Матильда положила руку на руку Жюльена: она как будто совсем забыла, что тут же находится ее мать. Почти задыхаясь от слез, она вымолвила только одно слово: «*Ручательство*».

«Только бы не говорить с ней,— повторял себе Жюльен, а сам, страшно взволнованный, старался кое-как прикрыть глаза рукой, словно заслоняясь от ослепительного света люстры, которая висит прямо против третьего яруса.— Если я заговорю, она сразу поймет, в каком я сейчас смятении, мой голос выдаст меня, и тогда все может пойти насмарку».

Это борьба с самим собой была сейчас много тягостнее, чем утром; душа его за это время успела встревожиться. Он боялся, как бы Матильду опять не обуяла гордость. Вне себя от любви и страсти, он все же заставил себя не говорить с ней ни слова.

По-моему, это одна из самых удивительных черт его характера; человек, способный на такое усилие над самим собой, может пойти далеко, si fata sinant [1].

Мадемуазель де Ла-Моль настояла, чтобы Жюльен поехал домой с ними. К счастью, шел проливной дождь. Но маркиза усадила его против себя, непрерывно говорила с ним всю дорогу и не дала ему сказать ни слова с дочерью. Можно было подумать, что маркиза взялась охранять счастье Жюльена; и он, уже не боясь погубить все, как-нибудь нечаянно выдав свои чувства, предавался им со всем безрассудством.

Решусь ли я рассказать о том, что, едва только Жюльен очутился у себя в комнате, он бросился на колени и стал целовать любовные письма, которые ему дал князь Коразов?

---

[1] Если позволит судьба *(лат.)*.

«О великий человек! — восклицал этот безумец.— Я всем, всем тебе обязан!»

Мало-помалу к нему возвратилось некоторое хладнокровие. Он сравнил себя с полководцем, который наполовину выиграл крупное сражение. «Успех явный, огромный,— рассуждал он сам с собой,— но что произойдет завтра? Один миг — и можно потерять все».

Он лихорадочно раскрыл «Мемуары», продиктованные Наполеоном на острове св. Елены, и в течение добрых двух часов заставлял себя читать их; правда, читали только его глаза, но все равно он заставлял себя читать. А во время этого крайне странного чтения голова его и сердце, воспламененные свыше всякой меры, работали сами собою. «Ведь это сердце совсем не то, что у госпожи де Реналь»,— повторял он себе, но дальше этого он двинуться не мог.

«Держать ее в страхе! — вдруг воскликнул он, далеко отшвырнув книгу.— Мой враг только тогда будет повиноваться мне, когда он будет страшиться меня: тогда он не посмеет меня презирать».

Он расхаживал по своей маленькой комнатке, совершенно обезумев от счастья. Сказать правду, счастье это происходило скорее от гордости, нежели от любви.

«Держать ее в страхе! — гордо повторял он себе, и у него были основания гордиться.— Даже в самые счастливые минуты госпожа де Реналь всегда мучилась страхом, люблю ли я ее так же сильно, как она меня. А ведь здесь — это сущий демон, которого надо укротить,— ну, так и будем *укрощать* его!»

Он отлично знал, что завтра, в восемь часов утра, Матильда уже будет в библиотеке; он явился только к девяти, сгорая от любви, но заставляя свое сердце повиноваться рассудку. Он ни одной минуты не забывал повторять себе: «Держать ее постоянно в этом великом сомнении: *любит ли он меня?* Ее блестящее положение, лесть, которую ей расточают кругом, все это приводит к тому, что она чересчур уверена в себе».

Она сидела на диване, бледная, спокойная, но, по-видимому, была не в силах двинуться. Она протянула ему руку:

— Милый, я обидела тебя, это правда, и ты вправе сердиться на меня.

Жюльен никак не ожидал такого простого тона. Он чуть было тут же не выдал себя.

— Вы хотите от меня ручательства, мой друг? — добавила она, помолчав, в надежде, что он, может быть, прервет это молчание.— Вы правы. Увезите меня, уедем в Лондон... Это меня погубит навеки, обесчестит...— Она решилась отнять руку у Жюльена, чтобы прикрыть ею глаза. Чувства скромности и женской стыдливости вдруг снова овладели этой душой.— Ну вот, обесчестите меня, вот вам и *ручательство.*

«Вчера я был счастлив, потому что у меня хватило мужества обуздать себя»,— подумал Жюльен. Помолчав немного, он совладал со своим сердцем настолько, что мог ответить ей ледяным тоном:

— Ну, допустим, что мы с вами уедем в Лондон; допустим, что вы, как вы изволили выразиться, обесчещены,— кто мне поручится, что вы будете любить меня, что мое присутствие в почтовой карете не станет вам вдруг ненавистным? Я не изверг, погубить вас в общественном мнении будет для меня только еще одним новым несчастьем. Ведь не ваше положение в свете является препятствием. Все горе в вашем собственном характере. Можете вы поручиться самой себе, что будете любить меня хотя бы неделю?

«Ах, если бы она любила меня неделю, всего-навсего неделю,— шептал про себя Жюльен,— я бы умер от счастья. Что мне до будущего, что мне вся моя жизнь? Это райское блаженство. может начаться хоть сию минуту, стоит мне только захотеть. Это зависит только от меня!»

Матильда видела, что он задумался.

— Значит, я совсем недостойна вас? — промолвила она, беря его за руку.

Жюльен обнял и поцеловал ее, но в тот же миг железная рука долга стиснула его сердце. «Если только она увидит, как я люблю ее, я ее потеряю». И, прежде чем высвободиться из ее объятий, он постарался принять вид, достойный мужчины.

Весь этот день и все следующие он искусно скрывал свою безмерную радость; бывали минуты, когда он даже отказывал себе в блаженстве заключить ее в свои объятия.

Но бывали минуты, когда, обезумев от счастья, он забывал всякие доводы благоразумия.

Когда-то Жюльен облюбовал укромное местечко в саду,— он забирался в густые заросли жимолости, где стояла лестница садовника, и, спрятавшись среди душистой зелени, следил за решетчатой ставней Матильды и оплакивал непостоянство своей возлюбленной. Рядом возвышался могучий дуб, и его широкий ствол скрывал Жюльена от нескромных взглядов.

Как-то раз, прогуливаясь вдвоем, они забрели в это место, и оно так живо напомнило ему об этих горестных минутах, что он вдруг с необычайной силой ощутил разительный контраст между безысходным отчаянием, в котором пребывал еще так недавно, и своим теперешним блаженством; слезы выступили у него на глазах, он поднес к губам руку своей возлюбленной и сказал ей:

— Здесь я жил мыслью о вас, отсюда смотрел я на эту ставню, часами подстерегал блаженную минуту, когда увижу, как эта ручка открывает ее...

И тут уж он потерял всякую власть над собой. С подкупающей искренностью, которую невозможно подделать, он стал рассказывать ей о пережитых им страшных минутах горького отчаяния. Невольно вырывавшиеся у него короткие восклицания красноречиво свидетельствовали о том, как счастлив он сейчас, когда миновала эта нестерпимая пытка.

«Боже великий, что же это я делаю? — вдруг опомнился Жюльен.— Я погиб».

Его охватил ужас, ему казалось уже, что глаза м-ль де Ла-Моль глядят на него совсем не так ласково. Это было просто самовнушение, но лицо Жюльена внезапно изменилось, покрывшись смертельной бледностью. Глаза его сразу погасли, и выражение пылкой искренней любви сменилось презрительным и чуть ли не злобным выражением.

— Что с вами, друг мой? — спросила его Матильда ласково и тревожно.

— Я лгу,— ответил Жюльен с раздражением,—и лгу вам. Не могу простить себе этого: видит бог, я слишком вас уважаю, чтобы лгать вам. Вы любите меня, вы преданы мне, и мне незачем придумывать разные фразы, чтобы понравиться вам.

— Боже! Так это были одни фразы — все то, что я слушала сейчас с таким восхищением, все, что вы говорили мне эти последние десять минут?

— Да, и я страшно браню себя за это, дорогая. Я сочинил все это когда-то для одной женщины, которая меня любила и докучала мне. Это ужасная черта моего характера, каюсь в ней сам, простите меня.

Горькие слезы градом катились по щекам Матильды.

— Стоит только какой-нибудь мелочи задеть меня,— продолжал Жюльен,— и я как-то незаметно для себя впадаю в забывчивость; тут моя проклятая память уводит меня неведомо куда, и я поддаюсь этому.

— Так, значит, я нечаянно задела вас чем-то? — сказала Матильда с трогательной наивностью.

— Мне вспомнилось, как однажды вы гуляли около этой жимолости и сорвали цветок. Господин де Люз взял его у вас, и вы ему его оставили. Я был в двух шагах от вас.

— Господин де Люз? Быть не может,— возразила Матильда со всем свойственным ей высокомерием.— Это на меня не похоже.

— Уверяю вас,— настойчиво подхватил Жюльен.

— Ну, значит, это правда, мой друг,— сказала Матильда, печально опуская глаза.

Она прекрасно знала, что вот уже много месяцев, как г-ну де Люзу ничего подобного не разрешалось.

Жюльен поглядел на нее с невыразимой нежностью: «Нет, нет,— сказал он про себя,— она меня любит не меньше прежнего».

В тот же вечер она шутливо упрекнула его за увлечение г-жой де Фервак:

— Простолюдин, влюбленный в выскочку! Ведь это, пожалуй, единственная порода сердец в мире, которую даже мой Жюльен не может заставить пылать. А ведь она сделала из вас настоящего денди! — добавила она, играя прядями его волос.

За то время, пока Жюльен был уверен, что Матильда его презирает, он научился следить за своей внешностью и теперь, пожалуй, одевался не хуже самых изысканных парижских франтов. При этом у него было перед ними то преимущество, что, раз одевшись, он уже переставал думать о своем костюме.

Одно обстоятельство не могло не огорчать Матильду: Жюльен продолжал переписывать русские письма и отвозить их маршальше.

XXXII

ТИГР

Увы! Почему это выходит так, а не иначе?

Бомарше.

Один английский путешественник рассказывает о том, как он дружил с тигром; он вырастил его, ласкал его, но всегда держал у себя на столе заряженный пистолет.

Жюльен отдавался своему безмерному счастью только в те минуты, когда Матильда не могла прочесть выражение

этого счастья в его глазах. Он неизменно придерживался предписанного себе правила и время от времени говорил с нею сухо и холодно.

Когда же кротость Матильды, вызывавшая у него изумление, и ее безграничная преданность доводили его до того, что он вот-вот готов был потерять над собой власть, он призывал на помощь все свое мужество и мгновенно уходил от нее.

Впервые Матильда любила.

Жизнь, которая всегда тащилась для нее черепашьим шагом, теперь летела, словно на крыльях.

И так как гордость ее должна была найти себе какой-то выход, она проявлялась теперь в безрассудном пренебрежении всеми опасностями, которым подвергала ее любовь. Благоразумие теперь стало уделом Жюльена, и единственно, в чем Матильда не подчинялась ему,— это когда возникала речь об опасности. Однако кроткая и почти смиренная с ним, она стала теперь еще высокомернее со всеми домашними, будь то родные или слуги.

Вечером, в гостиной, где находилось человек шестьдесят гостей, она подзывала к себе Жюльена и, не замечая никого, подолгу разговаривала с ним.

Проныра Тамбо однажды пристроился около них, однако она попросила его отправиться в библиотеку и принести ей тот том Смоллета, где говорится о революции тысяча шестьсот восемьдесят восьмого года, а видя, что он мешкает, добавила: «Можете не торопиться!» — с таким уничтожающим высокомерием, что Жюльен восхитился.

— Заметили вы, как он поглядел на вас, этот уродец? — сказал он ей.

— Его дядюшка двенадцать лет стоит на задних лапках в нашей гостиной, и если бы не это, я бы его сейчас же выгнала.

По отношению к господам де Круазенуа, де Люзу и прочим она соблюдала внешне все правила учтивости, но, признаться, держала себя с ними не менее вызывающе. Матильда страшно упрекала себя за все те признания, которыми она когда-то изводила Жюльена, тем более, что у нее теперь не хватало духу сознаться ему, что она сильно преувеличивала те, в сущности, совершенно невинные знаки внимания, коих удостаивались эти господа.

Несмотря на самые благие намерения, ее женская гордость не позволяла ей сказать ему: «Ведь только потому, что

я говорила с вами, мне доставляло удовольствие рассказывать о том, что я однажды позволила себе не сразу отнять руку, когда господин де Круазенуа, положив свою руку на мраморный столик рядом с моей, слегка коснулся ее».

Теперь стоило кому-нибудь из этих господ поговорить с ней несколько секунд, как у нее сразу находился какой-нибудь неотложный вопрос к Жюльену, и это уже оказывалось предлогом, чтобы удержать его подле себя.

Она забеременела и с радостью сообщила об этом Жюльену.

— Ну как, будете вы теперь сомневаться во мне? Это ли не ручательство? Теперь я ваша супруга навеки.

Это известие потрясло Жюльена; он уже готов был отказаться от предписанных себе правил поведения. «Как я могу быть намеренно холодным и резким с этой несчастной девушкой, которая губит себя ради меня?» Едва только он замечал, что у нее не совсем здоровый вид, будь даже это в тот миг, когда его благоразумие настойчиво возвышало свой грозный голос, у него теперь не хватало духу сказать ей какую-нибудь жестокую фразу, которая, как это показывал опыт, была необходима для продления их любви.

— Я думаю написать отцу,— сказала ему однажды Матильда,— он для меня больше, чем отец,— это друг, и я считаю недостойным ни вас, ни себя обманывать его больше ни минуты.

— Боже мой! Что вы хотите сделать? — ужаснулся Жюльен.

— Исполнить долг свой,— отвечала она ему с радостно загоревшимися глазами. Наконец-то она проявила больше величия души, чем ее возлюбленный.

— Да он меня выгонит с позором!

— Это — его право. И надо уважать это право. Я возьму вас под руку, и мы вместе выйдем из подъезда среди бела дня.

Жюльен, еще не опомнившись от изумления, попросил ее подождать неделю.

— Не могу,— отвечала она,— честь требует этого. Я знаю, что это долг мой, надо его исполнить, и немедленно.

— Ах, так! Тогда я приказываю вам подождать,— настойчиво сказал Жюльен.— Ваша честь не беззащитна — я супруг ваш. Этот решительный шаг перевернет всю нашу жизнь — и мою и вашу. У меня тоже есть свои права. Сегодня

у нас вторник, в следующий вторник будет вечер у герцога де Реца, так вот, когда господин де Ла-Моль вернется с этого вечера, швейцар передаст ему роковое письмо... Он только о том и мечтает, чтобы увидеть вас герцогиней, я-то хорошо это знаю; подумайте, какой это будет для него удар!

— Вы, быть может, хотите сказать: какая это будет месть?

— Я могу жалеть человека, который меня облагодетельствовал, скорбеть о том, что причинил ему зло, но я не боюсь, и меня никто никогда не испугает.

Матильда подчинилась ему. С тех пор как она сказала ему о своем положении, Жюльен впервые говорил с ней тоном повелителя; никогда еще он не любил ее так сильно. Все, что было нежного в его душе, с радостью хваталось, как за предлог, за теперешнее состояние Матильды, чтобы уклониться от необходимости говорить с нею резко. Признание, которое она собиралась сделать маркизу де Ла-Молю, страшно взволновало его. Неужели ему придется расстаться с Матильдой? И как бы она ни горевала, когда он будет уезжать, вспомнит ли она о нем через месяц после его отъезда?

Не меньше страшили его и те справедливые упреки, которые ему придется выслушать от маркиза.

Вечером он признался Матильде в этой второй причине своих огорчений, а потом, забывшись, увлеченный любовью, рассказал и о первой.

Матильда изменилась в лице.

— Правда? — спросила она.— Расстаться со мной на полгода — это для вас несчастье?

— Невероятное, единственная вещь в мире, о которой я не могу подумать без ужаса.

Матильда была наверху блаженства. Жюльен так старательно выдерживал свою роль, что вполне убедил ее, что из них двоих она любит сильнее.

Настал роковой вторник. В полночь, вернувшись домой, маркиз получил письмо, на конверте которого было написано, что он должен его вскрыть сам, лично, и прочесть наедине, без свидетелей.

«Отец,

Все общественные узы порваны между нами, остались только те, что связывают нас кровно. После моего мужа Вы и теперь и всегда будете для меня самым дорогим существом на свете. Глаза мои застилаются слезами; я думаю о горе,

которое причиняю Вам, но чтобы стыд мой не стал общим достоянием, чтобы у Вас нашлось время подумать и поступить так, как Вы найдете нужным, я не могу долее медлить с признанием, которое я обязана сделать. Если Ваша привязанность ко мне, которая, по-моему, не знает предела, позволит Вам уделить мне небольшой пенсион, я уеду, куда Вы прикажете,— в Швейцарию, например,— вместе с моим мужем. Имя его столь безвестно, что ни одна душа не узнает дочь Вашу под именем госпожи Сорель, снохи верьерского плотника. Вот оно, это имя, которое мне было так трудно написать. Мне страшно прогневить Вас, как бы ни был справедлив Ваш гнев, я боюсь, что он обрушится на Жюльена. Я не буду герцогиней, отец, и я знала это с той минуты, как полюбила его; потому что это я полюбила его первая, я соблазнила его. От Вас, от предков наших унаследовала я столь высокую душу, что ничто заурядное или хотя бы кажущееся заурядным на мой взгляд не может привлечь моего внимания. Тщетно я, желая Вам угодить, пыталась заинтересоваться господином де Круазенуа. Зачем же Вы допустили, чтобы в это самое время рядом, у меня на глазах, находился истинно достойный человек? Ведь Вы сами сказали мне, когда я вернулась с Гиер: «Молодой Сорель — единственное существо, с которым можно провести время без скуки»; бедняжка сейчас — если это только можно было бы себе представить — страдает так же, как и я, при мысли о том горе, которое принесет Вам это письмо. Не в моей власти отвратить от себя Ваш отцовский гнев, но не отталкивайте меня, не лишайте меня Вашей дружбы.

Жюльен относился ко мне почтительно. Если он и разговаривал со мной иногда, то только из глубокой признательности к Вам, ибо природная гордость его характера не позволяла ему держаться иначе, как официально, с кем бы то ни было, стоящим по своему положению настолько выше его. У него очень сильно это врожденное чувство различия общественных положений. И это я,— и я признаюсь в этом со стыдом Вам, моему лучшему другу, и никогда никто другой не услышит от меня этого признания,— я сама однажды в саду пожала ему руку.

Пройдет время,— ужели и завтра, спустя сутки, Вы будете все так же гневаться на него? Мой грех непоправим. Если Вы пожелаете, Жюльен через меня принесет Вам уверения в своем глубочайшем уважении и в искренней скорби своей оттого, что он навлек на себя Ваш гнев. Вы его больше никогда не

увидите, но я последую за ним всюду, куда он захочет. Это его право, это мой долг, он отец моего ребенка. Если Вы по доброте своей соблаговолите назначить нам шесть тысяч франков на нашу жизнь, я приму их с великой признательностью, а если нет, то Жюльен рассчитывает устроиться в Безансоне преподавателем латыни и литературы. С какой бы ступени он ни начал, я уверена, что он выдвинется. С ним я не боюсь безвестности. Случись революция, я не сомневаюсь, что он будет играть первую роль. А могли ли бы Вы сказать нечто подобное о ком-либо из тех, кто добивался моей руки? У них богатые имения? Но это единственное преимущество не может заставить меня пленяться ими. Мой Жюльен достиг бы высокого положения и при существующем режиме, будь у него миллион и покровительство моего отца...»

Матильда знала, что отец ее человек вспыльчивый, что ему надо дать остыть, и исписала восемь страниц.

«Что делать? — рассуждал сам с собой Жюльен, прогуливаясь в полночь в саду, в то время как г-н де Ла-Моль читал это письмо.— Каков, во-первых, мой долг, во-вторых, мои интересы? То, чем я обязан ему, безмерно; без него я был бы жалким плутом на какой-нибудь ничтожной должности, да, пожалуй, еще и не настолько плутом, чтобы не навлечь на себя ненависть и презрение окружающих. Он сделал из меня светского человека. В силу этого мои *неизбежные* плутни будут, во-первых, более редки и, во-вторых, менее гнусны.

А это стоит больше, чем если бы он подарил мне миллион. Я обязан ему и этим орденом, и моими якобы дипломатическими заслугами, которые возвышают меня над общим уровнем.

Если он сидит сейчас с пером в руке и намеревается предписать мне, как я должен вести себя,— что он напишет?..»

Тут размышления Жюльена были внезапно прерваны старым камердинером г-на де Ла-Моля.

— Маркиз требует вас сию минуту, одетого, неодетого, все равно.

И, провожая Жюльена, камердинер добавил вполголоса:

— Берегитесь, господин маркиз прямо рвет и мечет.

XXXIII

ПРОПАСТЬ МАЛОДУШИЯ

Шлифуя этот алмаз, неискусный гранильщик сточил его самые искрометные грани. В средние века — да что я говорю,— еще при Ришелье француз обладал способностью хотеть.

Мирабо.

Жюльен застал маркиза в бешенстве; должно быть, в первый раз в жизни этот вельможа вел себя непристойно: он обрушился на Жюльена потоком площадной брани. Наш герой был изумлен, уязвлен, но его чувство признательности к маркизу нимало не поколебалось. «Сколько великолепных планов, издавна взлелеянных заветной мечтой,— и вот в одно мгновение несчастный человек видит, как все это рассыпается в прах! Но я должен ему ответить что-нибудь, мое молчание только увеличивает его ярость». Ответ подвернулся из роли Тартюфа.

— *Я не ангел...* Я служил вам верно, и вы щедро вознаграждали меня... Я полон признательности, но, посудите, мне двадцать два года... В этом доме меня только и понимали вы сами и эта прелестная особа...

— Гадина! — заорал маркиз.— Прелестная, прелестная! Да в тот день, когда вам пришло в голову, что она прелестна, вы должны были бежать отсюда со всех ног!

— Я и хотел бежать: я тогда просил вас отпустить меня в Лангедок.

Маркиз от ярости метался по комнате, наконец, совсем обессилев, раздавленный горем, упал в кресло. Жюльен слышал, как он пробормотал про себя: «И ведь это вовсе не злой человек...»

— Нет, никогда у меня не было зла против вас! — воскликнул Жюльен, падая перед ним на колени.

Но ему тут же стало нестерпимо стыдно этого движения, и он тотчас поднялся.

Маркиз был словно в каком-то беспамятстве. Увидав, как Жюльен бросился на колени, он снова принялся осыпать его неистовыми ругательствами, достойными разве что кучера. Быть может, новизна этих крепких словечек немного отвлекала его.

«Как! Дочь моя будет именоваться «госпожа Сорель»? Как! Дочь моя не будет герцогиней?» Всякий раз, как эти две

мысли отчетливо возникали в его сознании, маркиза словно всего переворачивало, и он мгновенно терял способность владеть собой. Жюльен боялся, что он вот-вот бросится его бить.

В минуты просветления, когда маркиз словно осваивался со своим несчастьем, он обращался к Жюльену с довольно разумными упреками.

— Надо было бежать, сударь...— говорил он ему.— Ваш долг был исчезнуть отсюда... Вы вели себя, как самый последний негодяй...

Тут Жюльен подошел к столу и написал:

«Жизнь давно уже стала для меня невыносимой, и я кладу ей конец. Прошу господина маркиза принять уверения в моей безграничной признательности, а также мои извинения за то беспокойство, которое смерть моя в его доме может ему причинить».

— Прошу господина маркиза пробежать эти строки... Убейте меня,— сказал Жюльен,— или прикажите вашему камердинеру убить меня. Сейчас час ночи, я буду ходить там по саду, у дальней стены.

— Убирайтесь вон! К черту! — крикнул ему вслед маркиз.

«Понимаю,— подумал Жюльен,— он ничего не имел бы против, если бы я избавил его лакея от необходимости прикончить меня... Нет, пусть убьет, пожалуйста, это удовлетворение, которое я ему предлагаю... Но я-то, черт возьми, я люблю жизнь... Я должен жить для моего сына».

Эта мысль, которая впервые с такой ясностью представилась его воображению, поглотила его всего целиком, после того как он в течение нескольких минут бродил по саду, охваченный острым чувством грозившей ему опасности.

Эта столь новая для него забота сделала его осмотрительным. «Надо с кем-нибудь посоветоваться, как мне вести себя с этим неистовым человеком... Он сейчас просто лишился рассудка, он на все способен. Фуке от меня слишком далеко, да и где ему понять, что делается в душе такого человека, как маркиз?

Граф Альтамира... А можно ли поручиться, что он будет молчать об этом до могилы? Надо подумать о том, чтобы моя попытка посоветоваться с кем-то не привела к каким-нибудь последствиям и не осложнила еще больше моего положения. Увы! У меня, кажется, никого не остается, кроме мрачного аббата Пирара... Но при этой его янсенистской узости взгля-

дов... Какой-нибудь пройдоха-иезуит, который знает свет, мог бы мне быть гораздо полезней... Пирар, да он способен прибить меня, едва только я запнусь о моем преступлении!»

Дух Тартюфа явился Жюльену на помощь. «Вот что! Пойду к нему на исповедь!» На этом решении, после двухчасовой прогулки по саду, он и остановился. Он уже больше не думал о том, что его вот-вот настигнет ружейная пуля; его непреодолимо клонило ко сну.

На другой день спозаранку Жюльен уже был за много лье от Парижа и стучался у дверп сурового янсениста. К своему великому удивлению, он обнаружил, что исповедь его отнюдь не оказалась такой уж неожиданностью для аббата.

«Пожалуй, мне следует винить самого себя»,— говорил себе аббат, и видно было, что он не столько рассержен, сколько озабочен.

— Я почти догадывался об этой любовной истории. Но из расположения к вам, несчастный юноша, я не захотел намекнуть об этом отцу...

— Но что он, по-вашему, сделает? — нетерпеливо спросил Жюльен.

В эту минуту он чувствовал привязанность к аббату, и резкое объяснение с ним было бы для него чрезвычайно тягостно.

— Мне представляется, что у него есть три возможности,— продолжал Жюльен.— Во-первых, господин де Ла-Моль может меня прикончить,— и он рассказал аббату про предсмертную записку самоубийцы, которую он оставил маркизу.— Во-вторых, он может поручить это дело графу Норберу, и тот вызовет меня на дуэль.

— И вы примете такой вызов? — в негодовании вскричал аббат, вскакивая с места.

— Вы не даете мне договорить. Разумеется, я бы никогда не стал стрелять в сына моего благодетеля.

В-третьих, он может удалить меня отсюда. Если он скажет мне: поезжайте в Эдинбург или в Нью-Йорк, я послушаюсь. В таком случае положение мадемуазель де Ла-Моль можно будет скрыть, но я ни за что не допущу, чтобы они умертвили моего сына.

— Не сомневайтесь, это первое, что придет в голову этому развращенному человеку...

Между тем Матильда в Париже сходила с ума от отчаяния. Она виделась с отцом около семи часов утра. Он показал ей записку Жюльена, и с тех пор она себе места не нахо-

дила; ее преследовала ужасная мысль: не решил ли Жюльен, что для него самое благородное — покончить с собой? «И даже не сказав мне»,— говорила она себе с горестным возмущением.

— Если он умрет, я умру тоже,— говорила она отцу.— И это вы будете виновны в его смерти... Быть может, вы будете даже очень довольны этим... но я клянусь памятью его, что я, во-первых, надену траур и объявлю всем, что я *вдова Сорель* и с этой подписью разошлю уведомления о похоронах, имейте это в виду... Ни трусить, ни прятаться я не стану.

Любовь ее доходила до помешательства. Теперь уже сам маркиз растерялся.

Он начинал смотреть на совершившееся более трезво. За завтраком Матильда не показалась. Маркиз почувствовал громадное облегчение, а главное, он был польщен тем, что она, как выяснилось, ни словом не обмолвилась обо всем этом матери.

Жюльен только успел соскочить с лошади, как Матильда уже прислала за ним и бросилась ему на шею почти на глазах у своей горничной. Жюльен был не слишком признателен ей за этот порыв; долгое совещание с аббатом Пираром настроило его весьма дипломатично и расчетливо. Перечисление и подсчет всяких возможностей охладили его воображение. Матильда со слезами на глазах рассказала ему, что она видела его записку о том, что он покончит с собой.

— Отец может передумать. Сделайте мне одолжение, уезжайте сейчас же в Вилькье, садитесь на лошадь и уезжайте, пока наши не встали из-за стола.

И, видя, что Жюльен не двигается и смотрит на нее удивленным и холодным взглядом, она расплакалась.

— Предоставь мне вести все наши дела! — воскликнула она, бросаясь к нему на грудь и сжимая его в своих объятиях.— Ты ведь знаешь, что я только поневоле расстаюсь с тобой. Пиши на имя моей горничной, только адрес пусть будет написан чужой рукой, а уж я буду писать тебе целые томы. Прощай! Беги!

Это последнее слово задело Жюльена, но он все же повиновался. «Как это так неизбежно случается,— подумал он,— что даже в самые лучшие их минуты эти люди всегда ухитряются чем-нибудь да задеть меня».

Матильда решительно отклонила все *благоразумные* планы своего отца. Она не желала вступать ни в какие соглашения иначе, как на следующих условиях: она будет госпожой Сорель и будет скромно существовать со своим мужем в Швей-

царин либо останется с ним у отца в Париже. Она и слушать не хотела о тайных родах.

— Вот тут-то и пойдет всякая клевета, и тогда уж никуда не денешься от позора. Через два месяца после свадьбы мы с мужем отправимся путешествовать, и тогда нам будет очень легко представить дело так, чтобы никто не усомнился в том, что сын мой появился на свет в надлежащее время.

Это упорство сначала приводило маркиза в бешенство, но под конец заставило его поколебаться.

Как-то раз он смягчился.

— На, возьми,— сказал он дочери,— вот тебе дарственная на десять тысяч ренты, отошли ее твоему Жюльену, и пусть он примет меры, да поскорей, чтобы я не мог отобрать ее, если передумаю.

Зная страсть Матильды командовать, Жюльен, только для того, чтобы *уступить* ей, проскакал неизвестно зачем сорок лье: он был в Вилькье и проверял там счета фермеров; благодеяние маркиза явилось для него предлогом вернуться. Он отправился искать приюта у аббата Пирара, который к этому времени сделался самым полезным союзником Матильды. Каждый раз, как только маркиз обращался к нему за советом, он доказывал ему, что всякий иной выход, кроме законного брака, был бы преступлением перед богом.

— И к счастью,— добавлял аббат,— житейская мудрость в данном случае на стороне религии. Можно ли хоть на минуту предположить, что мадемуазель де Ла-Моль при ее неукротимом характере будет хранить в тайне то, что сама она не желает скрывать? А если вы не согласитесь на то, чтобы свадьба состоялась открыто, как полагается, в обществе гораздо дольше будут заниматься этим загадочным неравным браком. Надо все объявить разом, чтобы не оставалось ничего неясного, ни тени тайны.

— Это правда,— задумчиво согласился маркиз.— В наше время разговоры об этом браке уже через три дня будут казаться чем-то приевшимся, скучной болтовней, которой занимаются никчемные люди. Хорошо бы воспользоваться каким-нибудь крупным правительственным мероприятием против якобинцев и тут же, под шумок, все это и уладить.

Двое или трое близких друзей г-на де Ла-Моля держались того же мнения, что и аббат Пирар. Они тоже считали, что решительный характер Матильды является главным препятствием для каких бы то ни было иных возможностей. Но и после всех этих прекрасных рассуждений маркиз в глубине

души никак не мог свыкнуться с мыслью, что надо навсегда расстаться с надеждой на табурет для своей дочери.

Его память, его воображение были насыщены всевозможными похождениями и разными ловкими проделками, которые были еще возможны в дни его юности. Уступать необходимости, опасаться закона казалось ему просто нелепым и недостойным для человека его положения. Как дорого приходилось ему теперь расплачиваться за все те обольстительные мечты о будущности дочери, которыми он тешил себя в течение десяти лет!

«И кто бы мог это предвидеть? — мысленно восклицал он.— Девушка с таким надменным характером, с таким замечательным умом! И ведь она больше меня гордилась именем, которое она носит! Еще когда она была ребенком, самые знатные люди Франции просили у меня ее руки.

Да, надо забыть о всяком благоразумии! Уж таково наше время, все летит вверх тормашками. Мы катимся к полному хаосу».

XXXIV

ЧЕЛОВЕК С ГОЛОВОЙ

> Префект ехал верхом и рассуждал сам с собой: «Почему бы мне не стать министром, председателем совета, герцогом? Войну я бы стал вести вот каким образом!.. А вот как бы я расправился и заковал в кандалы всяких охотников до нововведений!»
>
> *«Глоб».*

Никакие доводы рассудка не в состоянии уничтожить могущественной власти целого десятилетия сладостных грез. Маркиз соглашался, что сердиться неблагоразумно, но не мог решиться простить. «Если бы этот Жюльен погиб как-нибудь неожиданно, от несчастного случая!..» — думал он иногда. Так его удрученное воображение пыталось утешить себя самыми невероятными фантазиями. И это парализовало влияние всех мудрых доводов аббата Пирара. Прошел месяц, и разговоры о том, как прийти к соглашению, не подвинулись ни на шаг.

В этом семейном деле совершенно так же, как и в делах политических, маркиза вдруг осеняли блестящие идеи и вооду-

шевляли его дня на три. И тогда всякий другой план действий, исходивший из трезвых рассуждений, отвергался им, ибо трезвые рассуждения только тогда имели силу в его глазах, когда они поддерживали его излюбленный план. В течение трёх дней он со всем пылом и воодушевлением истинного поэта трудился над тем, чтобы повернуть дело так, как ему хотелось; но проходил еще день, и он уже не думал об этом.

Сначала Жюльен недоумевал — его сбивала с толку медлительность маркиза, но когда прошло несколько недель, он стал догадываться, что г-н де Ла-Моль просто не знает, на что решиться.

Госпожа де Ла-Моль и все в доме были уверены, что Жюльен уехал в провинцию по делам управления их поместьями. Он скрывался в доме аббата Пирара и почти каждый день виделся с Матильдой; каждое утро она приходила к отцу и проводила с ним час, но иногда они по целым неделям не разговаривали о том, чем были поглощены все их мысли.

— Я знать не хочу, где он, этот человек,— сказал ей однажды маркиз.— Пошлите ему это письмо.

Матильда прочла:

«Лангедокские земли приносят 20 600 франков. Даю 10 600 франков моей дочери и 10 000 франков господину Жюльену Сорелю. Отдаю, разумеется, и земли также. Скажите нотариусу, чтобы приготовил две отдельные дарственные и пусть принесет мне их завтра; после этого все отношения между нами порваны. Ах, сударь! Мог ли я ожидать от вас всего этого?

Маркиз де Ла-Моль».

— Благодарю от всей души,— весело сказала Матильда.— Мы поселимся в замке д'Эгийон, поблизости от Ажена и Марманды. Говорят, это очень живописные места, настоящая Италия.

Этот дар чрезвычайно удивил Жюльена. Теперь это был уже не тот непреклонный, холодный человек, каким мы его знали. Судьба сына заранее поглощала все его мысли. Это неожиданное и довольно солидное для такого бедного человека состояние сделало его честолюбцем. Теперь у него с женой было 36 000 франков ренты. Что касается Матильды, все существо ее было поглощено одним-единственным чувством — обожанием мужа: так она теперь всегда из гордости называла Жюльена. И все честолюбие ее сосредоточивалось исключи-

тельно на том, чтобы добиться признания этого брака. Она без конца превозносила высокое благоразумие, которое проявила, соединив свою судьбу с таким выдающимся человеком. Личные достоинства — вот был излюбленный довод, на который она неизменно опиралась.

Длительная разлука, множество всяких дел, редкие минуты, когда им удавалось поговорить друг с другом о своей любви,—все это как нельзя лучше помогало плодотворному действию мудрой политики, изобретенной в свое время Жюльеном.

Наконец Матильда вышла из терпения и возмутилась, что ей приходится урывками видеться с человеком, которого она теперь по-настоящему полюбила.

В порыве этого возмущения она написала отцу, начав свое письмо, как Отелло:

«То, что я предпочла Жюльена светским удовольствиям, которые общество могло предоставить дочери господина де Ла-Моля, выбор мой доказывает достаточно ясно. Все эти радости мелкого самолюбия и пустого тщеславия для меня не существуют. Вот уже полтора месяца, как я живу в разлуке с моим мужем. Этого довольно, чтобы засвидетельствовать мое уважение к Вам. На будущей неделе, не позднее четверга, я покину родительский дом. Ваши благодеяния обогатили нас. В тайну мою не посвящен никто, кроме почтенного аббата Пирара. Я отправляюсь к нему, он нас обвенчает, а час спустя мы уже будем на пути в Лангедок и не появимся в Париже впредь до Вашего разрешения. Одно только заставляет сжиматься мое сердце — все это станет пищей для пикантных анекдотов на мой счет и на Ваш. Остроты каких-нибудь глупцов, пожалуй, заставят нашего доблестного Норбера искать ссоры с Жюльеном. А при таких обстоятельствах — я хорошо знаю его — я буду бессильна оказать на Жюльена какое-либо воздействие: в нем заговорит дух восставшего плебея. Умоляю Вас на коленях, отец, придите на мое венчание в церковь аббата Пирара в следующий четверг. Это обезвредит ехидство светских пересудов и отвратит опасность, угрожающую жизни Вашего единственного сына и жизни моего мужа...», и так далее, и так далее.

Это письмо повергло маркиза в необыкновенное смятение. Итак, значит, необходимо в конце концов принять какое-то *решение*. Все его правила, все привычные дружеские связи утратили для него всякий смысл.

В этих исключительных обстоятельствах в нем властно заговорили все истинно значительные черты его характера, выко-

ванные великими потрясениями, которые он пережил в юности. Невзгоды эмиграции сделали его фантазером. После того как он на протяжении двух лет видел себя обладателем громадного состояния, пожинал всякие отличия при дворе, 1790 год внезапно вверг его в ужасную нищету эмиграции. Эта суровая школа перекропала душу двадцатидвухлетнего юноши. Он, в сущности, чувствовал себя как бы завоевателем, раскинувшим лагерь среди всего своего богатства; оно отнюдь не порабощало его. Но это же самое воображение, которое уберегло его душу от губительной отравы золота, сделало его жертвой безумной страсти — добиться во что бы то ни стало для своей дочери достойного титула.

В продолжение последних полутора месяцев маркиз, повинуясь внезапному капризу, вдруг решал обогатить Жюльена, бедность которого казалась ему чем-то унизительным, позорным для него самого, маркиза де Ла-Моля, чем-то немыслимым для супруга его дочери. Он швырял деньгами. На другой день его воображение кидалось в другую сторону: ему казалось, что Жюльен поймет этот немой язык расточительной щедрости, переменит имя, уедет в Америку и оттуда напишет Матильде, что он для нее больше не существует. Г-н де Ла-Моль уже представлял себе это письмо написанным, стараясь угадать, какое действие может оно оказать на его дочь.

Когда все эти юношеские мечты были разрушены подлинным письмом Матильды, маркиз после долгих раздумий о том, как бы ему убить Жюльена или заставить его исчезнуть, вдруг неожиданно загорелся желанием создать ему блестящее положение. Он даст ему имя одного из своих владений. Почему бы не передать ему и титул? Герцог де Шон, его тесть, после того как единственный сын его был убит в Испании, не раз уже говаривал маркизу, что он думает передать свой титул Норберу...

«Нельзя отказать Жюльену в исключительных деловых способностях, в редкой отваге, пожалуй, даже и в некотором блеске...— рассуждал сам с собой маркиз.— Но в глубине этой натуры есть что-то пугающее. И такое впечатление он производит решительно на всех, значит, действительно что-то есть. (И чем труднее было определить это «что-то», тем больше пугало оно пылкое воображение старого маркиза.)

Моя дочь очень тонко выразила это как-то на днях (в письме, которого мы не приводим): «Жюльен не пристал ни к одному салону, ни к какой клике». Он не заручился против меня ни малейшей поддержкой, если я от него откажусь, он останется без всего... Но что это — просто его неведение совре-

менного состояния общества? Я два или три раза говорил ему: добиться какого-нибудь положения, выдвинуться можно только при помощи салонов...

Нет, у него нет ловкости и хитрости какого-нибудь проныры, который не упустит ни удобной минуты, ни благоприятного случая... Это характер отнюдь не в духе Людовика XI. А с другой стороны, я вижу, что он руководится отнюдь не возвышенными правилами. Для меня это что-то непонятное... Может быть, он внушил себе все эти правила, чтобы не давать воли своим чувствам?

В одном можно не сомневаться: он не выносит презрения, и этим-то я и держу его.

У него нет преклонения перед знатностью, по правде сказать, нет никакого врожденного уважения к нам. В этом его недостаток. Но семинарская душонка может чувствовать себя неудовлетворенной только от отсутствия денег и жизненных благ. У него совсем другое: он ни за что в мире не позволит, чтобы его презирали».

Прижатый к стене письмом дочери, г-н де Ла-Моль понимал, что надо на что-то решиться. Так вот, прежде всего надо выяснить самое главное: «Не объясняется ли дерзость Жюльена, побудившая его ухаживать за моей дочерью, тем, что он знал, что я люблю ее больше всего на свете и что у меня сто тысяч экю ренты?

Матильда уверяет меня в противном... Нет, дорогой господин Жюльен, я хочу, чтобы у меня на этот счет не было ни малейшего сомнения.

Что это: настоящая любовь, неудержимая и внезапная? Или низкое домогательство, желание подняться повыше, создать себе блестящее положение? Матильда весьма прозорлива, она сразу почувствовала, что это соображение может погубить его в моих глазах, отсюда, разумеется, и это признание: она, видите ли, полюбила его первая.

Девушка с таким гордым характером — и поверить, что она забылась до того, чтобы делать ему откровенные авансы? Пожимать ему руку вечером в саду,— какой ужас! Будто у нее не было сотни иных, менее непристойных способов дать ему понять, что она его отличает?

Кто оправдывается, тот сам себя выдает; я не верю Матильде...» В этот вечер рассуждения маркиза были много более решительны и последовательны, чем обычно. Однако привычка взяла свое: он решил выиграть еще немного времени и написать дочери, ибо у них теперь завязалась переписка из одной

комнаты особняка в другую. Г-н де Ла-Моль не решался спорить с Матильдой и переубеждать ее. Он боялся, как бы это не кончилось внезапной уступкой с его стороны.

Письмо

«Остерегайтесь совершить еще новые глупости; вот Вам патент гусарского поручика на имя шевалье Жюльена Сореля де Ла-Верне. Вы видите, чего я только не делаю для него. Не спорьте со мной, не спрашивайте меня. Пусть изволит в течение двадцати четырех часов явиться в Страсбург, где стоит его полк. Вот вексельное письмо моему банкиру; повиноваться беспрекословно».

Любовь и радость Матильды были безграничны, она решила воспользоваться победой и написала тотчас же:

«Господин де Ла-Верне бросился бы к Вашим ногам, не помня себя от благодарности, если бы он только знал, что́ Вы для него делаете. Но при всем своем великодушии отец мой забывает обо мне — честь Вашей дочери под угрозой. Малейшая нескромность может запятнать ее навеки, и тогда уж и двадцать тысяч экю ренты не смоют этого позора. Я пошлю патент господину де Ла-Верне только в том случае, если Вы мне дадите слово, что в течение следующего месяца моя свадьба состоится публично в Вилькье. Вскоре после этого срока, который умоляю Вас не пропустить, Ваша дочь не сможет появляться на людях иначе, как под именем госпожи де Ла-Верне. Как я благодарна Вам, милый папа, что Вы избавили меня от этого имени — Сорель...», и так далее, и так далее.

Ответ оказался неожиданным.

«Повинуйтесь, или я беру все назад. Трепещите, юная сумасбродка. Сам я еще не имею представления, что такое Ваш Жюльен, а Вы и того меньше. Пусть отправляется в Страсбург и ведет себя как следует. Я сообщу о моем решении через две недели».

Этот решительный ответ весьма удивил Матильду. *«Я не знаю, что такое Ваш Жюльен»* — эти слова захватили ее воображение, и ей тут же стали рисоваться самые увлекательные возможности, которые она уже принимала за истину. «Ум моего Жюльена не подгоняется к тесному *покрою* пошлого салонного

образца, и именно это-то, что, казалось бы, и доказывает его исключительную натуру, внушает недоверие отцу.

Однако, если я не послушаюсь его каприза, дело может дойти до публичного скандала, а огласка, конечно, весьма дурно повлияет на мое положение в свете и, быть может, даже несколько охладит ко мне Жюльена. А уж после такой огласки... жалкое существование, по крайней мере, лет на десять. А безумство выбрать себе мужа за его личные достоинства не грозит сделать тебя посмешищем только тогда, когда ты располагаешь громадным состоянием. Если я буду жить вдалеке от отца, то он, в его возрасте, легко может позабыть обо мне... Норбер женится на какой-нибудь обаятельной ловкой женщине. Ведь сумела же герцогиня Бургундская обольстить старого Людовика XIV».

Она решила покориться, но остереглась показать отцовское письмо Жюльену. Зная его неистовый характер, она опасалась какой-нибудь безумной выходки.

Когда вечером она рассказала Жюльену, что он теперь гусарский поручик, радость его не знала границ. Можно себе представить эту радость, зная честолюбивые мечты всей его жизни и эту его новую страсть к своему сыну. Перемена имени совершенно ошеломила его.

«Итак,— сказал он себе,— роман мой в конце концов завершился, и я обязан этим только самому себе. Я сумел заставить полюбить себя эту чудовищную гордячку,— думал он, поглядывая на Матильду,— отец ее не может жить без нее, а она без меня».

XXXV

ГРОЗА

Даруй мне, господи, посредственность.

Мирабо.

Душа его упивалась, он едва отвечал на пылкую нежность Матильды. Он был мрачен и молчалив. Никогда еще он не казался Матильде столь необыкновенным, и никогда еще она так не боготворила его. Она дрожала от страха, как бы его чрезмерно чувствительная гордость не испортила дело.

Она видела, что аббат Пирар является в особняк чуть ли не каждый день. Может быть, Жюльен через него узнал что-

нибудь о намерениях ее отца? Или, может быть, поддавшись минутной прихоти, маркиз сам написал ему? Чем объяснить этот суровый вид Жюльена после такой счастливой неожиданности? Спросить его она не осмеливалась.

Не осмеливалась! Она, Матильда! И вот с этой минуты в ее чувство к Жюльену прокралось что-то смутное, безотчетное, что-то похожее на ужас. Эта черствая душа познала в своей любви все, что только доступно человеческому существу, взлелеянному среди излишеств цивилизации, которыми восхищается Париж.

На другой день, на рассвете, Жюльен явился к аббату Пирару. За ним следом во двор въехали почтовые лошади, запряженные в старую разбитую колымагу, нанятую на соседнем почтовом дворе.

— Такой экипаж вам теперь не годится,— брюзгливым тоном сказал ему суровый аббат.— Вот вам двадцать тысяч франков, подарок господина де Ла-Моля; вам рекомендуется истратить их за год, но постараться, насколько возможно, не давать повода для насмешек. (Бросить на расточение молодому человеку такую огромную сумму, с точки зрения священника, означало толкнуть его на грех.)

Маркиз добавляет к сему: господин Жюльен де Ла-Верне должен считать, что он получил эти деньги от своего отца, называть коего нет надобности. Господин де Ла-Верне, быть может, найдет уместным сделать подарок господину Сорелю, плотнику в Верьере, который заботился о нем в детстве...

— Я могу взять на себя эту часть его поручений,— добавил аббат,— я, наконец, убедил господина де Ла-Моля пойти на мировую с этим иезуитом, аббатом Фрилером. Его влияние, разумеется, намного превышает наше. Так вот, этот человек, который, в сущности, управляет всем Безансоном, должен признать ваше высокое происхождение — это будет одним из негласных условий мирного соглашения.

Жюльен не мог совладать со своими чувствами и бросился аббату на шею. Ему уже казалось, что его признали.

— Что это? — сказал аббат Пирар, отталкивая его.— Что это за суетность светская?.. Так вот, что касается Сореля и его сыновей,— я предложу им от своего имени пенсию в пятьсот франков, которая будет им выплачиваться ежегодно, покуда я буду доволен их поведением.

Жюльен уже снова был холоден и высокомерен. Он поблагодарил, но в выражениях крайне неопределенных и ни к чему не обязывающих. «А ведь вполне возможно, что я побочный

сын какого-нибудь видного сановника, сосланного грозным Наполеоном в наши горы!» С каждой минутой эта мысль казалась ему все менее и менее невероятной. «Моя ненависть к отцу явилась бы в таком случае прямым доказательством... Значит, я вовсе не такой уж изверг!»

Спустя несколько дней после этого монолога Пятнадцатый гусарский полк, один из самых блестящих полков французской армии, стоял в боевом порядке на плацу города Страсбурга. Шевалье де Ла-Верне гарцевал на превосходном эльзасском жеребце, который обошелся ему в шесть тысяч франков. Он был зачислен в полк в чине поручика, никогда не числившись подпоручиком, разве что в именных списках какого-нибудь полка, о котором он никогда не слыхал.

Его бесстрастный вид, суровый и чуть ли не злой взгляд, бледность и неизменное хладнокровие — все это заставило заговорить о нем с первого же дня. Очень скоро его безукоризненная и весьма сдержанная учтивость, ловкость в стрельбе и в фехтовании, обнаруженные им безо всякого бахвальства, отняли охоту у остряков громко подшучивать над ним. Поколебавшись пять-шесть дней, общественное мнение полка высказалось в его пользу. «В этом молодом человеке,— говорили старые полковые зубоскалы,— все есть, не хватает только одного — молодости».

Из Страсбурга Жюльен написал г-ну Шелану, бывшему верьерскому кюре, который теперь был уже в весьма преклонных летах:

«Не сомневаюсь, что Вы с радостью узнали о важных событиях, которые побудили моих родных обогатить меня. Прилагаю пятьсот франков и прошу Вас раздать их негласно, не называя моего имени, несчастным, которые обретаются ныне в такой же бедности, в какой когда-то пребывал я, и которым Вы, конечно, помогаете, как когда-то помогали мне».

Жюльена обуревало честолюбие, но отнюдь не тщеславие; однако это не мешало ему уделять очень много внимания своей внешности. Его лошади, его мундир, ливреи его слуг — все было в безукоризненном порядке, который поддерживался с пунктуальностью, способной сделать честь английскому милорду. Став чуть ли не вчера поручиком по протекции, он уже рассчитывал, что для того, чтобы в тридцать лет, никак не позже, стать командиром полка по примеру всех великих генералов, надо уже в двадцать три года быть чином выше поручика. Он только и думал, что о славе и о своем сыне.

И вот в разгаре этих честолюбивых мечтаний, которым он предавался с неудержимым пылом, его неожиданно вернул к действительности молодой лакей из особняка де Ла-Моль, прискакавший к нему нарочным.

«Все пропало,— писала ему Матильда,— приезжайте как можно скорее, бросайте все. Дезертируйте, если нельзя иначе. Как только приедете, ожидайте меня в наемной карете у маленькой калитки в сад возле дома №... по улице... Я выйду поговорить с Вами; быть может, удастся провести Вас в сад. Все погибло, и, боюсь, безвозвратно; не сомневайтесь во мне, я буду тверда и преданна Вам во всех невзгодах. Я люблю Вас».

Через несколько минут, получив от полковника отпуск, Жюльен сломя голову мчался из Страсбурга; но ужасное беспокойство, глодавшее его, лишало его сил, и, доскакав до Меца, он оказался не в состоянии продолжать верхом свое путешествие. Он вскочил в почтовую карету и с почти невероятной быстротой примчался в указанное место, к садовой калитке особняка де Ла-Моль. Калитка открылась, и в тот же миг Матильда, пренебрегая всеми людскими толками, бросилась к нему на грудь. К счастью, было всего только пять часов утра, и на улице не было ни души.

— Все кончено! Отец, опасаясь моих слез, уехал в ночь на четверг. Куда? Никто понятия не имеет. Вот его письмо, читайте! — И она вскочила в экипаж к Жюльену.

«Я мог бы простить все, кроме заранее обдуманного намерения соблазнить Вас только потому, что Вы богаты. Вот, несчастная дочь, вот Вам страшная правда. Даю Вам честное мое слово, что я никогда не соглашусь на Ваш брак с этим человеком. Ему будет обеспечено десять тысяч ливров ренты, если он уберется куда-нибудь подальше за пределы Франции, лучше всего — в Америку. Прочтите письмо, которое было получено мною в ответ на мою просьбу сообщить о нем какие-нибудь сведения. Этот наглец сам предложил мне написать госпоже де Реналь. Ни одной строки от Вас с упоминанием об этом человеке я больше не стану читать. Мне опротивели и Париж и Вы. Настоятельно советую Вам хранить в глубочайшей тайне то, что должно произойти. Отрекитесь чистосердечно от этого подлого человека, и Вы снова обретете отца».

— Где письмо госпожи де Реналь? — холодно спросил Жюльен.

— Вот оно. Я не хотела тебе показывать его сразу, пока не подготовила тебя.

Письмо

«Долг мой перед священными заветами религии и нравственностью вынуждает меня, сударь, исполнить эту тягостную обязанность по отношению к Вам; нерушимый закон повелевает мне в эту минуту причинить вред моему ближнему, но лишь затем, чтобы предотвратить еще худший соблазн. Скорбь, которую я испытываю, должна быть преодолена чувством долга. Нет сомнений, сударь, что поведение особы, о которой Вы меня спрашиваете и о которой Вы желаете знать всю правду, может показаться необъяснимым и даже добропорядочным. От Вас сочли нужным утаить долю правды, а возможно, даже представить кое-что в ином свете, руководствуясь требованиями осторожности, а также и религиозными убеждениями. Но поведение, которым Вы интересуетесь, заслуживает величайшего осуждения и даже более, чем я сумею Вам высказать. Бедность и жадность побудили этого человека, способного на невероятное лицемерие, совратить слабую и несчастную женщину и таким путем создать себе некоторое положение и выбиться в люди. Мой тягостный долг заставляет меня при этом добавить, что господин Ж. не признает никаких законов религии. Сказать по совести, я вынуждена думать, что одним из способов достигнуть успеха является для него обольщение женщины, которая пользуется в доме наибольшим влиянием. Прикидываясь как нельзя более бескорыстным и прикрываясь всякими фразами из романов, он ставит себе единственной целью сделаться полновластным господином и захватить в свои руки хозяина дома и его состояние. Он сеет несчастья и вечные сожаления...», и так далее, и так далее.

Это письмо, непмоверно длинное и наполовину размытое слезами, было, несомненно, написано рукой г-жи де Реналь, и даже написано более тщательно, чем обычно.

— Я не смею осуждать господина де Ла-Моля,— произнес Жюльен, дочитав до конца.— Он поступил правильно и разумно. Какой отец согласится отдать свою любимую дочь такому человеку? Прощайте!

Жюльен выскочил из экипажа и побежал к почтовой карете, дожидавшейся его в конце улицы. Матильда, о которой он как будто совершенно забыл, бросилась за ним, но она сделала всего несколько шагов,— взгляды приказчиков, хорошо знавших ее и теперь с любопытством высовывавшихся из-за дверей своих лавок, заставили ее поспешно скрыться в сад.

Жюльен помчался в Верьер. Во время этой головоломной скачки он не мог написать Матильде, как намеревался, рука его выводила на бумаге какие-то непонятные каракули.

Он приехал в Верьер в воскресенье утром. Он вошел в лавку к оружейнику, который тотчас же бросился поздравлять его с неожиданно доставшимся ему богатством. Весь город был взбудоражен этой новостью.

Жюльену стоило немалых трудов растолковать ему, что он хочет купить пистолеты. По его просьбе оружейник зарядил их.

Колокол прогудел трижды; во французских деревнях этот хорошо знакомый благовест после многозвучных утренних перезвонов возвещает, что сейчас же вслед за ним начинается богослужение.

Жюльен вошел в новую верьерскую церковь. Все высокие окна храма были затянуты темно-красными занавесями. Жюльен остановился позади скамьи г-жи де Реналь, в нескольких шагах от нее. Ему казалось, что она усердно молится. При виде этой женщины, которая его так любила, рука Жюльена задрожала, и он не в состоянии был выполнить свое намерение. «Не могу,— говорил он себе,— не в силах, не могу».

В этот миг служка, прислуживавший во время богослужений, позвонил в колокольчик, как делается перед выносом святых даров. Г-жа де Реналь опустила голову, которая почти совсем потонула в складках ее шали. Теперь уже Жюльен не так ясно ощущал, что это она. Он выстрелил и промахнулся; он выстрелил еще раз — она упала.

XXXVI

НЕВЕСЕЛЫЕ ПОДРОБНОСТИ

> Не думайте, я не проявлю малодушия: я отомстил за себя. Я заслуживаю смерти, вот я, берите меня. Молитесь о душе моей.
>
> *Шиллер.*

Жюльен стоял не двигаясь; он ничего не видел. Когда он немного пришел в себя, то заметил, что прихожане бегут вон из церкви; священник покинул алтарь. Жюльен медленно двинулся вслед за какими-то женщинами, которые бежали с криками. Одна из них, рванувшись вперед, сильно толкнула его, и он упал. Ноги ему придавило стулом, опрокинутым тол-

пой; поднимаясь, он почувствовал, что его держат за ворот,— это был жандарм в полной форме. Жюльен машинально взялся было за свои маленькие пистолеты, но другой жандарм в это время схватил его за локоть.

Его повели в тюрьму. Ввели в какую-то комнату, надели на него наручники и оставили одного; дверь захлопнулась, и ключ в замке щелкнул дважды. Все это произошло очень быстро, и он при этом ровно ничего не ощущал.

— Ну вот, можно сказать, все кончено,— громко произнес он, приходя в себя.— Значит, через две недели гильотина... или покончить с собой до тех пор.

Мысли его не шли дальше этого; ему казалось, точно кто-то изо всех сил сжимает ему голову. Он обернулся, чтобы посмотреть, не держит ли его кто-нибудь. Через несколько секунд он спал мертвым сном. Госпожа де Реналь не была смертельно ранена. Первая пуля пробила ее шляпку; едва она обернулась, грянул второй выстрел. Пуля попала ей в плечо и — удивительная вещь! — отскочила от плечевой кости, переломив ее, и ударилась о готический пилон, отколов от него здоровенный кусок.

Когда, после долгой и мучительной перевязки, хирург, человек серьезный, сказал г-же де Реналь: «Я отвечаю за вашу жизнь, как за свою собственную»,— она была глубоко огорчена.

Она уже давно всем сердцем жаждала умереть. Письмо к г-ну де Ла-Молю, которое ее заставил написать ее теперешний духовник, было последним ударом для этой души, обессиленной слишком длительным горем. Горе это — была разлука с Жюльеном, а она называла его *угрызениями совести*. Ее духовник, добродетельный и усердный молодой священник, только что приехавший из Дижона, отнюдь не заблуждался на этот счет.

«Умереть вот так, не от своей руки — ведь это совсем не грех,— говорила себе г-жа де Реналь.— Быть может, бог меня простит за то, что я радуюсь смерти». Она не смела договорить: «А умереть от руки Жюльена — какое блаженство!»

Едва только она, наконец, освободилась от хирурга и от всех приятельниц, сбежавшихся к ней, как она позвала к себе свою горничную Элизу.

— Тюремщик очень жестокий человек,— сказала она ей, страшно краснея,— он, конечно, будет с ним очень скверно обращаться, думая, что он мне этим угодит... Меня очень мучает эта мысль. Не могли бы вы сходить к этому тюремщику,

как будто от себя, и отдать ему вот этот конвертик? Тут несколько луидоров. Скажите, что религия не позволяет ему обращаться с ним жестоко... И, главное, чтобы он не рассказывал о том, что ему дали денег.

Вот этому-то обстоятельству, о котором мы сейчас упомянули, Жюльен и был обязан гуманным отношением верьерского тюремщика; это был все тот же г-н Нуару, ревностный блюститель порядка, на которого, как мы когда-то видели, прибытие г-на Аппера нагнало такой страх.

В тюрьму явился следователь.

— Я совершил убийство с заранее обдуманным намерением,— сказал ему Жюльен,— я купил и велел зарядить пистолеты у такого-то оружейника. Статья тысяча триста сорок вторая уголовного кодекса гласит ясно — я заслуживаю смерти и жду ее.

Узколобому следователю было непонятно такое чистосердечие: он засыпал его всяческими вопросами, стараясь добиться, чтобы обвиняемый запутался в показаниях.

— Разве вы не видите,— с улыбкой сказал Жюльен,— я так явно признаю себя виновным, что лучшего вам и желать нечего. Бросьте, сударь, ваша добыча не уйдет от вас. Вы будете иметь удовольствие осудить меня. Избавьте меня от вашего присутствия.

«Мне остается исполнить еще одну довольно скучную повинность,— подумал Жюльен.— Надо написать мадемуазель де Ла-Моль».

«Я отомстил за себя,— писал он ей.— К несчастью, имя мое попадет в газеты, и мне не удастся исчезнуть из этого мира незаметно. Прошу простить меня за это. Через два месяца я умру. Месть моя была ужасна, как и горе разлуки с Вами. С этой минуты я запрещаю себе писать Вам и произносить Ваше имя. Не говорите обо мне никогда, даже моему сыну: молчание — это единственный способ почтить мою память. Для большинства людей я буду самым обыкновенным убийцей. Позвольте мне сказать Вам правду в этот последний миг: Вы меня забудете. Это ужасное событие, о котором я Вам советую никогда не заикаться ни одной живой душе, исчерпает на долгие годы жажду необычайного и чрезмерную любовь к риску, которые я усматриваю в Вашем характере. Вы были созданы, чтобы жить среди героев средневековья, проявите же в данных обстоятельствах достойную их твердость. Пусть то, что должно произойти, совершится в тайне, не опорочив Вас. Скройтесь под чужим именем и не доверяйтесь никому. Если

Вы не сможете обойтись без дружеской помощи, я завещаю Вам аббата Пирара.

Никому другому ни слова, особенно людям Вашего круга: господам де Люзу, де Келюсу.

Через год после моей смерти выходите замуж за господина де Круазенуа, я Вас прошу об этом, приказываю Вам как Ваш супруг. Не пишите мне, я не буду отвечать. Хоть я, как мне кажется, и не столь злобен, как Яго, я все же скажу, как он: From this time forth I never will speak word [1].

Ничто не заставит меня ни говорить, ни писать. К Вам обращены мои последние слова, как и последние мои пылкие чувства.

Ж. С.»

Только после того, как он отправил письмо, Жюльен, немного придя в себя, в первый раз почувствовал, до какой степени он несчастен. Каждую из его честолюбивых надежд должно было одну за другой вырвать из сердца этими великими словами: «Я умру, надо умереть». Сама по себе смерть не казалась ему страшной. Вся жизнь его, в сущности, была не чем иным, как долгим подготовлением к бедствиям, и он никогда не забывал о том из них, что считается величайшим.

«Ну что тут такого? — говорил он себе.— Если бы мне, скажем, через два месяца предстояло драться на дуэли с человеком, который необыкновенно ловко владеет шпагой, разве я проявил бы такое малодушие, чтобы думать об этом беспрестанно, да еще с ужасом в душе?»

Час с лишним допытывал он самого себя на этот счет.

Когда он стал явственно видеть в своей душе и правда предстала перед ним так же отчетливо, как столб, поддерживающий своды его темницы, он подумал о раскаянии.

«А в чем, собственно, я должен раскаиваться? Меня оскорбили самым жестоким образом, я убил, я заслуживаю смерти, но это и все. Я умираю, после того как свел счеты с человечеством. Я не оставляю после себя ни одного невыполненного обязательства, я никому ничего не должен, а в смерти моей нет решительно ничего постыдного, если не считать способа, которым я буду убит. Конечно, одного этого более чем достаточно, чтобы заклеймить меня в глазах верьерских мещан, но с высшей, так сказать, философской, точки зрения — какое это имеет значение? У меня, впрочем, есть средство

[1] Отныне я не вымолвлю ни слова *(англ.)*.

оставить после себя почтенную память — это швырять в толпу золотые монеты, идя на казнь. И тогда память обо мне, связанная с воспоминанием о *золоте*, будет поистине лучезарной».

Успокоившись на этом рассуждении, которое через минуту показалось ему совершенно правильным, Жюльен сказал: «Мне нечего больше делать на земле!» — и заснул крепким сном.

Около десяти часов вечера тюремщик разбудил его: он принес ему ужин.

— Что говорят в Верьере?

— Господин Жюльен, я перед распятием присягал в королевском суде в тот день, когда меня взяли на эту должность,— я должен молчать.

Он молчал, но не уходил. Это грубое лицемерие рассмешило Жюльена. «Надо заставить его подольше подождать этих пяти франков, которые он надеется получить с меня за свою совесть»,— подумал он.

Видя, что ужин подходит к концу, а его даже не пытаются соблазнить, тюремщик не выдержал.

— Вот только что разве по дружбе к вам, господин Жюльен,— промолвил он притворно сочувственным тоном,— я уж вам скажу,— хоть и говорят, что это вредит правосудию, потому как вы сможете воспользоваться этим для своей защиты... Но вы, господин Жюльен, вы добрая душа, и вам, конечно, будет приятно узнать, что госпожа де Реналь поправляется.

— Как! Она жива? — вне себя воскликнул Жюльен, вскочив из-за стола.

— А вы ничего не знали? — сказал тюремщик с тупым изумлением, которое мгновенно сменилось выражением ликующей алчности.— Да уж следовало бы вам, сударь, что-нибудь дать хирургу, потому что ведь он по закону и по справедливости помалкивать должен бы. Ну, а я, сударь, хотел угодить вам: сходил к нему, а он мне все и выложил...

— Так, значит, рана не смертельна? — шагнув к нему, нетерпеливо спросил Жюльен.— Смотри, ты жизнью своей мне за это ответишь.

Тюремщик, исполин саженного роста, струхнул и попятился к двери. Жюльен понял, что так он от него ничего не добьется. Он сел и швырнул золотой г-ну Нуару.

По мере того, как из рассказа этого человека Жюльен убеждался, что рана г-жи де Реналь не смертельна, он чувствовал, что самообладание покидает его и слезы вот-вот хлынут у него из глаз.

— Оставьте меня! — отрывисто сказал он.

Тюремщик повиновался. Едва за ним захлопнулась дверь, «Боже великий! Она жива!» — воскликнул Жюльен и бросился на колени, рыдая и заливаясь слезами.

В эту неповторимую минуту он был верующим. Какое ему было дело до попов со всем их ханжеством и лицемерием? Разве это как-нибудь умаляло для него сейчас истину и величие образа божьего?

И вот только теперь Жюльен почувствовал раскаяние в совершенном им преступлении. По какому-то странному совпадению, которое спасло его от отчаяния, он только сейчас вышел из того состояния лихорадочного возбуждения и полубезумия, в котором он пребывал все время с той самой минуты, как выехал из Парижа в Верьер.

Это были благодатные, чистые слезы; он ни на минуту не сомневался в том, что будет осужден.

— Значит, она будет жить! — повторял он.— Она будет жить, и простит, и будет любить меня...

Наутро, уже довольно поздно, его разбудил тюремщик.

— Видно, у вас спокойно на душе, господин Жюльен,— сказал тюремщик.— Вот уж два раза, как я к вам входил, да только постеснялся будить вас. Вот, пожалуйста, две бутылочки славного винца: это вам посылает господин Малон, наш кюре.

— Как! Этот мошенник еще здесь? — сказал Жюльен.

— Да, сударь,— отвечал тюремщик, понижая голос.— Только вы уж не говорите так громко, это вам может повредить.

Жюльен рассмеялся.

— В том положении, милый мой, в каком я сейчас оказался, только вы один можете мне повредить, коли перестанете быть таким участливым и добрым... Вы не прогадаете, вам хорошо заплатят,— спохватившись, внушительно добавил Жюльен.

И он тут же подтвердил свой внушительный тон, бросив г-ну Нуару золотую монету.

Господин Нуару снова и на этот раз с еще бóльшими подробностями изложил все, что узнал про г-жу де Реналь, но о посещении мадемуазель Элизы не заикнулся ни словом.

Это была низкая и поистине раболепная натура. Внезапно у Жюльена мелькнула мысль: «Этот безобразный великан получает здесь три-четыре сотни франков, не больше, ибо народу у него в тюрьме не так много; я могу пообещать ему

десять тысяч франков, если он сбежит со мной в Швейцарию. Трудно будет только заставить его поверить, что я его не обману». Но когда Жюльен представил себе, как долго ему придется объясняться с этим гнусным животным, он почувствовал отвращение и стал думать о другом.

Вечером оказалось, что время уже упущено. В полночь за ним приехала почтовая карета и увезла его. Он остался очень доволен своими спутниками — жандармами. Утром он был доставлен в безансонскую тюрьму, где его любезно препроводили в верхний этаж готической башни. Приглядевшись, он решил, что эта архитектура относится к началу XIV века, и залюбовался ее изяществом и пленительной легкостью. Сквозь узкий просвет между двумя стенами, над угрюмой глубиной двора, открывался вдали изумительной красоты пейзаж.

На следующий день ему учинили допрос, после чего несколько дней ему никто не докучал. На душе у него было спокойно. Его дело казалось ему проще простого: «Я хотел убить — меня следует убить».

Его мысль не задерживалась на этом рассуждении. Суд, неприятность выступать перед публикой, защита — все это были какие-то досадные пустяки, скучные церемонии, о которых будет время подумать, когда все это наступит. И самый момент смерти также не задерживал его мысли: «Подумаю после суда». Жизнь вовсе не казалась ему скучной, он на все смотрел теперь другими глазами: у него не было никакого честолюбия. Он редко вспоминал о м-ль де Ла-Моль. Он был охвачен чувством раскаяния, и образ г-жи де Реналь часто вставал перед ним, особенно в ночной тишине, которую в этой высокой башне прерывали только крики орлана.

Он благодарил небо за то, что рана, которую он нанес, оказалась не смертельной. «Странное дело! — рассуждал он сам с собой.— Ведь мне казалось, что она своим письмом к господину де Ла-Молю разрушила навсегда счастье, которое только что открылось передо мной, и вот не прошло и двух недель после этого письма, а я даже не вспоминаю о том, что так меня тогда волновало... Две-три тысячи ливров ренты, чтобы жить спокойно где-нибудь в горах, в местности вроде Вержи... Я был счастлив тогда. Я только не понимал моего счастья!»

Бывали минуты, когда он вдруг срывался со стула в страшном смятении. «Если бы я ранил насмерть госпожу де Реналь, я бы покончил с собой. Мне необходима эта уверенность, что она жива, чтобы не задыхаться от отвращения к себе. Покончить с жизнью! Вот о чем стоит подумать,— говорил

он себе.— Эти лютые формалисты-судьи, которые с такой яростью преследуют несчастного подсудимого, а сами за какой-нибудь жалкий орден готовы вздернуть на виселицу лучшего из своих сограждан... Я бы избавился от их власти, ото всех их оскорблений на отвратительном французском языке, который здешняя газетка будет называть красноречием...

Ведь я могу прожить еще по меньшей мере недель пять-шесть...» «Покончить с собой! Нет, черт возьми,— решил он спустя несколько дней,— ведь Наполеон жил.

И потом, мне приятно жить. Здесь тихо, спокойно, никто мне не надоедает»,— смеясь, добавил он и начал составлять список книг, которые собирался выписать из Парижа.

XXXVII

БАШЕНКА

Могила друга.
Стерн.

Из коридора донесся громкий шум,— в этот час обычно никто не поднимался сюда; орлан улетел с криком, дверь растворилась, и почтенный кюре Шелан, трясущийся, с палкой в руках, упал к нему на грудь.

— Ах, боже праведный! Да как же это может быть, дитя мое... Чудовище, следовало бы мне сказать!

И добрый старик уже больше не в состоянии был вымолвить ни слова. Жюльен боялся, что он вот-вот упадет. Ему пришлось довести его до стула. Длань времени тяжело легла на этого когда-то столь деятельного человека. Жюльену казалось, что перед ним тень прежнего кюре. Отдышавшись немного, старик заговорил:

— Только позавчера я получил ваше письмо из Страсбурга и в нем эти ваши пятьсот франков для верьерских бедняков. Мне его принесли туда в горы, в Ливрю: я теперь там живу, у моего племянника Жана. И вдруг вчера узнаю об этой катастрофе... Господи боже мой! Да может ли это быть! — Старик уже не плакал, взор его был лишен всякой мысли, и он как бы машинально добавил: — Вам понадобятся ваши пятьсот франков, я вам их принес.

— Мне только вас надобно видеть, отец мой! — воскликнул растроганный Жюльен.— А деньги у меня еще есть.

Но больше он уже не мог добиться от старика ни одного разумного слова. Время от времени слезы набегали на глаза г-на Шелана и тихонько катились по щекам; он устремлял взгляд на Жюльена и, казалось, не мог прийти в себя от изумления, видя, как тот берет его руки и подносит их к своим губам. Это лицо, когда-то такое живое, так пламенно воодушевлявшееся поистине благородными чувствами, теперь словно застыло, лишенное всякого выражения. Вскоре за старцем пришел какой-то крестьянин.

— Не годится ему уставать-то, и говорить много нельзя,— сказал он Жюльену, и тот понял, что это и есть его племянник.

Это посещение погрузило Жюльена в жестокое уныние без слез, которые могли бы его облегчить. Все стало для него теперь мрачным, безутешным, и сердце его словно оледенело в груди.

Это были самые ужасные минуты из всего того, что он пережил со времени своего преступления. Он увидел смерть во всей ее неприглядности. Все призраки душевного величия и благородства рассеялись, как облако от налетевшей бури.

Несколько часов длилось это ужасное состояние. Когда душа отравлена, ее лечат физическим воздействием и шампанским. Но Жюльен счел бы себя низким трусом, если бы прибегнул к подобного рода средствам. На исходе этого ужасного дня, в течение которого он непрерывно метался взад и вперед по своей тесной башне, он вдруг воскликнул:

— Ах, какой же я дурак! Ведь если бы мне предстояло умереть, как всякому другому, тогда, конечно, вид этого несчастного старика мог бы привести меня в такое невыносимое уныние. Но смерть мгновенная и в цвете лет — она как раз и избавляет меня от этого жалкого разрушения.

Однако, несмотря на все это здравомыслие, Жюльен чувствовал, что он ослабел, что он проявил малодушие, и потому-то его так и расстроило это посещение.

В нем теперь уж не было никакой суровости, ничего величественного, никаких римских добродетелей. Смерть царила где-то на большой высоте, и не такая уж это была легкая вещь.

«Вот это будет мой термометр,— сказал он себе.— Сегодня вечером я на десять градусов ниже того мужества, с каким следует идти на гильотину. А сегодня утром мое мужество было на надлежащем уровне. А в общем, не все ль равно? Лишь бы оно вернулось ко мне в нужную минуту». Эта мысль

о термометре несколько развлекла его и в конце концов рассеяла его мрачное настроение.

Когда он на другой день проснулся, ему было стыдно вспоминать вчерашний день. «Мое счастье и спокойствие под угрозой». Он даже решил написать главному прокурору, чтобы к нему никого не допускали. «А Фуке? — подумал он.— Если он вздумает приехать сюда, в Безансон, как это его огорчит!»

Наверно, он месяца два уже не вспоминал о Фуке. «Каким глуцом я был в Страсбурге! Мои мысли не поднимались выше воротника на моем мундире». Воспоминание о Фуке надолго заняло его, и он опять расчувствовался. Он в волнении шагал из угла в угол. «Ну вот, я и опустился уже на двадцать градусов ниже уровня смерти... Если моя слабость будет расти, лучше уж покончить с собой. Как будут торжествовать все эти аббаты Малоны и господа Вально, если я умру слюнтяем!»

Приехал Фуке; этот добрый, простодушный человек не помнил себя от горя. Он только об одном и толковал: продать все свое имущество, подкупить тюремщика и устроить Жюльену побег. Он долго говорил о бегстве г-на де Лавалета.

— Ты меня огорчаешь,— сказал ему Жюльен.— Господин де Лавалет был невинен, а я виновен. Ты, сам того не желая, заставляешь меня думать об этом различии... Но что это ты говоришь? Неужели? Ты готов продать все свое имущество? — удивился Жюльен, вдруг снова обретая всю свою наблюдательность и недоверчивость.

Фуке, обрадовавшись, что наконец-то его друг откликнулся на его замечательную идею, начал подробно высчитывать с точностью чуть ли не до каждой сотни франков, сколько он может выручить за каждый из своих участков.

«Какое изумительное самоотвержение для деревенского собственника! — думал Жюльен.— Сколько скопидомства, бережливости, чуть ли не мелкого скряжничества, которое заставляло меня краснеть, когда я замечал это за ним, и всем этим он жертвует для меня! Конечно, у блестящих молодых людей, читающих «Рене», которых я встречал в особняке де Ла-Моля, нет его смешных недостатков, но, за исключением разве каких-нибудь совершенных юнцов, неожиданно разбогатевших благодаря какому-нибудь наследству и еще не знающих цены деньгам, кто из этих блестящих парижан способен на такое самопожертвование?»

Все ошибки речи, неотесанные манеры Фуке — все исчезло для него, и Жюльен бросился обнимать друга. Никогда еще провинция, при сравнении с Парижем, не удостоивалась такого высокого предпочтения. Фуке, в восторге от того чувства, которое он прочел в глазах Жюльена, принял его за согласие бежать...

Это проявление *величия* вернуло Жюльену всю твердость духа, которой лишило его посещение г-на Шелана. Он был еще очень молод, но, по-моему, в нем было заложено много хорошего. Вместо того, чтобы перейти от чувствительности к хитрости, как это случается с громадным большинством людей, он постепенно обрел бы с годами истинно отзывчивую доброту и излечился бы от своей безумной подозрительности. А впрочем, к чему эти праздные предсказания?

Допросы участились вопреки всем усилиям Жюльена, который своими показаниями всячески старался сократить эту волокиту.

— Я убил или, во всяком случае, пытался убить преднамеренно,— повторял он каждый день.

Но судья его был прежде всего формалистом. Показания Жюльена отнюдь не сокращали допросов; они задевали самолюбие судьи. Жюльен не знал, что его хотели перевести в ужасное узилище и что только благодаря стараниям Фуке он остался в этой славной комнатке, помещавшейся на высоте ста восьмидесяти ступеней.

Господин аббат де Фрилер принадлежал к числу тех влиятельных лиц, которым Фуке поставлял дрова на топливо. Добрый лесоторговец приложил все старания, чтобы проникнуть к всесильному старшему викарию. Радость его была неописуема, когда г-н де Фрилер объявил ему, что, помня добрые качества Жюльена и услуги, которые он когда-то оказал семинарии, он постарается расположить судей в его пользу. У Фуке появилась надежда на спасение друга; уходя, он кланялся чуть ли не до земли и просил г-на старшего викария принять и раздать на служение месс небольшую сумму в десять луидоров, дабы вымолить оправдание обвиняемому.

Фуке пребывал в странном заблуждении. Г-н де Фрилер был отнюдь не чета Вально. Он отказался взять его луидоры и даже пытался дать понять простаку-крестьянину, что ему лучше попридержать свои денежки. Видя, что ему никак нельзя этого втолковать, без того чтобы не допустить какой-нибудь неосторожности, он посоветовал Фуке раздать эти деньги беднякам-заключенным, которые действительно были лишены всего.

«Престранное существо этот Жюльен,— раздумывал г-н де Фрилер.— Поступок его поистине необъясним, а для меня таких вещей не должно быть. Может быть, его можно будет изобразить мучеником... Во всяком случае, я найду концы, дознаюсь, в чем тут дело, и, кстати, мне может подвернуться случай припугнуть эту госпожу де Реналь, которая не питает к нам ни малейшего уважения и, в сущности, терпеть меня не может. А попутно мне, может быть, удастся найти путь к блистательному примирению с господином де Ла-Молем, у которого явная слабость к этому семинаристу».

Мировая по тяжбе была подписана несколько недель тому назад, и аббат Пирар, уезжая из Безансона, не упустил случая обронить несколько слов насчет таинственного происхождения Жюльена; это было как раз в тот самый день, когда несчастный покушался убить г-жу де Реналь в верьерской церкви.

Жюльен опасался теперь только одной неприятности перед смертью — посещения отца. Он посоветовался с Фуке, не написать ли ему прокурору, чтобы его избавили от посетителей. Этот ужас перед встречей с родным отцом, да еще в такую минуту, глубоко возмутил честную мещанскую натуру лесоторговца.

Ему даже показалось, что теперь он понимает, почему столько людей искренне ненавидят его друга. Но из уважения к его несчастью он скрыл свои мысли.

— Уж во всяком случае,— холодно заметил он Жюльену,— этот приказ о недопущении свиданий не может коснуться твоего отца.

XXXVIII

МОГУЩЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Но какое загадочное поведение!
Какая благородная осанка! Кто бы
это мог быть?

Шиллер.

На другой день ранним утром дверь башни отворилась. Жюльен был разбужен внезапно.

«О, боже милостивый! Это отец,— подумал он.— Какая неприятность!»

В тот же миг женщина в платье простолюдинки бросилась ему на грудь. Он с трудом узнал ее. Это была м-ль де Ла-Моль.

— Ах, злюка! Я только из твоего письма узнала, где ты. То, что ты называешь преступлением, это только благородная месть, которая показывает, какое возвышенное сердце бьется в твоей груди,— так вот я узнала об этом только в Верьере...

Несмотря на предубеждение против м-ль де Ла-Моль, в котором он, впрочем, и сам себе не вполне признавался, она показалась Жюльену прелестной. Да и как не увидеть было во всех ее поступках и речах подлинно благородное, бескорыстное чувство, настолько превосходящее все то, на что способна была бы отважиться мелкая, заурядная душонка? Ему снова показалось, что он любит королеву, и через несколько минут, настроившись как нельзя более возвышенно, он обратился к ней в самых изысканных выражениях:

— Будущее представлялось мне вполне ясно. Я полагал, что после моей смерти вы сочетаетесь браком с господином де Круазенуа, который женился бы на вдове. Благородная, хоть несколько взбалмошная душа прелестной вдовы, потрясенная и обращенная на путь жизненного благоразумия необычайным событием, знаменательным для нее и трагическим, соизволит признать подлинные достоинства молодого маркиза. Вы примиритесь с уделом быть счастливой тем, что все признают за счастье,— почетом, богатством, положением... Но, дорогая моя Матильда, ваш приезд в Безансон, если только он как-нибудь обнаружится, будет смертельным ударом для господина де Ла-Моля, а этого я себе никогда не прощу. Я и так причинил ему много горя! Ваш академик не преминет сказать, что господин маркиз пригрел на своей груди змею.

— Признаюсь, я совсем не ожидала такой холодной рассудительности и таких забот о будущем,— полусердито сказала м-ль де Ла-Моль.— Моя горничная, почти такая же осмотрительная, как вы, взяла паспорт на свое имя, и я приехала сюда в почтовой карете под именем госпожи Мишле.

— И госпоже Мишле удалось так легко проникнуть ко мне!

— Ах, ты все тот же удивительный человек, кого я предпочла всем. Ну так вот, я сразу сунула сто франков судейскому, который уверял, что меня никак не пропустят в эту башню. Но, получив деньги, этот честный человек заставил меня ждать, начал придумывать всякие препятствия, я даже подумала, что он просто хочет обмануть меня...— Она остановилась.

— Ну и что же? — сказал Жюльен.

— Не сердись, пожалуйста, милый мой Жюльен,— сказала она, обнимая его.— Мне пришлось назвать себя этому секретарю, который принял меня за молоденькую парижскую работницу, влюбленную в красавца Жюльена... Нет, правда, он так именно и выразился. Я поклялась ему, что я твоя жена, и теперь я получу разрешение видеть тебя каждый день.

«Сущее безумие,— подумал Жюльен.— Но разве я могу этому помешать? В конце концов господин де Ла-Моль такой важный сановник, что общественное мнение сумеет найти оправдание для молодого полковника, который женится на этой прелестной вдовушке. Смерть моя скоро покроет все». И он с упоением отдался пылкой любви Матильды; тут было и безумие и величие души — все, что только можно вообразить самого необычайного. Она совершенно серьезно предложила ему покончить вместе самоубийством.

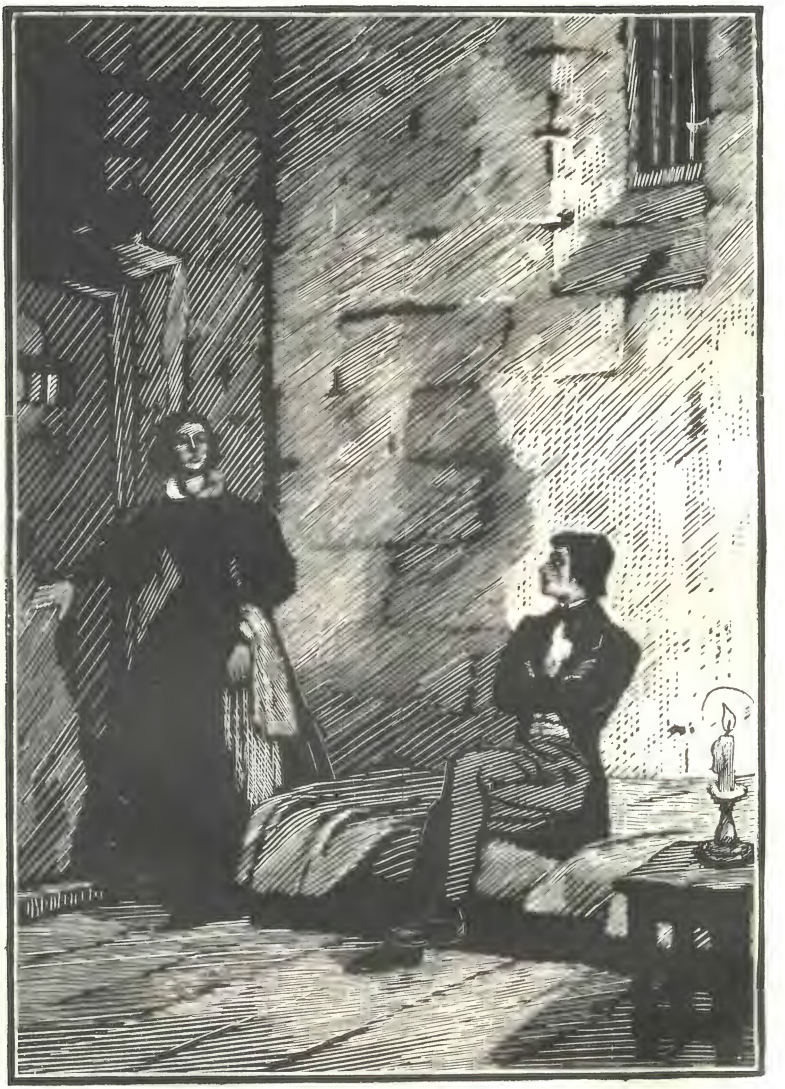
После первых восторгов, после того, как она досыта насладилась счастьем видеть Жюльена, острое любопытство внезапно овладело ее душой. Она приглядывалась к своему возлюбленному и находила, что он неизмеримо выше, чем она себе представляла до сих пор. Ей казалось, что она видит воскресшего Бонифаса де Ла-Моля, но только еще более героического.

Матильда побывала у лучших местных адвокатов и с самого начала обидела их тем, что сразу, безо всяких церемоний, предложила им деньги; но в конце концов деньги они приняли.

Она быстро уразумела, что в отношении всяких трудно разрешимых и вместе с тем весьма важных вопросов здесь, в Безансоне, все решительно зависит от аббата де Фрилера.

Оказалось, что под никому не ведомым именем госпожи Мишле проникнуть к всемогущему иезуиту мешают совершенно непреодолимые препятствия. Но по городу разнеслась молва о красоте юной модистки, которая, потеряв голову от любви, явилась из Парижа в Безансон утешать молодого аббата Жюльена.

Матильда носилась туда и сюда, пешком, без провожатых, по безансонским улицам; она надеялась, что ее никто не узнает. Но как бы там ни было, произвести сильное впечатление на народ казалось ей небесполезным для дела. Ее безумие доходило до того, что она уже видела, как по ее призыву народ



поднимает восстание, чтобы спасти Жюльена, идущего на казнь. М-ль де Ла-Моль казалось, что она одета очень просто, как подобает одеваться женщине в горе, в действительности же она была одета так, что не было человека, который бы не глазел на нее.

Она уже стала в Безансоне предметом всеобщего внимания, когда наконец, после недельных хлопот, ей удалось добиться приема у г-на де Фрилера.

Как ни отважна она была, но мысль о могущественном иезуите так тесно связывалась в ее представлении с темным, непостижимым злодейством, что ее охватила невольная дрожь, когда она позвонила у дверей епископского подворья. Она поднялась по лестнице, которая вела в покои старшего викария. Мороз пробегал у нее по коже. Пустынная уединенность епископского дворца пронизывала ее холодом. «Вот я приду, сяду в кресло, а оно стиснет меня сзади за локти, и я исчезну. У кого тогда моя горничная будет справляться обо мне? Жандармский начальник поостережется и пальцем двинуть... Я здесь одна-одинешенька в этом большом городе!»

Но при первом же взгляде на апартаменты старшего викария м-ль де Ла-Моль успокоилась. Прежде всего дверь ей отворил лакей в роскошной ливрее. Гостиная, где ее попросили подождать, была обставлена с таким изысканным вкусом и тонким изяществом, резко отличающимся от грубой показной пышности, что, пожалуй, и в Париже только в самых лучших домах можно было встретить нечто подобное. Едва только она увидела г-на де Фрилера, который вышел к ней с отеческим видом, все ее мысли о чудовищном злодействе сразу исчезли. Она не обнаружила на этом красивом лице ни следа той энергичной и несколько грубой решимости, которую так ненавидят в парижских салонах. Приветливая полуулыбка, оживлявшая черты викария, заправлявшего всем в Безансоне, изобличала человека из хорошего общества, образованного прелата, распорядительного начальника. Матильда почувствовала себя в Париже.

Господину де Фрилеру потребовалось всего несколько секунд, чтобы заставить Матильду признаться, что она не кто иная, как дочь его могущественного противника, маркиза де Ла-Моля.

— Да, в самом деле, я не госпожа Мишле,— сказала она, снова обретая все свое высокомерие, столь свойственное ее манере держаться,— и я не опасаюсь признаться вам в

этом, ибо я явилась к вам посоветоваться, сударь, о возможности устроить побег господину де Ла-Верне. Во-первых, если он в чем-либо и виновен, так только в опрометчивости: женщина, в которую он стрелял, уже поправилась. Во-вторых, что касается подкупа младших чиновников, я могу предоставить на это сейчас же пятьдесят тысяч франков и обязуюсь дать еще столько же. И, наконец, как я, так и мои родные, мы постараемся выразить нашу признательность и не остановимся ни перед чем, чтобы отблагодарить человека, который спасет господина де Ла-Верне.

Господин де Фрилер, по-видимому, был удивлен, услышав это имя. Матильда показала ему несколько писем военного министра, адресованных на имя г-на Жюльена Сореля де Ла-Верне.

— Вы сами видите, сударь, что отец мой взялся устроить его судьбу. Все это объясняется очень просто: мы обвенчались тайно, и отец хотел, чтобы он состоял в рядах высшего офицерства, прежде чем огласить этот брак, который мог бы показаться несколько удивительным для дочери де Ла-Моля.

Тут Матильда заметила, что, по мере того как г-н де Фрилер делал эти столь важные открытия, выражение доброты и мягкой приветливости на его лице быстро улетучивалось. Хитрость и затаенное коварство проступили в его чертах.

Аббатом овладевали какие-то сомнения; он медленно перечитывал официальные документы.

«Какую пользу можно извлечь из этих необычайных признаний? — раздумывал он.— У меня неожиданно завязывается тесная связь с приятельницей знаменитой маршальши де Фервак, всесильной племянницы монсеньера епископа ...ского, из рук которого получают епископский жезл во Франции.

То, на что я мог рассчитывать только в далеком будущем, внезапно оказывается совсем рядом. Ведь это может привести к осуществлению всех моих желаний».

Сначала Матильда испугалась, увидев, как внезапно переменился в лице этот могущественный человек, с которым она находилась наедине, в отдаленном покое. «Ну и что ж! — сказала она себе в следующее мгновение.— Ведь хуже всего было бы, если бы я не произвела ни малейшего впечатления на эту холодную, эгоистическую натуру попа, пресыщенного могуществом и всеми благами».

Ослепленный этой неожиданно представшей перед ним возможностью получить епископский жезл, пораженный умом

Матильды, г-н де Фрилер забыл на миг всякую осторожность. Матильда видела, что он чуть ли не пресмыкается перед ней; честолюбие, обуявшее его, сделало его суетливым: он весь дрожал нервной дрожью.

«Все теперь ясно,— решила она про себя.— Здесь не будет решительно ничего невозможного для подруги госпожи де Фервак». И как ни трудно ей было подавить мучительное чувство ревности, все еще терзавшее ее, она нашла в себе мужество сказать викарию, что Жюльен был близким другом маршальши и встречался у нее чуть не каждый день с монсеньером епископом ...ским.

— Если бы даже список из тридцати шести присяжных составляли по жребию четыре или пять раз подряд из почетных граждан нашего департамента,— промолвил старший викарий, устремив на нее взгляд, полный самого алчного честолюбия, и многозначительно подчеркивая каждое слово,— я должен был бы признать себя поистине незадачливым, если бы не насчитал среди участвующих в жеребьевке восьми или десяти друзей, и при этом самых смышленых из всего списка. За мной почти всегда будет большинство, и даже больше того, чем требуется для вынесения приговора. Итак, вы сами можете судить, мадемуазель, что для меня не составит никаких затруднений добиться оправдания...

Аббат вдруг остановился, словно пораженный звуком собственных слов. Он признавался в таких вещах, о которых никогда не следует заикаться перед непосвященными.

Но и он, в свою очередь, поразил Матильду, рассказав ей, что в этой необычайной истории Жюльена безансонское общество было больше всего удивлено и заинтересовано тем, что он когда-то был предметом пылкой привязанности г-жи де Реналь и отвечал ей взаимностью в течение довольно долгого времени. Г-ну де Фрилеру нетрудно было заметить, что его рассказ произвел ошеломляющее впечатление. «Вот когда я отыгрался! — подумал он.— Во всяком случае, у меня теперь есть средство припугнуть эту юную своенравную особу; я боялся, что мне это не удастся». Величественный вид Матильды, ее манера держаться, изобличающая отнюдь не смиренный характер, еще усиливали в его глазах очарование этой изумительной красавицы, глядевшей на него сейчас чуть ли не с мольбой. Он снова обрел все свое хладнокровие и, не задумываясь, повернул кинжал в сердце своей жертвы.

— Признаться, я даже не удивлюсь,— заметил он как бы вскользь,— если мы услышим, что это из ревности господин Сорель выстрелил дважды из пистолета в женщину, которую когда-то так любил. Она отнюдь не лишена привлекательности, а с некоторых пор она очень часто виделась с неким аббатом Маркино из Дижона: он чуть ли не янсенист, человек безнравственный, как и все они.

Господин де Фрилер дал себе волю и с наслаждением терзал сердце этой красивой молодой девушки, нащупав ее слабую струну.

— Зачем понадобилось господину Сорелю,— говорил он, устремив на Матильду пылающий взор,— выбрать для этого церковь, если не ради того, что в это самое время соперник его совершал там богослужение. Все считают, что счастливец, которому вы покровительствуете, исключительно умный, более того, на редкость осторожный человек. Казалось бы, чего проще было спрятаться в саду господина де Реналя, где ему так хорошо знаком каждый уголок; ведь там почти наверняка никто бы его не увидел, не схватил, не заподозрил, и он преспокойно мог бы убить эту женщину, которую он так ревновал.

Это рассуждение, по всей видимости, столь правильное, совершенно расстроило Матильду; она потеряла всякую власть над собой. Гордой душе, но уже успевшей впитать в себя все то черствое благоразумие, которое в большом свете стремится искусно подражать человеческому сердцу, не так-то легко постигнуть, какую радость доставляет человеку пренебречь всяким благоразумием и как сильно может быть такое чувство в пылкой душе. В высших слоях парижского света, где протекала жизнь Матильды, никакое чувство, за очень редким исключением, не способно отрешиться от благоразумия,— ведь из окна бросаются только с шестого этажа.

Наконец аббат Фрилер убедился в том, что он держит Матильду в руках. Он дал ей понять (разумеется, он лгал), что у него есть возможность воздействовать на прокурора, который будет выступать обвинителем Жюльена.

А когда будут назначены тридцать шесть присяжных судебной сессии, он самолично поговорит, по крайней мере, с тридцатью из них.

Если бы Матильда не показалась г-ну де Фрилеру такой обворожительной, ей бы пришлось ходить к нему раз пять или шесть, прежде чем он снизошел бы до столь откровенного разговора.

XXXIX

ИНТРИГА

Кастр. 1676.— В соседнем доме брат убил сестру; сей дворянин уже и ранее был повинен в убийстве. Отец его роздал тайно пятьсот экю советникам и этим спас ему жизнь.

Локк. «Путешествие во Францию»

Выйдя из епископского подворья, Матильда, не задумываясь, послала нарочного к г-же де Фервак; боязнь скомпрометировать себя не остановила ее ни на секунду. Она умоляла соперницу заручиться от монсеньера епископа ...ского написанным им собственноручно письмом на имя аббата де Фрилера. Она дошла до того, что умоляла ее самое приехать в Безансон — поступок поистине героический для этой ревнивой и гордой души.

По совету Фуке она остереглась рассказывать о своих хлопотах Жюльену. Ее присутствие и без того доставляло ему немало беспокойства. Близость смерти сделала его таким щепетильным, каким он никогда не был в жизни, и его теперь мучили угрызения совести не только по отношению к г-ну де Ла-Молю, но и по отношению к самой Матильде.

«Да как же это так! — говорил он себе.— Я ловлю себя на том, что невнимателен к ней и даже скучаю, когда она здесь. Она губит себя ради меня, и вот как я отплачиваю ей! Неужели я просто злой человек?» Этот вопрос очень мало занимал его, когда он был честолюбцем: не добиться успеха — вот единственное, что считалось тогда постыдным в его глазах.

Тягостная неловкость, которую он испытывал в присутствии Матильды, усугублялась еще и тем, что она сейчас пылала к нему какой-то необычайной, неистовой любовью. Она только и говорила, что о всяких невообразимых жертвах, на которые она пойдет для того, чтобы его спасти.

Воодушевленная чувством, которое наполняло ее гордостью и подавляло все ее природное высокомерие, она стремилась отметить каждое мгновение своей жизни каким-нибудь необыкновенным поступком. Все ее долгие разговоры с Жюльеном были сплошь посвящены самым невероятным и как нельзя более рискованным для нее проектам. Тюремщики, которым она щедро платила, предоставляли ей полновластно

распоряжаться в тюрьме. Фантазии Матильды не ограничивались тем, что она жертвовала своей репутацией; пусть ее история станет известна всему свету,— ей было все равно. Вымолить на коленях помилование Жюльену, бросившись перед мчащейся во весь опор каретой короля, привлечь внимание монарха, рискуя тысячу раз быть раздавленной,— это была одна из наименее сумасшедших выдумок, которыми увлекалось ее безудержное, пылкое воображение. Она не сомневалась, что с помощью своих друзей, состоявших при особе короля, она сможет проникнуть в запретную часть парка Сен-Клу.

Жюльен чувствовал себя недостойным такой самоотверженной привязанности, и, по правде сказать, ему было невмоготу от всего этого героизма. Будь это простая нежность, наивная, почти боязливая, она бы нашла у него отклик, тогда как здесь было как раз наоборот: надменной душе Матильды воображение всегда рисовало аудиторию, *посторонних*...

Среди всех ее мучительных волнений и страхов за жизнь своего возлюбленного, которого она не мыслила пережить, Жюльен угадывал в ней тайную потребность поразить мир своей необыкновенной любовью, величием своих поступков.

Жюльен негодовал на себя за то, что его совсем не трогает весь этот героизм. Что было бы, если бы он узнал о всех безумствах, которыми Матильда донимала преданного, но весьма рассудительного и трезвого добряка Фуке.

Тот и сам не понимал, что, собственно, его раздражает в этой преданности Матильды; потому что ведь и он тоже готов был пожертвовать всем своим состоянием и пойти на любую опасность, лишь бы спасти Жюльена. Он был совершенно потрясен огромным количеством золота, которое разбрасывала Матильда. В первые дни эти столь щедро расточаемые суммы внушали невольное уважение Фуке, который относился к деньгам со всем благоговением провинциала.

Наконец он сделал открытие, что проекты м-ль де Ла-Моль меняются, что ни день, и, к великому своему облегчению, нашел словцо для порицания этого столь обременительного для него характера: она была *непоседа*. А от этого эпитета до репутации *шалая* — а уж хуже клички нет в провинции — всего один шаг.

«Как странно,— говорил себе однажды Жюльен после ухода Матильды,— что такая пылкая любовь, предметом которой я являюсь, оставляет меня до такой степени безразличным. Я не раз читал, что с приближением смерти человек теряет интерес ко всему; но как ужасно чувствовать себя неблаго-

дарным и не быть в состоянии перемениться! Значит, я эгоист?» И он осыпал себя самыми жестокими упреками.

Честолюбие умерло в его сердце, и из праха его появилось новое чувство; он называл его раскаянием в том, что он пытался убить г-жу де Реналь.

На самом же деле он был в нее без памяти влюблен. Его охватывало неизъяснимое чувство, когда, оставшись один и не опасаясь, что ему помешают, он всей душой погружался в воспоминания о счастливых днях, которые он пережил в Верьере или в Вержи. Все самые маленькие происшествия той поры, которая промелькнула так быстро, дышали для него свежестью и очарованием. Он никогда не вспоминал о своих успехах в Париже, ему скучно было думать об этом.

Это его душевное состояние, усиливавшееся с каждым днем, было до некоторой степени разгадано ревностью Матильды. Она видела, что ей приходится бороться с его стремлением к одиночеству. Иногда она с ужасом произносила имя г-жи де Реналь. Она замечала, как Жюльен вздрагивал. И ее страстное чувство к нему разгоралось сильней, для него уже не существовало пределов.

«Если он умрет, я умру вслед за ним,— говорила она себе с полным убеждением.— Что сказали бы в парижских гостиных, если бы увидели, что девушка моего круга до такой степени боготворит своего возлюбленного, осужденного на смерть? Только в героические времена можно найти подобные чувства. Да, такой вот любовью пылали сердца во времена Карла IX и Генриха III».

В минуты самой пылкой нежности, прижимая к груди своей голову Жюльена, она с ужасом говорила себе: «Как! Эта прелестная голова обречена пасть? Ну что ж! — прибавляла она, пылая героизмом, не лишенным радости.— Если так, то не пройдет и суток — и мои губы, что прижимаются сейчас к этим красивым кудрям, остынут навеки».

Воспоминания об этих порывах героизма и исступленной страсти держали ее в каком-то неодолимом плену. Мысль о самоубийстве, столь заманчивая сама по себе, но доныне неведомая этой высокомерной душе, теперь проникла в нее, завладев ею безраздельно.

«Нет, кровь моих предков не охладела во мне»,— с гордостью говорила себе Матильда.

— У меня есть к вам просьба,— сказал однажды ее возлюбленный,— отдайте вашего ребенка какой-нибудь кормилице в Верьере, а госпожа де Реналь присмотрит за кормилицей.

— Как это жестоко, то, что вы мне говорите...— И Матильда побледнела.

— Да, правда, прости меня, я бесконечно виноват перед тобой! — воскликнул Жюльен, очнувшись от забытья и сжимая Матильду в объятиях.

Но после того, как ему удалось успокоить ее и она перестала плакать, он снова вернулся к той же мысли, но на этот раз более осмотрительно. Он заговорил с оттенком философической грусти. Он говорил о будущем, которое вот-вот должно было оборваться для него.

— Надо сознаться, дорогая, что любовь — это просто случайность в жизни, но такая случайность возможна только для высокой души. Смерть моего сына была бы, в сущности, счастьем для вашей фамильной гордости, и вся ваша челядь отлично это поймет. Всеобщее пренебрежение — вот участь, которая ожидает этого ребенка, плод несчастья и позора... Я надеюсь, что придет время,— не берусь предсказывать, когда это произойдет, но мужество мое это предвидит,— вы исполните мою последнюю волю и выйдете замуж за маркиза де Круазенуа.

— Как! Я, обесчещенная?

— Клеймо бесчестия не пристанет к такому имени, как ваше. Вы будете вдовой, и вдовой безумца, вот и все. Я даже скажу больше: мое преступление, в котором отнюдь не замешаны денежные расчеты, не будет считаться столь уж позорным. Быть может, к тому времени какой-нибудь философ-законодатель добьется, вопреки предрассудкам своих современников, отмены смертной казни. И вот тогда какой-нибудь дружеский голос при случае скажет: «А помните, первый супруг мадемуазель де Ла-Моль?.. Конечно, он был безумец, но он вовсе не был злодеем или извергом. Поистине это была нелепость — отрубить ему голову...» И тогда память обо мне совсем не будет позорной, по крайней мере, через некоторое время... Ваше положение в свете, ваше состояние и — позвольте вам это сказать — ваш ум дадут возможность господину де Круазенуа, если он станет вашим супругом, играть такую роль, какой он никогда бы не добился сам. Ведь, кроме знатного происхождения и храбрости, он ничем не отличается, а эти качества, с которыми можно было преуспевать в тысяча семьсот двадцать девятом году — ибо тогда это было все,— теперь, век спустя, считаются просто анахронизмом и только побуждают человека ко всяческим надеждам. Надо иметь еще кое-что за душой, чтобы стоять во главе французской молодежи.

Вы, с вашим предприимчивым и твердым характером, будете оказывать поддержку той политической партии, в которую заставите войти вашего супруга. Вы сможете стать достойной преемницей госпожи де Шеврез или госпожи де Лонгвиль, что действовали во времена Фронды... Но к тому времени, дорогая моя, божественный пыл, который сейчас одушевляет вас, несколько охладеет.

— Позвольте мне сказать вам,— прибавил он после целого ряда разных подготовительных фраз,— что пройдет пятнадцать лет, и эта любовь, которую вы сейчас питаете ко мне, будет казаться вам сумасбродством, простительным, быть может, но все же сумасбродством.

Он вдруг замолчал и задумался. Им снова завладела та же мысль, которая так возмутила Матильду: «Пройдет пятнадцать лет, и госпожа де Реналь будет обожать моего сына, а вы его забудете».

XL

СПОКОЙСТВИЕ

> Вот потому-то, что я тогда был безумцем, я стал мудрым ныне. О ты, философ, не умеющий видеть ничего за пределами мгновенья, сколь беден твой кругозор! Глаз твой не способен наблюдать сокровенную работу незримых человеческих страстей.
>
> *Гете.*

Их разговор был прерван допросом и тотчас же вслед за ним беседой с адвокатом, которому была поручена защита. Эти моменты были единственной неприятностью в жизни Жюльена, полной беспечности и нежных воспоминаний.

— Это убийство, и убийство с заранее обдуманным намерением,— повторял он и следователю и адвокату.— Я очень сожалею, господа,— прибавил он, улыбаясь,— но, по крайней мере, у вас не будет никаких хлопот.

«В конце концов,— сказал себе Жюльен, когда ему удалось отделаться от этих субъектов,— я, надо полагать, храбрый человек, и уж, разумеется, храбрее этих двоих. Для них это предел несчастья, *вершина ужасов* — этакий поединок со смертельным исходом, но займусь я им всерьез только в тот день, когда он произойдет».

«Дело в том, что я знавал и бóльшие несчастья,— продолжал философствовать Жюльен.— Я страдал куда больше во время моей первой поездки в Страсбург, когда я был уверен, что Матильда покинула меня... И подумать только, как страстно я домогался тогда этой близости, которая меня сейчас мало волнует! Сказать по правде, я себя чувствую гораздо счастливее наедине с собой, чем когда эта красавица разделяет со мной мое одиночество».

Адвокат, законник и формалист, считал его сумасшедшим и присоединялся к общему мнению, что он схватился за пистолет в припадке ревности. Однажды он отважился намекнуть Жюльену, что такое показание, соответствует оно истине или нет, было бы превосходной опорой для защиты. Но тут подсудимый мгновенно выказал всю свою запальчивую и нетерпеливую натуру.

— Если вы дорожите жизнью, сударь,— вскричал Жюльен вне себя,— то берегитесь и оставьте это раз навсегда, не повторяйте этой чудовищной лжи!

Осторожный адвокат на секунду струхнул: а ну-ка, он его сейчас задушит?

Адвокат готовил свою защитительную речь, ибо решительная минута приближалась. В Безансоне, как и во всем департаменте, только и было разговоров, что о предстоящем процессе. Жюльен ничего этого не знал; он раз навсегда просил избавить его от подобного рода рассказов.

В этот день Фуке с Матильдой сделали попытку сообщить ему кое-какие слухи, по их мнению, весьма обнадеживающие. Жюльен остановил их с первых же слов:

— Дайте мне жить моей идеальной жизнью. Все эти ваши мелкие дрязги, ваши рассказы о житейской действительности, более или менее оскорбительные для моего самолюбия, только и могут что заставить меня упасть с неба на землю. Всякий умирает, как может, вот и я хочу думать о смерти на свой собственный лад. Какое мне дело до *других*? Мои отношения с *другими* скоро прервутся навсегда. Умоляю вас, не говорите мне больше об этих людях: довольно с меня и того, что мне приходится терпеть следователя и адвоката.

«Видно, в самом деле,— говорил он себе,— так уж мне на роду написано — умереть, мечтая. К чему такому безвестному человеку, как я, который может быть твердо уверен, что через каких-нибудь две недели о нем все забудут, к чему ему, сказать по правде, строить из себя дурака и разыгрывать какую-то комедию?..

А странно все-таки, что я только теперь постигаю искусство радоваться жизни, когда уж совсем близко вижу ее конец».

Он проводил последние дни, шагая по узенькой площадке на самом верху своей башни, куря великолепные сигары, за которыми Матильда посылала нарочного в Голландию, и нимало не подозревая о том, что его появления ждут не дождутся и что все, у кого только есть подзорные трубы, изо дня в день стерегут этот миг. Мысли его витали в Вержи. Он никогда не говорил с Фуке о г-же де Реналь, но раза два-три приятель сообщал ему, что она быстро поправляется, и слова эти заставляли трепетать сердце Жюльена.

Между тем, как душа Жюльена вся целиком почти неизменно пребывала в стране грез, Матильда занималась разными житейскими делами, как это и подобает натуре аристократической, и сумела настолько продвинуть дружественную переписку между г-жой де Фервак и г-ном де Фрилером, что уже великое слово «епископство» было произнесено.

Почтеннейший прелат, в руках которого находился список бенефиций, соизволил сделать собственноручную приписку к письму своей племянницы: «Бедный Сорель просто легкомысленный юноша; я надеюсь, что нам его вернут».

Господин де Фрилер, увидев эти строки, чуть не сошел с ума от радости. Он не сомневался, что ему удастся спасти Жюльена.

— Если бы только не этот якобинский закон, который предписывает составлять бесконечный список присяжных, что, в сущности, преследует лишь одну цель — лишить всякого влияния представителей знати,— говорил он Матильде накануне жеребьевки тридцати шести присяжных на судебную сессию,— я мог бы вам поручиться за приговор. Ведь добился же я оправдания кюре Н.

На другой день г-н де Фрилер с великим удовлетворением обнаружил среди имен, оказавшихся в списке после жеребьевки, пять членов безансонской конгрегации, а в числе лиц, избранных от других городов, имена господ Вально, де Муаро, де Шолена.

— Я хоть сейчас могу поручиться за этих восьмерых,— заявил он Матильде.— Первые пять — это просто *пешки*. Вально — мой агент, Муаро обязан мне решительно всем, а де Шолен — болван, который боится всего на свете.

Департаментская газета сообщила имена присяжных, и г-жа де Реналь, к неописуемому ужасу своего супруга, поже-

лала отправиться в Безансон. Единственное, чего удалось добиться от нее г-ну де Реналю,— это то, что она пообещала ему не вставать с постели, чтобы избегнуть неприятности быть вызванной в суд в качестве свидетельницы.

— Вы не представляете себе моего положения,— говорил бывший мэр Верьера,— я ведь теперь считаюсь либералом из *отпавших,* как у нас выражаются. Можно не сомневаться, что этот прохвост Вально и господин де Фрилер постараются внушить прокурору и судьям обернуть дело так, чтобы напакостить мне как только можно.

Госпожа де Реналь охотно подчинилась требованию своего супруга. «Если я появлюсь на суде,— говорила она себе,— это произведет впечатление, что я требую кары».

Несмотря на все обещания вести себя благоразумно, обещания, данные ею и духовнику и мужу, она, едва только успев приехать в Безансон, тотчас же написала собственноручно каждому из тридцати шести присяжных:

«Я не появлюсь в день суда, сударь, ибо мое присутствие может отразиться неблагоприятно на интересах господина Сореля. Единственно, чего я всем сердцем горячо желаю, это то, чтобы он был оправдан. Поверьте, ужасная мысль, что невинный человек будет из-за меня осужден на смерть, отравит весь остаток моей жизни и, несомненно, сократит ее. Как Вы можете приговорить его к смерти, если я жива! Нет, безусловно, общество не имеет права отнимать жизнь, а тем паче у такого человека, как Жюльен Сорель. Все в Верьере и раньше знали, что на него иногда находит какое-то затмение. У этого несчастного юноши есть могущественные враги, но даже и среди его врагов (а сколько их у него!) найдется ли хоть один, который бы усомнился в его исключительных дарованиях, в его глубочайших знаниях? Человек, которого Вам предстоит судить, сударь,— это незаурядное существо. В течение почти полутора лет мы все знали его как благочестивого, скромного, прилежного юношу, но два-три раза в год у него бывали приступы меланхолии, доходившие чуть ли не до помрачения рассудка. Весь Верьер, все наши соседи в Вержи, где мы проводим лето, вся моя семья и сам господин помощник префекта могут подтвердить его примерное благочестие; он знает наизусть все Священное писание. Разве нечестивец стал бы трудиться целыми годами, чтобы выучить эту святую книгу? Мои сыновья будут иметь честь вручить Вам это письмо; они — дети. Соблаговолите, сударь, спросить их; они Вам расска-

жут об этом злосчастном юноше много всяких подробностей, которые, безусловно, убедят Вас в том, что осудить его было бы жесточайшим варварством. Вы не только не отомстите за меня, Вы и меня лишите жизни.

Что могут его враги противопоставить простому факту? Рана, нанесенная им в состоянии умопомрачения, которое даже и дети мои замечали у своего гувернера, оказалась такой пустячной, что не прошло и двух месяцев, как я уже смогла приехать на почтовых из Верьера в Безансон. Если я узнаю, сударь, что Вы хоть сколько-нибудь колеблетесь пощадить столь мало виновное существо и не карать его бесчеловечным законом, я встану с постели, где меня удерживает исключительно приказание моего мужа, приду к Вам и буду умолять Вас на коленях.

Объявите, сударь, что злоумышление не доказано, и Вам не придется винить себя в том, что Вы пролили невинную кровь...» и так далее, и так далее.

XLI

СУД

> В стране долго будут вспоминать об этом нашумевшем процессе. Интерес к подсудимому возрастал, переходя в настоящее смятение, ибо сколь ни удивительно казалось его преступление, оно не внушало ужаса. Да будь оно даже ужасно, этот юноша был так хорош собой! Его блестящая карьера, прервавшаяся так рано, вызывала к нему живейшее участие. «Неужели он будет осужден?» — допытывались женщины у знакомых мужчин и, бледнея, ждали ответа.
>
> *Сент-Бёв.*

Наконец настал этот день, которого так страшились г-жа де Реналь и Матильда.

Необычный вид города внушал им невольный ужас, и даже мужественная душа Фуке была повергнута в смятение. Вся провинция стеклась в Безансон, чтобы послушать это романическое дело.

Уже за несколько дней в гостиницах не оставалось ни одного свободного угла. Г-на председателя суда осаждали

просьбами о входных билетах. Все городские дамы жаждали присутствовать на суде, на улицах продавали портрет Жюльена, и т. п., и т. п.

Матильда приберегла для этой решительной минуты собственноручное письмо монсеньера епископа ...ского. Этот прелат, который управлял французской церковью и рукополагал епископов, соблаговолил просить об оправдании Жюльена. Накануне суда Матильда отнесла его послание всемогущему старшему викарию.

К концу беседы, когда она уже уходила, вся в слезах, г-н де Фрилер, оставив, наконец, свою дипломатическую сдержанность и чуть ли и сам не растрогавшись, сказал ей:

— Я вам ручаюсь за приговор присяжных: из двенадцати человек, которым поручено решить, повинно ли в преступлении лицо, пользующееся вашим покровительством, а главное, в преступлении с заранее обдуманным намерением, я насчитываю шесть друзей, заинтересованных в моем служебном положении, и я дал им понять, что от них зависит помочь мне достигнуть епископского сана. Барон Вально, которого я сделал мэром Верьера, безусловно, располагает голосами двух своих подчиненных: господ де Муаро и де Шолена. По правде сказать, жребий подкинул нам для этого дела двух весьма неблагонадежных присяжных, но хоть это и ярые либералы, они все же подчиняются мне в серьезных случаях, а я просил их голосовать заодно с господином Вально. Мне известно, что шестой присяжный, очень богатый фабрикант, болтун и либерал, домогается втайне некоей поставки по военному ведомству, и, разумеется, он не захочет вызвать мое неудовольствие. Я велел шепнуть ему, что господин Вально действует по моему указанию.

— А кто такой этот Вально? — с беспокойством спросила Матильда.

— Если бы вы его знали, вы бы не сомневались в успехе. Это такой краснобай, нахальный, бесстыжий, грубый, созданный для того, чтобы вести за собой дураков. В тысяча восемьсот четырнадцатом году он был оборванцем. Я сделаю его префектом. Он способен поколотить своих коллег присяжных, если они не захотят голосовать заодно с ним.

Матильда немного успокоилась.

Вечером ей предстоял еще один разговор. Жюльен решил совсем не выступать на суде, чтобы не затягивать неприятной сцены, исход которой, по его мнению, был совершенно очевиден.

— Довольно и того, что выступит мой адвокат,— заявил он Матильде.— Мне и так слишком долго придется служить зрелищем для всех моих врагов. Все эти провинциалы возмущены моей молниеносной карьерой, которой я обязан только вам. Уверяю вас, среди них нет ни одного, который не желал бы, чтобы меня осудили, что, однако, не помешает им реветь самым дурацким образом, когда меня поведут на смерть.

— Они будут рады вашему унижению — это верно,— сказала Матильда,— но, по-моему, это не от жестокосердия. Мое появление в Безансоне и зрелище моих страданий возбудило сочувствие всех женщин, а ваша интересная внешность довершит остальное. Достаточно вам произнести хотя бы одно слово перед вашими судьями, и весь зал будет за вас...— и так далее, и так далее.

На другой день, в десять часов утра, когда Жюльен вышел из тюрьмы, чтобы отправиться в большой зал здания суда, жандармам пришлось немало потрудиться, чтобы разогнать громадную толпу, теснившуюся во дворе. Жюльен прекрасно выспался, он чувствовал себя совершенно спокойным и не испытывал ничего, кроме философского сострадания к этой толпе завистников, которые без всякой жестокости встретят рукоплесканиями его смертный приговор. Он был крайне изумлен, обнаружив за те четверть часа, когда его вели через толпу, что он внушает этим людям сердечную жалость. Он не слыхал ни одного недоброжелательного слова. «Эти провинциалы вовсе не так злы, как мне казалось»,— подумал он.

Входя в зал судебных заседаний, он поразился изяществу его архитектуры. Это была чистейшая готика, целый лес очаровательных маленьких колонн, с необыкновенной тщательностью выточенных из камня. Ему показалось, что он в Англии.

Но вскоре все внимание его было поглощено множеством хорошеньких женщин, которые сидели на трех балконах, выступавших над местами для судей и присяжных, как раз против скамьи подсудимых. Повернувшись лицом к публике, он увидал, что вся галерея, идущая кругом над амфитеатром, сплошь заполнена женщинами, преимущественно молоденькими и, как ему показалось, очень красивыми; глаза у них блестели, и взгляд их был полон участия. Внизу, в зале, было битком набито, народ ломился в двери, и часовым никак не удавалось водворить тишину.

Когда все эти глаза, жадно искавшие Жюльена, обнаружили его и увидели, как он усаживается на место, отведенное для подсудимого на небольшом возвышении, до него донесся удивленный, сочувственный ропот.

Ему сегодня нельзя было дать и двадцати лет; одет он был очень просто, но с большим изяществом, волосы его и лоб были очаровательны. Матильда сама позаботилась о его туалете. Лицо Жюльена поражало бледностью. Едва он уселся на свою скамью, как со всех сторон послышалось перешептывание: «Боже! Какой молоденький!.. Да ведь это совсем ребенок!.. Он гораздо красивее, чем на портрете!»

— Взгляните, подсудимый,— сказал ему жандарм, сидевший справа от него,— видите вы этих шестерых дам в ложе? — И жандарм показал ему на небольшую нишу, немного выступавшую над той частью амфитеатра, где сидели присяжные.— Вот это супруга господина префекта, а рядом с ней госпожа маркиза де Н.; она очень вам благоволит: я сам слышал, как она говорила со следователем. А за нею — госпожа Дервиль.

— Госпожа Дервиль! — воскликнул Жюльен и вспыхнул до корней волос.

«Как только она выйдет отсюда,— подумал он,— она сейчас же напишет госпоже де Реналь». Он не знал, что г-жа де Реналь приехала в Безансон.

Начался допрос свидетелей. Он длился несколько часов. При первых словах обвинительной речи, с которой выступил генеральный прокурор, две из тех дам, что сидели в маленькой ложе, как раз напротив Жюльена, залились слезами. «Госпожа Дервиль не такая, она не расчувствуется»,— подумал Жюльен; однако он заметил, что лицо у нее пылает.

Генеральный прокурор с величайшим пафосом на скверном французском языке распространялся о варварстве совершенного преступления. Жюльен заметил, что соседки г-жи Дервиль слушают его с явным неодобрением. Некоторые из присяжных, по-видимому, знакомые этих дам, обменивались с ними замечаниями и, видимо, успокаивали их. «Вот это, пожалуй, недурной знак»,— подумал Жюльен.

До сих пор он испытывал только чувство безграничного презрения ко всем этим людям, которые собрались здесь, на суде. Пошлое красноречие прокурора еще усугубило его чувство омерзения. Но мало-помалу душевная сухость Жюльена исчезала, побежденная явным сочувствием, которое он видел со всех сторон.

Он с удовлетворением отметил решительное выражение лица своего защитника. «Только, пожалуйста, без лишних фраз»,— тихонько шепнул он ему, когда тот приготовился взять слово.

— Вся эта выспренность, вытащенная из Боссюэ, которую здесь развернули против вас, пошла вам только на пользу,— сказал адвокат.

И действительно, не прошло и пяти минут после того как он начал свою речь, как почти у всех женщин появились в руках носовые платки. Адвокат, окрыленный этим поощрением, обращался к присяжным чрезвычайно внушительно. Жюльен был потрясен: он чувствовал, что сам вот-вот разразится слезами. «Боже великий! Что скажут мои враги?»

Он уже совсем готов был расчувствоваться, как вдруг, на свое счастье, встретился с нахальным взглядом барона де Вально.

«Глаза этого подхалима так и горят,— сказал он про себя.— Как торжествует эта низкая душонка! Если бы это зрелище было единственным следствием моего преступления, и то я должен был бы проклинать его. Бог знает, чего он только не будет плести обо мне госпоже де Реналь, сидя у них зимними вечерами».

Эта мысль мигом вытеснила все остальные. Но вскоре Жюльен был выведен из своей задумчивости громкими одобрительными возгласами. Адвокат окончил свою речь. Жюльен вспомнил, что полагается пожать ему руку. Время пролетело удивительно быстро.

Адвокату и подсудимому принесли подкрепиться. И тут только Жюльен с крайним изумлением обнаружил одно обстоятельство: ни одна из женщин не покинула зала, чтобы пойти поесть.

— Я, признаться, помираю с голоду,— сказал защитник.— А вы?

— Я тоже,— отвечал Жюльен.

— Смотрите-ка, вот и супруге господина префекта принесли поесть,— сказал адвокат, показывая ему на маленькую ложу.— Мужайтесь: все идет отлично.

Заседание возобновилось.

Когда председатель выступил с заключительным словом, раздался бой часов — било полночь. Председатель вынужден был остановиться; в тишине, среди общего напряженного ожидания, бой часов гулко раздавался на весь зал.

«Вот он, мой последний день наступает»,— подумал Жюльен. И вскоре он почувствовал, как им неудержимо овладевает идея долга. До сих пор он превозмогал себя, не позволял себе расчувствоваться и твердо решил отказаться от последнего слова. Но когда председатель спросил его, не желает ли он что-либо добавить, он встал. Прямо перед собой он видел глаза г-жи Дервиль, которые при вечернем освещении казались ему необычайно блестящими. «Уж не плачет ли она?» — подумал он.

— Господа присяжные!

Страх перед людским презрением, которым, мне казалось, я могу пренебречь в мой смертный час, заставляет меня взять слово. Я отнюдь не имею чести принадлежать к вашему сословию, господа: вы видите перед собой простолюдина, возмутившегося против своего низкого жребия.

Я не прошу у вас никакой милости,— продолжал Жюльен окрепшим голосом.— Я не льщу себя никакими надеждами: меня ждет смерть; она мной заслужена. Я осмелился покуситься на жизнь женщины, достойной всяческого уважения, всяческих похвал. Госпожа де Реналь была для меня все равно что мать. Преступление мое чудовищно, и оно было предумышленно. Итак, я заслужил смерть, господа присяжные. Но будь я и менее виновен, я вижу здесь людей, которые, не задумываясь над тем, что молодость моя заслуживает некоторого сострадания, пожелают наказать и раз навсегда сломить в моем лице эту породу молодых людей низкого происхождения, задавленных нищетой, коим посчастливилось получить хорошее образование, в силу чего они осмелились затесаться в среду, которую высокомерие богачей именует хорошим обществом.

Вот мое преступление, господа, и оно будет наказано с тем большей суровостью, что меня, в сущности, судят отнюдь не равные мне. Я не вижу здесь на скамьях присяжных ни одного разбогатевшего крестьянина, а только одних возмущенных буржуа...

В продолжение двадцати минут Жюльен говорил в том же духе; он высказал все, что у него было на душе. Прокурор, заискивавший перед аристократией, в негодовании подскакивал на своем кресле; и все же, несмотря на несколько отвлеченный характер этого выступления Жюльена, все женщины плакали навзрыд. Даже г-жа Дервиль не отнимала платка от глаз. Перед тем как окончить свою речь, Жюльен еще раз упомянул о своем злоумышлении, о своем раскаянии и о том уважении и безгра-

ничной преданности, которые он когда-то, в более счастливые времена, питал к г-же де Реналь... Г-жа Дервиль вдруг вскрикнула и лишилась чувств.

Пробило час ночи, когда присяжные удалились в свою комнату. Ни одна из женщин не покинула своего места, многие мужчины вытирали глаза. Сначала шли оживленные разговоры, но мало-помалу в этом томительном ожидании решения присяжных усталость давала себя чувствовать, и в зале водворялась тишина. Это были торжественные минуты. Огни люстр уже начинали тускнеть. Жюльен, страшно усталый, слышал, как рядом с ним шел разговор о том, хороший это или дурной признак, что присяжные так долго совещаются. Ему было приятно, что все решительно были за него; присяжные все не возвращались, но тем не менее ни одна женщина не уходила из зала.

Но вот часы пробили два — и сразу вслед за этим послышалось шумное движение. Маленькая дверца комнаты присяжных распахнулась. Г-н барон де Вально торжественно и театрально шествовал впереди, за ним следовали все остальные присяжные. Он откашлялся и затем провозгласил, что присяжные, по правде и совести, приняли единогласное решение, что Жюльен Сорель виновен в убийстве и в убийстве *с заранее обдуманным намерением*. Это решение влекло за собой смертную казнь; приговор был объявлен тотчас же. Жюльен взглянул на свои часы, и ему вспомнился господин де Лавалет; часы показывали четверть третьего. «Сегодня пятница»,— подумал он.

«Да, но это счастливый день для Вально, который посылает меня на казнь... Меня слишком хорошо стерегут, чтобы Матильда могла спасти меня, как это сделала госпожа де Лавалет... Итак, через три дня, в этот самый час, я узнаю, какого мнения следует держаться о *великом «Может быть»*.

Тут он услышал громкий крик, и это вернуло его на землю. Женщины вокруг него рыдали навзрыд; он увидел, что все повернулись лицом к маленькой нише, которая завершала собой венчик готического пилястра. Позже он узнал, что там скрывалась Матильда. Так как крик больше не повторился, все снова обернулись к Жюльену, которого жандармы силились провести через толпу.

«Постараемся не дать повода для зубоскальства этому мошеннику Вально,— подумал Жюльен.— С какой приторной постной рожей объявил он это решение, которое влечет за собой смертную казнь, тогда как даже у этого бедняги, председателя

суда,— а уж он, конечно, не первый год судьей,— и то слезы выступили на глазах, когда он произносил приговор. Какая радость для Вально отомстить мне, наконец, за наше давнее соперничество из-за госпожи де Реналь!.. Так, значит, я ее больше не увижу! Все кончено. Последнее «прости» уж невозможно для нас, я чувствую это... Как я был бы счастлив сказать ей, в каком ужасе я от своего злодейства!

Вот только эти слова: я осужден справедливо».

XLII

Жюльена снова отвели в тюрьму и поместили в каземат, предназначенный для приговоренных к смертной казни. И он, который всегда все замечал вплоть до мельчайших подробностей, на этот раз даже не заметил, что его не повели наверх, в его башню. Он был поглощен мыслью о том, что он скажет г-же де Реналь, если ему выпадет счастье увидеть ее в последнюю минуту. Он думал, что она тут же прервет его. И ему хотелось сказать как-нибудь так, чтобы она с первых же слов поняла его раскаяние. «После такого поступка как убедить ее, что я только ее одну и люблю? Потому что ведь как-никак я все-таки покушался убить ее, то ли из честолюбия, то ли из-за любви к Матильде».

Укладываясь спать, он почувствовал прикосновение грубых холщовых простынь. У него точно открылись глаза. «Ах, да! Ведь я в каземате,— сказал он себе,— для приговоренных к смерти. Справедливо...

Граф Альтамира рассказывал мне, что Дантон накануне смерти говорил своим громовым голосом: «Какая странность, ведь глагол «гильотинировать» нельзя спрягать во всех временах! Можно сказать: я буду гильотинирован, ты будешь гильотинирован, но нельзя сказать: я был гильотинирован».

«А почему бы и нет,— продолжал Жюльен,— если существует загробная жизнь?.. Сказать по правде, если я там встречусь с христианским богом, я пропал,— это деспот, и, как всякий деспот, он весь поглощен мыслями о мщении. Библия только и повествует, что о всяких чудовищных карах. Я никогда не любил его и даже никогда не допускал мысли, что его можно искренне любить. Он безжалостен (Жюльен припомнил некоторые цитаты из Библии). Он расправится со мной самым ужасающим образом...

Но если меня встретит там бог Фенелона! Быть может, он скажет мне: тебе многое простится, потому что ты много любил...

А любил ли я много? Ах, я любил госпожу де Реналь, но я поступал чудовищно. И здесь, как и во всем прочем, я пренебрег качествами простыми и скромными ради какого-то блеска...

Да, но какая будущность открывалась передо мной!.. Гусарский полковник, если бы началась война, а в мирное время — секретарь посольства, затем посол... потому что я бы, конечно, быстро освоился в этих делах... Да будь я даже сущим болваном, разве зять маркиза де Ла-Моля может опасаться какого-либо соперничества? Все мои дурачества простились бы мне или даже были бы поставлены мне в заслугу. И вот я — заслуженная персона и наслаждаюсь роскошной жизнью где-нибудь в Вене или Лондоне...

Изволите ошибаться, сударь: через три дня вам отрубят голову».

Жюльен от души расхохотался над этим неожиданным выпадом своего здравомыслия. «Вот уж поистине в человеке уживаются два существа,— подумал он.— Откуда оно, черт возьми, вылезло, это ехидное замечаньице?»

«Да, верно, дружище, через три дня тебе отрубят голову,— ответил он своему несговорчивому собеседнику.— Господин де Шолен, чтобы поглазеть, снимет окошко пополам с аббатом Малоном. А вот когда им придется платить за это окошко, интересно, кто кого обворует из этих двух достойных особ?»

Внезапно ему пришли на ум строки из «Вячеслава» Ротру:

Владислав:
...Душа моя готова.
Король *(отец Владислава)*:
И плаха также. Неси главу свою.

«Прекрасный ответ!» — подумал он и уснул. Он проснулся утром, почувствовав, что кто-то крепко обхватил его за плечи.

— Как! Уже? — прошептал Жюльен, в испуге открывая глаза: ему показалось, что он уже в руках палача.

Это была Матильда. «На мое счастье, она не поняла, что я подумал». Мысль эта вернула ему все его хладнокровие. Матильда показалась ему сильно изменившейся, точно она полгода болела; ее нельзя было узнать.

— Этот негодяй Фрилер обманул меня! — говорила она, ломая руки.

От ярости она не могла плакать.

— А не правда ли, я был недурен вчера, когда держал речь? — прервал ее Жюльен.— Это у меня так, само собой вышло, первый раз в жизни! Правда, можно опасаться, что это будет и последний.

Жюльен в эту минуту играл на характере Матильды со всем хладнокровием искусного пианиста, властвующего над клавишами...

— Мне, правда, недостает знатного происхождения,— добавил он,— но высокая душа Матильды возвысила до себя своего возлюбленного. Вы думаете, Бонифас де Ла-Моль лучше бы держался перед своими судьями?

Матильда в этот день была нежна безо всякой напыщенности, словно бедная девушка, живущая где-нибудь на шестом этаже; но она не могла добиться от него ни одного простого слова. Он воздавал ей, сам того не зная, теми же самыми мукáми, которым она так часто подвергала его.

«Никому неведомы истоки Нила,— рассуждал сам с собой Жюльен,— никогда оку человеческому не дано было узреть этого царя рек в состоянии простого ручейка. И вот так же никогда глаз человеческий не увидит Жюльена слабым, прежде всего потому, что он отнюдь не таков. Но сердце мое легко растрогать: самое простое слово, если в нем слышится искренность, может заставить голос мой дрогнуть и даже довести меня до слез. И как часто люди с черствою душой презирали меня за этот недостаток! Им казалось, что я прошу пощады, а вот этого-то и нельзя допускать.

Говорят, будто Дантон дрогнул у эшафота, вспомнив о жене. Но Дантон вдохнул силу в этот народ, в этих вертопрахов и не дал неприятелю войти в Париж. А ведь я только один и знаю, что́ бы я мог совершить... Для других я всего-навсего некое *может быть*.

Что, если бы здесь, в этой темнице, со мной была не Матильда, а госпожа де Реналь? Мог бы я отвечать за себя? Мое беспредельное отчаяние, мое раскаяние показались бы Вально, да и всем здешним патрициям подлым страхом перед смертью: ведь они так чванливы, эти жалкие душонки,— доходные местечки ограждают их от всяких соблазнов. «Видите, что значит родиться сыном плотника?» — сказали бы господа Муаро и Шолены, приговорившие меня к смерти. Можно стать ученым, дельцом, но мужеству, мужеству никак не научишься. Даже с этой бедняжкой Матильдой, которая сейчас плачет, или, верней, уж больше не в силах плакать»,— подумал

он, глядя на ее покрасневшие глаза. И он прижал ее к своей груди. Зрелище этого неподдельного горя отвлекло его от всяких умозаключений. «Она, быть может, проплакала сегодня всю ночь,— подумал он,— но пройдет время, и с каким чувством стыда она будет вспоминать об этом! Ей будет казаться, что ее сбили с толку в юности, что она поддалась жалкому, плебейскому образу мыслей... Круазенуа — человек слабый: он, конечно, женится на ней, и, признаться, отлично сделает. Она ему создаст положение

Господством мощного, широкого ума
Над жалкой скудостью обыденных суждений.

Ах, вот действительно забавно: с тех пор как я обречен умереть, все стихи, какие я когда-либо знал в жизни, так и лезут на ум. Не иначе как признак упадка...»

Матильда чуть слышным голосом повторяла ему:

— Он в соседней комнате.

Наконец ее слова дошли до него. «Голос у нее ослаб,— подумал он,— но вся ее властная натура еще чувствуется в ее тоне. Она говорит тихо, чтобы не вспылить».

— А кто там? — мягко спросил он.

— Адвокат, надо подписать апелляцию.

— Я не буду апеллировать.

— Как так! Вы не будете апеллировать? — сказала она, вскакивая и гневно сверкая глазами.— А почему, разрешите узнать?

— Потому что сейчас я чувствую в себе достаточно мужества умереть, не сделав себя посмешищем. А кто может сказать, каково будет мое состояние через два месяца, после долгого сидения в этой дыре? Меня будут донимать попы, явится отец. А хуже этого для меня ничего быть не может. Лучше умереть.

Это непредвиденное сопротивление пробудило всю заносчивость, все высокомерие Матильды. Ей не удалось повидаться с аббатом де Фрилером до того, как стали пускать в каземат, и теперь вся ярость ее обрушилась на Жюльена. Она боготворила его, и, однако, на протяжении пятнадцати минут, пока она осыпала его проклятиями за скверный характер и ругала себя за то, что полюбила его, он снова видел перед собой прежнюю гордячку, которая когда-то так унижала и оскорбляла его в библиотеке особняка де Ла-Моля.

— Для славы вашего рода судьба должна была бы тебе позволить родиться мужчиной,— сказал он.

«Ну, а что до меня,— подумал он,— дурак я буду, если соглашусь прожить еще два месяца в этой отвратительной дыре и подвергаться всяким подлостям и унижениям, какие только способна изобрести аристократическая клика, а единственным утешением будут проклятия этой полоумной... Итак, послезавтра утром я сойдусь на поединке с человеком, хорошо известным своим хладнокровием и замечательной ловкостью... Весьма замечательной,— добавил мефистофельский голос,— он никогда не дает промаха».

«Ну что ж, в добрый час (красноречие Матильды не истощалось). Нет, ни за что,— решил он,— не буду апеллировать».

Приняв это решение, он погрузился в задумчивость... «Почтальон принесет газету, как всегда, в шесть часов, а в восемь, после того как господин де Реналь прочтет ее, Элиза на цыпочках войдет и положит газету ей на постель. Потом она проснется и вдруг, пробегая глазами, вскрикнет, ее прелестная ручка задрожит, она прочтет слова: «В десять часов пять минут его не стало».

Она заплачет горючими слезами, я знаю ее. Пусть я хотел убить ее,— все будет забыто, и эта женщина, у которой я хотел отнять жизнь, будет единственным существом, которое от всего сердца будет оплакивать мою смерть».

«Удачное противопоставление!» — подумал он, и все время, все эти пятнадцать минут, пока Матильда продолжала бранить его, он предавался мыслям о г-же де Реналь. И хотя он даже время от времени и отвечал на то, что ему говорила Матильда, он не в силах был оторваться душой от воспоминаний о спальне в Верьере. Он видел: вот лежит безансонская газета на стеганом одеяле из оранжевой тафты; он видел, как ее судорожно сжимает эта белая-белая рука; видел, как плачет г-жа де Реналь... Он следил взором за каждой слезинкой, катившейся по этому прелестному лицу.

Мадемуазель де Ла-Моль, так ничего и не добившись от Жюльена, позвала адвоката. К счастью, это оказался бывший капитан Итальянской армии, участник походов 1796 года, товарищ Манюэля.

Порядка ради он попытался переубедить осужденного. Жюльен только из уважения к нему подробно изложил все свои доводы.

— Сказать по чести, можно рассуждать и по-вашему,— сказал, выслушав его, г-н Феликс Вано (так звали адвоката).— Но у вас еще целых три дня для подачи апелляции, и мой долг — приходить и уговаривать вас в течение всех этих

трех дней. Если бы за эти два месяца под тюрьмой вдруг открылся вулкан, вы были бы спасены. Да вы можете умереть и от болезни,— добавил он, глядя Жюльену в глаза.

И когда наконец Матильда и адвокат ушли, он чувствовал гораздо больше приязни к адвокату, чем к ней.

XLIII

Час спустя, когда он спал крепким сном, его разбудили чьи-то слезы, они капали ему на руку. «Ах, опять Матильда! — подумал он в полусне.— Вот она пришла, верная своей тактике, надеясь уломать меня при помощи нежных чувств». С тоской предвидя новую сцену в патетическом жанре, он не открывал глаз. Ему припомнились стишки о Бельфегоре, убегающем от жены.

Тут он услыхал какой-то сдавленный вздох; он открыл глаза: это была г-жа де Реналь.

— Ах, так я вижу тебя перед тем, как умереть! Или мне снится это? — воскликнул он, бросаясь к ее ногам.— Но простите меня, сударыня, ведь в ваших глазах я только убийца,— сказал он, тотчас же спохватившись.

— Судáрь, я пришла сюда, чтобы умолить вас подать апелляцию: я знаю, что вы отказываетесь сделать это...

Рыдания душили ее, она не могла говорить.

— Умоляю вас простить меня.

— Если ты хочешь, чтобы я простила тебя,— сказала она, вставая и кидаясь ему на грудь,— то немедленно подай апелляцию об отмене смертного приговора.

Жюльен осыпал ее поцелуями.

— А ты будешь приходить ко мне каждый день в течение этих двух месяцев?

— Клянусь тебе. Каждый день, если только мой муж не запретит мне это.

— Тогда подам! — вскричал Жюльен.— Как! Ты меня прощаешь! Неужели это правда?

Он сжимал ее в своих объятиях, он совсем обезумел. Вдруг она тихонько вскрикнула.

— Ничего,— сказала она,— просто ты мне больно сделал.

— Плечу твоему! — воскликнул Жюльен, заливаясь слезами. Чуть-чуть откинувшись, он прильнул к ее руке, покрывая ее жаркими поцелуями.— И кто бы мог сказать это тогда, в последний раз, когда я был у тебя в твоей комнате в Верьере!

— А кто бы мог сказать тогда, что я напишу господину де Ла-Молю это гнусное письмо!

— Знай: я всегда любил тебя, я никого не любил, кроме тебя.

— Может ли это быть? — воскликнула г-жа де Реналь, теперь уж и она не помнила себя от радости.

Она прижалась к Жюльену, обнимавшему ее колени. И они оба долго плакали молча.

Никогда за всю свою жизнь Жюльен не переживал такой минуты.

Прошло много времени, прежде чем они снова обрели способность говорить.

— А эта молодая женщина, госпожа Мишле,— сказала г-жа де Реналь,— или, вернее, мадемуазель де Ла-Моль, потому что я, правда, уж начинаю верить в этот необычайный роман?

— Это только по виду так,— отвечал Жюльен.— Она — моя жена, но не моя возлюбленная.

И оба они, по сто раз перебивая друг друга, стали рассказывать о себе все, чего другой не знал, и наконец с большим трудом рассказали все. Письмо, написанное г-ну де Ла-Молю, сочинил духовник г-жи де Реналь, а она его только переписала.

— Вот на какой ужас толкнула меня религия,— говорила она,— а ведь я еще смягчила самые ужасные места в этом письме.

Восторг и радость Жюльена ясно показали ей, что он ей все прощает. Никогда еще он ее так не любил.

— А ведь я считаю себя верующей,— говорила ему г-жа де Реналь, продолжая свой рассказ.— Я искренне верю в бога, и я верю и знаю,— потому что мне это было доказано,— что грех, совершенный мною,— это чудовищный грех. Но стоит мне только тебя увидеть,— и вот, даже после того, как ты дважды выстрелил в меня из пистолета...

Но тут, как она ни отталкивала его, Жюльен бросился ее целовать.

— Пусти, пусти,— продолжала она,— я хочу разобраться в этом с тобой; я боюсь, что позабуду... Стоит мне только увидеть тебя, как всякое чувство долга, все у меня пропадает, я вся — одна сплошная любовь к тебе. Даже, пожалуй, слово «любовь» — это еще слишком слабо. У меня к тебе такое чувство, какое только разве к богу можно питать: тут все — и благоговение, и любовь, и послушание... По правде сказать, я даже не знаю, что ты мне такое внушаешь... Вот скажи мне, чтобы я ударила ножом тюремщика,— и я совершу это преступление

и даже подумать не успею. Объясни мне это, пожалуйста, пояснее, пока я еще не ушла отсюда: мне хочется по-настоящему понять, что́ происходит в моем сердце, потому что ведь через два месяца мы расстанемся... А впрочем, как знать, расстанемся ли мы? — добавила она, улыбнувшись.

— Я отказываюсь от своего обещания,— вскричал Жюльен, вскакивая,— я не буду подавать апелляции, если ты каким бы то ни было способом, ядом ли, ножом, пистолетом или углями, будешь покушаться на свою жизнь или стараться повредить себе!

Лицо г-жи де Реналь вдруг сразу изменилось: пылкая нежность уступила место глубокой задумчивости.

— А что, если нам сейчас умереть? — промолвила она наконец.

— Кто знает, что будет там, на том свете? — отвечал Жюльен.— Может быть, мучения, а может быть, и вовсе ничего. И разве мы не можем провести эти два месяца вместе самым упоительным образом? Два месяца — ведь это столько дней! Подумай, ведь я никогда не был так счастлив!

— Ты никогда не был так счастлив?

— Никогда! — восторженно повторил Жюльен.— И я говорю с тобой так, как если бы я говорил с самим собой. Боже меня сохрани преувеличивать!

— Ну, раз ты так говоришь, твои слова для меня — закон,— сказала она с робкой и грустной улыбкой.

— Так вот, поклянись своей любовью ко мне, что ты не будешь покушаться на свою жизнь никаким способом, ни прямо, ни косвенно... Помни,— прибавил он,— ты должна жить для моего сына, которого Матильда бросит на руки своих лакеев, как только она станет маркизой де Круазенуа.

— Клянусь,— холодно отвечала она,— но я хочу унести с собой твою апелляцию,— пусть она будет написана и подписана твоей рукой. Я сама пойду к генеральному прокурору.

— Берегись, ты себя скомпрометируешь.

— После того, как я пришла к тебе на свидание в тюрьму, я уже теперь на веки вечные сделалась притчей во языцех и в Безансоне, и во всем Франш-Конте,— сказала она с глубокой горестью.— Я уже переступила предел строгой благопристойности... Я падшая женщина. Правда, это ради тебя...

Она говорила таким грустным тоном, что Жюльен в порыве какого-то до сих пор не испытанного сладостного чувства сжал ее в своих объятиях. Это было уже не безумие страсти, а безграничная признательность. Он только сейчас впервые

по-настоящему понял, какую огромную жертву она принесла ради него.

Какая-то благодетельная душа не преминула, разумеется, сообщить г-ну де Реналю о продолжительных визитах его супруги в тюрьму, ибо не прошло и трех дней, как он прислал за ней карету, настоятельно требуя, чтобы она немедленно возвратилась в Верьер.

День, начавшийся с этой жестокой разлуки, оказался злосчастным для Жюльена. Часа через два ему сообщили, что какой-то проныра-священник, которому, однако, не удалось примазаться к безансонским иезуитам, пришел с утра и стоит на улице перед самой тюрьмой. Дождь шел, не переставая, и этот человек, по-видимому, задался целью изобразить из себя мученика. Жюльен был настроен мрачно, и это шутовство ужасно возмутило его. Он еще утром отказался принять этого священника, но тот, видимо, решил во что бы то ни стало заставить Жюльена исповедаться ему, чтобы потом, с помощью всяческих признаний, которые он якобы от него услышал, завоевать расположение безансонских молодых дам.

Он громогласно повторял, что будет стоять день и ночь у тюремных ворот.

— Бог послал меня, чтобы смягчить сердце этого отступника.

А простой народ, который всегда рад публичному зрелищу, уже толпился вокруг него.

— Братья! — вопил он.— Я буду стоять здесь денно и нощно и не сойду с места, сколько бы ни пришлось мне выстоять дней и ночей. Святой дух глаголал мне и возвестил повеление свыше: на меня возложен долг спасти душу юного Сореля. Приобщитесь, братья, к молениям моим...— и прочее и прочее.

Жюльен чувствовал отвращение ко всяким сценам и ко всему, что могло привлечь к нему внимание. Он подумал, не настал ли сейчас подходящий момент для того, чтобы незаметно исчезнуть из мира; но у него оставалась какая-то надежда увидеть еще раз г-жу де Реналь, и он был влюблен без памяти.

Ворота тюрьмы выходили на одну из самых людных улиц. Когда он представлял себе этого грязного попа, который собирает вокруг себя толпу и устраивает уличный скандал, у него вся душа переворачивалась. «И уж, конечно, можно не сомневаться, что мое имя не сходит у него с языка». Это было так невыносимо, что казалось ему хуже всякой смерти.

Два-три раза на протяжении часа он посылал одного пре-

данного ему тюремщика посмотреть, стоит ли еще у ворот этот человек.

— Сударь,— сообщал ему всякий раз тюремщик,— он стоит на коленях прямо в грязи, молится во весь голос и читает литании о спасении вашей души...

«Экий подлец!» — подумал Жюльен. Действительно, в ту же минуту он услышал глухое монотонное завывание: это толпа подтягивала попу, распевавшему литании. Раздражение Жюльена дошло до крайних пределов, когда он увидал, что сам надзиратель тоже зашевелил губами, повторяя знакомые латинские слова.

— Там уже поговаривать начинают,— заявил тюремщик,— что у вас, верно, совсем каменное сердце, ежели вы отказываетесь от помощи такого святого человека.

— О родина моя, в каком темном невежестве ты еще пребываешь! — не помня себя от ярости, воскликнул Жюльен. И он продолжал рассуждать вслух, совершенно забыв о находившемся тут же тюремщике.— Этому попу хочется попасть в газеты, и уж, конечно, он этого добьется. Ах, гнусные провинциалы! В Париже мне не пришлось бы терпеть таких унижений. Там шарлатанят искуснее. Приведите этого преподобного отца,— сказал он наконец тюремщику, весь обливаясь пóтом.

Тюремщик перекрестился и вышел, весь сияя.

Преподобный отец оказался невообразимым уродом и еще более невообразимо грязным. На дворе шел холодный дождь, и от этого в каземате было совсем темно и еще сильнее чувствовалась промозглая сырость. Поп сделал попытку облобызать Жюльена и, обратившись к нему с увещеванием, чуть было не пустил слезу. Самое гнусное ханжество так и лезло в глаза; никогда еще за всю свою жизнь Жюльен не испытывал такого бешенства.

Не прошло и четверти часа после прихода этого попа, а Жюльен уже чувствовал себя жалким трусом. Впервые смерть показалась ему чудовищной. Он представлял себе, во что обратится его тело, когда он начнет разлагаться через два дня после казни... и прочее в таком же роде.

Он чувствовал, что вот-вот выдаст себя, обнаружив свою слабость, или бросится на этого попа и задушит его своими кандалами, но вдруг у него мелькнула мысль отправить этого святошу отслужить за него сегодня же самую долгую мессу в сорок франков.

И так как время уже приближалось к полудню, поп удалился.

XLIV

Едва он вышел, Жюльен дал волю слезам. Он плакал долго, и плакал оттого, что должен умереть. Потом мало-помалу он стал думать о том, что если бы г-жа де Реналь была в Безансоне, он бы признался ей в своем малодушии...

И в ту самую минуту, когда он больше всего горевал о том, что возле него нет его обожаемой возлюбленной, он услышал шаги Матильды.

«Худшее из мучений в тюрьме — это невозможность запереть свою дверь»,— подумал он. Все, что ни говорила ему Матильда, только раздражало его.

Она рассказала ему, что г-н Вально, который в день суда уже знал о назначении его в префекты, осмелился посмеяться над г-ном де Фрилером, прельстившись соблазном вынести Жюльену смертный приговор.

— «Что за фантазия пришла в голову вашему приятелю,— только что сказал мне господин де Фрилер,— пробуждать и дразнить мелкое тщеславие этой мещанской аристократии! Зачем ему понадобилось говорить о кастах? Он им просто-таки сам подсказал, как им следовало поступить в их политических интересах: эти простачки и не помышляли об этом и уже готовы были слезу пустить. Но кастовая сторона дела заслонила для них ужас смертного приговора. Надо признаться, что господин Сорель очень наивен в делах. Если нам не удастся испросить ему помилование, смерть его будет своего рода *самоубийством*».

Матильда не могла рассказать Жюльену того, о чем и сама она пока еще даже не подозревала, а именно, что аббат де Фрилер, видя, что Жюльен — уже человек конченный, счел за благо для своего честолюбия постараться стать его преемником.

Жюльен едва владел собой от бессильной ярости и раздражения.

— Ступайте послушать мессу за спасение моей души,— сказал он Матильде,— дайте мне хоть минуту покоя.

Матильда, и без того терзавшаяся ревностью из-за длительных визитов г-жи де Реналь и только что узнавшая об ее отъезде, догадалась о причине скверного настроения Жюльена и залилась слезами.

Горе ее было искренне. Жюльен видел это и только еще больше раздражался. Он испытывал неодолимую потребность остаться одному; но как этого добиться?

Наконец Матильда после тщетных уговоров и попыток смягчить его ушла, и он остался один, но чуть ли не в ту же минуту появился Фуке.

— Мне надо побыть одному...— сказал он верному другу. И, видя, что тот стоит в нерешительности, он добавил: — Я сочиняю прошение о помиловании. Да, кстати, вот что: сделай мне одолжение, пожалуйста, не говори со мной никогда о смерти. Если мне в тот день потребуются какие-то особенные услуги, я уж сам тебе об этом скажу.

Когда Жюльен наконец остался в одиночестве, он почувствовал себя еще более подавленным, более малодушным, чем прежде. Последний остаток сил, который еще сохранился в этой ослабевшей душе, был исчерпан усилиями скрыть свое состояние от м-ль де Ла-Моль и от Фуке.

Под вечер ему пришла в голову одна мысль, которая утешила его:

«Если бы сегодня утром, в ту минуту, когда смерть казалась мне такой омерзительной, меня повели на казнь,— *глаза толпы были бы стрекалом для моей гордости;* может быть, в походке моей почувствовалась бы некоторая напряженность, как у какого-нибудь застенчивого фата, когда он входит в гостиную. Кое-кто из людей проницательных, если найдутся такие среди этих провинциалов, мог бы догадаться о моем малодушии... Но никто не *увидел бы его*».

И у него несколько отлегло на душе. «Сейчас я трус,— повторял он себе, напевая,— но никто об этом не узнает».

Но едва ли еще не худшую неприятность приберегал для него завтрашний день. Ему уже давно было известно, что его собирается посетить отец; и вот в это утро, когда Жюльен еще спал, седовласый старый плотник появился в его узилище.

Жюльен пал духом; он ждал, что на него сейчас посыплются самые отвратительные попреки. В довершение к этому мучительному состоянию его сейчас ужасно угнетало сознание, что он не любит отца.

«Случай поместил нас рядом на земле,— раздумывал он, в то время как тюремщик прибирал кое-как его камеру,— и мы причинили друг другу столько зла, что, пожалуй, больше и не придумаешь. И вот он явился теперь в мой смертный час, чтобы наградить меня последним пинком».

Суровые попреки старика обрушились на него, едва только они остались одни.

Жюльен не удержался и заплакал. «Экое подлое малодушие! — повторял он себе в бешенстве.— Вот он теперь пойдет

звонить повсюду о том, как я трушу. Как будет торжествовать Вально, да и все эти жалкие обманщики, которые царят в Верьере! Ведь это могущественные люди во Франции: все общественные блага, все преимущества в их руках. До сих пор я, по крайней мере, мог сказать себе: «Они загребают деньги, это верно, они осыпаны почестями, но у меня, у меня благородство духа».

А вот теперь у них есть свидетель, которому все поверят, и он пойдет звонить по всему Верьеру, да еще с разными преувеличениями, о том, как я струхнул перед смертью. И для всех будет само собой понятно, что я и должен был оказаться трусом в подобном испытании».

Жюльен был чуть ли не в отчаянии. Он не знал, как ему отделаться от отца. А притвориться, да так, чтобы провести этого зоркого старика, сейчас было свыше его сил.

Он быстро перебирал в уме все мыслимые возможности.

— *У меня есть сбережения!* — внезапно воскликнул он.

Это восклицание, вырвавшееся у него как нельзя более кстати, мигом изменило и выражение лица старика, и все положение Жюльена.

— И надо подумать, как ими распорядиться,— продолжал Жюльен уже более спокойно.

Действие, которое возымели его слова, вывело его из пришибленного состояния.

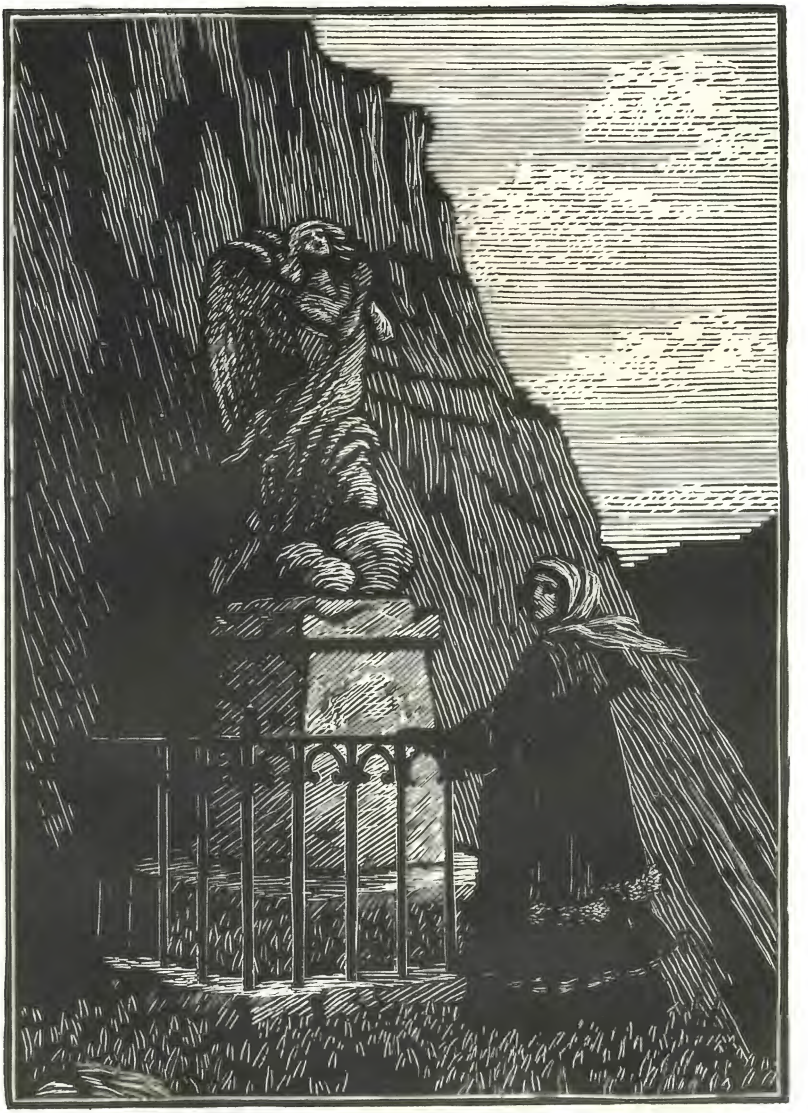
Старый плотник дрожал от жадности, как бы не упустить эти денежки; Жюльен явно намеревался уделить какую-то долю братьям. Старик говорил об этом долго и с большим жаром. Жюльен мог от души позабавиться.

— Так вот: господь бог вразумил меня насчет моего завещания. Я оставлю по тысяче франков моим братьям, а остальное вам.

— Вот и хорошо,— отвечал старик,— этот остаток мне как раз и причитается, но ежели господь бог смилостивился над тобой и смягчил твое сердце и если ты хочешь помереть, как добрый христианин, надобно со всеми долгами разделаться. Сколько пришлось мне потратить, чтобы кормить и учить тебя, об этом ты не подумал...

«Вот она, отцовская любовь!» — с горечью повторял Жюльен, когда наконец остался один. Вскоре появился тюремщик.

— Сударь, после свидания с престарелыми родителями я всегда приношу моим постояльцам бутылочку доброго шампанского. Оно, конечно, дороговато, шесть франков бутылка, зато сердце веселит.



— Принесите три стакана,— обрадовавшись, как ребенок, сказал ему Жюльен,— да позовите еще двух заключенных: я слышу, они там прогуливаются по коридору.

Тюремщик привел к нему двух каторжников, которые, попавшись вторично, должны были снова вернуться на каторгу. Это были отъявленные злодеи, очень веселые и поистине замечательные своей хитростью, хладнокровием и отчаянной смелостью.

— Дайте мне двадцать франков,— сказал один из них Жюльену,— и я вам расскажу мою жизнь всю как есть; стоит послушать.

— Но это же будет вранье? — сказал Жюльен.

— Ни-ни,— отвечал тот,— вот же тут мой приятель; ему завидно на мои двадцать франков, он меня враз оборвет, коли я что совру.

Рассказ его был поистине чудовищен. Он свидетельствовал о неустрашимом сердце, но им владела только одна страсть — деньги.

Когда они ушли, Жюльен почувствовал себя другим человеком. Вся его злоба на самого себя исчезла без следа. Тяжкая душевная мука, растравляемая малодушием, которому он поддался после отъезда г-жи де Реналь, обратилась в глубокую грусть.

«Если бы я не был до такой степени ослеплен блестящей видимостью,— говорил он себе,— я бы увидел, что парижские гостиные полным-полны вот такими честными людьми, как мой отец, или ловкими мошенниками, как эти каторжники. И они правы; ведь никто из светских людей не просыпается утром со сверлящей мыслью: как мне нынче пообедать? А туда же, хвастаются своей честностью! А попадут в присяжные — не задумываясь, с гордостью осудят человека за то, что он, подыхая от голода, украл серебряный прибор.

Но вот подвернись им случай выдвинуться при дворе, или, скажем, получить или потерять министерский портфель — тут мои честные господа из светских гостиных пойдут на любые преступления, точь-в-точь такие же, как те, на которые потребность насытиться толкнула этих двух каторжников.

Никакого *естественного права* не существует. Это словечко — просто устаревшая чепуха, вполне достойная генерального прокурора, который на днях так домогался моей головы, а между тем прадед его разбогател на конфискациях при Людовике XIV. *Право* возникает только тогда, когда объявляется закон, воспрещающий делать то или иное под страхом

кары. А до того, как появится закон, только и есть *естественного*, что львиная сила или потребность живого существа, испытывающего голод или холод,— словом, *потребность*... Нет, люди, пользующиеся всеобщим почетом,— это просто жулики, которым посчастливилось, что их не поймали на месте преступления. Обвинитель, которого общество науськивает на меня, нажил свое богатство подлостью... Я совершил преступление, и я осужден справедливо, но если не считать этого единственного моего преступления, Вально, осудивший меня, приносит вреда обществу во сто раз больше моего».

«Так вот,— грустно, но безо всякой злобы заключил Жюльен,— отец мой, несмотря на всю свою жадность, все-таки лучше всех этих людей. Он никогда меня не любил. А тут уж у него переполнилась мера терпения, ибо моя постыдная смерть — позор на его голову. Этот страх перед нехваткой денег, это преувеличенное представление о людской злобе, именуемое жадностью, позволяют ему чудесным образом утешиться и обрести уверенность при помощи суммы в триста или четыреста луидоров, которую я в состоянии ему оставить. Как-нибудь в воскресенье, после обеда, он покажет это свое золото всем верьерским завистникам. За такую-то цену, красноречиво скажет им его взгляд, найдется ли меж вас хоть один, который бы не согласился с радостью, чтобы его сын сложил голову на плахе?»

Эта философия, возможно, была недалека от истины, но она была такого рода, что от нее хотелось умереть. Так прошло пять дней. Он был вежлив и мягок с Матильдой, видя, что ее гложет жестокая ревность. Однажды вечером Жюльен серьезно подумал о том, не покончить ли ему с собой. Душа его была истерзана глубоким унынием, в которое поверг его отъезд г-жи де Реналь. Ничто уже больше не занимало его ни в действительной жизни, ни в воображении. Отсутствие всякого моциона начинало сказываться на его здоровье, и в характере его появилось что-то экзальтированное и неустойчивое, как у юного немецкого студента. Он незаметно утрачивал ту мужественную гордость, которая при помощи какого-нибудь крепкого словца отмахивается от иных недостойных мыслей, осаждающих человека.

«Я любил правду... А где она?.. Всюду одно лицемерие или по меньшей мере шарлатанство, даже у самых добродетельных, даже у самых великих! — И губы его искривились гримасой отвращения.— Нет, человек не может довериться человеку.

Госпожа де ***, делая благотворительный сбор в пользу бедных сирот, уверяла меня, что князь такой-то пожертвовал десять луидоров. Вранье! Да что я говорю! А Наполеон на острове Святой Елены... Чистейшее шарлатанство, прокламация в пользу короля Римского.

Боже мой! Если даже такой человек, да еще в такую пору, когда несчастье должно было сурово призывать его к долгу, унижается до шарлатанства, так чего же можно ждать от остальных, от жалкой человеческой породы?»

«Где истина? В религии разве... Да,— добавил он с горькой усмешкой невыразимого презрения,— в устах Малонов, Фрилеров, Кастанедов... быть может, в подлинном христианстве, служителям которого не следует платить за это денег, как не платили апостолам... Но святой Павел получал свою мзду: он наслаждался возможностью повелевать, проповедовать, заставлял говорить о себе...

Ах, если бы на свете существовала истинная религия!.. Безумец я! Мне грезится готический собор, величественные витражи, и слабый дух мой уже видит священнослужителя, молящегося у этих окон... Душа моя узнала бы его, душа моя нуждается в нем... Но вместо этого я вижу какого-то разряженного фата с прилизанными волосами... чуть ли не шевалье де Бовуази, только безо всех его приятностей.

Но вот если бы настоящий духовный пастырь, такой как Массильон или Фенелон... Массильон рукоположил Дюбуа... И Фенелон после «Мемуаров» Сен-Симона стал для меня уже не тем. Но вот если бы настоящий священник... Тогда бы души, наделенные способностью чувствовать, обрели в мире некую возможность единения... Мы не были бы так одиноки... Этот добрый пастырь говорил бы нам о боге. Но о каком боге? Не о библейском боге, мелочном, жестоком тиране, исполненном жаждой отмщения... но о боге Вольтера, справедливом, добром, бесконечном...»

Его волновали нахлынувшие воспоминания о Новом завете, который он знал наизусть... «Но как можно, *егда соберутся трое,* верить в это великое имя бога, после того как им так чудовищно злоупотребляли наши попы?

Жить в одиночестве!.. Какое мучение!..»

— Я схожу с ума, я не прав,— сказал Жюльен, ударяя себя по лбу.— Я одинок здесь, в этой тюрьме, но я *не жил в одиночестве* на земле; могущественная идея *долга* одушевляла меня. И этот долг, который я сам предписал себе,— заблуждался ли я или был прав,— был для меня словно стволом мощного

дерева, на который я опирался во время грозы. Конечно, я колебался, меня бросало из стороны в сторону. Ведь я всего лишь человек... но я не срывался.

«Эта промозглая сырость здесь, в тюрьме,— вот что наводит меня на мысли об одиночестве...

Но зачем я все-таки лицемерю, проклиная лицемерие? Ведь это вовсе не смерть, не тюрьма, не сырость, а то, что со мной нет госпожи де Реналь,— вот что меня угнетает. Если бы в Верьере, для того чтобы видеть ее, я вынужден был неделями сидеть, спрятавшись в подвале ее дома, разве я стал бы жаловаться?»

— Вот оно, влияние современников! — сказал он вслух, горько посмеиваясь.— Говорю один, сам с собой, в двух шагах от смерти и все-таки лицемерю... О девятнадцатый век!

«...Охотник в лесу стреляет из ружья, добыча его падает, он бросается за ней, попадает сапогом в огромную муравьиную кучу, разрушает жилище муравьев, и муравьи и их яйца летят во все стороны... И самые мудрейшие философы из муравьиного рода никогда не постигнут, что это было за огромное, черное, страшное тело, этот сапог охотника, который так внезапно и молниеносно ворвался в их обитель вслед за ужасающим грохотом и ярким снопом рыжего пламени.

...Так вот, и смерть, и жизнь, и вечность — все это должно быть очень просто для того, кто обладает достаточно мощными органами чувств, способными это объять... Мушка-однодневка появляется на свет в девять часов утра в погожий летний день, а на исходе дня, в пять часов, она уже умирает; откуда ей знать, что означает слово «ночь»?

Дайте ей еще пять часов существования, и она увидит и поймет, что такое ночь.

Вот так и я — я умру в двадцать три года. Дайте мне еще пять лет жизни, чтобы я мог пожить подле госпожи де Реналь...»

И он захохотал, как Мефистофель. «Какое безумие — рассуждать об этих великих вопросах!

1. Я не перестаю лицемерить — точно здесь кто-то есть, кто слушает меня.

2. Я забываю жить и любить, когда мне осталось жить так мало дней... Увы! Госпожи де Реналь нет со мной; пожалуй, муж не отпустит ее больше в Безансон, чтобы она не позорила себя.

Вот откуда мое одиночество, а вовсе не оттого, что в мире нет бога справедливого, доброго, всемогущего, чуждого злобы и мстительности!..

О, если бы он только существовал!.. Я бы упал к его ногам. «Я заслужил смерть,— сказал бы я ему,— но, великий боже, добрый, милосердный боже, отдай мне ту, кого я люблю!»

Было уже далеко за полночь. Он заснул и проспал мирно часа два. Затем явился Фуке.

Жюльен чувствовал себя твердым и решительным, как человек, который ясно видит, что происходит в его душе.

XLV

— Не хочется мне преподносить такую неприятность бедному аббату Шас-Бернару, вызывать его сюда,— сказал он Фуке.— Он после этого три дня есть не будет. Постарайся раздобыть какого-нибудь янсениста из друзей аббата Пирара, чтобы это был не интриган.

Фуке только и ждал, когда его об этом попросят. Таким образом, Жюльен, соблюдая приличия, сделал все, что от него могло потребовать общественное мнение провинции. Благодаря аббату де Фрилеру и даже несмотря на неподобающий выбор духовника, Жюльен в своем заточении все же находился под покровительством конгрегации: веди он себя поумнее, ему бы помогли бежать. Но скверный воздух каземата оказывал свое действие, рассудок его слабел. Какое же это было для него счастье, когда к нему вернулась г-жа де Реналь!

— Мой долг прежде всего — быть с тобой,— сказала она ему, целуя его.— Я убежала из Верьера.

Жюльен нисколько не щадил себя перед ней; у него не было никакого мелкого самолюбия; он признался ей во всех своих слабостях. Она была с ним добрая, ласковая.

Вечером, как только она вышла из его каземата, она распорядилась немедленно позвать на дом к своей тетушке того самого священника, который вцепился в Жюльена, словно это была его добыча; поскольку он ничего другого и не домогался, как только расположить к себе молодых женщин из светского общества в Безансоне, г-жа де Реналь безо всякого труда уговорила его отправиться в аббатство Бре-ле-О служить мессы в течение девяти дней.

Нет слов, чтобы передать, в каком состоянии любовного безумства и восторга пребывал в это время Жюльен.

Раздавая золото направо и налево, пользуясь, а иной раз даже злоупотребляя влиянием своей тетушки, всем известной богачки и святоши, г-жа де Реналь добилась разрешения видеться с Жюльеном два раза в день.

Матильда, узнав об этом, едва не сошла с ума от ревности. Г-н де Фрилер вынужден был сознаться ей, что при всем своем авторитете он не решится пренебречь до такой степени всеми приличиями, чтобы предоставить ей возможность видеться со своим другом чаще, чем раз в день. Матильда устроила слежку за г-жой де Реналь, желая быть точно осведомленной о каждом ее шаге. Г-н де Фрилер изощрял все недюжинные способности своего острого ума, чтобы доказать ей, что Жюльен ее недостоин.

Но чем больше она терзалась, тем сильнее любила его; и не проходило дня без того, чтобы она не устроила ему ужасной сцены.

Жюльен всеми силами старался быть честным по отношению к несчастной молодой девушке, которую он так нелепо опозорил; но его неистовая любовь к г-же де Реналь постоянно брала верх. Когда все его малоискусные доводы не приводили ни к чему и ему не удавалось убедить Матильду в том, что визиты ее соперницы носят совершенно невинный характер, он говорил себе: «Скоро эта драма кончится, развязка близка, в этом мое оправдание, если уж я не умею притвориться получше».

Мадемуазель де Ла-Моль получила известие о смерти маркиза де Круазенуа. Г-н де Талер, этот баснословный богач, позволил себе высказать некоторые не совсем безобидные предположения по поводу исчезновения Матильды. Г-н де Круазенуа потребовал, чтобы он взял свои слова обратно. Г-н де Талер показал ему полученные им анонимные письма, полные столь точно совпадающих подробностей, что бедный маркиз не мог не увидеть в этом хотя бы доли правды.

Господин де Талер позволил себе при этом некоторые весьма неделикатные шутки. Вне себя от ярости и горя маркиз потребовал столь решительных извинений, что миллионер предпочел драться на дуэли. Глупость восторжествовала, и юноша, наиболее достойный любви из всех молодых парижан, погиб на двадцать четвертом году жизни.

Смерть эта произвела неизъяснимое и крайне болезненное впечатление на ослабевшую душу Жюльена.

— Бедный Круазенуа,— сказал он Матильде,— держал себя по отношению к нам в высшей степени порядочно и честно; ведь он должен был ненавидеть меня после всех ваших неосторожных выходок в гостиной вашей матушки. Что ему стоило вызвать меня на ссору? Ведь ненависть, когда она приходит на смену презрению, отличается обычно лютой яростью.

Смерть г-на де Круазенуа изменила все планы Жюльена относительно будущего Матильды; несколько дней он всячески старался доказать ей, что ей следует выйти замуж за г-на де Люза.

— Это человек робкий, не такой уж иезуит,— говорил он,— и он безусловно добьется известного положения. Он отличается несколько более мрачным, устойчивым честолюбием, чем бедный Круазенуа, у него нет герцогов в родне, и он, не задумываясь, с радостью женится на вдове Жюльена Сореля.

— И к тому же на вдове, которая презирает всякие высокие чувства,— холодно сказала Матильда,— ибо она достаточно жила на свете: прошло всего полгода, и она уже видит, что ее возлюбленный изменяет ей с другой женщиной, виновницей всех бедствий.

— Вы несправедливы. Посещения госпожи де Реналь послужат необыкновенной пищей для красноречия адвоката, который ходатайствует в Париже о моем помиловании: он изобразит им убийцу, удостоенного заботливым вниманием самой его жертвы. Это может произвести впечатление, и, быть может, в один прекрасный день вы еще увидите меня героем какой-нибудь мелодрамы...— И так далее, и так далее.

Дикая ревность и при этом полная невозможность отомстить, длительное горе без всякой надежды впереди (потому что, если допустить даже, что Жюльена удастся спасти, каким образом снова овладеть его сердцем?), стыд и мука от сознания, что она сейчас больше, чем когда-либо, любит этого неверного возлюбленного,— все это повергло м-ль де Ла-Моль в мрачное молчание, из которого ее не могли вывести ни предупредительное внимание г-на де Фрилера, ни грубоватая откровенность Фуке.

Что касается Жюльена, он, если не считать тех минут, которые у него отнимало присутствие Матильды, жил только любовью и почти не думал о будущем. И такова непостижимая сила этого чувства, когда оно бьет через край и когда в нем нет никакого притворства, что и г-жа де Реналь почти разделяла его безмятежную радость.

— В те прежние дни,— говорил ей Жюльен,— когда мы бродили с тобой в вержийских лесах, я мог бы быть так счастлив, но бурное честолюбие увлекало мою душу в неведомые дали. Вместо того чтобы прижать к сердцу эту прелестную ручку, которая была так близко от губ моих, я уносился мечтами в будущее; я весь был поглощен бесчисленными битвами, из которых я должен был выйти победителем, чтобы завоевать

какое-то неслыханное положение... Нет, я, наверно, так бы и умер, не узнав, что такое счастье, если бы ты не пришла ко мне сюда, в тюрьму.

Два происшествия одно за другим нарушили мирное течение этой жизни. Духовник Жюльена, несмотря на то, что он был янсенистом, не уберегся от козней иезуитов и, сам того не подозревая, сделался их орудием.

В один прекрасный день он пришел к Жюльену и заявил ему, что, если он не хочет впасть в смертный грех самоубийства, он должен попытаться сделать все, что только можно, чтобы получить помилование. А поскольку духовенство пользуется большим влиянием в министерстве юстиции в Париже, ему представляется сейчас весьма легкий способ: торжественно обратиться в лоно церкви, и так, чтобы это приобрело широкую огласку.

— Широкую огласку! — повторил Жюльен.— Вот как? Значит, и вы тоже, отец мой, пытаетесь разыграть комедию наподобие миссионера!

— Ваш возраст,— строго перебил его янсенист,— привлекательная внешность, коей наделило вас провидение, причины, побудившие вас к преступлению и поныне остающиеся загадкой, героические попытки мадемуазель де Ла-Моль, предпринятые в вашу пользу,— словом, все, вплоть до удивительной дружбы, которую выказывает вам сама ваша жертва,— все это сделало вас героем в глазах молодых женщин Безансона. Они для вас забыли решительно все, даже политику...

Ваше обращение найдет отклик в их сердцах и оставит в них глубокий след. Вы можете принести великую пользу делу религии, так неужели же я стану колебаться из-за какого-то ничтожного соображения, что и иезуиты в подобном случае поступили бы совершенно так же? Вот так-то и получается, что даже и в этом случае, ускользнувшем от их ненасытной алчности, они все же оказываются для нас помехой! Да не будет же этого! Слезы, вызванные вашим обращением, уничтожат пагубное действие десяти изданий сочинений Вольтера.

— А мне что же останется тогда,— холодно возразил Жюльен,— если я сам буду презирать себя? Я был честолюбив и вовсе не собираюсь каяться в этом; я тогда поступал так, как этого требует наше время. А теперь я живу изо дня в день. Но я заранее знаю, что почувствовал бы себя несчастнейшим существом, если бы решился на какую-нибудь подлость...

Второе происшествие, которое еще больше расстроило Жюльена, было связано с г-жой де Реналь. Уж не знаю, кто

именно, верно, какая-то коварная приятельница, сумела убедить эту наивную и робкую душу, что ее долг — поехать в Сен-Клу и броситься к ногам короля Карла X.

Она уже один раз принесла себя в жертву, решившись на разлуку с Жюльеном, и после того, что ей это стоило, неприятность выставить себя напоказ всему свету, то, что раньше было для нее хуже всякой смерти, теперь казалось ей сущим пустяком.

— Я пойду к королю и открыто заявлю, что ты мой любовник: жизнь человека, да еще такого человека, как Жюльен, должна стоять выше всяких соображений осторожности. Я скажу, что ты только из ревности покушался на мою жизнь. Мало ли было случаев, когда жизнь несчастных юношей при подобных обстоятельствах была спасена человечным заступничеством присяжных или короля?

— Я больше с тобой никогда не увижусь! Я скажу, чтобы тебя не пускали в тюрьму! —вскричал Жюльен.— И, конечно, на другой же день покончу с собой от отчаяния, если ты только не поклянешься мне, что никогда не сделаешь такого шага, который превратит нас с тобой в посмешище для всего света. Отправиться в Париж! Ты это не сама придумала. Скажи мне, кто это, какая интриганка тебя надоумила?..

Будем наслаждаться счастьем, пока у нас еще осталось немного дней этой краткой жизни. Спрячем нашу жизнь от всех. Мое преступление слишком очевидно. Каких только нет связей у мадемуазель де Ла-Моль! Поверь мне, она делает все, что только в силах человеческих. Здесь, в провинции, против меня все богачи, все солидные люди. Твоя выходка еще более обозлит этих богатых, а главное, благонамеренных людишек, которым живется так легко... Не надо давать пищи для смеха всем этим Малонам, Вально и тысяче других людей, получше их.

Жюльен был уже почти не в состоянии переносить тяжкий воздух каземата. На его счастье, в тот день, когда ему объявили, что он должен умереть, яркое солнце заливало все кругом своим благодатным светом, и Жюльен чувствовал себя бодрым и мужественным. Пройтись по свежему воздуху было для него таким сладостным ощущением, какое испытывает мореплаватель, когда он после долгого плавания наконец ступает на сушу. «Ничего, все идет хорошо,— сказал он себе,— я не дрожу».

Никогда еще голова эта не была настроена столь возвышенно, как в тот миг, когда ей предстояло пасть. Сладостные

мгновения, пережитые некогда в вержийских лесах, теснились в его воображении с неодолимой силой.

Все совершилось очень просто, благопристойно и с его стороны без малейшей напыщенности.

За два дня он сказал Фуке:

— Какое у меня будет душевное состояние, за это я не могу поручиться; этот каземат до того отвратителен, здесь такая сырость, что меня временами бьет лихорадка и я впадаю в какое-то беспамятство; но страха у меня нет. Этого они не дождутся — я не побледнею.

Он заранее уговорился, чтобы в этот последний день Фуке с утра увез Матильду и г-жу де Реналь.

— Посади их в одну карету,— сказал он ему,— и вели кучеру гнать лошадей во весь опор. Они упадут друг другу в объятия или отшатнутся друг от друга в смертельной ненависти. И в том и в другом случае бедняжки хоть немного отвлекутся от своего ужасного горя.

Жюльен заставил г-жу де Реналь поклясться, что она будет жить и возьмет на свое попечение сына Матильды.

— Кто знает? Быть может, мы и после смерти что-нибудь чувствуем? — сказал он однажды Фуке.— Мне бы хотелось покоиться — вот уж поистине верное слово «покоиться»! — в той маленькой пещере на большой горе, что возвышается над Верьером. Сколько раз, бывало,— помнишь, я тебе когда-то рассказывал? — я забирался на ночь в эту пещеру; внизу передо мной расстилались богатейшие края Франции, я глядел на них сверху, и сердце мое пылало честолюбием. Тогда ведь это была моя страсть. Словом, эта пещера и поныне дорога́ мне, и потом — с этим уж, конечно, нельзя не согласиться — она действительно расположена так, что невольно влечет к себе душу философа... Так вот, наши добрые члены безансонской конгрегации рады нажиться решительно на всем, и если ты сумеешь за это взяться, они продадут тебе мои бренные останки...

Фуке преуспел в этой мрачной сделке. Ночью он сидел у себя в комнате, возле тела своего друга, и вдруг, к своему величайшему изумлению, увидел входящую Матильду. Всего несколько часов тому назад он оставил ее в десяти лье от Безансона. Глаза ее блуждали, и во взгляде было что-то безумное.

— Я хочу его видеть,— сказала она.

У Фуке не хватило духу ни ответить ей, ни двинуться с места. Он показал пальцем на большой синий плащ на полу: в нем было завернуто все, что осталось от Жюльена.

Она упала на колени. Конечно, воспоминание о Бонифасе де Ла-Моле и Маргарите Наваррской придавало ей какое-то сверхчеловеческое мужество. Дрожащими руками она развернула плащ. Фуке отвел глаза.

Он слышал, как Матильда стремительно двигалась по комнате. Она зажгла одну за другой несколько свечей. Когда Фуке, собравшись с силами, обернулся, он увидал, что она положила на маленький мраморный столик прямо перед собой голову Жюльена и целовала ее в лоб...

Матильда проводила своего возлюбленного до могилы, которую он сам себе выбрал. Большая процессия священников сопровождала гроб, и, втайне ото всех, одна, в наглухо занавешенной карете, она везла, положив себе на колени, голову человека, которого она так любила.

Поздно ночью процессия добралась до вершины одного из самых высоких отрогов Юры, и здесь, в маленькой пещере, ярко озаренной бесчисленным множеством свечей, двадцать священников отслужили заупокойную мессу. Жители маленьких горных деревушек, через которые проходило шествие, вливались в него, привлеченные невиданным зрелищем этого необыкновенного погребения.

Матильда появилась в длинной траурной одежде, а после службы по ее приказанию в толпу разбросали пригоршнями тысячи пятифранковых монет.

Оставшись вдвоем с Фуке, она пожелала похоронить собственными руками голову своего возлюбленного. Фуке чуть не помешался от горя.

Благодаря заботам Матильды эта дикая пещера украсилась мраморными изваяниями, заказанными за большие деньги в Италии. Г-жа де Реналь не нарушила своего обещания. Она не пыталась покончить с собой, но через три дня после казни Жюльена она умерла, обнимая своих детей.

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА

Неограниченное господство общественного мнения связано с тем неудобством, что оно, предоставляя свободу, вмешивается в такие области, кои его совершенно не касаются, например в частную жизнь. Отсюда то уныние, которое царит в Америке и в Англии. Чтобы не задевать частной жизни, автор выдумал городок Верьер, а когда ему понадобились епископ, судья, присяжные и судебная процедура, он перенес все это в Безансон, где сам он никогда не бывал.

ПРИМЕЧАНИЯ

В обращении к читателю Стендаль говорит, что роман «Красное и черное» был написан в 1827 году. Это не соответствует истине. Процесс Берте́, послуживший непосредственным источником романа, начался только в декабре 1827 года, а казнь произошла лишь 23 февраля 1828 года. Кроме того, в романе часто упоминаются события 1829 года и первой половины 1830 года, вплоть до начала Июльской революции.

Зиму 1827/28 года Стендаль провел в Италии. На обратном пути в Париж он остановился в Гренобле и, очевидно, там узнал о деле Берте. Семью Мишу, в которой Берте был учителем, Стендаль хорошо знал, знал и места, где произошла драма.

Вернувшись в Париж в марте 1828 года, Стендаль уже в июле начал работу над «Прогулками по Риму». Закончив эту книгу, в марте 1829 года он стал писать «Красное и черное», над первой редакцией которого работал в течение нескольких месяцев. Затем в конце того же года Стендаль напечатал «Ванину Ванини», а в декабре набрасывал повесть «Минна фон Вангель». По-видимому, только в начале 1830 года он вернулся к своей рукописи и, переработав и дополнив ее, отдал издателю. Роман был завершен, несомненно, уже после революции и вышел в свет в конце ноября 1830 года с датой: 1831 год. Второе издание романа появилось у того же издателя (Левассера) в следующем, 1831 году. Текст его не отличался от первого.

Действие романа охватывает около четырех лет. Оно начинается в 1826 году, когда Жюльен Сорель девятнадцатилетним юношей поступает в дом де Реналей, и заканчивается в первой половине 1830 года, когда двадцатитрехлетний Жюльен погибает на гильотине.

Процесс Берте дал Стендалю основную сюжетную линию романа и основные его «роли». Уволенный из дома Мишу, Берте поступает учителем в семью местного аристократа, дочь которого влюбляется в юного плебея. Ее отец справляется о нравственности своего домашнего

учителя у мадам Мишу и получает весьма отрицательную характеристику. Несомненно, аристократ и его дочь явились прообразами г-на де Ла-Моля и Матильды. В процессе Берте уже были как бы «намечены» и роль горничной, разгласившей тайну отношений Берте и мадам Мишу, и подруги героини — мадам Дервиль, и доброго кюре, покровительствующего юноше. Однако весь этот процесс заново интерпретирован и подчинен основному замыслу Стендаля — характеризовать современное общество, борющиеся в нем силы и направление его дальнейшего развития. По выражению М. Горького, Стендаль поднял «весьма обыденное уголовное преступление на степень историко-философского исследования общественного строя буржуазии в начале XIX века» [1].

Роман изобилует историческими лицами, иногда сохраняющими даже свое подлинное имя. Таков Аппер, известный в то время филантроп, специально интересовавшийся тюремным режимом во Франции. Это он приезжает в Верьер, чтобы осмотреть тюрьмы и сделать выводы, неблагоприятные для верьерской администрации. Среди пошлого верьерского общества Жюльен обнаружил одного порядочного человека — это был геометр Гро, слывший якобинцем. Гро — гренобльский учитель математики, о котором Стендаль с восхищением говорит в своей автобиографии. Г-н де Реналь в минуту отчаяния вспоминает о двух друзьях детства, которых он оттолкнул своим аристократическим чванством,— Дюкро и Фалькозе. Дюкро был снявшим рясу францисканцем и находился в дружеских отношениях с дедом Стендаля; Фалькоз — это Фалькон, владелец библиотеки-читальни в Гренобле; оба они пользовались уважением юного Стендаля. Один из трех одаренных семинаристов в безансонской семинарии, Шазель,— друг детства Стендаля, о котором, так же как и об упомянутых выше лицах, подробно рассказывается в «Жизни Анри Брюлара». Певец Джеронимо, с которым подружился Жюльен,— знаменитый в то время певец Лаблаш, дебютировавший в Париже в 1830 году в роли Джеронимо в опере Чимарозы «Тайный брак». Эпизод, который Джеронимо рассказывает Жюльену, действительно произошел с Лаблашем.

Более интересны образы крупных политических деятелей, попавших в круг внимания Жюльена Сореля. Здесь, под одним и тем же именем де Нерваля, «фигурируют» два министра Карла X: сперва Виллель, проводивший политику крайней правой вплоть до 1827 года, затем в главе XXIII второй части — Полиньяк, ультрароялист и автор реакционных ордонансов, вызвавших Июльскую революцию. В тех же главах изображен наполеоновский «генерал-перебежчик» граф Бурмон, предавший Наполеона за несколько дней до сражения при Ватерлоо.

---

[1] А. М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 26, Гослитиздат, М. 1953, стр. 219.

Прототипом для графа Альтамиры, приговоренного у себя на родине к смертной казни за участие в заговоре, послужил друг Стендаля неаполитанец Ди Фьоре. Он так же, как граф Альтамира, был приговорен к смерти за свою карбонарскую деятельность, бежал во Францию.

Особняк маркиза де Ла-Моля поражает Жюльена черной мраморной доской над воротами, на которой написана фамилия владельца. Единственный особняк в Париже с такой доской принадлежал Талейрану. Несомненно, описывая особняк де Ла-Моля, Стендаль имел в виду особняк Талейрана, да и другие особенности салона де Ла-Моля, характер его посетителей и некоторые черты хозяина напоминают дипломата, в течение многих лет стоявшего в центре французской политической жизни.

Персонажи романа говорят о самых острых политических вопросах, волновавших общество в последние годы Реставрации.

Слуги г-на де Реналя по пятницам ходят на какие-то собрания. Это общества, которые были организованы тайной католической конгрегацией в целях монархической и католической пропаганды. Таких обществ было много: «Общество добрых дел», ведавшее тюрьмами и госпиталями, «Общество св. Николая», объединявшее подмастерьев, «Общество св. Иосифа», объединявшее рабочих. В Гренобле ходили слухи, что конгрегация с помощью этих обществ организовала настоящий шпионаж за жителями, широко используя для этого домашнюю прислугу.

Дважды упоминается в романе о лесных угодьях, которые были реквизированы у духовенства в начале революции. Крайняя правая и клерикалы добивались от правительства возвращения этих угодий, и разговоры об этом велись в обществе постоянно. Подлог на выборах, в котором виновен один из посетителей салона де Ла-Моля, был совершен в 1821 году гренобльским прокурором Гернон-Ранвилем, которого Стендаль знал лично. Об этом эпизоде сообщила в 1829 году официальная французская газета «Монитор». Нашли отклик в романе и нашумевшие в свое время процессы Беранже, Фонтана, Магалона. Жюльен надеется, что через несколько лет после его смерти будет отменена смертная казнь; в последние годы Реставрации либералы добивались ее отмены.

Мы не знаем, отправляли ли в последний год Реставрации какие-либо реакционные группы своих агентов в Лондон, чтобы просить военной помощи. Но Стендаль верно характеризовал настроения ультароялистов, чувствовавших, что назревает новая революция, и не очень рассчитывавших на французские войска. То, что было сделано в первые годы Реставрации, вполне могло повториться в последние ее месяцы.

Многие сцены написаны по собственным впечатлениям или воспоминаниям. Гвоздильная фабрика, о которой речь идет в начале романа, напоминает ту, которую Стендаль осматривал в сентябре 1811 года, обратив внимание на ничтожную заработную плату работниц. Хищения в верьерском доме призрения, вероятно, тоже основаны на современном

факте. «Украли четыре миллиона у подкидышей»,— записывает Стендаль на полях романа, датируя это событие (или запись?) 1829 годом.

В романе можно найти и воспоминания из личной жизни писателя. Поведение Матильды де Ла-Моль, предлагающей Жюльену бежать за границу, а вместе с тем и характер ее Стендаль изобразил под впечатлением необычайного поступка Мари де Невиль, племянницы политического деятеля де Невиля. Она бежала с возлюбленным, презрев сословные предрассудки. Герой приключения Э. Грассе был знаком Проспери Мериме и состоял с ним в переписке. Событие произошло 25 января 1830 года. Стендаль, несомненно, вдохновился им, работая над характером своей героини. В подтверждение правдивости этого образа он ссылается на Мари де Невиль: «Окончание нравилось мне, когда я писал его: перед глазами у меня был характер Мари, милой девушки, которую я обожаю. Спросить у Клары (т. е. П. Мериме), разве Мари не поступила бы так же... У юных Монморанси и их семьи так мало силы воли, что с этими элегантными и ничтожными существами можно создать только пошлую развязку... Видя это отсутствие характера в высших классах, я взял исключение... Причина — то, что я думал о Мари».

Возможно, конечно, что в психологии Матильды или г-жи де Реналь отразились какие-нибудь воспоминания о Матильде Висконтини, или о Джулии Риньери, к которой Стендаль сватался в начале 1830 года, или о графине Кюриаль, из-за которой Стендаль в 1826 году чуть не покончил самоубийством. Однако все это лишь материалы, которыми он мог воспользоваться при построении своих женских образов. Определить характер этих воспоминаний или их значение в творчестве Стендаля с какой-либо степенью достоверности было бы невозможно.

Приключение Жюльена, скрывающегося в доме г-жи де Реналь, походит на эпизод из биографии самого Стендаля в деревенской усадьбе графини Кюриаль: в течение нескольких дней он просидел, не выходя, в каком-то погребе, и графиня сама тайком приносила ему пищу. Маркиз де Ла-Моль, поручив Жюльену написать деловое письмо, был удивлен тем, что юный семинарист, рекомендованный ему как чудо учености, сделал орфографическую ошибку в самом простом слове, написав «cela» через два ll — «cella». Эту же ошибку сделал юный Стендаль в первый день своего поступления на службу. Однако из всего этого нельзя сделать заключение, что роман «Красное и черное» написан на основании интимных воспоминаний и что Стендаль был «певцом своей жизни». «Красное и черное» — это глубокое исследование французской общественной жизни конца Реставрации и вместе с тем тончайший психологический анализ разнообразных, сложных, типичных для эпохи характеров.

Роман изобилует эпиграфами. Они предпосланы почти каждой главе и, кроме того, каждой части романа. Все эти эпиграфы подписаны именами известных или малоизвестных писателей. Однако лишь некоторые

и сравнительно немногие из них могут считаться достоверными. Таковы, в частности, эпиграфы из Байрона, из Шекспира и из древних авторов. Остальные в огромном большинстве случаев придуманы самим Стендалем. На человека, сколько-нибудь знакомого с литературой, такие подписи должны были произвести комическое впечатление. Очевидно, подписав именем Канта или Ронсара строки, которые не могли быть ими написаны, Стендаль и хотел создать именно такое впечатление. Тем не менее эпиграфы определяют характер главы, ее проблематику или аспект, в котором может быть воспринято рассказанное в ней событие.

Стендаль терпимо относился к критике. Он охотно выслушивал суждения друзей. Перечитывая «Красное и черное», он стал исправлять стиль и для этого дал переплести свой роман вместе с чистыми листами, на которых отмечал нужные исправления. Уже в 1835 году он сожалеет о том, что написал свой роман слишком отрывисто и сухо. Ему казалось, что он был чрезвычайно увлечен событиями, которые описывал, и не думал о стиле. Теперь, исправляя, он ищет большей плавности, ритмичности языка. Кроме того, в книге, казалось Стендалю, мало подробностей, обстановки действия, вещей и пейзажей. Нужно «помочь читателю представить себе сцены», пишет Стендаль. Отсутствуют портреты действующих лиц. В романе нет живописи. Действие развивается слишком быстро. Прочтя первые главы второй части, Стендаль записывает: «Из-за отсутствия трех или четырех описательных слов на странице и двух-трех слов для того, чтобы стиль не походил на стиль Тацита, многие предшествующие страницы кажутся психологическим трактатом. Читатель постоянно находится лицом к лицу с чем-то слишком глубокомысленным».

Поправки, внесенные Стендалем в первоначальный текст романа, имеют задачей объяснить обстановку действия, создать «ощущение места», придать больше изящества речам Матильды де Ла-Моль, смягчить «слишком непринужденный» тон янсениста Пирара. Но наибольшее внимание Стендаль обратил на психологию героев. Он подробнее комментирует их жесты, вскрывает причины их поступков, рассказывает об их переживаниях. Иногда он перерабатывает сцены и набрасывает их заново. Однако напечатать исправленное издание романа Стендалю не удалось. Некоторые наиболее несомненные из этих исправлений были учтены в издании «Champion» (1923); отражены они и в переводе С. Боброва и М. Богословской, публикуемом в настоящем томе.

В России роман «Красное и черное» впервые был опубликован в журнале «Отечественные записки», 1874, т. 213, №№ 3, 4, 5—6, в переводе А. Плещеева. Отдельной книгой роман вышел в 1893 году, в переводе Н. Чуйко, не раз затем переиздававшемся (в частности, в 193_ г., в серии «История молодого человека XIX столетия», возглавлявшейся М. Горьким и А. Виноградовым).

Первое советское издание «Красного и черного» на русском языке вышло в 1928 году (перевод под редакцией А. Виноградова) с предисловием А. Луначарского. В 1937 году роман «Красное и черное» составил первый том Собрания сочинений Стендаля, выходившего под общей редакцией А. А. Смирнова и Б. Г. Реизова (новый перевод под редакцией А. А. Смирнова). Помещаемый в настоящем томе «Библиотеки всемирной литературы» перевод С. Боброва и М. Богословской был впервые опубликован в 1949 году и затем неоднократно переиздавался, в частности, в 1959 году, в первом томе пятнадцатитомного Собрания сочинений Стендаля, выходившего под общей редакцией Б. Г. Реизова.

Стр. 27. *Гоббс* (1588—1679) — английский философ-материалист.

Стр. 28. *Гельвеция* — латинское название Швейцарии.

Стр. 30. *Барнав* — деятель Французской революции; казнен в 1793 году.

Стр. 33. *Флери* (1640—1723) — французский историк церкви.

Стр. 36. *Буонапарте.*— В среде ультрароялистов принято было называть Наполеона I по фамилии, произнося ее на итальянский лад.

Стр. 38. *Г-жа де Монтессон* (1737—1806) — жена герцога Орлеанского (деда короля Луи-Филиппа); брак этот был тайным. Г-жа де Монтессон была автором многочисленных драматических произведений.

Г-жа де Жанлис (1746—1830) — французская писательница, автор романов и педагогических сочинений, была воспитательницей герцога Орлеанского (впоследствии короля Луи-Филиппа).

Дюкре (1747—1824) — брат г-жи де Жанлис, автор нескольких сочинений по экономике, кораблестроению и т. д., одно время состоял на службе у герцога Орлеанского, отца короля Луи-Филиппа; *Пале-Рояль* был фамильным дворцом герцогов Орлеанских.

Стр. 41. *«Мемориал Святой Елены».*— Этот дневник принадлежит перу Ласказа, отправившегося вместе с Наполеоном I на остров св. Елены и прожившего там вплоть до ноября 1816 г. Произведение это вышло в свет в 1823 г., и Наполеон изображен в нем либеральным монархом.

Стр. 42. *Энний* — древнеримский поэт III—II в. до н. э. Цитированные слова относятся к стратегии римского полководца Фабия Кунктатора во время Второй пунической войны.

Стр. 43. *«О папе».*— Книга реакционного философа Жозефа де Местра излагает учение о непогрешимости и светской власти пап, вышла в 1819 г., пользовалась популярностью среди ультрароялистов.

Стр. 46. *Битвы на мосту Лоди, Аркольском, под Риволи* — победы Бонапарта над австрийскими войсками во время итальянской кампании 1796—1797 гг.

«Конститусьонель» («Constitutionnel») — газета либерально-буржуазного направления, игравшая значительную политическую роль во время Реставрации.

Стр. 61. *Театр Жимназ* — был открыт в 1820 г., ставил только одноактные комедии, а затем только водевили и комедии с куплетами.

Стр. 62. *Безанваль* (1722—1797) — автор мемуаров, подробно излагающих скандальную хронику времени Людовиков XV и XVI.

Стр. 64. *«Котидьен»* («Quotidienne») — ежедневная газета, орган ультрароялистов, проповедовавшая самые реакционные меры и белый террор.

Стр. 71. *«История Габриэли».*— Габриэль де Вержи, героиня средневековой легенды. Рено де Куси, рыцарь и поэт, влюбленный в Габриэль де Вержи и смертельно раненный в битве с сарацинами, просит послать ей его сердце. Ревнивый муж отнимает это сердце у посланца и дает его в виде изысканного блюда съесть жене. Габриэль, узнав о том, какое яство она съела, отказывается от пищи и умирает от голода. На мотивы этой легенды написано много художественных произведений.

Стр. 72. *Годар* (1775—1823) — французский натуралист, автор книги «История чешуекрылых во Франции».

Стр. 75. *«Дидона».*— Картина художника-классика Герена (1774—1833) «Дидона и Эней» была выставлена в Салоне в 1817 г.

Штромбек — знакомый Стендаля, служивший в 1806 г. при Брауншвейгском дворе.

Стр. 90. *Сийес* (1748—1836) — деятель Французской революции, принадлежал к духовному званию, с началом революции перешел на ее сторону.

Стр. 97. *Сен-Реаль* (1630—1692) — французский историк и литератор.

Стр. 102. *Полидори* (умер в 1830 г.) — французский ученый.

Стр. 156. *Преподобный отец Малагрида* (1689—1761) — итальянский иезуит.

Стр. 162. *Басня Лафонтена.*— Басня о Жане Шуаре называется «Кюре и мертвец». Кюре шел за гробом и высчитывал, какой доход принесут ему похороны; в это время телега покачнулась, труп упал и придавил насмерть кюре.

Стр. 168. *Касти* (1724—1803) — итальянский аббат и поэт; с 1789 г. жил в Париже; сторонник Французской революции.

Стр. 182. *Осада 1674 года* — осада Безансона, происходила во время войны Людовика XIV с европейской коалицией (Австрией, Испанией и Нидерландами).

Стр. 191. *Боссюэ* (1627—1704), *Арно* (1612—1694) — французские богословы-католики.

Стр. 194. *Булла «Unam ecclesiam».*— Среди булл, изданных папой Пием V, ее нет. Это, очевидно, измышление Стендаля.

Стр. 195. *Юнг* (1683—1765) — английский поэт и священник.

Стр. 197. *Грегуар* (1750—1831) — епископ, присягнувший революции и ставший одним из видных ее деятелей.

Стр. 200. *Сикст Пятый* (1521—1590) — вступил на папский престол в 1585 г. По словам историка Грегорио Лети, он в течение тринадцати лет притворялся больным и был избран папой лишь потому, что кардиналы рассчитывали на его скорую смерть. Но едва выборы были произведены, как новый папа отбросил свой костыль, выпрямил стан и запел благодарственный гимн громовым голосом, от которого побледнели пораженные кардиналы.

Стр. 213. *Барем* (ум. в 1709 г.) — автор учебника элементарной арифметики, настолько распространенного, что имя составителя стало нарицательным; «искусство Барема» — арифметика, или «наука счета».

Стр. 215. *«Прекюрсер»* («Le Précurseur») — газета, издававшаяся в Лионе с 1830 по 1834 г. Она сообщала сведения о восстании ткачей и потому часто цитировалась парижской прессой.

Стр. 225. *Поэма о Магдалине.*— Стендаль, очевидно, имеет в виду поэму «Магдалина», принадлежащую французской поэтессе Дельфине Ге (в замужестве де Жирарден, 1804—1855).

Стр. 252. *Мальмезон* — дворец поблизости от Парижа, принадлежавший первой жене Бонапарта, Жозефине Богарне. Там Наполеон жил с 1799 по 1804 г., когда был Первым консулом республики. После своей коронации он покинул Мальмезон и избрал своей резиденцией Сен-Клу. Мальмезон, таким образом, символизирует деятельность Наполеона в то время, когда он был главой республики. Говоря, что для Жюльена, как и для потомства, не существовало никакой разницы между Арколе, Мальмезоном и островом св. Елены, местом последнего изгнания Наполеона, Стендаль хочет показать, что в глазах потомства исчезают все отрицательные стороны наполеоновской политики (реставрация католицизма, монархической идеи и деспотизма) и остается лишь образ революционного полководца, государственного деятеля и узника св. Елены.

Стр. 254. *Морери* (1643—1680) — французский ученый, автор знаменитого в то время исторического словаря.

Стр. 256. *Кардинал Дюбуа* (1656—1723) — французский политический деятель, любимец регента, герцога Орлеанского. Был сыном аптекаря, в первые годы жизни в Париже служил воспитателем в частных домах, затем воспитателем герцога Шартрского. Это было началом его карьеры, в которой он проявил большую ловкость в придворных интригах и полную беспринципность.

Стр. 257. *Робеспьер и его тележка.*— Речь идет о тележках, в которых везли осужденных к месту казни во времена Французской революции, в частности в период якобинской диктатуры.

Стр. 264. *Шапель* (1626—1686) — французский поэт.

Саути Роберт (1774—1843) — английский поэт, в юности державшийся либеральных взглядов, а затем перешедший на сторону реакции. В своей поэме «Видение суда» (1821) Саути обвинял Байрона в безнравственности и называл его главой «сатанинской школы». Свои нападки Саути продолжал и после смерти Байрона.

Георг IV — английский король с 1820 по 1830 г.

Стр. 265. *Реина* (1772—1826) — итальянский литератор и политический деятель.

Стр. 270. *Синяя лента* — орден Святого духа.

Стр. 274. *Аббат Прадт* (1759—1837) — член Учредительного собрания и сторонник правой, эмигрировал, был сановником при Наполеоне, а в 1814 г. хвалился тем, что «посадил Бурбонов на трон». Затем стал либералом и упрекал либеральную оппозицию в излишней умеренности.

Талейран (1754—1838) — известный французский дипломат, в 1814 г. способствовал реставрации Бурбонов.

Поццо ди Борго (1764—1842) — русский дипломат, настаивавший на низложении Наполеона и восстановлении Бурбонов.

Батон (le bâton) — по-французски значит «палка».

Стр. 278. *Величайший современный поэт* — Беранже (1780—1857). После появления в 1828 г. сборника его песен он был уволен с государственной службы и присужден к девяти месяцам тюремного заключения и десяти тысячам франков штрафа. Эта сумма была тотчас же покрыта пожертвованиями, собранными по подписке.

Лорд Голланд (1773—1840) — английский политический деятель. В 1815 г. он был единственным членом парламента, протестовавшим против изгнания Наполеона, а впоследствии выступал в парламенте с требованием смягчить режим, которому подвергался Наполеон на острове св. Елены.

Стр. 279. *Граф де Талер.*— Стендаль имеет в виду барона Ротшильда, который не раз ссужал деньгами правительство Реставрации.

Стр. 280. *Фоблаз.*— Имеется в виду роман Луве де Кувре «Приключения кавалера де Фоблаза», первый том которого вышел в 1787 г.

Стр. 289. *«Граф Ори»* — опера Россини (1792—1868) (либретто Скриба и Пуарсона), представленная впервые в Париже в Оперном театре 20 августа 1828 г.

Стр. 291. *Ривароль* (1753—1801) — французский литератор и политический деятель; эмигрировал во время революции в Гамбург. Гамбуржцы, не привыкшие к остроумию французских салонов XVIII в., с трудом понимали шутки этого блестящего острослова и, как говорит предание, «смеялись только на следующий день».

Стр. 294. *Лорд Бетхерст (1762—1834)* — английский государственный деятель, тори, получивший министерский портфель в 1809 г. Он известен

своей ненавистью к идеям Французской революции и к Наполеону. Для роли «тюремщика» Наполеона на острове св. Елены он избрал генерала *Гудсона Лоу* (1769—1844), который выполнял свои обязанности с рвением, вызвавшим негодование либерального общественного мнения всей Европы. В 1817 г. лорд Бетхерст воспротивился предложению лорда Голланда о расследовании поведения английских властей по отношению к пленному Наполеону.

Стр. 295. *Система цинизма.*— Стендаль имеет в виду обвинение в цинизме, брошенное прокурором Полю-Луи Курье (1772—1825), французскому либеральному политическому писателю. Курье после напечатания брошюры «Простая речь П.-Л. Курье, винодела» был приговорен к тюремному заключению. В своем «Втором ответе на анонимные письма» Курье подхватил это обвинение: «Королевский прокурор обвиняет меня в цинизме. Знает ли он, что это такое, и понимает ли он греческий язык? «Cynos» — значит «собака»; цинизм — поступок собаки. Оскорблять меня по-гречески, меня, присяжного эллиниста!»

Стр. 298. *Пеллико* (1789—1854) — итальянский писатель, был близок к карбонариям.

Стр. 303. *Феретрий* (feretrius) — латинское слово, означающее «разящий». Так в древнем Риме называли Юпитера, которому приносили в дар оружие побежденного неприятеля. Во время Реставрации один французский ученый принял это прозвище Юпитера за имя одного из семи римских царей.

Стр. 310. *Маршал Ней* (1769—1815) — перешел во время Ста дней на сторону Наполеона, в 1815 г. был казнен за предательство.

Стр. 311. *«Это говорит недовольный».*— Такой ремарки нет в комедии Мольера «Тартюф».

Стр. 313. *«Марино Фальеро»* — трагедия французского драматурга Казимира Делавиня (1793—1843), была поставлена в театре «Порт-Сен-Мартен» 30 мая 1829 г. *Израэль Бертуччо* — действующее лицо этой трагедии, участник заговора, возглавлявшегося Марино Фальеро.

Стр. 314. *Пишегрю* (1761—1804) — французский революционный генерал. Был арестован по обвинению в заговоре против Первого консула, повесился в тюрьме на собственном галстуке.

История революции, которую читает Жюльен Сорель,— сочинение А. Тьера (1797—1877). Это сочинение написано в либеральном духе и сыграло большую роль в идеологической борьбе эпохи.

Карно (1753—1823) — французский революционный деятель, якобинец, получивший за свои заслуги во время войны с коалицией прозвание «организатора победы». Во время Реставрации был изгнан и умер в изгнании.

Стр. 315. *Вели* (1709—1759) — французский иезуит, автор монархической «Истории Франции».

Стр. 316. *«Письма португальской монахини»* — собрание писем португальской монахини Марианны Алькофорады к ее возлюбленному, французскому офицеру маркизу де Шамильи, изданное в 1669 г. Эти письма, полные выражений пылкой любви, получили широкую популярность уже во второй половине XVIII в.

Стр. 317. *«Эрнани»* — драма Виктора Гюго (1802—1885), была поставлена на сцене «Комеди франсез» 25 февраля 1830 г.

Стр. 318. *Тальма* (1763—1826) — крупнейший французский актер, игравший преимущественно трагические роли.

Аббат Делиль (1738—1813) — поэт «описательной школы», считавшийся в 20-е годы крупнейшим классическим поэтом, был предметом жестоких насмешек романтиков, в том числе и Стендаля. Он вольно перевел «Георгики» Вергилия.

Стр. 320. *Д'Обинье* (1550—1630) — писатель, историк и полководец, кальвинист, принимавший деятельное участие в гражданских войнах Реформации, автор «Всеобщей истории с 1550 до 1601 г.».

Брантом (1527—1614) — автор биографий «Жизнь знаменитых людей и великих французских полководцев», «Жизнь знаменитых дам» и ряда других анекдотических сочинений, в которых рассказаны скандальные истории придворной хроники.

Летуаль (1546—1611) — французский мемуарист, оставивший любопытные «Дневники» эпохи Генриха III и Генриха IV. «Дневники» эти являются драгоценным источником бытовой истории Франции.

Стр. 327. *Аббат Мори* (1746—1817) — политический деятель и оратор правой в Учредительном собрании, эмигрировал из Франции, в 1794 г. стал епископом.

Стр 328. *Бассомпьер* (1579—1646) — французский маршал и дипломат, автор мемуаров, правдиво рисующих нравы начала XVII в.

Вандея — северная область Франции. Во время Французской революции здесь происходили контрреволюционные восстания, имевшие своею целью восстановление на престоле династии Бурбонов.

Стр. 333. *...вернуть духовенству его угодья...* — Реквизированные у духовенства во время революции земельные угодья-лесоводства были собственностью государства и в 1814 г. составляли гарантию государственного займа. Одной из задач реакционной партии было добиться возвращения этих угодий их прежним владельцам.

Стр. 334. *...в тысяча семьсот девяносто втором году в Кобленце...* — Здесь, в немецком городке на границе с Францией, собрались французские эмигранты-аристократы, организовавшие армию с целью вторжения во Францию и восстановления старого режима.

Стр. 338. *Леонтина Фэ* — комическая актриса театра «Жимназ», выступавшая преимущественно в комедиях Скриба с 1826 по 1834 г.

Стр. 341. *Гранвель* — кардинал Перренó де Гранвель (1517—1586), министр испанских королей Карла V и Филиппа II, был уроженцем Безансона.

Стр. 342. *Фонтан* (1801—1839) — французский писатель и журналист, приговоренный к тюремному заключению за памфлет «Взбесившийся баран» (1829). Под видом взбесившегося барана был изображен король Карл X. Фонтан вышел из тюрьмы в 1830 г., после Июльской революции.

Магалон (1794—1840) — французский писатель. Монархист в начале Реставрации. Возмущенный белым террором, он перешел затем в либеральную оппозицию. Редактируемый им журнал «Альбом» был закрыт, а сам он приговорен к тринадцатилетнему тюремному заключению (1823). Его, как впоследствии и Фонтана, вопреки закону, содержали в тюрьме для уголовных преступников, закованным в кандалы.

Полковник Карон (1774—1822) — во время Реставрации пытался организовать военный заговор в Кольмаре, но был предан, спровоцирован полицией на открытое выступление, арестован и расстрелян.

Стр. 345. *...сражался под Жарнаком или Монконтуром.*— В 1569 году при Жарнаке, а затем и при Монконтуре армия французских гугенотов была разбита войском католической Лиги.

Стр. 346. *Капитуляция при Байлене.*— В 1808 г. в Испании при Байлене отряд французских войск, окруженный испанскими повстанцами, капитулировал. Условия капитуляции испанцами не были выполнены. Наполеон, подступивший с войсками к Мадриду, в ответ на просьбу испанского генерала Морлы о капитуляции сказал: «Есть вещи, о которых не говорят». М-ль де Ла-Моль несколько изменяет эту фразу.

Медея — героиня трагедии Корнеля (1606—1684) «Медея». Цитированные слова — в действии I, явлении 5.

Стр. 350. *«Но честь у нас одна!»* — цитата из трагедии Корнеля «Сид».

Стр. 373. *Чимароза* (1749—1801) — итальянский композитор, автор известной в свое время комической оперы «Тайный брак», которую Стендаль считал лучшей комической оперой.

Стр. 381. *Жан Поль* (псевдоним Иоганна Пауля Рихтера, 1763—1825) — немецкий писатель; эпиграф взят из романа «Гесперион».

Стр. 387. Глава XXI и следующие рассказывают о событиях, напоминающих тайные интриги ультрароялистов в первые годы Реставрации. После вторичного падения Наполеона Франция была оккупирована войсками европейской коалиции, которые должны были оградить трон Бурбонов от возможных революционных восстаний внутри страны. Главнейшей задачей правительства было так называемое «освобождение территории». Ультрароялисты, группировавшиеся вокруг реакционера графа

д'Артуа (впоследствии короля Карла X), противодействовали этому. Граф д'Артуа тайно от правительства посылал в Лондон своих агентов с тем, чтобы убедить английское министерство продлить оккупацию. Одним из таких агентов был Жюль де Полиньяк. Он прибыл в Лондон с «секретной запиской», написанной под диктовку графа д'Артуа. Стендаль использовал этот эпизод в своем романе, действие которого происходит лет на двенадцать позже. Однако политическая ситуация 1830 г. была такова, что ультрароялисты могли ожидать революции и просить помощи у иностранных держав.

Стр. 397. *«Кем быть ему, чурбаном или богом?»* — цитата из басни Лафонтена «Скульптор и статуя Юпитера».

«Глоб» («Glob») — либерально-доктринерский журнал, основанный в 1824 г. и получивший с 1828 г. право «обсуждать политические вопросы»; сыграл большую роль в борьбе с реакционной политикой правительства и тем самым в подготовке Июльской революции.

Стр. 398. *Клебер* (1753—1800), *Гош* (1768—1797), *Журдан* (1762—1833) — французские генералы революционной армии, имена которых остались незапятнанными ни страстью к наживе, ни предательством.

Стр. 399. *Кателино* (1759—1793) — один из вождей контрреволюционного восстания в Вандее, сын деревенского каменщика.

Якобинская песенка — «Марсельеза». *«Стройтесь в батальоны»* — слова из припева этой песни, вскоре ставшей патриотическим революционным гимном.

Стр. 400. *Брум* (1778—1868) — английский государственный деятель, либерал и выдающийся оратор.

Стр. 409. *Дезе* (1768—1800) — генерал революционной армии. В 1796 г., во время отступления французской армии под командованием Моро из Рейнской области, Дезе с небольшим отрядом заперся в Келе и задерживал у этой крепости войско австрийского главнокомандующего эрцгерцога Карла.

Гувьон Сен-Сир (1764—1830) — французский генерал, участвовавший во всех крупнейших кампаниях революции и Империи, в частности и в отступлении Моро. Незадолго до выхода «Красного и черного» появились его мемуары, где говорится об этой кампании (1829, т. IV).

Стр. 416. *Колле* (1709—1783) — французский поэт, автор очень распространенных в XVIII и в начале XIX в. песенок.

Стр. 426. *Мюнстерский трактат* — более известен под названием Вестфальского; этим договором закончилась Тридцатилетняя война; он был подписан воюющими сторонами в 1648 г.

Стр. 429. *Лихтенберг* (1742—1799) — немецкий физик и сатирик.

Балет «Манон Леско» — поставлен в Париже 3 мая 1830 г. Либретто было написано Скрибом по известному роману Прево (1697—1763) музыка Алеви (1799—1862).

Стр. 433. *Жироде* (1767—1824) — французский художник.

Стр. 478. *Де Лавалет* (1769—1830) — французский государственный деятель. В 1815 г. он всеми мерами способствовал вступлению в Париж возвратившегося с острова Эльбы Наполеона. После второй Реставрации он был арестован и присужден к смертной казни по обвинению в государственной измене. За день до казни его жена посетила его в тюрьме; переодевшись в платье жены, Лавалет бежал.

Стр. 489. *Госпожа де Шеврез* (1600—1679) — участвовала почти во всех заговорах против кардинала Ришелье, а во время своего изгнания подстрекала европейские государства к войне с Францией.

Госпожа де Лонгвиль (1619—1679) — так же, как г-жа де Шеврез, одна из известных деятельниц Фронды.

Стр. 492. *Либерал из отпавших.*— В 1827 г. во время выборов в палату депутатов часть правых соединилась с левой оппозицией. Эта часть и получила название «отпавших». Новая палата состояла из 180 депутатов либеральной оппозиции, 160 депутатов правой и 80 «отпавших».

Стр. 499. *Великое «Может быть»* — слова, которые будто бы произнес умирающий Рабле, имея в виду христианские представления о загробной жизни: «Я отправляюсь на поиски великого *может быть*».

Стр. 501. *«Вячеслав»* — трагедия французского драматурга Ротру (1609—1650), была поставлена на сцене впервые в 1647 г. Стендаль высоко ценил эту трагедию, сильно отступающую от классических правил и общепринятого шаблона.

Стр. 504. *Манюэль* (1775—1827) — политический деятель-либерал. В 1793 г. он вступил добровольцем в армию, был участником итальянского похода, во время которого получил тяжелые ранения.

Стр. 505. *Стишки о Бельфегоре.*— «Бельфегор, повесть, заимствованная из Макиавелли» — стихотворная новелла Лафонтена (седьмая новелла пятой книги). Сатана отправил своего беса Бельфегора на землю, чтобы тот на личном опыте узнал, что такое брачная жизнь. Бельфегору вскоре пришлось бежать от жены обратно в ад. Стихи, которые имеет в виду Стендаль, Бельфегор произносит как доклад Сатане.

Стр. 515. *Король Римский* — сын Наполеона I, получивший при рождении титул короля Римского (1811—1832). Бонапартисты называли его Наполеоном II, хотя он никогда не занимал французского престола. В своем отречении 1814 г., так же как и в отречении 1815 г., Наполеон I назначил его своим преемником. Однако по решению союзных держав он был отдан под опеку своего деда — императора австрийского.

Массильон (1663—1742) — французский проповедник и епископ. Утверждают, что он способствовал назначению епископом Дюбуа, политического деятеля эпохи Регентства, интригана и развратника.

Б. Реизов

СОДЕРЖАНИЕ

С. Великовский. Хроника безвременья 5

КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ
Перевод С. Боброва и М. Богословской

К читателю 25

Часть первая

I. Городок 27
II. Господин мэр 30
III. Имущество бедных 33
IV. Отец и сын 38
V. Сделка 42
VI. Неприятность 49
VII. Избирательное сродство 57
VIII. Маленькие происшествия 67
IX. Вечер в усадьбе 75
X. Много благородства и мало денег 82
XI. Вечером 86
XII. Путешествие 90
XIII. Ажурные чулки 97
XIV. Английские ножницы 102
XV. Петух пропел 105
XVI. Назавтра 108
XVII. Старший помощник мэра 113
XVIII. Король в Верьере 118
XIX. Мыслить—значит страдать 131
XX. Анонимные письма 139
XXI. Диалог с господином 143

XXII. Так поступают в 1830 году 156
XXIII. Огорчения чиновника 168
XXIV. Большой город 182
XXV. Семинария 188
XXVI. Род людской, или о том, чего недостает богачу . . 195
XXVII. Начинается жизненный опыт 205
XXVIII. Крестный ход 209
XXIX. Первое повышение 215
XXX. Честолюбец 230

Часть вторая

I. Сельские развлечения 247
II. Вступление в свет 258
III. Первые шаги 265
IV. Особняк де Ла-Моль 269
V. Чувствительность и великосветская ханжа 280
VI. Оттенки произношения 283
VII. Приступ подагры 290
VIII. Какое отличие выделяет человека? 298
IX. Бал 307
X. Королева Маргарита 316
XI. Власть юной девушки 325
XII. Не Дантон ли это? 329
XIII. Заговор 335
XIV. Размышления молодой девушки 343
XV. А это не заговор? 349
XVI. Час ночи 354
XVII. Старинная шпага 361
XVIII. Ужасные мгновения 366
XIX. Комическая опера 371
XX. Японская ваза 381
XXI. Секретная нота 387
XXII. Прения 392
XXIII. Духовенство, леса, свобода 400
XXIV. Страсбург 408
XXV. На службе у добродетели 415
XXVI. Любовь душеспасительная 422
XXVII. Лучшие церковные должности 425
XXVIII. Манон Леско 429
XXIX. Скука 433
XXX. Ложа в комической опере 436

XXXI. Держать ее в страхе 441
XXXII. Тигр 445
XXXIII. Пропасть малодушия 451
XXXIV. Человек с головой 456
XXXV. Гроза 462
XXXVI. Невеселые подробности 467
XXXVII. Башенка 474
XXXVIII. Могущественный человек 478
XXXIX. Интрига 485
XL. Спокойствие 489
XLI. Суд 493
XLII. 500
XLIII. 505
XLIV. 510
XLV. 517

Примечание автора 524

Примечания *Б. Реизова* 527

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ВТОРАЯ

Том 110

Стендаль

КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ

*

Редактор М. Ваксмахер

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Портрет Стендаля
Дедре-Дорси

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
М. Фридкина

Корректоры
Р. Пунга и А. Юрьева

*

Сдано в набор 18/X 1968 г. Подписано к печати 9/I 1969 г. Бумага типографская № 1. 60×84¹/₁₆. 34 печ. л. 31,72 усл. печ. л. 32,703 уч.-изд. л. + 4 накидки + + 1 вкл. = 33,243 л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 3229. Цена 1 р. 36 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
1-я Образцовая тип. им. А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, Ж-54, Валовая, 28.